Библиотека
всемирной литературы

Серия третья * * *

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Анисимов И. И.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Тычина П. Г.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

М. ГОРЬКИЙ

МАТЬ

•

ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ

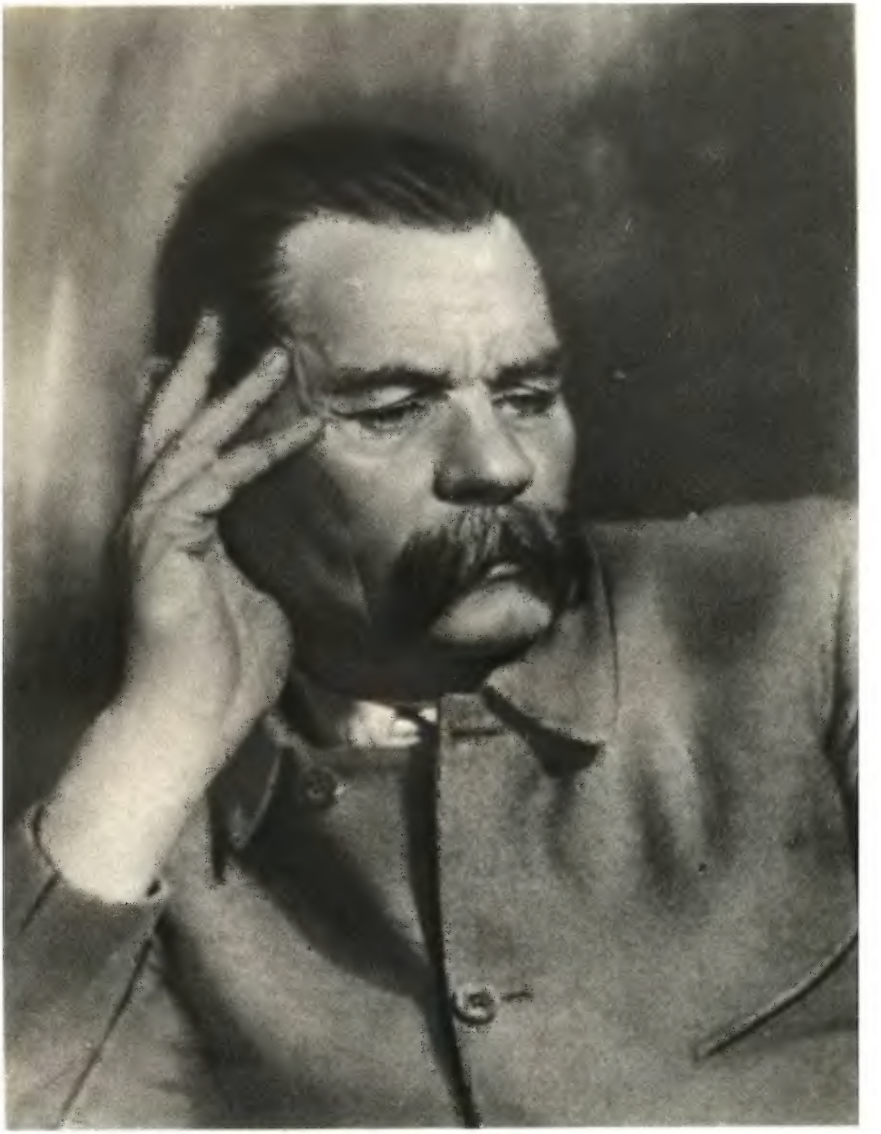
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1967

Вступительная статья и примечания
Б. Бялика

Р2
Г 71

Иллюстрации
Кукрыниксов и С. Герасимова

7-3-2
подп. изд.



ДЕЛО ВЛАСОВЫХ И ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ

В литературном наследии М. Горького очень важное место занимают произведения большой эпической формы. Почти все они могут быть отнесены к жанру романа, но сам автор упорно называл их, в том числе свою итоговую четырехтомную эпопею, «повестями». «Фома Гордеев», «Трое», «Мать», «Жизнь ненужного человека», «Исповедь», повести окуровского цикла («Городок Окуров» и «Жизнь Матвея Кожемякина»), «Лето», автобиографическая трилогия («Детство», «В людях», «Мои университеты»), «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина» — вот неполный список этих произведений.

Из них в настоящий том включены «Мать» и «Дело Артамоновых» — романы, которые принадлежат к главным, во многих отношениях «программным» произведениям М. Горького и позволяют составить представление о нем как о романисте. Правда, его творчество постоянно развивалось, и каждое новое эпическое полотно становилось у него особой вехой на пути неустанных исканий.

Однако в двух избранных произведениях наглядно проявились многие коренные особенности горьковской романистики. Во-первых, именно в них раскрыт с наибольшей полнотой внутренний мир двух основных классов-антагонистов нового времени: пролетариата и буржуазии. Во-вторых, здесь освещены две главные темы горьковского творчества: тема «воскрешения души» и тема «разрушения личности». И, в-третьих, здесь представлены две стилевые линии, позволяющие судить о богатстве и многообразии художественных средств писателя.

Необходимо отметить, что замыслы обоих произведений родились в одно и то же время — в начале 900-х годов. Характерно, что оба эти замысла должны были ожидать для своего осуществления решающих сдвигов в самой действительности — могучих революционных взрывов. «Мать», повествующую о событиях начала 900-х годов, невоз-

можно было написать до революции 1905 года. Лишь после этого могли с такой силой зазвучать в финале произведения слова, обнажающие самую суть его: «Душу воскресшую — не убьют!» «Дело Артамоновых», повествующее о событиях нескольких десятилетий, невозможно было написать до Великой Октябрьской революции и до того, как народ отстоял ее завоевания в гражданской войне. Лишь после этого мог с такой определенностью зазвучать в финале произведения вывод, бросающий свет на все изображенное в нем: «Назад, товарищи, оборота нет и не будет для нас...»

Оба произведения говорят, в сущности, об одном: о необратимости процесса революционного изменения действительности — процесса, благодаря которому кончается предыстория человечества и начинается его подлинная история.

* * *

«Мать» — книга необычной и необычайной судьбы. Впервые появившаяся в 1906—1907 годах, она сразу получила невиданно широкое распространение. Сейчас трудно назвать такую страну на земном шаре, где не было бы издано это произведение. Немногие художественные произведения за всю историю мировой литературы имели такое огромное количество читателей и так сильно и непосредственно влияли на миллионы человеческих судеб. Известен отзыв, который дал о романе В. И. Ленин, прочитав его еще в рукописи: «...книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя... Очень своевременная книга» [1]. Нет сомнений, что В. И. Ленин имел в виду прежде всего «Мать», когда, опровергая «басню» буржуазных газет об исключении Горького из партии, заявлял в 1909 году: «Товарищ Горький слишком крепко связал себя своими великими художественными произведениями с рабочим движением России и всего мира, чтобы ответить им иначе, как презрением» [2].

Открыто и страстно защищая дело рабочего класса, дело пролетарской революции, роман «Мать» сразу разделил своих читателей и критиков на два лагеря: друзей и врагов. Но даже среди друзей, единых в понимании идейной направленности и идейно-политического значения романа, не было полного единодушия в понимании его художественной природы и художественного значения. Один из выдающихся критиков-марксистов В. Воровский, высказав в 1911 году в статье

[1] М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 17, М. 1952, стр. 7 (в дальнейшем ссылки на это издание даются в самом тексте указанием тома и страницы).

[2] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 19, стр. 153.

«Две матери» интересные и верные мысли о двух горьковских образах — о героинях романа «Мать» и пьесы «Васса Железнова», счел необходимым оговориться: «Правда, образ Ниловны был необычен, идеализирован, походил скорее на то, что могло бы быть, а не на то, что бывает в повседневной жизни; а потому и Ниловна, борющаяся бок о бок с сыном, представляет тип надуманный, маловероятный. Но зато в ней ярко и выпукло изображена мать — любящая, болеющая за свое детище, мать — «мученица великая»...» [1] Утверждая в другой статье, что М. Горький начал преследовать в своем творчестве не столько художественные, сколько педагогические цели, В. Воровский писал: «Эта новая манера письма особенно заметна стала у М. Горького, начиная с большой повести «Мать»... Новые произведения Горького почти сплошь наводнены только *положительными* типами, теми типами, которые пригодны для преследуемой им цели...» [2]

Оспаривая мнение В. Воровского, что Ниловна — «тип надуманный, маловероятный», М. Горький указал, что у Ниловны есть живой прототип — мать рабочего-революционера Петра Заломова и что она «не исключение». При этом он заметил: «Меня понуждает сказать это отнюдь не мое самолюбие автора, а — интересы дела» (29, *154*). Нельзя согласиться и с тем, что «Мать» почти сплошь «наводнена» положительными типами,— нельзя, не отвлекаясь от всего, от чего не дано отвлечься положительным героям романа: от сцен обысков, арестов, разгона демонстраций, от суда, от «голгофы» Рыбина (одной этой страшной картины хватило бы на иное произведение, показывающее звериный облик старого мира), от трагического финала.

С другой стороны, в среде литераторов, которые были идейными противниками автора «Матери» и почти все отнеслись к роману резко отрицательно, усмотрев в нем свидетельство «конца» Горького как художника, иногда раздавались голоса о выдающемся новаторском значении этого произведения. Леонид Андреев был одним из тех писателей, которые в начале 900-х годов примыкали к горьковскому издательству «Знание» — центру всех демократических литературных сил, а после 1905 года стали отходить от реализма и от прогрессивного лагеря литературы. Л. Андреев ушел от этого лагеря дальше, чем многие, и ему пришлось услышать особенно суровые, но справедливые упреки от М. Горького и В. Воровского. Но вот его отзывы о «Матери», относящиеся к 1907—1908 годам: «Первая часть великолепна, единственное в своем роде,— писал он,— вторая — слабо. А в общем — значительно. Точно сам народ заговорил о революции большими, тяжелыми,

---

[1] В. Воровский, Литературно-критические статьи, М. 1956, стр. 320.

[2] Там же, стр. 311—312.

жестоко выстраданными словами»[1]. Уже порывая с горьковским направлением в литературе, Л. Андреев тем не менее признавал, что «Мать» — «роман очень ценный и высокохудожественно написанный; критика не сумела его оценить, но... к нему еще вернутся в будущем»[2].

Роман «Мать» — произведение, доступное миллионам и миллионам читателей и вместе с тем очень сложное как по ярко своеобразной, смело новаторской форме, так и по содержанию, для которого эта форма оказалась необходимой. В чем же состоит это содержание? Вопрос совсем не так прост, как кажется на первый взгляд.

Обычно говорят, что в романе «Мать» изображена жизнь рабочего класса, его борьба против буржуазии и самодержавия, рост его революционного сознания, выдвижение из его среды руководителей, вожаков... Все это, разумеется, верно, но слишком общо и мало помогает понять, почему такое содержание потребовало именно художественного воплощения. К тому же возникают новые вопросы. Почему в произведении, посвященном жизни рабочего класса, совершенно не изображен его труд, нет даже таких сцен труда, какие были в ранних рассказах и в первых романах М. Горького? Мы даже не знаем, на какой фабрике работают герои «Матери» (в «Деле Артамоновых» есть, пусть и краткие, указания на то, что артамоновское предприятие — текстильное; в «Матери» нет и таких упоминаний).

Привлекает внимание и другое обстоятельство: в произведении, изображающем классовую борьбу пролетариата, в сущности, нет ни одного образа капиталиста, а различные слуги буржуазии и самодержавия — директор фабрики, табельщик-шпик, полицейские, жандармы, судьи и т. д.— совершенно не показаны, в отличие от положительных героев, с внутренней стороны; большинство даже не имеет имен.

Нельзя сказать, что М. Горький плохо знал эту среду: он дал уже в рассказах 90-х годов и особенно в «Фоме Гордееве» яркую портретную галерею купцов и фабрикантов, а в пьесе «Враги», создававшейся одновременно с «Матерью», изобразил оба класса-антагониста с глубоким проникновением в психологию, в индивидуальность каждого персонажа. Почему же нет такого проникновения в романе «Мать»?

Пожалуй, еще более важен другой вопрос, неизбежно возникающий при слишком общих определениях темы романа «Мать». Если М. Горький хотел изобразить рост революционного сознания и формирование пролетарского авангарда, то почему в центре романа оказалась «вдова рабочего человека» и мать рабочего — Пелагея Ниловна

---

[1] «Литературное наследство», т. 72 («Горький и Леонид Андреев»), М. 1965, стр. 522.

[2] Там же, стр. 527.

Власова, а не ее сын — «железный человек» Павел Власов или кто-либо другой из революционных вожаков?

Были критики, которые ставили это обстоятельство в вину автору, считая, что оно существенно снижает идейное значение романа. В самом деле, разве следовало связывать почти все происходящее в романе с образом придавленной к земле женщины, которая с таким трудом освобождается от этой придавленности? Разве не лучше было бы в таком произведении отодвинуть эту фигуру на второй план? Подобные упреки высказывались и при оценке других произведений Горького.

Если даже обаятельный образ Ниловны показался недостаточно значительным, чтобы стать главным в романе, то что же сказать о жалком Самгине, оказавшемся на первом плане в грандиозной эпопее? Некоторые критики увидели в этом прямой просчет автора «Жизни Клима Самгина». Иными словами, критики, хваля «Мать» и «Жизнь Клима Самгина», высказывали сожаления, что М. Горький написал именно «Мать» и «Жизнь Клима Самгина», а не другие произведения. Ведь в центре *этих* произведений могли стоять только *эти* фигуры,— с ними связана самая суть того, что хотел сказать автор.

Важно понять, что в «Матери» рассказано не просто о революционной борьбе, а о том, как в процессе этой борьбы, в ее очистительном пламени, внутренне преображается человек массы, переживая свое второе рождение. Это второе — духовное — рождение особенно замечательно и поучительно у такого человека, как Ниловна. Ведь ей приходится высвобождаться из-под тройной тяжести — классовой, семейной и духовной, так как она не только человек угнетаемой массы, но еще женщина, притом находящаяся сначала под властью религии.

Хотя Ниловне сорок лет, она уже чувствует себя старухой (в ранней редакции романа она была действительно старухой, но затем автор значительно «омолодил» ее, желая подчеркнуть, что дело не в годах, а в том, как они прожиты). Ниловна почувствовала себя старой, не пережив по-настоящему ни детства, ни юности, не испытав радости «узнавания» мира. Все это приходит к ней, в сущности, лишь после сорока лет, когда для нее впервые начинают открываться смысл и красота мира, смысл собственной жизни. В той или иной форме такое духовное «выпрямление» переживают многие герои романа, но у Ниловны этот процесс имеет особенно трудный, даже мучительный характер.

Павел Власов — «железный человек», «редкий человек», «человек сказки», но и для него оказывается необходимым внутреннее обновление: он должен освободиться от излишней прямолинейности и «монашеской суровости», от всего, что дает основание матери назвать его «закрытым». Вначале он боится дать выход своим чувствам, особенно чувству любви. Его другу Андрею Находке вначале мешает, напротив, избыток романтической мечтательности и той душевной мягкости,

которая прекрасна, если сочетается с твердостью и решительностью борца. Рыбину приходится освобождаться от недоверия к интеллигенции, Весовщикову — от недоверия ко всем людям (каким откровением становится для него, уверенного, что все люди враги друг другу, прозвучавшее в новом, неожиданно широком значении слово: «товарищ!»).

И все эти внутренние сдвиги и перевороты переживает «мягкая, печальная, покорная» Ниловна, которую прежняя жизнь учила скрывать от людей свои чувства и жить в страхе перед всем и всеми. Принижает ли Ниловну то, что она вступает на путь революционной борьбы после сына, побуждаемая вначале лишь материнской любовью? Нет, нимало не принижает: любовь толкает ее на путь борьбы, а борьба помогает понять, какое счастье и какая ответственность — быть матерью.

В публицистическом заключении, которое имел в ранней газетной редакции рассказ «Однажды осенью», М. Горький страстно обличал социальный строй, мешающий женщине совместить в себе «мать, жену и гражданку» [1]. В романе «Мать» мы видим, как возникает такое «совмещение» благодаря начавшейся борьбе против эксплуататорского строя. «Когда человек может назвать мать свою и по духу родной — это редкое счастье!» — говорит Павел Власов. И по мере того как Ниловна становится родной сыну не только по крови, чувство материнства растет в ней, распространяясь на многих, на всех, кого охватывает великое слово «товарищи» (под таким названием вышел роман «Мать» в первом английском издании).

Революция пробуждает все подлинно человеческие чувства и самые высокие из них — материнство и братство. «Прославим женщину — Мать, неиссякаемый источник все побеждающей жизни! — восклицал М. Горький в одной из «Сказок об Италии».— Прославим в мире женщину — Мать, единую силу, пред которой покорно склоняется Смерть!» М. Горький создал целую галерею матерей, каждая из которых становится символом жизнетворящего и жизнеутверждающего начала. И самая замечательная из них — героиня романа «Мать».

Сосредоточив внимание на тех революционных сдвигах, которые происходят в сознании людей, на процессах духовной жизни, М. Горький показал реальную основу этих процессов и сдвигов. Судьбы героев «Матери» свидетельствуют о том, что только борьба против сил, порабощающих человека извне, способна освободить, очистить его изнутри. «Человека надо обновить,— говорит Рыбин.— Если опаршивеет — своди его в баню,— вымой, надень чистую одежду — выздоровеет! Так! А как же изнутри очистить человека?»

---

[1] «Самарская газета», 1895, № 156, 22 июля.

Горький дал ответ на этот вопрос, воспев очистительное пламя революционной борьбы, раскрыв подлинно общечеловеческий смысл идей социализма, несущих в себе начала не только нового общественного строя, но и совершенно новых нравственных отношений, нового морального «кодекса». Когда Ниловна впервые увидела Николая Ивановича, ей показалось, что он «прибыл откуда-то издалека, из другого царства, там все живут честной и легкой жизнью...». А когда Ниловна после первомайской демонстрации, после ареста Павла, переезжает из рабочей слободки в город, к Николаю Ивановичу, в среду профессиональных революционеров, ею овладевает такое чувство, словно она попала на островок будущего.

Действительно, здесь отброшены прочь и заменены новыми все те представления и все те нормы поведения, о которых Ниловна прежде думала, что они даны от века и навеки. Она привыкла к тому, что люди тянутся к собственности, как к главной опоре и главному смыслу жизни,— теперь она увидела людей, которые гораздо охотнее, с гораздо большей радостью дают, чем берут, и которые как бы богатеют от каждого своего подарка. Она привыкла к тому, что люди стремятся к покою, видят счастье именно в нем,— теперь она узнала людей, для которых покой — несчастье, а счастье — борьба, творчество, деяния. Она привыкла к тому, что люди любят говорить о своих страданиях, что они даже хвастаются своими болезнями,— теперь она увидела тех, кто презирает страдания и даже самое смерть.

Любуясь всем этим, М. Горький остается строгим и суровым реалистом: «островок будущего» еще омывают со всех сторон и бьют в упор волны враждебного ему общества, угрожая не только физическому существованию новых людей, но всему их духовному миру. «А может, они пытают людей? — спрашивает Ниловна сына о жандармах, о тюремщиках.— Рвут тело, ломают косточки? Как подумаю я об этом, Паша, милый, страшно!..» Он отвечает: «Они душу ломают... Это больнее — когда душу грязными руками...»

Старый мир стремится снова усыпить и умертвить пробуждающиеся, воскресающие души,— прежде всего и больше всего с помощью своего испытанного оружия — страха. «От страха все мы и пропадаем!» — говорит Павел матери, охваченной тревогой за него. Ниловна оправдывается: «Как мне не бояться! Всю жизнь в страхе жила,— вся душа обросла страхом!» Во время первого обыска — первой встречи с жандармами — она испытывает только это чувство, но во второй раз «ей не было так страшно... она чувствовала больше ненависти к этим серым ночным гостям со шпорами на ногах, и ненависть поглощала тревогу». Однако на этот раз забрали в тюрьму Павла, и мать, оставшись одна, «закрыв глаза, тихо завыла», как выл прежде от звериной тоски ее муж.

Еще много раз охватит душу Ниловны страх, и каждый раз его заглушит чувство ненависти к врагам — ненависти, которую будет все более освещать сознание высоких целей борьбы. «Теперь я ничего не боюсь»,— говорит Ниловна после суда над сыном, но страх еще не совсем убит в ней. На вокзале, когда Ниловну узнает шпик, ее снова «настойчиво сжимает враждебная сила... унижает ее, погружая в мертвый страх». На какое-то мгновение в ней вспыхивает желание бросить чемодан с листовками, где напечатана речь ее сына, и бежать. И тогда Ниловна наносит своему старому врагу — страху — последний удар: «...одним большим и резким усилием сердца, которое как бы встряхнуло ее всю, она погасила все эти хитрые, маленькие, слабые огоньки, повелительно сказав себе: «Стыдись!.. Не позорь сына-то! Никто не боится». Это — целая поэма о борьбе со страхом и о победе над ним.

Изображение революционного преобразования человеческих душ, их нравственного обновления было связано у М. Горького с мыслью, которая имела глубоко философский и вместе с тем острополитический смысл. Писатель был убежден, что господство собственнических, эгоистических отношений убивает человеческое в человеке, превращая его в бездушное «механическое» существо, и что это проявляется в рабовладельцах гораздо сильнее, чем в рабах. Он утверждал, что буржуазия, обретая господство в жизни, утрачивает способность вырабатывать новые идеалы и вдохновлять ими массы, что она продолжает существовать преимущественно по инерции — по инерции созданной ею государственной машины, сильной силою тюрем и штыков.

После декабрьских событий 1905 года, став свидетелем и активным участником высшего подъема первой русской революции, М. Горький писал: «Моя точка зрения, грубо выраженная, такова: буржуазия в России некультурна, не способна к политическому строительству, идейно бессильна, единственным культурным течением, способным спасти страну от анархии, являются республиканские стремления революционного пролетариата и интеллигенции...» (28, *405*). Эта мысль — об идейном, духовном бессилии буржуазии и ее слуг, в том числе такого слуги, как самодержавие,— выражена в романе «Мать» наиболее непосредственно и «программно» в речи Павла Власова на суде.

Здесь уместно заметить, что М. Горький далеко уходил в обрисовке героев «Матери» от их прототипов, смело типизируя жизненный материал во имя решения своих идейно-художественных задач. Анна Кирилловна Заломова рано овладела грамотой и рано освободилась от религиозности,— М. Горький сделал сорокалетнюю Ниловну неграмотной и верующей, чтобы тем большее значение приобрел ее последующий духовный подъем. Петра Заломова мучили не только духовно,— тюремщики избивали его и калечили, но автор «Матери» отказался от

изображения этой страшной страницы его биографии, и не потому, что вообще избегал изображать страшное (он делал это, когда считал необходимым), а потому, что в романе ему важно было сосредоточить внимание на других — духовных — формах насилия.

Вот так и речи Петра Заломова и его товарищей на суде над участниками сормовской первомайской демонстрации 1902 года — замечательные речи, высоко оцененные В. И. Лениным,— писатель заменил в романе другими, им самим написанными, в которых те же идеи получили совершенно иное выражение, продиктованное замыслом романа. Павел выступает против буржуазного общества, циничного и жестокого по отношению к личности человека, против «всех форм физического и морального порабощения человека таким обществом, против всех приемов дробления человека...». Он обличает духовное омертвение этого общества: «...все вы, наши владыки, более рабы, чем мы,— вы порабощены духовно, мы — только физически... Посмотрите — у вас уже нет людей, которые могли бы идейно бороться за вашу власть, вы уже израсходовали все аргументы, способные оградить вас от напора исторической справедливости, вы не можете создать ничего нового в области идей, вы духовно бесплодны... Ваша энергия — механическая энергия роста золота, она объединяет вас в группы, призванные пожрать друг друга, наша энергия — живая сила все растущего сознания солидарности всех рабочих... Вы оторвали человека от жизни и разрушили его; социализм соединяет разрушенный вами мир во единое великое целое, и это — будет!»

Почему автор «Матери» отказался от развернутого психологического анализа защитников эксплуататорского строя, так ярко освещенных изнутри в сравнительно кратких сценах пьесы «Враги»? Это было связано с существом его художественного замысла, настолько своеобразного и для своего времени нового, что он не мог быть сразу понят и по достоинству оценен. Андрей Находка говорит Ниловне о тех, кто откровенно жесток, и о тех, кто прячет свою жестокость: «Все они — не люди, а так, молотки, чтобы оглушать людей. Инструменты. Ими обделывают нашего брата, чтобы мы были удобнее. Сами они уже сделаны удобными для управляющей нами руки — могут работать всё, что их заставят, не думая, не спрашивая, зачем это нужно».

В романе «Мать» именно так все и изображено: живые люди сталкиваются здесь с «молотками», «инструментами», с бездумными исполнителями воли своего класса, своего общественного строя. Люди против нелюдей, человек против автомата, имеющего лишь внешний облик человека,— такой прием изображения главного классового конфликта эпохи получил позднее права гражданства и в прозе, и в поэзии, и в драматургии. Первым его применил М. Горький.

Этот условный прием имеет в романе «Мать» двоякое художественное «оправдание». Во-первых, мир врагов, как и все остальное, показан здесь главным образом сквозь призму сознания Ниловны. Это она видит врагов такими, это ей кажется, что в ее оживающую душу хочет вломиться бездушная, не доступная ни для каких слов убеждения сила. «Серая стена однообразных людей без лиц» — такой предстает перед Ниловной цепь солдат, преградившая Первого мая путь демонстрантам. Но, в сущности, такой же, или почти такой же, серой стеной кажутся ей все враги революции. Вот почему снова и снова возникает в ее душе мертвящий страх, пока его не заменяет бесстрашие, знаменуя окончательную победу нового в сознании Ниловны. А во-вторых, условность отмеченного приема связана со всем художественным строем произведения, в котором очень важную роль играют элементы романтической стилистики, придающие роману особую приподнятость, придающие ему тон и характер героической поэмы или сказания.

Речь в данном случае идет не об особенностях, вообще присущих творческому методу М. Горького, не о той устремленности к социалистическому будущему, которая проявляется в большинстве его произведений, а именно о стилистике, сближающей «Мать» с такими более ранними вещами, как «Старуха Изергиль» или «Песня о Соколе», и с такими более поздними, как «Сказки об Италии». Надо только иметь в виду, что в романе «Мать» романтический стиль соединяется с реалистическим и что они образуют здесь как бы два стилевых слоя. Утром Первого мая Ниловна увидела: «По небу, бледно-голубому, быстро плыла белая и розовая стая легких облаков, точно большие птицы летели, испуганные гулким ревом пара. Мать смотрела на облака и прислушивалась к себе».

Эти облака-птицы романтически выражают борьбу противоречивых чувств в душе матери: ее устремленность к тому, что должно произойти (потом возникнет образ толпы-птицы, широко раскинувшей крылья), и тревогу при мысли о том, что́ будет с сыном и его товарищами. Но почти сразу же после этого Ниловна слышит слова, опускающие ее с неба на землю, к «деловым» заботам долгожданного дня: «...облака бегут. Это лишнее сегодня,— облака...»

В другом эпизоде, наоборот, простые слова сына, его мысли, давно знакомые Ниловне, вдруг сливаются в ее душе, становясь «звездоподобным, лучистым комом» и властно поднимая ее над землей, над всем повседневным. В этих «переключениях» от одного стилевого слоя к другому, от условных, символических, романтически приподнятых образов к строго реалистическому письму — своеобразие и притягательная сила художественной формы романа.

«Мать» — произведение ярко новаторское. Это не значит, что тема романа, его проблематика были впервые выдвинуты именно М. Горьким.

Он развивал традиции великой реалистической литературы XIX столетия, особенно — ее величайшего представителя: Льва Толстого. Не только в романе «Воскресение», но и во многих других произведениях Толстого ставилась та проблема, которая так захватила автора «Матери»,— проблема внутреннего обновления человека, его нравственного очищения, второго его рождения. Но именно в подходе к этой проблеме проявилась вся сложность отношения Горького к Толстому — и теснейшая преемственная связь с ним, и решительное опровержение некоторых его идей. Лев Толстой понимал «воскресение» человека как его нравственное самосовершенствование, как освобождение его души от скверны, внесенной в нее лживым и лицемерным эксплуататорским обществом. В художественных произведениях Толстого, в отличие от его нравственно-религиозных сочинений, изображение внутреннего очищения человека было связано с бесстрашной критикой социальных и нравственных основ старого мира.

Толстовская проповедь, отрицающая революционную борьбу и всякое «противление злу насилием», сказалась и в его художественном творчестве. Он не пошел и не мог пойти дальше противопоставления ложному и больному разуму высших классов — здорового и верного инстинкта низов; мертвому рационалистическому «уму», создающему «выдуманные» представления и искусственную жизнь,— живого непосредственного «сердца», полного стихийного стремления к правде и справедливости. М. Горький противопоставил ложному разуму истинный, революционный, утверждающий необходимость ниспровержения старого социального устройства, ниспровержения, если иначе невозможно,— насильственного, если вынуждают враги — беспощадного. Он показал (вспомним ленинскую оценку «Матери») рост человека от стихийного протеста к сознательной борьбе.

В романе «Мать», как и в произведениях, написанных ранее — в «Мещанах», «На дне», «Врагах» и позднее — в автобиографической трилогии, в очерке-портрете «В. И. Ленин» и других, Горький поставил вопрос о подлинном и мнимом гуманизме. Андрея Находку мучает сознание, что он не помешал убить шпика Исайку (в ранней редакции романа Исайку убивал сам Находка). Он понимает, что это было необходимо, что шпик мог погубить много честных и хороших людей. И все-таки ему неприятно, тягостно думать о своем участии в происшедшем.

В этом проявляется не только недостаток твердости (такой недостаток присущ Находке, и это обостряет его переживания), но и нечто глубоко положительное, присущее всем любимым героям Горького: отношение к насилию, даже революционному, как к чему-то вынужденному и временному, необходимому лишь для того, чтобы создать новый мир, в котором окажется ненужным и невозможным никакое

насилие. Находка говорит: «Двоится человек. Ты бы — только любить хотел, а как это можно? Как простить человеку, если он диким зверем на тебя идет, не признает в тебе живой души и дает пинки в человеческое лицо твое? Нельзя прощать! Не за себя нельзя,— я за себя все обиды снесу,— но потакать насильникам не хочу, не хочу, чтобы на моей спине других бить учились». В этих словах Находки — прямое продолжение прозвучавших в 1905 году выступлений М. Горького против проповеди Льва Толстого. И в них — прямое развитие всего того лучшего, подлинно народного, что несло в себе толстовское творчество.

Ставя в романе «Мать» проблему подлинного и мнимого гуманизма, М. Горький не только опровергал призывы к непротивлению и всепрощению, но и разоблачал попытки приписать революции и революционерам отказ от гуманизма. В то время как буржуазные литераторы разных течений и оттенков, от черносотенного до анархистского, изощрялись в придумывании характеров и ситуаций, призванных доказать, что революционная борьба разжигает в человеке темные инстинкты и будит в нем зверя,— роман «Мать» показывал эту борьбу как единственное средство очистить человека от всего звериного, животного, узко эгоистического и сделать его Человеком с большой буквы. Роман показывал, что если революционная борьба приобретает порой суровые формы, то виноваты в этом те, кто идет на все, на любое насилие, на любые преступления — лишь бы остановить ход истории.

Через много лет М. Горький писал в очерке «В. И. Ленин» (перефразируя чеканные некрасовские строки: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть»): «Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение». В чем же сущность этих «условий жизни» — условий, создаваемых капиталистическим обществом? В чем дьявольская «искусность» их устройства, в корне искажающая человека? М. Горький отвечал на эти вопросы во многих своих произведениях, но, возможно, наиболее глубоко — в романе «Дело Артамоновых».

* * *

Обращаясь к «Делу Артамоновых», мы попадаем в совершенно иной мир образов, иной и по содержанию и по форме. Прежде всего бросается в глаза своеобразие стиля этого произведения, всей его художественной ткани. Задуманный в начале века, роман был написан в 1924—1925 годах, после того как М. Горький, готовя в 1922—1923 годах новое собрание своих сочинений, подверг существенной стилевой правке почти всю свою прежнюю прозу. Правка эта имела характер опреде-

ленной системы, применявшейся настолько последовательно, что есть основание говорить о художественном перевооружении писателя.

Одной из важных особенностей этой системы было сокращение элементов романтического стиля в ранних произведениях и в некоторых более поздних, например, в романе «Мать». Стиль «Дела Артамоновых» — первого эпического полотна, созданного М. Горьким после отмеченного «перевооружения»,— отличается исключительной плотностью, предметностью, «вещностью» всего образного строя, такой отобранностью художественных средств, при которой стремление к пластичности, к физической ощутимости всего изображаемого заменяет праздничную многокрасочность горьковской ранней прозы и характерное для нее подчеркнутое вмешательство авторского «я» в повествование.

Из этого совсем не следует, что в 20-е годы стиль М. Горького пережил некое «опрощение». Нет, он стал в известном отношении еще более сложным,— мы увидим, какие развернутые и разветвленные метафоры используются в «Деле Артамоновых» для разгадки «тайного тайных» героев романа. И было бы неверно думать, что из этого произведения совсем изгнана романтика: она проявляется здесь если не в стиле, то в самом «видении» действительности, в «эстетических отношениях» к ней — в ясно осознанной и воплощенной художником перспективе движения действительности вперед, к социалистическому «завтра». Но художник дал почувствовать эту перспективу не путем непосредственного патетического ее утверждения, а путем углубления своего историзма, который приобрел у него в советские годы особенную конкретность.

Историческая «хроника», хотя и обозначенная в «Деле Артамоновых» отдельными резкими штрихами, еще очень далекими от развернутого «хроникального» плана «Жизни Клима Самгина», играет уже важную роль во всем движении повествования. А. В. Луначарский с полным правом говорил о «скрытой сатире» и об элементах «скрытого панегирика» в романе «Жизнь Клима Самгина». В «Деле Артамоновых» гораздо менее существенны сатирические элементы (они ощутимы лишь в характеристике «дремовцев»,— вспомним, что придуманный М. Горьким уездный город Дремов расположен вблизи им же придуманного губернского Воргорода, того самого Воргорода, который упоминался в повести «Городок Окуров»: Дремов в одной губернии с Окуровым!). Но скрытая патетика пронизывает весь образный строй «Дела Артамоновых»: речь в романе идет не просто о судьбах отдельных людей или даже отдельных классов, а о судьбе человечества, о том, куда движется мир.

Рассказывая еще в начале 900-х годов Льву Толстому о замысле будущего романа, М. Горький говорил об истории «трех поколений» одной купеческой семьи — истории, где «закон вырождения действовал

особенно безжалостно» (14, *296*). Уже в этом рассказе звучала заявка на широкое эпическое полотно (широкое по охвату действительности, а не по объему,— Лев Толстой сказал тогда молодому писателю: «...это надо написать. Кратко написать большой роман», и М. Горький поступил именно так).

После разговора со Львом Толстым М. Горький написал несколько произведений, где было показано действие «закона вырождения» — закона не физиологического, а социального. Но хотя некоторые из этих произведений, особенно «Жизнь Матвея Кожемякина», превосходили по объему будущее «Дело Артамоновых», они не исчерпали и не отменили указанного замысла: ведь задумана была, в сущности, художественная история русского капитализма. Недаром В. И. Ленин, при свидании с писателем на Капри, сказал по поводу этого замысла: «Отличная тема, конечно,— трудная, потребует массу времени, я думаю, что Вы бы с ней сладили, но — не вижу: чем Вы ее кончите? Конца-то действительность не дает. Нет, это надо писать после революции, а теперь что-нибудь вроде «Матери» надо бы» (30, *168*).

И вот, после революции, после утверждения нового социального строя, М. Горький создал произведение, задуманное им около четверти века назад. «Сладил» ли он со своей трудной темой? Сомнения на этот счет высказывались даже теми, кто в целом оценил роман очень высоко. 27 марта 1926 года К. Федин писал М. Горькому: «Совершенно изумительно начало романа. Илья Артамонов-старик поражает, *подавляет* своей жизненностью...» Но при этом К. Федин указывал, что роман «несоразмерен в частях», что события берутся в нем все менее и менее широко: «Мне думается, этот композиционный недочет заметно повлиял на эффект конца: книга под конец схематичнее и суше. С этим обстоятельством совпадает другое. Характеры артамоновских внучат мельче и случайнее, чем — деда, отцов. Это так и должно быть, так и есть (к несчастью). Но это усугубляет разряжение конца романа» [1]. 10 апреля 1926 года своими впечатлениями о «Деле Артамоновых» поделился с М. Горьким М. Пришвин: «Хорошо начало, свадьба — прекрасно! и до середины отлично нарастает волнение — ярмарка превосходна! Потом как будто вам надоело, все пошло прыжками, и кончаешь неудовлетворенный... Я думаю, что вы по своей широте задумали во время писания этого романа какой-нибудь другой, самый большой, и это стало вам неинтересно» [2].

Хотя в письме К. Федина есть очень глубокое объяснение характера построения романа, а М. Пришвин сумел угадать, что М. Горький

---

[1] «Литературное наследство», т. 70 («Горький и советские писатели»), М. 1963, стр. 508—509.

[2] Там же, стр. 330.

действительно уже писал другой роман, «самый большой», и хотя автор в ответном письме к Федину признал справедливыми замечания его и Пришвина о недостатках конструкции «Дела Артамоновых» (29, *462*),— этот вопрос нуждается в прояснении.

«Несоразмерность» частей, о которой писал К. Федин, присуща «Делу Артамоновых», но она во многом объясняется тем, о чем идет речь в фединском письме: «Не знаю, была ли это ваша композиционная задача: строить первые части романа на «людях», вторую — на «деле». Это совпадает с темой (я понимаю ее так: дело, движимое вначале волею человека, постепенно ускользает из-под его влияния, начинает жить само собою, *своею* волей, более мощной и непреоборимой, пока — в революцию — окончательно не освобождается от человека)».

Да, именно такова была композиционная задача автора «Дела Артамоновых» — в полном соответствии с темой романа, так ярко и точно охарактеризованной К. Фединым. И с этим была неразрывно связана та особенность романа, которая, собственно, и дала повод говорить о «несоразмерности» его частей: на первый план в романе выдвинулась одна фигура — фигура Петра Артамонова. Она оказалась на первом плане именно потому, что с наибольшей полнотой воплощает процесс утраты «хозяином» власти над «делом». Уже Игнат Гордеев в первом романе Горького иногда «чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его». Миллионер Н. А. Бугров говорит в горьковском мемуарном очерке: «Все мы — рабы дела нашего». Вот это превращение хозяина «дела» в раба его — превращение, в котором выразились и самая суть капиталистического строя жизни, и его убыстряющийся упадок, составляет главное содержание характера и судьбы Петра Артамонова.

Надо сказать, что почти в каждом горьковском романе есть какая-то одна человеческая судьба, составляющая композиционный стержень произведения, более того — во многом определяющая если не угол зрения, то поле зрения: автор сосредоточивает свое внимание на тех событиях, на тех сторонах действительности, которые видит или к которым имеет какое-то отношение центральный герой.

Для горьковских романов характерны названия, подчеркивающие значение одного героя: «Фома Гордеев», «Мать», «Жизнь ненужного человека», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Жизнь Клима Самгина» и т. д. «Трое» тоже могло бы иметь подобное название — «Илья Лунев» или «Жизнь Ильи Лунева», если бы автору не было важно уже в заглавии соотнести судьбу главного героя с судьбами двух его друзей. Вот так и «Дело Артамоновых» могло бы называться — «Петр Артамонов» или «Жизнь Петра Артамонова», если бы не надо было уже в заглавии подчеркнуть власть «дела» над всеми Артамоновыми, мнящими себя его хозяевами.

Подобное построение романа — когда большинство событий показывается сквозь призму или *как бы* сквозь призму (ибо всегда дает себя знать и авторский угол зрения) мировосприятия центрального героя, — осуществлено М. Горьким особенно широко и последовательно в «Жизни Клима Самгина». Однако подготовлено оно было всем его предшествующим творчеством. Надо думать, что именно склонность к такому построению побуждала М. Горького называть свои романы «повестями» (помимо присущей ему скромности, которая проявилась также в том, что он обычно именовал свои рассказы «очерками», а пьесы — «сценами»).

Как ни ярок, ни замечателен образ Ильи Артамонова-старшего, он не стал и не мог стать главным в романе: внезапная смерть основателя «дела» пришла как раз вовремя, чтобы закончился пролог — рассказ о возникновении «дела» — и началось основное повествование о росте «дела» и об упадке его хозяев. В романе есть и свой эпилог, когда Петр, отойдя в сторону от «дела» — предоставив ведение его Мирону и Якову,— на время отдает последнему и роль центрального, «стержневого» образа. Но сразу же обнаруживается, что отдает он ее именно на время, чтобы снова выйти на первый план в самом финале. Петру, а не кому-либо другому, дано завершить историю падения, краха, гибели Артамоновых. Отступление, связанное с судьбой Якова, не могло быть более развернутым,— это увело бы читателя слишком далеко от судьбы Петра. Видимо, по тем же соображениям автор отказался от подробного рассказа о судьбе Ильи-младшего, рвущего с отцом, с «делом» и вступающего на путь революционной борьбы (М. Горький исключил из повествования даже те страницы о новом пути Ильи, которые уже были написаны, в частности — исключил эпизод его приезда домой после Февральской революции; «Куда ты?» — спрашивал Петр сына, когда тот окончательно прощался с ним, и сын отвечал: «К своему делу»).

В романе «Дело Артамоновых» речь идет о деле Артамоновых, а не о том, о котором рассказано в романе «Мать». Правда, и это дело, ставшее смыслом жизни Ильи-младшего, все время ощущается в повествовании об Артамоновых. Рост сознания рабочей массы, рост в ней протеста в конечном счете определяют судьбу артамоновского «дела» и самих Артамоновых. Однако рост этот дан в отдельных его проявлениях, и лишь в тех, какие попадают в поле зрения Петра и других Артамоновых (очень важным становится изображение того, как, в каком виде предстает все это в артамоновском сознании).

Касаясь истории падения артамоновского рода, критики видят начало упадка обычно во втором поколении Артамоновых, резко противопоставляя его родоначальнику «дела». Для этого есть немало оснований. Илья-старший был натурой сильной и целеустремленной, и эти

его качества смогли раскрыться потому, что его усилия имели исторически прогрессивный смысл: он взрывал неподвижность затхлого дремовского, окуровского бытия и разрушал застой патриархальной деревни. Когда — через поколение — появится новый Илья, похожий характером на деда («дедушкин характер»,— подумает о нем отец), он уже не сможет остаться в среде Артамоновых, так как к этому времени их «дело» утратит всякую прогрессивность, всякое историческое оправдание. И все же было бы неверно видеть в Илье-старшем только силу и цельность. Последнее качество уже дало заметную трещину, предвосхитив разрушение личности Петра и других «наследников».

Суть в том, что Илья-старший осуществляет свое прогрессивное дело, оставаясь буржуа и стяжателем, оставаясь даже для своих детей не столько отцом, сколько «строгим хозяином» (так думал, вспоминая об отце, Петр, и в этом было много правды). Уже у Артамонова-старшего возникла тревога за будущее «дела», и эта тревога начала подтачивать его веру в себя. Строительный размах стал приобретать у него показной характер: Илья «становился все более хвастливо криклив». Сама его гибель дала основание Тихону Вялову сказать, что его сила «хвастовством изошла». Это не сразу видно, это не лежит на поверхности, но это — факт и очень важный факт: упадок артамоновского «рода» начался с самого родоначальника.

Выслушав рассказ М. Горького о замысле будущего романа, Лев Толстой сказал: «Это очень серьезно. Тот, который идет в монахи молиться за всю семью,— это чудесно! Это — настоящее: вы — грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой — скучающий, стяжатель-строитель,— тоже правда! И что он пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а — вдруг — убил,— ах, это хорошо! Вот это надо написать...» (14, *296*).

Сейчас трудно установить, что в этих словах отражало особенности раннего, впоследствии существенно изменившегося замысла М. Горького, а что шло от особенностей толстовского восприятия, может быть — от желания Толстого подсказать молодому писателю определенный поворот темы. Тот, кто пошел в монахи,— горбун Никита не смог отмаливать грехи Артамоновых (Тихон Вялов потом скажет о нем Петру: «Ему за вас и молиться страшно было — не смел! И оттого — бога лишился...»). А о стяжателе-строителе, каким показан Илья-старший в «Деле Артамоновых», не скажешь, что он «любит всех»,— он даже близким людям кажется атаманом разбойников (в ранней редакции Артамоновы назывались Атамановыми и роман имел заглавие: «Атамановы»).

Но сказанное Толстым о стяжателе-строителе помогает увидеть, чем же «неистовый» Илья предвосхитил своего вялого и раздвоенного сына Петра. В сущности, эти слова равно относятся к ним обоим —

к двум, казалось бы, совершенно противоположным натурам. Оба они — «скучающие», и хотя их скука имеет разную остроту и разный характер — важно, что уже основатель «дела» не мог быть захвачен «делом» целиком. Каждый из них «вдруг — убил», один — защищая свою жизнь, другой — в припадке злобы против жалкого, беспомощного существа (потом он пытается убедить себя, что спасал сына от дурного влияния). Оба, хотя опять-таки по-разному, хотят заглушить «скуку» разгулом (в «кошмаре кутежа» на ярмарке Петр «почти уверенно» думал: «Отец, пожалуй, так же бы колобродил»).

Сказанное ни в коей мере не позволяет отождествлять характеры Петра и его отца. Даже в том, что дает повод говорить о сходстве между ними, явственно выступают их различия. От Ильи-старшего к Петру и Алексею, а от них — к Мирону и Якову идет процесс крутого понижения характеров, распада их, измельчания. Но этот процесс глубоко закономерен. Стяжательские, хищнические, «разбойничьи» черты Ильи-старшего готовят и хитрую, азартную «игру с делом» Алексея, и раздвоенность Петра (его страх перед своим двойником-врагом и растущее осознание себя лишь «невольным зрителем» жизни — все это получит развитие в итоговой эпопее М. Горького, в образе буржуазного интеллигента Самгина, пытающегося спрятаться от бурного хода истории в своем маленьком «я»). А эти черты Петра и Алексея предопределяют окончательный духовный крах, полное моральное банкротство последних представителей артамоновского «дела».

В связи с замечанием о том, что Илья-старший был для своих детей не столько отцом, сколько хозяином, следует отметить, что для них, рано оставшихся без матери, это имело особое значение, усиливая чувство сиротства. Раннее сиротство героев — одна из наиболее устойчивых деталей горьковских романов. Горемыка Павел в первой (одноименной) повести М. Горького, Андрей Находка в «Матери» и герой «Исповеди» — подкидыши. Рано остается без матери, а потом и без отца Фома Гордеев, так же складывается судьба Матвея Кожемякина и героя «Жизни ненужного человека». Сироты — все три героя «Троих». Даже если родители героев живы, мотив сиротства начинает звучать в связи с семейным разладом и другими обстоятельствами, лишающими героев настоящего детства,— так случается с Климом Самгиным.

Как объяснить, что писатель наделил сходной чертой столь разные судьбы столь разных героев — и близких ему, и бесконечно далеких и чуждых? Ему важно было, чтобы его герой с самого начала оказался в положении, которое как-то отличает его от окружающих, от «нормальных» представителей «нормального» бытия, и ставит хоть немного особняком. Правда, у разных людей это имеет совершенно разные последствия: у одних это (вместе с многими другими обстоятельствами) приводит к стихийному бунту одиночки против буржуаз-

пого общества, у других — к стремлению занять место в единой революционной семье, у третьих — к обострению страха перед жизнью и желанию как-то спрятаться от нее.

Мотив сиротства варьируется так многообразно, что читатель не замечает повторений, да, собственно, и не может заметить: никаких повторений у Горького действительно нет. Однако во всех отмеченных случаях писатель стремится достигнуть и достигает одного общего результата: он показывает воздействие не только среды на человека, но и человека на среду, подчеркивая ответственность человеческой личности перед жизнью, обществом, историей. Не все люди оказываются на высоте этой ответственности, и тогда одних ждет трагедия, а других — духовное банкротство.

Закономерный процесс понижения характеров Артамоновых Горький раскрывает не только путем прямого изображения их судеб, но и с помощью сложных художественных приемов, в частности — лейтмотивов (много раз повторяется фраза юродивого Антона: «Кибитка потерял колесо», приобретающая символический смысл) и целой системы широко развернутых метафор. Об Илье-старшем говорят, что он «не лисой живет, а медведем». Сталкиваясь с ним, дремовский городской староста Баймаков чувствует «себя так, точно на него медведь навалился», и то же чувство испытывают многие, глядя на его «длинную лапу» и со страхом думая: «Экой зверь».

Все эти штрихи «подкрепляются» тем, что Илья любит медвежью охоту, ходит на медведя с рогатиной и стремится привить страсть к этой опасной забаве Петру и Алексею. Об Алексее уже никак не скажешь, что он «не лисой живет, а медведем». В юности он «урчит, как медвежонок», а потом в нем все более заметной становится «лисья изворотливость», и его все чаще называют «лисой». Илья-старший выходил с рогатиной на медведя — племянник забавлялся посаженным на цепь медвежонком, пока тот не вырос,— тогда Алексей воткнул рогатину в его живот. О Петре в романе не раз говорится, что у него «маленькие, медвежьи» глаза, но при этом речь идет не о силе его и напористости, а о прямо противоположных качествах: о том, с каким недоверием и затаенным страхом вглядывается он во все и всех. Чем большую тревогу внушает Петру «дело», тем больше оно кажется ему зверем. Он признается: «Это неправильно говорится: «Дело — не медведь, в лес не уйдет». Дело и есть медведь; уходить ему незачем, оно облапило и держит».

Вплетенная в ткань романа, эта система сравнений воздействует на читателя менее заметно, чем при таком ее выделении. Но если она воздействует менее заметно, то — более сильно, заставляя читателя не только понять, но и почувствовать, каким неотвратимым и неуклонным был процесс человеческого измельчания Артамоновых,

процесс, в котором выразилась вся противочеловечная, звериная сущность капиталистического «дела».

Для читателя ясно, что одной из главных причин этого процесса в конечном счете является духовное раскрепощение рабочей массы, которая осознает себя истинным хозяином жизни. Правда, в романе говорится, что «быстро портится народ», что «рабочие становятся все капризнее, злее, чахоточнее, а бабы все более крикливы...» и т. п. Но таким все это представляется Петру, который мечтает: «Запрячь бы всех в железных хомуты».

Легко понять, чем вызвана злоба Артамоновых против рабочих, которые недавно казались им такими тихими и покорными (ткачи артамоновской фабрики не приняли активного участия в событиях 1905 года,— некоторые из них даже стали защищать «своих» хозяев от «чужих» рабочих). Тихон Вялов передает Петру слова рабочего, одного из семьи «бесчисленных Морозовых», чей старейший представитель когда-то с такой патриархальной кротостью относился к родоначальнику «дела»: «...которое дело чужими руками строится — это вредное дело, его надо изничтожить...» Еще большую ненависть должны были вызвать у Петра слова рабочего: «...все — от нас пошло, мы — хозяева!» И когда в 1917 году Захар Морозов оказывается во главе красногвардейского отряда города Дремова, Тихон Вялов имеет право сказать своему бывшему хозяину: «Это — против тебя война, Петр Ильич... Вот наступил на вас конец... Потеряла кибитка колесо...»

Фигура Тихона Вялова, бывшего крестьянина, потом землекопа, потом дворника Артамоновых,— самая сложная в романе, даже (во всяком случае, до финала, когда многое проясняется) загадочная. М. Горького беспокоило, что критики, говоря о романе, «всегда забывают отметить фигуру Тихона Вялова, а она не зря воткнута в жизнь Артамоновых» [1]. Он даже заметил однажды, что Тихон в этой книге — «главный ее герой» [2].

В романе есть немало эпизодов, объясняющих, почему могло прозвучать такое замечание. Проходя через все повествование, Тихон Вялов является самым неприятным и ненавистным человеком для Петра Артамонова, который тем не менее часто вольно или невольно повторяет многие «Тихоновы слова». Вялов одновременно и притягивает к себе и отталкивает Никиту, явно влияя на всю его судьбу. Именно от Тихона идут первые толчки, отодвигающие Илью-младшего от отца и от «дела». «Что это за человек, Тихон? — спрашивает у самого себя Петр.— На все вокруг падает его тень, его слова звучат

---

[1] «Архив А. М. Горького», т. III, М. 1951, стр. 241.

[2] Письмо к М. Натанову от 3 декабря 1928 г. (Архив А. М. Горького).

в ребячливых речах сына, его мыслями околдован брат». Мысли Тихона раскрываются в целой серии афоризмов, среди которых особое значение имеют изречения об артамоновском «деле»: «Дело, как плесень в погребе,— своей силой растет»; «Дело — перила человеку; по краю ямы ходим, за них держимся»; «Делам черт Каина обучил...»; «Человек — нитку прядет, черт — дерюгу ткет, так оно, без конца, и идет» и т. д. Много раз говорится о «мерцающих» глазах Вялова, — они «мерцают», когда он смотрит на Артамоновых и когда трудно понять, что в них: простое любопытство или ненависть? В самом деле: что за человек Тихон?

Критики сперва обходили эту фигуру, а когда стали присматриваться к ней — не сразу раскрыли ее сущность. Некоторые пришли к выводу, что в лице Тихона Вялова дан обобщенный образ крестьянской массы. При этом возникало представление о простой и ясной расстановке сил в романе: Артамоновы — буржуазия, Морозовы и другие — рабочий класс, Тихон Вялов — крестьянство. Но такому широкому толкованию образа Тихона явно противоречат многие его черты, хотя бы то, что он — «с рабочими груб, как полицейский, они его не любят...». Правда, таков он в представлении Петра Артамонова — в представлении явно необъективном. Однако Тихон сам говорит о себе в финале романа, имея в виду войну народа против таких, как Петр Артамонов: «А я, как был, в стороне...»

В критике была высказана и мысль о том, что в Тихоне Горький действительно изобразил всю крестьянскую массу, но изобразил неверно, со скептицизмом, который был пережитком его ошибок 1917—1918 годов. Но такому выводу прямо противоречит текст романа: Никита с полным правом говорит о Тихоне, что его «обидел кто-то, он и оторвался от всех, как разоренный...». Сам Тихон рассказывает в финале, что он, наблюдая за Артамоновыми, утратил те представления, которыми жил раньше: «Веры... лишили вы меня; не знаю, как теперь и умереть мне. Загляделся на вас, беси...» Образ оторвавшегося от крестьянской среды человека не мог претендовать на воплощение сущности крестьянства как класса. В критике был высказан и такой взгляд на Тихона, что он не только не является представителем массы, но прямо враждебен ей: «доносит» хозяину на рабочих и т. д. Но это было уже совсем несерьезно: ни на кого Тихон не «доносит», и нельзя не чувствовать, какой глубокий и подлинно народный характер имеет растущий в нем гнев против мира Артамоновых. Приходится снова задать вопрос: что же за человек Тихон?

Говоря о русской классической литературе, М. Горький «упрекал» некоторых ее представителей в том, что они, рисуя крестьянскую массу, сосредоточили внимание на кротких, христолюбивых людях, подобных Платону Каратаеву и Поликушке, но прошли мимо таких выходцев

из крестьянства, как волевые, жадные до жизни «стяжатели-строители». В «Деле Артамоновых» М. Горький противопоставил друг другу людей двух этих разных типов, прежде всего — Илью Артамонова-старшего и Тихона Вялова, о котором сам говорил, что это — «видоизмененный тип Платона Каратаева» (30, *91*). Илья и Тихон вышли оба из среды патриархального крестьянства, но один из них разрушает патриархальную неподвижность, а другой мучительно переживает ее конец. Значит ли это, что Илья — положительный герой, а Тихон — отрицательный, воплощающий консервативное начало? Нет, все гораздо сложнее. Совершая исторически прогрессивное дело, Илья хладнокровно ступает по головам людей — таких, как Тихон и как тысячи ему подобных. В самом конце романа выясняется, что Илья был убийцей брата Тихона и что Тихон пошел служить к Артамонову, побуждаемый вначале лишь желанием отомстить за брата. Это желание сменилось у Вялова другим: понять, кто такие Артамоновы, в чем их сила и слабость, долго ли будет существовать их господство, откуда придет к ним возмездие за все их дела?

И происходит нечто на первый взгляд парадоксальное, но в действительности глубоко закономерное. В продолжателе «дела» Петре, все больше страшащемся «дела», пробуждается тоска по утраченному патриархальному «раю». Он говорит: «В деревне — проще, спокойнее жить...»; «Не наше бы это дело, фабрика. Нам бы лучше податься в степи, купить там землю, крестьянствовать. Шума-то было бы меньше, а толку — больше...» и т. п.

Нетрудно определить главную причину такого настроения. Она — в тревоге, вызванной тем, что рабочие становятся все менее похожими на крестьян, что они «теряют крестьянскую выносливость» (в данном случае под выносливостью разумеется терпение, покорность). И Петра Артамонова начинает притягивать к себе реакционная сторона проповеди Льва Толстого,— Коптев кричит Петру: «Какое вам дело до графа, вам, вам? Граф этот — последний вздох деревенской России...»

А в это время Платон Каратаев перестает быть Платоном Каратаевым: Тихон утрачивает черты покорности, испытывая все больший гнев против тех, кто пытается строить свое благополучие на разорении миллионов людей. При всей консервативности и обреченности попыток патриархального крестьянства остановить ход развития капитализма, глубоко справедливым был протест этого крестьянства против капиталистического хищничества. И хотя Тихон еще не согласен с «затеями» революционеров, хотя он еще далек от коллективизма передовых рабочих, хотя ему пока присуща психология «единоличника» («Работай каждый на себя, тогда ничего не будет, никакого зла»),— позиция соглядатая, свидетеля на суде истории начинает заменяться у него позицией обвинителя и судьи.

Мог ли думать Лев Толстой, обсуждая с М. Горьким замысел его будущего романа, что в этом романе, который явится одним из ярких свидетельств непреходящего значения великой школы толстовского реализма, будет, помимо всего прочего, показан конец «толстовщины», конец самой почвы, из которой росли такие учения?

* * *

Характеризуя творческий метод советской литературы, М. Горький говорил: «Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество...» (27, *330*). И (можно к этому добавить) осуждает бытие как пассивное подчинение ходу вещей, как отказ от творчества и борьбы. «Воскрешение» души Ниловны началось с тех пор, как она почувствовала себя «при деле» — стала участвовать в революционной борьбе рабочего класса, в историческом творчестве народных масс. «Разрушение личности» было неизбежным возмездием для каждого, кто «впрягся» в «дело», подобное артамоновскому, в «дело» эксплуатации чужого труда, чужого творчества, в «дело», направленное против народа, против революционного развития действительности.

Существует мнение, что «общечеловеческое» в искусстве противостоит конкретно-историческому, как «вечное» — временному, что эти «начала» всегда мешают друг другу и что расширение одного из них неизбежно приводит к суженню другого. Такое мнение вообще ошибочно, а когда речь идет о социалистическом реализме — ошибочно вдвойне. Произведения М. Горького конкретно-историчны не только в том отношении, что все изображенное в них отчетливо соотнесено с историческим процессом, но и по всему своему пафосу, тону, «настрою». Они были нередко остро злободневными и почти всегда — «очень своевременными». Роман «Мать» защищал не просто революцию, а большевистскую тактику в ней, активно вмешиваясь в споры о том, следовало ли пролетариату подниматься на борьбу против самодержавия, когда еще не было гарантии успеха, надо или не надо было браться за оружие. Роман «Дело Артамоновых» вмешивался столь же активно в спор не меньшего значения: возможен ли в России поворот назад — реставрация капитализма?

Постановка этих актуальнейших политических вопросов не только не мешала, а всемерно помогала М. Горькому ставить вопросы широкого, философского, подлинно общечеловеческого смысла: человек и общество, человек и история, человек и мир. Отвергая буржуазную концепцию человеческой личности, берущую за основу не общественную сущность человека, а личность в ее противостоянии обществу, Горький показывал, что эта концепция оправдывает не свободу личности, а ее опустошение и разрушение, что нет большей опасности для

индивидуальности, чем индивидуализм. Он всесторонне обосновывал тот вывод, что почву для подлинной свободы личности создают лишь социализм и социалистическое миропонимание, превращающие человека из раба жизни в ее хозяина, из жертвы истории в ее творца.

О литературе нашего века можно сказать, что чем глубже и чем последовательнее ее реализм, тем яснее она показывает не только величайшую справедливость идей социализма, но и их непобедимость, историческую неизбежность их конечного торжества. Вот почему творческий метод передовой литературы нашего века получил название метода социалистического реализма. И вот почему центральной фигурой в мировом литературном процессе XX столетия был и остается основоположник социалистического реализма М. Горький.

Б. БЯЛИК

I

Каждый день над рабочей слободкой, в дымном, масленом воздухе, дрожал и ревел фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по немощеной улице к высоким каменным клеткам фабрики, она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных, квадратных глаз. Грязь чмокала под ногами. Раздавались хриплые восклицания сонных голосов, грубая ругань зло рвала воздух, а встречу людям плыли иные звуки — тяжелая возня машин, ворчание пара. Угрюмо и строго маячили высокие черные трубы, поднимаясь над слободкой, как толстые палки.

Вечером, когда садилось солнце и на стеклах домов устало блестели его красные лучи,— фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные, с черными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами. Теперь в их голосах звучало оживление и даже радость,— на сегодня кончилась каторга труда, дома ждал ужин и отдых.

День проглочен фабрикой, машины высосали из мускулов людей столько силы, сколько им было нужно. День бесследно вычеркнут из жизни, человек сделал еще шаг к своей могиле, но он видел близко перед собой наслаждение отдыха, радости дымного кабака и — был доволен.

По праздникам спали часов до десяти, потом люди солидные и женатые одевались в свое лучшее платье и шли слушать обедню, попутно ругая молодежь за ее равнодушие к церкви.

Из церкви возвращались домой, ели пироги и снова ложились спать — до вечера.

Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита, и для того, чтобы есть, много пили, раздражая желудок острыми ожогами водки.

Вечером лениво гуляли по улицам, и тот, кто имел галоши, надевал их, если даже было сухо, а имея дождевой зонтик, носил его с собой, хотя бы светило солнце.

Встречаясь друг с другом, говорили о фабрике, о машинах, ругали мастеров,— говорили и думали только о том, что связано с работой. Одинокие искры неумелой, бессильной мысли едва мерцали в скучном однообразии дней. Возвращаясь домой, ссорились с женами и часто били их, не щадя кулаков. Молодежь сидела в трактирах или устраивала вечеринки друг у друга, играла на гармониках, пела похабные, некрасивые песни, танцевала, сквернословила и пила. Истомленные трудом люди пьянели быстро, и во всех грудях пробуждалось непонятное, болезненное раздражение. Оно требовало выхода. И, цепко хватаясь за каждую возможность разрядить это тревожное чувство, люди, из-за пустяков, бросались друг на друга с озлоблением зверей. Возникали кровавые драки. Порою они кончались тяжкими увечьями, изредка — убийством.

В отношениях людей всего больше было чувства подстерегающей злобы, оно было такое же застарелое, как и неизлечимая усталость мускулов. Люди рождались с этою болезнью души, наследуя ее от отцов, и она черною тенью сопровождала их до могилы, побуждая в течение жизни к ряду поступков, отвратительных своей бесцельной жестокостью.

По праздникам молодежь являлась домой поздно ночью в разорванной одежде, в грязи и пыли, с разбитыми лицами, злорадно хвастаясь нанесенными товарищам ударами, или оскорбленная, в гневе или слезах обиды, пьяная и жалкая, несчастная и противная. Иногда парней приводили домой матери, отцы. Они отыскивали их где-нибудь под забором на улице или в кабаках бесчувственно пьяными, скверно ругали, били кулаками мягкие, разжиженные водкой тела детей, потом более или менее заботливо укладывали их спать, чтобы рано утром, когда в воздухе темным ручьем потечет сердитый рев гудка, разбудить их для работы.

Ругали и били детей тяжело, но пьянство и драки молодежи казались старикам вполне законным явлением,— когда отцы были молоды, они тоже пили и дрались, их тоже били ма-

«Мать»
Кукрыниксы

тери и отцы. Жизнь всегда была такова,— она ровно и медленно текла куда-то мутным потоком годы и годы и вся была связана крепкими, давними привычками думать и делать одно и то же изо дня в день. И никто не имел желания попытаться изменить ее.

Изредка в слободку приходили откуда-то посторонние люди. Сначала они обращали на себя внимание просто тем, что были чужие; затем возбуждали к себе легкий, внешний интерес рассказами о местах, где они работали, потом новизна стиралась с них, к ним привыкали, и они становились незаметными. Из их рассказов было ясно: жизнь рабочего везде одинакова. А если это так — о чем же разговаривать?

Но иногда некоторые из них говорили что-то неслыханное в слободке. С ними не спорили, но слушали их странные речи недоверчиво. Эти речи у одних возбуждали слепое раздражение, у других смутную тревогу, третьих беспокоила легкая тень надежды на что-то неясное, и они начинали больше пить, чтобы изгнать ненужную, мешающую тревогу.

Заметив в чужом необычное, слобожане долго не могли забыть ему это и относились к человеку, не похожему на них, с безотчетным опасением. Они точно боялись, что человек бросит в жизнь что-нибудь такое, что нарушит ее уныло правильный ход, хотя тяжелый, но спокойный. Люди привыкли, чтобы жизнь давила их всегда с одинаковой силой, и, не ожидая никаких изменений к лучшему, считали все изменения способными только увеличить гнет.

От людей, которые говорили новое, слобожане молча сторонились. Тогда эти люди исчезали, снова уходя куда-то, а оставаясь на фабрике, они жили в стороне, если не умели слиться в одно целое с однообразной массой слобожан...

Пожив такой жизнью лет пятьдесят — человек умирал.

II

Так жил и Михаил Власов, слесарь, волосатый, угрюмый, с маленькими глазами; они смотрели из-под густых бровей подозрительно, с нехорошей усмешкой. Лучший слесарь на фабрике и первый силач в слободке, он держался с начальством грубо и поэтому зарабатывал мало, каждый праздник кого-нибудь избивал, и все его не любили, боялись. Его тоже пробовали бить, но безуспешно. Когда Власов видел, что на него идут люди, он хватал в руки камень, доску, кусок железа и, широко

расставив ноги, молча ожидал врагов. Лицо его, заросшее от глаз до шеи черной бородой, и волосатые руки внушали всем страх. Особенно боялись его глаз,— маленькие, острые, они сверлили людей, точно стальные буравчики, и каждый, кто встречался с их взглядом, чувствовал перед собой дикую силу, недоступную страху, готовую бить беспощадно.

— Ну, расходись, сволочь! — глухо говорил он. Сквозь густые волосы на его лице сверкали крупные, желтые зубы. Люди расходились, ругая его трусливо воющей руганью.

— Сволочь! — кратко говорил он вслед им, и глаза его блестели острой, как шило, усмешкой. Потом, держа голову вызывающе прямо, он шел следом за ними и вызывал:

— Ну,— кто смерти хочет?

Никто не хотел.

Говорил он мало, и «сволочь» — было его любимое слово. Им он называл начальство фабрики и полицию, с ним он обращался к жене.

— Ты, сволочь, не видишь — штаны разорвались!

Когда Павлу, сыну его, было четырнадцать лет — Власову захотелось оттаскать его за волосы. Но Павел взял в руки тяжелый молоток и кратко сказал:

— Не тронь...

— Чего? — спросил отец, надвигаясь на высокую, тонкую фигуру сына, как тень на березу.

— Будет! — сказал Павел.— Больше я не дамся...

И взмахнул молотком.

Отец посмотрел на него, спрятал за спину мохнатые руки и, усмехаясь, проговорил:

— Ладно...

Потом, тяжело вздохнув, добавил:

— Эх ты, сволочь...

Вскоре после этого он сказал жене:

— Денег с меня больше не спрашивай, тебя Пашка прокормит...

— А ты всё пропивать будешь? — осмелилась она спросить.

— Не твое дело, сволочь! Я любовницу заведу...

Любовницы он не завел, но с того времени, почти два года, вплоть до смерти своей, не замечал сына и не говорил с ним.

Была у него собака, такая же большая и мохнатая, как сам он. Она каждый день провожала его на фабрику и каждый вечер ждала у ворот. По праздникам Власов отправлялся ходить

по кабакам. Ходил он молча и, точно желая найти кого-то, царапал своими глазами лица людей. И собака весь день ходила за ним, опустив большой, пышный хвост. Возвращаясь домой пьяный, он садился ужинать и кормил собаку из своей чашки. Он ее не бил, не ругал, но и не ласкал никогда. После ужина он сбрасывал посуду со стола на пол, если жена не успевала вовремя убрать ее, ставил перед собой бутылку водки и, опираясь спиной о стену, глухим голосом, наводившим тоску, выл песню, широко открывая рот и закрыв глаза. Заунывные, некрасивые звуки путались в его усах, сбивая с них хлебные крошки, слесарь расправлял волосы бороды и усов толстыми пальцами и — пел. Слова песни были какие-то непонятные, растянутые, мелодия напоминала о зимнем вое волков. Пел он до поры, пока в бутылке была водка, а потом валился боком на лавку или опускал голову на стол и так спал до гудка. Собака лежала рядом с ним.

Умер он от грыжи. Дней пять, весь почерневший, он ворочался на постели, плотно закрыв глаза, и скрипел зубами. Иногда говорил жене:

— Дай мышьяку, отрави...

Доктор велел поставить Михаилу припарки, но сказал, что необходима операция и больного нужно сегодня же везти в больницу.

— Пошел к черту,— я сам умру!.. Сволочь! — прохрипел Михаил.

А когда доктор ушел и жена со слезами стала уговаривать его согласиться на операцию, он сжал кулак и, погрозив ей, заявил:

— Выздоровлю — тебе хуже будет!

Он умер утром, в те минуты, когда гудок звал на работу. В гробу лежал с открытым ртом, но брови у него были сердито нахмурены. Хоронили его жена, сын, собака, старый пьяница и вор Данила Весовщиков, прогнанный с фабрики, и несколько слободских нищих. Жена плакала тихо и немного, Павел — не плакал. Слобожане, встречая на улице гроб, останавливались и, крестясь, говорили друг другу:

— Чай, Палагея-то рада-радешенька, что помер он...

Некоторые поправляли:

— Не помер, а — издох...

Когда гроб зарыли,— люди ушли, а собака осталась и, сидя на свежей земле, долго молча нюхала могилу. Через несколько дней кто-то убил ее...

III

Спустя недели две после смерти отца, в воскресенье, Павел Власов пришел домой сильно пьяный. Качаясь, он пролез в передний угол и, ударив кулаком по столу, как это делал отец, крикнул матери:

— Ужинать!

Мать подошла к нему, села рядом и обняла сына, притягивая голову его к себе на грудь. Он, упираясь рукой в плечо ей, сопротивлялся и кричал:

— Мамаша,— живо!..

— Дурачок ты! — печально и ласково сказала мать, одолевая его сопротивление.

— И — курить буду! Дай мне отцову трубку...— тяжело двигая непослушным языком, бормотал Павел.

Он напился впервые. Водка ослабила его тело, но не погасила сознания, и в голове стучал вопрос:

«Пьян? Пьян?»

Его смущали ласки матери и трогала печаль в ее глазах. Хотелось плакать, и, чтобы подавить это желание, он старался притвориться более пьяным, чем был.

А мать гладила рукой его потные, спутанные волосы и тихо говорила:

— Не надо бы этого тебе...

Его начало тошнить. После бурного припадка рвоты мать уложила его в постель, накрыв бледный лоб мокрым полотенцем. Он немного отрезвел, но все под ним и вокруг него волнообразно качалось, у него отяжелели веки, и, ощущая во рту скверный, горький вкус, он смотрел сквозь ресницы на большое лицо матери и бессвязно думал:

«Видно, рано еще мне. Другие пьют и — ничего, а меня тошнит...»

Откуда-то издали доносился мягкий голос матери:

— Каким кормильцем ты будешь мне, если пить начнешь...

Плотно закрыв глаза, он сказал:

— Все пьют...

Мать тяжело вздохнула. Он был прав. Она сама знала, что, кроме кабака, людям негде почерпнуть радости. Но все-таки сказала:

— А ты — не пей! За тебя, сколько надо, отец выпил. И меня он намучил довольно... так уж ты бы пожалел мать-то, а?

Слушая печальные, мягкие слова, Павел вспоминал, что при жизни отца мать была незаметна в доме, молчалива и всегда

жила в тревожном ожидании побоев. Избегая встреч с отцом, он мало бывал дома последнее время, отвык от матери и теперь, постепенно трезвея, пристально смотрел на нее.

Была она высокая, немного сутулая, ее тело, разбитое долгой работой и побоями мужа, двигалось бесшумно и как-то боком, точно она всегда боялась задеть что-то. Широкое, овальное лицо, изрезанное морщинами и одутловатое, освещалось темными глазами, тревожно-грустными, как у большинства женщин в слободке. Над правой бровью был глубокий шрам, он немного поднимал бровь кверху, казалось, что и правое ухо у нее выше левого, это придавало ее лицу такое выражение, как будто она всегда пугливо прислушивалась. В густых темных волосах блестели седые пряди. Вся она была мягкая, печальная, покорная...

И по щекам ее медленно текли слезы.

— Не плачь!— тихо попросил сын.— Дай мне пить.

— Я тебе воды со льдом принесу...

Но когда она воротилась, он уже заснул. Она постояла над ним минуту, ковш в ее руке дрожал, и лед тихо бился о жесть. Поставив ковш на стол, она молча опустилась на колени перед образами. В стекла окон бились звуки пьяной жизни. Во тьме и сырости осеннего вечера визжала гармоника, кто-то громко пел, кто-то ругался гнилыми словами, тревожно звучали раздраженные, усталые голоса женщин...

Жизнь в маленьком доме Власовых потекла более тихо и спокойно, чем прежде, и несколько иначе, чем везде в слободе. Дом их стоял на краю слободы, у невысокого, но крутого спуска к болоту. Треть дома занимала кухня и отгороженная от нее тонкой переборкой маленькая комнатка, в которой спала мать. Остальные две трети — квадратная комната с двумя окнами; в одном углу ее — кровать Павла, в переднем — стол и две лавки. Несколько стульев, комод для белья, на нем маленькое зеркало, сундук с платьем, часы на стене и две иконы в углу — вот и все.

Павел сделал все, что надо молодому парню: купил гармонику, рубашку с накрахмаленной грудью, яркий галстух, галоши, трость и стал такой же, как все подростки его лет. Ходил на вечеринки, выучился танцевать кадриль и польку, по праздникам возвращался домой выпивши и всегда сильно страдал от водки. Наутро болела голова, мучила изжога, лицо было бледное, скучное.

Однажды мать спросила его:

— Ну что, весело тебе было вчера?

Он ответил с угрюмым раздражением:

— Тоска зеленая! Я лучше удить рыбу буду. Или — куплю себе ружье.

Работал он усердно, без прогулов и штрафов, был молчалив, и голубые, большие, как у матери, глаза его смотрели недовольно. Он не купил себе ружья и не стал удить рыбу, но заметно начал уклоняться с торной дороги всех: реже посещал вечеринки, и хотя, по праздникам, куда-то уходил, но возвращался трезвый. Мать, зорко следя за ним, видела, что смуглое лицо сына становится острее, глаза смотрят все более серьезно, и губы его сжались странно строго. Казалось, он молча сердится на что-то, или его сосет болезнь. Раньше к нему заходили товарищи, теперь, не заставая его дома, они перестали являться. Матери было приятно видеть, что сын ее становится не похожим на фабричную молодежь, но когда она заметила, что он сосредоточенно и упрямо выплывает куда-то в сторону из темного потока жизни,— это вызвало в душе ее чувство смутного опасения.

— Ты, может, нездоров, Павлуша? — спрашивала она его иногда.

— Нет, я здоров! — отвечал он.

— Худой ты очень! — вздохнув, говорила мать.

Он начал приносить книги и старался читать их незаметно, а прочитав, куда-то прятал. Иногда он выписывал из книжек что-то на отдельную бумажку и тоже прятал ее...

Говорили они мало и мало видели друг друга. Утром он молча пил чай и уходил на работу, в полдень являлся обедать, за столом перекидывались незначительными словами, и снова он исчезал вплоть до вечера. А вечером тщательно умывался, ужинал и после долго читал свои книги. По праздникам уходил с утра, возвращался поздно ночью. Она знала, что он ходит в город, бывает там в театре, но к нему из города никто не приходил. Ей казалось, что с течением времени сын говорит все меньше, и в то же время она замечала, что порою он употребляет какие-то новые слова, непонятные ей, а привычные для нее, грубые и резкие выражения — выпадают из его речи. В поведении его явилось много мелочей, обращавших на себя ее внимание: он бросил щегольство, стал больше заботиться о чистоте тела и платья, двигался свободнее, ловчей и, становясь наружно проще, мягче, возбуждал у матери тревожное внимание. И в отношении к матери было что-то новое: он иногда подметал пол в комнате, сам убирал по праздникам свою постель, вообще старался облегчить ее труд. Никто в слободе не делал этого...

Однажды он принес и повесил на стенку картину — трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро.

— Это воскресший Христос идет в Эммаус! — объяснил Павел.

Матери понравилась картина, но она подумала:

«Христа почитаешь, а в церковь не ходишь...»

Все больше становилось книг на полке, красиво сделанной Павлу товарищем-столяром. Комната приняла приятный вид.

Он говорил ей «вы» и называл «мамаша», но иногда, вдруг, обращался к ней ласково:

— Ты, мать, пожалуйста, не беспокойся, я поздно ворочусь домой...

Ей это нравилось, в его словах она чувствовала что-то серьезное и крепкое.

Но росла ее тревога. Не становясь от времени яснее, она все более остро щекотала сердце предчувствием чего-то необычного. Порою у матери являлось недовольство сыном, она думала:

«Все люди — как люди, а он — как монах. Уж очень строг. Не по годам это...»

Иногда она думала:

«Может, он девицу себе завел какую-нибудь?»

Но возня с девицами требует денег, а он отдавал ей свой заработок почти весь.

Так шли недели, месяцы и незаметно прошло два года странной, молчаливой жизни, полной смутных дум и опасений, все возраставших.

IV

Однажды после ужина Павел опустил занавеску на окне, сел в угол и стал читать, повесив на стенку над своей головой жестяную лампу. Мать убрала посуду и, выйдя из кухни, осторожно подошла к нему. Он поднял голову, вопросительно взглянул ей в лицо.

— Ничего, Паша, это я так! — поспешно сказала она и ушла, смущенно двигая бровями. Но, постояв среди кухни минуту неподвижно, задумчивая, озабоченная, она чисто вымыла руки и снова вышла к сыну.

— Хочу я спросить тебя,— тихонько сказала она,— что ты все читаешь?

Он сложил книжку.

— Ты — сядь, мамаша...

Мать грузно опустилась рядом с ним и выпрямилась, насторожилась, ожидая чего-то важного.

Не глядя на нее, негромко и почему-то очень сурово, Павел заговорил:

— Я читаю запрещенные книги. Их запрещают читать потому, что они говорят правду о нашей, рабочей жизни... Они печатаются тихонько, тайно, и если их у меня найдут — меня посадят в тюрьму,— в тюрьму за то, что я хочу знать правду. Поняла?

Ей вдруг стало трудно дышать. Широко открыв глаза, она смотрела на сына, он казался ей чуждым. У него был другой голос — ниже, гуще и звучнее. Он щипал пальцами тонкие, пушистые усы и странно, исподлобья смотрел куда-то в угол. Ей стало страшно за сына и жалко его.

— Зачем же ты это, Паша? — проговорила она.

Он поднял голову, взглянул на нее и негромко, спокойно ответил:

— Хочу знать правду.

Голос его звучал тихо, но твердо, глаза блестели упрямо. Она сердцем поняла, что сын ее обрек себя навсегда чему-то тайному и страшному. Все в жизни казалось ей неизбежным, она привыкла подчиняться не думая и теперь только заплакала тихонько, не находя слов в сердце, сжатом горем и тоской.

— Не плачь! — говорил Павел ласково и тихо, а ей казалось, что он прощается.— Подумай, какою жизнью мы живем? Тебе сорок лет,— а разве ты жила? Отец тебя бил,— я теперь понимаю, что он на твоих боках вымещал свое горе,— горе своей жизни; оно давило его, а он не понимал — откуда оно? Он работал тридцать лет, начал работать, когда вся фабрика помещалась в двух корпусах, а теперь их — семь!

Она слушала его со страхом и жадно. Глаза сына горели красиво и светло; опираясь грудью на стол, он подвинулся ближе к ней и говорил прямо в лицо, мокрое от слез, свою первую речь о правде, понятой им. Со всею силой юности и жаром ученика, гордого знаниями, свято верующего в их истину, он говорил о том, что было ясно для него,— говорил не столько для матери, сколько проверяя самого себя. Порою он останавливался, не находя слов, и тогда видел перед собой огорченное лицо, на котором тускло блестели затуманенные слезами, добрые глаза. Они смотрели со страхом, с недоумением. Ему было жалко мать, он начинал говорить снова, но уже о ней, о ее жизни.

— Какие радости ты знала? — спрашивал он.— Чем ты можешь помянуть прожитое?

Она слушала и печально качала головой, чувствуя что-то новое, неведомое ей, скорбное и радостное,— оно мягко ласкало ее наболевшее сердце. Такие речи о себе, о своей жизни она слышала впервые, и они будили в ней давно уснувшие, неясные думы, тихо раздували угасшие чувства смутного недовольства жизнью,— думы и чувства дальней молодости. Она говорила о жизни с подругами, говорила подолгу, обо всем, но все — и она сама — только жаловались, никто не объяснял, почему жизнь так тяжела и трудна. А вот теперь перед нею сидит ее сын, и то, что говорят его глаза, лицо, слова — все это задевает за сердце, наполняя его чувством гордости за сына, который верно понял жизнь своей матери, говорит ей о ее страданиях, жалеет ее.

Матерей — не жалеют.

Она это знала. Все, что говорил сын о женской жизни,— была горькая, знакомая правда, и в груди у нее тихо трепетал клубок ощущений, все более согревавший ее незнакомой лаской.

— Что же ты хочешь делать? — спросила она, перебивая его речь.

— Учиться, а потом — учить других. Нам, рабочим, надо учиться. Мы должны узнать, должны понять — отчего жизнь так тяжела для нас.

Ей было сладко видеть, что его голубые глаза, всегда серьезные и строгие, теперь горели так мягко и ласково. На ее губах явилась довольная, тихая улыбка, хотя в морщинах щек еще дрожали слезы. В ней колебалось двойственное чувство гордости сыном, который так хорошо видит горе жизни, но она не могла забыть о его молодости и о том, что он говорит не так, как все, что он один решил вступить в спор с этой привычной для всех — и для нее — жизнью. Ей хотелось сказать ему: «Милый, что ты можешь сделать?»

Но она боялась помешать себе любоваться сыном, который вдруг открылся перед нею таким умным... хотя немного чужим для нее.

Павел видел улыбку на губах матери, внимание на лице, любовь в ее глазах, ему казалось, что он заставил ее понять свою правду, и юная гордость силою слова возвышала его веру в себя. Охваченный возбуждением, он говорил, то усмехаясь, то хмуря брови, порою в его словах звучала ненависть, и когда мать слышала ее звенящие, жесткие слова, она, пугаясь, качала головой и тихо спрашивала сына:

— Так ли, Паша?

— Так! — отвечал он твердо и крепко. И рассказывал ей о людях, которые, желая добра народу, сеяли в нем правду, а за это враги жизни ловили их, как зверей, сажали в тюрьмы, посылали на каторгу...

— Я таких людей видел! — горячо воскликнул он.— Это лучшие люди на земле!

В ней эти люди возбуждали страх, она снова хотела спросить сына: «Так ли?»

Но не решалась и, замирая, слушала рассказы о людях, непонятных ей, научивших ее сына говорить и думать столь опасно для него. Наконец она сказала ему:

— Скоро светать будет, лег бы ты, уснул!

— Да, я сейчас лягу! — согласился он. И, наклонясь к ней, спросил:— Поняла ты меня?

— Поняла! — вздохнув, ответила она. Из глаз ее снова покатились слезы, и, всхлипнув, она добавила:— Пропадешь ты!

Он встал, прошелся по комнате, потом сказал:

— Ну, вот, ты теперь знаешь, что я делаю, куда хожу, я тебе все сказал! Я прошу тебя, мать, если ты меня любишь — не мешай мне!..

— Голубчик ты мой! — воскликнула она.— Может,— лучше бы для меня не знать ничего!

Он взял ее руку и крепко стиснул в своих.

Ее потрясло слово «мать», сказанное им с горячей силой, и это пожатие руки, новое и странное.

— Ничего я не буду делать! — прерывающимся голосом сказала она.— Только береги ты себя, береги!

Не зная, чего нужно беречься, она тоскливо прибавила:

— Худеешь ты все...

И, обняв его крепкое, стройное тело ласкающим теплым взглядом, заговорила торопливо и тихо:

— Бог с тобой! Живи как хочешь, не буду я тебе мешать. Только об одном прошу — не говори с людьми без страха! Опасаться надо людей — ненавидят все друг друга! Живут жадностью, живут завистью. Все рады зло сделать. Как начнешь ты их обличать да судить — возненавидят они тебя, погубят!

Сын стоял в дверях, слушая тоскливую речь, а когда мать кончила, он, улыбаясь, сказал:

— Люди плохи, да. Но когда я узнал, что на свете есть правда,— люди стали лучше!..

Он снова улыбнулся и продолжал:

— Сам не понимаю, как это вышло! С детства всех боялся, стал подрастать — начал ненавидеть, которых за подлость, ко-

торых — не знаю за что, так, просто! А теперь все для меня по-другому встали,— жалко всех, что ли? Не могу понять, но сердце стало мягче, когда узнал, что не все виноваты в грязи своей...

Он замолчал, точно прислушиваясь к чему-то в себе, потом негромко и вдумчиво сказал:

— Вот как дышит правда!

Она взглянула на него и тихо молвила:

— Опасно ты переменился, о, господи!

Когда он лег и уснул, мать осторожно встала со своей постели и тихо подошла к нему. Павел лежал кверху грудью, и на белой подушке четко рисовалось его смуглое, упрямое и строгое лицо. Прижав руки к груди, мать, босая и в одной рубашке, стояла у его постели, губы ее беззвучно двигались, а из глаз медленно и ровно одна за другой текли большие, мутные слезы.

И снова они стали жить молча, далекие и близкие друг другу.

V

Однажды среди недели, в праздник, Павел, уходя из дома, сказал матери:

— В субботу у меня будут гости из города.

— Из города? — повторила мать и — вдруг — всхлипнула.

— Ну, о чем, мамаша? — недовольно воскликнул Павел.

Она, утирая лицо фартуком, ответила, вздыхая:

— Не знаю,— так уж...

— Боишься?

— Боюсь! — созналась она.

Он наклонился к ее лицу и сердито — точно его отец — проговорил:

— От страха все мы и пропадаем! А те, кто командуют нами, пользуются нашим страхом и еще больше запугивают нас.

Мать тоскливо взвыла:

— Не сердись! Как мне не бояться! Всю жизнь в страхе жила,— вся душа обросла страхом!

Негромко и мягче он сказал:

— Ты прости меня,— иначе нельзя!

И ушел.

Три дня у нее дрожало сердце, замирая каждый раз, как она вспоминала, что в дом придут какие-то чужие люди, страшные. Это они указали сыну дорогу, по которой он идет...

В субботу, вечером, Павел пришел с фабрики, умылся, переоделся и, снова уходя куда-то, сказал, не глядя на мать:

— Придут — скажи, что я сейчас ворочусь. И, пожалуйста, не бойся...

Она бессильно опустилась на лавку. Сын хмуро взглянул на нее и предложил:

— Может быть, ты... уйдешь куда-нибудь?

Это ее обидело. Отрицательно качнув головой, она сказала:

— Нет. Зачем же?

Был конец ноября. Днем на мерзлую землю выпал сухой, мелкий снег, и теперь было слышно, как он скрипит под ногами уходившего сына. К стеклам окна неподвижно прислонилась густая тьма, враждебно подстерегая что-то. Мать, упираясь руками в лавку, сидела и, глядя на дверь, ждала...

Ей казалось, что во тьме со всех сторон к дому осторожно крадутся, согнувшись и оглядываясь по сторонам, люди, странно одетые, недобрые. Вот кто-то уже ходит вокруг дома, шарит руками по стене.

Стал слышен свист. Он извивался в тишине тонкой струйкой, печальный и мелодичный, задумчиво плутал в пустыне тьмы, искал чего-то, приближался. И вдруг исчез под окном, точно воткнувшись в дерево стены.

В сенях зашаркали чьи-то ноги, мать вздрогнула и, напряженно подняв брови, встала.

Дверь отворили. Сначала в комнату всунулась голова в большой, мохнатой шапке, потом, согнувшись, медленно пролезло длинное тело, выпрямилось, не торопясь подняло правую руку и, шумно вздохнув, густым, грудным голосом сказало:

— Добрый вечер!

Мать молча поклонилась.

— А Павла дома нету?

Человек медленно снял меховую куртку, поднял одну ногу, смахнул шапкой снег с сапога, потом то же сделал с другой ногой, бросил шапку в угол и, качаясь на длинных ногах, пошел в комнату. Подошел к стулу, осмотрел его, как бы убеждаясь в прочности, наконец сел и, прикрыв рот рукой, зевнул. Голова у него была правильно круглая и гладко острижена, бритые щеки и длинные усы концами вниз. Внимательно осмотрев комнату большими, выпуклыми глазами серого цвета, он положил ногу на ногу и, качаясь на стуле, спросил:

— Что ж это ваша хата, или — нанимаете?

Мать, сидя против него, ответила:

— Нанимаем.

— Неважная хата! — заметил он.

— Паша скоро придет, вы подождите! — тихо попросила мать.

— Да я уже и жду! — спокойно сказал длинный человек.

Его спокойствие, мягкий голос и простота лица ободряли мать. Человек смотрел на нее открыто, доброжелательно, в глубине его прозрачных глаз играла веселая искра, а во всей фигуре, угловатой, сутулой, с длинными ногами, было что-то забавное и располагающее к нему. Одет он был в синюю рубашку и черные шаровары, сунутые в сапоги. Ей захотелось спросить его — кто он, откуда, давно ли знает ее сына, но вдруг он весь покачнулся и сам спросил ее:

— Кто ж это лоб пробил вам, ненько?

Спросил он ласково, с ясной улыбкой в глазах, но — женщину обидел этот вопрос. Она поджала губы и, помолчав, с холодной вежливостью осведомилась:

— А вам какое дело до этого, батюшка мой?

Он мотнулся к ней всем телом:

— Да вы не серчайте, чего же! Я потому спросил, что у матери моей приемной тоже голова была пробита, совсем вот так, как ваша. Ей, видите, сожитель пробил, сапожник, колодкой. Она была прачка, а он сапожник. Она,— уже после того как приняла меня за сына,— нашла его где-то, пьяницу, на свое великое горе. Бил он ее, скажу вам! У меня со страху кожа лопалась...

Мать почувствовала себя обезоруженной его откровенностью, и ей подумалось, что, пожалуй, Павел рассердится на нее за неласковый ответ этому чудаку. Виновато улыбаясь, она сказала:

— Я не рассердилась, а уж очень вы сразу... спросили. Муженек это угостил меня, царство ему небесное! Вы не татарин будете?

Человек дрыгнул ногами и так широко улыбнулся, что у него даже уши подвинулись к затылку. Потом он серьезно сказал:

— Нет еще.

— Говор у вас как будто не русский! — объяснила мать улыбаясь, поняв его шутку.

— Он — лучше русского! — весело кивнув головой, сказал гость.— Я хохол, из города Канева.

— А давно здесь?

— В городе жил около года, а теперь перешел к вам на фабрику, месяц тому назад. Здесь людей хороших нашел,— сына вашего и других. Здесь — поживу! — говорил он, дергая усы.

Он ей нравился и, повинуясь желанию заплатить ему чем-нибудь за его слова о сыне, она предложила:

— Может, чайку выпьете?

— Что же я один угощаться буду? — ответил он, подняв плечи.— Вот уже когда все соберутся, вы и почествуйте...

Он напомнил ей об ее страхе.

«Кабы все такие были!» — горячо пожелала она.

Снова раздались шаги в сенях, дверь торопливо отворилась — мать снова встала. Но к ее удивлению в кухню вошла девушка небольшого роста, с простым лицом крестьянки и толстой косой светлых волос. Она тихо спросила:

— Не опоздала я?

— Да нет же! — ответил хохол, выглядывая из комнаты.— Пешком?

— Конечно! Вы — мать Павла Михайловича? Здравствуйте! Меня зовут — Наташа...

— А по батюшке? — спросила мать.

— Васильевна. А вас?

— Пелагея Ниловна.

— Ну вот мы и знакомы...

— Да! — сказала мать, легко вздохнув и с улыбкой рассматривая девушку.

Хохол помогал ей раздеваться и спрашивал:

— Холодно?

— В поле — очень! Ветер...

Голос у нее был сочный, ясный, рот маленький, пухлый, и вся она была круглая, свежая. Раздевшись, она крепко потерла румяные щеки маленькими, красными от холода руками и быстро прошла в комнату, звучно топая по полу каблуками ботинок.

«Без галош ходит!» — мелькнуло в голове матери.

— Да-а,— протянула девушка, вздрагивая.— Иззябла я... ух, как!

— А вот я вам сейчас самоварчик согрею! — заторопилась мать, уходя в кухню.— Сейчас...

Ей показалось, что она давно знает эту девушку и любит ее хорошей, жалостливой любовью матери. Улыбаясь, она прислушивалась к разговору в комнате.

— Вы что скучный, Находка? — спрашивала девушка.

— А — так,— негромко ответил хохол.— У вдовы глаза хорошие, мне и подумалось, что, может, у матери моей такие же? Я, знаете, о матери часто думаю, и все мне кажется, что она жива.

— Вы говорили — умерла?

— То — приемная умерла. А я — о родной. Кажется мне, что она где-нибудь в Киеве милостыню собирает. И водку пьет. А пьяную ее полицейские по щекам бьют.

«Ах ты, сердечный!» — подумала мать и вздохнула.

Наташа заговорила что-то быстро, горячо и негромко. Снова раздался звучный голос хохла:

— Э, вы еще молоды, товарищ, мало луку ели! Родить — трудно, научить человека добру еще труднее...

«Ишь ты!» — внутренне воскликнула мать, и ей захотелось сказать хохлу что-то ласковое. Но дверь неторопливо отворилась, и вошел Николай Весовщиков, сын старого вора Данилы, известный всей слободе нелюдим. Он всегда угрюмо сторонился людей, и над ним издевались за это. Она удивленно спросила его:

— Ты что, Николай?

Он вытер широкой ладонью рябое, скуластое лицо и, не здороваясь, глухо спросил:

— Павел дома?

— Нет.

Он заглянул в комнату, пошел туда, говоря:

— Здравствуйте, товарищи...

«Этот?» — неприязненно подумала мать и очень удивилась, видя, что Наташа протягивает ему руку ласково и радостно.

Потом пришли двое парней, почти еще мальчики. Одного из них мать знала,— это племянник старого фабричного рабочего Сизова — Федор, остролицый, с высоким лбом и курчавыми волосами. Другой, гладко причесанный и скромный, был незнаком ей, но тоже не страшен. Наконец явился Павел и с ним два молодых человека, она знала их, оба — фабричные. Сын ласково сказал ей:

— Самовар поставила? Вот спасибо!

— Может, водочки купить? — предложила она, не зная, как выразить ему свою благодарность за что-то, чего еще не понимала.

— Нет, это лишнее! — отозвался Павел, дружелюбно улыбаясь ей.

Ей вдруг подумалось, что сын нарочно преувеличил опасность собрания, чтобы подшутить над ней.

— Вот это и есть — запрещенные люди? — тихонько спросила она.

— Эти самые! — ответил Павел, проходя в комнату.

— Эх ты!..— проводила она его ласковым восклицанием, а про себя снисходительно подумала: «Дитя еще!»

VI

Самовар вскипел, мать внесла его в комнату. Гости сидели тесным кружком у стола, а Наташа, с книжкой в руках, поместилась в углу, под лампой.

— Чтобы понять, отчего люди живут так плохо...— говорила Наташа.

— И отчего они сами плохи,— вставил хохол.

— ...Нужно посмотреть, как они начали жить...

— Посмотрите, милые, посмотрите! — пробормотала мать, заваривая чай.

Все замолчали.

— Вы что, мамаша? — спросил Павел, хмуря брови.

— Я? — Она оглянулась и, видя, что все смотрят на нее, смущенно объяснила: — Я так, про себя,— поглядите, мол!

Наташа засмеялась, и Павел усмехнулся, а хохол сказал:

— Спасибо вам, ненько, за чай!

— Не пили, а уж благодарите! — отозвалась она и, взглянув на сына, спросила: — Я ведь не помешаю?

Ответила Наташа:

— Как же вы, хозяйка, можете помешать гостям?

И детски жалобно попросила:

— Голубушка! Дайте мне скорее чаю! Вся трясусь, страшно ноги иззябли!

— Сейчас, сейчас! — торопливо воскликнула мать.

Выпив чашку чая, Наташа шумно вздохнула, забросила косу за плечо и начала читать книгу в желтой обложке, с картинками. Мать, стараясь не шуметь посудой, наливая чай, вслушивалась в плавную речь девушки. Звучный голос сливался с тонкой, задумчивой песней самовара, в комнате красивой лентой вился рассказ о диких людях, которые жили в пещерах и убивали камнями зверей. Это было похоже на сказку, и мать несколько раз взглянула на сына, желая его спросить — что же в этой истории запретного? Но скоро она утомилась следить за рассказом и стала рассматривать гостей, незаметно для сына и для них.

Павел сидел рядом с Наташей; он был красивее всех. Наташа, низко наклонясь над книгой, часто поправляла сползавшие ей на виски волосы. Взмахивая головою и понизив голос, говорила что-то от себя, не глядя в книгу, ласково скользя глазами по лицам слушателей. Хохол навалился широкою грудью на угол стола, косил глазами, стараясь рассмотреть издерганные концы своих усов. Весовщиков сидел на стуле прямо, точно

деревянный, упираясь ладонями в колена, и его рябое лицо без бровей, с тонкими губами, было неподвижно, как маска. Не мигая узкими глазами, он упорно смотрел на свое лицо, отраженное в блестящей меди самовара, и, казалось, не дышал. Маленький Федя, слушая чтение, беззвучно двигал губами, точно повторяя про себя слова книги, а его товарищ согнулся, поставив локти на колена, и, подпирая скулы ладонями, задумчиво улыбался. Один из парней, пришедших с Павлом, был рыжий, кудрявый, с веселыми зелеными глазами, ему, должно быть, хотелось что-то сказать, и он нетерпеливо двигался; другой, светловолосый, коротко остриженный, гладил себя ладонью по голове и смотрел в пол, лица его не было видно. В комнате было как-то особенно хорошо. Мать чувствовала это особенное, неведомое ей и, под журчание голоса Наташи, вспоминала шумные вечеринки своей молодости, грубые слова парней, от которых всегда пахло перегорелой водкой, их циничные шутки. Вспоминала,— и щемящее чувство жалости к себе тихо трогало ее сердце.

Припомнилось сватовство покойника мужа. На одной из вечеринок он поймал ее в темных сенях и, прижав всем телом к стене, спросил глухо и сердито:

— Замуж за меня пойдешь?

Ей было больно и обидно, а он больно мял ее груди, сопел и дышал ей в лицо, горячо и влажно. Она попробовала вывернуться из его рук, рванулась в сторону.

— Куда! — зарычал он.— Ты — отвечай, ну?

Задыхаясь от стыда и обиды, она молчала.

Кто-то открыл дверь в сени, он не спеша выпустил ее, сказав:

— В воскресенье сваху пришлю...

И прислал.

Мать закрыла глаза, тяжело вздохнув.

— Мне не то надо знать, как люди жили, а как надо жить! — раздался в комнате недовольный голос Весовщикова.

— Вот именно! — поддержал его рыжий, вставая.

— Не согласен! — крикнул Федя.

Вспыхнул спор, засверкали слова, точно языки огня в костре. Мать не понимала, о чем кричат. Все лица загорелись румянцем возбуждения, но никто не злился, не говорил знакомых ей резких слов.

«Барышни стесняются!» — решила она.

Ей нравилось серьезное лицо Наташи, внимательно наблюдавшей за всеми, точно эти парни были детьми для нее.

— Подождите, товарищи! — вдруг сказала она. И все они замолчали, глядя на нее.

— Правы те, которые говорят — мы должны всё знать. Нам нужно зажечь себя самих светом разума, чтобы темные люди видели нас, нам нужно на все ответить честно и верно. Нужно знать всю правду, всю ложь...

Хохол слушал и качал головою в такт ее словам. Весовщиков, рыжий и приведенный Павлом фабричный стояли все трое тесной группой и почему-то не нравились матери.

Когда Наташа замолчала, встал Павел и спокойно спросил:

— Разве мы хотим быть только сытыми? Нет! — сам себе ответил он, твердо глядя в сторону троих.— Мы должны показать тем, кто сидит на наших шеях и закрывает нам глаза, что мы всё видим,— мы не глупы, не звери, не только есть хотим,— мы хотим жить, как достойно людей! Мы должны показать врагам, что наша каторжная жизнь, которую они нам навязали, не мешает нам сравняться с ними в уме и даже встать выше их!..

Мать слушала его, и в груди ее дрожала гордость — вот как он складно говорит!

— Сытых немало, честных нет! — говорил хохол.— Мы должны построить мостик через болото этой гниючей жизни к будущему царству доброты сердечной, вот наше дело, товарищи!

— Пришла пора драться, так некогда руки лечить! — глухо возразил Весовщиков.

Было уже за полночь, когда они стали расходиться. Первыми ушли Весовщиков и рыжий, это снова не понравилось матери.

«Ишь заторопились!» — недружелюбно кланяясь им, подумала она.

— Вы проводите меня, Находка? — спросила Наташа.

— А как же! — ответил хохол.

Когда Наташа одевалась в кухне, мать сказала ей:

— Чулочки-то у вас тонки для такого времени! Уж вы позвольте, я вам шерстяные свяжу?

— Спасибо, Пелагея Ниловна! Они кусаются, шерстяные! — ответила Наташа, смеясь.

— А я вам такие, что не будут кусаться! — сказала Власова.

Наташа смотрела на нее, немного прищурив глаза, и этот пристальный взгляд сконфузил мать.

— Вы извините мою глупость,— я ведь от души! — тихо добавила она.

— Славная вы какая! — тоже негромко отозвалась Наташа, быстро пожав ее руку.

— Доброй ночи, ненько! — заглянув ей в глаза, сказал хохол, согнулся и вышел в сени вслед за Наташей.

Мать посмотрела на сына — он стоял у двери в комнату и улыбался.

— Ты что смеешься? — смущенно спросила она.

— Так,— весело!

— Конечно, я старая и глупая, но хорошее и я понимаю! — с легкой обидой заметила она.

— Вот и славно! — отозвался он.— Вы бы ложились, пора!..

— Сейчас лягу!

Она суетилась вокруг стола, убирая посуду, довольная, даже вспотев от приятного волнения,— она была рада, что все было так хорошо и мирно кончилось.

— Хорошо ты придумал, Павлуша! — говорила она.— Хохол очень милый! И барышня,— ах, какая умница! Кто такая?

— Учительница! — кратко ответил Павел, расхаживая по комнате.

— То-то — бедная! Одета плохо,— ах, как плохо! Долго ли простудиться? Родители-то где у ней?..

— В Москве! — сказал Павел и, остановясь против матери, серьезно, негромко заговорил:

— Вот смотри: ее отец — богатый, торгует железом, имеет несколько домов. За то, что она пошла этой дорогой, он — прогнал ее. Она воспитывалась в тепле, ее баловали всем, чего она хотела, а сейчас вот пойдет семь верст ночью, одна...

Это поразило мать. Она стояла среди комнаты и, удивленно двигая бровями, молча смотрела на сына. Потом тихо спросила:

— В город пойдет?

— В город.

— Аа-ай! И — не боится?

— Вот — не боится! — усмехнулся Павел.

— Да зачем? Ночевала бы здесь,— легла бы со мной!

— Неудобно! Ее могут увидеть завтра утром здесь, а это не нужно нам.

Мать, задумчиво взглянув в окно, тихо спросила:

— Не понимаю я, Паша, что тут — опасного, запрещенного? Ведь ничего дурного нет, а?

Она не была уверена в этом, ей хотелось услышать от сына утвердительный ответ. Он, спокойно глядя ей в глаза, твердо заявил:

— Дурного — нет. А все-таки для всех нас впереди — тюрьма. Ты уж так и знай...

У нее дрогнули руки. Упавшим голосом она проговорила:

— А может быть,— бог даст, как-нибудь обойдется?..

— Нет! — ласково сказал сын.— Я тебя обманывать не могу. Не обойдется!

Он улыбнулся.

— Ложись, устала ведь. Покойной ночи!

Оставшись одна, она подошла к окну и встала перед ним, глядя на улицу. За окном было холодно и мутно. Играл ветер, сдувая снег с крыш маленьких сонных домов, бился о стены и что-то торопливо шептал, падал на землю и гнал вдоль улицы белые облака сухих снежинок...

— Иисусе Христе, помилуй нас! — тихо прошептала мать.

В сердце закипали слезы и, подобно ночной бабочке, слепо и жалобно трепетало ожидание горя, о котором так спокойно, уверенно говорил сын. Перед глазами ее встала плоская, снежная равнина. Холодно и тонко посвистывая, носится, мечется ветер, белый, косматый. Посреди равнины одиноко идет, качаясь, небольшая, темная фигурка девушки. Ветер путается у нее в ногах, раздувает юбку, бросает ей в лицо колючие снежинки. Трудно идти, маленькие ноги вязнут в снегу. Холодно и боязно. Девушка наклонилась вперед и — точно былинка среди мутной равнины, в резвой игре осеннего ветра. Справа от нее, на болоте, темной стеной стоит лес, там уныло шумят тонкие, голые березы и осины. Где-то далеко впереди тускло мелькают огни города...

— Господи — помилуй! — прошептала мать, вздрогнув от страха...

VII

Дни скользили один за другим, как бусы четок, слагаясь в недели, месяцы. Каждую субботу к Павлу приходили товарищи, каждое собрание являлось ступенью длинной, пологой лестницы,— она вела куда-то вдаль, медленно поднимая людей.

Появлялись новые люди. В маленькой комнате Власовых становилось тесно и душно. Приходила Наташа, иззябшая, усталая, но всегда неисчерпаемо веселая и живая. Мать связала ей чулки и сама надела на маленькие ноги. Наташа сначала смеялась, а потом вдруг замолчала, задумалась и тихонько сказала:

— У меня няня была,— тоже удивительно добрая! Как странно, Пелагея Ниловна,— рабочий народ живет такой труд-

ной, такой обидной жизнью, а ведь у него больше сердца, больше доброты, чем у тех!

И махнула рукой, указывая куда-то вдаль, очень далеко от нее.

— Вот какая вы! — сказала Власова.— Родителей лишились и всего,— она не умела докончить своей мысли, вздохнула и замолчала, глядя в лицо Наташи, чувствуя к ней благодарность за что-то. Она сидела на полу перед ней, а девушка задумчиво улыбалась, наклонив голову.

— Родителей лишилась? — повторила она.— Это — ничего! Отец у меня такой грубый, брат тоже. И — пьяница. Старшая сестра — несчастная... Вышла замуж за человека много старше ее... Очень богатый, скучный, жадный. Маму — жалко! Она у меня простая, как вы. Маленькая такая, точно мышка, так же быстро бегает и всех боится. Иногда — так хочется видеть ее...

— Бедная вы моя! — грустно качая головой, сказала мать.

Девушка быстро вскинула голову и протянула руку, как бы отталкивая что-то.

— О нет! Я порой чувствую такую радость, такое счастье!

У нее побледнело лицо и синие глаза ярко вспыхнули. Положив руки на плечи матери, она глубоким голосом сказала тихо и внушительно:

— Если бы вы знали... если бы вы поняли, какое великое дело делаем мы!..

Что-то близкое зависти коснулось сердца Власовой. Поднимаясь с пола, она грустно проговорила:

— Стара уж я для этого, неграмотна...

...Павел говорил все чаще, больше, все горячее спорил и — худел. Матери казалось, что, когда он говорит с Наташей или смотрит на нее,— его строгие глаза блестят мягче, голос звучит ласковее и весь он становится проще.

«Дай господи!» — думала она. И улыбалась.

Всегда на собраниях, чуть только споры начинали принимать слишком горячий и бурный характер, вставал хохол и, раскачиваясь, точно язык колокола, говорил своим звучным, гудящим голосом что-то простое и доброе, отчего все становились спокойнее и серьезнее. Весовщиков постоянно угрюмо торопил всех куда-то, он и рыжий, которого звали Самойлов, первые начинали все споры. С ними соглашался круглоголовый, белобрысый, точно вымытый щелоком, Иван Букин. Яков Сомов, гладкий и чистый, говорил мало, тихим, серьезным го-

лосом, он и большелобый Федя Мазин всегда стояли в спорах на стороне Павла и хохла.

Иногда вместо Наташи являлся из города Николай Иванович, человек в очках, с маленькой, светлой бородкой, уроженец какой-то дальней губернии,— он говорил особенным — на о — говорком. Он вообще весь был какой-то далекий. Рассказывал он о простых вещах — о семейной жизни, о детях, о торговле, о полиции, о ценах на хлеб и мясо — обо всем, чем люди живут изо дня в день. И во всем он открывал фальшь, путаницу, что-то глупое, порою смешное, всегда — явно не выгодное людям. Матери казалось, что он прибыл откуда-то издалека, из другого царства, там все живут честной и легкой жизнью, а здесь — все чужое ему, он не может привыкнуть к этой жизни, принять ее, как необходимую, она не нравится ему и возбуждает в нем спокойное, упрямое желание перестроить все на свой лад. Лицо у него было желтоватое, вокруг глаз тонкие, лучистые морщинки, голос тихий, а руки всегда теплые. Здороваясь с Власовой, он обнимал всю ее руку крепкими пальцами, и после такого рукопожатия на душе становилось легче, спокойнее.

Являлись и еще люди из города, чаще других — высокая стройная барышня с огромными глазами на худом, бледном лице. Ее звали Сашенька. В ее походке и движениях было что-то мужское, она сердито хмурила густые, темные брови, а когда говорила — тонкие ноздри ее прямого носа вздрагивали.

Сашенька первая сказала громко и резко:

— Мы — социалисты...

Когда мать услыхала это слово, она в молчаливом испуге уставилась в лицо барышни. Она слышала, что социалисты убили царя. Это было во дни ее молодости; тогда говорили, что помещики, желая отомстить царю за то, что он освободил крестьян, дали зарок не стричь себе волос до поры, пока они не убьют его, за это их и назвали социалистами. И теперь она не могла понять — почему же социалист сын ее и товарищи его?

Когда все разошлись, она спросила Павла:

— Павлуша, разве ты социалист?

— Да! — сказал он, стоя перед нею, как всегда, прямо и твердо.— А что?

Мать тяжело вздохнула и, опустив глаза, спросила:

— Так ли, Павлуша? Ведь они — против царя, ведь они убили одного.

Павел прошелся по комнате, погладил рукой щеку и, усмехнувшись, сказал:

— Нам это не нужно!

Он долго говорил ей что-то тихим серьезным голосом. Она смотрела ему в лицо и думала:

«Он не сделает ничего худого, он не может!»

А потом страшное слово стало повторяться все чаще, острота его стерлась, и оно сделалось таким же привычным ее уху, как десятки других непонятных слов. Но Сашенька не нравилась ей, и, когда она являлась, мать чувствовала себя тревожно, неловко...

Однажды она сказала хохлу, недовольно поджимая губы:

— Что-то уж очень строга Сашенька! Все приказывает — вы и то должны, вы и это должны...

Хохол громко засмеялся.

— Верно взято! Вы, ненько, в глаз попали! Павел, а?

И, подмигивая матери, сказал с усмешкой в глазах:

— Дворянство!

Павел сухо заметил:

— Она хороший человек.

— Это верно! — подтвердил хохол.— Только не понимает, что она — должна, а мы — хотим и можем!

Они заспорили о чем-то непонятном.

Мать заметила также, что Сашенька наиболее строго относится к Павлу, иногда она даже кричит на него. Павел, усмехаясь, молчал и смотрел в лицо девушки тем мягким взглядом, каким ранее он смотрел в лицо Наташи. Это тоже не нравилось матери.

Иногда мать поражало настроение буйной радости, вдруг и дружно овладевавшее всеми. Обыкновенно это было в те вечера, когда они читали в газетах о рабочем народе за границей. Тогда глаза у всех блестели радостью, все становились странно, как-то по-детски счастливы, смеялись веселым, ясным смехом, ласково хлопали друг друга по плечам.

— Молодцы товарищи немцы! — кричал кто-нибудь, точно опьяненный своим весельем.

— Да здравствуют рабочие Италии! — кричали в другой раз.

И, посылая эти крики куда-то вдаль, друзьям, которые не знали их и не могли понять их языка, они, казалось, были уверены, что люди, неведомые им, слышат и понимают их восторг.

Хохол говорил, блестя глазами, полный всех обнимавшего чувства любви:

— Хорошо бы написать им туда, а? Чтобы знали они, что в России живут у них друзья, которые веруют и исповедуют

одну религию с ними, живут люди одних целей и радуются их победам!

И все мечтательно, с улыбками на лицах, долго говорили о французах, англичанах и шведах как о своих друзьях, о близких сердцу людях, которых они уважают, живут их радостями, чувствуют горе.

В тесной комнате рождалось чувство духовного родства рабочих всей земли. Это чувство сливало всех в одну душу, волнуя и мать; хотя было оно непонятно ей, но выпрямляло ее своей силой, радостной и юной, охмеляющей и полной надежд.

— Какие вы! — сказала она хохлу как-то раз.— Все вам товарищи — армяне, и евреи, и австрияки,— за всех печаль и радость!

— За всех, моя ненько, за всех! — воскликнул хохол.— Для нас нет наций, нет племен, есть только товарищи, только враги. Все рабочие — наши товарищи, все богатые, все правительства — наши враги. Когда окинешь добрыми глазами землю, когда увидишь, как нас, рабочих, много, сколько силы мы несем,— такая радость обнимает сердце, такой великий праздник в груди! И так же, ненько, чувствует француз и немец, когда они взглянут на жизнь, и так же радуется итальянец. Мы все — дети одной матери — непобедимой мысли о братстве рабочего народа всех стран земли. Она греет нас, она солнце на небе справедливости, а это небо — в сердце рабочего, и кто бы он ни был, как бы ни называл себя, социалист — наш брат по духу всегда, ныне и присно и во веки веков!

Эта детская, но крепкая вера все чаще возникала среди них, все возвышалась и росла в своей могучей силе. И когда мать видела ее, она невольно чувствовала, что воистину в мире родилось что-то великое и светлое, подобное солнцу неба, видимого ею.

Часто пели песни. Простые, всем известные песни пели громко и весело, но иногда запевали новые, как-то особенно складные, но невеселые и необычные по напевам. Их пели вполголоса, серьезно, точно церковное. Лица певцов бледнели, разгорались, и в звучных словах чувствовалась большая сила.

Особенно одна из новых песен тревожила и волновала женщину. В этой песне не слышно было печального раздумья души, обиженной и одиноко блуждающей по темным тропам горестных недоумений, стонов души, забитой нуждой, запуганной страхом, безличной и бесцветной. И не звучали в ней тоскливые вздохи силы, смутно жаждущей простора, вызывающие крики задорной удали, безразлично готовой сокрушить и злое

и доброе. В ней не было слепого чувства мести и обиды, которое способно все разрушить, бессильное что-нибудь создать,— в этой песне не слышно было ничего от старого, рабьего мира.

Резкие слова и суровый напев ее не нравились матери, но за словами и напевом было нечто бо́льшее, оно заглушало звук и слово своею силой и будило в сердце предчувствие чего-то необъятного для мысли. Это нечто она видела на лицах, в глазах молодежи, она чувствовала в их грудях и, поддаваясь силе песни, не умещавшейся в словах и звуках, всегда слушала ее с особенным вниманием, с тревогой более глубокой, чем все другие песни.

Эту песню пели тише других, но она звучала сильнее всех и обнимала людей, как воздух мартовского дня — первого дня грядущей весны.

— Пора нам это на улице запеть! — угрюмо говорил Весовщиков.

Когда его отец снова что-то украл и сел в тюрьму, Николай спокойно заявил товарищам:

— Теперь у меня можно собираться...

Почти каждый вечер после работы у Павла сидел кто-нибудь из товарищей, и они читали, что-то выписывали из книг, озабоченные, не успевшие умыться. Ужинали и пили чай с книжками в руках, и все более непонятны для матери были их речи.

— Нам нужна газета! — часто говорил Павел.

Жизнь становилась торопливой и лихорадочной, люди все быстрее перебегали от одной книги к другой, точно пчелы с цветка на цветок.

— Поговаривают про нас! — сказал однажды Весовщиков.— Должны мы скоро провалиться...

— На то и перепел, чтобы в сети попасть! — отозвался хохол.

Он все больше нравился матери. Когда он называл ее «ненько», это слово точно гладило ее щеки мягкой, детской рукой. По воскресеньям, если Павлу было некогда, он колол дрова, однажды пришел с доской на плече и, взяв топор, быстро и ловко переменил сгнившую ступень на крыльце, другой раз так же незаметно починил завалившийся забор. Работая, он свистел, и свист у него был красиво печальный.

Однажды мать сказала сыну:

— Давай возьмем хохла себе в нахлебники? Лучше будет обоим вам — не бегать друг к другу.

— Зачем вам стеснять себя? — спросил Павел, пожимая плечами.

— Ну, вот еще! Всю жизнь стеснялась, не зная для чего,— для хорошего человека можно!

— Делайте как хотите! — отозвался сын.— Коли он переедет — я буду рад...

И хохол перебрался к ним.

VIII

Маленький дом на окраине слободки будил внимание людей; стены его уже щупали десятки подозрительных взглядов. Над ним беспокойно реяли пестрые крылья молвы,— люди старались спугнуть, обнаружить что-то, притаившееся за стенами дома над оврагом. По ночам заглядывали в окна, иногда кто-то стучал в стекло и быстро, пугливо убегал прочь.

Однажды Власову остановил на улице трактирщик Бегунцов, благообразный старичок, всегда носивший черную шелковую косынку на красной, дряблой шее, а на груди толстый плюшевый жилет лилового цвета. На его носу, остром и блестящем, сидели черепаховые очки, и за это его звали — Костяные Глаза.

Остановив Власову, он одним дыханием и не ожидая ответов закидал ее трескучими и сухими словами:

— Пелагея Ниловна, как здравствуете? Сынок как? Женить не собираетесь, а? Юноша в полной силе для супружества. Женить сына пораньше — родителям спокойнее. В семье человек лучше сохраняется и духом и плотию, в семье он — вроде гриба в уксусе! Я бы на вашем месте женил его. Время наше требует строгого надзора за существом человека, люди начинают жить из своей головы. В мыслях разброд пошел, и поступки достойны порицания. Божию церковь молодежь обходит, публичных мест чуждается и, собираясь тайно, по углам — шепчет. Зачем шепчут, позвольте узнать? Зачем бегут людей? Все, чего человек не смеет сказать при людях — в трактире, например,— что это такое есть? Тайна! Тайне же место — наша святая, равноапостольная церковь. Все же другие тайности, по углам совершаемые,— от заблуждения ума! Желаю вам доброго здоровья!

Вычурно изогнутой рукой он снял картуз, взмахнул им в воздухе и ушел, оставив мать в недоумении.

Соседка Власовых, Марья Корсунова, вдова кузнеца, торговавшая у ворот фабрики съестным, встретив мать на базаре, тоже сказала:

— Поглядывай за сыном, Пелагея!

— Что такое? — спросила мать.

— Слух идет! — таинственно сообщила Марья.— Нехороший, мать ты моя! Будто он устраивает артель такую, вроде хлыстов. Секты — называется это. Сечь будут друг друга, как хлысты...

— Полно, Марья, ерунду пороть!

— Не тот врет, кто порет, а тот, кто шьет! — отозвалась торговка.

Мать передавала сыну все эти разговоры, он молча пожимал плечами, а хохол смеялся своим густым, мягким смехом.

— Девицы тоже очень обижаются на вас! — говорила она.— Женихи вы для всякой девушки завидные и работники все хорошие, непьющие, а внимания на девиц не обращаете! Говорят, будто ходят к вам из города барышни зазорного поведения...

— Ну, конечно! — брезгливо сморщив лицо, воскликнул Павел.

— На болоте все гнилью пахнет! — вздохнув, молвил хохол.— А вы бы, ненько, объяснили им, дурочкам, что такое замужество, чтобы не торопились они изломать себе кости...

— Эх, батюшка! — сказала мать.— Они горе видят, они понимают, да ведь деваться им некуда, кроме этого!

— Плохо понимают, а то бы нашли путь! — заметил Павел.

Мать взглянула на его строгое лицо.

— А вы — поучите их! Позвали бы которых поумнее к себе...

— Это неудобно! — сухо отозвался сын.

— А если попробовать? — спросил хохол.

Павел помолчал и ответил:

— Начнутся прогулки парочками, потом некоторые поженятся, вот и все!

Мать задумалась. Монашеская суровость Павла смущала ее. Она видела, что его советов слушаются даже те товарищи, которые — как хохол — старше его годами, но ей казалось, что все боятся его и никто не любит за эту сухость.

Как-то раз, когда она легла спать, а сын и хохол еще читали, она подслушала сквозь тонкую переборку их тихий разговор.

— Нравится мне Наташа, знаешь? — вдруг тихо воскликнул хохол.

— Знаю! — не сразу ответил Павел.

Было слышно, как хохол медленно встал и начал ходить. По полу шаркали его босые ноги. И раздался тихий, заунывный свист. Потом снова загудел его голос:

— А замечает она это?

Павел молчал.

— Как ты думаешь? — понизив голос, спросил хохол.

— Замечает! — ответил Павел.— Поэтому и отказалась заниматься у нас...

Хохол тяжело возил ноги по полу, и снова в комнате дрожал его тихий свист. Потом он спросил:

— А если я скажу ей...

— Что?

— Что вот я...— тихо начал хохол.

— Зачем? — прервал его Павел.

Мать услышала, что хохол остановился, и почувствовала, что он усмехается.

— Да я, видишь, полагаю, что если любишь девушку, то надо же ей сказать об этом, иначе не будет никакого толка!

Павел громко захлопнул книгу. Был слышен его вопрос:

— А какого толка ты ждешь?

Оба долго молчали.

— Ну? — спросил хохол.

— Надо, Андрей, ясно представлять себе, чего хочешь,— заговорил Павел медленно.— Положим, и она тебя любит,— я этого не думаю,— но, положим, так! И вы — поженитесь. Интересный брак — интеллигентка и рабочий! Родятся дети, работать тебе надо будет одному... и — много. Жизнь ваша станет жизнью из-за куска хлеба, для детей, для квартиры; для дела — вас больше нет. Обоих нет!

Стало тихо. Потом Павел заговорил как будто мягче:

— Ты лучше брось все это, Андрей. И не смущай ее...

Тихо. Отчетливо стучит маятник часов, мерно отсекая секунды.

Хохол сказал:

— Половина сердца — любит, половина ненавидит, разве ж это сердце, а?

Зашелестели страницы книги — должно быть, Павел снова начал читать. Мать лежала, закрыв глаза, и боялась пошевелиться. Ей было до слез жаль хохла, но еще более сына. Она думала о нем:

«Милый ты мой...»

Вдруг хохол спросил:

— Так — молчать?

— Это — честнее,— тихо сказал Павел.

— По этой дороге и пойдем! — сказал хохол. И через несколько секунд продолжал грустно и тихо:— Трудно тебе будет, Паша, когда ты сам вот так...

— Мне уже трудно...

О стены дома шаркал ветер. Четко считал уходящее время маятник часов.

— Над этим — не посмеешься! — медленно проговорил хохол.

Мать ткнулась лицом в подушку и беззвучно заплакала.

Наутро Андрей показался матери ниже ростом и еще милее. А сын, как всегда, худ, прям и молчалив. Раньше мать называла хохла Андрей Онисимович, а сегодня, не замечая, сказала ему:

— Вам, Андрюша, сапоги-то починить надо бы,— так вы ноги простудите!

— А я в получку новые куплю! — ответил он, засмеялся и вдруг, положив ей на плечо свою длинную руку, спросил: — А может, вы и есть родная моя мать? Только вам не хочется в том признаться людям, как я очень некрасивый, а?

Она молча похлопала его по руке. Ей хотелось сказать ему много ласковых слов, но сердце ее было стиснуто жалостью и слова не шли с языка.

IX

В слободке говорили о социалистах, которые разбрасывают написанные синими чернилами листки. В этих листках зло писали о порядках на фабрике, о стачках рабочих в Петербурге и в южной России, рабочие призывались к объединению и борьбе за свои интересы.

Пожилые люди, имевшие на фабрике хороший заработок, ругались:

— Смутьяны! За такие дела надо морду бить!

И носили листки в контору. Молодежь читала прокламации с увлечением:

— Правда!

Большинство, забитое работой и ко всему равнодушное, лениво отзывалось:

— Ничего не будет,— разве можно?

Но листки волновали людей, и, если их не было неделю, люди уже говорили друг другу:

— Бросили, видно, печатать...

А в понедельник листки снова появлялись, и снова рабочие глухо шумели.

В трактире и на фабрике замечали новых, никому не известных людей. Они выспрашивали, рассматривали, нюхали и сразу бросались всем в глаза, одни — подозрительной осторожностью, другие — излишней навязчивостью.

Мать понимала, что этот шум поднят работой ее сына. Она видела, как люди стягивались вокруг него. И опасения за судьбу Павла сливались с гордостью за него.

Как-то вечером Марья Корсунова постучала с улицы в окно, и, когда мать открыла раму, она громким шепотом заговорила:

— Держись, Пелагея, доигрались голубчики! Ночью сегодня обыск решен у вас, у Мазина, у Весовщикова...

Толстые губы Марьи торопливо шлепались одна о другую, мясистый нос сопел, глаза мигали и косились из стороны в сторону, выслеживая кого-то на улице.

— А я ничего не знаю, и ничего я тебе не говорила и даже не видела тебя сегодня,— слышишь?

Она исчезла.

Мать, закрыв окно, медленно опустилась на стул. Но сознание опасности, грозившей сыну, быстро подняло ее на ноги, она живо оделась, зачем-то плотно окутала голову шалью и побежала к Феде Мазину,— он был болен и не работал. Когда она пришла к нему, он сидел под окном, читая книгу, и качал левой рукой правую, оттопырив большой палец. Узнав новость, он быстро вскочил, его лицо побледнело.

— Вот те и раз...— пробормотал он.

— Что надо делать-то? — дрожащей рукой отирая с лица пот, спрашивала Власова.

— Погодите,— вы не бойтесь! — ответил Федя, поглаживая здоровой рукой курчавые волосы.

— Да ведь вы сами-то боитесь! — воскликнула она.

— Я? — Щеки его вспыхнули румянцем, и, смущенно улыбаясь, он сказал: — Да-а, черт... Надо Павлу сказать. Я сейчас пошлю к нему! Вы идите,— ничего! Ведь бить не будут?

Возвратясь домой, она собрала все книжки и, прижав их к груди, долго ходила по дому, заглядывая в печь, под печку, даже в кадку с водой. Ей казалось, что Павел сейчас же бросит работу и придет домой, а он не шел. Наконец, усталая, она

села в кухне на лавку, подложив под себя книги, и так, боясь встать, просидела до поры, пока не пришли с фабрики Павел и хохол.

— Знаете? — воскликнула она, не вставая.

— Знаем! — улыбаясь, сказал Павел.— Боишься?

— Так боюсь, так боюсь!..

— Не надо бояться! — сказал хохол.— Это — ничему не помогает.

— Даже самовар не поставила! — заметил Павел.

Мать встала и, указывая на книжки, виновато объяснила:

— Да я вот все с ними...

Сын и хохол засмеялись, это ободрило ее. Павел отобрал несколько книг и понес их прятать на двор, а хохол, ставя самовар, говорил:

— Совсем ничего нет страшного, ненько, только стыдно за людей, что они пустяками занимаются. Придут взрослые мужчины с саблями на боку, со шпорами на сапогах и роются везде. Под кровать заглянут и под печку, погреб есть — в погреб полезут, на чердак сходят. Там им на рожи паутина садится, они фыркают. Скучно им, стыдно, оттого они делают вид, будто очень злые люди и сердятся на вас. Поганая работа, они же понимают! Один раз порыли у меня всё, сконфузились и ушли просто, а другой раз захватили и меня с собой. Посадили в тюрьму, месяца четыре сидел я. Сидишь-сидишь, позовут к себе, проведут по улице с солдатами, спросят что-нибудь. Народ они неумный, говорят несуразное такое, поговорят — опять велят солдатам в тюрьму отвести. Так и водят туда и сюда,— надо же им жалованье свое оправдать! А потом выпустят на волю,— вот и все!

— Как вы всегда говорите, Андрюша! — воскликнула мать.

Стоя на коленях около самовара, он усердно дул в трубу, но тут поднял свое лицо, красное от напряжения, и, обеими руками расправляя усы, спросил:

— А как говорю?

— Да будто вас никто никогда не обижал...

Он встал и, тряхнув головой, заговорил, улыбаясь:

— Разве же есть где на земле необиженная душа? Меня столько обижали, что я уже устал обижаться. Что поделаешь если люди не могут иначе? Обиды мешают дело делать, останавливаться около них — даром время терять. Такая жизнь! Я прежде, бывало, сердился на людей, а подумал,— вижу — не стоит. Всякий боится, как бы сосед не ударил, ну и старается поскорее сам в ухо дать. Такая жизнь, ненько моя!

Речь его лилась спокойно и отталкивала куда-то в сторону тревогу ожидания обыска, выпуклые глаза светло улыбались, и весь он, хотя и нескладный, был такой гибкий.

Мать вздохнула и тепло пожелала ему:

— Дал бы вам бог счастья, Андрюша!

Хохол широко шагнул к самовару, снова сел на корточки перед ним и тихо пробормотал:

— Дадут счастья — не откажусь, просить — не стану!

Вошел Павел со двора, уверенно сказал:

— Не найдут! — и стал умываться.

Потом, крепко и тщательно вытирая руки, заговорил:

— Если вы, мамаша, покажете им, что испугались, они подумают: значит, в этом доме что-то есть, коли она так дрожит. Вы ведь понимаете — дурного мы не хотим, на нашей стороне правда, и всю жизнь мы будем работать для нее — вот вся наша вина! Чего же бояться?

— Я, Паша, скреплюсь,— пообещала она. И вслед за тем у нее тоскливо вырвалось: — Уж скорее бы приходили они!

А они не пришли в эту ночь, и наутро, предупреждая возможность шуток над ее страхом, мать первая стала шутить над собой:

— Прежде страха испугалась!

X

Они явились почти через месяц после тревожной ночи. У Павла сидел Николай Весовщиков, и, втроем с Андреем, они говорили о своей газете. Было поздно, около полуночи. Мать уже легла и, засыпая, сквозь дрему слышала озабоченные, тихие голоса. Вот Андрей, осторожно шагая, прошел через кухню, тихо притворил за собой дверь. В сенях загремело железное ведро. И вдруг дверь широко распахнулась — хохол шагнул в кухню, громко шепнув:

— Шпоры звенят!

Мать вскочила с постели, дрожащими руками хватая платье, но в двери из комнаты явился Павел и спокойно сказал:

— Вы лежите,— вам нездоровится!

В сенях был слышен осторожный шорох. Павел подошел к двери и, толкнув ее рукой, спросил:

— Кто там?

В дверь странно быстро ввернулась высокая, серая фигура, за ней другая, двое жандармов оттеснили Павла, встали по бокам у него, и прозвучал высокий, насмешливый голос:

«Мать»
Кукрыниксы

— Не те, кого вы ждали, а?

Это сказал высокий, тонкий офицер с черными, редкими усами. У постели матери появился слободский полицейский Федякин и, приложив одну руку к фуражке, а другою указывая в лицо матери, сказал, сделав страшные глаза:

— Вот это мать его, ваше благородие! — И, махнув рукой на Павла, прибавил: — А это — он самый!

— Павел Власов? — спросил офицер, прищурив глаза, и, когда Павел молча кивнул головой, он заявил, крутя ус: — Я должен произвести обыск у тебя. Старуха, встань! Там—кто?— спросил он, заглядывая в комнату, и порывисто шагнул к двери.

— Ваши фамилии? — раздался его голос.

Из сеней вышли двое понятых — старый литейщик Тверяков и его постоялец, кочегар Рыбин, солидный, черный мужик. Он густо и громко сказал:

— Здравствуй, Ниловна!

Она одевалась и, чтобы придать себе бодрости, тихонько говорила:

— Что уж это! Приходят ночью,— люди спать легли, а они приходят!..

В комнате было тесно и почему-то сильно пахло ваксой. Двое жандармов и слободский пристав Рыскин, громко топая ногами, снимали с полки книги и складывали их на стол перед офицером. Другие двое стучали кулаками по стенам, заглядывали под стулья, один неуклюже лез на печь. Хохол и Весовщиков, тесно прижавшись друг к другу, стояли в углу. Рябое лицо Николая покрылось красными пятнами, его маленькие, серые глаза не отрываясь смотрели на офицера. Хохол крутил усы, и, когда мать вошла в комнату, он, усмехнувшись, ласково кивнул ей головой.

Стараясь подавить свой страх, она двигалась не боком, как всегда, а прямо, грудью вперед,— это придавало ее фигуре смешную и напыщенную важность. Она громко топала ногами, а брови у нее дрожали...

Офицер быстро хватал книги тонкими пальцами белой руки, перелистывал их, встряхивал и ловким движением кисти отбрасывал в сторону. Порою книга мягко шлепалась на пол. Все молчали, было слышно тяжелое сопение вспотевших жандармов, звякали шпоры, иногда раздавался негромкий вопрос:

— Здесь смотрел?

Мать встала рядом с Павлом у стены, сложила руки на груди, как это сделал он, и тоже смотрела на офицера. У нее вздрагивало под коленями и глаза застилал сухой туман.

Вдруг среди молчания раздался режущий ухо голос Николая:

— А зачем это нужно — бросать книги на пол?

Мать вздрогнула. Тверяков качнул головой, точно его толкнули в затылок, а Рыбин крякнул и внимательно посмотрел на Николая.

Офицер прищурил глаза и воткнул их на секунду в рябое, неподвижное лицо. Пальцы его еще быстрее стали перебрасывать страницы книг. Порою он так широко открывал свои большие серые глаза, как будто ему было невыносимо больно и он готов крикнуть громким криком бессильной злобы на эту боль.

— Солдат! — снова сказал Весовщиков.— Подними книги...

Все жандармы обернулись к нему, потом посмотрели на офицера. Он снова поднял голову и, окинув широкую фигуру Николая испытующим взглядом, протянул в нос:

— Н-но... поднимите...

Один жандарм нагнулся и, искоса глядя на Весовщикова, стал подбирать с пола растрепанные книги...

— Молчать бы Николаю-то! — тихо шепнула мать Павлу.

Он пожал плечами. Хохол опустил голову.

— Кто это читает Библию?

— Я! — сказал Павел.

— А чьи все эти книги?

— Мои! — ответил Павел.

— Так! — сказал офицер, откидываясь на спинку стула. Хрустнул пальцами тонких рук, вытянул под столом ноги, поправил усы и спросил Николая:

— Это ты — Андрей Находка?

— Я! — ответил Николай, подвигаясь вперед. Хохол вытянул руку, взял его за плечо и отодвинул назад.

— Он ошибся! Я — Андрей!..

Офицер, подняв руку и грозя Весовщикову маленьким пальцем, сказал:

— Смотри ты у меня!

Он начал рыться в своих бумагах.

С улицы в окно бездушными глазами смотрела светлая, лунная ночь. Кто-то медленно ходил за окном, скрипел снег.

— Ты, Находка, привлекался уже к дознанию по политическим преступлениям? — спросил офицер.

— В Ростове привлекался, и в Саратове... Только там жандармы говорили мне — «вы»...

Офицер мигнул правым глазом, потер его и, оскалив мелкие зубы, заговорил:

— А не известно ли вам, Находка, именно вам,— кто те мерзавцы, которые разбрасывают на фабрике преступные воззвания, а?

Хохол покачнулся на ногах и, широко улыбаясь, хотел что-то сказать, но — вновь прозвучал раздражающий голос Николая:

— Мы мерзавцев первый раз видим...

Наступило молчание, все остановились на секунду.

Шрам на лице матери побелел и правая бровь вползла кверху. У Рыбина странно задрожала его черная борода; опустив глаза, он стал медленно расчесывать ее пальцами.

— Выведите вон этого скота! — сказал офицер.

Двое жандармов взяли Николая под руки, грубо повели его в кухню. Там он остановился, крепко упираясь ногами в пол, и крикнул:

— Стойте... я оденусь!

Со двора явился пристав и сказал:

— Ничего нет, всё осмотрели!

— Ну, разумеется! — воскликнул офицер, усмехаясь.— Здесь — опытный человек...

Мать слушала его слабый, вздрагивающий и ломкий голос и, со страхом глядя в желтое лицо, чувствовала в этом человеке врага без жалости, с сердцем, полным барского презрения к людям. Она мало видела таких людей и почти забыла, что они есть.

«Вот кого потревожили!» — думала она.

— Вас, господин Андрей Онисимов Находка, незаконнорожденный, я арестую!

— За что? — спокойно спросил хохол.

— Это я вам после скажу! — со злой вежливостью ответил офицер. И, обратясь к Власовой, спросил: — Ты грамотна?

— Нет! — ответил Павел.

— Я не тебя спрашиваю! — строго сказал офицер и снова спросил: — Старуха,— отвечай!

Мать, невольно отдаваясь чувству ненависти к этому человеку, вдруг, точно прыгнув в холодную воду, охваченная дрожью, выпрямилась, шрам ее побагровел и бровь низко опустилась.

— Вы не кричите! — заговорила она, протянув к нему руку.— Вы еще молодой человек, вы горя не знаете...

— Успокойтесь, мамаша! — остановил ее Павел.

— Погоди, Павел! — крикнула мать, порываясь к столу.— Зачем вы людей хватаете?

— Это вас не касается,— молчать! — крикнул офицер, вставая.— Введите арестованного Весовщикова!

И начал читать какую-то бумагу, подняв ее к лицу.

Ввели Николая.

— Шапку снять! — крикнул офицер, прервав чтение.

Рыбин подошел к Власовой и, толкнув ее плечом, тихонько сказал:

— Не горячись, мать...

— Как же я сниму шапку, если меня за руки держат? — спросил Николай, заглушая чтение протокола.

Офицер бросил бумагу на стол.

— Подписать!

Мать смотрела, как подписывают протокол, ее возбуждение погасло, сердце упало, на глаза навернулись слезы обиды, бессилия. Этими слезами она плакала двадцать лет своего замужества, но последние годы почти забыла их разъедающий вкус; офицер посмотрел на нее и, брезгливо сморщив лицо, заметил:

— Вы преждевременно ревете, сударыня! Смотрите, вам не хватит слез впоследствии!

Снова озлобляясь, она сказала:

— У матери на все слез хватит, на все! Коли у вас есть мать — она это знает, да!

Офицер торопливо укладывал бумаги в новенький портфель с блестящим замком.

— Марш! — скомандовал он.

— До свиданья, Андрей, до свиданья, Николай! — тепло и тихо говорил Павел, пожимая товарищам руки.

— Вот именно — до свиданья! — усмехаясь, повторил офицер.

Весовщиков тяжело сопел. Его толстая шея налилась кровью, глаза сверкали жесткой злобой. Хохол блестел улыбками, кивал головой и что-то говорил матери, она крестила его и тоже говорила:

— Бог видит правых...

Наконец толпа людей в серых шинелях вывалилась в сени и, прозвенев шпорами, исчезла. Последним вышел Рыбин, он окинул Павла внимательным взглядом темных глаз, задумчиво сказал:

— Н-ну, прощайте!

И, покашливая в бороду, неторопливо вышел в сени.

Заложив руки за спину, Павел медленно ходил по комнате, перешагивая через книги и белье, валявшееся на полу, и говорил угрюмо:

— Видишь,— как это делается?..

Недоуменно рассматривая разворошенную комнату, мать тоскливо прошептала:

— Зачем Николай грубил ему?..

— Испугался, должно быть,— тихо сказал Павел.

— Пришли, схватили, увели,— бормотала мать, разводя руками.

Сын остался дома, сердце ее стало биться спокойнее, а мысль стояла неподвижно перед фактом и не могла обнять его.

— Насмехается этот желтый, грозит...

— Хорошо, мать! — вдруг решительно сказал Павел.— Давай уберем все это...

Он сказал ей «мать» и «ты», как говорил только тогда, когда вставал ближе к ней. Она подвинулась к нему, заглянула в его лицо и тихонько спросила:

— Обидели тебя?

— Да! — ответил он.— Это тяжело! Лучше бы с ними...

Ей показалось, что у него на глазах слезы, и, желая утешить, смутно чувствуя его боль, она, вздохнув, сказала:

— Погоди, возьмут и тебя!..

— Возьмут! — отозвался он.

Помолчав, мать грустно заметила:

— Экий ты, Паша, суровый! Хоть бы ты когда-нибудь утешил меня! А то — я скажу страшно, а ты еще страшнее.

Он взглянул на нее, подошел и тихо проговорил:

— Не умею я, мама! Надо тебе привыкнуть к этому.

Она вздохнула и, помолчав, заговорила, сдерживая дрожь страха:

— А может, они пытают людей? Рвут тело, ломают косточки? Как подумаю я об этом, Паша, милый, страшно!..

— Они душу ломают... Это больнее — когда душу грязными руками...

XI

На другой день стало известно, что арестованы Букин, Самойлов, Сомов и еще пятеро. Вечером забегал Федя Мазин — у него тоже был обыск, и, довольный этим, он чувствовал себя героем.

— Боялся, Федя? — спросила мать.

Он побледнел, лицо его заострилось, ноздри дрогнули.

— Боялся, что ударит офицер! Он — чернобородый, толстый, пальцы у него в шерсти, а на носу — черные очки, точ-

но — безглазый. Кричал, топал ногами! В тюрьме сгною, говорит! А меня никогда не били, ни отец, ни мать, я — один сын, они меня любили.

Он закрыл на миг глаза, сжал губы, быстрым жестом обеих рук взбил волосы на голове и, глядя на Павла покрасневшими глазами, сказал:

— Если меня когда-нибудь ударят, я весь, как нож, воткнусь в человека,— зубами буду грызть,— пусть уж сразу добьют!

— Тонкий ты, худенький! — воскликнула мать.— Куда тебе драться?

— Буду! — тихо ответил Федя.

Когда он ушел, мать сказала Павлу:

— Этот раньше всех сломится!..

Павел промолчал.

Через несколько минут дверь в кухню медленно отворилась, вошел Рыбин.

— Здравствуйте! — усмехаясь, молвил он.— Вот — опять я. Вчера привели, а сегодня — сам пришел! — Он сильно потряс руку Павла, взял мать за плечо и спросил:

— Чаем напоишь?

Павел молча рассматривал его смуглое, широкое лицо в густой, черной бороде и темные глаза. В спокойном взгляде светилось что-то значительное.

Мать ушла в кухню ставить самовар. Рыбин сел, погладил бороду и, положив локти на стол, окинул Павла темным взглядом.

— Так вот! — сказал он, как бы продолжая прерванный разговор.— Мне с тобой надо поговорить открыто. Я тебя долго оглядывал. Живем мы почти рядом; вижу — народу к тебе ходит много, а пьянства и безобразия нет. Это первое. Если люди не безобразят, они сразу заметны — что такое? Вот. Я сам глаза людям намял тем, что живу в стороне.

Речь его лилась тяжело, но свободно, он гладил бороду черной рукою и пристально смотрел в лицо Павла.

— Заговорили про тебя. Мои хозяева зовут еретиком — в церковь ты не ходишь. Я тоже не хожу. Потом явились листки эти. Это ты их придумал?

— Я! — ответил Павел.

— Уж и ты! — тревожно воскликнула мать, выглядывая из кухни.— Не один ты!

Павел усмехнулся. Рыбин тоже.

— Так! — сказал он.

Мать громко потянула носом воздух и ушла, немного обиженная тем, что они не обратили внимания на ее слова.

— Листки — это хорошо придумано. Они народ беспокоят. Девятнадцать было?

— Да! — ответил Павел.

— Значит,— все я читал! Так. Есть в них непонятное, есть лишнее,— ну, когда человек много говорит, ему слов с десяток и зря сказать приходится...

Рыбин улыбнулся,— зубы у него были белые и крепкие.

— Потом — обыск. Это меня расположило больше всего. И ты, и хохол, и Николай — все вы обнаружились...

Не находя нужного слова, он замолчал, взглянул в окно, постукал пальцами по столу.

— Обнаружили решение ваше. Дескать ты, ваше благородие, делай свое дело, а мы будем делать — свое. Хохол тоже хороший парень. Иной раз слушаю я, как он на фабрике говорит, и думаю — этого не сомнешь, его только смерть одолеет. Жилистый человек! Ты мне, Павел, веришь?

— Верю! — сказал Павел, кивнув головой.

— Вот. Гляди — мне сорок лет, я вдвое старше тебя, в двадцать раз больше видел. В солдатах три года с лишком шагал, женат был два раза, одна померла, другую бросил. На Кавказе был, духоборцев знаю. Они, брат, жизнь не одолеют, нет!

Мать жадно слушала его крепкую речь; было приятно видеть, что к сыну пришел пожилой человек и говорит с ним, точно исповедуется. Но ей казалось, что Павел ведет себя слишком сухо с гостем, и, чтобы смягчить его отношение, она спросила Рыбина:

— Может, поесть хочешь, Михайло Иванович?

— Спасибо, мать! Я поужинал. Так вот, Павел, ты, значит, думаешь, что жизнь идет незаконно?

Павел встал и начал ходить по комнате, заложив руки за спину.

— Она верно идет! — говорил он.— Вот она привела вас ко мне с открытой душой. Нас, которые всю жизнь работают, она соединяет понемногу; будет время — соединит всех! Несправедливо, тяжело построена она для нас, но сама же и открывает нам глаза на свой горький смысл, сама указывает человеку, как ускорить ее ход.

— Верно! — прервал его Рыбин.— Человека надо обновить! Если опаршивеет — своди его в баню,— вымой, надень чистую одежду — выздоровеет! Так! А как же изнутри очистить человека? Вот!

Павел заговорил горячо и резко о начальстве, о фабрике, о том, как за границей рабочие отстаивают свои права. Рыбин порой ударял пальцем по столу, как бы ставя точку. Не однажды он восклицал:

— Так!

И раз, засмеявшись, тихо сказал:

— Э-эх, молод ты! Мало знаешь людей!

Тогда Павел, остановясь против него, серьезно заметил:

— Не будем говорить о старости и о молодости! Посмотрим лучше, чьи мысли вернее.

— Значит, по-твоему, и богом обманули нас? Так. Я тоже думаю, что религия наша — фальшивая.

Тут вмешалась мать. Когда сын говорил о боге и обо всем, что она связывала с своей верой в него, что было дорого и свято для нее, она всегда искала встретить его глаза; ей хотелось молча попросить сына, чтобы он не царапал ей сердце острыми и резкими словами неверия. Но за неверием его ей чувствовалась вера, и это успокаивало ее.

«Где мне понять мысли его?» — думала она.

Ей казалось, что Рыбину, ножилому человеку, тоже неприятно и обидно слушать речи Павла. Но когда Рыбин спокойно поставил Павлу свой вопрос, она не стерпела и кратко, но настойчиво сказала:

— Насчет господа — вы бы поосторожнее! Вы — как хотите! — Переведя дыхание, она с силой, еще большей, продолжала: — А мне, старухе, опереться будет не на что в тоске моей, если вы господа бога у меня отнимете!

Глаза ее налились слезами. Она мыла посуду, и пальцы у нее дрожали.

— Вы нас не поняли, мамаша! — тихо и ласково сказал Павел.

— Ты прости, мать! — медленно и густо прибавил Рыбин и, усмехаясь, посмотрел на Павла.— Забыл я, что стара ты для того, чтобы тебе бородавки срезывать...

— Я говорил,— продолжал Павел,— не о том добром и милостивом боге, в которого вы веруете, а о том, которым попы грозят вам, как палкой,— о боге, именем которого хотят заставить всех людей подчиниться злой воле немногих...

— Вот так, да! — воскликнул Рыбин, стукнув пальцами по столу.— Они и бога подменили нам, они все, что у них в руках, против нас направляют! Ты помни, мать, бог создал человека по образу и подобию своему,— значит, он подобен человеку, если человек ему подобен! А мы — не богу подобны, но

диким зверям. В церкви нам пугало показывают... Переменить бога надо, мать, очистить его! В ложь и в клевету одели его, исказили лицо ему, чтобы души нам убить!..

Он говорил тихо, но каждое слово его речи падало на голову матери тяжелым, оглушающим ударом. И его лицо, в черной раме бороды, большое, траурное, пугало ее. Темный блеск глаз был невыносим, он будил ноющий страх в сердце.

— Нет, я лучше уйду! — сказала она, отрицательно качая головой.— Слушать это — нет моих сил!

И быстро ушла в кухню, сопровождаемая словами Рыбина:

— Вот, Павел! Не в голове, а в сердце — начало! Это есть такое место в душе человеческой, на котором ничего другого не вырастет...

— Только разум освободит человека! — твердо сказал Павел.

— Разум силы не дает! — возражал Рыбин громко и настойчиво.— Сердце дает силу,— а не голова, вот!

Мать разделась и легла в постель, не молясь. Ей было холодно, неприятно. И Рыбин, который показался ей сначала таким солидным, умным, теперь возбуждал у нее чувство вражды.

«Еретик! Смутьян! — думала она, слушая его голос.— Тоже,— пришел,— понадобилось!»

А он говорил уверенно и спокойно:

— Свято место не должно быть пусто. Там, где бог живет,— место наболевшее. Ежели выпадает он из души,— рана будет в ней — вот! Надо, Павел, веру новую придумать... надо сотворить бога — друга людям!

— Вот — был Христос! — воскликнул Павел.

— Христос был не тверд духом. Пронеси, говорит, мимо меня чашу. Кесаря признавал. Бог не может признавать власти человеческой над людьми, он — вся власть! Он душу свою не делит: это — божеское, это — человеческое... А он — торговлю признавал, брак признавал. И смоковницу проклял неправильно,— разве по своей воле не родила она? Душа тоже не по своей воле добром неплодна,— сам ли я посеял злобу в ней? Вот!

В комнате непрерывно звучали два голоса, обнимаясь и борясь друг с другом в возбужденной игре. Шагал Павел, скрипел пол под его ногами. Когда он говорил, все звуки тонули в его речи, а когда спокойно и медленно лился тяжелый голос Рыбина,— был слышен стук маятника и тихий треск мороза, щупавшего стены дома острыми когтями.

— Скажу тебе по-своему, по-кочегарски: бог — подобен огню! Так! Живет он в сердце. Сказано: бог — слово, а слово — дух...

— Разум! — настойчиво сказал Павел.

— Так! Значит — бог в сердце и в разуме, а — не в церкви! Церковь — могила бога.

Мать заснула и не слышала, когда ушел Рыбин.

Но он стал приходить часто, и, если у Павла был кто-либо из товарищей, Рыбин садился в угол и молчал, лишь изредка говоря:

— Вот. Так!

А однажды, глядя на всех из угла темным взглядом, он угрюмо сказал:

— Надо говорить о том, что есть, а что будет — нам неизвестно,— вот! Когда народ освободится, он сам увидит, как лучше. Довольно много ему в голову вколачивали, чего он не желал совсем,— будет! Пусть сам сообразит. Может, он захочет все отвергнуть,— всю жизнь и все науки, может, он увидит, что все противу него направлено,— как примерно бог церковный. Вы только передайте ему все книги в руки, а уж он сам ответит,— вот!

Но если Павел был один, они тотчас же вступали в бесконечный, но всегда спокойный спор, и мать, тревожно слушая их речи, следила за ними, стараясь понять — что говорят они? Порою ей казалось, что широкоплечий, чернобородый мужик и ее сын, стройный, крепкий,— оба ослепли. Они тычутся из стороны в сторону в поисках выхода, хватаются за все сильными, но слепыми руками, трясут, передвигают с места на место, роняют на пол и давят упавшее ногами. Задевают за все, ощупывают каждое и отбрасывают от себя, не теряя веры и надежды...

Они приучили ее слышать слова, страшные своей прямотой и смелостью, но эти слова уже не били ее с той силой, как первый раз,— она научилась отталкивать их. И порой за словами, отрицавшими бога, она чувствовала крепкую веру в него же. Тогда она улыбалась тихой, всепрощающей улыбкой. И хотя Рыбин не нравился ей, но уже не возбуждал вражды.

Раз в неделю она носила в тюрьму белье и книги для хохла, однажды ей дали свидание с ним, и, придя домой, она умиленно рассказывала:

— Он и там — как дома. Со всеми — ласковый, все с ним шутят. Трудно ему, тяжело, а — показать не хочет...

— Так и надо! — заметил Рыбин.— Мы все в горе, как в коже,— горем дышим, горем одеваемся. Хвастать тут нечем. Не у всех замазаны глаза, иные сами их закрывают,— вот! А коли глуп — терпи!..

XII

Серый, маленький дом Власовых все более и более притягивал внимание слободки. В этом внимании было много подозрительной осторожности и бессознательной вражды, но зарождалось и доверчивое любопытство. Иногда приходил какой-то человек и, осторожно оглядываясь, говорил Павлу:

— Ну-ка, брат, ты тут книги читаешь, законы-то известны тебе. Так вот, объясни ты...

И рассказывал Павлу о какой-нибудь несправедливости полиции или администрации фабрики. В сложных случаях Павел давал человеку записку в город к знакомому адвокату, а когда мог — объяснял дело сам.

Постепенно в людях возникало уважение к молодому, серьезному человеку, который обо всем говорил просто и смело, глядя на все и все слушая со вниманием, которое упрямо рылось в путанице каждого частного случая и всегда, всюду находило какую-то общую, бесконечную нить, тысячами крепких петель связывавшую людей.

Особенно поднялся Павел в глазах людей после истории с «болотной копейкой».

За фабрикой, почти окружая ее гнилым кольцом, тянулось обширное болото, поросшее ельником и березой. Летом оно дышало густыми, желтыми испарениями и на слободку с него летели тучи комаров, сея лихорадки. Болото принадлежало фабрике, и новый директор, желая извлечь из него пользу, задумал осушить его, а кстати выбрать торф. Указывая рабочим, что эта мера оздоровит местность и улучшит условия жизни для всех, директор распорядился вычитать из их заработка копейку с рубля на осушение болота.

Рабочие заволновались. Особенно обидело их, что служащие не входили в число плательщиков нового налога.

Павел был болен в субботу, когда вывесили объявление директора о сборе копейки; он не работал и не знал ничего об этом. На другой день, после обедни, к нему пришел благообразный старик, литейщик Сизов, высокий и злой слесарь Махотин и рассказали ему о решении директора.

— Собрались мы, которые постарше,— степенно говорил Сизов,— поговорили об этом, и вот, послали нас товарищи к тебе спросить,— как ты у нас человек знающий,— есть такой закон, чтобы директору нашей копейкой с комарами воевать?

— Сообрази! — сказал Махотин, сверкая узкими глазами.— Четыре года тому назад они, жулье, на баню собирали. Три тысячи восемьсот было собрано. Где они? Бани — нет!

Павел объяснил несправедливость налога и явную выгоду этой затеи для фабрики; они оба, нахмурившись, ушли. Проводив их, мать сказала, усмехаясь:

— Вот, Паша, и старики стали к тебе за умом ходить.

Не отвечая, озабоченный Павел сел за стол и начал что-то писать. Через несколько минут он сказал ей:

— Я тебя прошу: поезжай в город, отдай эту записку...

— Это опасное? — спросила она.

— Да. Там печатают для нас газету. Необходимо, чтобы история с копейкой попала в номер...

— Ну-ну! — отозвалась она.— Я сейчас...

Это было первое поручение, данное ей сыном. Она обрадовалась, что он открыто сказал ей, в чем дело.

— Это я понимаю, Паша! — говорила она, одеваясь.— Это уж они грабят! Как человека-то зовут,— Егор Иванович?

Она воротилась поздно вечером, усталая, но довольная.

— Сашеньку видела! — говорила она сыну.— Кланяется тебе. А этот Егор Иванович простой такой, шутник! Смешно говорит.

— Я рад, что они тебе нравятся! — тихо сказал Павел.

— Простые люди, Паша! Хорошо, когда люди простые! И все уважают тебя...

В понедельник Павел снова не пошел работать, у него болела голова. Но в обед прибежал Федя Мазин, взволнованный, счастливый, и, задыхаясь от усталости, сообщил:

— Идем! Вся фабрика поднялась. За тобой послали. Сизов и Махотин говорят, что лучше всех можешь объяснить. Что делается!

Павел молча стал одеваться.

— Бабы прибежали — визжат!

— Я тоже пойду! — заявила мать.— Что они там затеяли? Я пойду!

— Иди! — сказал Павел.

По улице шли быстро и молча. Мать задыхалась от волнения и чувствовала — надвигается что-то важное. В воротах

фабрики стояла толпа женщин, крикливо ругаясь. Когда они трое проскользнули во двор, то сразу попали в густую, черную, возбужденно гудевшую толпу. Мать видела, что все головы были обращены в одну сторону, к стене кузнечного цеха, где, на груде старого железа и фоне красного кирпича, стояли, размахивая руками, Сизов, Махотин, Вялов и еще человек пять пожилых, влиятельных рабочих.

— Власов идет! — крикнул кто-то.

— Власов? Давай его сюда...

— Тише! — кричали сразу в нескольких местах.

И где-то близко раздавался ровный голос Рыбина:

— Не за копейку надо стоять, а — за справедливость,— вот! Дорога нам не копейка наша,— она не круглее других, но — она тяжелее,— в ней крови человеческой больше, чем в директорском рубле,— вот! И не копейкой дорожим,— кровью, правдой,— вот!

Слова его падали на толпу и высекали горячие восклицания:

— Верно, Рыбин!

— Правильно, кочегар!

— Власов пришел!

Заглушая тяжелую возню машин, трудные вздохи пара и шелест проводов, голоса сливались в шумный вихрь. Отовсюду торопливо бежали люди, размахивая руками, разжигая друг друга горячими, колкими словами. Раздражение, всегда дремотно таившееся в усталых грудях, просыпалось, требовало выхода, торжествуя летало по воздуху, все шире расправляя темные крылья, все крепче охватывая людей, увлекая их за собой, сталкивая друг с другом, перерождаясь в пламенную злобу. Над толпой колыхалась туча копоти и пыли, облитые потом лица горели, кожа щек плакала черными слезами. На темных лицах сверкали глаза, блестели зубы.

Там, где стояли Сизов и Махотин, появился Павел и прозвучал его крик:

— Товарищи!

Мать видела, что лицо у него побледнело и губы дрожат; она невольно двинулась вперед, расталкивая толпу. Ей говорили раздраженно:

— Куда лезешь?

Толкали ее. Но это не останавливало мать, раздвигая людей плечами и локтями, она медленно протискивалась все ближе к сыну, повинуясь желанию встать рядом с ним.

А Павел, выбросив из груди слово, в которое он привык вкладывать глубокий и важный смысл, почувствовал, что горло ему сжала спазма боевой радости; охватило желание бросить людям свое сердце, зажженное огнем мечты о правде.

— Товарищи! — повторил он, черпая в этом слове восторг и силу.— Мы — те люди, которые строят церкви и фабрики, куют цепи и деньги, мы — та живая сила, которая кормит и забавляет всех от пеленок до гроба...

— Вот! — крикнул Рыбин.

— Мы всегда и везде — первые в работе и на последнем месте в жизни. Кто заботится о нас? Кто хочет нам добра? Кто считает нас людьми? Никто!

— Никто! — отозвался, точно эхо, чей-то голос.

Павел, овладевая собой, стал говорить проще, спокойнее, толпа медленно подвигалась к нему, складываясь в темное, тысячеглавое тело. Она смотрела в его лицо сотнями внимательных глаз, всасывала его слова.

— Мы не добьемся лучшей доли, покуда не почувствуем собя товарищами, семьей друзей, крепко связанных одним желанием— желанием бороться за наши права.

— Говори о деле! — грубо закричали где-то рядом с матерью.

— Не мешай! — негромко раздались два возгласа в разных местах.

Закопченные лица хмурились недоверчиво, угрюмо; десятки глаз смотрели в лицо Павла серьезно, вдумчиво.

— Социалист, а — не дурак! — заметил кто-то.

— Ух! Смело говорит! — толкнув мать в плечо, сказал высокий, кривой рабочий.

— Пора, товарищи, понять, что никто, кроме нас самих, не поможет нам! Один за всех, все за одного — вот наш закон, если мы хотим одолеть врага!

— Дело говорит, ребята! — крикнул Махотин.

И, широко взмахнув рукой, он потряс в воздухе кулаком.

— Надо вызвать директора! — продолжал Павел.

По толпе точно вихрем ударило. Она закачалась, и десятки голосов сразу крикнули:

— Директора сюда!

— Депутатов послать за ним!

Мать протолкалась вперед и смотрела на сына снизу вверх, полна гордости: Павел стоял среди старых, уважаемых рабочих, все его слушали и соглашались с ним. Ей нравилось, что он не злится, не ругается, как другие.

Точно град на железо, сыпались отрывистые восклицания, ругательства, злые слова. Павел смотрел на людей сверху и искал среди них чего-то широко открытыми глазами.

— Депутатов!

— Сизова!

— Власова!

— Рыбина! У него зубы страшные!

Вдруг в толпе раздались негромкие восклицания.

— Сам идет!..

— Директор!..

Толпа расступилась, давая дорогу высокому человеку с острой бородкой и длинным лицом.

— Позвольте! — говорил он, отстраняя рабочих с своей дороги коротким жестом руки, но не дотрагиваясь до них. Глаза у него были прищурены, и взглядом опытного владыки людей он испытующе щупал лица рабочих. Перед ним снимали шапки, кланялись ему,— он шел, не отвечая на поклоны, и сеял в толпе тишину, смущение, конфузливые улыбки и негромкие восклицания, в которых уже слышалось раскаяние детей, сознающих, что они нашалили.

Вот он прошел мимо матери, скользнув по ее лицу строгими глазами, остановился перед грудой железа. Кто-то сверху протянул ему руку — он не взял ее, свободно, сильным движением тела влез наверх, встал впереди Павла и Сизова и спросил:

— Это — что за сборище? Почему бросили работу?

Несколько секунд было тихо. Головы людей покачивались, точно колосья. Сизов, махнув в воздухе картузом, повел плечами и опустил голову.

— Я спрашиваю! — крикнул директор.

Павел встал рядом с ним и громко сказал, указывая на Сизова и Рыбина:

— Мы трое уполномочены товарищами потребовать, чтобы вы отменили свое распоряжение о вычете копейки...

— Почему? — спросил директор, не взглянув на Павла.

— Мы не считаем справедливым такой налог на нас! — громко сказал Павел.

— Вы что же, в моем намерении осушить болото видите только желание эксплуатировать рабочих, а не заботу об улучшении их быта? Да?

— Да! — ответил Павел.

— И вы тоже? — спросил директор Рыбина.

— Все одинаково! — ответил Рыбин.

— А вы, почтенный? — обратился директор к Сизову.

— Да и я тоже попрошу: уж вы оставьте копеечку-то при нас!

И, снова наклонив голову, Сизов виновато улыбнулся.

Директор медленно обвел глазами толпу, пожал плечами. Потом испытующе оглядел Павла и заметил ему:

— Вы кажетесь довольно интеллигентным человеком — неужели и вы не понимаете пользу этой меры?

Павел громко ответил:

— Если фабрика осушит болото за свой счет — это все поймут!

— Фабрика не занимается филантропией! — сухо заметил директор.— Я приказываю всем немедленно встать на работу!

И он начал спускаться вниз, осторожно ощупывая ногой железо и не глядя ни на кого.

В толпе раздался недовольный гул.

— Что? — спросил директор, остановясь.

Все замолчали, только откуда-то издали раздался одинокий голос:

— Работай сам!..

— Если через пятнадцать минут вы не начнете работать — я прикажу записать всем штраф! — сухо и внятно ответил директор.

Он снова пошел сквозь толпу, но теперь сзади него возникал глухой ропот, и чем глубже уходила его фигура, тем выше поднимались крики.

— Говори с ним!

— Вот те и права! Эх, судьбишка...

Обращались к Павлу, крича ему:

— Эй, законник, что делать теперь?

— Говорил ты, говорил, а он пришел — все стер!

— Ну-ка, Власов, как быть?

Когда крики стали настойчивее, Павел заявил:

— Я предлагаю, товарищи, бросить работу до поры, пока он не откажется от копейки...

Возбужденно запрыгали слова:

— Нашел дураков!

— Стачка?

— Из-за копейки-то?

— А что? Ну, и стачка!

— Всех за это — в шею...

— А кто работать будет?

— Найдутся!

— Иуды?

XIII

Павел сошел вниз и встал рядом с матерью.

Все вокруг загудели, споря друг с другом, волнуясь, вскрикивая.

— Не свяжешь стачку! — сказал Рыбин, подходя к Павлу.— Хоть и жаден народ, да труслив. Сотни три встанут на твою сторону, не больше. Этакую кучу навоза на одни вилы не поднимешь...

Павел молчал. Перед ним колыхалось огромное, черное лицо толпы и требовательно смотрело ему в глаза. Сердце стучало тревожно. Власову казалось, что его слова исчезли бесследно в людях, точно редкие капли дождя, упавшие на землю, истощенную долгой засухой.

Он пошел домой грустный, усталый. Сзади него шли мать и Сизов, а рядом шагал Рыбин и гудел в ухо:

— Ты хорошо говоришь, да — не сердцу,— вот! Надо в сердце, в самую глубину искру бросить. Не возьмешь людей разумом, не по ноге обувь — тонка, узка!

Сизов говорил матери:

— Пора нам, старикам, на погост, Ниловна! Начинается новый народ. Что мы жили? На коленках ползали и всё в землю кланялись. А теперь люди,— не то опамятовались, не то — еще хуже ошибаются, ну — не похожи на нас. Вот она, молодежь-то, говорит с директором, как с равным... да-а! До увидания, Павел Михайлов, хорошо ты, брат, за людей стоишь! Дай бог тебе,— может, найдешь ходы-выходы,— дай бог!

Он ушел.

— Да, умирайте-ка! — бормотал Рыбин.— Вы уж и теперь не люди, а — замазка, вами щели замазывать. Видел ты, Павел, кто кричал, чтобы тебя в депутаты? Те, которые говорят, что ты социалист, смутьян,— вот! — они! Дескать, прогонят его — туда ему и дорога.

— Они, по-своему, правы! — сказал Павел.

— И волки правы, когда товарища рвут...

Лицо у Рыбина было угрюмое, голос необычно вздрагивал.

— Не поверят люди голому слову,— страдать надо, в крови омыть слово...

Весь день Павел ходил сумрачный, усталый, странно обеспокоенный, глаза у него горели и точно искали чего-то. Мать, заметив это, осторожно спросила:

— Ты что, Паша, а?

— Голова болит,— задумчиво сказал он.

— Лег бы,— а я доктора позову...

Он взглянул на нее и торопливо ответил:

— Нет, не надо!

И вдруг тихо заговорил:

— Молод, слабосилен я,— вот что! Не поверили мне, не пошли за моей правдой,— значит — не умел я сказать ее!.. Нехорошо мне,— обидно за себя!

Она, глядя в сумрачное лицо его и желая утешить, тихонько сказала:

— Ты — погоди! Сегодня не поняли — завтра поймут...

— Должны понять! — воскликнул он.

— Ведь вот даже я вижу твою правду...

Павел подошел к ней.

— Ты, мать,— хороший человек...

И отвернулся от нее. Она, вздрогнув, как обожженная тихими словами, приложила руку к сердцу и ушла, бережно унося его ласку.

Ночью, когда она спала, а он, лежа в постели, читал книгу, явились жандармы и сердито начали рыться везде, на дворе, на чердаке. Желтолицый офицер вел себя так же, как и в первый раз,— обидно, насмешливо, находя удовольствие в издевательствах, стараясь задеть за сердце. Мать, сидя в углу, молчала, не отрывая глаз от лица сына. Он старался не выдавать своего волнения, но когда офицер смеялся, у него странно шевелились пальцы, и она чувствовала, что ему трудно не отвечать жандарму, тяжело сносить его шутки. Теперь ей не было так страшно, как во время первого обыска, она чувствовала больше ненависти к этим серым ночным гостям со шпорами на ногах, и ненависть поглощала тревогу.

Павел успел шепнуть ей:

— Меня возьмут...

Она, наклонив голову, тихо ответила:

— Понимаю...

Она понимала — его посадят в тюрьму за то, что он говорил сегодня рабочим. Но с тем, что он говорил, соглашались все, и все должны вступиться за него, значит — долго держать его не будут...

Ей хотелось обнять его, заплакать, но рядом стоял офицер и, прищурив глаза, смотрел на нее. Губы у него вздрагивали, усы шевелились — Власовой казалось, что этот человек ждет ее слез, жалоб и просьб. Собрав все силы, стараясь говорить меньше, она сжала руку сына и, задерживая дыхание, медленно, тихо сказала:

— До свиданья, Паша. Все взял, что надо?

— Все. Не скучай...

— Христос с тобой...

Когда его увели, она села на лавку и, закрыв глаза, тихо завыла. Опираясь спиной о стену, как, бывало, делал ее муж, туго связанная тоской и обидным сознанием своего бессилия, она, закинув голову, выла долго и однотонно, выливая в этих звуках боль раненого сердца. А перед нею неподвижным пятном стояло желтое лицо с редкими усами, и прищуренные глаза смотрели с удовольствием. В груди ее черным клубком свивалось ожесточение и злоба на людей, которые отнимают у матери сына за то, что сын ищет правду.

Было холодно, в стекла стучал дождь, казалось, что, в ночи, вокруг дома ходят, подстерегая, серые фигуры с широкими красными лицами без глаз, с длинными руками. Ходят и чуть слышно звякают шпорами.

«Взяли бы и меня»,— думала она.

Провыл гудок, требуя людей на работу. Сегодня он выл глухо, низко и неуверенно. Отворилась дверь, вошел Рыбин. Он встал перед нею и, стирая ладонью капли дождя с бороды, спросил:

— Увели?

— Увели, проклятые! — вздохнув, ответила она.

— Такое дело! — сказал Рыбин, усмехнувшись.— И меня — обыскали, ощупали, да-а. Изругали... Ну — не обидели, однако. Увели, значит, Павла! Директор мигнул, жандарм кивнул, и — нет человека? Они дружно живут. Одни народ доят, а другие — за рога держат...

— Вам бы вступиться за Павла-то! — воскликнула мать, вставая.— Ведь он ради всех пошел.

— Кому вступиться? — спросил Рыбин.

— Всем!

— Ишь — ты! Нет, этого не случится.

Усмехаясь, он вышел своей тяжелой походкой, увеличив горе матери суровой безнадежностью своих слов.

«Вдруг — бить будут, пытать?..»

Она представляла себе тело сына, избитое, изорванное, в крови, и страх холодной глыбой ложился на грудь, давил ее. Глазам было больно.

Она не топила печь, не варила себе обед и не пила чая, только поздно вечером съела кусок хлеба. И когда легла спать — ей думалось, что никогда еще жизнь ее не была такой одинокой, голой. За последние годы она привыкла жить

в постоянном ожидании чего-то важного, доброго. Вокруг нее шумно и бодро вертелась молодежь, и всегда перед нею стояло серьезное лицо сына, творца этой тревожной, но хорошей жизни. А вот нет его, и — ничего нет.

XIV

Медленно прошел день, бессонная ночь и еще более медленно другой день. Она ждала кого-то, но никто не являлся. Наступил вечер. И — ночь. Вздыхал и шаркал по стене холодный дождь, в трубе гудело, под полом возилось что-то. С крыши канала вода, и унылый звук ее падения странно сливался со стуком часов. Казалось, весь дом тихо качается, и все вокруг было ненужным, омертвело в тоске...

В окно тихо стукнули,— раз, два... Она привыкла к этим стукам, они не пугали ее, но теперь вздрогнула от радостного укола в сердце. Смутная надежда быстро подняла ее на ноги. Бросив на плечи шаль, она открыла дверь...

Вошел Самойлов, а за ним еще какой-то человек, с лицом, закрытым воротником пальто, в надвинутой на брови шапке.

— Разбудили мы вас? — не здороваясь, спросил Самойлов, против обыкновения озабоченный и хмурый.

— Не спала я! — ответила она и молча, ожидающими глазами уставилась на них.

Спутник Самойлова. тяжело и хрипло вздыхая, снял шапку и, протянув матери широкую руку с короткими пальцами, сказал ей дружески, как старой знакомой:

— Здравствуйте, мамаша! Не узнали?

— Это вы? — воскликнула Власова, вдруг чему-то радуясь.— Егор Иванович?

— Аз есмь! — ответил он, наклоняя свою большую голову с длинными, как у псаломщика, волосами. Его полное лицо добродушно улыбалось, маленькие серые глазки смотрели в лицо матери ласково и ясно. Он был похож на самовар,— такой же круглый, низенький, с толстой шеей и короткими руками. Лицо лоснилось и блестело, дышал он шумно, и в груди все время что-то булькало, хрипело...

— Пройдите в комнату, я сейчас оденусь! — предложила мать.

— У нас к вам дело есть! — озабоченно сказал Самойлов, исподлобья взглянув на нее.

Егор Иванович прошел в комнату и оттуда говорил:

— Сегодня утром, милая мамаша, из тюрьмы вышел известный вам Николай Иванович...

— Разве он там? — спросила мать.

— Два месяца и одиннадцать дней. Видел там хохла — он кланяется вам, и Павла, который — тоже кланяется, просит вас не беспокоиться и сказать вам, что на пути его местом отдыха человеку всегда служит тюрьма — так уж установлено заботливым начальством нашим. Затем, мамаша, я приступлю к делу. Вы знаете, сколько народу схватили здесь вчера?

— Нет! А разве — кроме Паши? — воскликнула мать.

— Он — сорок девятый! — перебил ее Егор Иванович спокойно.— И надо ждать, что начальство заберет еще человек с десяток! Вот этого господина тоже...

— Да, и меня! — хмуро сказал Самойлов.

Власова почувствовала, что ей стало легче дышать...

«Не один он там!» — мелькнуло у нее в голове.

Одевшись, она вошла в комнату и бодро улыбнулась гостю.

— Наверно, долго держать не будут, если так много забрали...

— Правильно! — сказал Егор Иванович.— А если мы ухитримся испортить им эту обедню, так они и совсем в дураках останутся. Дело стоит так: если мы теперь перестанем доставлять на фабрику наши книжечки, жандармишки уцепятся за это грустное явление и обратят его против Павла со товарищи, иже с ним ввергнуты в узилище...

— Как же это? — тревожно крикнула мать.

— А очень просто! — мягко сказал Егор Иванович.— Иногда и жандармы рассуждают правильно. Вы подумайте: был Павел — были книжки и бумажки, нет Павла — нет ни книжек, ни бумажек! Значит, это он сеял книжечки, ага-а? Ну, и начнут они есть всех,— жандармы любят так окорнать человека, чтобы от него остались одни пустяки!

— Я понимаю, понимаю! — тоскливо сказала мать.— Ах, господи! Как же теперь?

Из кухни раздался голос Самойлова:

— Всех почти выловили,— черт их возьми!.. Теперь нам нужно дело продолжать по-прежнему, не только для дела,— а и для спасения товарищей.

— А — работать некому! — добавил Егор, усмехаясь.— Литература у нас есть превосходного качества,— сам делал!.. А как ее на фабрику внести — сие неизвестно!

— Стали обыскивать всех в воротах! — сказал Самойлов.

Мать чувствовала, что от нее чего-то хотят, ждут, и торопливо спрашивала:

— Ну, так что же? Как же?

Самойлов встал в дверях и сказал:

— Вы, Пелагея Ниловна, знакомы с торговкой Корсуновой...

— Знакома, ну?

— Поговорите с ней, не пронесет ли она?

Мать отрицательно замахала руками.

— Ой, нет! Баба она болтливая,— нет! Как узнают, что через меня,— из этого дома,— нет, нет!

И вдруг, осененная внезапной мыслью, она тихо заговорила:

— Вы мне дайте, дайте — мне! Уж я устрою, я сама найду ход! Я Марью же и попрошу, пусть она меня в помощницы возьмет! Мне хлеб есть надо, работать надо же! Вот я и буду обеды туда носить! Уж я устроюсь!

Прижав руки к груди, она торопливо уверяла, что сделает все хорошо, незаметно, и в заключение, торжествуя, воскликнула:

— Они увидят — Павла нет, а рука его даже из острога достигает,— они увидят!

Все трое оживились. Егор, крепко потирая руки, улыбался и говорил:

— Чудесно, мамаша! Знали бы вы, как это превосходно? Прямо — очаровательно.

— Я в тюрьму, как в кресло сяду, если это удастся! — потирая руки, заметил Самойлов.

— Вы — красавица! — хрипло кричал Егор.

Мать улыбнулась. Ей было ясно: если теперь листки появятся на фабрике,— начальство должно будет понять, что не ее сын распространяет их. И, чувствуя себя способной исполнить задачу, она вся вздрагивала от радости.

— Когда пойдете на свидание с Павлом,— говорил Егор,— скажите ему, что у него хорошая мать...

— Я его раньше увижу! — усмехаясь, пообещал Самойлов.

— Вы так ему и скажите — я все, что надо, сделаю! Чтобы он знал это!..

— А если его не посадят? — спросил Егор, указывая на Самойлова.

— Ну — что же делать!

Они оба захохотали. И она, поняв свой промах, начала смеяться, тихо и смущенно, немножко лукавя.

— За своим — чужое плохо видно! — сказала она, опустив глаза.

— Это — естественно! — воскликнул Егор.— А насчет Павла вы не беспокойтесь, не грустите. Из тюрьмы он еще лучше воротится. Там отдыхаешь и учишься, а на воле у нашего брата для этого времени нет. Я вот трижды сидел и каждый раз, хотя и с небольшим удовольствием, но с несомненной пользой для ума и сердца.

— Дышите вы тяжело! — сказала она, дружелюбно глядя в его простое лицо.

— На это есть особые причины! — ответил он, подняв палец кверху.— Так, значит, решено, мамаша? Завтра мы вам доставим материалец, и снова завертится пила разрушения вековой тьмы. Да здравствует свободное слово, и да здравствует сердце матери! А пока — до свиданья!

— До свиданья! — сказал Самойлов, крепко пожимая руку ей.— А я вот своей матери и заикнуться не могу ни о чем таком,— да!

— Все поймут! — сказала Власова, желая сделать приятное ему.

Когда они ушли, она заперла дверь и, встав на колени среди комнаты, стала молиться под шум дождя. Молилась без слов, одной большой думой о людях, которых ввел Павел в ее жизнь. Они как бы проходили между нею и иконами, проходили все такие простые, странно близкие друг другу и одинокие.

Рано утром она отправилась к Марье Корсуновой.

Торговка, как всегда замасленная и шумная, встретила ее сочувственно.

— Тоскуешь? — спросила она, похлопав мать по плечу жирной рукой.— Брось! Взяли, увезли, эка беда! Ничего худого тут нету. Это раньше было — за кражи в тюрьму сажали, а теперь за правду начали сажать. Павел, может, и не так что-нибудь сказал, но он за всех встал — и все его понимают, не беспокойся! Не все говорят, а все знают, кто хорош. Я все собиралась зайти к тебе, да вот некогда. Стряпаю да торгую, а умру, видно, нищей. Любовники меня одолевают, анафемы! Так и гложут, так и гложут, словно тараканы каравай. Накопишь рублей десяток, явится какой-нибудь еретик — и слижет деньги! Бедовое дело — бабой быть! Поганая должность на земле! Одной жить трудно, вдвоем — нудно!

— А я к тебе в помощницы проситься пришла! — сказала Власова, перебивая ее болтовню.

— Это как? — спросила Марья и, выслушав подругу, утвердительно кивнула головой.

— Можно! Помнишь, ты меня, бывало, от мужа моего прятала? Ну, теперь я тебя от нужды спрячу... Тебе все должны помочь, потому — твой сын за общественное дело пропадает. Хороший парень он у тебя, это все говорят, как одна душа, и все его жалеют. Я скажу — от арестов этих добра начальству не будет,— ты погляди, что на фабрике делается? Нехорошо говорят, милая! Они там, начальники, думают — укусили человека за пятку, далеко не уйдет! Ан выходит так, что десяток ударили — сотни рассердились!

Разговор кончился тем, что на другой день в обед Власова была на фабрике с двумя корчагами Марьиной стряпни, а сама Марья пошла торговать на базар.

XV

Рабочие сразу заметили новую торговку. Одни, подходя к ней, одобрительно говорили:

— За дело взялась, Ниловна?

И одни утешали, доказывая, что Павла скоро выпустят, другие тревожили ее печальное сердце словами соболезнования, третьи озлобленно ругали директора, жандармов, находя в груди ее ответное эхо. Были люди, которые смотрели на нее злорадно, а табельщик Исай Горбов сказал сквозь зубы:

— Кабы я был губернатором, я бы твоего сына — повесил! Не сбивай народ с толку!

От этой злой угрозы на нее повеяло мертвым холодом. Она ничего не сказала в ответ Исаю, только взглянула в его маленькое, усеянное веснушками лицо и, вздохнув, опустила глаза в землю.

На фабрике было неспокойно, рабочие собирались кучками, о чем-то вполголоса говорили между собой, всюду шныряли озабоченные мастера, порою раздавались ругательства, раздраженный смех.

Двое полицейских провели мимо нее Самойлова; он шел, сунув одну руку в карман, а другой приглаживая свои рыжеватые волосы.

Его провожала толпа рабочих, человек в сотню, погоняя полицейских руганью и насмешками...

— Гулять пошел, Гриша! — крикнул ему кто-то.

— Почет нашему брату! — поддержал другой.— Со стражей ходим...

И крепко выругался.

— Воров ловить, видно, невыгодно стало! — зло и громко говорил высокий и кривой рабочий.— Начали честных людей таскать...

— Хоть бы ночью таскали! — вторил кто-то из толпы.— А то днем — без стыда,— сволочи!

Полицейские шли угрюмо, быстро, стараясь ничего не видеть и будто не слыша восклицаний, которыми провожали их. Встречу им трое рабочих несли большую полосу железа и, направляя ее на них, кричали:

— Берегитесь, рыбаки!

Проходя мимо Власовой, Самойлов, усмехаясь, кивнул ей головой и сказал:

— Поволокли!

Она молча, низко поклонилась ему, ее трогали эти молодые, честные, трезвые, уходившие в тюрьму с улыбками на лицах; у нее возникала жалостливая любовь матери к ним.

Воротясь с фабрики, она провела весь день у Марьи, помогая ей в работе и слушая ее болтовню, а поздно вечером пришла к себе в дом, где было пусто, холодно и неуютно. Она долго совалась из угла в угол, не находя себе места, не зная, что делать. И ее беспокоило, что вот уже скоро ночь, а Егор Иванович не несет литературу, как он обещал.

За окном мелькали тяжелые, серые хлопья осеннего снега. Мягко приставая к стеклам, они бесшумно скользили вниз и таяли, оставляя за собой мокрый след. Она думала о сыне...

В дверь осторожно постучались, мать быстро подбежала, сняла крючок,— вошла Сашенька. Мать давно ее не видала, и теперь первое, что бросилось ей в глаза, это неестественная полнота девушки.

— Здравствуйте! — сказала она, радуясь, что пришел человек и часть ночи она проведет не в одиночестве.— Давно не видать было вас. Уезжали?

— Нет, я в тюрьме сидела! — ответила девушка, улыбаясь.— Вместе с Николаем Ивановичем,— помните его?

— Как же не помнить! — воскликнула мать.— Мне вчера Егор Иванович говорил, что его выпустили, а про вас я не знала... Никто и не сказал, что вы там...

— Да что же об этом говорить?.. Мне,— пока не пришел Егор Иванович,— переодеться надо! — сказала девушка, оглядываясь.

— Мокрая вы вся...

— Я листовки и книжки принесла...

— Давайте, давайте! — заторопилась мать.

Девушка быстро расстегнула пальто, встряхнулась, и с нее, точно листья с дерева, посыпались на пол, шелестя, пачки бумаги. Мать, смеясь, подбирала их с пола, и говорила:

— А я смотрю — полная вы такая, думала, замуж вышли, ребеночка ждете. Ой-ой, сколько принесли! Неужели пешком?

— Да! — сказала Сашенька. Она теперь снова стала стройной и тонкой, как прежде. Мать видела, что щеки у нее ввалились, глаза стали огромными и под ними легли темные пятна.

— Только что выпустили вас,— вам бы отдохнуть, а вы! — вздохнув и качая головой, сказала мать.

— Нужно! — ответила девушка, вздрагивая.— Скажите, как Павел Михайлович,— ничего?.. Не очень взволновался?

Спрашивая, Сашенька не смотрела на мать; наклонив голову, она поправляла волосы, и пальцы ее дрожали.

— Ничего! — ответила мать.— Да ведь он себя не выдаст.

— Ведь у него крепкое здоровье? — тихо проговорила девушка.

— Не хворал, никогда! — ответила мать.— Дрожите вы вся. Вот я чаем вас напою с вареньем малиновым.

— Это хорошо бы! Только стоит ли вам беспокоиться? Поздно. Давайте, я сама...

— Усталая-то? — укоризненно отозвалась мать, принимаясь возиться около самовара. Саша тоже вышла в кухню, села там на лавку и, закинув руки за голову, заговорила:

— Все-таки,— ослабляет тюрьма. Проклятое безделье! Нет ничего мучительнее. Знаешь, как много нужно работать, и — сидишь в клетке, как зверь...

— Кто вознаградит вас за все? — спросила мать.

И, вздохнув, ответила сама себе:

— Никто, кроме господа! Вы, поди-ка, тоже не верите в него?

— Нет! — кратко ответила девушка, качнув головой.

— А я вот вам не верю! — вдруг возбуждаясь, заявила мать. И, быстро вытирая запачканные углем руки о фартук, она с глубоким убеждением продолжала: — Не понимаете вы веры вашей! Как можно без веры в бога жить такою жизнью?

В сенях кто-то громко затопал, заворчал, мать вздрогнула, девушка быстро вскочила и торопливо зашептала:

— Не отпирайте! Если это — они, жандармы, вы меня не знаете!.. Я — ошиблась домом, зашла к вам случайно, упала в обморок, вы меня раздели, нашли книги,— понимаете?

— Милая вы моя,— зачем? — умиленно спросила мать.

— Подождите! — прислушиваясь, сказала Сашенька.— Это, кажется, Егор...

Это был он, мокрый и задыхающийся от усталости.

— Ага! Самоварчик? — воскликнул он.— Это лучше всего в жизни, мамаша! Вы уже здесь, Сашенька?

Наполняя маленькую кухню хриплыми звуками, он медленно стаскивал тяжелое пальто и, не останавливаясь, говорил:

— Вот, мамаша, девица неприятная для начальства! Будучи обижена смотрителем тюрьмы, она объявила ему, что уморит себя голодом, если он не извинится перед ней, и восемь дней не кушала, по какой причине едва не протянула ножки. Недурно? Животик-то у меня каков?

Болтая и поддерживая короткими руками безобразно отвисший живот, он прошел в комнату, затворил за собою дверь, но и там продолжал что-то говорить.

— Неужто восемь дней не кушали вы? — удивленно спросила мать.

— Нужно было, чтобы он извинился предо мной! — отвечала девушка, зябко поводя плечами. Ее спокойствие и суровая настойчивость отозвались в душе матери чем-то похожим на упрек.

«Вот как!..» — подумала она и снова спросила: — А если бы умерли?

— Что же поделаешь! — тихо отозвалась девушка.— Он все-таки извинился. Человек не должен прощать обиду.

— Да-а...— медленно отозвалась мать.— А вот нашу сестру всю жизнь обижают...

— Я разгрузился! —объявил Егор, отворяя дверь.— Самоварчик готов? Позвольте, я его втащу...

Он поднял самовар и понес его, говоря:

— Собственноручный мой папаша выпивал в день не менее двадцати стаканов чаю, почему и прожил на сей земле безболезненно и мирно семьдесят три года. Имел он восемь пудов весу и был дьячком в селе Воскресенском...

— Вы отца Ивана сын? — воскликнула мать.

— Именно! А почему вам сие известно?

— Да я из Воскресенского!..

— Землячка? Чьих будете?

— Соседи ваши! Серегина я.

— Хромого Нила дочка? Лицо мне знакомое, ибо не однажды драл меня за уши...

Они стояли друг против друга и, осыпая один другого вопросами, смеялись. Сашенька, улыбаясь, посмотрела на них и стала заваривать чай. Стук посуды возвратил мать к настоящему.

— Ой, простите, заговорилась! Очень уж приятно земляка видеть...

— Это мне нужно просить прощения за то, что я тут распоряжаюсь! Но уж одиннадцатый час, а мне далеко идти...

— Куда идти? В город? — удивленно спросила мать.

— Да.

— Что вы? Темно, мокро,— устали вы! Ночуйте здесь! Егор Иванович в кухне ляжет, а мы с вами тут...

— Нет, я должна идти! — просто заявила девушка.

— Да, землячка, требуется, чтобы барышня исчезла. Ее здесь знают. И, если она завтра покажется на улице, это будет нехорошо! — заявил Егор.

— Как же она? Одна пойдет?..

— Пойдет! — сказал Егор, усмехаясь.

Девушка налила себе чаю, взяла кусок ржаного хлеба, посолила и стала есть, задумчиво глядя на мать.

— Как это вы ходите? И вы и Наташа? Я бы не пошла,— боязно! — сказала Власова.

— Да и она боится! — заметил Егор.— Вы боитесь, Саша?

— Конечно! — ответила девушка.

Мать взглянула на нее, на Егора и тихонько воскликнула:

— Какие вы... строгие!

Выпив чаю, Сашенька молча пожала руку Егора, пошла в кухню, а мать, провожая ее, вышла за нею. В кухне Сашенька сказала:

— Увидите Павла Михайловича — передайте ему мой поклон! Пожалуйста!

А взявшись за скобу двери, вдруг обернулась, негромко спросив:

— Можно поцеловать вас?

Мать молча обняла ее и горячо поцеловала.

— Спасибо! — тихо сказала девушка и, кивнув головой, ушла.

Возвратясь в комнату, мать тревожно взглянула в окно. Во тьме тяжело падали мокрые хлопья снега.

— А Прозоровых помните? — спросил Егор.

Он сидел, широко расставив ноги, и громко дул на стакан чаю. Лицо у него было красное, потное, довольное.

— Помню, помню! — задумчиво сказала мать, боком подходя к столу. Села и, глядя на Егора печальными глазами, медленно протянула: — Ай-ай-яй! Сашенька-то? Как она дойдет?

— Устанет! — согласился Егор.— Тюрьма ее сильно пошатнула, раньше девица крепче была... К тому же воспитания она нежного... Кажется — уже испортила себе легкие...

— Кто она такая? — тихо осведомилась мать.

— Дочь помещика одного. Отец — большой прохвост, как она говорит. Вам, мамаша, известно, что они хотят пожениться?

— Кто?

— Она и Павел... Но — вот, все не удается,— он на воле, она в тюрьме, и наоборот!

— Я этого не знала! — помолчав, ответила мать.— Паша о себе ничего не говорит...

Теперь ей стало еще больше жалко девушку, и, с невольной неприязнью взглянув на гостя, она проговорила:

— Вам бы проводить ее!..

— Нельзя! — спокойно ответил Егор.— У меня здесь куча дела, и я с утра должен буду целый день ходить, ходить, ходить. Занятие немилое, при моей одышке...

— Хорошая она девушка,— неопределенно проговорила мать, думая о том, что сообщил ей Егор. Ей было обидно услышать это не от сына, а от чужого человека, и она плотно поджала губы, низко опустив брови.

— Хорошая! — кивнул головой Егор.— Вижу я — вам ее жалко. Напрасно! У вас не хватит сердца, если вы начнете жалеть всех нас, крамольников. Всем живется не очень легко, говоря правду. Вот недавно воротился из ссылки мой товарищ. Когда он ехал через Нижний — жена и ребенок ждали его в Смоленске, а когда он явился в Смоленск — они уже были в московской тюрьме. Теперь очередь жены ехать в Сибирь. У меня тоже была жена, превосходный человек, пять лет такой жизни свели ее в могилу...

Он залпом выпил стакан чаю и продолжал рассказывать. Перечислял годы и месяцы тюремного заключения, ссылки, сообщал о разных несчастиях, об избиениях в тюрьмах, о голо-

де в Сибири. Мать смотрела на него, слушала и удивлялась, как просто и спокойно он говорил об этой жизни, полной страданий, преследований, издевательств над людьми...

— Но — поговоримте о деле!

Голос его изменился, лицо стало серьезнее. Он начал спрашивать ее, как она думает пронести на фабрику книжки, а мать удивлялась его тонкому знанию разных мелочей.

Кончив с этим, они снова стали вспоминать о своем родном селе; он шутил, а она задумчиво бродила в своем прошлом, и оно казалось ей странно похожим на болото, однообразно усеянное кочками, поросшее тонкой, пугливо дрожащей осиной, невысокою елью и заплутавшимися среди кочек белыми березами. Березы росли медленно и, простояв лет пять на зыбкой, гнилой почве, падали и гнили. Она смотрела на эту картину, и ей было нестерпимо жалко чего-то. Перед нею стояла фигура девушки с резким, упрямым лицом. Она теперь шла среди мокрых хлопьев снега, одинокая, усталая. А сын сидит в тюрьме. Может быть, он не спит еще, думает... Но думает не о ней, о матери,— у него есть человек ближе нее. Пестрой, спутанной тучей ползли на нее тяжелые мысли и крепко обнимали сердце...

— Устали вы, мамаша! Давайте-ка ляжем спать! — сказал Егор, улыбаясь.

Она простилась с ним и боком, осторожно прошла в кухню, унося в сердце едкое, горькое чувство.

Поутру, за чаем, Егор спросил ее:

— А если вас сцапают и спросят, откуда вы взяли все эти еретицкие книжки,— вы что скажете?

— «Не ваше дело» — скажу! — ответила она.

— Они с этим ни за что не согласятся! — возразил Егор.— Они глубоко убеждены, что это — именно их дело! И будут спрашивать усердно, долго!

— А я не скажу!

— А вас в тюрьму!

— Ну что ж? Слава богу — хоть на это гожусь! — сказала она, вздыхая.— Кому я нужна? Никому. А пытать не будут, говорят...

— Гм! — сказал Егор, внимательно посмотрев на нее.— Пытать — не будут. Но хороший человек должен беречь себя...

— У вас этому не научишься! — ответила мать, усмехаясь.

Егор, помолчав, прошелся по комнате, потом подошел к ней и сказал:

— Трудно, землячка! Чувствую я — очень трудно вам!

— Всем трудно! — махнув рукой, ответила она.— Может, только тем, которые понимают, им — полегче... Но я тоже понемножку понимаю, чего хотят хорошие-то люди...

— А коли вы это понимаете, мамаша, значит, всем вы им нужны — всем! — серьезно сказал Егор.

Она взглянула на него и молча усмехнулась.

В полдень она спокойно и деловито обложила свою грудь книжками и сделала это так ловко и удобно, что Егор с удовольствием щелкнул языком, заявив:

— Зер гут! как говорит хороший немец, когда выпьет ведро пива. Вас, мамаша, не изменила литература: вы остались доброй, пожилой женщиной, полной и высокого роста. Да благословят бесчисленные боги ваше начинание!..

Через полчаса, согнутая тяжестью своей ноши, спокойная и уверенная, она стояла у ворот фабрики. Двое сторожей, раздражаемые насмешками рабочих, грубо ощупывали всех входящих во двор, переругиваясь с ними. В стороне стоял полицейский и тонконогий человек с красным лицом, с быстрыми глазами. Мать, передвигая коромысло с плеча на плечо, исподлобья следила за ним, чувствуя, что это шпион.

Высокий, кудрявый парень в шапке, сдвинутой на затылок, кричал сторожам, которые обыскивали его:

— Вы, черти, в голове ищите, а не в кармане!

Один из сторожей ответил:

— У тебя в голове, кроме вшей, ничего нет...

— Вам и ловить вшей, а не ершей! — откликнулся рабочий.

Шпион окинул его быстрым взглядом и сплюнул.

— Меня-то пропустили бы! — попросила мать.— Видите, человек с ношей, спина ломится!

— Иди, иди! — сердито крикнул сторож.— Рассуждает тоже...

Мать дошла до своего места, составила корчаги на землю и, отирая пот с лица, оглянулась.

К ней тотчас же подошли слесаря братья Гусевы, и старший, Василий, хмуря брови, громко спросил:

— Пироги есть?

— Завтра принесу! — ответила она.

Это был условленный пароль. Лица братьев просветлели. Иван, не утерпев, воскликнул:

— Эх ты, мать честная...

Василий присел на корточки, заглядывая в корчагу, и в то же время за пазухой у него очутилась пачка листовок.

— Иван,— громко говорил он,— не пойдем домой, давай у нее обедать! — А сам быстро засовывал книжки в голенища сапог.— Надо поддержать новую торговку...

— Надо! — согласился Иван и захохотал.

Мать, осторожно оглядываясь, покрикивала:

— Щи, лапша горячая!

И, незаметно вынимая книги, пачку за пачкой, совала их в руки братьев. Каждый раз, когда книги исчезали из ее рук, перед нею вспыхивало желтым пятном, точно огонь спички в темной комнате, лицо жандармского офицера, и она мысленно со злорадным чувством говорила ему:

«На-ко тебе, батюшка...»

Передавая следующую пачку, прибавляла удовлетворенно:

«На-ко...»

Подходили рабочие с чашками в руках; когда они были близко, Иван Гусев начинал громко хохотать, и Власова спокойно прекращала передачу, разливая щи и лапшу, а Гусевы шутили над ней:

— Ловко действует Ниловна!

— Нужда заставит и мышей ловить! — угрюмо заметил какой-то кочегар.— Кормильца-то — оторвали. Сволочи! Ну-ка, на три копейки лапши. Ничего, мать! Перебьешься.

— Спасибо на добром слове! — улыбнулась она ему.

Он, уходя, в сторону ворчал:

— Недорого мне стоит доброе-то слово...

Власова покрикивала:

— Горячее — щи, лапша, похлебка...

И думала о том, как расскажет сыну свой первый опыт, а перед нею все стояло желтое лицо офицера, недоумевающее и злое. На нем растерянно шевелились черные усы, и из-под верхней, раздраженно вздернутой губы блестела белая кость крепко сжатых зубов. В груди ее птицею пела радость, брови лукаво вздрагивали, и она, ловко делая свое дело, приговаривала про себя:

— А вот — еще!..

XVI

Вечером, когда она пила чай, за окном раздалось чмоканье лошадиных копыт по грязи и прозвучал знакомый голос. Она вскочила, бросилась в кухню, к двери, по сеням кто-то быстро шел, у нее потемнело в глазах, и, прислонясь к косяку, она толкнула дверь ногой.

«Мать»
Кукрыниксы

— Добрый вечер, ненько! — раздался знакомый голос, и на плечи ее легли сухие, длинные руки.

В сердце ее вспыхнули тоска разочарования и — радость видеть Андрея. Вспыхнули, смешались в одно большое, жгучее чувство; оно обняло ее горячей волной, обняло, подняло, и она ткнулась лицом в грудь Андрея. Он крепко сжал ее, руки его дрожали, мать молча, тихо плакала, он гладил ее волосы и говорил, точно пел:

— А не плачьте, ненько, не томите сердца! Честное слово говорю вам — скоро его выпустят! Ничего у них нет против него, все ребята молчат, как вареные рыбы...

Обняв плечи матери, он ввел ее в комнату, а она, прижимаясь к нему, быстрым жестом белки отирала с лица слезы и жадно, всей грудью, глотала его слова.

— Кланяется вам Павел, здоров и весел, как только может быть. Тесно там! Народу — больше сотни нахватали, и наших и городских, в одной камере по трое и по четверо сидят. Начальство тюремное ничего, хорошее, и устало оно — так много задали работы ему чертовы жандармы! Так оно, начальство, не очень строго командует, а все говорит: «Вы уж, господа, потише, не подводите нас!» Ну, и все идет хорошо. Разговаривают, книги друг другу передают, едой делятся. Хорошая тюрьма! Старая она, грязная, а — мягкая такая, легкая. Уголовные тоже славный народ, помогают нам много. Выпустили меня, Букина и еще четырех. Скоро и Павла выпустят, уж это верно! Дольше всех Весовщиков будет сидеть, сердятся на него очень. Ругает он всех, не уставая! Жандармы смотреть на него не могут. Пожалуй, попадет он под суд или поколотят его однажды. Павел уговаривает его: «Брось, Николай! Они ведь лучше не будут, если ты обругаешь их!» А он ревет: «Сковырну их с земли, как болячки!» Хорошо держится Павел, ровно, твердо. Скоро его выпустят, говорю вам...

— Скоро! — сказала мать, успокоенная и ласково улыбаясь.— Я знаю, скоро!

— Вот и хорошо, коли знаете! Ну, наливайте же мне чаю, говорите, как жили.

Он смотрел на нее, улыбаясь весь, такой близкий, славный, и в круглых глазах светилась любовная, немного грустная искра.

— Очень я люблю вас, Андрюша! — глубоко вздохнув, сказала мать, разглядывая его худое лицо, смешно поросшее темными кустиками волос.

— С меня немногого довольно. Я знаю, что вы меня любите,— вы всех можете любить, сердце у вас большое! — покачиваясь на стуле, говорил хохол.

— Нет, вас я особенно люблю! — настаивала она.— Была бы у вас мать, завидовали бы ей люди, что сын у нее такой...

Хохол качнул головой и крепко потер ее обеими руками.

— Где-нибудь есть и у меня мать...— тихо сказал он.

— А знаете, что я сегодня сделала? — воскликнула она и торопливо, захлебываясь от удовольствия, немножко прикрашивая, рассказала, как она пронесла на фабрику литературу.

Он сначала удивленно расширил глаза, потом захохотал, двигая ногами, колотил себя пальцами по голове и радостно кричал:

— Ого! Ну,— это не шутка! Это дело! Павел-то будет рад, а? Это — хорошо, ненько! И для Павла и для всех!

Он с восхищением щелкал пальцами, свистал и весь качался, блестел радостью и возбуждал в ней сильный, полный отзвук.

— Милый вы мой, Андрюша! — заговорила она так, как будто у нее открылось сердце и из него ручьем брызнули, играя, полные тихой радости слова.— Думала я о своей жизни — господи Иисусе Христе! Ну, зачем я жила? Побои... работа... ничего не видела, кроме мужа, ничего не знала, кроме страха! И как рос Паша — не видела, и любила ли его, когда муж жив был,— не знаю! Все заботы мои, все мысли были об одном — чтобы накормить зверя своего вкусно, сытно, вовремя угодить ему, чтобы он не угрюмился, не пугал бы побоями, пожалел бы хоть раз. Не помню, чтобы пожалел когда. Бил он меня, точно не жену бьет, а — всех, на кого зло имеет. Двадцать лет так жила, а что было до замужества — не помню! Вспоминаю — и, как слепая, ничего не вижу! Был тут Егор Иванович — мы с ним из одного села, говорит он и то и се, а я — дома помню, людей помню, а как люди жили, что говорили, что у кого случилось — забыла! Пожары помню,— два пожара. Видно, все из меня было выбито, заколочена душа наглухо, ослепла, не слышит...

Она перевела дыхание и, жадно глотая воздух, как рыба, вытащенная из воды, наклонилась вперед и продолжала, понизив голос:

— Помер муж, я схватилась за сына,— а он пошел по этим делам. Вот тут плохо мне стало и жалко его... Пропадет, как я буду жить? Сколько страху, тревоги испытала я, сердце разрывалось, когда думала о его судьбе...

Она замолчала и, тихо качая головой, проговорила значительно:

— Нечистая она, наша бабья любовь!.. Любим мы то, что нам надо. А вот смотрю я на вас,— о матери вы тоскуете,— зачем она вам? И все другие люди за народ страдают, в тюрьмы идут и в Сибирь, умирают... Девушки молодые ходят ночью, одни, по грязи, по снегу, в дождик,— идут семь верст из города к нам. Кто их гонит, кто толкает? Любят они! Вот они — чисто любят! Веруют! Веруют, Андрюша! А я — не умею так! Я люблю свое, близкое!

— Вы можете! — сказал хохол и, отвернув от нее лицо, крепко, как всегда, потер руками голову, щеку и глаза.— Все любят близкое, но — в большом сердце и далекое — близко! Вы много можете. Велико у вас материнское...

— Дай господи! — тихо сказала она.— Я ведь чувствую,— хорошо так жить! Вот я вас люблю,— может, я вас люблю лучше, чем Пашу. Он — закрытый... Вот он жениться хочет на Сашеньке, а мне, матери, не сказал про это...

— Неверно! — возразил хохол.— Я знаю это. Неверно. Он ее любит, и она его — верно. А жениться — этого не будет, нет! Она бы хотела, да Павел не хочет...

— Вот как? — задумчиво и тихо сказала мать, и глаза ее грустно остановились на лице хохла.— Да. Вот как? Отказываются люди от себя...

— Павел — редкий человек! — тихонько произнес хохол.— Железный человек...

— Теперь вот — сидит он в тюрьме! — вдумчиво продолжала мать.— Тревожно это, боязно,— а — не так уж! Вся жизнь не такая, и страх другой,— за всех тревожно. И сердце другое,— душа глаза открыла, смотрит: грустно ей и радостно. Не понимаю я многого, и так обидно, горько мне, что в господа бога не веруете вы! Ну, это уж — ничего не поделаешь! Но вижу — хорошие вы люди, да! И обрекли себя на жизнь трудную за народ, на тяжелую жизнь за правду. Правду вашу я тоже поняла: покуда будут богатые — ничего не добьется народ, ни правды, ни радости, ничего! Вот живу я среди вас, иной раз ночью вспомнишь прежнее, силу мою, ногами затоптанную, молодое сердце мое забитое — жалко мне себя, горько! Но все-таки лучше мне стало жить. Все больше я сама себя вижу...

Хохол встал и, стараясь не шаркать ногами, начал осторожно ходить по комнате, высокий, худой, задумчивый.

— Хорошо сказали вы! — тихо воскликнул он.— Хорошо. Был в Керчи еврей молоденький, писал он стихи и однажды написал такое:

И невинно убиенных —
Сила правды воскресит!..

Его самого полиция там, в Керчи, убила, но это — неважно! Он правду знал и много посеял ее в людях. Так вот вы — невинно убиенный человек...

— Говорю я теперь,— продолжала мать,— говорю, сама себя слушаю,— сама себе не верю. Всю жизнь думала об одном — как бы обойти день стороной, прожить бы его незаметно, чтобы не тронули меня только? А теперь обо всех думаю, может, и не так понимаю я дела ваши, а все мне — близкие, всех жалко, для всех — хорошего хочется. А вам, Андрюша,— особенно!..

Он подошел к ней и сказал:

— Спасибо!

Взял ее руку в свои, крепко стиснул, потряс и быстро отвернулся в сторону. Утомленная волнением, мать не торопясь мыла чашки и молчала, в груди у нее тихо теплилось бодрое, греющее сердце чувство.

Хохол, расхаживая, говорил ей:

— Вот бы, ненько, Весовщикова приласкать вам однажды! Сидит у него отец в тюрьме — поганенький такой старичок. Николай увидит его из окна и ругает. Нехорошо это! Он добрый, Николай,— собак любит, мышей и всякую тварь, а людей — не любит! Вот до чего можно испортить человека!

— Мать у него без вести пропала, отец — вор и пьяница,— задумчиво сказала женщина.

Когда Андрей отправился спать, мать незаметно перекрестила его, а когда он лег и прошло с полчаса времени, она тихонько спросила:

— Не спите, Андрюша?

— Нет,— а что?

— Спокойной ночи!

— Спасибо, ненько, спасибо! — благодарно ответил он.

XVII

На следующий день, когда Ниловна подошла со своей ношей к воротам фабрики, сторожа грубо остановили ее и, приказав поставить корчаги на землю, тщательно осмотрели все.

— Простудите вы у меня кушанье! — спокойно заметила она, в то время как они грубо ощупывали ее платье.

— Молчи! — угрюмо сказал сторож.

Другой, легонько толкнув ее в плечо, уверенно сказал:

— Я говорю — через забор бросают!

К ней первым подошел старик Сизов и, оглянувшись, негромко спросил:

— Слышала, мать?

— Что?

— Бумажки-то! Опять появились! Прямо — как соли на хлеб насыпали их везде. Вот тебе и аресты и обыски! Мазина, племянника моего, в тюрьму взяли,— ну, и что же? Взяли сына твоего,— ведь вот, теперь видно, что это не они!

Он собрал свою бороду в руку, посмотрел на нее и, отходя, сказал:

— Что не зайдешь ко мне? Чай, скучно одной-то...

Она поблагодарила и, выкрикивая названия кушаний, зорко наблюдала за необычайным оживлением на фабрике. Все были возбуждены, собирались, расходились, перебегали из одного цеха в другой. В воздухе, полном копоти, чувствовалось веяние чего-то бодрого, смелого. То здесь, то там раздавались одобрительные восклицания, насмешливые возгласы. Пожилые рабочие осторожно усмехались. Озабоченно расхаживало начальство, бегали полицейские, и, заметив их, рабочие медленно расходились или, оставаясь на местах, прекращали разговор, молча глядя в озлобленные, раздраженные лица.

Рабочие казались все чисто умытыми. Мелькала высокая фигура старшего Гусева; уточкой ходил его брат и хохотал.

Мимо матери не спеша прошел мастер столярного цеха Вавилов и табельщик Исай. Маленький, щуплый табельщик, закинув голову кверху, согнул шею налево и, глядя в неподвижное, надутое лицо мастера, быстро говорил, тряся бородкой:

— Они, Иван Иванович, хохочут,— им это приятно, хотя дело касается разрушения государства, как сказали господин директор. Тут, Иван Иванович, не полоть, а пахать надо...

Вавилов шел, заложив руки за спину, и пальцы его были крепко сжаты...

— Ты там печатай, сукин сын, что хошь,— громко сказал он,— а про меня — не смей!

Подошел Василий Гусев, заявляя:

— А я опять у тебя обедать буду, вкусно!

И, понизив голос, прищурив глаза, тихонько добавил:

— Попали метко... Эх, мамаша, очень хорошо!

Мать ласково кивнула ему головой. Ей нравилось, что этот парень, первый озорник в слободке, говоря с нею секретно, обращался на «вы», нравилось общее возбуждение на фабрике, и она думала про себя:

«А ведь — кабы не я...»

Недалеко остановились трое чернорабочих, и один негромко, с сожалением сказал:

— Нигде не нашел...

— А послушать надо бы! Я неграмотный, но вижу, что попало-таки им под ребро!..— заметил другой.

Третий оглянулся и предложил:

— Идемте в котельную...

— Действует! — шепнул Гусев, подмигивая.

Ниловна пришла домой веселая.

— Жалеют там люди, что неграмотные они! — сказала она Андрею.— А я вот молодая умела читать, да забыла...

— Поучитесь! — предложил хохол.

— В мои-то годы? Зачем людей смешить...

Но Андрей взял с полки книгу и, указывая концом ножа на букву на обложке, спросил:

— Это что?

— Рцы! — смеясь, ответила она.

— А это?

— Аз...

Ей было неловко и обидно. Показалось, что глаза Андрея смеются над нею скрытым смехом, и она избегала их взглядов. Но голос его звучал мягко и спокойно, лицо было серьезно.

— Неужто вы, Андрюша, в самом деле думаете учить меня? — спросила она, невольно усмехаясь.

— А что ж? — отозвался он.— Коли вы читали — легко вспомнить. Не будет чуда — нет худа, а будет чудо — не худо!

— А то говорят: на образ взглянешь — свят не станешь!

— Э! — кивнув головой, сказал хохол.— Поговорок много. Меньше знаешь — крепче спишь, чем неверно? Поговорками — желудок думает, он из них уздечки для души плетет, чтобы лучше было править ею. А это какая буква?

— Люди! — сказала мать.

— Так! Вот они как растопырились. Ну, а эта?

Напрягая зрение, тяжело двигая бровями, она с усилием вспоминала забытые буквы и, незаметно отдаваясь во власть

своих усилий, забылась. Но скоро у нее устали глаза. Сначала явились слезы утомления, а потом часто закапали слезы грусти.

— Грамоте учусь! — всхлипнув, сказала она.— Сорок лет, а я только еще грамоте учиться начала...

— Не надо плакать! — сказал хохол ласково и тихо.— Вы не могли жить иначе,— а вот всё ж таки понимаете, что жили плохо! Тысячи людей могут лучше вас жить,— а живут, как скоты, да еще хвастаются — хорошо живем! А что в том хорошего — и сегодня человек поработал да поел и завтра — поработал да поел, да так все годы свои — работает и ест? Между этим делом народит детей себе и сначала забавляется ими, а как и они тоже много есть начнут, он — сердится, ругает их — скорей, обжоры, растите, работать пора! И хотел бы детей своих сделать домашним скотом, но они начинают работать для своего брюха,— и снова тянут жизнь, как вор мочало! — Только те настояще — люди, которые сбивают цепи с разума человека. Вот теперь и вы, по силе вашей, за это взялись.

— Ну, что я? — вздохнула она.— Где мне?

— А — как же? Это точно дождик — каждая капля зерно поит. А начнете вы читать...

Он засмеялся, встал и начал ходить по комнате.

— Нет, вы учитесь!.. Павел придет, а вы — эгэ?

— Ах, Андрюша! — сказала мать.— Молодому — все просто. А как поживешь,— горя-то — много, силы-то — мало, а ума — совсем нет...

XVIII

Вечером хохол ушел, она зажгла лампу и села к столу вязать чулок. Но скоро встала, нерешительно прошлась по комнате, вышла в кухню, заперла дверь на крюк и, усиленно двигая бровями, воротилась в комнату. Опустила занавески на окнах и, взяв книгу с полки, снова села к столу, оглянулась, наклонилась над книгой, губы ее зашевелились. Когда с улицы доносился шум, она, вздрогнув, закрывала книгу ладонью, чутко прислушиваясь... И снова, то закрывая глаза, то открывая их, шептала:

— Живете, иже — жи, земля, наш...

Постучались в дверь, мать вскочила, сунула книгу на полку и спросила тревожно:

— Кто там?

— Я...

Вошел Рыбин, солидно погладил бороду и заметил:

— Раньше пускала без спросу людей. Одна? Так. А я думал — хохол дома. Сегодня я его видел... Тюрьма человека не портит.

Сел и сказал матери:

— Давай-ка поговорим...

Он смотрел значительно, таинственно, внушая матери смутное беспокойство.

— Все стоит денег! — начал он своим тяжелым голосом.— Даром не родишься, не умрешь,— вот. И книжки и листочки — стоят денег. Ты знаешь, откуда деньги на книжки идут?

— Не знаю,— тихо сказала мать, чувствуя что-то опасное.

— Так. Я тоже не знаю. Второе — книжки кто составляет?

— Ученые...

— Господа! — молвил Рыбин, и бородатое лицо напряглось, покраснело.— Значит — господа книжки составляют, они раздают. А в книжках этих пишется — против господ. Теперь,— скажи ты мне,— какая им польза тратить деньги для того, чтобы народ против себя поднять, а?

Мать, мигнув глазами, пугливо вскрикнула:

— Что ты думаешь?..

— Ага! — сказал Рыбин и заворочался на стуле медведем.— Вот. Я тоже, как дошел до этой мысли,— холодно стало.

— Узнал что-нибудь?

— Обман! — ответил Рыбин.— Чувствую — обман. Ничего не знаю, а — есть обман. Вот. Господа мудрят чего-то. А мне нужно правду. И я правду понял. А с господами не пойду. Они, когда понадобится, толкнут меня вперед,— да по моим костям, как по мосту, дальше зашагают...

Он точно связывал сердце матери угрюмыми словами.

— Господи! — с тоской воскликнула мать.— Неужто Паша не понимает? И все, которые...

Перед нею замелькали серьезные, честные лица Егора, Николая Ивановича, Сашеньки, сердце у нее встрепенулось.

— Нет, нет! — заговорила она, отрицательно качая головой.— Не могу поверить. Они — за совесть.

— Про кого говоришь? — задумчиво спросил Рыбин.

— Про всех... про всех до единого, кого видела!

— Не туда глядишь, мать, гляди дальше! — сказал Рыбин, опустив голову.— Те, которые близко подошли к нам, они,

может, сами ничего не знают. Они верят — так надо! А может — за ними другие есть, которым — лишь бы выгода была? Человек против себя зря не пойдет...

И, с тяжелым убеждением крестьянина, он прибавил:

— Никогда ничего хорошего от господ не будет!

— Что ты надумал? — спросила мать, снова охваченная сомнением.

— Я? — Рыбин взглянул на нее, помолчал и повторил: — От господ надо дальше. Вот.

Потом снова помолчал, угрюмый.

— Хотел я к парням пристегнуться, чтобы вместе с ними. Я в это дело — гожусь,— знаю, что надо сказать людям. Вот. Ну, а теперь я уйду. Не могу я верить, должен уйти.

Он опустил голову, подумал.

— Пойду один по селам, по деревням. Буду бунтовать народ. Надо, чтобы сам народ взялся. Если он поймет — он пути себе откроет. Вот я и буду стараться, чтобы понял — нет у него надежды, кроме себя самого, нету разума, кроме своего. Так-то!

Ей стало жаль его, она почувствовала страх за этого человека. Всегда неприятный ей, теперь он как-то вдруг встал ближе; она тихо сказала:

— Поймают тебя...

Рыбин посмотрел на нее и спокойно ответил:

— Поймают,— выпустят. А я — опять...

— Сами же мужики свяжут. И будешь в тюрьме сидеть...

— Посижу — выйду. Опять пойду. А что до мужиков — раз свяжут, два, да и поймут,— не вязать надо меня, а — слушать. Я скажу им: «Вы мне не верьте, вы только слушайте». А будут слушать — поверят!

Он говорил медленно, как бы ощупывая каждое слово, прежде чем сказать его.

— Я тут, последнее время, много наглотался. Понял кое-что...

— Пропадешь, Михайло Иванович! — грустно качая головой, молвила она.

Темными, глубокими глазами он смотрел на нее, спрашивая и ожидая. Его крепкое тело нагнулось вперед, руки упирались в сиденье стула, смуглое лицо казалось бледным в черной раме бороды.

— А слыхала, как Христос про зерно сказал? Не умрешь — не воскреснешь в новом колосе. До смерти мне далеко. Я — хитрый!

Он завозился на стуле и не спеша встал.

— Пойду в трактир, посижу там на людях. Хохол что-то нейдет. Начал хлопотать?

— Да! — сказала мать, улыбаясь.

— Так и надо. Ты ему скажи про меня...

Они медленно пошли плечо к плечу в кухню и, не глядя друг на друга, перекидывались краткими словами.

— Ну, прощай!

— Прощай. Когда расчет берешь?..

— Взял.

— А когда уходишь?

— Завтра. Рано утром. Прощай!

Рыбин согнулся и неохотно, неуклюже вылез в сени. Мать с минуту стояла перед дверью, прислушиваясь к тяжелым шагам и сомнениям, разбуженным в ее груди. Потом тихо повернулась, прошла в комнату и, приподняв занавеску, посмотрела в окно. За стеклом неподвижно стояла черная тьма.

«Ночью живу!» — подумала она.

Ей было жалко степенного мужика — он такой широкий, сильный.

Пришел Андрей, оживленный и веселый.

Когда она рассказала ему о Рыбине, он воскликнул:

— Ну, и пускай ходит по деревням, звонит о правде, будит народ. С нами трудно ему. У него в голове свои, мужицкие, мысли выросли, нашим — тесно там...

— Вот — о господах говорил он,— есть тут что-то! — осторожно заметила мать.— Не обманули бы!

— Задевает? — смеясь, вскричал хохол.— Эх, ненько, деньги! Были бы они у нас! Мы еще всё на чужой счет живем. Вот Николай Иванович получает семьдесят пять рублей в месяц — нам пятьдесят отдает. Так же и другие. Да голодные студенты иной раз пришлют немного, собрав по копейкам. А господа, конечно, разные бывают. Одни — обманут, другие — отстанут, а с нами — самые лучшие пойдут...

Он хлопнул руками и крепко продолжал:

— До нашего праздника — орел не долетит, а все-таки вот мы первого мая небольшой устроим! Весело будет!

Его оживление отталкивало тревогу, посеянную Рыбиным. Хохол ходил по комнате, потирая рукой голову, и, глядя в пол, говорил:

— Знаете, иногда такое живет в сердце,— удивительное! Кажется, везде, куда ты ни придешь,— товарищи, все горят

одним огнем, все веселые, добрые, славные. Без слов друг друга понимают... Живут все хором, а каждое сердце поет свою песню. Все песни, как ручьи, бегут — льются в одну реку, и течет река широко и свободно в море светлых радостей новой жизни.

Мать старалась не двигаться, чтобы не помешать ему, не прерывать его речи. Она слушала его всегда с бóльшим вниманием, чем других,— он говорил проще всех, и его слова сильнее трогали сердце. Павел никогда не говорил о том, что видит впереди. А этот, казалось ей, всегда был там частью своего сердца, в его речах звучала сказка о будущем празднике для всех на земле. Эта сказка освещала для матери смысл жизни и работы ее сына и всех товарищей его.

— А очнешься,— говорил хохол, встряхнув головой,— поглядишь кругом — холодно и грязно! Все устали, обозлились...

С глубокой печалью он продолжал:

— Обидно это,— а надо не верить человеку, надо бояться его и даже — ненавидеть! Двоится человек. Ты бы — только любить хотел, а как это можно? Как простить человеку, если он диким зверем на тебя идет, не признает в тебе живой души и дает пинки в человеческое лицо твое? Нельзя прощать! Не за себя нельзя,— я за себя все обиды снесу,— но потакать насильникам не хочу, не хочу, чтобы на моей спине других бить учились.

Теперь глаза у него вспыхнули холодным огнем, он упрямо наклонил голову и говорил тверже.

— Я не должен прощать ничего вредного, хоть бы мне и не вредило оно. Я — не один на земле! Сегодня я позволю себя обидеть и, может, только посмеюсь над обидой, не уколет она меня,— а завтра, испытав на мне свою силу, обидчик пойдет с другого кожу снимать. И приходится на людей смотреть разно, приходится держать сердце строго, разбирать людей: это — свои, это — чужие. Справедливо — а не утешает!

Мать вспомнила почему-то офицера и Сашеньку. Вздыхая, она сказала:

— Уж какие хлебы из несеяной муки!..

— Тут и горе! — воскликнул хохол.

— Да-а! — сказала мать. В памяти ее теперь встала фигура мужа, угрюмая, тяжелая, точно большой камень, поросший мохом. Она представила себе хохла мужем Наташи и сына женатым на Сашеньке.

— А отчего? — спросил хохол, загораясь.— Это так хорошо видно, что даже смешно. Оттого только, что неровно люди стоят. Так давайте же поравняем всех! Разделим поровну все, что сделано разумом, все, что сработано руками! Не будем держать друг друга в рабстве страха и зависти, в плену жадности и глупости!..

Они часто стали говорить так.

Находку снова приняли на фабрику, он отдавал ей весь свой заработок, и она брала эти деньги так же спокойно, как принимала их из рук Павла.

Иногда Андрей предлагал матери с улыбкой в глазах:

— Почитаем, ненько, а?

Она шутливо, но настойчиво отказывалась, ее смущала эта улыбка, и, немножко обижаясь, она думала:

«Если ты смеешься,— так зачем же?»

И все чаще спрашивала его, что значит то или другое книжное слово, чуждое ей. Спрашивая, она смотрела в сторону, голос ее звучал безразлично. Он догадался, что она потихоньку учится сама, понял ее стыдливость и перестал предлагать ей читать с ним. Скоро она заявила ему:

— Глаза у меня слабеют, Андрюша. Очки бы надо.

— Дело! — отозвался он.— Вот в воскресенье пойду с вами в город, покажу вас доктору, и будут очки...

XIX

Она уже трижды ходила просить свидания с Павлом, и каждый раз жандармский генерал, седой старичок с багровыми щеками и большим носом, ласково отказывал ей.

— Через недельку, матушка, не раньше! Через недельку — мы посмотрим,— а сейчас — невозможно...

Он был круглый, сытенький и напоминал ей спелую сливу, немного залежавшуюся и уже покрытую пушистой плесенью. Он всегда ковырял в мелких белых зубах острой желтой палочкой, его небольшие зеленоватые глазки ласково улыбались, голос звучал любезно, дружески.

— Вежливый! — вдумчиво говорила она хохлу.— Все улыбается...

— Да, да! — сказал хохол.— Они — ничего, ласковые, улыбаются. Им скажут: «А ну, вот это умный и честный человек, он опасен нам, повесьте-ка его!» Они улыбнутся и повесят, а потом — опять улыбаться будут.

— Тот, который у нас с обыском был, он проще,— сопоставляла мать.— Сразу видно, что собака...

— Все они — не люди, а так, молотки, чтобы оглушать людей. Инструменты. Ими обделывают нашего брата, чтобы мы были удобнее. Сами они уже сделаны удобными для управляющей нами руки — могут работать всё, что их заставят, не думая, не спрашивая, зачем это нужно.

Наконец ей дали свидание, и в воскресенье она скромно сидела в углу тюремной канцелярии. Кроме нее, в тесной и грязной комнате с низким потолком было еще несколько человек, ожидавших свиданий. Должно быть, они уже не в первый раз были здесь и знали друг друга; между ними лениво и медленно сплетался тихий и липкий, как паутина, разговор.

— Слышали? — говорила полная женщина с дряблым лицом и саквояжем на коленях.— Сегодня за ранней обедней соборный регент мальчику певчему ухо надорвал...

Пожилой человек в мундире отставного военного громко откашлялся и заметил:

— Певчие — сорванцы!

По канцелярии суетливо бегал низенький, лысый человечек на коротких ногах, с длинными руками и выдвинутой вперед челюстью. Не останавливаясь, он говорил тревожным и трескучим голосом:

— Жизнь становится дороже, оттого и люди злее. Говядина второй сорт — четырнадцать копеек фунт, хлеб опять стал две с половиной...

Порою входили арестанты, серые, однообразные, в тяжелых кожаных башмаках. Входя в полутемную комнату, они мигали глазами. У одного на ногах звенели кандалы.

Все было странно спокойно и неприятно просто. Казалось, что все издавна привыкли, сжились со своим положением; одни — спокойно сидят, другие — лениво караулят, третьи — аккуратно и устало посещают заключенных. Сердце матери дрожало дрожью нетерпения, она недоуменно смотрела на все вокруг, удивленная этой тяжелой простотой.

Рядом с Власовой сидела маленькая старушка, лицо у нее было сморщенное, а глаза молодые. Повертывая тонкую шею, она вслушивалась в разговор и смотрела на всех странно задорно.

— У вас кто здесь? — тихо спросила ее Власова.

— Сын. Студент,— ответила старушка громко и быстро.— А у вас?

— Тоже сын. Рабочий.

— Как фамилия?

— Власов.

— Не слыхала. Давно сидит?

— Седьмую неделю...

— А мой — десятый месяц! — сказала старушка, и в голосе ее Власова почувствовала что-то странное, похожее на гордость.

— Да, да! — быстро говорил лысый старичок.— Терпение исчезает... Все раздражаются, все кричат, всё возрастает в цене. А люди, сообразно сему, дешевеют. Примиряющих голосов не слышно.

— Совершенно верно! — сказал военный.— Безобразие! Нужно, чтобы раздался наконец твердый голос — молчать! Вот что нужно. Твердый голос...

Разговор стал общим, оживленным. Каждый торопился сказать свое мнение о жизни, но все говорили вполголоса, и во всех мать чувствовала что-то чужое ей. Дома говорили иначе, понятнее, проще и громче.

Толстый надзиратель с квадратной рыжей бородой крикнул ее фамилию, оглянул ее с ног до головы и, прихрамывая, пошел, сказав ей:

— Иди за мной...

Она шагала, и ей хотелось толкнуть в спину надзирателя, чтобы он шел быстрее. В маленькой комнате стоял Павел, улыбался, протягивал руку. Мать схватила ее, засмеялась, часто мигая глазами, и, не находя слов, тихо говорила:

— Здравствуй... здравствуй...

— Да ты успокойся, мама! — пожимая ее руку, говорил Павел.

— Ничего.

— Мать! — вздохнув, сказал надзиратель.— Между прочим, разойдитесь,— чтобы между вами было расстояние...

И громко зевнул. Павел спрашивал ее о здоровье, о доме... Она ждала каких-то других вопросов, искала их в глазах сына и не находила. Он, как всегда, был спокоен, только лицо побледнело да глаза как будто стали больше.

— Саша кланяется! — сказала она.

У Павла дрогнули веки, лицо стало мягче, он улыбнулся. Острая горечь щипнула сердце матери.

— Скоро ли выпустят они тебя! — заговорила она с обидой и раздражением.— За что посадили? Ведь вот бумажки эти опять появились...

Глаза у Павла радостно блеснули.

— Опять? — быстро спросил он.

— Об этих делах запрещено говорить! — лениво заявил надзиратель.— Можно только о семейном...

— А это разве не семейное? — возразила мать.

— Уж я не знаю. Только — запрещается,— равнодушно настаивал надзиратель.

— Говори, мама, о семейном,— сказал Павел.— Что ты делаешь?

Она, чувствуя в себе какой-то молодой задор, ответила:

— Ношу на фабрику все это...

Остановилась и, улыбаясь, продолжала:

— Щи, кашу, всякую Марьину стряпню, и прочую пищу...

Павел понял. Лицо у него задрожало от сдерживаемого смеха, он взбил волосы и ласково, голосом, какого она еще не слышала от него, сказал:

— Хорошо, что у тебя дело есть,— не скучаешь!

— А когда листки-то эти появились, меня тоже обыскивать стали! — не без хвастовства заявила она.

— Опять про это! — сказал надзиратель, обижаясь.— Я говорю — нельзя! Человека лишили воли, чтобы он ничего не знал, а ты — свое! Надо понимать, чего нельзя.

— Ну, оставь, мама! — сказал Павел.— Матвей Иванович хороший человек, не надо его сердить. Мы с ним живем дружно. Он сегодня случайно при свидании — обыкновенно присутствует помощник начальника.

— Окончилось свидание! — заявил надзиратель, глядя на часы.

— Ну, спасибо, мама! — сказал Павел.— Спасибо, голубушка! Ты — не беспокойся. Скоро меня выпустят...

Он крепко обнял ее, поцеловал, и, растроганная этим, счастливая, она заплакала.

— Расходитесь! — сказал надзиратель и, провожая мать, забормотал:— Не плачь,— выпустят! Всех выпускают... Тесно стало...

Дома она говорила хохлу, широко улыбаясь и оживленно двигая бровями:

— Ловко я ему сказала,— понял он!

И грустно вздохнула.

— Понял! А то бы не приласкал бы,— никогда он этого не делал!

— Эх вы! — засмеялся хохол.— Кто чего ищет, а мать — всегда ласки...

— Нет, Андрюша,— люди-то, я говорю! — вдруг с удивлением воскликнула она.— Ведь как привыкли! Оторвали от них детей, посадили в тюрьму, а они — ничего, пришли, сидят, ждут, разговаривают,— а? Уж если образованные так привыкают, что же говорить о черном-то народе?..

— Это понятно,— сказал хохол со своей усмешкой,— к ним закон все-таки ласковее, чем к нам, и нужды они в нем имеют больше, чем мы. Так что, когда он их по лбу стукает, они хоть и морщатся, да не очень. Своя палка — легче бьет...

XX

Однажды вечером мать сидела у стола, вязала носки, а хохол читал вслух книгу о восстании римских рабов, кто-то сильно постучался, и, когда хохол отпер дверь, вошел Весовщиков с узелком под мышкой, в шапке, сдвинутой на затылок, по колена забрызганный грязью.

— Иду — вижу, у вас огонь. Зашел поздороваться. Прямо из тюрьмы! — объявил он странным голосом и, схватив руку Власовой, сильно потряс ее, говоря:

— Павел кланяется...

Потом, нерешительно опустившись на стул, обвел комнату своим сумрачным, подозрительным взглядом.

Он не нравился матери, в его угловатой, стриженой голове, в маленьких глазах было что-то всегда пугавшее ее, но теперь она обрадовалась и, ласковая, улыбаясь, оживленно говорила:

— Осунулся ты! Андрюша, напоим его чаем...

— А я уже ставлю самовар! — отозвался хохол из кухни.

— Ну, как Павел-то? Еще кого выпустили или только тебя?

Николай опустил голову и ответил:

— Павел сидит,— терпит! Выпустили одного меня! — Он поднял глаза в лицо матери и медленно, сквозь зубы, проговорил:— Я им сказал — будет, пустите меня на волю!.. А то я убью кого-нибудь, и себя тоже. Выпустили.

— М-м-да-а! — сказала мать, отодвигаясь от него, и невольно мигнула, когда взгляд ее встретился с его узкими, острыми глазами.

— А как Федя Мазин? — крикнул хохол из кухни.— Стихи пишет?

— Пишет. Я этого не понимаю! — покачав головой, сказал Николай.— Что он — чиж? Посадили в клетку — поет! Я вот одно понимаю — домой мне идти не хочется...

— Да что там, дома-то, у тебя? — задумчиво сказала мать.— Пусто, печь не топлена, настыло все...

Он помолчал, прищурив глаза. Вынул из кармана коробку папирос, не торопясь закурил и, глядя на серый клуб дыма, таявший перед его лицом, усмехнулся усмешкой угрюмой собаки.

— Да, холодно, должно быть. На полу мерзлые тараканы валяются. И мыши тоже померзли. Ты, Пелагея Ниловна, позволь мне у тебя ночевать,— можно? — глухо спросил он, не глядя на нее.

— А конечно, батюшка! — быстро сказала мать. Ей было неловко, неудобно с ним.

— Теперь такое время, что дети стыдятся родителей...

— Чего? — вздрогнув, спросила мать.

Он взглянул на нее, закрыл глаза, и его рябое лицо стало слепым.

— Дети начали стыдиться родителей, говорю! — повторил он и шумно вздохнул.— Тебя Павел не постыдится никогда. А я вот стыжусь отца. И в дом этот его... не пойду я больше. Нет у меня отца... и дома нет! Отдали меня под надзор полиции, а то я ушел бы в Сибирь... Я бы там ссыльных освобождал, устраивал бы побеги им...

Чутким сердцем мать понимала, что этому человеку тяжело, но его боль не возбуждала в ней сострадания.

— Да, уж если так... то лучше уйти! — говорила она, чтобы не обидеть его молчанием.

Из кухни вышел Андрей и, смеясь, сказал:

— Что ты проповедуешь, а?

Мать встала, говоря:

— Надо поесть чего-нибудь приготовить...

Весовщиков пристально посмотрел на хохла и вдруг заявил:

— Я так полагаю, что некоторых людей надо убивать!

— Угу! А для чего? — спросил хохол.

— Чтобы их не было...

Хохол, высокий и сухой, покачиваясь на ногах, стоял среди комнаты и смотрел на Николая сверху вниз, сунув руки в карманы, а Николай крепко сидел на стуле, окруженный облаками дыма, и на его сером лице выступили красные пятна.

— Исаю Горбову я башку оторву,— увидишь!

— За что? — спросил хохол.

— Не шпионь, не доноси. Через него отец погиб, через него он теперь в сыщики метит,— с угрюмой враждебностью глядя на Андрея, говорил Весовщиков.

— Вот что! — воскликнул хохол.— Но — тебя за это кто обвинит? Дураки!..

— И дураки и умники — одним миром мазаны! — твердо сказал Николай.— Вот ты умник, и Павел тоже,— а я для вас разве такой же человек, как Федька Мазин, или Самойлов, или оба вы друг для друга? Не ври, я не поверю, все равно... и все вы отодвигаете меня в сторону, на отдельное место...

— Болит у тебя душа, Николай! — тихо и ласково сказал хохол, садясь рядом с ним.

— Болит. И у вас — болит... Только — ваши болячки кажутся вам благороднее моих. Все мы сволочи друг другу, вот что я скажу. А что ты мне можешь сказать? Ну-ка?

Он уставился острыми глазами в лицо Андрея и ждал, оскалив зубы. Его пестрое лицо было неподвижно, а по толстым губам пробегала дрожь, точно он ожег их чем-то горячим.

— Ничего я тебе не скажу! — заговорил хохол, тепло лаская враждебный взгляд Весовщикова грустной улыбкой голубых глаз.— Я знаю — спорить с человеком в такой час, когда у него в сердце все царапины кровью сочатся,— это только обижать его; я знаю, брат!

— Со мной нельзя спорить, я не умею! — пробормотал Николай, опуская глаза.

— Я думаю,— продолжал хохол,— каждый из нас ходил голыми ногами по битому стеклу, каждый в свой темный час дышал вот так, как ты...

— Ничего ты не можешь мне сказать! — медленно проговорил Весовщиков.— У меня душа волком воет!..

— И не хочу! Только я знаю — это пройдет у тебя. Может, не совсем, а пройдет!

Он усмехнулся и продолжал, хлопнув Николая по плечу:

— Это, брат, детская болезнь, вроде кори. Все мы ею болеем, сильные — поменьше, слабые — побольше. Она тогда одолевает нашего брата, когда человек себя — найдет, а жизни и своего места в ней еще не видит. Кажется тебе, что ты один на земле такой хороший огурчик и все съесть тебя хотят. Потом, пройдет немного времени, увидишь ты, что хороший кусок твоей души и в других грудях не хуже — тебе станет легче. И немножко совестно — зачем на колокольню лез, когда твой колокольчик такой маленький, что и не слышно его во время

праздничного звона? Дальше увидишь, что твой звон в хору слышен, а в одиночку — старые колокола топят его в своем гуле, как муху в масле. Ты понимаешь, что я говорю?

— Может быть — понимаю! — кивнув головой, сказал Николай.— Только я — не верю!

Хохол засмеялся, вскочил на ноги, шумно забегал.

— Вот и я тоже не верил. Ах ты,— воз!

— Почему — воз? — сумрачно усмехнулся Николай, глядя на хохла.

— А — похож!

Вдруг Весовщиков громко засмеялся, широко открыв рот.

— Что ты? — удивленно спросил хохол, остановившись против него.

— А я подумал — вот дурак будет тот, кто тебя обидит! — заявил Николай, двигая головой.

— Да чем меня обидишь? — произнес хохол, пожимая плечами.

— Я не знаю! — сказал Весовщиков, добродушно или снисходительно оскаливая зубы.— Я только про то, что очень уж совестно должно быть человеку после того, как он обидит тебя.

— Вот куда тебя бросило! — смеясь, сказал хохол.

— Андрюша! — позвала мать из кухни.

Андрей ушел.

Оставшись один, Весовщиков оглянулся, вытянул ногу, одетую в тяжелый сапог, посмотрел на нее, наклонился, пощупал руками толстую икру. Поднял руку к лицу, внимательно оглядел ладонь, потом повернул тылом. Рука была толстая, с короткими пальцами, покрыта желтой шерстью. Он помахал ею в воздухе, встал.

Когда Андрей внес самовар, Весовщиков стоял перед зеркалом и встретил его такими словами:

— Давно я рожи своей не видал...

Ухмыльнулся и, качая головой, добавил:

— Скверная у меня рожа!

— А что тебе до этого? — спросил Андрей, любопытно взглянув на него.

— А вот Сашенька говорит — лицо зеркало души! — медленно выговорил Николай.

— И неверно! — воскликнул хохол.— У нее нос — крючком, скулы — ножницами, а душа — как звезда.

Весовщиков взглянул на него и усмехнулся.

Сели пить чай.

Весовщиков взял большую картофелину, круто посолил кусок хлеба и спокойно, медленно, как вол, начал жевать.

— А как тут дела? — спросил он, с набитым ртом.

И когда Андрей весело рассказал ему о росте пропаганды на фабрике, он, снова сумрачный, глухо заметил:

— Долго все это, долго! Скорее надо...

Мать посмотрела на него, и в ее груди тихо пошевелилось враждебное чувство к этому человеку.

— Жизнь не лошадь, ее кнутом не побьешь! — сказал Андрей.

Весовщиков упрямо тряхнул головой.

— Долго! Не хватает у меня терпенья! Что мне делать?

Он беспомощно развел руками, глядя в лицо хохла, и замолчал, ожидая ответа.

— Всем нам нужно учиться и учить других, вот наше дело! — проговорил Андрей, опуская голову.

Весовщиков спросил:

— А когда драться будем?

— До того времени нас не однажды побьют, это я знаю! — усмехаясь, ответил хохол.— А когда нам придется воевать — не знаю! Прежде, видишь ты, надо голову вооружить, а потом руки, думаю я...

Николай снова начал есть. Мать исподлобья незаметно рассматривала его широкое лицо, стараясь найти в нем что-нибудь, что помирило бы ее с тяжелой, квадратной фигурой Весовщикова.

И, встречая колющий взгляд маленьких глаз, она робко двигала бровями. Андрей вел себя беспокойно,— вдруг начинал говорить, смеялся и, внезапно обрывая речь, свистал.

Матери казалось, что она понимает его тревогу. А Николай сидел молча, и когда хохол спрашивал его о чем-либо, он отвечал кратко, с явной неохотой.

В маленькой комнатке двум ее жителям становилось душно, тесно, и они, то одна, то другой, мельком взглядывали на гостя.

Наконец он сказал, вставая:

— Я бы спать лег. А то сидел, сидел, вдруг пустили, пошел. Устал.

Когда он ушел в кухню и, повозившись немного, вдруг точно умер там, мать, прислушавшись к тишине, шепнула Андрею:

— О страшном он думает...

— Тяжелый парень! — согласился хохол, качая головой.— Но это пройдет! Это у меня было. Когда неярко в сердце го-

рит — много сажи в нем накопляется. Ну, вы, ненько, ложитесь, а я посижу, почитаю еще.

Она ушла в угол, где стояла кровать, закрытая ситцевым пологом, и Андрей, сидя у стола, долго слышал теплый шелест ее молитв и вздохов. Быстро перекидывая страницы книги, он возбужденно потирал лоб, крутил усы длинными пальцами, шаркал ногами. Стучал маятник часов, за окном вздыхал ветер.

Раздался тихий голос матери:

— О господи! Сколько людей на свете, и всяк по-своему стонет. А где же те, которым радостно?

— Есть уже и такие, есть! Скоро — много будет их,— эх, много! — отозвался хохол.

XXI

Жизнь текла быстро, дни были пестры, разнолицы. Каждый приносил с собой что-нибудь новое, и оно уже не тревожило мать. Все чаще по вечерам являлись незнакомые люди, озабоченно, вполголоса беседовали с Андреем и поздно ночью, подняв воротники, надвигая шапки низко на глаза, уходили во тьму, осторожно, бесшумно. В каждом чувствовалось сдержанное возбуждение, казалось — все хотят петь и смеяться, но им было некогда, они всегда торопились. Одни насмешливые и серьезные, другие веселые, сверкающие силой юности, третьи задумчиво тихие — все они имели в глазах матери что-то одинаково настойчивое, уверенное, и хотя у каждого было свое лицо — для нее все лица сливались в одно: худое, спокойно решительное, ясное лицо с глубоким взглядом темных глаз, ласковым и строгим, точно взгляд Христа на пути в Эммаус.

Мать считала их, мысленно собирая толпой вокруг Павла,— в этой толпе он становился незаметным для глаз врагов.

Однажды из города явилась бойкая, кудрявая девушка, она принесла для Андрея какой-то сверток и, уходя, сказала Власовой, блестя веселыми глазами:

— До свиданья, товарищ!

— Прощайте! — сдержав улыбку, ответила мать.

А проводив девочку, подошла к окну и, смеясь, смотрела, как по улице, часто семеня маленькими ножками, шел ее товарищ, свежий, как весенний цветок, и легкий, как бабочка.

— Товарищ! — сказала мать, когда гостья исчезла.— Эх ты, милая! Дай тебе, господи, товарища честного на всю твою жизнь!

Она часто замечала во всех людях из города что-то детское и снисходительно усмехалась, но ее трогала и радостно удивляла их вера, глубину которой она чувствовала все яснее, ее ласкали и грели их мечты о торжестве справедливости,— слушая их, она невольно вздыхала в неведомой печали. Но особенно трогала ее их простота и красивая, щедрая небрежность к самим себе.

Она уже многое понимала из того, что говорили они о жизни, чувствовала, что они открыли верный источник несчастья всех людей, и привыкла соглашаться с их мыслями. Но в глубине души не верила, что они могут перестроить жизнь по-своему и что хватит у них силы привлечь на свой огонь весь рабочий народ. Каждый хочет быть сытым сегодня, никто не желает отложить свой обед даже на завтра, если может съесть его сейчас. Немногие пойдут этой дальней и трудной дорогой, немного глаз увидят в конце ее сказочное царство братства людей. Вот почему все они, эти хорошие люди, несмотря на их бороды и, порою, усталые лица, казались ей детьми.

«Милые вы мои!» — думала она, покачивая головой.

Но все они уже теперь жили хорошей, серьезной и умной жизнью, говорили о добром и, желая научить людей тому, что знали, делали это, не щадя себя. Она понимала, что такую жизнь можно любить, несмотря на ее опасность, и, вздыхая, оглядывалась назад, где темной, узкой полосой плоско тянулось ее прошлое. У нее незаметно сложилось спокойное сознание своей надобности для этой новой жизни,— раньше она никогда не чувствовала себя нужной кому-нибудь, а теперь ясно видела, что нужна многим, это было ново, приятно и приподняло ей голову...

Она аккуратно носила на фабрику листовки, смотрела на это как на свою обязанность и стала привычной для сыщиков, примелькалась им. Несколько раз ее обыскивали, но всегда — на другой день после того, как листки появлялись на фабрике. Когда с нею ничего не было, она умела возбудить подозрение сыщиков и сторожей, они хватали ее, обшаривали, она притворялась обиженной, спорила с ними и, пристыдив, уходила, гордая своей ловкостью. Ей нравилась эта игра.

Весовщикова на фабрику не приняли, он поступил в работники к торговцу лесом и возил по слободке бревна, тес и дрова. Мать почти каждый день видела его: круто упираясь дрожащими от натуги ногами в землю, шла пара вороных лошадей, обе они были старые, костлявые, головы их устало и печально качались, тусклые глаза измученно мигали. За ними тянулось,

вздрагивая, длинное, мокрое бревно или груда досок, громко хлопая концами, а сбоку, опустив вожжи, шагал Николай, оборванный, грязный, в тяжелых сапогах, в шапке на затылок, неуклюжий, точно пень, вывороченный из земли. Он тоже качает головой, глядя себе под ноги. Его лошади слепо наезжают на встречные телеги, на людей, около него вьются, как шмели, сердитые ругательства, режут воздух злые окрики. Он, не поднимая головы, не отвечая им, свистит резким, оглушающим свистом и глухо бормочет лошадям:

— Ну, бери!

Каждый раз, когда у Андрея собирались товарищи на чтение нового номера заграничной газеты или брошюры, приходил и Николай, садился в угол и молча слушал час, два. Кончив чтение, молодежь долго спорила, но Весовщиков не принимал участия в спорах. Он оставался дольше всех и один на один с Андреем ставил ему угрюмый вопрос:

— А кто всех виноватее?

— Виноват, видишь ли, тот кто первый сказал — это мое! Человек этот помер несколько тысяч лет тому назад, и на него сердиться не стоит! — шутя говорил хохол, но глаза его смотрели беспокойно.

— А — богатые? А те, которые за них стоят?

Хохол хватался за голову, дергал усы и долго говорил простыми словами о жизни и людях. Но у него всегда выходило так, как будто виноваты все люди вообще, и это не удовлетворяло Николая. Плотно сжав толстые губы, он отрицательно качал головой и, недоверчиво заявляя, что это не так, уходил недовольный и мрачный.

Однажды он сказал:

— Нет, виноватые должны быть,— они тут! Я тебе скажу — нам надо всю жизнь перепахать, как сорное поле,— без пощады!

— Вот так однажды Исай-табельщик про вас говорил! — вспомнила мать.

— Исай? — спросил Весовщиков, помолчав.

— Да. Злой человек! Подсматривает за всеми, выспрашивает, по нашей улице стал ходить, в окна к нам заглядывать...

— Заглядывает? — повторил Николай.

Мать уже лежала в постели и не видела его лица, но она поняла, что сказала что-то лишнее, потому что хохол торопливо и примирительно заговорил:

— А пускай его ходит и заглядывает! Есть у него свободное время — он и гуляет...

— Нет, погоди! — глухо сказал Николай.— Вот он, виноватый!

— В чем? — быстро спросил хохол.— Что он глуп?

Весовщиков, не ответив, ушел.

Хохол медленно и устало шагал по комнате, тихо шаркая тонкими, паучьими ногами. Сапоги он снял,— всегда делая это, чтобы не стучать и не беспокоить Власову. Но она не спала и, когда Николай ушел, сказала тревожно:

— Боюсь я его!

— Да-а! — медленно протянул хохол.— Мальчик сердитый. Вы, ненько, про Исая с ним не говорите, этот Исай действительно шпионит.

— Что мудреного? У него кум — жандарм! — заметила мать.

— Пожалуй, поколотит его Николай! — с опасением продолжал хохол.— Вот видите, какие чувства воспитали господа командиры нашей жизни у нижних чинов? Когда такие люди, как Николай, почувствуют свою обиду и вырвутся из терпенья,— что это будет? Небо кровью забрызгают, и земля в ней, как мыло, вспенится...

— Страшно, Андрюша! — тихо воскликнула мать.

— Не глотали бы мух, так не вырвало бы! — помолчав, сказал Андрей.— И все-таки, ненько, каждая капля их крови заранее омыта озерами народных слез...

Он вдруг тихо засмеялся и добавил:

— Справедливо, но — не утешает!

XXII

Однажды в праздник мать пришла из лавки, отворила дверь и встала на пороге, вся вдруг облитая радостью, точно теплым, летним дождем,— в комнате звучал крепкий голос Павла.

— Вот она! — крикнул хохол.

Мать видела, как быстро обернулся Павел, и видела, что его лицо вспыхнуло чувством, обещавшим что-то большое для нее.

— Вот и пришел... и дома! — забормотала она, растерявшись от неожиданности, и села.

Он наклонился к ней бледный, в углах его глаз светло сверкали маленькие слезинки, губы вздрагивали. Секунду он молчал, мать смотрела на него тоже молча.

Хохол, тихо насвистывая, прошел мимо них, опустив голову, и вышел на двор.

— Спасибо, мама! — глубоким, низким голосом заговорил Павел, тиская ее руку вздрагивающими пальцами.— Спасибо, родная!

Радостно потрясенная выражением лица и звуком голоса сына, она гладила его голову и, сдерживая биение сердца, тихонько говорила:

— Христос с тобой! За что?..

— За то, что помогаешь великому нашему делу, спасибо! — говорил он.— Когда человек может назвать мать свою и по духу родной — это редкое счастье!

Она молча, жадно глотая его слова открытым сердцем, любовалась сыном,— он стоял перед нею такой светлый, близкий.

— Я, мама, видел,— многое задевало тебя за душу, трудно тебе. Думал — никогда ты не помиришься с нами, не примешь наши мысли, как свои, а только молча будешь терпеть, как всю жизнь терпела. Это тяжело было!..

— Андрюша очень много дал мне понять! — вставила она.

— Он мне рассказывал про тебя! — смеясь, сказал Павел.

— Егор тоже. Мы с ним земляки. Андрюша даже грамоте хотел учить...

— А ты — сконфузилась и сама потихоньку стала учиться?

— Уж он подглядел! — смущенно воскликнула она. И, обеспокоенная обилием радости, наполнявшей ее грудь, предложила Павлу:— Позвать бы его! Нарочно ушел, чтобы не мешать. У него — матери нет...

— Андрей!..— крикнул Павел, отворяя дверь в сени.— Ты где?

— Здесь. Дрова колоть хочу.

— Иди сюда!

Он пришел не сразу, а войдя в кухню, хозяйственно заговорил:

— Надо сказать Николаю, чтобы дров привез,— мало дров у нас. Видите, ненько, какой он, Павел? Вместо того чтобы наказывать, начальство только откармливает бунтарей...

Мать засмеялась. У нее еще сладко замирало сердце, она была опьянена радостью, но уже что-то скупое и осторожное вызывало в ней желание видеть сына спокойным, таким, как всегда. Было слишком хорошо в душе, и она хотела, чтобы первая — великая — радость ее жизни сразу и навсегда сложилась в сердце такой живой и сильной, как пришла. И, опасаясь, как

бы не убавилось счастья, она торопилась скорее прикрыть его, точно птицелов случайно пойманную им редкую птицу.

— Давайте обедать! Ты, Паша, ведь не ел еще? — суетливо предложила она.

— Нет. Я вчера узнал от надзирателя, что меня решили выпустить, и сегодня — не пилось, не елось...

— Первого встретил я здесь старика Сизова,— рассказывал Павел.— Увидал он меня, перешел дорогу, здоровается. Я ему говорю: «Вы теперь осторожнее со мной, я человек опасный, нахожусь под надзором полиции».— «Ничего»,— говорит. И знаешь, как он спросил о племяннике? «Что, говорит, Федор хорошо себя вел?» — «Что значит — хорошо себя вести в тюрьме?» — «Ну, говорит, лишнего чего не болтал ли против товарищей?» И когда я сказал, что Федя человек честный и умница, он погладил бороду и гордо так заявил: «Мы, Сизовы, в своей семье плохих людей не имеем!»

— Он старик с мозгом! — сказал хохол, кивая головой.— Мы с ним часто разговариваем,— хороший мужик. Скоро Федю выпустят?

— Всех выпустят, я думаю! У них ничего нет, кроме показаний Исая, а он что же мог сказать?

Мать ходила взад и вперед и смотрела на сына, Андрей, слушая его рассказы, стоял у окна, заложив руки за спину. Павел расхаживал по комнате. У него отросла борода, мелкие кольца тонких, темных волос густо вились на щеках, смягчая смуглый цвет лица.

— Садитесь! — предложила мать, подавая на стол горячее.

За обедом Андрей рассказал о Рыбине. И когда он кончил, Павел с сожалением воскликнул:

— Будь я дома — я бы не отпустил его! Что он понес с собой? Большое чувство возмущения и путаницу в голове.

— Ну,— сказал хохол, усмехаясь,— когда человеку сорок лет да он сам долго боролся с медведями в своей душе — трудно его переделать...

Завязался один из тех споров, когда люди начинали говорить словами, непонятными для матери. Кончили обедать, а всё еще ожесточенно осыпали друг друга трескучим градом мудреных слов. Иногда говорили просто.

— Мы должны идти нашей дорогой, ни на шаг не отступая в сторону! — твердо заявлял Павел.

— И наткнуться в пути на несколько десятков миллионов людей, которые встретят нас, как врагов...

Мать прислушивалась к спору и понимала, что Павел не

любит крестьян, а хохол заступается за них, доказывая, что и мужиков добру учить надо. Она больше понимала Андрея, и он казался ей правым, но всякий раз, когда он говорил Павлу что-нибудь, она, насторожась и задерживая дыхание, ждала ответа сына, чтобы скорее узнать,— не обидел ли его хохол? Но они кричали друг на друга, не обижаясь.

Иногда мать спрашивала сына:

— Так ли, Паша?

Улыбаясь, он отвечал:

— Так!

— Вы, господин,— с ласковым ехидством говорил хохол,— сыто поели, да плохо жевали, у вас в горле кусок стоит. Прополощите горлышко!

— Не дури! — посоветовал Павел.

— Да я — как на панихиде!..

Мать, тихо посмеиваясь, качала головой...

XXIII

Приближалась весна, таял снег, обнажая грязь и копоть, скрытую в его глубине. С каждым днем грязь настойчивее лезла в глаза, вся слободка казалась одетой в лохмотья, неумытой. Днем капало с крыш, устало и потно дымились серые стены домов, а к ночи везде смутно белели ледяные сосульки. Все чаще на небе являлось солнце. И решительно начинали журчать ручьи, сбегая к болоту.

Готовились праздновать Первое мая.

На фабрике и по слободке летали листки, объяснявшие значение этого праздника, и даже не задетая пропагандой молодежь говорила, читая их:

— Это надо устроить!

Весовщиков, угрюмо усмехаясь, восклицал:

— Пора! Будет в прятки играть!

Радовался Федя Мазин. Сильно похудевший, он стал похож на жаворонка в клетке нервным трепетом своих движений и речей. Его всегда сопровождал молчаливый, не по годам серьезный Яков Сомов, работавший теперь в городе. Самойлов, еще более порыжевший в тюрьме, Василий Гусев, Букин, Драгунов и еще некоторые доказывали необходимость идти с оружием, но Павел, хохол, Сомов и другие спорили с ними.

Являлся Егор, всегда усталый, потный, задыхающийся, и шутил:

— Работа по изменению существующего строя — великая работа, товарищи, но для того, чтобы она шла успешнее, я должен купить себе новые сапоги! — говорил он, указывая на свои рваные и мокрые ботинки.— Галоши у меня тоже неизлечимо разорвались, и каждый день я промачиваю себе ноги. Я не хочу переехать в недра земли ранее, чем мы отречемся от старого мира публично и явно, а потому, отклоняя предложение товарища Самойлова о вооруженной демонстрации, предлагаю вооружить меня крепкими сапогами, ибо глубоко убежден, что это полезнее для торжества социализма, чем даже очень большое мордобитие!..

Таким же вычурным языком он рассказывал рабочим истории о том, как в разных странах народ пытался облегчить свою жизнь. Мать любила слушать его речи, и она вынесла из них странное впечатление — самыми хитрыми врагами народа, которые наиболее жестоко и часто обманывали его, были маленькие, пузатые, краснорожие человечки, бессовестные и жадные, хитрые и жестокие. Когда им жилось трудно под властью царей, они науськивали черный народ на царскую власть, а когда народ поднимался и вырывал эту власть из рук короля, человечки обманом забирали ее в свои руки и разгоняли народ по конурам, если же он спорил с ними — избивали его сотнями и тысячами.

Однажды, собравшись с духом, она рассказала ему эту картину жизни, созданную его речами, и, смущенно смеясь, спросила:

— Так ли, Егор Иваныч?

Он хохотал, закатывая глазки, задыхался, растирал грудь руками.

— Вопстину так, мамаша! Вы схватили за рога быка истории. На этом желтеньком фоне есть некоторые орнаменты, то есть вышивки, но — они дела не меняют! Именно толстенькие человечки главные греховодники и самые ядовитые насекомые, кусающие народ. Французы удачно называют их буржуа. Запомните, мамаша,— бур-жуа. Жуют они нас, жуют и высасывают...

— Богатые, значит? — спросила мать.

— Вот именно! В этом их несчастие. Если, видите вы, в пищу ребенка прибавлять понемногу меди, это задерживает рост его костей, и он будет карликом, а если отравлять человека золотом — душа у него становится маленькая, мертвенькая и серая, совсем как резиновый мяч, ценою в пятачок...

Однажды, говоря о Егоре, Павел сказал:

— А знаешь, Андрей, всего больше те люди шутят, у которых сердце ноет...

Хохол помолчал и, прищурив глаза, ответил:

— Будь твоя правда,— вся Россия со смеху помирала бы...

Появилась Наташа, она тоже сидела в тюрьме, где-то в другом городе, но это не изменило ее. Мать заметила, что при ней хохол становился веселее, сыпал шутками, задирал всех своим мягким ехидством, возбуждая у нее веселый смех. Но, когда она уходила, он начинал грустно насвистывать свои бесконечные песни и долго расхаживал по комнате, уныло шаркая ногами.

Часто прибегала Саша, всегда нахмуренная, всегда торопливая и почему-то все более угловатая, резкая.

Как-то, когда Павел вышел в сени провожать ее и не затворил дверь за собой, мать услыхала быстрый разговор:

— Вы понесете знамя? — тихо спросила девушка.

— Я.

— Это решено?

— Да. Это мое право.

— Снова тюрьма?!

Павел молчал.

— Вы не могли бы...— начала она и остановилась.

— Что? — спросил Павел.

— Уступить другому...

— Нет! — громко сказал он.

— Подумайте,— вы такой влиятельный, вас любят!.. Вы и Находка — первые здесь,— сколько можете вы сделать на свободе,— подумайте! А ведь за это вас сошлют — далеко, надолго!

Матери показалось, что в голосе девушки звучат знакомые чувства — тоска и страх. И слова Саши стали падать на сердце ей, точно крупные капли ледяной воды.

— Нет, я решил! — сказал Павел.— От этого я не откажусь ни за что.

— Даже если я буду просить?..

Павел вдруг заговорил быстро и как-то особенно строго:

— Вы не должны так говорить,— что вы? Вы не должны!

— Я человек! — тихонько сказала она.

— Хороший человек! — тоже тихо, но как-то особенно, точно он задыхался, заговорил Павел.— Дорогой мне человек. И — поэтому... поэтому не надо так говорить...

— Прощай! — сказала девушка.

По стуку ее каблуков мать поняла, что она пошла быстро, почти побежала. Павел ушел за ней во двор.

Тяжелый, давящий испуг обнял грудь матери. Она не понимала, о чем говорилось, но чувствовала, что впереди ее ждет горе.

«Что он хочет делать?»

Павел возвратился вместе с Андреем; хохол говорил, качая головой:

— Эх, Исайка, Исайка,— что с ним делать?

— Надо посоветовать ему, чтобы он оставил свои затеи! — хмуро сказал Павел.

— Паша, что ты хочешь делать? — спросила мать, опустив голову.

— Когда? Сейчас?

— Первого... Первого мая?

— Ага! — воскликнул Павел, понизив голос.— Я понесу знамя наше,— пойду с ним впереди всех. За это меня, вероятно, снова посадят в тюрьму.

Глазам матери стало горячо, и во рту у нее явилась неприятная сухость. Он взял ее руку, погладил.

— Это нужно, пойми!

— Я ничего не говорю! — сказала она, медленно подняв голову. И, когда глаза ее встретились с упрямым блеском его глаз, снова согнула шею.

Он выпустил ее руку, вздохнул и заговорил с упреком:

— Не горевать тебе, а радоваться надо бы. Когда будут матери, которые и на смерть пошлют своих детей с радостью?..

— Гоп, гоп! — заворчал хохол.— Поскакал наш пан, подоткнув кафтан!..

— Разве я говорю что-нибудь? — повторила мать.— Я тебе не мешаю. А если жалко мне тебя,— это уж материнское!..

Он отступил от нее, и она услыхала жесткие, острые слова:

— Есть любовь, которая мешает человеку жить...

Вздрогнув, боясь, что он скажет еще что-нибудь отталкивающее ее сердце, она быстро заговорила:

— Не надо, Паша! Я понимаю,— иначе тебе нельзя,— для товарищей...

— Нет! — сказал он.— Я это — для себя.

В дверях встал Андрей — он был выше двери и теперь, стоя в ней, как в раме, странно подогнул колени, опираясь одним плечом о косяк, а другое, шею и голову выставив вперед.

— Вы бы перестали балакать, господин! — сказал он, угрюмо остановив на лице Павла свои выпуклые глаза. Он был похож на ящерицу в щели камня.

Матери хотелось плакать. Не желая, чтобы сын видел ее слезы, она вдруг забормотала:

— Ай, батюшки,— забыла я...

И вышла в сени. Там, ткнувшись головой в угол, она дала простор слезам своей обиды и плакала молча, беззвучно, слабея от слез так, как будто вместе с ними вытекала кровь из сердца ее.

А сквозь неплотно закрытую дверь на нее ползли глухие звуки спора.

— Ты что ж,— любуешься собой, мучая ее? — спрашивал хохол.

— Ты не имеешь права так говорить! — крикнул Павел.

— Хорош был бы я товарищ тебе, если бы молчал, видя твои глупые, козлиные прыжки! Ты зачем это сказал? Понимаешь?

— Нужно всегда твердо говорить и да и нет!

— Это ей?

— Всем! Не хочу ни любви, ни дружбы, которая цепляется за ноги, удерживает...

— Герой! Утри нос! Утри и — пойди скажи все это Сашеньке. Это ей надо было сказать...

— Я сказал!..

— Так? Врешь! Ей ты говорил ласково, ей говорил — нежно, я не слыхал, а — знаю! А перед матерью распустил героизм... Пойми, козел,— героизм твой стоит грош!

Власова начала быстро стирать слезы со своих щек. Она испугалась, что хохол обидит Павла, поспешно отворила дверь и, входя в кухню, дрожащая, полная горя и страха, громко заговорила:

— У-у, холодно! А — весна...

Бесцельно перекладывая в кухне с места на место разные вещи, стараясь заглушить пониженные голоса в комнате, она продолжала громче:

— Все переменилось,— люди стали горячее, погода холоднее. Бывало, в это время тепло стоит, небо ясное, солнышко...

В комнате замолчали. Она остановилась среди кухни, ожидая.

— Слышал? — раздался тихий вопрос хохла.— Это надо понять,— черт! Тут — богаче, чем у тебя...

— Чайку попьете? — вздрагивающим голосом спросила она. И, не ожидая ответа, чтобы скрыть эту дрожь, воскликнула:

— Что это, как озябла я!

К ней медленно вышел Павел. Он смотрел исподлобья, с улыбкой, виновато дрожавшей на его губах.

— Прости меня, мать! — негромко сказал он.— Я еще мальчишка,— дурак...

— Не тронь ты меня! — тоскливо крикнула она, прижимая его голову к своей груди.— Не говори ничего! Господь с тобой — твоя жизнь — твое дело! Но — не задевай сердца! Разве может мать не жалеть? Не может... Всех жалко мне! Все вы — родные, все — достойные! И кто пожалеет вас, кроме меня?.. Ты идешь, за тобой — другие, всё бросили, пошли... Паша!

Билась в груди ее большая, горячая мысль, окрыляла сердце вдохновенным чувством тоскливой, страдальческой радости, но мать не находила слов и в муке своей немоты, взмахивая рукой, смотрела в лицо сына глазами, горевшими яркой и острой болью...

— Ладно, мама! Прости,— вижу я! — бормотал он, опуская голову, и с улыбкой, мельком взглянув на нее, прибавил, отвернувшись, смущенный, но обрадованный:

— Этого я не забуду,— честное слово!

Она отстранила его от себя и, заглядывая в комнату, сказала Андрею просительно-ласково:

— Андрюша! Вы не кричите на него! Вы, конечно, старше...

Стоя спиной к ней и не двигаясь, хохол странно и смешно зарычал:

— У-у-у! Буду орать на него! Да еще и бить буду!

Она медленно шла к нему, протягивая руку, и говорила:

— Милый вы мой человек...

Хохол обернулся, наклонил голову, точно бык, и, стиснув за спиной руки, прошел мимо нее в кухню. Оттуда раздался его голос, сумрачно насмешливый:

— Уйди, Павел, чтобы я тебе голову не откусил! Это я шучу, ненько, вы не верьте! Вот я поставлю самовар. Да! Угли же у нас... Сырые, ко всем чертям их!

Он замолчал. Когда мать вышла в кухню, он сидел на полу, раздувая самовар. Не глядя на нее, хохол начал снова:

— Вы не бойтесь,— я его не трону! Я мягкий, как пареная репа! И я... Эй ты, герой, не слушай,— я его люблю! Но я — жилетку его не люблю! Он, видите, надел новую жилетку, и она ему очень нравится, вот он ходит, выпуча живот, и всех толкает: а посмотрите, какая у меня жилетка! Она хорошая — верно, но — зачем толкаться? И без того тесно.

Павел, усмехнувшись, спросил:

«Мать»
Кукрыниксы

— Долго будешь ворчать? Дал мне одну трепку,— довольно бы!

Сидя на полу, хохол вытянул ноги по обе стороны самовара и смотрел на него. Мать стояла у двери, ласково и грустно остановив глаза на круглом затылке Андрея и длинной, согнутой шее его. Он откинул корпус назад, уперся руками в пол, взглянул на мать и сына немного покрасневшими глазами и, мигая, негромко сказал:

— Хорошие вы человеки,— да!

Павел наклонился, схватил его руку.

— Не дергай! — глухо сказал хохол.— Так ты меня уронишь...

— Что стесняетесь? — грустно сказала мать.— Поцеловались бы, обнялись бы крепко-крепко...

— Хочешь? — спросил Павел.

— Можно! — ответил хохол, поднимаясь.

Крепко обнявшись, они на секунду замерли — два тела — одна душа, горячо горевшая чувством дружбы.

По лицу матери текли слезы, уже легкие. Отирая их, она смущенно сказала:

— Любит баба плакать, с горя плачет, с радости плачет!..

Хохол оттолкнул Павла мягким движением и, тоже вытирая глаза пальцами, заговорил:

— Будет! Порезвились телята, пора в жареное! Ну и чертовы же угли! Раздувал, раздувал — засорил себе глаза...

Павел, опустив голову, сел к окну и тихо сказал:

— Таких слез не стыдно...

Мать подошла к нему, села рядом. Ее сердце тепло и мягко оделось бодрым чувством. Было грустно ей, но приятно и спокойно.

— Я соберу посуду,— вы себе сидите, ненько! — сказал хохол, уходя в комнату.— Отдыхайте! Натолкали вам грудь...

И в комнате раздался его певучий голос:

— Славно почувствовали мы жизнь сейчас,— настоящую, человеческую жизнь!..

— Да! — сказал Павел, взглянув на мать.

— Все другое стало! — отозвалась она.— Горе другое, радость — другая...

— Так и должно быть! — говорил хохол.— Потому что растет новое сердце, ненько моя милая,— новое сердце в жизни растет. Идет человек, освещает жизнь огнем разума и кричит, зовет: «Эй, вы! Люди всех стран, соединяйтесь в одну семью!» И по зову его все сердца здоровыми своими кусками

слагаются в огромное сердце, сильное, звучное, как серебряный колокол...

Мать плотно сжимала губы, чтобы они не дрожали, и крепко закрыла глаза, чтобы не плакали они.

Павел поднял руку, хотел что-то сказать, но мать взяла его за другую руку и, потянув ее вниз, прошептала:

— Не мешай ему...

— Знаете? — сказал хохол, стоя в двери.— Много горя впереди у людей, много еще крови выжмут из них, но все это, все горе и кровь моя,— малая цена за то, что уже есть в груди у меня, в мозгу моем... Я уже богат, как звезда лучами,— я все снесу, все вытерплю,— потому что есть во мне радость, которой никто, ничто, никогда не убьет! В этой радости — сила!

Пили чай, сидели за столом до полуночи, ведя задушевную беседу о жизни, о людях, о будущем.

И, когда мысль была ясна ей, мать, вздохнув, брала из прошлого своего что-нибудь, всегда тяжелое и грубое, и этим камнем из своего сердца подкрепляла мысль.

В теплом потоке беседы страх ее растаял, теперь она чувствовала себя так, как в тот день, когда отец ее сурово сказал ей:

— Нечего рожу кривить! Нашелся дурак, берет тебя замуж — иди! Все девки замуж выходят, все бабы детей родят, всем родителям дети — горе! Ты что — не человек?

После этих слов она увидела перед собой неизбежную тропу, которая безответно тянулась вокруг пустого, темного места. И неизбежность идти этой тропой наполнила ее грудь слепым покоем. Так и теперь. Но, чувствуя приход нового горя, она внутри себя говорила кому-то:

«Нате, возьмите!»

Это облегчало тихую боль ее сердца, которая, вздрагивая, пела в груди ее, как тугая струна.

И в глубине ее души, взволнованной печалью ожидания, не сильно, но не угасая, теплилась надежда, что всего у нее не возьмут, не вырвут! Что-то останется...

XXIV

Рано утром, едва только Павел и Андрей ушли, в окно тревожно постучала Корсунова и торопливо крикнула:

— Исая убили! Идем смотреть...

Мать вздрогнула, в уме ее искрой мелькнуло имя убийцы.

— Кто? — коротко спросила она, накидывая на плечи шаль.

— Он не сидит там, над Исаем-то, кокнул, да и ушел! — ответила Марья.

На улице она сказала:

— Теперь опять начнут рыться, виноватого искать. Хорошо, что твои ночью дома были,— я этому свидетельница. После полночи мимо шла, в окно к вам заглянула, все вы за столом сидели...

— Что ты, Марья? Разве на них можно подумать? — испуганно воскликнула мать.

— А кто его убил? Уж наверно ваши! — убежденно сказала Корсунова.— Известно всем, что выслеживал он их...

Мать остановилась, задыхаясь, приложила руку к груди.

— Да ты что? Ты не бойся! Поделом вору и мука! Идем скорее, а то увезут его!..

Мать пошатывала тяжелая мысль о Весовщикове.

«Вот, дошел!» — тупо думала она.

Недалеко от стен фабрики, на месте недавно сгоревшего дома, растаптывая ногами угли и вздымая пепел, стояла толпа народа и гудела, точно рой шмелей. Было много женщин, еще больше детей, лавочники, половые из трактира, полицейские и жандарм Петлин, высокий старик с пушистой серебряной бородой, с медалями на груди.

Исай полулежал на земле, прислонясь спиной к обгорелым бревнам и свесив обнаженную голову на правое плечо. Правая рука была засунута в карман брюк, а пальцами левой он вцепился в рыхлую землю.

Мать взглянула в лицо ему — один глаз Исая тускло смотрел в шапку, лежавшую между устало раскинутых ног, рот был изумленно полуоткрыт, его рыжая бородка торчала вбок. Худое тело с острой головой и костлявым лицом в веснушках стало еще меньше, сжатое смертью. Мать перекрестилась, вздохнув. Живой, он был противен ей, теперь будил тихую жалость.

— Крови нет! — заметил кто-то вполголоса.— Видно, кулаком стукнули...

Злой голос громко произнес:

— Заткнули рот ябеднику...

Жандарм встрепенулся и, раздвигая руками женщин, угрожающе спросил:

— Это кто рассуждает, а?

Люди рассыпáлись под его толчками. Некоторые быстро побежали прочь. Кто-то засмеялся злорадным смехом.

Мать пошла домой.

«Никто не жалеет!» — думала она.

А перед нею стояла, точно тень, широкая фигура Николая, его узкие глаза смотрели холодно, жестоко и правая рука качалась, точно он ушиб ее...

Когда сын и Андрей пришли обедать, она прежде всего спросила их:

— Ну, что? Никого не арестовали — за Исая?

— Не слышно! — отозвался хохол.

Она видела, что они оба подавлены.

— О Николае ничего не говорят? — тихо осведомилась мать.

Строгие глаза сына остановились на ее лице, и он внятно сказал:

— Не говорят. И едва ли думают. Его нет. Он вчера в полдень уехал на реку и еще не вернулся. Я спрашивал о нем...

— Ну, слава богу! — облегченно вздохнув, сказала мать.— Слава богу!

Хохол взглянул на нее и опустил голову.

— Лежит он,— задумчиво рассказывала мать,— и точно удивляется,— такое у него лицо. И никто его не жалеет, никто добрым словом не прикрыл его. Маленький такой, невидный Точно обломок,— отломился от чего-то, упал и лежит...

За обедом Павел вдруг бросил ложку и воскликнул:

— Этого я не понимаю!

— Чего? — спросил хохол.

— Убить животное только потому, что надо есть,— и это уже скверно. Убить зверя, хищника... это понятно! Я сам мог бы убить человека, который стал зверем для людей. Но убить такого жалкого — как могла размахнуться рука?..

Хохол пожал плечами. Потом сказал:

— Он был вреден не меньше зверя. Комар выпьет немножко нашей крови — мы бьем! — добавил хохол.

— Ну да! Я не про то... Я говорю — противно!

— Что поделаешь? — отозвался Андрей, снова пожимая плечами.

— Ты мог бы убить такого? — задумчиво спросил Павел после долгого молчанья.

Хохол посмотрел на него своими круглыми глазами, мельком взглянул на мать и с грустью, но твердо ответил:

— За товарищей, за дело — я все могу! И убью. Хоть сына...

— Ой, Андрюша! — тихо воскликнула мать.

Он улыбнулся ей и сказал:

— Нельзя иначе! Такая жизнь!..

— Да-а!..— медленно протянул Павел.— Такая жизнь...

Внезапно возбужденный, повинуясь какому-то толчку изнутри, Андрей встал, взмахнул руками и заговорил:

— Что вы сделаете? Приходится ненавидеть человека, чтобы скорее наступало время, когда можно будет только любоваться людьми. Нужно уничтожать того, кто мешает ходу жизни, кто продает людей за деньги, чтобы купить на них покой или почет себе. Если на пути честных стоит Иуда, ждет их предать — я буду сам Иуда, когда не уничтожу его! Я не имею права? А они, хозяева наши,— они имеют право держать солдат и палачей, публичные дома и тюрьмы, каторгу и все это, поганое, что охраняет их покой, их уют? Порой мне приходится брать в руки их палку,— что ж делать? Я возьму, не откажусь. Они нас убивают десятками и сотнями,— это дает мне право поднять руку и опустить ее на одну из вражьих голов, на врага, который ближе других подошел ко мне и вреднее других для дела моей жизни. Такая жизнь. Против нее я и иду, ее я и не хочу. Я знаю,— их кровью ничего не создается, она не плодотворна! Хорошо растет правда, когда наша кровь кропит землю частым дождем, а их, гнилая, пропадает без следа, я это знаю! Но я приму грех на себя, убью, если увижу — надо! Я ведь только за себя говорю. Мой грех со мной умрет, он не ляжет пятном на будущее, никого не замарает он, кроме меня,— никого!

Он ходил по комнате, взмахивая рукой перед своим лицом, и как бы рубил что-то в воздухе, отсекал от самого себя. Мать смотрела на него с грустью и тревогой, чувствуя, что в нем надломилось что-то, больно ему. Темные, опасные мысли об убийстве оставили ее. «Если убил не Весовщиков, никто из товарищей Павла не мог сделать этого»,— думала она. Павел, опустив голову, слушал хохла, а тот настойчиво и сильно говорил:

— По дороге вперед и против самого себя идти приходится. Надо уметь все отдать, все сердце. Жизнь отдать, умереть за дело — это просто! Отдай — больше, и то, что тебе дороже твоей жизни,— отдай,— тогда сильно взрастет и самое дорогое твое — правда твоя!..

Он остановился среди комнаты, побледневший, полузакрыв глаза, торжественно обещая, проговорил, подняв руку:

— Я знаю — будет время, когда люди станут любоваться друг другом, когда каждый будет как звезда пред другим! Будут ходить по земле люди вольные, великие свободой своей,

все пойдут с открытыми сердцами, сердце каждого чисто будет от зависти, и беззлобны будут все. Тогда не жизнь будет, а — служение человеку, образ его вознесется высоко; для свободных — все высоты достигаемы! Тогда будут жить в правде и свободе для красоты, и лучшими будут считаться те, которые шире обнимут сердцем мир, которые глубже полюбят его, лучшими будут свободнейшие — в них наибольше красоты! Велики будут люди этой жизни...

Он замолчал, выпрямился, сказал гулко, всею грудью:

— Так — ради этой жизни — я на все пойду...

Его лицо вздрогнуло, из глаз текли слезы одна за другой, крупные и тяжелые.

Павел поднял голову и смотрел на него бледный, широко раскрыв глаза, мать привстала со стула, чувствуя, как растет, надвигается на нее темная тревога.

— Что с тобой, Андрей? — тихо спросил Павел.

Хохол тряхнул головой, вытянулся, как струна, и сказал, глядя на мать:

— Я видел... Знаю...

Она встала, быстро подошла к нему, схватила руки его — он пробовал выдернуть правую, но она цепко держалась за нее и шептала горячим шепотом:

— Голубчик мой, тише! Родной мой...

— Подождите! — глухо бормотал хохол.— Я скажу вам, как оно было...

— Не надо! — шептала она, со слезами глядя на него.— Не надо, Андрюша...

Павел медленно подошел, глядя на товарища влажными глазами. Был он бледен и, усмехаясь, сказал негромко, медленно:

— Мать боится, что это ты...

— Я — не боюсь! Не верю! Видела бы — не поверила!

— Подождите! — говорил хохол, не глядя на них, мотая головой и все освобождая руку.— Это не я,— но я мог не позволить...

— Оставь, Андрей! — сказал Павел.

Одной рукой сжимая его руку, он положил другую на плечо хохла, как бы желая остановить дрожь в его высоком теле. Хохол наклонил к ним голову и тихо, прерывисто заговорил:

— Я не хотел этого, ты ведь знаешь, Павел. Случилось так: когда ты ушел вперед, а я остановился на углу с Драгуновым — Исай вышел из-за угла,— стал в стороне. Смотрит на

нас, усмехается... Драгунов сказал: «Видишь? Это он за мной следит, всю ночь. Я изобью его». И ушел,— я думал — домой... А Исай подошел ко мне...

Хохол вздохнул:

— Никто меня не обижал так скверно, как он, собака.

Мать молча тянула его за руку к столу, и наконец ей удалось посадить Андрея на стул. А сама она села рядом с ним плечо к плечу. Павел же стоял перед ним, угрюмо пощипывая бороду.

— Он говорил мне, что всех нас знают, все мы у жандармов на счету и что выловят всех перед Маем. Я не отвечал, смеялся, а сердце закипало. Он стал говорить, что я умный парень и не надо мне идти таким путем, а лучше...

Он остановился, отер лицо левой рукой, глаза его сухо сверкнули.

— Я понимаю! — сказал Павел.

— Лучше, говорит, поступить на службу закона, а?

Хохол взмахнул рукой и потряс сжатым кулаком.

— Закона,— проклятая его душа! — сквозь зубы сказал он.— Лучше бы он по щеке меня ударил... легче было бы мне,— и ему, может быть. Но так, когда он плюнул в сердце мне вонючей слюной своей, я не стерпел.

Андрей судорожно выдергивал свою руку из руки Павла и глуше, с отвращением говорил:

— Я ударил его по щеке и пошел. Слышу — сзади Драгунов тихо так говорит: «Попался?» Он стоял за углом, должно быть...

Помолчав, хохол сказал:

— Я не обернулся, хотя чувствовал... Слышал удар... Иду себе, спокойно, как будто жабу пнул ногой. Встал на работу, кричат: «Исая убили!» Не верилось. Но рука заныла,— неловко мне владеть ею,— не больно, но как будто короче стала она...

Он искоса взглянул на руку и сказал:

— Всю жизнь, наверно, не смою я теперь поганого пятна этого...

— Было бы сердце твое чисто,— голубчик мой! — тихо сказала мать.

— Я не виню себя — нет! — твердо сказал хохол.— Но противно же мне это! Лишнее это для меня.

— Я плохо понимаю тебя! — сказал Павел, пожав плечами.— Убил — не ты, но если б даже...

— Брат, знать, что убивают, и не помешать...

Павел твердо сказал:

— Я этого совсем не понимаю...

И, подумав, прибавил:

— То есть понять могу, но почувствовать — нет.

Запел гудок. Хохол склонил голову набок, прослушал властный рев и, встряхнувшись, сказал:

— Не пойду работать...

— Я тоже,— отозвался Павел.

— Пойду в баню! — усмехаясь, проговорил хохол и быстро, молча собравшись, ушел, угрюмый.

Мать, проводив его сострадательным взглядом, сказала сыну:

— Как хочешь, Паша! Знаю — грешно убить человека,— а не считаю никого виноватым. Жалко Исая, такой он гвоздик маленький, поглядела я на него, вспомнила, как он грозился повесить тебя,— и ни злобы к нему, ни радости, что помер он. Просто жалко стало. А теперь — даже и не жалко...

Она замолчала, подумала и, удивленно улыбаясь, заметила:

— Господи Иисусе,— слышишь, Паша, что говорю я?..

Павел, должно быть, не слышал. Медленно расхаживая по комнате, опустив голову, он вдумчиво и хмуро сказал:

— Вот она, жизнь! Видишь, как поставлены люди друг против друга? Не хочешь, а — бей! И кого? Такого же бесправного человека. Он еще несчастнее тебя, потому что — глуп. Полиция, жандармы, шпионы — всё это наши враги,— а все они такие же люди, как мы, так же сосут из них кровь и так же не считают их за людей. Всё — так же! А вот поставили людей одних против других, ослепили глупостью и страхом, всех связали по рукам и по ногам, стиснули и сосут их, давят и бьют одних другими. Обратили людей в ружья, в палки, в камни и говорят: «Это государство!..»

Он подошел ближе к матери.

— Это — преступление, мать! Гнуснейшее убийство миллионов людей, убийство душ... Понимаешь,— душу убивают. Видишь разницу между нами и ими — ударил человек, и ему противно, стыдно, больно. Противно, главное! А те — убивают тысячами спокойно, без жалости, без содрогания сердца, с удовольствием убивают! И только для того давят насмерть всех и всё, чтобы сохранить серебро, золото, ничтожные бумажки, всю эту жалкую дрянь, которая дает им власть над людьми. Подумай — не себя оберегают люди, защищаясь убийством народа, искажая души людей, не ради себя делают это,— ради имущества своего. Не изнутри берегут себя, а извне...

Он взял руки ее, наклонился и, встряхивая их, сказал:

— Если бы ты почувствовала всю эту мерзость и позорную гниль — ты поняла бы нашу правду, увидала бы, как она велика и светла!..

Мать поднялась взволнованная, полная желания слить свое сердце с сердцем сына в один огонь.

— Подожди, Паша, подожди! — задыхаясь, пробормотала она.— Я — чувствую,— подожди!..

XXV

В сенях кто-то громко завозился. Они оба, вздрогнув, взглянули друг на друга.

Дверь отворилась медленно, и в нее грузно вошел Рыбин.

— Вот! — подняв голову и улыбаясь, сказал он.— Нашего Фому тянет ко всему — ко хлебу, к вину, кланяйтесь ему!..

Он был одет в полушубок, залитый дегтем, в лапти, за поясом у него торчали черные рукавицы и на голове мохнатая шапка.

— Здоровы ли? Выпустили тебя, Павел? Так. Каково живешь, Ниловна? — Он широко улыбался, показывая белые зубы, голос его звучал мягче, чем раньше, лицо еще гуще заросло бородой.

Мать обрадовалась, подошла к нему, жала его большую, черную руку и, вдыхая здоровый, крепкий запах дегтя, говорила:

— Ах, ты... ну, я рада!..

Павел улыбался, разглядывая Рыбина.

— Хорош мужичок!

Медленно раздеваясь, Рыбин говорил:

— Да, опять мужиком заделался, вы в господа помаленьку выходите, а я — назад обращаюсь... вот!

Одергивая пестрядинную рубаху, он прошел в комнату, окинул ее внимательным взглядом и заявил:

— Имущества не прибавилось у вас, видать, а книжек больше стало,— так! Ну, сказывайте, как дела?

Он сел, широко расставив ноги, уперся в колена ладонями и, вопросительно ощупывая Павла темными глазами, добродушно улыбаясь, ждал ответа.

— Дела идут бойко! — сказал Павел.

— Пашем да сеем, хвастать не умеем, а урожай соберем — сварим бражку, ляжем в лежку — так? — балагурил Рыбин.

— Как вы живете, Михайло Иваныч? — спросил Павел, садясь против него.

— Ничего. Ладно живу. В Егильдееве приостановился, слыхали — Егильдеево? Хорошее село. Две ярмарки в году, жителей боле двух тысяч,— злой народ! Земли нет, в уделе арендуют, плохая землишка. Порядился я в батраки к одному мироеду — там их как мух на мертвом теле. Деготь гоним, уголь жгем. Получаю за работу вчетверо меньше, а спину ломаю вдвое больше, чем здесь,— вот! Семеро нас у него, у мироеда. Ничего,— народ всё молодой, все тамошние, кроме меня,— грамотные всё. Один парень — Ефим, такой ярый, беда!

— Вы что же, беседуете с ними? — спросил Павел оживленно.

— Не молчу. У меня с собой захвачены все здешние листочки — тридцать четыре их. Но я больше Библией действую, там есть что взять, книга толстая, казенная, синод печатал, верить можно!

Он подмигнул Павлу и, усмехаясь, продолжал:

— Только этого мало. Я к тебе за книжками явился. Мы тут вдвоем, Ефим этот со мной,— деготь возили, ну, дали крюку, заехали к тебе! Ты меня снабди книжками, покуда Ефим не пришел,— ему лишнее много знать...

Мать смотрела на Рыбина, и ей казалось, что вместе с пиджаком он снял с себя еще что-то. Стал менее солиден, и глаза у него смотрели хитрее, не так открыто, как раньше.

— Мама,— сказал Павел,— вы сходите, принесите книг. Там знают, что дать. Скажете — для деревни.

— Хорошо! — сказала мать.— Вот самовар поспеет — я и схожу.

— И ты по этим делам пошла, Ниловна? — усмехаясь, спросил Рыбин.— Так. Охотников до книжек у нас много там. Учитель приохочивает,— говорят, парень хороший, хотя из духовного звания. Учителька тоже есть, верстах в семи. Ну, они запрещенной книгой не действуют, народ казенный,— боятся. А мне требуется запрещенная, острая книга, я под их руку буду подкладывать... Коли становой или поп увидят, что книга-то запрещенная, подумают — учителя сеют! А я в сторонке, до времени, останусь.

И, довольный своей мудростью, он весело оскалил зубы.

«Ишь ты! — подумала мать.— Смотришь медведем, а живешь лисой...»

— Как вы думаете,— спросил Павел,— если заподозрят учителей в том, что они запрещенные книги раздают,— посадят в острог за это?

— Посадят,— а что? — спросил Рыбин.

— Вы давали книжки, а — не они! Вам и в острог идти...

— Чудак! — усмехнулся Рыбин, хлопая рукой по колену.— Кто на меня подумает? Простой мужик этаким делом занимается, разве это бывает? Книга дело господское, им за нее и отвечать...

Мать чувствовала, что Павел не понимает Рыбина, и видела, что он прищурил глаза,— значит, сердится. Она осторожно и мягко сказала:

— Михаил Иванович так хочет, чтобы он дело делал, а на расправу за него другие шли...

— Вот! — сказал Рыбин, гладя бороду.— До времени.

— Мама! — сухо окликнул Павел.— Если кто-нибудь из наших, Андрей примерно, сделает что-нибудь под мою руку, а меня в тюрьму посадят — ты что скажешь?

Мать вздрогнула, недоуменно взглянула на сына и сказала, отрицательно качая головой:

— Разве можно против товарища так поступить?

— Ага-а! — протянул Рыбин.— Понял я тебя, Павел!

Насмешливо подмигнув, он обратился к матери:

— Тут, мать, дело тонкое.

И снова, поучительно, к Павлу:

— Зелено ты думаешь, брат! В тайном деле — чести нет. Рассуди: первое, в тюрьму посадят прежде того парня, у которого книгу найдут, а не учителей — раз. Второе, хотя учителя дают и разрешенную книгу, но суть в ней та же, что и в запрещенной, только слова другие, правды меньше — два. Значит, они того же хотят, что и я, только идут проселком, а я большой дорогой,— перед начальством же мы одинаково виноваты, верно? А третье, мне, брат, до них дела нет,— пеший конному не товарищ. Против мужика я так, может, и не захочу сделать. А они — один попович, другая — помещикова дочь,— зачем им надо народ поднять — я не знаю. Их господские мысли мне, мужику, неведомы. Что сам я делаю — я знаю, а чего они хотят — это мне неизвестно. Тысячу лет люди аккуратно господами были, с мужика шкуру драли, а вдруг — проснулись и давай мужику глаза протирать. Я, брат, до сказок не охотник, а это — вроде сказки. От меня всякие господа далеко. Едешь зимой полем, впереди что-то живое мельтешит, а что оно? Волк, лиса или просто собака — не вижу! Далеко.

Мать взглянула на сына. Лицо у него было грустное.

А глаза Рыбина блестели темным блеском, он смотрел на Павла самодовольно и, возбужденно расчесывая пальцами бороду, говорил:

— Любезничать мне время нет. Жизнь смотрит строго; на псарне — не в овчарне, всякая стая по-своему лает...

— Есть господа,— заговорила мать, вспомнив знакомые лица,— которые убивают себя за народ, всю жизнь в тюрьмах мучаются...

— Им и счет особый, и почет другой! — сказал Рыбин.— Мужик богатеет — в баре прет, барин беднеет — к мужику идет. Поневоле душа чиста, коли мошна пуста. Помнишь, Павел, ты мне объяснял, что кто как живет, так и думает, и ежели рабочий говорит — да, хозяин должен сказать — нет, а ежели рабочий говорит — нет, так хозяин, по природе своей, обязательно кричит — да! Так вот и у мужика с барином разные природы. Коли мужик сыт — барин ночь не спит. Конечно, во всяком звании — свой сукин сын, и всех мужиков защищать я не согласен...

Он поднялся на ноги, темный, сильный. Лицо его потускнело, борода вздрогнула, точно он неслышно щелкнул зубами, и продолжал пониженным голосом:

— Прошлялся я по фабрикам пять лет, отвык от деревни, вот! Пришел туда, поглядел, вижу — не могу я так жить! Понимаешь? Не могу! Вы тут живете — вы обид таких не видите. А там — голод за человеком тенью ползет и нет надежды на хлеб, нету! Голод души сожрал, лики человеческие стер, не живут люди, гниют в неизбывной нужде... И кругом, как воронье, начальство сторожит, нет ли лишнего куска у тебя? Увидит, вырвет, в харю тебе даст...

Рыбин оглянулся, наклонился к Павлу, опираясь рукой на стол.

— Мне даже тошно стало, как взглянул я снова на эту жизнь. Вижу — не могу! Однако преборол себя,— нет, думаю, шалишь, душа! Я останусь. Я вам хлеба не достану, а кашу заварю,— я, брат, заварю ее! Несу в себе обиду за людей и на людей. Она у меня ножом в сердце стоит и качается.

У него вспотел лоб, он, медленно надвигаясь на Павла, положил ему руку на плечо. Рука вздрагивала.

— Давай помощь мне! Давай книг, да таких, чтобы, прочитав, человек покою себе не находил. Ежа под череп посадить надо, ежа колючего! Скажи своим городским, которые для вас пишут,— для деревни тоже писали бы! Пусть валяют так, чтобы деревню варом обдало,— чтобы народ на смерть полез!

Он поднял руку и, раздельно произнося каждое слово, глухо сказал:

— Смертию смерть поправ — вот! Значит — умри, чтобы люди воскресли. И пусть умрут тысячи, чтобы воскресли тьмы народа по всей земле! Вот. Умереть легко. Воскресли бы! Поднялись бы люди!

Мать внесла самовар, искоса глядя на Рыбина. Его слова, тяжелые и сильные, подавляли ее. И было в нем что-то напоминавшее ей мужа ее, тот — так же оскаливал зубы, двигал руками, засучивая рукава, в том жила такая же нетерпеливая злоба, нетерпеливая, но немая. Этот — говорил. И был менее страшен.

— Это надо! — сказал Павел, тряхнув головой.— Давайте нам материал, мы будем вам печатать газету...

Мать с улыбкой поглядела на сына, покачала головой и, молча одевшись, ушла из дома.

— Делай! Всё доставим. Пишите проще, чтобы телята понимали! — выкрикивал Рыбин.

В кухне отворилась дверь, кто-то вошел.

— Это Ефим! — сказал Рыбин, заглядывая в кухню.— Иди сюда, Ефим! Вот — Ефим, а этого человека зовут — Павел, я тебе говорил про него.

Перед Павлом встал, держа в руках шапку и глядя на него исподлобья серыми глазами, русоволосый, широколицый парень в коротком полушубке, стройный и, должно быть, сильный.

— Доброго здоровья! — сиповато сказал он и, пожав руку Павла, пригладил обеими руками прямые волосы. Оглянул комнату и тотчас же медленно, точно подкрадываясь, пошел к полке с книгами.

— Увидал! — сказал Рыбин, подмигнув Павлу. Ефим повернулся, взглянул на него и стал рассматривать книги, говоря:

— Сколько чтения-то у вас! А читать, верно, некогда. В деревне больше время для этого дела...

— А охоты меньше? — спросил Павел.

— Зачем? И охота есть! — ответил парень, потирая подбородок.— Народ начал пошевеливать мозгой. «Геология» — это что?

Павел объяснил.

— Нам не требуется! — сказал парень, ставя книгу на полку.

Рыбин шумно вздохнул и заметил:

— Мужику не то интересно, откуда земля явилась, а как она по рукам разошлась,— как землю из-под ног у народа господа выдернули? Стоит она или вертится, это неважно — ты ее

хоть на веревке повесь,— давала бы есть; хоть гвоздем к небу прибей,— кормила бы людей!..

— «История рабства»,— снова прочитал Ефим и спросил Павла:— Про нас?

— Есть и о крепостном праве! — сказал Павел, давая ему другую книгу. Ефим взял ее, повертел в руках и, отложив в сторону, спокойно сказал:

— Это — прошло!

— Вы сами — имеете надел? — осведомился Павел.

— Мы? Имеем! Трое нас братьев, а надела — четыре десятины. Песочек — медь им чистить хорошо, а для хлеба — неспособная земля!..

Помолчав, он продолжал:

— Я от земли освободился,— что она? Кормить не кормит, а руки вяжет. Четвертый год в батраки хожу. А осенью мне в солдаты идти. Дядя Михайло говорит — не ходи! Теперь, говорит, солдат посылают народ бить. А я думаю идти. Войско и при Степане Разине народ било, и при Пугачеве. Пора это прекратить. Как по-вашему? — спросил он, пристально глядя на Павла.

— Пора! — с улыбкой ответил тот.— Только — трудно! Надо знать, что говорить солдатам и как сказать...

— Поучимся — сумеем! — сказал Ефим.

— Если начальство на этом поймает — расстрелять может! — закончил Павел, с любопытством глядя на Ефима.

— Оно — не помилует! — спокойно согласился парень и снова начал рассматривать книги.

— Пей чай, Ефим, скоро ехать! — заметил Рыбин.

— Сейчас! — отозвался парень и снова спросил:— Революция — бунт?

Пришел Андрей, красный, распаренный и угрюмый. Молча пожал руку Ефима, сел рядом с Рыбиным и, оглянув его, усмехнулся.

— Что невесело смотришь? — спросил Рыбин, ударив его ладонью по колену.

— Да так,— ответил хохол.

— Тоже рабочий? — спросил Ефим, кивая головой на Андрея.

— Тоже! — ответил Андрей.— А что?

— Он первый раз фабричных видит! — объяснил Рыбин.— Народ, говорит, особенный...

— Чем? — спросил Павел.

Ефим внимательно осмотрел Андрея и сказал:

— Кость у вас острая. Мужик круглее костью...

— Мужик спокойнее на ногах стоит! — добавил Рыбин.— Он под собой землю чувствует, хоть и нет ее у него, но он чувствует — земля! А фабричный — вроде птицы: родины нет, дома нет, сегодня — здесь, завтра там! Его и баба к месту не привязывает, чуть что — прощай, милая, в бок тебе вилами! И пошел искать, где лучше. А мужик вокруг себя хочет сделать лучше, не сходя с места. Вон мать пришла!

Ефим подошел к Павлу, спросив:

— Может, дадите мне книжку какую-нибудь?

— Пожалуйста! — охотно отозвался Павел.

Глаза парня жадно вспыхнули, и он быстро заговорил:

— Я ворочу! Наши тут поблизости деготь возят, они и привезут.

Рыбин, уже одетый, туго подпоясанный, сказал Ефиму:

— Едем, пора!

— Вот, почитаю я! — воскликнул Ефим, указывая на книги и широко улыбаясь.

Когда они ушли, Павел оживленно воскликнул, обращаясь к Андрею:

— Видел чертей?..

— Да-а! — медленно протянул хохол.— Как тучи...

— Михайло-то? — воскликнула мать.— Будто и не жил на фабрике, совсем мужиком стал! И какой страшный!

— Жаль, не было тебя! — сказал Павел Андрею, который хмуро смотрел в свой стакан чая, сидя у стола.— Вот посмотрел бы ты на игру сердца,— ты все о сердце говоришь! Тут Рыбин таких паров нагнал,— опрокинул меня, задавил!.. Я ему и возражать не мог. Сколько в нем недоверия к людям и как он их дешево ценит! Верно говорит мать — страшную силу несет в себе этот человек!..

— Это я видел! — угрюмо сказал хохол.— Отравили людей! Когда они поднимутся — они будут всё опрокидывать подряд! Им нужно голую землю,— и они оголят ее, всё сорвут!

Он говорил медленно, и было видно, что думает о другом. Мать осторожно дотронулась до него.

— Ты бы встряхнулся, Андрюша!

— Подождите, ненько, родная моя! — тихо и ласково попросил хохол.

И вдруг возбуждаясь, он заговорил, ударив рукой по столу:

— Да, Павел, мужик обнажит землю себе, если он встанет на ноги! Как после чумы — он всё пожгет, чтобы все следы обид своих неплом развеять...

— А потом встанет нам на дороге! — тихо заметил Павел.

— Наше дело — не допустить этого! Наше дело, Павел, сдержать его! Мы к нему всех ближе,— нам он поверит, за нами пойдет!

— Знаешь, Рыбин предлагает нам издавать газету для деревни! — сообщил Павел.

— И — надо!

Павел усмехнулся и сказал:

— Обидно мне, что я не поспорил с ним!

Хохол, потирая голову, спокойно заметил:

— Еще поспорим! Ты играй на своей сопелке — у кого ноги в землю не вросли, те под твою музыку танцевать будут! Рыбин верно сказал — мы под собой земли не чувствуем, да и не должны, потому на нас и положено раскачать ее. Покачнем раз — люди оторвутся, покачнем два — и еще!

Мать, усмехаясь, молвила:

— Для тебя, Андрюша, все просто!

— Ну да! — сказал хохол.— Просто! Как жизнь!

Через несколько минут он сказал:

— Я пойду в поле, похожу...

— После бани-то? Ветрено, продует тебя! — предупредила мать.

— Вот и надо, чтобы продуло! — ответил он.

— Смотри, простудишься! — ласково сказал Павел.— Лучше ляг.

— Нет, я пойду!

И, одевшись, молча ушел...

— Тяжело ему! — заметила мать, вздохнув.

— Знаешь что,— сказал ей Павел,— хорошо ты сделала, что после этого стала с ним на «ты» говорить!

Она, удивленно взглянув на него, ответила:

— Да я и не заметила, как это вышло! Он для меня такой близкий стал,— и не знаю, как сказать!

— Хорошее у тебя сердце, мать! — тихо проговорил Павел.

— Только бы тебе,— и всем вам,— хоть как-нибудь помогла я! Сумела бы!..

— Не бойся — сумеешь!..

Она тихонько засмеялась, говоря:

— А вот не бояться-то я и не умею!

— Ладно, мама! Молчим! — сказал Павел.— Знай — я тебя крепко, крепко благодарю!

Она ушла в кухню, чтобы не смущать его своими слезами.

Хохол воротился поздно вечером усталый и тотчас же лег спать, сказав:

— Верст десять пробежал я, думаю...

— Помогло? — спросил Павел.

— Не мешай, спать буду!

И замолчал, точно умер.

Спустя несколько времени пришел Весовщиков, оборванный, грязный и недовольный, как всегда.

— Не слыхал, кто Исайку убил? — спросил он Павла, неуклюже шагая по комнате.

— Нет! — кратко отозвался Павел.

— Нашелся человек — не побрезговал! А я все собирался сам его задавить. Мое это дело,— самое подходящее мне!

— Брось ты, Николай, такие речи! — дружелюбно сказал ему Павел.

— Что это в самом деле! — ласково подхватила мать.— Сердце мягкое, а сам — рычит. Зачем это?

В эту минуту ей было приятно видеть Николая, даже его рябое лицо показалось красивее.

— Не гожусь я ни для чего, кроме как для таких делов!— сказал Николай, пожимая плечами.— Думаю, думаю — где мое место? Нету места мне! Надо говорить с людьми, а я — не умею! Вижу я всё, все обиды людские чувствую, а сказать — не могу! Немая душа.

Он подошел к Павлу и, опустив голову, ковыряя пальцем стол, сказал как-то по-детски, не похоже на него, жалобно:

— Дайте вы мне какую-нибудь тяжелую работу, братцы! Не могу я так, без толку жить! Вы все в деле. Вижу я — растет оно, а я — в стороне! Вожу бревна, доски. Разве можно для этого жить? Дайте тяжелую работу!

Павел взял его за руку и потянул его к себе.

— Дадим!..

Но из-за полога раздался голос хохла:

— Я тебя, Николай, выучу набирать буквы, и ты будешь наборщиком у нас,— ладно?

Николай пошел к нему, говоря:

— Если научишь, я тебе за это нож подарю...

— Убирайся к черту с ножом! — крикнул хохол и вдруг засмеялся.

— Хороший нож! — настаивал Николай. Павел тоже засмеялся.

Тогда Весовщиков остановился среди комнаты и спросил:

— Это вы надо мной?

— Ну да! — ответил хохол, спрыгнув с постели.— Вот что — идемте в поле, гулять. Ночь лунная, хорошая. Идем?

— Хорошо! — сказал Павел.

— И я пойду! — заявил Николай.— Я люблю, хохол, когда ты смеешься...

— А я — когда ты подарки обещаешь! — ответил хохол, усмехаясь.

Когда он одевался в кухне, мать сказала ему ворчливо:

— Теплее оденься...

А когда они ушли все трое, она, посмотрев на них в окно, взглянула на образа и тихо сказала:

— Господи — помоги им!..

XXVI

Дни полетели один за другим с быстротой, не позволявшей матери думать о Первом мая. Только по ночам, когда, усталая от шумной, волнующей суеты дня, она ложилась в постель, сердце ее тихо ныло.

«Скорее бы...»

На рассвете выл фабричный гудок, сын и Андрей наскоро пили чай, закусывали и уходили, оставляя матери десяток поручений. И целый день она кружилась, как белка в колесе, варила обед, варила лиловый студень для прокламаций и клей для них, приходили какие-то люди, совали записки для передачи Павлу и исчезали, заражая ее своим возбуждением.

Листки, призывавшие рабочих праздновать Первое мая, почти каждую ночь наклеивали на заборах, они являлись даже на дверях полицейского правления, их каждый день находили на фабрике. По утрам полиция, ругаясь, ходила по слободе, срывая и соскабливая лиловые бумажки с заборов, а в обед они снова летали на улице, подкатываясь под ноги прохожих. Из города прислали сыщиков, они, стоя на углах, щупали глазами рабочих, весело и оживленно проходивших с фабрики на обед и обратно. Всем нравилось видеть бессилие полиции, и даже пожилые рабочие, усмехаясь, говорили друг другу:

— Что делают, а?

Всюду собирались кучки людей, горячо обсуждая волнующий призыв. Жизнь вскипала, она в эту весну для всех была интереснее, всем несла что-то новое, одним — еще причину раздражаться, злобно ругая крамольников, другим — смутную тревогу и надежду, а третьим,— их было меньшинство,— ост-

рую радость сознания, что это они являются силой, которая будит всех.

Павел и Андрей почти не спали по ночам, являлись домой уже перед гудком оба усталые, охрипшие, бледные. Мать знала, что они устраивают собрания в лесу, на болоте, ей было известно, что вокруг слободы по ночам рыскают разъезды конной полиции, ползают сыщики, хватая и обыскивая отдельных рабочих, разгоняя группы и порою арестуя того или другого. Понимая, что и сына с Андреем тоже могут арестовать каждую ночь, она почти желала этого — это было бы лучше для них, казалось ей.

Дело об убийстве табельщика странно заглохло. Два дня местная полиция спрашивала людей по этому поводу и, допросив человек десять, утратила интерес к убийству.

Марья Корсунова в разговоре с матерью сказала ей, отражая в своих словах мнение полиции, с которою она жила дружно, как со всеми людьми:

— Разве тут найдешь виноватого? В то утро, может, сто человек Исая видели и девяносто, коли не больше, могли ему плюху дать. За семь лет он всем насолил...

Хохол заметно изменился. У него осунулось лицо и отяжелели веки, опустившись на выпуклые глаза, полузакрывая их. Тонкая морщина легла на лице его от ноздрей к углам губ. Он стал меньше говорить о вещах и делах обычных, но все чаще вспыхивал и, впадая в хмельной и опьянявший всех восторг, говорил о будущем — о прекрасном, светлом празднике торжества свободы и разума.

Когда дело о смерти Исая заглохло, он сказал, брезгливо и печально усмехаясь:

— Не только народ, но и те люди, которыми они, как собаками, травят нас,— не дороги им. Не Иуду верного своего жалеют, а — серебреники...

— Будет об этом, Андрей! — твердо сказал Павел. Мать тихо добавила:

— Толкнули гнилушку — рассыпалась!

— Справедливо, но — не утешает! — угрюмо отозвался хохол.

Он часто говорил эти слова, и в его устах они принимали какой-то особый, всеобнимающий смысл, горький и едкий...

...И вот пришел этот день — Первое мая.

Гудок заревел, как всегда, требовательно и властно. Мать, не уснувшая ночью ни на минуту, вскочила с постели, сунула огня в самовар, приготовленный с вечера, хотела, как всегда,

постучать в дверь к сыну и Андрею, но, подумав, махнула рукой и села под окно, приложив руку к лицу так, точно у нее болели зубы.

По небу, бледно-голубому, быстро плыла белая и розовая стая легких облаков, точно большие птицы летели, испуганные гулким ревом пара. Мать смотрела на облака и прислушивалась к себе. Голова у нее была тяжелая и глаза, воспаленные бессонной ночью, сухи. Странное спокойствие было в груди, сердце билось ровно, и думалось о простых вещах...

«Рано я самовар поставила, выкипит! Пускай они подольше поспят сегодня. Замучились оба...»

В окно, весело играя, заглядывал юный солнечный луч, она подставила ему руку, и, когда он, светлый, лег на кожу ее руки, другой рукой она тихо погладила его, улыбаясь задумчиво и ласково. Потом встала, сняла трубу с самовара, стараясь не шуметь, умылась и начала молиться, истово крестясь и безмолвно двигая губами. Лицо у нее светлело, а правая бровь то медленно поднималась кверху, то вдруг опускалась...

Второй гудок закричал тише, не так уверенно, с дрожью в звуке, густом и влажном. Матери показалось, что сегодня он кричит дольше, чем всегда.

В комнате раздался гулкий и ясный голос хохла:

— Павел! Слышишь?

Кто-то из них шлепнул босыми ногами о пол, кто-то сладко зевнул...

— Самовар готов! — крикнула мать.

— Встаем! — ответил Павел весело.

— Восходит солнце! — говорил хохол.— И облака бегут. Это лишнее сегодня,— облака...

И вышел в кухню, растрепанный, измятый сном, но веселый.

— Доброе утро, ненько! Как спали?

Мать подошла к нему и тихо сказала:

— Уж ты, Андрюша, рядом с ним иди!

— А конечно же! — прошептал хохол.— Пока мы вместе— мы всюду пойдем рядом,— так и знайте!

— Вы что там шепчетесь? — спросил Павел.

— Мы ничего, Паша!

— Она говорит мне — чище умывайся! Девицы будут смотреть! — ответил хохол, выходя в сени мыться.

— «Вставай, поднимайся, рабочий народ!» — тихо запел Павел.

День становился все более ясным, облака уходили, гонимые ветром. Мать собирала посуду для чая и, покачивая головой, думала о том, как все странно: шутят они оба, улыбаются в это утро, а в полдень ждет их — кто знает — что? И ей самой почему-то спокойно, почти радостно.

Чай пили долго, стараясь сократить ожидание. И Павел, как всегда, медленно и тщательно размешивал ложкой сахар в стакане, аккуратно посыпал соль на кусок хлеба,— горбушку, любимую им. Хохол двигал под столом ногами,— он никогда не мог сразу поставить свои ноги удобно,— и, глядя, как на потолке и стене бегает отраженный влагой солнечный луч, рассказывал:

— Когда был я мальчишкой лет десяти, то захотелось мне поймать солнце стаканом. Вот взял я стакан, подкрался и — хлоп по стене! Руку разрезал себе, побили меня за это. А как побили, я вышел на двор, увидал солнце в луже и давай топтать его ногами. Обрызгался весь грязью — меня еще побили... Что мне делать? Так я давай кричать солнцу: «А мне не больно, рыжий черт, не больно!» И все язык ему показывал. Это — утешало.

— Почему оно тебе рыжим казалось? — спросил Павел, смеясь.

— А напротив нас кузнец был, краснорожий такой и с рыжей бородой. Веселый, добрый мужик. Так солнце, по-моему, на него было похоже...

Не стерпев, мать сказала:

— Вы бы о том поговорили, как пойдете!

— О решенном говорить — только путать! — мягко заметил хохол.— В случае если нас всех заберут, ненько, к вам Николай Иванович придет, и он вам скажет, как быть.

— Хорошо! — вздохнув, сказала мать.

— На улицу бы пойти! — мечтательно проговорил Павел.

— Нет, лучше дома посиди пока! — отозвался Андрей.— Зачем напрасно глаза мозолить полиции? Ты ей довольно хорошо известен!

Прибежал Федя Мазин, сверкающий, с красными пятнами на щеках. Полный трепета радости, он разогнал скуку ожидания.

— Началось! — заговорил он.— Зашевелился народ! Лезет на улицу, рожи у всех — как топоры. У ворот фабрики все время Весовщиков с Гусевым Васей и Самойловым стояли, речи говорили. Множество народа вернули домой! Идемте, пора! Уже десять часов!..

— Я пойду! — решительно сказал Павел.

— Вот увидите,— обещал Федя,— после обеда встанет вся фабрика!

И он убежал.

— Горит, как восковая свечечка на ветру! — проводила его мать тихими словами, встала и вышла на кухню, начала одеваться.

— Куда вы, ненько?

— С вами! — сказала она.

Андрей взглянул на Павла, дергая себя за усы. Павел быстрым жестом поправил волосы на голове и вышел к ней.

— Я тебе, мама, ничего не скажу... И ты мне ничего не говори! Ладно?

— Ладно, ладно,— Христос с вами! — пробормотала она.

XXVII

Когда она вышла на улицу и услыхала в воздухе гул людских голосов, тревожный, ожидающий, когда увидала везде в окнах домов и у ворот группы людей, провожавшие ее сына и Андрея любопытными взглядами,— в глазах у нее встало туманное пятно и заколыхалось, меняя цвета, то прозрачно-зеленое, то мутно-серое.

С ними здоровались, и в приветствиях было что-то особенное. Слух ее ловил отрывистые, негромкие замечания:

— Вот они, воеводы...

— Нам неизвестно, кто воеводит...

— Да ведь я ничего худого не говорю!..

В другом месте на дворе кто-то кричал раздраженно:

— Переловит их полиция — они и пропадут!..

— Ловила!

Воющий голос женщины испуганно прыгал из окна на улицу:

— Опомнись! Что ты, холостой, что ли?

Когда проходили мимо дома безногого Зосимова, который получал с фабрики за свое увечье ежемесячное пособие, он, высунув голову из окна, закричал:

— Пашка! Свернут тебе голову, подлецу, за твои дела, дождешься!

Мать вздрогнула, остановилась. Этот крик вызвал в ней острое чувство злобы. Она взглянула в опухшее, толстое лицо калеки, он спрятал голову, ругаясь. Тогда она, ускорив

шаг, догнала сына и, стараясь не отставать от него, пошла следом.

Павел и Андрей, казалось, не замечали ничего, не слышали возгласов, которые провожали их. Шли спокойно, не торопясь. Вот их остановил Миронов, пожилой и скромный человек, всеми уважаемый за свою трезвую, чистую жизнь.

— Тоже не работаете, Данило Иванович? — спросил Павел.

— У меня — жена на сносях. Ну, и день такой, беспокойный! — объяснил Миронов, пристально разглядывая товарищей, и негромко спросил:

— Вы, ребята, говорят, скандал директору хотите делать, стекла бить ему?

— Разве мы пьяные? — воскликнул Павел.

— Мы просто пройдем по улице с флагами и песни будем петь! — сказал хохол.— Вот послушайте наши песни — в них наша вера!

— Веру вашу я знаю! — задумчиво сказал Миронов.— Бумаги эти читал. Ба, Ниловна! — воскликнул он, улыбаясь матери умными глазами.— И ты бунтовать пошла?

— Надо хоть перед смертью рядом с правдой погулять!

— Ишь ты! — сказал Миронов.— Видно, верно про тебя говорят, что ты на фабрику запрещенные книжки носила!

— Кто это говорит? — спросил Павел.

— Да уж — говорят! Ну, прощайте, держитесь солиднее!

Мать тихо смеялась, ей было приятно, что про нее так говорят. Павел сказал ей, усмехаясь:

— Будешь ты в тюрьме, мама!

Солнце поднималось все выше, вливая свое тепло в бодрую свежесть вешнего дня. Облака плыли медленнее, тени их стали тоньше, прозрачнее. Они мягко ползли по улице и по крышам домов, окутывали людей и точно чистили слободу, стирая грязь и пыль со стен и крыш, скуку с лиц. Становилось веселее, голоса звучали громче, заглушая дальний шум возни машин.

Снова в уши матери отовсюду, из окон, со дворов, ползли и летели слова тревожные и злые, вдумчивые и веселые. Но теперь ей хотелось возражать, благодарить, объяснить, хотелось вмешаться в странно пеструю жизнь этого дня.

За углом улицы, в узком переулке, собралась толпа человек во сто, и в глубине ее раздавался голос Весовщикова.

— Из нас жмут кровь, как сок из клюквы! — падали на головы людей неуклюжие слова.

— Верно! — ответило несколько голосов сразу гулким звуком.

— Старается хлопец! — сказал хохол.— А ну, пойду помогу ему!..

Он изогнулся и, прежде чем Павел успел остановить его, ввернул в толпу, как штопор в пробку, свое длинное, гибкое тело. Раздался его певучий голос:

— Товарищи! Говорят, на земле разные народы живут — евреи и немцы, англичане и татары. А я — в это не верю! Есть только два народа, два племени непримиримых — богатые и бедные! Люди разно одеваются и разно говорят, а поглядите, как богатые французы, немцы, англичане обращаются с рабочим народом, так и увидите, что все они для рабочего — тоже башибузуки, кость им в горло!

В толпе засмеялся кто-то.

— А с другого бока взглянем — так увидим, что и француз-рабочий, и татарин, и турок — такой же собачьей жизнью живут, как и мы, русский рабочий народ!

С улицы все больше подходило народа, и один за другим люди молча, вытягивая шеи, поднимаясь на носки, втискивались в переулок.

Андрей поднял голос выше.

— За границей рабочие уже поняли эту простую истину и сегодня, в светлый день Первого мая...

— Полиция! — крикнул кто-то.

С улицы в проулок прямо на людей ехали, помахивая плетками, четверо конных полицейских и кричали:

— Разойдись!

Люди хмурились, неохотно уступая дорогу лошадям. Некоторые влезали на заборы.

— Посадили свиней на лошадей, а они хрюкают — вот и мы воеводы! — кричал чей-то звонкий, задорный голос.

Хохол остался один посредине проулка, на него, мотая головами, наступали две лошади. Он подался в сторону, и в то же время мать, схватив его за руку, потащила за собой, ворча:

— Обещал вместе с Пашей, а сам лезет на рожон один!

— Виноват! — сказал хохол, улыбаясь.

Ниловною овладела тревожная, разламывающая усталость, она поднималась изнутри и кружила голову, странно чередуя в сердце печаль и радость. Хотелось, чтобы скорей закричал обеденный гудок.

Вышли на площадь, к церкви. Вокруг нее, в ограде густо стоял и сидел народ, здесь было сотен пять веселой молодежи и ребятишек. Толпа колыхалась, люди беспокойно поднимали

головы кверху и заглядывали вдаль, во все стороны, нетерпеливо ожидая. Чувствовалось что-то повышенное, некоторые смотрели растерянно, другие вели себя с показным удальством. Тихо звучали подавленные голоса женщин, мужчины с досадой отвертывались от них, порою раздавалось негромкое ругательство. Глухой шум враждебного трения обнимал пеструю толпу.

— Митенька! — тихо дрожал женский голос.— Пожалей себя!..

— Отстань! — прозвенело в ответ.

А степенный голос Сизова говорил спокойно, убедительно:

— Нет, нам молодых бросать не надо! Они стали разумнее нас, они живут смелее! Кто болотную копейку отстоял? Они! Это нужно помнить. Их за это по тюрьмам таскали,— а выиграли от того все!..

Заревел гудок, поглотив своим черным звуком людской говор. Толпа дрогнула, сидевшие встали, на минуту все замерло, насторожилось, и много лиц побледнело.

— Товарищи! — раздался голос Павла, звучный и крепкий. Сухой, горячий туман ожег глаза матери, и она одним движением вдруг окрепшего тела встала сзади сына. Все обернулись к Павлу, окружая его, точно крупинки железа кусок магнита.

Мать смотрела в лицо ему и видела только глаза, гордые и смелые, жгучие...

— Товарищи! Мы решили открыто заявить, кто мы, мы поднимаем сегодня наше знамя, знамя разума, правды, свободы!

Древко, белое и длинное, мелькнуло в воздухе, наклонилось, разрезало толпу, скрылось в ней, и через минуту над поднятыми кверху лицами людей взметнулось красной птицей широкое полотно знамени рабочего народа.

Павел поднял руку кверху — древко покачнулось, тогда десяток рук схватили белое гладкое дерево, и среди них была рука его матери.

— Да здравствует рабочий народ! — крикнул он.

Сотни голосов отозвались ему гулким криком.

— Да здравствует социал-демократическая рабочая партия, наша партия, товарищи, наша духовная родина!

Толпа кипела, сквозь нее пробивались ко знамени те, кто понял его значение, рядом с Павлом становились Мазин, Самойлов, Гусевы; наклонив голову, расталкивал людей Николай, и еще какие-то незнакомые матери люди, молодые, с горящими глазами, отталкивали ее...

— Да здравствуют рабочие люди всех стран! — крикнул Павел. И, все увеличиваясь в силе и в радости, ему ответило тысячеустое эхо потрясающим душу звуком.

Мать схватила руку Николая и еще чью-то, она задыхалась от слез, но не плакала, у нее дрожали ноги, и трясущимися губами она говорила:

— Родные...

По рябому лицу Николая расплылась широкая улыбка, он смотрел на знамя и мычал что-то, протягивая к нему руку, а потом вдруг охватил мать этой рукой за шею, поцеловал ее и засмеялся.

— Товарищи! — запел хохол, покрывая своим мягким голосом гул толпы.— Мы пошли теперь крестным ходом во имя бога нового, бога света и правды, бога разума и добра! Далеко от нас наша цель, терновые венцы — близко! Кто не верит в силу правды, в ком нет смелости до смерти стоять за нее, кто не верит в себя и боится страданий — отходи от нас в сторону! Мы зовем за собой тех, кто верует в победу нашу; те, которым не видна наша цель,— пусть не идут с нами, таких ждет только горе. В ряды, товарищи! Да здравствует праздник свободных людей! Да здравствует Первое мая!

Толпа слилась плотнее. Павел махнул знаменем, оно распласталось в воздухе и поплыло вперед, озаренное солнцем, красно и широко улыбаясь...

Отречемся от старого мира... —

раздался звонкий голос Феди Мазина, и десятки голосов подхватили мягкой, сильной волной:

Отрясем его прах с наших ног!..

Мать с горячей улыбкой на губах шла сзади Мазина и через голову его смотрела на сына и на знамя. Вокруг нее мелькали радостные лица, разноцветные глаза— впереди всех шел ее сын и Андрей. Она слышала их голоса — мягкий и влажный голос Андрея дружно сливался в один звук с голосом сына ее, густым и басовитым.

Вставай, подымайся, рабочий народ,
Вставай на борьбу, люд голодный!..

И народ бежал встречу красному знамени, он что-то кричал, сливался с толпой и шел с нею обратно, и крики его гасли в звуках песни,— той песни, которую дома пели тише других,— на улице она текла ровно, прямо, со страшной силой. В ней

звучало железное мужество, и, призывая людей в далекую дорогу к будущему, она честно говорила о тяжестях пути. В ее большом спокойном пламени плавился темный шлак пережитого, тяжелый ком привычных чувств и сгорала в пепел проклятая боязнь нового...

Чье-то лицо, испуганное и радостное, качалось рядом с матерью, и дрожащий голос, всхлипывая, восклицал:

— Митя! Куда ты?

Мать, не останавливаясь, говорила:

— Пусть идет,— вы не беспокойтесь! Я тоже очень боялась,— мой впереди всех. Который несет знамя — это мой сын!

— Разбойники! Куда вы? Солдаты там!

И, вдруг схватив руку матери костлявой рукой, женщина, высокая и худая, воскликнула:

— Милая вы моя,— поют-то как! И Митя поет...

— Вы не беспокойтесь! — бормотала мать.— Это святое дело... Вы подумайте — ведь и Христа не было бы, если бы его ради люди не погибали!

Эта мысль вдруг вспыхнула в ее голове и поразила ее своей ясной, простой правдой. Она взглянула в лицо женщины, крепко державшей ее руку, и повторила, удивленно улыбаясь:

— Не было бы Христа-то, если бы люди не погибли его, господа, ради!

Рядом с нею явился Сизов. Он снял шапку, махал ею в такт песне и говорил:

— Открыто пошли, мать, а? Песню придумали. Какая песня, мать, а?

Царю нужны для войска солдаты,
Отдавайте ему сыновей...

— Ничего не боятся! — говорил Сизов.— А мой сынок в могиле...

Сердце матери забилось слишком сильно, и она начала отставать. Ее быстро оттолкнули в сторону, притиснули к забору, и мимо нее, колыхаясь, потекла густая волна людей — их было много, и это радовало ее.

Вставай, подымайся, рабочий народ!..

Казалось, в воздухе поет огромная, медная труба, поет и будит людей, вызывая в одной груди готовность к бою, в другой неясную радость, предчувствие чего-то нового, жгучее любопытство, там — возбуждая смутный трепет надежд, здесь — открывая выход едкому потоку годами накопленной злобы. Все

заглядывали вперед, где качалось и реяло в воздухе красное знамя.

— Пошли! — ревел чей-то восторженный голос.— Славно, ребята!

И, видимо чувствуя что-то большое, чего не мог выразить обычными словами, человек ругался крепкой руганью. Но и злоба, темная, слепая злоба раба, шипела змеей, извиваясь в злых словах, встревоженная светом, упавшим на нее.

— Еретики! — грозя кулаком, кричал из окна надорванный голос.

И назойливо лез в уши матери чей-то сверлящий визг:

— Против государь-императора, против его величества царя? Бунтовать?

Мимо матери мелькали смятенные лица, подпрыгивая, пробегали мужчины, женщины, лился народ темной лавой, влекомый этой песней, которая напором звуков, казалось, опрокидывала перед собой все, расчищая дорогу. Глядя на красное знамя вдали, она — не видя — видела лицо сына, его бронзовый лоб и глаза, горевшие ярким огнем веры.

Но вот она в хвосте толпы, среди людей, которые шли не торопясь, равнодушно заглядывая вперед, с холодным любопытством зрителей, которым заранее известен конец зрелища. Шли и говорили негромко, уверенно:

— Одна рота у школы стоит, а другая у фабрики...

— Губернатор приехал...

— Верно?

— Сам видел,— приехал!

Кто-то радостно выругался и сказал:

— Все-таки бояться стали нашего брата! И войско и губернатор.

«Родные!» — билось в груди матери.

Но слова вокруг нее звучали мертво и холодно. Она ускорила шаг, чтобы уйти от этих людей, и ей легко было обогнать их медленный, ленивый ход.

И вдруг голова толпы точно ударилась обо что-то, тело ее, не останавливаясь, покачнулось назад с тревожным тихим гулом. Песня тоже вздрогнула, потом полилась быстрее, громче. И снова густая волна звуков опустилась, поползла назад. Голоса выпадали из хора один за другим, раздавались отдельные возгласы, старавшиеся поднять песню на прежнюю высоту, толкнуть ее вперед:

Вставай, подымайся, рабочий народ!
Иди на врага, люд голодный!..

Но не было в этом зове общей, слитной уверенности, и уже трепетала в нем тревога.

Не видя ничего, не зная, что случилось впереди, мать расталкивала толпу, быстро подвигаясь вперед, а навстречу ей пятились люди, одни — наклонив головы и нахмурив брови, другие — конфузливо улыбаясь, третьи — насмешливо свистя. Она тоскливо осматривала их лица, ее глаза молча спрашивали, просили, звали...

— Товарищи! — раздался голос Павла.— Солдаты такие же люди, как мы. Они не будут бить нас. За что бить? За то, что мы несем правду, нужную всем? Ведь эта правда и для них нужна. Пока они не понимают этого, но уже близко время, когда и они встанут рядом с нами, когда они пойдут не под знаменем грабежей и убийств, а под нашим знаменем свободы. И для того, чтобы они поняли нашу правду скорее, мы должны идти вперед. Вперед, товарищи! Всегда — вперед!

Голос Павла звучал твердо, слова звенели в воздухе четко и ясно, но толпа разваливалась, люди один за другим отходили вправо и влево к домам, прислонялись к заборам. Теперь толпа имела форму клина, острием ее был Павел, и над его головой красно горело знамя рабочего народа. И еще толпа походила на черную птицу — широко раскинув свои крылья, она насторожилась, готовая подняться и лететь, а Павел был ее клювом...

XXVIII

В конце улицы,— видела мать,— закрывая выход на площадь, стояла серая стена однообразных людей без лиц. Над плечом у каждого из них холодно и тонко блестели острые полоски штыков. И от этой стены, молчаливой, неподвижной, на рабочих веяло холодом, он упирался в грудь матери и проникал ей в сердце.

Она втиснулась в толпу, туда, где знакомые ей люди, стоявшие впереди у знамени, сливались с незнакомыми, как бы опираясь на них. Она плотно прижалась боком к высокому бритому человеку, он был кривой и, чтобы посмотреть на нее, круто повернул голову.

— Ты что? Ты чья?..— спросил он.

— Мать Павла Власова! — ответила она, чувствуя, что у нее дрожит под коленами и нижняя губа невольно опускается.

— Ага! — сказал кривой.

— Товарищи! — говорил Павел.— Всю жизнь вперед — нам нет иной дороги!

Стало тихо, чутко. Знамя поднялось, качнулось и, задумчиво рея над головами людей, плавно двинулось к серой стене солдат. Мать вздрогнула, закрыла глаза и ахнула — Павел, Андрей, Самойлов и Мазин только четверо оторвались от толпы.

Но в воздухе медленно задрожал светлый голос Феди Мазина:

Вы жертвою пали...—

запел он.

В борьбе... роковой...—

двумя тяжелыми вздохами отозвались густые, пониженные голоса. Люди шагнули вперед, дробно ударив ногами землю. И потекла новая песня, решительная и решившаяся.

Вы отдали всё, что могли, за него...—

яркой лентой извивался голос Феди...

За свободу...—

дружно пели товарищи.

— Ага-а! — злорадно крикнул кто-то в стороне.— Панихиду запели, сукины дети!..

— Бей его! — раздался гневный возглас.

Мать схватилась руками за грудь, оглянулась и увидела, что толпа, раньше густо наполнявшая улицу, стоит нерешительно, мнется и смотрит, как от нее уходят люди со знаменем. За ними шло несколько десятков, и каждый шаг вперед заставлял кого-нибудь отскакивать в сторону, точно путь посреди улицы был раскален, жег подошвы.

Падет произвол...—

пророчила песня в устах Феди...

И восстанет народ!..—

уверенно и грозно вторил ему хор сильных голосов.

Но сквозь стройное течение ее прорывались тихие слова:

— Командует...

— На руку! — раздался резкий крик впереди.

В воздухе извилисто качнулись штыки, упали и вытянулись встречу знамени, хитро улыбаясь.

— Ма-арш!

— Пошли! — сказал кривой и, сунув руки в карманы, широко шагнул в сторону.

Мать, не мигая, смотрела. Серая волна солдат колыхнулась и, растянувшись во всю ширину улицы, ровно, холодно

двинулась, неся впереди себя редкий гребень серебристо сверкавших зубьев стали. Она, широко шагая, встала ближе к сыну, видела, как Андрей тоже шагнул вперед Павла и загородил его своим длинным телом.

— Иди рядом, товарищ! — резко крикнул Павел.

Андрей пел, руки у него были сложены за спиной, голову он поднял вверх. Павел толкнул его плечом и снова крикнул:

— Рядом! Не имеешь права! Впереди — знамя!

— Ра-азойтись! — тонким голосом кричал маленький офицерик, размахивая белой саблей. Ноги он поднимал высоко и, не сгибая в коленях, задорно стукал подошвами о землю. В глаза матери бросились его ярко начищенные сапоги.

А сбоку и немного сзади него тяжело шел рослый бритый человек, с толстыми седыми усами, в длинном сером пальто на красной подкладке и с желтыми лампасами на широких штанах. Он тоже, как хохол, держал руки за спиной, высоко поднял густые седые брови и смотрел на Павла.

Мать видела необъятно много, в груди ее неподвижно стоял громкий крик, готовый с каждым вздохом вырваться на волю, он душил ее, но она сдерживала его, хватаясь руками за грудь. Ее толкали, она качалась на ногах и шла вперед без мысли, почти без сознания. Она чувствовала, что людей сзади нее становится все меньше, холодный вал шел им навстречу и разносил их.

Все ближе сдвигались люди красного знамени и плотная цепь серых людей, ясно было видно лицо солдат — широкое во всю улицу, уродливо сплюснутое в грязно-желтую узкую полосу,— в нее были неровно вкраплены разноцветные глаза, а перед нею жестоко сверкали тонкие острия штыков. Направляясь в груди людей, они, еще не коснувшись их, откалывали одного за другим от толпы, разрушая ее.

Мать слышала сзади себя топот бегущих. Подавленные, тревожные голоса кричали:

— Расходись, ребята...

— Власов, беги!..

— Назад, Павлуха!

— Бросай знамя, Павел! — угрюмо сказал Весовщиков.— Дай сюда, я спрячу!

Он схватил рукой древко, знамя покачнулось назад.

— Оставь! — крикнул Павел.

Николай отдернул руку, точно ее обожгло. Песня погасла. Люди остановились, плотно окружая Павла, но он пробился

вперед. Наступило молчание, вдруг, сразу, точно оно невидимо опустилось сверху и обняло людей прозрачным облаком.

Под знаменем стояло человек двадцать, не более, но они стояли твердо, притягивая мать к себе чувством страха за них и смутным желанием что-то сказать им...

— Возьмите у него, поручик, это! — раздался ровный голос высокого старика.

Протянув руку, он указал на знамя.

К Павлу подскочил маленький офицерик, схватился рукой за древко, визгливо крикнул:

— Брось!

— Прочь руки! — громко сказал Павел.

Знамя красно дрожало в воздухе, наклоняясь вправо и влево, и снова встало прямо — офицерик отскочил, сел на землю. Мимо матери несвойственно быстро скользнул Николай, неся перед собой вытянутую руку со сжатым кулаком.

— Взять их! — рявкнул старик, топнув в землю ногой.

Несколько солдат выскочили вперед. Один из них взмахнул прикладом — знамя вздрогнуло, наклонилось и исчезло в серой кучке солдат.

— Эх! — тоскливо крикнул кто-то.

И мать закричала звериным, воющим звуком. Но в ответ ей из толпы солдат раздался ясный голос Павла:

— До свиданья, мама! До свиданья, родная...

«Жив! Вспомнил!» — дважды ударило в сердце матери.

— До свиданья, ненько моя!

Поднимаясь на носки, взмахивая руками, она старалась увидеть их и видела над головами солдат круглое лицо Андрея — оно улыбалось, оно кланялось ей.

— Родные мои... Андрюша!.. Паша!..— кричала она.

— До свиданья, товарищи! — крикнули из толпы солдат.

Им ответило многократное, разорванное эхо. Оно отозвалось из окон, откуда-то сверху, с крыш.

XXIX

Ее толкнули в грудь. Сквозь туман в глазах она видела перед собой офицерика, лицо у него было красное, натужное, и он кричал ей:

— Прочь, баба!

Она взглянула на него сверху вниз, увидала у ног его древко знамени, разломанное на две части — на одной из них

«Мать»
Кукрыниксы

уцелел кусок красной материи. Наклонясь, она подняла его. Офицер вырвал палку из ее рук, бросил ее в сторону и, топая ногами, кричал:

— Прочь, говорю!

Среди солдат вспыхнула и полилась песня:

Вставай, подымайся, рабочий народ...

Все кружилось, качалось, вздрагивало. В воздухе стоял густой тревожный шум, подобный матовому шуму телеграфных проволок. Офицер отскочил, раздраженно визжа:

— Прекратить пение! Фельдфебель Крайнов...

Мать, шатаясь, подошла к обломку древка, брошенного им, и снова подняла его.

— Заткнуть им глотки!..

Песня сбилась, задрожала, разорвалась, погасла. Кто-то взял мать за плечи, повернул ее, толкнул в спину...

— Иди, иди...

— Очистить улицу! — кричал офицер.

Мать видела в десятке шагов от себя снова густую толпу людей. Они рычали, ворчали, свистели и, медленно отступая в глубь улицы, разливались во дворы.

— Иди, дьявол! — крикнул прямо в ухо матери молодой усатый солдат, равняясь с нею, и толкнул ее на тротуар.

Она пошла, опираясь на древко, ноги у нее гнулись. Чтобы не упасть, она цеплялась другой рукой за стены и заборы. Перед нею пятились люди, рядом с нею и сзади нее шли солдаты, покрикивая:

— Иди, иди...

Солдаты обогнали ее, она остановилась, оглянулась. В конце улицы редкою цепью стояли они же, солдаты, заграждая выход на площадь. Площадь была пуста. Впереди тоже качались серые фигуры, медленно двигаясь на людей...

Она хотела повернуть назад, но безотчетно снова пошла вперед и, дойдя до переулка, свернула в него, узкий и пустынный.

Снова остановилась. Тяжко вздохнула, прислушалась. Где-то впереди гудел народ.

Опираясь на древко, она зашагала дальше, двигая бровями, вдруг вспотевшая, шевеля губами, размахивая рукой, в сердце ее искрами вспыхивали какие-то слова, вспыхивали, теснились, зажигая настойчивое, властное желание сказать их, прокричать...

Переулок круто поворачивал влево, и за углом мать увидала большую, тесную кучу людей; чей-то голос сильно и громко говорил:

— Ради озорства, братцы, на штыки не лезут!

— Ка-ак они, а? Идут на них — стоят! Стоят, братцы мои, без страха...

— Вот те и Паша Власов!..

— А хохол?

— Руки за спиной, улыбается, черт...

— Голубчики! Люди! — крикнула мать втискиваясь в толпу. Перед нею уважительно расступились. Кто-то засмеялся:

— Гляди — с флагом! В руке-то — флаг!

— Молчи! — сурово сказал другой голос.

Мать широко развела руками...

— Послушайте, ради Христа! Все вы — родные... все вы — сердечные... поглядите без боязни,— что случилось? Идут в мире дети, кровь наша, идут за правдой... для всех! Для всех вас, для младенцев ваших обрекли себя на крестный путь... ищут дней светлых. Хотят другой жизни в правде, в справедливости... добра хотят для всех!

У нее рвалось сердце, в груди было тесно, в горле сухо и горячо. Глубоко внутри ее рождались слова большой, все и всех обнимающей любви и жгли язык ее, двигая его все сильней, все свободнее.

Она видела — слушают ее, все молчат; чувствовала — думают люди, тесно окружая ее, и в ней росло желание — теперь уже ясное для нее — желание толкнуть людей туда, за сыном, за Андреем, за всеми, кого отдали в руки солдат, оставили одних.

Оглядывая хмурые, внимательные лица вокруг, она продолжала с мягкой силой:

— Идут в мире дети наши к радости,— пошли они ради всех и Христовой правды ради — против всего, чем заполнили, связали, задавили нас злые наши, фальшивые, жадные наши! Сердечные мои — ведь это за весь народ поднялась молодая кровь наша, за весь мир, за все люди рабочие пошли они!.. Не отходите же от них, не отрекайтесь, не оставляйте детей своих на одиноком пути. Пожалейте себя... поверьте сыновним сердцам — они правду родили, ради ее погибают. Поверьте им!

У нее порвался голос, она покачнулась, обессиленная, кто-то подхватил ее под руки...

— Божье говорит! — взволнованно и глухо выкрикнул кто-то.— Божье, люди добрые! Слушай!

Другой пожалел:

— Эх, как убивается!

Ему возразили с упреком:

— Не убивается она, а нас, дураков, бьет,— пойми!

Взвился над толпой высокий трепетный голос:

— Православные! Митя мой — душа чистая,— что он сделал? Он за товарищами пошел, за любимыми... Верно говорит она,— за что мы детей бросаем? Что нам худого сделали они?

Мать задрожала от этих слов и откликнулась тихими слезами.

— Иди домой, Ниловна! Иди, мать! Замучилась! — громко сказал Сизов.

Был он бледен, борода у него растрепалась и тряслась. Вдруг нахмурив брови, он окинул всех строгими глазами, весь выпрямился и внятно сказал:

— Задавило на фабрике сына моего, Матвея,— вы знаете. Но если бы жив был он — сам я послал бы его в ряд с ними, с теми,— сам сказал бы: «Иди и ты, Матвей! Иди, это — верно, это — честное!»

Он оборвался, замолчал, и все угрюмо молчали, властно объятые чем-то огромным, новым, но уже не пугавшим их. Сизов поднял руку, потряс ею и продолжал:

— Старик говорит,— вы меня знаете! Тридцать девять лет работаю здесь, пятьдесят три года на земле живу. Племянника моего, мальчонку чистого, умницу, опять забрали сегодня. Тоже впереди шел, рядом с Власовым,— около самого знамени...

Он махнул рукой, съежился и, взяв руку матери, сказал:

— Женщина эта правду сказала. Дети наши по чести жить хотят, по разуму, а мы вот бросили их, ушли, да! Иди, Ниловна...

— Родные вы мои! — сказала она, окидывая всех заплаканными глазами.— Для детей — жизнь, для них — земля!..

— Иди, Ниловна! На, палку-то, возьми,— говорил Сизов, подавая ей обломок древка.

На мать смотрели с грустью, с уважением, гул сочувствия провожал ее. Сизов молчаливо отстранял людей с дороги, они молча сторонились и, повинуясь неясной силе, тянувшей их за матерью, не торопясь шли за нею, вполголоса перекидываясь краткими словами.

У ворот своего дома она обернулась к ним, опираясь на обломок знамени, поклонилась и благодарно, тихо сказала:

— Спасибо вам..

И, снова вспомнив свою мысль,— новую мысль, которую, казалось ей, родило ее сердце,— она проговорила:

— Господа нашего Иисуса Христа не было бы, если бы люди не погибли во славу его...

. Толпа молча смотрела на нее.

Она еще поклонилась людям и вошла в свой дом, а Сизов, нагнув голову, вошел с нею.

Люди стояли у ворот, говорили о чем-то.

И расходились, не торопясь.

I

Остаток дня прошел в пестром тумане воспоминаний, в тяжелой усталости, туго обнявшей тело и душу. Серым пятном прыгал маленький офицерик, светилось бронзовое лицо Павла, улыбались глаза Андрея.

Она ходила по комнате, садилась у окна, смотрела на улицу, снова ходила, подняв бровь, вздрагивая, оглядываясь, и, без мысли, искала чего-то. Пила воду, не утоляя жажды, и не могла залить в груди жгучего тления тоски и обиды. День был перерублен,— в его начале было содержание, а теперь все вытекло из него, перед нею простерлась унылая пустошь и колыхался недоуменный вопрос:

«Что же теперь?..»

Пришла Корсунова. Она размахивала руками, кричала, плакала и восторгалась, топала ногами, что-то предлагала и обещала, грозила кому-то. Все это не трогало мать.

— Ага! — слышала она крикливый голос Марьи.— Заделитаки народ! Встала фабрика-то,— вся встала!

— Да, да! — говорила тихо мать, качая головой, а глаза ее неподвижно разглядывали то, что уже стало прошлым, ушло от нее вместе с Андреем и Павлом. Плакать она не могла,— сердце сжалось, высохло, губы тоже высохли, и во рту не хватало влаги. Тряслись руки, на спине мелкой дрожью вздрагивала кожа.

Вечером пришли жандармы. Она встретила их без удивления, без страха. Вошли они шумно, и было в них что-то веселое, довольное. Желтолицый офицер говорил, обнажая зубы:

— Ну-с, как поживаете? Третий раз встречаемся мы, а?

Она молчала, проводя по губам сухим языком. Офицер говорил много, поучительно, она чувствовала, что ему приятно говорить. Но его слова не доходили до нее, не мешали ей.

Только когда он сказал: «Ты сама виновата, матушка, если не умела внушить сыну уважение к богу и царю...», она, стоя у двери и не глядя на него, глухо ответила:

— Да, нам судьи — дети. Они осудят по правде за то, что бросаем мы их на пути таком.

— Что? — крикнул офицер.— Громче!

— Я говорю: судьи — дети! — повторила она, вздыхая.

Тогда он заговорил о чем-то быстро и сердито, но слова его вились вокруг, не задевая мать.

В понятых была Марья Корсунова. Она стояла рядом с матерью, но не смотрела на нее, и, когда офицер обращался к ней с каким-нибудь вопросом, она, торопливо и низко кланяясь ему, однообразно отвечала:

— Не знаю, ваше благородие! Женщина я необразованная, занимаюсь торговлей, по глупости моей, ничего не знаю...

— Ну, молчи! — приказывал офицер, шевеля усами. Она кланялась и, незаметно показывая ему кукиш, шептала матери:

— На-ко, выкуси!

Ей приказали обыскать Власову. Она замигала глазами, вытаращила их на офицера и испуганно сказала:

— Ваше благородие, не умею я этого!

Он топнул ногой, закричал. Марья опустила глаза и тихо попросила мать:

— Что же,— расстегнись, Пелагея Ниловна...

Ошаривая и ощупывая ее платье, она, с лицом, налитым кровью, шептала:

— Ах, собаки, а?

— Ты что-то говоришь там? — сурово крикнул офицер, заглядывая в угол, где она обыскивала.

— По женскому делу, ваше благородие! — пробормотала Марья испуганно.

Когда он приказал матери подписать протокол, она неумелой рукой, печатными, жирно блестевшими буквами начертила на бумаге:

«Вдова рабочего человека Пелагея Власова».

— Что ты написала? Зачем это? — воскликнул офицер, брезгливо сморщив лицо, и потом, усмехаясь, сказал: — Дикари...

Ушли они. Мать встала у окна, сложив руки на груди, и, не мигая, ничего не видя, долго смотрела перед собой, высоко подняв брови, сжала губы и так стиснула челюсти, что скоро почувствовала боль в зубах. В лампе выгорел керосин, огонь, потрескивая, угасал. Она дунула на него и осталась во тьме.

Темное облако тоскливого бездумья наполнило грудь ей, затрудняя биение сердца. Стояла она долго — устали ноги и глаза. Слышала, как под окном остановилась Марья и пьяным голосом кричала:

— Пелагея! Спишь? Страдалица моя несчастная, спи!

Мать, не раздеваясь, легла в постель и быстро, точно упала в глубокий омут, погрузилась в тяжелый сон.

Снился ей желтый песчаный курган за болотом, по дороге в город. На краю его, над обрывом, спускавшимся к ямам, где брали песок, стоял Павел и голосом Андрея тихо, звучно пел:

Вставай, подымайся, рабочий народ...

Она шла мимо кургана по дороге и, приложив ладонь ко лбу, смотрела на сына. На фоне голубого неба его фигура была очерчена четко и резко. Она совестилась подойти к нему, потому что была беременна. И на руках у нее тоже был ребенок. Пошла дальше. На поле дети играли в мяч, было их много, и мяч был красный. Ребенок потянулся к ним с ее рук и громко заплакал. Она дала ему грудь и воротилась назад, а на кургане уже стояли солдаты, направляя на нее штыки. Она быстро побежала к церкви, стоявшей посреди поля, к белой, легкой церкви, построенной словно из облаков и неизмеримо высокой. Там кого-то хоронили, гроб был большой, черный, наглухо закрытый крышкой. Но священник и дьякон ходили по церкви в белых ризах и пели:

Христос воскресе из мертвых...

Дьякон кадил, кланялся ей, улыбался, волосы у него были ярко-рыжие и лицо веселое, как у Самойлова. Сверху, из купола, падали широкие, как полотенца, солнечные лучи. На обоих клиросах тихо пели мальчики:

Христос воскресе из мертвых...

— Взять их! — вдруг крикнул священник, останавливаясь посреди церкви. Риза исчезла с него, на лице появились седые, строгие усы. Все бросились бежать, и дьякон побежал, швырнув кадило в сторону, схватившись руками за голову, точно хохол. Мать уронила ребенка на пол, под ноги людей, они обегали его стороной, боязливо оглядываясь на голое тельце, а она встала на колени и кричала им:

— Не бросайте дитя! Возьмите его...

Христос воскресе из мертвых...—

пел хохол, держа руки за спиной и улыбаясь.

Она наклонилась, подняла ребенка и посадила его на воз теса, рядом с которым медленно шел Николай и хохотал, говоря:

— Дали мне тяжелую работу...

На улице было грязно, из окон домов высовывались люди и свистели, кричали, махали руками. День был ясный, ярко горело солнце, а теней нигде не было.

— Пойте, ненько! — говорил хохол.— Такая жизнь!

И пел, заглушая все звуки своим голосом. Мать шла за ним; вдруг оступилась, быстро полетела в бездонную глубину, и глубина эта пугливо выла ей встречу...

Она проснулась, охваченная дрожью. Как будто чья-то шершавая, тяжелая рука схватила сердце ее и, зло играя, тихонько жмет его. Настойчиво гудел призыв на работу, она определила, что это уже второй. В комнате беспорядочно валялись книги, одежда,— все было сдвинуто, разворочено, пол затоптан.

Она встала и, не умываясь, не молясь богу, начала прибирать комнату В кухне на глаза ей попалась палка с куском кумача, она неприязненно взяла ее в руки и хотела сунуть под печку, но, вздохнув, сняла с нее обрывок знамени, тщательно сложила красный лоскут и спрятала его в карман, а палку переломила о колено и бросила на шесток. Потом вымыла окна и пол холодной водой, поставила самовар, оделась. Села в кухне у окна, и снова перед нею встал вопрос:

«Что же теперь делать?»

Вспомнив, что еще не молилась, она встала перед образами и, постояв несколько секунд, снова села — в сердце было пусто.

Было странно тихо,— как будто люди, вчера так много кричавшие на улице, сегодня спрятались в домах и молча думают о необычном дне.

Вдруг ей вспомнилась картина, которую она видела однажды во дни юности своей: в старом парке господ Заусайловых был большой пруд, густо заросший кувшинками. В серый день осени она шла мимо пруда и посреди него увидала лодку. Пруд был темен, покоен, и лодка была точно приклеена к черной воде, грустно украшенной желтыми листьями. Глубокой печалью, неведомым горем веяло от этой лодки без гребца и весел, одинокой, неподвижной на матовой воде среди умерших листьев. Мать долго стояла тогда на берегу пруда, думая — кто это оттолкнул лодку от берега, зачем? Вечером того дня узнали, что в пруде утопилась жена приказчика Заусайловых, ма-

ленькая женщина с черными, всегда растрепанными волосами и быстрой походкой.

Мать провела рукой по лицу, и мысль ее трепетно поплыла над впечатлениями вчерашнего дня. Охваченная ими, она сидела долго, остановив глаза на остывшей чашке чая, а в душе ее разгоралось желание увидеть кого-то умного, простого, спросить его о многом.

И, как будто отвечая ее желанию, после обеда явился Николай Иванович. Но когда она увидала его, ею вдруг овладела тревога, и, не отвечая на его приветствие, она тихо заговорила:

— Ай, батюшка мой, вот уж напрасно вы пришли! Неосторожно это! Ведь схватят вас, если увидят...

Крепко пожимая ее руку, он поправлял очки и, наклонив свое лицо близко к ней, объяснил ей спешным говорком:

— Я, видите ли, условился с Павлом и Андреем, что, если их арестуют,— на другой же день я должен переселить вас в город! — говорил он ласково и озабоченно.— Был у вас обыск?

— Был. Обшарили, ощупали. Ни стыда, ни совести у этих людей! — воскликнула она.

— Зачем им стыд? — пожав плечами, сказал Николай и начал рассказывать, почему ей нужно жить в городе.

Она слушала дружески заботливый голос, смотрела на него с бледной улыбкой и, не понимая его доказательств, удивлялась чувству ласкового доверия к этому человеку.

— Если Паша этого хотел,— сказала она,— и не стесню я вас...

Он прервал ее:

— Об этом не беспокойтесь. Я живу один, лишь изредка приезжает сестра.

— Даром хлеба есть не стану,— вслух соображала она.

— Захотите — дело найдется! — сказал Николай.

Для нее с понятием о деле уже неразрывно слилось представление о работе сына и Андрея с товарищами. Она подвинулась к Николаю и, заглянув ему в глаза, спросила:

— Найдется?

— Хозяйство мое маленькое, холостяцкое...

— Я не об этом, не об домашнем! — тихо сказала она.

И грустно вздохнула, чувствуя себя уколотой тем, что он не понял ее. Он, улыбаясь близорукими глазами, задумчиво сказал:

— Вот если бы при свидании с Павлом вы попытались узнать от него адрес тех крестьян, которые просили о газете...

— Я знаю их! — воскликнула она радостно.— Найду и все сделаю, как скажете. Кто подумает, что я запрещенное несу? На фабрику носила — слава тебе господи!

Ей вдруг захотелось пойти куда-то по дорогам, мимо лесов и деревень, с котомкой за плечами, с палкой в руке.

— Вы, голубчик, пристройте-ка меня к этому делу, прошу я вас! — говорила она.— Я вам везде пойду. По всем губерниям, все дороги найду! Буду ходить зиму и лето — вплоть до могилы — странницей,— разве плохая это мне доля?

Ей стало грустно, когда она увидела себя бездомной странницей, просящей милостыню, Христа ради, под окнами деревенских изб.

Николай осторожно взял ее руку и погладил своей теплой рукой. Потом, взглянув на часы, сказал:

— Об этом мы поговорим после!

— Голубчик! — воскликнула она.— Дети, самые дорогие нам куски сердца, волю и жизнь свою отдают, погибают без жалости к себе,— а что же я, мать?

Лицо у Николая побледнело, он тихо проговорил, глядя на нее с ласковым вниманием:

— Я, знаете, в первый раз слышу такие слова...

— Что я могу сказать? — печально качая головой, молвила она и бессильным жестом развела руки.— Если бы я имела слова, чтобы сказать про свое материнское сердце...

Встала, приподнятая силой, которая росла в ее груди и охмеляла голову горячим натиском негодующих слов.

— Заплакали бы — многие... Даже злые, бессовестные...

Николай тоже встал, снова взглянув на часы.

— Так решено — вы переедете в город ко мне?

Она молча кивнула головой.

— Когда? Вы скорее! — попросил он и мягко добавил: — Мне будет тревожно за вас, право!

Она удивленно взглянула на него,— что ему до нее? Наклонив голову, смущенно улыбаясь, он стоял перед нею сутулый, близорукий, одетый в простой черный пиджак, и все на нем было чужим ему...

— У вас есть деньги? — спросил он, опустив глаза.

— Нет!

Он быстро вынул из кармана кошелек, открыл его и протянул ей.

— Вот, пожалуйста, берите...

Мать невольно улыбнулась и, покачивая головой, заметила:

— Всё — по-новому! И деньги без цены! Люди за них душу свою теряют, а для вас они — так себе! Как будто из милости к людям вы их при себе держите...

Николай тихо засмеялся.

— Ужасно неудобная и неприятная вещь — деньги! Всегда неловко и брать их и давать...

Он взял ее руку, крепко пожал и еще раз попросил ее:

— Так вы скорее!

И, как всегда тихий, ушел.

Проводив его, она подумала:

«Такой добрый — а не пожалел...»

И не могла понять — неприятно это ей или только удивляет?

II

Она собралась к нему на четвертый день после его посещения. Когда телега с двумя ее сундуками выехала из слободки в поле, она, обернувшись назад, вдруг почувствовала, что навсегда бросает место, где прошла темная и тяжелая полоса ее жизни, где началась другая,— полная нового горя и радости, быстро поглощавшая дни.

На земле, черной от копоти, огромным темно-красным пауком раскинулась фабрика, подняв высоко в небо свои трубы. К ней прижимались одноэтажные домики рабочих. Серые, приплюснутые, они толпились тесной кучкой на краю болота и жалобно смотрели друг на друга маленькими, тусклыми окнами. Над ними поднималась церковь, тоже темно-красная под цвет фабрики, колокольня ее была ниже фабричных труб.

Мать, вздохнув, поправила ворот кофты, давивший горло.

— Шагай! — бормотал извозчик, помахивая на лошадь вожжами. Это был кривоногий человек неопределенного возраста, с редкими, выцветшими волосами на лице и голове, с бесцветными глазами. Качаясь с боку на бок, он шел рядом с телегой, и было ясно, что ему все равно, куда идти — направо, налево.

— Шагай! — говорил он бесцветным голосом и смешно выкидывал свои кривые ноги в тяжелых сапогах, с присохшей грязью. Мать оглянулась вокруг. В поле было пусто, как в душе...

Уныло качая головой, лошадь тяжело упиралась ногами в глубокий, нагретый солнцем песок, он тихо шуршал. Скрипела плохо смазанная, разбитая телега, и все звуки, вместе с пылью, оставались сзади...

Николай Иванович жил на окраине города, в пустынной улице, в маленьком зеленом флигеле, пристроенном к двухэтажному, распухшему от старости, темному дому. Перед флигелем был густой палисадник, и в окна трех комнат квартиры ласково заглядывали ветви сиреней, акаций, серебряные листья молодых тополей. В комнатах было тихо, чисто, на полу безмолвно дрожали узорчатые тени, по стенам тянулись полки, тесно уставленные книгами, и висели портреты каких-то строгих людей.

— Вам удобно будет здесь? — спросил Николай, вводя мать в небольшую комнату с одним окном в палисадник и другим на двор, густо поросший травой. И в этой комнате все стены тоже были заняты шкафами и полками книг.

— Я бы лучше в кухне! — сказала она.— Кухонька светлая, чистая...

Ей показалось, что он испугался чего-то. А когда он неловко и смущенно стал отговаривать ее и она согласилась,— сразу повеселел.

Все три комнаты полны каким-то особенным воздухом,— дышать было легко и приятно, но голос невольно понижался, не хотелось говорить громко, нарушая мирную задумчивость людей, сосредоточенно смотревших со стен.

— Цветы-то надо полить! — сказала мать, пощупав землю в горшках с цветами на окнах.

— Да, да! — виновато сказал хозяин.— Я, знаете, люблю их, а заниматься некогда...

Наблюдая за ним, она видела, что и в своей уютной квартире Николай тоже ходит осторожно, чужой и далекий всему, что окружает его. Приближал свое лицо вплоть к тому, на что смотрел, и, поправляя очки тонкими пальцами правой руки, прищуривался, прицеливаясь безмолвным вопросом в предмет, интересовавший его. Иногда брал вещь в руки, подносил к лицу и тщательно ощупывал глазами,— казалось, он вошел в комнату вместе с матерью и, как ей, ему все здесь было незнакомо, непривычно. Видя его таким, мать сразу почувствовала себя на месте в этих комнатах. Она ходила за Николаем, замечая, где что стоит, спрашивала о порядке жизни, он отвечал ей виноватым тоном человека, который знает, что он все делает не так, как нужно, а иначе не умеет.

Полив цветы и уложив правильной стопой разбросанные на пианино ноты, она посмотрела на самовар и заметила:

— Надо почистить...

Он провел пальцами по тусклому металлу, поднес палец к носу и серьезно посмотрел на него. Мать ласково усмехнулась.

Когда она легла спать и вспомнила свой день, она удивленно приподняла голову с подушки, оглядываясь. Первый раз за всю жизнь она была в доме у чужого человека, и это не стесняло ее. Она думала о Николае заботливо, чувствовала желание сделать для него все как можно лучше, вложить что-то ласковое, греющее в его жизнь. Ее трогала за сердце неловкость, смешное неумение Николая, его отчужденность от обычного и что-то мудро детское в светлых глазах. Потом ее мысль упруго остановилась на сыне, и перед нею снова развернулся день Первого мая, весь одетый в новые звуки, окрыленный новым смыслом. И горе этого дня было, как весь он, особенное,— оно не сгибало голову к земле, как тупой, оглушающий удар кулака, оно кололо сердце многими уколами и вызывало в нем тихий гнев, выпрямляя согнутую спину.

«Идут в мире дети»,— думала она, прислушиваясь к незнакомым звукам ночной жизни города. Они ползли в открытое окно, шелестя листвой в палисаднике, прилетали издалека усталые, бледные и тихо умирали в комнате.

Рано утром она вычистила самовар, вскипятила его, бесшумно собрала посуду и, сидя в кухне, стала ожидать, когда проснется Николай. Раздался его кашель, и он вошел в дверь, одной рукой держа очки, другой прикрывая горло. Ответив на его приветствие, она унесла самовар в комнату, а он стал умываться, расплескивая на пол воду, роняя мыло, зубную щетку и фыркая на себя.

За чаем Николай рассказывал ей:

— Я занимаюсь в земской управе очень печальной работой — наблюдаю, как разоряются наши крестьяне...

И, улыбаясь виновато, повторил:

— Люди, истощенные голодом, преждевременно ложатся в могилы, дети родятся слабыми, гибнут, как мухи осенью,— мы всё это знаем, знаем причины несчастия и, рассматривая их, получаем жалование. А дальше ничего, собственно говоря...

— А вы кто — студент? — спросила она его.

— Нет, я учитель. Отец мой — управляющий заводом в Вятке, а я пошел в учителя. Но в деревне я стал мужикам книжки давать, и меня за это посадили в тюрьму. После тюрьмы — служил приказчиком в книжном магазине, но — вел себя неосторожно и снова попал в тюрьму, потом — в Архангельск выслали. Там у меня тоже вышли неприятности с губернато-

ром, меня заслали на берег Белого моря, в деревушку, где я прожил пять лет.

Его говорок звучал в светлой, залитой солнцем комнате спокойно и ровно. Мать уже много слышала таких историй и никогда не понимала — почему их рассказывают так спокойно, относясь к ним как к чему-то неизбежному?

— Сестра моя сегодня приедет! — сообщил он.

— Замужняя?

— Вдова. Муж у нее был в Сибирь сослан, но бежал оттуда и умер от чахотки за границей два года тому назад...

— Она моложе вас?

— Старше на шесть лет. Я ей очень многим обязан. Вот вы послушайте, как она играет! Это ее пианино... здесь вообще много ее вещей, мои — книги...

— А она где живет?

— Везде! — ответил он, улыбаясь.— Где есть нужда в смелом человеке, там и она.

— Тоже — в этом деле? — спросила мать.

— Конечно! — сказал он.

Он скоро ушел на службу, а мать задумалась об «этом деле», которое изо дня в день упрямо и спокойно делают люди. И она чувствовала себя перед ними, как перед горою в ночной час.

Около полудня явилась дама в черном платье, высокая и стройная. Когда мать отперла ей дверь, она бросила на пол маленький желтый чемодан и, быстро схватив руку Власовой, спросила:

— Вы Павла Михайловича мама, так?

— Да,— ответила мать, смущенная ее богатым костюмом.

— Я вас такой и представляла себе! Брат писал, что вы будете жить у него! — говорила дама, снимая перед зеркалом шляпу.— Мы с Павлом Михайловичем давно друзья. Он рассказывал мне про вас.

Голос у нее был глуховатый, говорила она медленно, но двигалась сильно и быстро. Большие серые глаза улыбались молодо и ясно, а на висках уже сияли тонкие лучистые морщинки и над маленькими раковинами ушей серебристо блестели седые волосы.

— Есть хочу! — заявила она.— Теперь бы чашку кофе выпить...

— Сейчас я сварю! — отозвалась мать и, доставая кофейный прибор из шкафа, тихонько спросила: — А разве Паша говорил обо мне?

— Много...

Она вынула маленький кожаный портсигар, закурила папиросу и, расхаживая по комнате, спрашивала:

— Вы сильно боитесь за него?

Наблюдая, как дрожат синие языки огня спиртовой лампы под кофейником, мать улыбалась. Ее смущение перед дамой исчезло в глубине радости.

«Так он обо мне рассказывает, хороший мой!» — думала она, а сама медленно говорила: — Конечно,— нелегко, но раньше было бы хуже,— теперь я знаю — не один он...

И, глядя в лицо женщины, спросила ее:

— А как ваше имя?

— Софья! — ответила та.

Мать зорко присматривалась к ней. В этой женщине было что-то размашистое, слишком бойкое и торопливое.

Быстро прихлебывая кофе, она уверенно говорила:

— Главное, чтобы все они недолго сидели в тюрьме, скорее бы осудили их! А как только сошлют — мы сейчас же устроим Павлу Михайловичу побег,— он необходим здесь.

Мать недоверчиво взглянула на Софью, а та, поискав глазами, куда бы бросить окурок папиросы, сунула его в землю цветочной банки.

— Портятся от этого цветы! — машинально заметила мать.

— Извините! — сказала Софья.— Николай тоже всегда говорит мне это! — И, вынув из банки окурок, она выбросила его за окно.

Мать смущенно взглянула в лицо ей и виновато проговорила:

— Вы извините меня! Я это так сказала, не подумав. Разве я могу учить вас?

— А почему и не учить, если я неряха? — отозвалась Софья, пожав плечами.— Готов кофе? Спасибо! А почему одна чашка? Вы не будете пить?

И вдруг, взяв мать за плечи, привлекая к себе и заглядывая в глаза, она удивленно спросила:

— Неужели вы стесняетесь?

Мать, улыбаясь, ответила:

— Только что я вам насчет окурка сказала, а вы меня спрашиваете — не стесняюсь ли!

И, не скрывая своего удивления, она заговорила, как бы спрашивая:

— Вчера к вам приехала, а веду себя как дома, ничего не боюсь, говорю что хочу...

— Так и нужно! — воскликнула Софья.

— У меня голова кружится, и как будто я — сама себе чужая,— продолжала мать.— Бывало — ходишь, ходишь около человека, прежде чем что-нибудь скажешь ему от души, а теперь — всегда душа открыта, и сразу говоришь такое, чего раньше не подумала бы...

Софья снова закурила папиросу, ласково и молча освещая лицо матери своими серыми глазами.

— Вы говорите — побег устроить? Ну, а как же он жить будет — беглый? — поставила мать волновавший ее вопрос.

— Это пустяки! — ответила Софья, наливая себе еще кофе.— Будет жить, как живут десятки бежавших... Я вот только что встретила и проводила одного,— тоже очень ценный человек,— был сослан на пять лет, а прожил в ссылке три с половиной месяца...

Мать пристально посмотрела на нее, улыбнулась и, качая головой, тихо сказала:

— Нет, видно, смял меня этот день, Первое мая! Неловко мне как-то, и точно по двум дорогам сразу я иду: то мне кажется, что все понимаю, а вдруг как в туман попала. Вот теперь вы,— смотрю на вас — барыня,— занимаетесь этим делом... Пашу знаете — и цените его, спасибо вам...

— Ну, уж это вам спасибо! — засмеялась Софья.

— Что — я? Не я его этому научила! — вздохнув, сказала мать.

Софья положила окурок на блюдце своей чашки, она тряхнула головой, ее золотистые волосы рассыпались густыми прядями по спине, и она ушла, сказав:

— Ну, мне пора снять с себя все это великолепие...

III

В вечеру явился Николай. Обедали, и за обедом Софья рассказывала, посмеиваясь, как она встречала и прятала бежавшего из ссылки человека, как боялась шпионов, видя их во всех людях, и как смешно вел себя этот беглый. В тоне ее было что-то напоминавшее матери похвальбу рабочего, который хорошо сделал трудную работу и — доволен.

Теперь она была одета в легкое широкое платье стального цвета. Она казалась выше ростом в этом платье, глаза ее как будто потемнели и движения стали более спокойными.

— Тебе, Софья,— заговорил Николай после обеда,— придется взять еще дело. Ты знаешь, мы затеяли газету для деревни, но связь с людьми оттуда потеряна благодаря последним арестам. Вот только Пелагея Ниловна может указать нам, как найти человека, который возьмет распространение газеты на себя. Ты с ней поезжай туда. Нужно — скорее.

— Хорошо! — покуривая папиросу, сказала Софья.— Едем, Пелагея Ниловна?

— Что ж, поедемте...

— Далеко?

— Верст восемьдесят...

— Чудесно!.. А теперь я поиграю. Вы как, Пелагея Ниловна, можете потерпеть немного музыки?

— Вы меня не спрашивайте — будто нет меня тут! — сказала мать, усаживаясь в уголок дивана. Она видела, что брат и сестра как бы не обращают на нее внимания, и в то же время выходило так, что она все время невольно вмешивалась в их разговор, незаметно вызываемая ими.

— Вот слушай, Николай! Это — Григ. Я сегодня привезла... Закрой окна.

Она открыла ноты, не сильно ударила по клавишам левой рукой. Сочно и густо запели струны. Вздохнув глубоко, к ним прилилась еще нота, богатая звуком. Из-под пальцев правой руки, светло звеня, тревожной стаей полетели странно прозрачные крики струн и закачались, забились, как испуганные птицы, на темном фоне низких нот.

Сначала мать не трогали эти звуки, в их течении она слышала только звенящий хаос. Слух ее не мог поймать мелодии в сложном трепете массы нот. Полудремотно она смотрела на Николая, сидевшего, поджав под себя ноги, в другом конце широкого дивана, разглядывала строгий профиль Софьи и голову ее, покрытую тяжелой массой золотистых волос. Луч солнца сначала тепло освещал голову и плечо Софьи, потом лег на клавиши рояля и затрепетал под пальцами женщины, обнимая их. Музыка наполняла комнату все теснее и незаметно для матери будила ее сердце.

И почему-то пред ней вставала из темной ямы прошлого одна обида, давно забытая, но воскресавшая теперь с горькой ясностью.

Однажды покойник муж пришел домой поздно ночью, сильно пьяный, схватил ее за руку, сбросил с постели на пол, ударил в бок ногой и сказал:

— Ступай вон, сволочь, надоела ты мне!

Она, чтобы защитить себя от его ударов, быстро взяла на руки двухлетнего сына и, стоя на коленях, прикрылась его телом, как щитом. Он плакал, бился у нее в руках, испуганный, голенький и теплый.

— Ступай! — ревел Михаил.

Она вскочила на ноги, бросилась в кухню, накинула на плечи кофту, закутала ребенка в шаль и молча, без криков и жалоб, босая, в одной рубашке и кофте сверх нее, пошла по улице. Был май, ночь была свежа, пыль улицы холодно приставала к ногам, набиваясь между пальцами. Ребенок плакал, бился. Она раскрыла грудь, прижала сына к телу и, гонимая страхом, шла по улице, шла, тихонько баюкая:

— О-о-о... о-о-о!..

А уже светало, ей было боязно и стыдно ждать, что кто-нибудь выйдет на улицу, увидит ее, полунагую. Она сошла к болоту и села на землю под тесной группой молодых осин. И так сидела долго, объятая ночью, неподвижно глядя во тьму широко раскрытыми глазами, и боязливо пела, баюкая уснувшего ребенка и обиженное сердце свое...

— О-о-о... о-о-о... о-о-о!..

В одну из минут, проведенных ею там, над головой ее мелькнула, улетая вдаль, какая-то черная, тихая птица — она разбудила ее, подняла. Дрожа от холода, она пошла домой, навстречу привычному ужасу побоев и новых обид...

Последний раз вздохнул гулкий аккорд, безразличный, холодный, вздохнул и замер.

Софья обернулась, негромко спрашивая брата:

— Понравилось?

— Очень! — сказал он, вздрогнув, как разбуженный. — Очень...

В груди матери пело и дрожало эхо воспоминаний. И где-то сбоку, стороной, развивалась мысль:

«Вот,— живут люди, дружно, спокойно. Не ругаются, не пьют водки, не спорят из-за куска... как это есть у людей черной жизни...»

Софья курила папиросу. Она курила много, почти беспрерывно.

— Это любимая вещь покойника Кости! — сказала она, торопливо затягиваясь дымом, и снова взяла негромкий, печальный аккорд. — Как я любила играть ему. Какой он чуткий был, отзывчивый на все,— всем полный...

«О муже вспоминает, должно быть,— мельком отметила мать.— А — улыбается...»

— Сколько дал мне счастья этот человек...— тихо говорила Софья, аккомпанируя своим думам легкими звуками струн.— Как он умел жить...

— Да-а! — сказал Николай, теребя бородку. — Певучая душа!..

Софья бросила куда-то начатую папиросу, обернулась к матери и спросила ее:

— Вам не мешает мой шум, нет?

Мать ответила с досадой, которую не могла сдержать:

— Вы меня не спрашивайте, я ничего не понимаю. Сижу, слушаю, думаю про себя...

— Нет,— вы должны понимать! — сказала Софья.— Женщина не может не понять музыку, особенно если ей грустно...

Она сильно ударила по клавишам, и раздался громкий крик, точно кто-то услышал ужасную для себя весть,— она ударила его в сердце и вырвала этот потрясающий звук. Испуганно затрепетали молодые голоса и бросились куда-то торопливо, растерянно; снова закричал громкий, гневный голос, все заглушая. Должно быть — случилось несчастие, но вызвало к жизни не жалобы, а гнев. Потом явился кто-то ласковый и сильный и запел простую красивую песнь, уговаривая, призывая за собой.

Сердце матери налилось желанием сказать что-то хорошее этим людям. Она улыбалась, охмеленная музыкой, чувствуя себя способной сделать что-то нужное для брата и сестры.

И, поискав глазами — что можно сделать? — тихонько пошла в кухню ставить самовар.

Но это желание не исчезло у нее, и, разливая чай, она говорила, смущенно усмехаясь и как бы отирая свое сердце словами теплой ласки, которую давала равномерно им и себе:

— Мы, люди черной жизни,— всё чувствуем, но трудно выговорить нам, нам совестно, что вот — понимаем, а сказать не можем. И часто — от совести — сердимся мы на мысли наши. Жизнь — со всех сторон и бьет и колет, отдохнуть хочется, а мысли — мешают.

Николай слушал, протирая очки, Софья смотрела, широко открыв свои огромные глаза и забывая курить угасавшую папиросу. Она сидела у пианино вполоборота к нему и порою тихо касалась клавиш тонкими пальцами правой руки. Аккорд осторожно вливался в речь матери, торопливо облекавшей чувства в простые, душевные слова.

— Я вот теперь смогу сказать кое-как про себя, про людей, потому что — стала понимать, могу сравнить. Раньше жила, — не с чем было сравнивать. В нашем быту — все живут одина-

ково. А теперь вижу, как другие живут, вспоминаю, как сама жила, и — горько, тяжело!

Она понизила голос, продолжая:

— Может быть, я что-нибудь и не так говорю и не нужно этого говорить, потому что вы сами всё знаете...

Слезы зазвенели в ее голосе, и, глядя на них с улыбкой в глазах, она сказала:

— А хочется мне сердце открыть перед вами, чтобы видели вы, как я желаю вам доброго, хорошего!

— Мы это видим! — тихо сказал Николай.

Она не могла насытить свое желание и снова говорила им то, что было ново для нее и казалось ей неоценимо важным. Стала рассказывать о своей жизни в обидах и терпеливом страдании, рассказывала беззлобно, с усмешкой сожаления на губах, развертывая серый свиток печальных дней, перечисляя побои мужа, и сама поражалась ничтожностью поводов к этим побоям, сама удивлялась своему неумению отклонить их...

Они слушали ее молча, подавленные глубоким смыслом простой истории человека, которого считали скотом и который сам долго и безропотно чувствовал себя тем, за кого его считали. Казалось, тысячи жизней говорят ее устами; обыденно и просто было все, чем она жила, но — так просто и обычно жило бесчисленное множество людей на земле, и ее история принимала значение символа. Николай поставил локти на стол, положил голову на ладони и не двигался, глядя на нее через очки напряженно прищуренными глазами. Софья откинулась на спинку стула и порой вздрагивала, отрицательно покачивая головой. Лицо ее стало еще более худым и бледным, она не курила.

— Однажды я сочла себя несчастной, мне показалось, что жизнь моя — лихорадка,— тихо заговорила она, опуская голову.— Это было в ссылке. Маленький уездный городишко, делать нечего, думать не о чем, кроме себя. Я складывала все мои несчастия и взвешивала их от нечего делать: вот — поссорилась с отцом, которого любила, прогнали из гимназии и оскорбили, тюрьма, предательство товарища, который был близок мне, арест мужа, опять тюрьма и ссылка, смерть мужа. И мне тогда казалось, что самый несчастный человек — это я. Но все мои несчастия — и в десять раз больше — не стоят месяца вашей жизни, Пелагея Ниловна... Это ежедневное истязание в продолжение годов... Где люди черпают силу страдать?

— Привыкают! — вздохнув, ответила Власова.

— Мне казалось — я знаю жизнь! — задумчиво сказал Николай.— Но, когда о ней говорит не книга и не разрозненные впечатления мои, а вот так, сама она,— страшно! И страшны мелочи, страшно — ничтожное, минуты, из которых слагаются года...

Беседа текла, росла, охватывая черную жизнь со всех сторон, мать углублялась в свои воспоминания и, извлекая из сумрака прошлого каждодневные обиды, создавала тяжелую картину немого ужаса, в котором утонула ее молодость. Наконец она сказала:

— Ой, заговорила я вас, пора вам отдыхать! Всего не перескажешь...

Брат и сестра простились с нею молча. Ей показалось, что Николай поклонился ниже, чем всегда, и крепче пожал руку. А Софья проводила ее до комнаты и, остановясь в дверях, сказала тихо:

— Отдыхайте, покойной ночи!

От ее голоса веяло теплом, серые глаза мягко ласкали лицо матери...

Она взяла руку Софьи и, сжимая ее своими руками, ответила:

— Спасибо вам!..

IV

Через несколько дней мать и Софья явились перед Николаем бедно одетыми мещанками, в поношенных ситцевых платьях и кофтах, с котомками за плечами и с палками в руках. Костюм убавил Софье рост и сделал еще строже ее бледное лицо.

Прощаясь с сестрой, Николай крепко пожал ей руку, и мать еще раз отметила простоту и спокойствие их отношений. Ни поцелуев, ни ласковых слов у этих людей, а относятся они друг к другу так душевно, заботливо. Там, где она жила, люди много целуются, часто говорят ласковые слова и всегда кусают друг друга, как голодные собаки.

Женщины молча прошли по улицам города, вышли в поле и зашагали плечо к плечу по широкой, избитой дороге между двумя рядами старых берез.

— А не устанете вы? — спросила мать у Софьи.

— Вы думаете, мало я ходила? Это мне знакомо...

Весело, как будто хвастаясь шалостями детства, Софья стала рассказывать матери о своей революционной работе. Ей

приходилось жить под чужим именем, пользуясь фальшивым документом, переодеваться, скрываясь от шпионов, возить пуды запрещенных книг по разным городам, устраивать побеги для ссыльных товарищей, сопровождать их за границу. В ее квартире была устроена тайная типография, и когда жандармы, узнав об этом, явились с обыском, она, успев за минуту перед их приходом переодеться горничной, ушла, встретив у ворот дома своих гостей, и без верхнего платья, в легком платке на голове и с жестянкой для керосина в руках, зимою, в крепкий мороз, прошла весь город из конца в конец. Другой раз она приехала в чужой город к своим знакомым и, когда уже шла по лестнице в их квартиру, заметила, что у них обыск. Возвращаться назад было поздно, тогда она смело позвонила в дверь этажом ниже квартиры знакомых и, войдя со своим чемоданом к незнакомым людям, откровенно объяснила им свое положение.

— Можете выдать меня, если хотите, но я думаю, вы не сделаете этого,— сказала она уверенно.

Они были сильно испуганы и всю ночь не спали, ожидая каждую минуту, что к ним постучат, но не решились выдать ее жандармам, а утром вместе с нею смеялись над ними. Однажды она, переодетая монахиней, ехала в одном вагоне и на одной скамье со шпионом, который выслеживал ее и, хвастаясь своей ловкостью, рассказывал ей, как он это делает. Он был уверен, что она едет с этим поездом в вагоне второго класса, на каждой остановке выходил и, возвращаясь, говорил ей:

— Не видно,— спать легла, должно быть. Тоже и они устают,— жизнь трудная, вроде нашей!

Мать слушала ее рассказы, смеялась и смотрела на нее ласкающими глазами. Высокая, сухая, Софья легко и твердо шагала по дороге стройными ногами. В ее походке, словах, в самом звуке голоса, хотя и глуховатом, но бодром, во всей ее прямой фигуре было много душевного здоровья, веселой смелости. Ее глаза смотрели на все молодо и всюду видели что-то, радовавшее ее юной радостью.

— Смотрите, какая славная сосна! — восклицала Софья, указывая матери на дерево. Мать останавливалась и смотрела, — сосна была не выше и не гуще других.

— Хорошее дерево! — усмехаясь, говорила она. И видела, как ветер играет седыми волосами над ухом женщины.

— Жаворонок! — Серые глаза Софьи ласково разгорались и тело как будто поднималось от земли навстречу музыке, невидимо звеневшей в ясной высоте. Порою она, гибко накло-

няясь, срывала полевой цветок и легкими прикосновениями тонких быстрых пальцев любовно гладила дрожащие лепестки. И что-то напевала, тихо и красиво.

Все это подвигало сердце ближе к женщине со светлыми глазами, и мать невольно жалась к ней, стараясь идти в ногу. Но порою в словах Софьи вдруг являлось что-то резкое, оно казалось матери лишним и возбуждало у нее опасливую думу:

«Не понравится она Михайле-то...»

А через минуту Софья снова говорила просто, душевно, и мать, улыбаясь, заглядывала ей в глаза.

— Какая молодая вы еще! — вздохнув, сказала она.

— О, мне уж тридцать два года! — воскликнула Софья.

Власова улыбнулась.

— Я не про это,— с лица вам можно больше дать. А посмотришь в глаза ваши, послушаешь вас и даже удивляешься,— как будто вы девушка. Жизнь ваша беспокойная и трудная, опасная, а сердце у вас — улыбается.

— Я не чувствую, что мне трудно, и не могу представить жизнь лучше, интереснее этой... Я буду звать вас — Ниловна; Пелагея — это не идет вам.

— Зовите как хочется! — задумчиво сказала мать.— Как хочется, так и зовите. Я вот все смотрю на вас, слушаю, думаю. Приятно мне видеть, что вы знаете пути к сердцу человеческому. Все в человеке перед вами открывается без робости, без опасений,— сама собой распахивается душа встречу вам. И думаю я про всех вас — одолеют они злое в жизни, непременно одолеют!

— Мы победим, потому что мы — с рабочим народом! — уверенно и громко сказала Софья. — В нем скрыты все возможности, и с ним — все достижимо! Надо только разбудить его сознание, которому не дают свободы расти...

Речь ее будила в сердце матери сложное чувство — ей почему-то было жалко Софью необидной дружеской жалостью и хотелось слышать от нее другие слова, более простые.

— Кто вас наградит за труды ваши? — спросила она тихо и печально.

Софья ответила с гордостью, как показалось матери:

— Мы уже награждены! Мы нашли для себя жизнь, которая удовлетворяет нас, мы живем всеми силами души — чего еще можно желать?

Мать взглянула на нее и опустила голову, снова подумав: «Не понравится она Михайле...»

Вдыхая полной грудью сладкий воздух, они шли не быстрой, но спорой походкой, и матери казалось, что она идет на богомолье. Ей вспоминалось детство и та хорошая радость, с которой она, бывало, ходила из села на праздник в дальний монастырь к чудотворной иконе.

Иногда Софья негромко, но красиво пела какие-то новые песни о небе, о любви или вдруг начинала рассказывать стихи о поле и лесах, о Волге, а мать, улыбаясь, слушала и невольно покачивала головой в ритм стиха, поддаваясь музыке его.

В груди у нее было тепло, тихо и задумчиво, точно в маленьком старом саду летним вечером.

V

На третий день пришли к селу, мать спросила мужика, работавшего в поле, где дегтярный завод, и скоро они спустились по крутой лесной тропинке,— корни деревьев лежали на ней, как ступени,— на небольшую круглую поляну, засоренную углем и щепой, залитую дегтем.

— Вот и пришли! — беспокойно оглядываясь, сказала мать.

У шалаша из жердей и ветвей, за столом из трех нестроганых досок, положенных на козлы, врытые в землю, сидели, обедая,— Рыбин, весь черный, в расстегнутой на груди рубахе, Ефим и еще двое молодых парней. Рыбин первый заметил их и, приложив ладонь к глазам, молча ждал.

— Здравствуйте, братец Михайло! — крикнула мать еще издали.

Он встал, не торопясь пошел встречу, узнав ее, остановился и, улыбаясь, погладил бороду темной рукой.

— Идем на богомолье! — говорила мать, подходя. — Дай, думаю, зайду, навещу брата! Вот моя подруга, Анной звать...

Гордясь своими выдумками, она искоса взглянула в лицо Софьи, серьезное и строгое.

— Здравствуй! — сказал Рыбин, сумрачно усмехаясь, потряс ее руку, поклонился Софье и продолжал: — Не ври, здесь не город, вранье не требуется! Всё — свои люди...

Ефим, сидя за столом, зорко рассматривал странниц и что-то говорил товарищам жужжавшим голосом. Когда женщины подошли к столу, он встал и молча поклонился им, его товарищи сидели неподвижно, как бы не замечая гостей.

— Мы тут живем, как монахи! — сказал Рыбин, легонько ударяя Власову по плечу.— Никто не ходит к нам, хозяина в

селе нет, хозяйку в больницу увезли, и я вроде управляющего. Садитесь-ка за стол. Чай, есть хотите? Ефим, достал бы молока!

Не торопясь, Ефим пошел в шалаш, странницы снимали с плеч котомки, один из парней, высокий и худой, встал из-за стола, помогая им, другой, коренастый и лохматый, задумчиво облокотясь на стол, смотрел на них, почесывая голову и тихо мурлыкая песню.

Тяжелый аромат дегтя сливался с душным запахом прелого листа и кружил голову.

— Вот этого звать Яков, — указывая на высокого парня, сказал Рыбин, — а тот — Игнатий. Ну, как сын твой?

— В тюрьме! — вздохнув, сказала мать.

— Опять в тюрьме? — воскликнул Рыбин.— Понравилось ему, однако...

Игнатий перестал петь, Яков взял палку из рук матери и сказал:

— Садись!..

— А что же вы? Садитесь! — пригласил Рыбин Софью. Она молча села на обрубок дерева, внимательно разглядывая Рыбина.

— Когда взяли? — спросил Рыбин, усаживаясь против матери, и, качнув головой, воскликнул: — Не везет тебе, Ниловна!

— Ничего! — сказала она.

— Ну? Привыкаешь?

— Не привыкаю, а вижу — нельзя без этого!

— Так! — сказал Рыбин. — Ну, рассказывай...

Ефим принес горшок молока, взял со стола чашку, сполоснул водой и, налив в нее молоко, подвинул к Софье, внимательно слушая рассказ матери. Он двигался и делал все бесшумно, осторожно. Когда мать кончила свой краткий рассказ — все молчали с минуту, не глядя друг на друга. Игнат, сидя за столом, рисовал ногтем на досках какой-то узор, Ефим стоял сзади Рыбина, облокотясь на его плечо, Яков, прислонясь к стволу дерева, сложил на груди руки и опустил голову. Софья исподлобья оглядывала мужиков...

— Да-а! — медленно и угрюмо протянул Рыбин. — Вот как,— открыто!..

— У нас бы, если такой парад устроить, — сказал Ефим и хмуро усмехнулся,— насмерть избили бы мужики!

— Изобьют! — подтвердил Игнат, кивнув головой. — Нет, я на фабрику уйду, там лучше...

— Судить, говоришь, будут Павла? — спросил Рыбин. — И что же, какое наказание, не слышала?

— Каторга или вечное поселение в Сибири... — тихо ответила она.

Трое парней все сразу посмотрели на нее, а Рыбин опустил голову и медленно спросил:

— А он, когда затевал это дело, знал, что ему грозит?

— Знал! — громко сказала Софья.

Все замолчали, не двигаясь, как бы застыв в одной холодной мысли.

— Так! — продолжал Рыбин сурово и важно.— Я тоже думаю, что знал. Не смерив — он не прыгает, человек серьезный. Вот, ребята, видали? Знал человек, что и штыком его ударить могут, и каторгой попотчуют, а — пошел. Мать на дороге ему ляг — перешагнул бы. Пошел бы, Ниловна, через тебя?

— Пошел бы! — вздрогнув, сказала мать и оглянулась, тяжело вздохнув. Софья молча погладила ее руку и, нахмурив брови, в упор посмотрела на Рыбина.

— Это — человек! — сказал он негромко и оглянул всех темными глазами. И снова шестеро людей молчали. Тонкие лучи солнца золотыми лентами висели в воздухе. Где-то убежденно каркала ворона. Мать осматривалась, расстроенная воспоминаниями о Первом мая, тоской о сыне, об Андрее. На маленькой тесной поляне валялись бочки из-под дегтя, топырились выкорчеванные пни. Дубы и березы, густо теснясь вокруг поляны, незаметно надвигались на нее со всех сторон, и, связанные тишиной, неподвижные, они бросали на землю темные, теплые тени.

Вдруг Яков отшатнулся от дерева, шагнул в сторону, остановился и, взмахнув головой, спросил сухо и громко:

— Это против таких нас с Ефимом поставят?

— А ты думаешь против кого? — ответил Рыбин угрюмым вопросом. — Нас душат нашими же руками, в этом и фокус!

— Я все-таки пойду в солдаты! — негромко и упрямо заявил Ефим.

— Кто отговаривает? — воскликнул Игнат. — Иди!

И, в упор глядя на Ефима, усмехаясь, сказал:

— Только когда в меня стрелять будешь, цель в голову... не калечь, а сразу убивай!

— Слышал я это! — резко крикнул Ефим.

— Погоди, ребята! — заговорил Рыбин, оглядывая их, и поднял руку неторопливым движением. — Вот — женщина! —

сказал он, указывая на мать. — Сын у нее, наверное, пропал теперь...

— Зачем ты это говоришь? — спросила мать, тоскливо и негромко.

— Надо! — ответил он угрюмо. — Надо, чтобы твои волосы не зря седели. Ну, что же, — убили ее этим? Ниловна, книжек принесла?

Мать взглянула на него и, помолчав, ответила:

— Принесла...

— Так! — сказал Рыбин, ударив ладонью по столу. — Я это сразу понял, как увидал тебя,— зачем тебе идти сюда, коли не для этого? Видали? Сына выбили из ряда — мать на его место встала!

Он, зловеще грозя рукой, матерно выругался.

Мать испугалась его крика, она смотрела на него и видела, что лицо Михаила резко изменилось — похудело, борода стала неровной, под нею чувствовались кости скул. На синеватых белках глаз явились тонкие красные жилки, как будто он долго не спал, нос у него стал хрящеватее, хищно загнулся. Раскрытый ворот пропитанной дегтем, когда-то красной, рубахи обнажал сухие ключицы, густую черную шерсть на груди, и во всей фигуре теперь было еще более мрачного, траурного. Сухой блеск воспаленных глаз освещал темное лицо огнем гнева. Софья, побледнев, молчала, не отрывая глаз от мужиков. Игнат покачивал головой, сощурив глаза, а Яков, снова стоя у шалаша, темными пальцами сердито отламывал кору жерди. Вдоль стола за спиной матери медленно шагал Ефим.

— Намедни,— продолжал Рыбин,— вызвал меня земский,— говорит мне: «Ты что, мерзавец, сказал священнику?» — «Почему я — мерзавец? Я зарабатываю хлеб свой горбом, я ничего худого против людей не сделал, говорю, вот!» Он заорал, ткнул мне в зубы... трое суток я сидел под арестом. Так говорите вы с народом! Так? Не жди прощенья, дьявол! Не я — другой, не тебе — детям твоим возместит обиду мою,— помни! Вспахали вы железными когтями груди народу, посеяли в них зло — не жди пощады, дьяволы наши! Вот.

Он был весь налит кипящей злобой, и в голосе его вздрагивали звуки, пугавшие мать.

— А что я сказал попу? — продолжал он спокойнее.— После схода в селе сидит он с мужиками на улице и рассказывает им, что, дескать, люди — стадо, для них всегда пастуха надо,— так! А я пошутил: «Как назначат в лесу воеводой лису, пера будет много, а птицы — нет!» Он покосился на

меня, заговорил насчет того, что, мол, терпеть надо народу и богу молиться, чтобы он силу дал для терпенья. А я сказал — что, мол, народ молится много, да, видно, время нет у бога,— не слышит! Вот. Он привязался ко мне — какими молитвами я молюсь? Я говорю — одной всю жизнь, как и весь народ: «Господи, научи таскать барам кирпичи, есть каменья, выплевывать поленья!» Он мне и договорить не дал. Вы — барыня? — вдруг оборвав рассказ, спросил Рыбин Софью.

— Почему я барыня? — быстро спросила она его, вздрогнув от неожиданности.

— Почему! — усмехнулся Рыбин.— Такая судьба, с тем родились! Вот. Думаете — ситцевым платочком дворянский грех можно скрыть от людей? Мы узнаем попа и в рогоже. Вы вот локоть в мокро на столе положили — вздрогнули, сморщились. И спина у вас пряма для рабочего человека...

Боясь, что он обидит Софью своим тяжелым голосом, усмешкой и словами, мать торопливо и строго заговорила:

— Она моя подруга, Михайло Иваныч, она — хороший человек,— в этом деле седые волосы нажила. Ты — не очень...

Рыбин тяжело вздохнул.

— Разве я говорю обидное?

Софья, взглянув на него, сухо спросила:

— Вы что-то хотели сказать мне?

— Я? Да! Вот тут недавно человек явился новый, двоюродный брат Якову, больной он, в чахотке. Позвать его — можно?

— Что же, позовите! — ответила Софья.

Рыбин взглянул на нее, прищурив глаза, и, понизив голос, сказал:

— Ефим, ты бы пошел к нему,— скажи, чтобы к ночи он явился,— вот.

Ефим надел картуз и молча, ни на кого не глядя, не торопясь, скрылся в лесу. Рыбин кивнул головой вслед ему, глухо говоря:

— Мучается! Ему идти в солдаты,— ему и вот Якову. Яков просто говорит: «Не могу», а тот тоже не может, а хочет идти... Думает — можно солдат потревожить. Я полагаю — стены лбом не прошибешь... Вот они — штыки в руку и пошли. Да-а, мучается! А Игнатий бередит ему сердце,— напрасно!

— Вовсе не напрасно! — хмуро сказал Игнат, не глядя на Рыбина.— Его там обработают, начнет палить не хуже других...

— Едва ли! — задумчиво отозвался Рыбин.— Но, конечно, лучше бежать от этого. Россия велика — где найдешь? Паспортишко достал и ходи по деревням...

— Я так и сделаю! — заметил Игнат, постукивая себя щепой по ноге.— Уж как решились идти против — иди прямо!

Разговор оборвался. Заботливо кружились пчелы и осы, звеня в тишине и оттеняя ее. Чирикали птицы, и где-то далеко звучала песня, плутая по полям. Помолчав, Рыбин сказал:

— Ну,— нам работать надо... Вы, может, отдохнете? Там, в шалаше, нары есть. Набери-ка им листа сухого, Яков... А ты, мать, давай книги...

Мать и Софья начали развязывать котомки. Рыбин наклонился над ними и, довольный, говорил:

— Немало принесли,— ишь ты! Давно в этих делах,— как вас звать-то? — обратился он к Софье.

— Анна Ивановна! — ответила она.— Двенадцать лет... А что?

— Ничего. В тюрьме бывали, чай?

— Бывала.

— Видишь? — негромко и с упреком сказала мать.— А ты грубое говорил при ней...

Он помолчал и, забрав в руки кучу книг, сказал, оскалив зубы:

— Вы на меня не обижайтесь! Мужику с барином, как смоле с водой,— трудно вместе, отскакивает!

— Я не барыня, а человек! — возразила Софья, мягко усмехаясь.

— И это может быть! — отозвался Рыбин.— Говорят, будто собака раньше волком была. Пойду спрячу это.

Игнат и Яков подошли к нему, протянув руки.

— Дай-ка нам! — сказал Игнат.

— Все одинаковы? — спросил Рыбин Софью.

— Разные. Тут газета есть...

— О?

Они трое поспешно ушли в шалаш.

— Горит мужик! — тихонько сказала мать, проводив их задумчивым взглядом.

— Да,— тихо отозвалась Софья.— Никогда я еще не видала такого лица, как у него,— великомученик какой-то! Пойдем и мы туда, мне хочется взглянуть на них...

— Вы на него не сердитесь, что суров он...— тихонько попросила мать.

Софья усмехнулась.

— Какая вы славная, Ниловна...

Когда они встали в дверях, Игнат поднял голову, мельком взглянул на них и, запустив пальцы в кудрявые волосы, наклонился над газетой, лежавшей на коленях у него; Рыбин, стоя, поймал на бумагу солнечный луч, проникший в шалаш сквозь щель в крыше, и, двигая газету под лучом, читал, шевеля губами; Яков, стоя на коленях, навалился на край нар грудью и тоже читал.

Мать, пройдя в угол шалаша, села там, а Софья, обняв ее за плечи, молча наблюдала.

— Дядя Михайло, ругают нас, мужиков! — вполголоса сказал Яков, не оборачиваясь. Рыбин обернулся, взглянул на него и ответил, усмехаясь:

— Любя!

Игнат потянул в себя воздух, поднял голову и, закрыв глаза, молвил:

— Написано тут — «крестьянин перестал быть человеком»,— конечно, перестал!

По его простому, открытому лицу скользнула тень обиды.

— На-ко, пойди, надень мою шкуру, повертись в ней, я погляжу, чем ты будешь,— умник!

— Я лягу! — тихонько сказала мать Софье.— Устала все-таки немного, и голова кружится от запаха. А вы?

— Не хочу.

Мать протянулась на нарах и задремала. Софья сидела над нею, наблюдая за читающими, и, когда оса или шмель кружились над лицом матери, она заботливо отгоняла их прочь. Мать видела это полузакрытыми глазами, и ей была приятна забота Софьи.

Подошел Рыбин и спросил гулким шепотом:

— Спит?

— Да.

Он помолчал, пристально посмотрел в лицо матери, вздохнул и тихо заговорил:

— Она, может, первая, которая пошла за сыном его дорогой, первая!

— Не будем ей мешать, уйдемте! — предложила Софья.

— Да, нам работать надо. Поговорить хотелось бы, да уж до вечера! Идем, ребята...

Они ушли все трое, оставив Софью у шалаша. А мать подумала:

«Ну, ничего, слава богу! Подружились...»

И спокойно уснула, вдыхая пряный запах леса и дегтя.

VI

Пришли дегтярники, довольные, что кончили работу.

Разбуженная их голосами, мать вышла из шалаша, позевывая и улыбаясь.

— Вы работали, а я, будто барыня, спала! — сказала она, оглядывая всех ласковыми глазами.

— Прощается тебе! — отозвался Рыбин. Он был более спокоен, усталость поглотила избыток возбуждения.

— Игнат,— сказал он,— схлопочи-ка насчет чая! Мы тут поочередно хозяйство ведем,— сегодня Игнатий нас поит, кормит!

— Я бы уступил свою очередь! — заметил Игнат и стал собирать щепки и сучья для костра, прислушиваясь.

— Всем гости интересны! — проговорил Ефим, усаживаясь рядом с Софьей.

— Я тебе помогу, Игнат! — тихо сказал Яков, уходя в шалаш. Он вынес оттуда каравай хлеба и начал резать его на куски, раскладывая по столу.

— Чу! — тихо воскликнул Ефим.— Кашляет...

Рыбин прислушался и сказал, кивнув головой:

— Да, идет...

И, обращаясь к Софье, объяснил:

— Сейчас придет свидетель. Я бы его водил по городам, ставил на площадях, чтобы народ слушал его. Говорит он всегда одно, но это всем надо слышать...

Тишина и сумрак становились гуще, голоса людей звучали мягче. Софья и мать наблюдали за мужиками — все они двигались медленно, тяжело, с какой-то странной осторожностью, и тоже следили за женщинами.

Из леса на поляну вышел высокий, сутулый человек, он шел медленно, крепко опираясь на палку, и было слышно его хриплое дыхание.

— Вот и я! — сказал он и начал кашлять.

Он был одет в длинное, до пят, потертое пальто, из-под круглой, измятой шляпы жидкими прядями бессильно свешивались желтоватые, прямые волосы. Светлая бородка росла на его желтом костлявом лице, рот у него был полуоткрыт, глаза глубоко завалились под лоб и лихорадочно блестели оттуда, из темных ям.

Когда Рыбин познакомил его с Софьей, он спросил ее:

— Книг, слышал я, принесли?

— Принесла.

— Спасибо... за народ!.. Сам он еще не может понять правды... так вот я, который понял... благодарю за него.

Он дышал быстро, хватая воздух короткими, жадными вздохами. Голос у него прерывался, костлявые пальцы бессильных рук ползали по груди, стараясь застегнуть пуговицы пальто.

— Вам вредно быть в лесу так поздно. Лес — лиственный, сыро и душно! — заметила Софья.

— Для меня уже нет полезного! — ответил он, задыхаясь.— Мне только смерть полезна...

Слушать его голос было тяжело, и вся его фигура вызывала то излишнее сожаление, которое сознает свое бессилие и возбуждает угрюмую досаду. Он присел на бочку, сгибая колени так осторожно, точно боялся, что ноги у него переломятся, вытер потный лоб. Волосы у него были сухие, мертвые.

Вспыхнул костер, все вокруг вздрогнуло, заколебалось, обожженные тени пугливо бросились в лес, и над огнем мелькнуло круглое лицо Игната с надутыми щеками. Огонь погас. Запахло дымом, снова тишина и мгла сплотились на поляне, насторожась и слушая хриплые слова больного.

— А для народа я еще могу принести пользу как свидетель преступления... Вот, поглядите на меня... мне двадцать восемь лет, но — помираю! А десять лет назад я без натуги поднимал на плечи по двенадцати пудов,— ничего! С таким здоровьем, думал я, лет семьдесят пройду, не спотыкнусь. А прожил десять — больше не могу. Обокрали меня хозяева, сорок лет жизни ограбили, сорок лет!

— Вот она, его песня! — глухо сказал Рыбин.

Снова вспыхнул огонь, но уже сильнее, ярче, вновь метнулись тени к лесу, снова отхлынули к огню и задрожали вокруг костра в безмолвной, враждебной пляске. В огне трещали и ныли сырые сучья. Шепталась, шелестела листва деревьев, встревоженная волной нагретого воздуха. Веселые, живые языки пламени играли, обнимаясь, желтые и красные, вздымались кверху, сея искры, летел горящий лист, а звезды в небе улыбались искрам, маня к себе.

— Это — не моя песня, ее тысячи людей поют, не понимая целебного урока для народа в своей несчастной жизни. Сколько замученных работой калек молча помирают с голоду...— Он закашлялся, сгибаясь, вздрагивая.

Яков поставил на стол ведро с квасом, бросил связку зеленого луку и сказал больному:

— Иди, Савелий, я молока тебе принес...

«Мать»
Кукрыниксы

Савелий отрицательно качнул головой, но Яков взял его под мышку, поднял и повел к столу.

— Послушайте,— сказала Софья Рыбину тихо, с упреком,— зачем вы его сюда позвали? Он каждую минуту может умереть...

— Может! — согласился Рыбин.— Пока что — пусть говорит. Для пустяков жизнь погубил — для людей пусть еще потерпит,— ничего! Вот.

— Вы точно любуетесь чем-то! — воскликнула Софья.

Рыбин взглянул на нее и угрюмо ответил:

— Это господа Христом любуются, как он на кресте стонал, а мы от человека учимся и хотим, чтобы вы поучились немного...

Мать пугливо подняла бровь и сказала ему:

— А ты — полно!..

За столом больной снова заговорил:

— Истребляют людей работой,— зачем? Жизнь у человека воруют,— зачем, говорю? Наш хозяин,— я на фабрике Нефедова жизнь потерял,— наш хозяин одной певице золотую посуду подарил для умыванья, даже ночной горшок золотой! В этом горшке моя сила, моя жизнь. Вот для чего она пошла,— человек убил меня работой, чтобы любовницу свою утешить кровью моей,— ночной горшок золотой купил ей на кровь мою!

— Человек создан по образу и подобию божию,— сказал Ефим, усмехаясь,— а его вот куда тратят...

— А не молчи! — воскликнул Рыбин, ударив ладонью по столу.

— Не терпи! — тихо добавил Яков.

Игнат усмехнулся.

Мать заметила, что парни, все трое, слушали с ненасытным вниманием голодных душ, и каждый раз, когда говорил Рыбин, они смотрели ему в лицо подстерегающими глазами. Речь Савелия вызывала на лицах у них странные, острые усмешки. В них не чувствовалось жалости к больному.

Нагнувшись к Софье, мать тихонько спросила:

— Неужто правду говорит он?

Софья ответила громко:

— Да, это правда! О таком подарке в газетах писали, это было в Москве...

— И казни ему не было, никакой! — глухо сказал Рыбин.— А надо бы его казнить,— вывести на народ и разрубить в куски и мясо его поганое бросить собакам. Великие казни

будут народом сделаны, когда встанет он. Много крови прольет он, чтобы смыть обиды свои. Эта кровь — его кровь, из его жил она выпита, он ей хозяин.

— Холодно! — сказал больной.

Яков помог ему встать и отвел к огню.

Костер горел ярко, и безлицые тени дрожали вокруг него, изумленно наблюдая веселую игру огня. Савелий сел на пень и протянул к огню прозрачные, сухие руки. Рыбин кивнул в его сторону и сказал Софье:

— Это — резче книг! Когда машина руку оторвет или убьет рабочего, объясняется — сам виноват. А вот когда высосут кровь у человека и бросят его, как падаль,— это не объясняется ничем. Всякое убийство я пойму, а истязание — шутки ради — не понимаю! Для чего истязуют народ, для чего всех нас мучают? Ради шуток, ради веселья, чтобы забавно было жить на земле, чтобы все можно было купить на кровь — певицу, лошадей, ножи серебряные, посуду золотую, игрушки дорогие ребятишкам. Ты работай, работай больше, а я накоплю денег твоим трудом и любовнице урыльник золотой подарю.

Мать слушала, смотрела, и еще раз перед нею во тьме сверкнул и лег светлой полосой путь Павла и всех, с кем он шел.

Окончив ужин, все расположились вокруг костра, перед ними, торопливо поедая дерево, горел огонь, сзади нависла тьма, окутав лес и небо. Больной, широко открыв глаза, смотрел в огонь, непрерывно кашлял, весь дрожал,— казалось, что остатки жизни нетерпеливо рвутся из его груди, стремясь покинуть тело, источенное недугом. Отблески пламени дрожали на его лице, не оживляя мертвой кожи. Только глаза больного горели угасающим огнем.

— Может, в шалаш уйти тебе, Савелий? — спросил Яков, наклонясь над ним.

— Зачем? — ответил он с натугой.— Я посижу,— недолго мне осталось с людьми побыть!..

Он оглянул всех, помолчал и, бледно усмехнувшись, продолжал:

— Мне с вами хорошо. Смотрю на вас и думаю — может, эти возместят за тех, кого ограбили, за народ, убитый для жадности...

Ему не ответили, и скоро он задремал, бессильно свесив голову на грудь. Рыбин посмотрел на него и тихонько заговорил:

— Приходит к нам, сидит и рассказывает всегда одно — про эту издевку над человеком. В ней — вся его душа, как будто ею глаза ему выбили и больше он ничего не видит.

— Да ведь чего же надо еще? — задумчиво сказала мать.— Уж если люди тысячами день за днем убиваются в работе для того, чтобы хозяин мог деньги на шутки бросать, чего же?..

— Скучно слушать его! — сказал тихо Игнат.— Это и один раз услышишь — не забудешь, а он всегда одно говорит!

— Тут в одном — все стиснуто... вся жизнь, пойми! — угрюмо заметил Рыбин.— Я десять раз слыхал его судьбу, а все-таки, иной раз, усомнишься. Бывают добрые часы, когда не хочешь верить в гадость человека, в безумство его... когда всех жалко, и богатого, как бедного... и богатый тоже заблудился! Один слеп от голода, другой — от золота. Эх, люди, думаешь, эх, братья! Встряхнись, подумай честно, подумай, не щадя себя, подумай!

Больной качнулся, открыл глаза, лег на землю. Яков бесшумно встал, сходил в шалаш, принес оттуда полушубок, одел брата и снова сел рядом с Софьей.

Румяное лицо огня, задорно улыбаясь, освещало темные фигуры вокруг него, и голоса людей задумчиво вливались в тихий треск и шелест пламени.

Софья рассказывала о всемирном бое народа за право на жизнь, о давних битвах крестьян Германии, о несчастиях ирландцев, о великих подвигах рабочих-французов в частых битвах за свободу...

В лесу, одетом бархатом ночи, на маленькой поляне, огражденной деревьями, покрытой темным небом, перед лицом огня, в кругу враждебно удивленных теней — воскресали события, потрясавшие мир сытых и жадных, проходили один за другим народы земли, истекая кровью, утомленные битвами, вспоминались имена борцов за свободу и правду.

Тихо звучал глуховатый голос женщины. Как бы доходя из прошлого, он будил надежды, внушал уверенность, и люди молча слушали повесть о своих братьях по духу. Они смотрели в лицо женщины, худое, бледное; перед ними все ярче освещалось святое дело всех народов мира — бесконечная борьба за свободу. Человек видел свои желания и думы в далеком, занавешенном темной, кровавой завесой прошлом, среди неведомых ему иноплеменников, и внутренне — умом и сердцем — приобщался к миру, видя в нем друзей, которые давно уже единомышленно и твердо решили добиться на земле правды, освятили свое решение неисчислимыми страданиями, пролили

реки крови своей ради торжества жизни новой, светлой и радостной. Возникало и росло чувство духовной близости со всеми, рождалось новое сердце земли, полное горячим стремлением все понять, все объединить в себе.

— Наступит день, когда рабочие всех стран поднимут головы и твердо скажут — довольно! Мы не хотим более этой жизни! — уверенно звучал голос Софьи.— Тогда рухнет призрачная сила сильных своей жадностью, уйдет земля из-под ног их и не на что будет опереться им...

— Так и будет! — сказал Рыбин, наклоняя голову.— Не жалей себя — все одолеешь!

Мать слушала, высоко подняв бровь, с улыбкой радостного удивления, застывшей на лице. Она видела, что все резкое, звонкое, размашистое — все, что казалось ей лишним в Софье,— теперь исчезло, утонуло в горячем, ровном потоке ее рассказа. Ей нравилась тишина ночи, игра огня, лицо Софьи, но больше всего — строгое внимание мужиков. Они сидели неподвижно, стараясь не нарушать спокойное течение рассказа, боясь оборвать светлую нить, связывавшую их с миром. Лишь порою кто-нибудь из них осторожно подкладывал дров в огонь и, когда из костра поднимались рои искр и дым,— отгонял искры и дым от женщин, помахивая в воздухе рукой.

Однажды Яков встал, тихонько попросил:

— Подождите говорить...

Сбегал в шалаш, принес оттуда одежду, и вместе с Игнатом они молча окутали ноги и плечи женщин. Снова Софья говорила, рисуя день победы, внушая людям веру в свои силы, будя в них сознание общности со всеми, кто отдает свою жизнь бесплодному труду на глупые забавы пресыщенных. Слова не волновали мать, но вызванное рассказом Софьи большое, всех обнявшее чувство наполняло и ее грудь благодарно-молитвенной думой о людях, которые среди опасностей идут к тем, кто окован цепями труда, и приносят с собою для них дары честного разума, дары любви к правде.

«Помоги, господи!» — думала она, закрывая глаза.

На рассвете Софья, утомленная, замолчала и, улыбаясь, оглянула задумчивые, посветлевшие лица вокруг себя.

— Пора нам идти! — сказала мать.

— Пора! — устало молвила Софья.

Кто-то из парней шумно вздохнул.

— Жалко, что уходите вы! — необычно мягким голосом сказал Рыбин.— Хорошо говорите! Большое это дело — пород-

нить людей между собой! Когда вот знаешь, что миллионы хотят того же, что и мы, сердце становится добрее. А в доброте — большая сила!

— Ты его добром, а он тебя — колом! — тихонько усмехнувшись, сказал Ефим и быстро вскочил на ноги.— Уходить им пора, дядя Михайло, покуда не видал никто. Раздадим книжки — начальство будет искать — откуда явились? Кто-нибудь вспомнит — а вот странницы приходили...

— Ну, спасибо, мать, за труды твои! — заговорил Рыбин, прервав Ефима.— Я все про Павла думаю, глядя на тебя,— хорошо ты пошла!

Смягченный, он улыбался широкой и доброй улыбкой. Было свежо, а он стоял в одной рубахе с расстегнутым воротом, глубоко обнажавшим грудь. Мать оглянула его большую фигуру и ласково посоветовала:

— Надел бы что-нибудь — холодно!

— Изнутри греет! — ответил он.

Трое парней, стоя у костра, тихо беседовали, а у ног их лежал больной, закрытый полушубками. Бледнело небо, таяли тени, вздрагивали листья, ожидая солнца.

— Ну, прощайте, значит! — говорил Рыбин, пожимая руку Софьи.— А как вас в городе найти?

— Это ты меня ищи! — сказала мать.

Парни медленно, тесной группой подошли к Софье и жали ей руку молча, неуклюже ласковые. В каждом ясно было видно скрытое довольство, благодарное и дружеское, и это чувство, должно быть, смущало их своей новизной. Улыбаясь сухими от бессонной ночи глазами, они молча смотрели в лицо Софьи и переминались с ноги на ногу.

— Молока не выпьете ли на дорогу? — спросил Яков.

— Да есть ли оно? — сказал Ефим.

Игнат, смущенно приглаживая волосы, заявил:

— Нету,— пролил я его...

И все трое усмехнулись.

Говорили о молоке, но мать чувствовала, что они думают о другом, без слов, желая Софье и ей доброго, хорошего. Это заметно трогало Софью и тоже вызывало у нее смущение, целомудренную скромность, которая не позволила ей сказать что-нибудь иное, кроме тихого:

— Спасибо, товарищи!

Они переглянулись, точно это слово мягко покачнуло их.

Раздался глухой кашель больного. Угасли угли в горевшем костре.

— Прощайте! — вполголоса говорили мужики, и грустное слово долго провожало женщин.

Они не торопясь шли в предутреннем сумраке по лесной тропе, и мать, шагая сзади Софьи, говорила:

— Хорошо все это, словно во сне, так хорошо! Хотят люди правду знать, милая вы моя, хотят! И похоже это, как в церкви, пред утреней на большой праздник... еще священник не пришел, темно и тихо, жутко во храме, а народ уже собирается... там зажгут свечу пред образом, тут затеплят и — понемножку гонят темноту, освещая божий дом.

— Верно! — весело ответила Софья.— Только здесь божий дом — вся земля!

— Вся земля! — задумчиво качая головой, повторила мать.— Так это хорошо, и поверить трудно даже... И хорошо говорили вы, дорогая моя, очень хорошо! А я боялась — не понравитесь вы им...

Софья, помолчав, ответила тихо и невесело:

— С ними становишься проще...

Они шли и разговаривали о Рыбине, о больном, о парнях, которые так внимательно молчали и так неловко, но красноречиво выражали свое чувство благодарной дружбы мелкими заботами о женщинах. Вышли в поле. Встречу поднималось солнце. Еще не видимое глазом, оно раскинуло по небу прозрачный веер розовых лучей, и капли росы в траве заблестели разноцветными искрами бодрой, вешней радости. Просыпались птицы, оживляя утро веселым звоном. Хлопотливо каркая, тяжело махая крыльями, летели толстые вороны, где-то тревожно свистела иволга. Открывались дали, снимая встречу солнцу ночные тени со своих холмов.

— Иной раз говорит, говорит человек, а ты его не понимаешь, покуда не удастся ему сказать тебе какое-то простое слово, и одно оно вдруг все осветит! — вдумчиво рассказывала мать.— Так и этот больной. Я слышала и сама знаю, как жмут рабочих на фабриках и везде. Но к этому сызмала привыкаешь, и не очень это задевает сердце. А он вдруг сказал такое обидное, такое дрянное. Господи! Неужели для того всю жизнь работе люди отдают, чтобы хозяева насмешки позволяли себе? Это — без оправдания!

Мысль матери остановилась на случае, и он своим тупым, нахальным блеском освещал перед нею ряд однородных выходок, когда-то известных ей и забытых ею.

— Видно — уж всем они сыты и тошно им! Знаю я — земский начальник один заставлял мужиков лошади его кланять-

ся, когда ее по деревне вели, и кто не кланялся, того он под арест сажал. Ну, зачем это нужно было ему? Нельзя понять, нельзя!

Софья негромко запела песню, бодрую, как утро...

VII

Жизнь Ниловны потекла странно спокойно. Спокойствие это порой удивляло ее. Сын сидел в тюрьме, она знала, что его ждет тяжелое наказание, но каждый раз, когда она думала об этом, память ее помимо воли вызывала перед нею Андрея, Федю и длинный ряд других лиц. Фигура сына, поглощая всех людей одной судьбы с ним, разрасталась в ее глазах, вызывала созерцательное чувство, невольно и незаметно расширяя думы о Павле, отклоняя их во все стороны. Они раскидывались всюду тонкими, неровными лучами, всего касаясь, пытались все осветить, собрать в одну картину и мешали ей остановиться на чем-нибудь одном, мешали плотно сложиться тоске о сыне и страху за него.

Софья скоро уехала куда-то, дней через пять явилась веселая, живая, а через несколько часов снова исчезла и вновь явилась недели через две. Казалось, что она носится в жизни широкими кругами, порою заглядывая к брату, чтобы наполнить его квартиру своей бодростью и музыкой.

Музыка стала приятна матери. Слушая, она чувствовала, что теплые волны бьются ей в грудь, вливаются в сердце, оно бьется ровнее и, как зерна в земле, обильно увлажненной, глубоко вспаханной, в нем быстро, бодро растут волны дум, легко и красиво цветут слова, разбуженные силою звуков.

Матери трудно было мириться с неряшливостью Софьи, которая повсюду разбрасывала свои вещи, окурки, пепел, и еще труднее с ее размашистыми речами,— все это слишком кололо глаза рядом со спокойной уверенностью Николая, с неизменной, мягкой серьезностью его слов. Софья казалась ей подростком, который торопится выдать себя за взрослого, а на людей смотрит как на любопытные игрушки. Она много говорила о святости труда и бестолково увеличивала труд матери своим неряшеством, говорила о свободе и заметно для матери стесняла всех резкой нетерпимостью, постоянными спорами. В ней было много противоречивого, и мать, видя это, относилась к ней с напряженной осторожностью, с подстерегающим

вниманием, без того постоянного тепла в сердце, которое вызывал у нее Николай.

Он, всегда озабоченный, жил изо дня в день однообразной, размеренной жизнью: в восемь часов утра пил чай и, читая газету, сообщал матери новости. Слушая его, мать с поражающей ясностью видела, как тяжелая машина жизни безжалостно перемалывает людей в деньги. Она чувствовала в нем нечто общее с Андреем. Как хохол, он говорил о людях беззлобно, считая всех виноватыми в дурном устройстве жизни, но вера в новую жизнь была у него не так горяча, как у Андрея, и не так ярка. Он говорил всегда спокойно, голосом честного и строгого судьи, и хотя — даже говоря о страшном — улыбался тихой улыбкой сожаления,— но его глаза блестели холодно и твердо. Видя их блеск, мать понимала, что этот человек никому и ничего не прощает,— не может простить,— и, чувствуя, что для него тяжела эта твердость, жалела Николая. И все более он нравился ей.

В девять часов он уходил на службу, она убирала комнаты, готовила обед, умывалась, надевала чистое платье и, сидя в своей комнате, рассматривала картинки в книгах. Она уже научилась читать, но это всегда требовало от нее напряжения, и, читая, она быстро утомлялась, переставала понимать связь слов. А рассматривание картинок увлекало ее, как ребенка,— они открывали перед нею понятный, почти осязаемый мир, новый и чудесный. Вставали огромные города, прекрасные здания, машины, корабли, монументы, неисчислимые богатства, созданные людьми, и поражающее ум разнообразие творчества природы. Жизнь расширялась бесконечно, каждый день открывая глазам огромное, неведомое, чудесное, и все сильнее возбуждала проснувшуюся голодную душу женщины обилием своих богатств, неисчислимостью красот. Она особенно любила рассматривать фолианты зоологического атласа, и хотя он был напечатан на иностранном языке, но давал ей наиболее яркое представление о красоте, богатстве и обширности земли.

— Велика земля! — говорила она Николаю.

Более всего умиляли ее насекомые и особенно бабочки, она с изумлением рассматривала рисунки, изображавшие их, и рассуждала:

— Красота какая, Николай Иванович, а? И сколько везде красоты этой милой,— а все от нас закрыто и все мимо летит, не видимое нами. Люди мечутся — ничего не знают, ничем не могут любоваться, ни времени у них на это, ни охоты. Сколько могли бы взять радости, если бы знали, как земля богата, как

много на ней удивительного живет. И всё — для всех, каждый — для всего,— так ли?

— Именно! — говорил Николай, улыбаясь. И приносил еще книг с картинками.

По вечерам у него часто собирались гости — приходил Алексей Васильевич, красивый мужчина с бледным лицом и черной бородой, солидный и молчаливый; Роман Петрович, угреватый, круглоголовый человек, всегда с сожалением чмокавший губами; Иван Данилович, худенький и маленький, с острой бородкой и тонким голосом, задорный, крикливый и острый, как шило; Егор, всегда шутивший над собою, товарищами и своей болезнью, все разраставшейся в нем. Являлись и другие люди, приезжавшие из разных дальних городов. Николай вел с ними долгие и тихие беседы, всегда об одном — о рабочих людях земли. Спорили, горячились, размахивая руками, пили много чая, иногда Николай, под шум беседы, молча сочинял прокламации, потом читал товарищам, их тут же переписывали печатными буквами, мать тщательно собирала кусочки разорванных черновиков и сжигала их.

Она разливала чай и удивлялась горячности, с которой они говорили о жизни и судьбе рабочего народа, о том, как скорее и лучше посеять среди него мысли о правде, поднять его дух. Часто они, сердясь, не соглашались друг с другом, обвиняли один другого в чем-то, обижались и снова спорили.

Мать чувствовала, что она знает жизнь рабочих лучше, чем эти люди, ей казалось, что она яснее их видит огромность взятой ими на себя задачи, и это позволяло ей относиться ко всем ним с снисходительным, немного грустным чувством взрослого к детям, которые играют в мужа и жену, не понимая драмы этих отношений. Она невольно сравнивала их речи с речами сына, Андрея и, сравнивая, чувствовала разницу, которой сначала не могла понять. Порою ей казалось, что здесь кричат сильнее, чем, бывало, кричали в слободке, она объясняла это себе:

«Знают больше — говорят громче...»

Но слишком часто она видела, что все эти люди как будто нарочно подогревают друг друга и горячатся напоказ, точно каждый из них хочет доказать товарищам, что для него правда ближе и дороже, чем для них, а другие обижались на это и, в свою очередь доказывая близость к правде, начинали спорить резко, грубо. Каждый хотел вскочить выше другого, казалось ей, и это вызывало у нее тревожную грусть. Она двигала бровью и, глядя на всех умоляющими глазами, думала:

«Забыли про Пашу-то с товарищами...»

Всегда напряженно вслушиваясь в споры, конечно не понимая их, она искала за словами чувство и видела — когда в слободке говорили о добре, его брали круглым, в целом, а здесь все разбивалось на куски и мельчало; там глубже и сильнее чувствовали, здесь была область острых, все разрезающих дум. И здесь больше говорили о разрушении старого, а там мечтали о новом, от этого речи сына и Андрея были ближе, понятнее ей...

Замечала она, что, когда к Николаю приходил кто-либо из рабочих,— хозяин становился необычно развязен, что-то сладкое являлось на лице его, а говорил он иначе, чем всегда, не то грубее, не то небрежнее.

«Старается, чтобы поняли его!» — думала она.

Но это ее не утешало, и она видела, что гость-рабочий тоже ежится, точно связан изнутри, и не может говорить так легко и свободно, как он говорит с нею, простой женщиной. Однажды, когда Николай вышел, она заметила какому-то парню:

— Чего ты стесняешься? Чай, не мальчонка на экзаменте...

Тот широко усмехнулся.

— С непривычки и раки краснеют... все-таки не свой брат...

Иногда приходила Сашенька, она никогда не сидела долго, всегда говорила деловито, не смеясь, и каждый раз, уходя, спрашивала мать:

— Что, Павел Михайлович — здоров?

— Слава богу! — говорила мать.— Ничего, веселый!

— Кланяйтесь ему! — просила девушка и исчезала.

Порою мать жаловалась ей, что долго держат Павла, не назначают суда над ним. Сашенька хмурилась и молчала, а пальцы у нее быстро шевелились.

Ниловна ощущала желание сказать ей:

«Милая ты моя, ведь я знаю, что любишь ты его...»

Но не решалась — суровое лицо девушки, ее плотно сжатые губы и сухая деловитость речи как бы заранее отталкивали ласку. Вздыхая, мать безмолвно жала протянутую ей руку и думала:

«Несчастная ты моя...»

Однажды приехала Наташа. Она очень обрадовалась, увидев мать, расцеловала ее и, между прочим, как-то вдруг и тихонько сообщила:

— А моя мама умерла, умерла, бедная!..

Тряхнула головой, быстрым жестом руки отерла глаза и продолжала:

— Жалко мне ее, ей не было пятидесяти лет, могла бы долго еще жить. А посмотришь с другой стороны, и невольно думаешь — смерть, вероятно, легче этой жизни. Всегда одна, всем чужая, не нужная никому, запуганная окриками отца — разве она жила? Живут — ожидая чего-нибудь хорошего, а ей нечего было ждать, кроме обид...

— Верно вы говорите, Наташа! — сказала мать, подумав.— Живут — ожидая хорошего, а если нечего ждать — какая жизнь? — И, ласково погладив руку девушки, она спросила: — Одна теперь остались вы?

— Одна! — легко ответила Наташа.

Мать помолчала и вдруг заметила с улыбкой:

— Ничего! Хороший человек один не живет — к нему всегда люди пристанут...

VIII

Наташа поступила учительницей в уезд на ткацкую фабрику, и Ниловна начала доставлять к ней запрещенные книжки, прокламации, газеты.

Это стало ее делом. По нескольку раз в месяц, переодетая монахиней, торговкой кружевами и ручным полотном, зажиточной мещанкой или богомолкой-странницей, она разъезжала и расхаживала по губернии с мешком за спиной или чемоданом в руках. В вагонах и на пароходах, в гостиницах и на постоялых дворах — она везде держалась просто и спокойно, первая вступала в беседы с незнакомыми людьми, безбоязненно привлекая к себе внимание своей ласковой, общительной речью и уверенными манерами бывалого, много видевшего человека.

Ей нравилось говорить с людьми, нравилось слушать их рассказы о жизни, жалобы и недоумения. Сердце ее обливалось радостью каждый раз, когда она замечала в человеке острое недовольство,— то недовольство, которое, протестуя против ударов судьбы, напряженно ищет ответов на вопросы, уже сложившиеся в уме. Перед нею все шире и пестрее развертывалась картина жизни человеческой — суетливой, тревожной жизни в борьбе за сытость. Всюду было ясно видно грубо-голое, нагло-откровенное стремление обмануть человека, обобрать его, выжать из него побольше пользы для себя, испить его крови. И она видела, что всего было много на земле, а народ нуждался и жил вокруг неисчислимых богатств — полуголод-

ный. В городах стоят храмы, наполненные золотом и серебром, не нужным богу, а на папертях храмов дрожат нищие, тщетно ожидая, когда им сунут в руку маленькую медную монету. Она и раньше видала это — богатые церкви и шитые золотом ризы попов, лачуги нищего народа и его позорные лохмотья, но раньше это казалось ей естественным, а теперь — непримиримым и оскорбляющим бедных людей, которым — она знала — церковь ближе и нужнее, чем богатым.

По картинкам, изображавшим Христа, по рассказам о нем она знала, что он, друг бедных, одевался просто, а в церквах, куда беднота приходила к нему за утешением, она видела его закованным в наглое золото и шелк, брезгливо шелестевший при виде нищеты. И невольно вспоминались ей слова Рыбина:

«И богом обманули нас!»

Незаметно для нее она стала меньше молиться, но все больше думала о Христе и о людях, которые, не упоминая имени его, как будто даже не зная о нем, жили — казалось ей — по его заветам и, подобно ему считая землю царством бедных, желали разделить поровну между людьми все богатства земли. Думала она об этом много, и росла в душе ее эта дума, углубляясь и обнимая все видимое ею, все, что слышала она, росла, принимая светлое лицо молитвы, ровным огнем обливавшей темный мир, всю жизнь и всех людей. И ей казалось, что сам Христос, которого она всегда любила смутной любовью — сложным чувством, где страх был тесно связан с надеждой и умиление с печалью,— Христос теперь стал ближе к ней и был уже иным — выше и виднее для нее, радостнее и светлее лицом,— точно он в самом деле воскресал для жизни, омытый и оживленный горячею кровью, которую люди щедро пролили во имя его, целомудренно не возглашая имени несчастного друга людей. Из своих путешествий она всегда возвращалась к Николаю радостно возбужденная тем, что видела и слышала дорогой, бодрая и довольная исполненной работой.

— Хорошо это ездить везде и много видеть! — говорила она Николаю по вечерам.— Понимаешь, как строится жизнь. Оттирают, откидывают народ на край ее, обиженный, копошится он там, но — хочет не хочет, а думает — за что? Почему меня прочь отгоняют? Почему всего много, а голоден я? И сколько ума везде, а я глуп и темен? И где он, бог милостивый, пред которым нет богатого и бедного, но все — дети, дорогие сердцу? Возмущается понемногу народ жизнью своей,— чувствует, что неправда задушит его, коли он не подумает о себе!

И все чаще она ощущала требовательное желание своим языком говорить людям о несправедливостях жизни; иногда — ей трудно было подавить это желание...

Николай, заставая ее над картинами, улыбаясь, рассказывал что-нибудь всегда чудесное. Пораженная дерзостью задач человека, она недоверчиво спрашивала Николая:

— Да разве это можно?

И он настойчиво, с непоколебимой уверенностью в правде своих пророчеств, глядя через очки в лицо ее добрыми глазами, говорил ей сказки о будущем:

— Желаниям человека нет меры, его сила — неисчерпаема! Но мир все-таки еще очень медленно богатеет духом, потому что теперь каждый, желая освободить себя от зависимости, принужден копить не знания, а деньги. А когда люди убьют жадность, когда они освободят себя из плена подневольного труда...

Она редко понимала смысл его слов, но чувство спокойной веры, оживлявшее их, становилось все более доступно для нее.

— На земле слишком мало свободных людей, вот ее несчастие! — говорил он.

Это было понятно — она знала освободившихся от жадности и злобы, она понимала, что, если бы таких людей было больше,— темное и страшное лицо жизни стало бы приветливее и проще, более добрым и светлым.

— Человек невольно должен быть жестоким! — с грустью говорил Николай.

Она утвердительно кивала головой, вспоминая речи хохла.

IX

Однажды Николай, всегда аккуратный, пришел со службы много позднее, чем всегда, и, не раздеваясь, возбужденно потирая руки, торопливо сказал:

— Знаете, Ниловна, сегодня из тюрьмы бежал один из наших товарищей. Но кто он? Не удалось узнать...

Мать покачнулась на ногах, охваченная волнением, села на стул, спрашивая шепотом:

— Может быть, Паша?

— Может быть! — ответил Николай, вздернув плечи.— Но как ему помочь скрыться, где его найти? Я сейчас ходил по улицам — не встречу ли? Это глупо, но надо что-нибудь делать! И я снова поїду...

— Я тоже! — крикнула мать.

— Вы пойдите к Егору, не знает ли он что-нибудь? — предложил Николай, поспешно исчезая.

Она накинула платок на голову и, охваченная надеждой, быстро вышла на улицу вслед за ним. Рябило в глазах, и сердце стучало торопливо, заставляя ее почти бежать. Она шла встречу возможного, опустив голову, и ничего не замечала вокруг..

«Приду, а он там!» — мелькала надежда, толкая ее.

Было жарко, она задыхалась от усталости и, когда дошла до лестницы в квартиру Егора, остановилась, не имея сил идти дальше, обернулась и, удивленно, тихонько крикнув, на миг закрыла глаза — ей показалось, что в воротах стоит Николай Весовщиков, засунув руки в карманы. Но когда она снова взглянула — никого не было...

«Почудилось!» — мысленно сказала она, шагая по ступеням и прислушиваясь. Внизу на дворе был слышен глухой топот медленных шагов. Остановясь на повороте лестницы, она, нагнувшись, посмотрела вниз и снова увидала рябое лицо, улыбавшееся ей.

— Николай! Николай...— воскликнула она, опускаясь встречу ему, а сердце разочарованно заныло.

— А ты иди! Иди! — негромко ответил он, махнув рукой.

Она быстро взбежала по лестнице, вошла в комнату Егора и, увидав его лежащим на диване, задыхаясь, прошептала:

— Николай бежал... из тюрьмы!..

— Какой? — хрипло спросил Егор, поднимая голову с подушки.— Их там двое...

— Весовщиков... Идет сюда!..

— Чудесно!

Он уже вошел в комнату, запер дверь на крюк и, сняв шапку, тихо смеялся, приглаживая волосы на голове. Упираясь локтями в диван, Егор поднялся, крякнул, кивая головой:

— Пожалуйте...

Широко улыбаясь, Николай подошел к матери, схватил ее руку:

— Кабы не увидал я тебя — хоть назад в тюрьму иди! Никого в городе не знаю, а в слободу идти — сейчас же схватят. Хожу и думаю — дурак! Зачем ушел? Вдруг вижу — Ниловна бежит! Я за тобой...

— Как это ты ушел? — спросила мать.

Он неловко присел на край дивана и говорил, смущенно пожимая плечами:

— Случай подвернулся! Гулял я, а уголовные начали надзирателя бить. Там один есть такой, из жандармов, за воровство выгнан,— шпионит, доносит, жить не дает никому! Бьют они его, суматоха, надзиратели испугались, бегают, свистят. Я вижу — ворота открыты, площадь, город. И пошел не торопясь... Как во сне. Отошел немного, опомнился — куда идти? Смотрю — а ворота тюрьмы уже заперты...

— Гм! — сказал Егор.— А вы бы, господин, воротились, вежливо постучали в дверь и попросили пустить вас. Извините, мол, я несколько увлекся...

— Да,— усмехаясь, продолжал Николай,— это глупость. Ну, все-таки перед товарищами нехорошо,— никому не сказал ничего... Иду. Вижу — покойника несут, ребенка. Пошел за гробом, голову наклонил, не гляжу ни на кого. Посидел на кладбище, обвеяло меня воздухом, и одна мысль в голову пришла...

— Одна? — спросил Егор и, вздохнув, добавил:— Я думаю, ей там не тесно...

Весовщиков безобидно засмеялся, тряхнув головой.

— Ну, теперь у меня голова не такая пустая, как была. А ты, Егор Иванович, все хвораешь...

— Каждый делает что может! — ответил Егор, влажно кашляя.— Продолжай!

— Потом пошел в земский музей. Походил там, поглядел, а сам все думаю — как же, куда я теперь? Даже рассердился на себя. И очень есть захотелось! Вышел на улицу, хожу, досадно мне... Вижу — полицейские присматриваются ко всем. Ну, думаю, с моей рожей скоро попаду на суд божий!.. Вдруг Ниловна навстречу бежит, я посторонился, да за ней,— вот и все!

— А я тебя и не заметила! — виновато молвила мать. Она рассматривала Весовщикова, и ей казалось, что он как будто легче стал.

— Верно, товарищи беспокоятся...— почесывая голову, сказал Николай.

— А начальства тебе не жалко? Оно ведь тоже беспокоится! — заметил Егор. Он открыл рот и начал так двигать губами, точно жевал воздух.— Однако шутки прочь! Надо тебя прятать, что нелегко, хотя и приятно. Если бы я мог встать...— он задохнулся, бросил руки к себе на грудь и слабыми движениями стал растирать ее.

— Сильно ты расхворался, Егор Иванович! — сказал Николай и опустил голову. Мать вздохнула, тревожно обвела глазами маленькую, тесную комнату.

— Это мое личное дело! — ответил Егор.— Вы, мамаша, спрашивайте о Павле, нечего притворяться!

Весовщиков широко улыбнулся.

— Павел ничего! Здоров. Он вроде старосты у нас там. С начальством разговаривает и вообще — командует. Его уважают...

Власова кивала головой, слушая рассказы Весовщикова, и искоса смотрела на отекшее, синеватое лицо Егора. Неподвижно застывшее, лишенное выражения, оно казалось странно плоским, и только глаза на нем сверкали живо и весело.

— Дали бы мне поесть,— ей-богу, очень хочется! — неожиданно воскликнул Николай.

— Мамаша, на полке лежит хлеб, потом пойдите в коридор, налево вторая дверь — постукайте в нее. Откроет женщина, так вы скажите ей, пусть идет сюда и захватит с собой все, что имеет съедобного.

— Куда же — всё? — запротестовал Николай.

— Не волнуйся — это немного...

Мать вышла, постучала в дверь и, прислушиваясь к тишине за нею, с печалью подумала о Егоре:

«Умирает...»

— Кто это? — спросили за дверью.

— От Егора Ивановича! — негромко ответила мать.— Просит вас к себе...

— Сейчас приду! — не открывая, ответили ей. Она подождала немного и снова постучалась. Тогда дверь быстро отворилась, и в коридор вышла высокая женщина в очках. Торопливо оправляя смятый рукав кофточки, она сурово спросила мать:

— Вам что угодно?

— Я от Егора Ивановича...

— Ага! Идемте. О, да я же знаю вас! — тихо воскликнула женщина.— Здравствуйте! Темно здесь...

Власова взглянула на нее и вспомнила, что она бывала изредка у Николая.

«Всё свои!» — мелькнуло у нее в голове.

Наступая на Власову, женщина заставила ее идти вперед, а сама, идя сзади, спрашивала:

— Ему плохо?

— Да, лежит. Просил вас принести покушать...

— Ну, это лишнее...

Когда они входили к Егору, их встретил его хрип:

— Направляюсь к праотцам, друг мой. Людмила Васильевна, сей муж ушел из тюрьмы без разрешения начальства, дерзкий! Прежде всего накормите его, потом спрячьте куда-нибудь.

Женщина кивнула головой и, внимательно глядя в лицо больного, строго сказала:

— Вы, Егор, должны были послать за мной тотчас же, как только к вам пришли! И вы дважды, я вижу, не принимали лекарство — что за небрежность? Товарищ, идите ко мне! Сейчас сюда явятся из больницы за Егором.

— Все-таки в больницу меня? — спросил Егор.

— Да. Я буду там с вами.

— И там? О, господи!

— Не дурите...

Разговаривая, женщина поправила одеяло на груди Егора, пристально осмотрела Николая, измерила глазами лекарство в пузырьке. Говорила она ровно, негромко, движения у нее были плавны, лицо бледное, темные брови почти сходились над переносьем. Ее лицо не нравилось матери — оно казалось надменным, а глаза смотрели без улыбки, без блеска. И говорила она так, точно командовала.

— Мы уйдем! — продолжала она.— Я скоро ворочусь! Вы дайте Егору столовую ложку вот этого. Не позволяйте ему говорить...

И она ушла, уводя с собой Николая.

— Чудесная женщина! — сказал Егор, вздохнув.— Великолепная женщина... Вас, мамаша, надо бы к ней пристроить,— она устает очень...

— А ты не говори! На-ка, выпей лучше!..— мягко попросила мать.

Он проглотил лекарство и продолжал, прищурив глаз:

— Все равно я умру, если и буду молчать...

Другим глазом он смотрел в лицо матери, губы его медленно раздвигались в улыбку. Мать наклонила голову, острое чувство жалости вызывало у нее слезы.

— Ничего, это естественно... Удовольствие жить влечет за собой обязанность умереть...

Мать положила руку на голову его и снова тихо сказала:

— Помолчи, а?..

Он закрыл глаза, как бы прислушиваясь к хрипам в груди своей, и упрямо продолжал:

— Бессмысленно молчать, мамаша! Что я выиграю молчанием? Несколько лишних секунд агонии, а проиграю удо-

вольствие поболтать с хорошим человеком. Я думаю, что на том свете нет таких хороших людей, как на этом...

Мать беспокойно перебила его речь:

— Вот придет она, барыня-то, и будет ругать меня за то, что ты говоришь...

— Она не барыня, а — революционерка, товарищ, чудесная душа. Ругать вас, мамаша, она непременно будет. Всех ругает, всегда...

И медленно, с усилием двигая губами, Егор стал рассказывать историю жизни своей соседки. Глаза его улыбались, мать видела, что он нарочно поддразнивает ее, и, глядя на его лицо, подернутое влажной синевой, тревожно думала:

«Умрет...»

Вошла Людмила и, тщательно закрывая за собой дверь, заговорила, обращаясь к Власовой:

— Вашему знакомому необходимо переодеться и возможно скорее уйти от меня, так вы, Пелагея Ниловна, сейчас же идите, достаньте платье для него и принесите все сюда. Жаль — нет Софьи, это ее специальность — прятать людей.

— Она завтра приедет! — заметила Власова, накидывая платок на плечи.

Каждый раз, когда ей давали какое-нибудь поручение, ее крепко охватывало желание исполнить это дело быстро и хорошо, и она уже не могла думать ни о чем, кроме своей задачи. И теперь, озабоченно опустив брови, деловито спрашивала:

— Как одеть его думаете вы?

— Все равно! Он пойдет ночью...

— Ночью хуже — людей меньше на улицах, следят больше, а он не очень ловкий...

Егор хрипло засмеялся.

— А можно в больницу к тебе прийти? — спросила мать.

Он, кашляя, кивнул головой. Людмила заглянула в лицо матери темными глазами и предложила:

— Хотите дежурить у него в очередь со мной? Да? Хорошо! А теперь — идите скорее...

Ласково, но властно взяв мать под руку, она вывела ее за дверь и там тихо сказала:

— Не обижайтесь, что я выпроваживаю вас! Но ему вредно говорить... А у меня есть надежда...

Она сжала руки, пальцы ее хрустнули, а веки утомленно опустились на глаза...

Это объяснение смутило мать, и она пробормотала:

Что это вы?

— Смотрите, нет ли шпионов! — тихо сказала женщина. Подняв руки к лицу, она потирала виски, губы у нее вздрагивали, лицо стало мягче.

— Знаю!.. — ответила ей мать не без гордости.

Выйдя из ворот, она остановилась на минуту, поправляя платок, и незаметно, но зорко оглянулась вокруг. Она уже почти безошибочно умела отличить шпиона в уличной толпе. Ей были хорошо знакомы подчеркнутая беспечность походки, натянутая развязность жестов, выражение утомленности и скуки на лице и плохо спрятанное за всем этим опасливое, виноватое мерцание беспокойных, неприятно острых глаз.

На этот раз она не заметила знакомого лица и не торопясь пошла по улице, а потом наняла извозчика и велела отвезти себя на рынок. Покупая платье для Николая, она жестоко торговалась с продавцами и, между прочим, ругала своего пьяницу мужа, которого ей приходится одевать чуть не каждый месяц во все новое. Эта выдумка мало действовала на торговцев, но очень нравилась ей самой,— дорогой она сообразила, что полиция, конечно, поймет необходимость для Николая переменить платье и пошлет сыщиков на рынок. С такими же наивными предосторожностями она возвратилась на квартиру Егора, потом ей пришлось провожать Николая на окраину города. Они шли с Николаем по разным сторонам улицы, и матери было смешно и приятно видеть, как Весовщиков тяжело шагал, опустив голову и путаясь ногами в длинных полах рыжего пальто, и как он поправлял шляпу, сползавшую ему на нос. В одной из пустынных улиц их встретила Сашенька, и мать, простясь с Весовщиковым кивком головы, пошла домой.

«А Паша сидит... И — Андрюша...» — думала она печально.

X

Николай встретил ее тревожным восклицанием:

— Вы знаете — Егору очень плохо, очень! Его свезли в больницу, здесь была Людмила, она просит вас прийти туда к ней...

— В больницу?

Нервным движением поправив очки, Николай помог ей надеть кофту и, пожимая руку ее сухой, теплой рукой, сказал вздрагивающим голосом:

— Да! Захватите вот этот сверток. Устроили Весовщикова?

— Все хорошо...

— Я тоже приду к Егору...

От усталости у матери кружилась голова, а тревожное настроение Николая вызвало у нее тоскливое предчувствие драмы.

«Умирает»,— тупо стучала в голове ее темная мысль.

Но когда она пришла в маленькую, чистую и светлую комнату больницы и увидала, что Егор, сидя на койке в белой груде подушек, хрипло хохочет,— это сразу успокоило ее. Она, улыбаясь, встала в дверях и слушала, как больной говорит доктору:

— Лечение — это реформа...

— Не балагань, Егор! — тонким голосом озабоченно воскликнул доктор.

— А я — революционер, ненавижу реформы...

Доктор осторожно положил руку Егора на колени ему, встал со стула и, задумчиво дергая бороду, начал щупать пальцами отеки на лице больного.

Мать хорошо знала доктора, он был одним из близких товарищей Николая, его звали Иван Данилович. Она подошла к Егору — он высунул язык встречу ей. Доктор обернулся.

— А, Ниловна! Здравствуйте! Что у вас в руках?

— Книги, должно быть.

— Ему нельзя читать! — заметил маленький доктор.

— Он хочет сделать меня идиотом! — пожаловался Егор.

Короткие, тяжелые вздохи с влажным хрипом вырывались из груди Егора, лицо его было покрыто мелким потом, и, медленно поднимая непослушные, тяжелые руки, он отирал ладонью лоб. Странная неподвижность опухших щек изуродовала его широкое, доброе лицо, все черты исчезли под мертвенной маской, и только глаза, глубоко запавшие в отеках, смотрели ясно, улыбаясь снисходительной улыбкой.

— Эй, наука! Я устал,— можно лечь?..— спросил он.

— Нельзя! — кратко сказал доктор.

— Ну, я лягу, когда ты уйдешь...

— Вы, Ниловна, не позволяйте ему этого! Поправьте подушки. И, пожалуйста, не говорите с ним, это ему вредно...

Мать кивнула головой. Доктор ушел быстрыми, мелкими шагами. Егор закинул голову, закрыл глаза и замер, только пальцы его рук тихо шевелились. От белых стен маленькой комнаты веяло сухим холодом, тусклой печалью. В большое окно смотрели кудрявые вершины лип, в темной, пыльной листве ярко блестели желтые пятна — холодные прикосновения грядущей осени.

— Смерть подходит ко мне медленно... неохотно...— не двигаясь и не открывая глаз, заговорил Егор.— Ей, видимо, немного жаль меня — такой был уживчивый парень...

— Ты бы молчал, Егор Иванович! — просила мать, тихонько поглаживая его руку.

— Подожди, замолчу...

Задыхаясь, произнося слова с напряжением, он продолжал, прерывая речь длинными паузами бессилия:

— Это превосходно, что вы с нами,— приятно видеть ваше лицо. Чем она кончит? — спрашиваю я себя. Грустно, когда подумаешь, что вас — как всех — ждет тюрьма и всякое свинство. Вы не боитесь тюрьмы?

— Нет! — просто ответила она.

— Ну да, конечно. А все-таки тюрьма — дрянь, это вот она искалечила меня. Говоря по совести — я не хочу умирать...

«Может, не умрешь еще!» — хотела сказать она, но, взглянув в его лицо, промолчала.

— Я бы мог еще работать... Но, если нельзя работать, нечем жить и — глупо жить...

«Справедливо, а — не утешает!» — невольно вспомнила мать слова Андрея и тяжело вздохнула. Она очень устала за день, ей хотелось есть. Однотонный влажный шепот больного, наполняя комнату, беспомощно ползал по гладким стенам. Вершины лип за окном были подобны низко опустившимся тучам и удивляли своей печальной чернотой. Все странно замирало в сумрачной неподвижности, в унылом ожидании ночи.

— Как мне нехорошо! — сказал Егор и, закрыв глаза, умолк.

— Усни! — посоветовала мать.— Может быть, лучше будет.

Потом прислушалась к его дыханию, оглянулась, просидела несколько минут неподвижно, охваченная холодной печалью, и задремала.

Осторожный шум у двери разбудил ее,— вздрогнув, она увидела открытые глаза Егора.

— Заснула, прости! — тихонько сказала она.

— И ты прости...— повторил он тоже тихо.

В окно смотрел вечерний сумрак, мутный холод давил глаза, все странно потускнело, лицо больного стало темным.

Раздался шорох и голос Людмилы:

— Сидят в темноте и шепчутся. Где же здесь кнопка?

Комната вдруг вся налилась белым, неласковым светом. Среди нее стояла Людмила, вся черная, высокая, прямая.

Егор сильно вздрогнул всем телом, поднял руку к груди.

— Что? — вскрикнула Людмила, подбегая к нему.

Он смотрел на мать остановившимися глазами, и теперь они казались большими и странно яркими.

Широко открыв рот, он поднимал голову вверх, а руку протянул вперед. Мать осторожно взяла его руку и, сдерживая дыхание, смотрела в лицо Егора. Судорожным и сильным движением шеи он запрокинул голову и громко сказал:

— Не могу,— кончено!..

Тело его мягко вздрогнуло, голова бессильно упала на плечо и в широко открытых глазах мертво отразился холодный свет лампы, горевшей над койкой.

— Голубчик мой! — прошептала мать.

Людмила медленно отошла от койки, остановилась у окна и, глядя куда-то перед собой, незнакомым Власовой, необычно громким голосом сказала:

— Умер...

Она согнулась, поставила локти на подоконник и вдруг, точно ее ударили по голове, бессильно опустилась на колени, закрыла лицо руками и глухо застонала.

Сложив тяжелые руки Егора на груди его, поправив на подушке странно тяжелую голову, мать, отирая слезы, подошла к Людмиле, наклонилась над нею, тихо погладила ее густые волосы. Женщина медленно повернулась к ней, ее матовые глаза болезненно расширились, она встала на ноги и дрожащими губами зашептала:

— Мы вместе жили в ссылке, шли туда, сидели в тюрьмах... Порою было невыносимо, отвратительно, многие падали духом...

Сухое, громкое рыдание перехватило ей горло, она поборола его и, приблизив к лицу матери свое лицо, смягченное нежным, грустным чувством, помолодившим ее, продолжала быстрым шепотом, рыдая без слез:

— А он всегда был неутомимо весел, шутил, смеялся, мужественно скрывая свои страдания... старался ободрить слабых. Добрый, чуткий, милый... Там, в Сибири, безделье развращает людей, часто вызывает к жизни дурные чувства — как он умел бороться с ними!.. Какой это был товарищ, если бы вы знали! Тяжела, мучительна была его личная жизнь, но никто не слыхал жалоб его, никто, никогда! Я была близким другом ему, я многим обязана его сердцу, он дал мне все, что мог, от своего ума и, одинокий, усталый, никогда не просил взамен ни ласки, ни внимания...

Она подошла к Егору, наклонилась и, целуя его руку, тоскливо, негромко говорила:

— Товарищ, дорогой мой, милый, благодарю, благодарю всем сердцем, прощай! Буду работать, как ты, не уставая, без сомнений, всю жизнь!.. Прощай!

Рыдания потрясали ее тело, и, задыхаясь, она положила голову на койку у ног Егора. Мать молча плакала обильными слезами. Она почему-то старалась удержать их, ей хотелось приласкать Людмилу особой, сильной лаской, хотелось говорить о Егоре хорошими словами любви и печали. Сквозь слезы она смотрела в его опавшее лицо, в глаза, дремотно прикрытые опущенными веками, на губы, темные, застывшие в легкой улыбке. Было тихо и скучно светло...

Вошел Иван Данилович, как всегда, торопливыми, мелкими шагами,— вошел, вдруг остановился среди комнаты и, быстрым жестом сунув руки в карманы, спросил нервно и громко:

— Давно?..

Ему не ответили. Он, тихо покачиваясь на ногах и потирая лоб, подошел к Егору, пожал руку его и отошел в сторону.

— Не удивительно, с его сердцем это должно было случиться полгода назад... по крайней мере...

Его высокий, неуместно громкий, насильственно спокойный голос вдруг порвался. Прислонясь спиной к стене, он быстрыми пальцами крутил бородку и, часто мигая глазами, смотрел на группу у койки.

— Еще один! — сказал он тихо.

Людмила встала, отошла к окну, открыла его. Через минуту они все трое стояли у окна, тесно прижимаясь друг к другу, и смотрели в сумрачное лицо осенней ночи. Над черными вершинами деревьев сверкали звезды, бесконечно углубляя даль небес...

Людмила взяла мать под руку и молча прижалась к ее плечу. Доктор, низко наклонив голову, протирал платком пенсне. В тишине за окном устало вздыхал вечерний шум города, холод веял в лица, шевелил волосы на головах. Людмила вздрагивала, по щеке ее текла слеза. В коридоре больницы метались измятые, напуганные звуки, торопливое шарканье ног, стоны, унылый шепот. Люди, неподвижно стоя у окна, смотрели во тьму и молчали.

Мать почувствовала себя лишней и, осторожно освободив руку, пошла к двери, поклонясь Егору.

— Вы уходите? — тихо и не оглядываясь, спросил доктор.

— Да...

На улице она подумала о Людмиле, вспомнив ее скупые слезы.

«И поплакать-то не умеет...»

Предсмертные слова Егора вызвали у нее тихий вздох. Медленно шагая по улице, она вспоминала его живые глаза, его шутки, рассказы о жизни.

«Хорошему человеку жить трудно, умереть — легко... Как-то я помирать буду?..»

Потом представила себе Людмилу и доктора у окна в белой, слишком светлой комнате, мертвые глаза Егора позади них и, охваченная гнетущей жалостью к людям, тяжело вздохнула и пошла быстрее — какое-то смутное чувство торопило ее.

«Надо скорее!» — думала она, подчиняясь грустной, но бодрой силе, мягко толкавшей ее изнутри.

XI

Весь следующий день мать провела в хлопотах, устраивая похороны, а вечером, когда она, Николай и Софья пили чай, явилась Сашенька, странно шумная и оживленная. На щеках у нее горел румянец, глаза весело блестели, и вся она, казалось матери, была наполнена какой-то радостной надеждой Ее настроение резко и бурно вторглось в печальный тон воспоминаний об умершем и, не сливаясь с ним, смутило всех и ослепило, точно огонь, неожиданно вспыхнувший во тьме. Николай, задумчиво постукивая пальцем по столу, сказал:

— Вы не похожи на себя сегодня, Саша...

— Да? Может быть! — ответила она и засмеялась счастливым смехом.

Мать посмотрела на нее с молчаливым упреком, а Софья напоминающим тоном заметила:

— А мы говорили об Егоре Ивановиче...

— Какой чудесный человек, не правда ли? — воскликнула Саша.— Я не видала его без улыбки на лице, без шутки. И как он работал! Это был художник революции, он владел революционной мыслью как великий мастер. С какой простотой и силой он рисовал всегда картины лжи, насилий, неправды.

Она говорила негромко, с задумчивой улыбкой в глазах, но эта улыбка не угашала в ее взгляде огня не понятного никому, но всеми ясно видимого ликования.

Им не хотелось уступить настроение печали о товарище чувству радости, внесенному Сашей, и, бессознательно защищая свое грустное право питаться горем, они невольно старались ввести девушку в круг своего настроения...

— И вот он умер! — внимательно глядя на нее, настойчиво сказала Софья.

Саша оглянула всех быстрым, спрашивающим взглядом, брови ее нахмурились. И, опустив голову, замолчала, поправляя волосы медленным жестом.

— Умер? — громко сказала она после паузы и снова окинула всех вызывающими глазами.— Что значит — умер? Что — умерло? Разве умерло мое уважение к Егору, моя любовь к нему, товарищу, память о работе мысли его, разве умерла эта работа, исчезли чувства, которые он вызвал в моем сердце, разбито представление мое о нем как о мужественном, честном человеке? Разве все это умерло? Это не умрет для меня никогда, я знаю. Мне кажется, мы слишком торопимся сказать о человеке — он умер. «Мертвы уста его, но слово вечно да будет жить в сердцах живых!»

Взволнованная, она снова села к столу, облокотилась на него и тише, вдумчивее продолжала, с улыбкой глядя на товарищей затуманенными глазами:

— Может быть, я говорю глупо, но — я верю, товарищи, в бессмертие честных людей, в бессмертие тех, кто дал мне счастье жить прекрасной жизнью, которой я живу, которая радостно опьяняет меня удивительной сложностью своей, разнообразием явлений и ростом идей, дорогих мне, как сердце мое. Мы, может быть, слишком бережливы в трате своих чувств, много живем мыслью, и это несколько искажает нас, мы оцениваем, а не чувствуем...

— С вами случилось что-нибудь хорошее? — спросила Софья, улыбаясь.

— Да! — кивнув головой, сказала Саша.— Очень, мне кажется! Я всю ночь беседовала с Весовщиковым. Я не любила его раньше, он мне казался грубым и темным. Да он и был таким, несомненно. В нем жило неподвижное, темное раздражение на всех, он всегда как-то убийственно тяжело ставил себя в центре всего и грубо, озлобленно говорил — я, я, я! В этом было что-то мещанское, раздражающее...

Она улыбнулась и снова обвела всех сияющим взглядом.

— Теперь он говорит — товарищи! И надо слышать, как он это говорит. С какой-то смущенной, мягкой любовью,— этого не передашь словами! Стал удивительно прост и искренен и весь переполнен желанием работы. Он нашел себя, видит свою силу, знает, чего у него нет; главное, в нем родилось истинно товарищеское чувство...

Власова слушала речь Саши, и ей было приятно видеть суровую девушку смягченной, радостной. Но в то же время где-то глубоко в ее душе зарождалась ревнивая мысль:

«А как же Паша-то?..»

— Он,— продолжала Саша,— весь охвачен мыслями о товарищах, и знаете, в чем убеждает меня? В необходимости устроить для них побег, да! Он говорит, что это очень просто и легко...

Софья подняла голову и оживленно сказала:

— А вы как думаете, Саша? Это — мысль!

Чашка чая в руке матери задрожала. Саша нахмурила брови, сдерживая свое оживление, помолчала и серьезным голосом, но радостно улыбаясь, сбивчиво проговорила:

— Если действительно все так, как он говорит,— мы должны попытаться! Это наша обязанность!..

Она покраснела, опустилась на стул, замолчала.

«Милая ты моя, милая!» — улыбаясь, думала мать. Софья тоже улыбнулась, а Николай, мягко глядя в лицо Саши, тихо засмеялся. Тогда девушка подняла голову, строго посмотрела на всех и, бледная, сверкнув глазами, сухо, с обидой в голосе, сказала:

— Вы смеетесь, я понимаю вас... Вы считаете меня лично заинтересованной?

— Почему, Саша? — лукаво спросила Софья, вставая и подходя к ней. Вопрос этот показался матери лишним и обидным для девушки, она вздохнула и, подняв бровь, с упреком посмотрела на Софью.

— Но — я отказываюсь! — воскликнула Саша.— Я не приму участия в решении вопроса, если вы будете рассматривать его...

— Перестаньте, Саша! — спокойно сказал Николай.

Мать тоже подошла к ней и, наклонясь, осторожно погладила ее голову. Саша схватила ее руку и, подняв кверху покрасневшее лицо, смущенно взглянула в лицо матери. Та улыбнулась и, не найдя, что сказать Саше, печально вздохнула. А Софья села рядом с Сашей на стул, обняла за

плечи и, с любопытной улыбкой заглядывая ей в глаза, сказала:

— Вы чудачка!..

— Да, я, кажется, наглупила...

— Как могли вы подумать...— продолжала Софья. Но Николай деловито и серьезно прервал ее:

— Об устройстве побега, если он возможен,— не может быть двух мнений. Прежде всего — мы должны знать, хотят ли этого заключенные товарищи...

Саша опустила голову.

Софья, закуривая папиросу, взглянула на брата и широким жестом бросила спичку куда-то в угол.

— Как, чай, им не хотеть! — вздохнув, сказала мать.— Только не верю я, что можно это...

Все молчали, а ей так хотелось послушать еще о возможности побега!

— Мне нужно повидаться с Весовщиковым! — сказала Софья.

— Завтра я скажу вам, когда и где! — негромко ответила Саша.

— Что он будет делать? — спросила Софья, расхаживая по комнате.

— Его решили пристроить наборщиком в новую типографию. А до того времени поживет у лесничего.

Брови Саши нахмурились, лицо приняло обычное суровое выражение и голос звучал сухо. Николай подошел к матери, перемывавшей чашки, и сказал ей:

— Вы послезавтра на свидание идете, так надо передать Павлу записку. Понимаете — нужно знать...

— Я понимаю, понимаю! — торопливо отозвалась она.— Я уж передам...

— Я ухожу! — заявила Саша и, быстро, молча пожав всем руки, шагая как-то особенно твердо, ушла, прямая и сухая.

Софья положила руки на плечи матери и, покачивая ее на стуле, с улыбкой спросила:

— Вы, Ниловна, любили бы такую дочь?..

— О, господи! Хоть бы день один видеть их вместе! — воскликнула Власова, готовая заплакать.

— Да, немножко счастья — это хорошо для каждого!..— негромко заметил Николай.— Но нет людей, которые желали бы немножко счастья. А когда его много — оно дешево...

Софья села за пианино и начала играть что-то грустное.

XII

На другой день поутру несколько десятков мужчин и женщин стояли у ворот больницы, ожидая, когда вынесут на улицу гроб их товарища. Вокруг них осторожно кружились шпионы, ловя чуткими ушами отдельные возгласы, запоминая лица, манеры и слова, а с другой стороны улицы на них смотрела группа полицейских с револьверами у пояса. Нахальство шпионов, насмешливые улыбки полиции и ее готовность показать свою силу раздражали толпу. Иные, скрывая свое раздражение, шутили, другие угрюмо смотрели в землю, стараясь не замечать оскорбительного, третьи, не сдерживая гнева, иронически смеялись над администрацией, которая боится людей, вооруженных только словом. Бледно-голубое небо осени светло смотрело в улицу, вымощенную круглыми серыми камнями, усеянную желтой листвой, и ветер, взметывая листья, бросал их под ноги людей.

Мать стояла в толпе и, наблюдая знакомые лица, с грустью думала:

«Немного вас, немного! А рабочего народа — нет почти...»

Отворились ворота, на улицу вынесли крышку гроба с венками в красных лентах. Люди дружно сняли шляпы — точно стая черных птиц взлетела над их головами. Высокий полицейский офицер с густыми черными усами на красном лице быстро шел в толпу, за ним, бесцеремонно расталкивая людей, шагали солдаты, громко стуча тяжелыми сапогами по камням. Офицер сказал сиплым, командующим голосом:

— Прошу снять ленты!

Его тесно окружили мужчины и женщины, что-то говорили ему, размахивая руками, волнуясь, отталкивая друг друга. Перед глазами матери мелькали бледные, возбужденные лица с трясущимися губами, по лицу одной женщины катились слезы обиды...

— Долой насилие! — крикнул чей-то молодой голос и одиноко потерялся в шуме спора.

Мать тоже почувствовала в сердце горечь и, обращаясь к соседу своему, бедно одетому молодому человеку, сказала возмущенно:

— И похоронить человека не дают, как хочется товарищам,— что уж это!

Росла враждебность, над головами людей качалась крышка гроба, ветер играл лентами, окутывая головы и лица, и был слышен сухой и нервный шелест шелка.

Мать обнял страх возможного столкновения, она торопливо и негромко говорила направо и налево:

— Бог с ними, коли так,— снять бы ленты! Уступить бы, что уж!..

Громкий и резкий голос звучал, заглушая шум:

— Мы требуем, чтобы нам не мешали проводить в последний путь замученного вами...

Кто-то высоко и тонко запел:

Вы жертвою пали в борьбе...

— Прошу снять ленты! Яковлев, срежь!

Был слышен лязг вынимаемой шашки. Мать закрыла глаза, ожидая крика. Но стало тише, люди ворчали, огрызались, как затравленные волки. Потом молча, низко опустив головы, они двинулись вперед, наполняя улицу шорохом шагов.

Впереди плыла в воздухе ограбленная крышка гроба со смятыми венками, и, качаясь с боку на бок, ехали верхом полицейские. Мать шла по тротуару, ей не было видно гроба в густой, тесно окружившей его толпе, которая незаметно выросла и заполнила собой всю широту улицы. Сзади толпы тоже возвышались серые фигуры верховых, по бокам, держа руки на шашках, шагала пешая полиция, и всюду мелькали знакомые матери острые глаза шпионов, внимательно щупавшие лица людей.

Прощай, наш товарищ, прощай...—

грустно запели два красивых голоса.

— Не надо! — раздался крик.— Будем молчать, господа!

В этом крике было что-то суровое, внушительное. Печальная песня оборвалась, говор стал тише, и только твердые удары ног о камни наполняли улицу глухим, ровным звуком. Он поднимался над головами людей, уплывая в прозрачное небо, и сотрясал воздух подобно отзвуку первого грома еще далекой грозы. Холодный ветер, все усиливаясь, враждебно нес встречу людям пыль и сор городских улиц, раздувал платье и волосы, слепил глаза, бил в грудь, путался в ногах...

Эти молчаливые похороны без попов и щемящего душу пения, задумчивые лица, нахмуренные брови вызывали у матери жуткое чувство, а мысль ее, медленно кружась, одевала впечатления в грустные слова.

«Немного вас, которые за правду...»

Она шагала, опустив голову, и ей казалось, что это хоронят не Егора, а что-то другое, привычное, близкое и нужное

ей. Ей было тоскливо, неловко. Сердце наполнялось шероховатым тревожным чувством несогласия с людьми, провожавшими Егора.

«Конечно,— думала она,— Егорушка в бога не верил, и все они тоже...»

Но не хотела окончить свою мысль и вздыхала, желая столкнуть тяжесть с души.

«О, господи, господи Иисусе Христе! Неужто и меня вот так...»

Пришли на кладбище и долго кружились там по узким дорожкам среди могил, пока не вышли на открытое пространство, усеянное низенькими белыми крестами. Столпились около могилы и замолчали. Суровое молчание живых среди могил обещало что-то страшное, отчего сердце матери вздрогнуло и замерло в ожидании. Между крестов свистел и выл ветер, на крышке гроба печально трепетали измятые цветы...

Полиция насторожилась, вытянулась, глядя на своего начальника. Над могилой встал высокий молодой человек без шапки, с длинными волосами, чернобровый, бледный. И в то же время раздался сиплый голос начальника полиции:

— Господа...

— Товарищи! — громко и звучно начал чернобровый.

— Позвольте! — крикнул полицейский.— Объявляю, что не могу допустить речей...

— Я скажу всего несколько слов! — спокойно заявил молодой человек.— Товарищи! Над могилой нашего учителя и друга давайте поклянемся, что не забудем никогда его заветы, что каждый из нас будет всю жизнь неустанно рыть могилу источнику всех бед нашей родины, злой силе, угнетающей ее,— самодержавию!

— Арестовать! — крикнул полицейский, но его голос заглушил нестройный взрыв криков:

— Долой самодержавие!

Расталкивая толпу, полицейские бросились к оратору, а он, тесно окруженный со всех сторон, кричал, взмахнув рукой:

— Да здравствует свобода!

Мать оттолкнули в сторону, там она в страхе прислонилась к кресту и, ожидая удара, закрыла глаза. Буйный вихрь нестройных звуков оглушал ее, земля качалась под ногами, ветер и страх затрудняли дыхание. Тревожно носились по воздуху свистки полицейских, раздавался грубый, командующий голос, истерично кричали женщины, трещало дерево оград, и глухо звучал тяжелый топот ног по сухой земле. Это

длилось долго, и стоять с закрытыми глазами ей стало невыносимо страшно.

Она взглянула и, крикнув, бросилась вперед, протягивая руки. Недалеко от нее, на узкой дорожке, среди могил, полицейские, окружив длинноволосого человека, отбивались от толпы, нападавшей на них со всех сторон. В воздухе бело и холодно мелькали обнаженные шашки, взлетая над головами и быстро падая вниз. Мелькали трости, обломки оград, в дикой пляске кружились крики сцепившихся людей, возвышалось бледное лицо молодого человека,— над бурей злобного раздражения гудел его крепкий голос:

— Товарищи! На что тратите себя?..

Он побеждал. Бросая палки, люди один за другим отскакивали прочь, а мать все пробивалась вперед, увлекаемая неодолимой силой, и видела, как Николай в шляпе, сдвинутой на затылок, отталкивал в сторону охмеленных злобой людей, слышала его упрекающий голос:

— Вы с ума сошли! Да успокойтесь же!..

Ей казалось, что одна рука у нее красная.

— Николай Иванович, уйдите! — закричала она, бросаясь к нему.

— Куда вы? Вас там ударят...

Схватив ее за плечо, рядом с нею стояла Софья, без шляпы, с растрепанными волосами, поддерживая молодого парня, почти мальчика. Он отирал рукой разбитое, окровавленное лицо и бормотал дрожащими губами:

— Пустите, ничего...

— Займитесь им, отвезите к нам! Вот платок, завяжите лицо!..— быстро говорила Софья и, вложив руку парня в руку матери, побежала прочь, говоря: — Скорее уходите, арестуют!..

По всем направлениям кладбища расходились люди, за ними, между могил, тяжело шагали полицейские, неуклюже путаясь в полах шинелей, ругаясь и размахивая шашками. Парень провожал их волчьим взглядом.

— Идем скорее! — тихо крикнула мать, отирая платком его лицо.

Он бормотал, выплевывая кровь:

— Да вы не беспокойтесь,— не больно мне. Он меня ручкой сабли... Ну, и я его тоже,— ка-ак дам палкой! Даже завыл он!..

И, потрясая окровавленным кулаком, закончил срывающимся голосом:

— Погодите, не то будет. Мы вас раздавим без драки, когда мы встанем, весь рабочий народ!

— Скорее! — торопила мать, быстро шагая к маленькой калитке в ограде кладбища. Ей казалось, что там, за оградой, в поле спряталась и ждет их полиция и, как только они выйдут,— она бросится на них, начнет бить. Но когда, осторожно открыв дверку, она выглянула в поле, одетое серыми тканями осенних сумерек,— тишина и безлюдье сразу успокоили ее.

— Дайте-ка я завяжу вам лицо-то,— говорила она.

— Да не надо, мне и так не стыдно! Драка честная: он — меня, я — его...

Мать наскоро перевязала рану. Вид крови наполнял ей грудь жалостью, и, когда пальцы ее ощущали влажную теплоту, дрожь ужаса охватывала ее. Она молча и быстро повела раненого полем, держа его за руку. Освободив рот, он с усмешкой в голосе говорил:

— Куда вы меня тащите, товарищ? Я сам могу идти!..

Но она чувствовала, что он шатается, ноги его шагают нетвердо и рука дрожит. Слабеющим голосом он говорил и спрашивал ее, не дожидаясь ответа:

— Я жестяник Иван,— а вы кто? Нас трое было в кружке Егора Ивановича,— жестяников трое... а всех одиннадцать. Очень мы любили его — царство ему небесное! Хоть я не верю в бога...

В одной из улиц мать наняла извозчика, усадив Ивана в экипаж, шепнула ему:

— Теперь молчите! — и осторожно закутала рот ему платком.

Он поднял руку к лицу и — уже не мог освободить рта, рука бессильно упала на колени. Но все-таки продолжал бормотать сквозь платок:

— Ударов этих я вам не забуду, милые мои... А до него с нами занимался студент Титович... политической экономией... Потом арестовали...

Мать, обняв Ивана, положила его голову себе на грудь, парень вдруг весь отяжелел и замолчал. Замирая от страха, она исподлобья смотрела по сторонам, ей казалось, что вот откуда-нибудь из-за угла выбегут полицейские, увидят завязанную голову Ивана, схватят его и убьют.

— Выпил? — спросил извозчик, обернувшись на козлах и добродушно улыбаясь.

— Хватил горячего до слез! — вздохнув, ответила мать.

— Сын?

— Да, сапожник. А я в кухарках живу...

— Маешься. Та-ак...

Махнув кнутом на лошадь, извозчик опять обернулся и тише продолжал:

— А сейчас, слышь, на кладбище драка была!.. Хоронили, значит, одного политического человека,— из этаких, которые против начальства... там у них с начальством спорные дела. Хоронили его тоже этакие, дружки его, стало быть. И давай там кричать — долой начальство, оно, дескать, народ разоряет... Полиция бить их! Говорят, которых порубили насмерть. Ну, и полиции тоже попало...— Он замолчал и, сокрушенно покачивая головой, странным голосом выговорил: — Мертвых беспокоят, покойников будят!

Пролетка с треском подпрыгивала по камням, голова Ивана мягко толкала грудь матери, извозчик, сидя вполоборота, задумчиво бормотал:

— Идет волнение в народе,— беспорядок поднимается с земли, да! Вчера ночью в соседях у нас пришли жандармы, хлопотали чего-то вплоть до утра, а утром забрали с собой кузнеца одного и увели. Говорят, отведут его ночью на реку и тайно утопят. А кузнец — ничего человек был...

— Как звали его? — спросила мать.

— Кузнеца-то? Савел, а прозвище Евченко. Молодой еще, а уж много понимал. Понимать-то, видно,— запрещается! Придет, бывало, и говорит: «Какая ваша жизнь, извозчики?» — «Верно, говорим, жизнь хуже собачьей».

— Стой! — сказала мать.

Иван очнулся от толчка и тихо застонал.

— Развезло парня! — заметил извозчик.— Эх ты, водка — водочка...

С трудом переставляя ноги, качаясь всем телом, Иван шел по двору и говорил:

— Ничего,— я могу...

XIII

Софья была уже дома, она встретила мать с папиросой в зубах, суетливая, возбужденная.

Укладывая раненого на диван, она ловко развязывала его голову и распоряжалась, щуря глаза от дыма папиросы.

— Иван Данилович, привезли! Вы устали, Ниловна? Напугались, да? Ну, отдыхайте. Николай, Ниловне рюмку портвейна!

Ошеломленная пережитым, тяжело дыша и ощущая в груди болезненное покалывание, мать бормотала:

— Вы обо мне не беспокойтесь...

И всем существом своим трепетно просила внимания к себе, успокаивающей ласки.

Из соседней комнаты вышли Николай, с перевязанной рукой, и доктор Иван Данилович, весь растрепанный, ощетинившийся, как еж. Он быстро подошел к Ивану, наклонился над ним, говоря:

— Воды, больше воды, чистых полотняных тряпок, ваты!

Мать двинулась в кухню, но Николай взял ее под руку левой рукой и ласково сказал, уводя ее в столовую:

— Это не вам говорят, а Софье. Наволновались вы, милый человек, да?

Мать встретила его пристальный, участливый взгляд и с рыданием, которого не могла удержать, воскликнула:

— Что это было, голубчик вы мой! Рубили, людей рубили!

— Я видел! — подавая ей вино и кивнув головой, сказал Николай.— Погорячились немного обе стороны. Но вы не беспокойтесь — они били плашмя, и серьезно ранен, кажется, только один. Его ударили на моих глазах, я его и вытащил из свалки...

Лицо Николая и голос, тепло и свет в комнате успокаивали Власову. Благодарно взглянув на него, она спросила:

— Вас тоже ударили?

— Это я сам, кажется, неосторожно задел рукой за что-то и сорвал кожу. Пейте чай,— холодно, а вы одеты легко...

Она протянула руку к чашке, увидала, что пальцы ее покрыты пятнами запекшейся крови, невольным движением опустила руку на колени — юбка была влажная. Широко открыв глаза, подняв бровь, она искоса смотрела на свои пальцы, голова у нее кружилась и в сердце стучало:

«Так вот и Пашу тоже,— могут!»

Вошел Иван Данилович в жилете, с засученными рукавами рубашки, и на молчаливый вопрос Николая сказал своим тонким голосом:

— На лице незначительная рана, а череп проломлен, хотя тоже не сильно,— парень здоровый! Однако много потерял крови. Будем отправлять в больницу?

— Зачем? Пускай остается здесь! — воскликнул Николай.

— Сегодня можно, ну, пожалуй, завтра, а потом мне удобнее будет, чтобы он лег в больницу. У меня нет времени делать визиты! Ты напишешь листок о событии на кладбище?

— Конечно! — ответил Николай.

Мать тихо встала и пошла на кухню.

— Куда вы, Ниловна? — беспокоясь, остановил он ее.— Соня одна управится!

Она взглянула на него и, вздрагивая, ответила, странно усмехаясь:

— В крови я...

Переодеваясь в своей комнате, она еще раз задумалась о спокойствии этих людей, о их способности быстро переживать страшное. Это отрезвляло ее, изгоняя страх из сердца. Когда она вошла в комнату, где лежал раненый, Софья, наклонясь над ним, говорила ему:

— Глупости, товарищ!

— Да я стеснять вас буду! — возражал он слабым голосом.

— А вы молчите, это вам полезнее...

Мать встала позади Софьи и, положив руки на ее плечо, с улыбкой глядя в бледное лицо раненого, усмехаясь, заговорила, как он бредил на извозчике и пугал ее неосторожными словами. Иван слушал, глаза его лихорадочно горели, он чмокал губами и тихо, смущенно восклицал:

— Ох... экий дурак!

— Ну, мы вас оставим! — поправив на нем одеяло, заявила Софья.— Отдохните!

Они ушли в столовую и там долго беседовали о событии дня. И уже относились к драме этой как к чему-то далекому, уверенно заглядывая в будущее, обсуждая приемы работы на завтра. Лица были утомлены, но мысли бодры, и, говоря о своем деле, люди не скрывали недовольства собой. Нервно двигаясь на стуле, доктор, с усилием притупляя свой тонкий, острый голос, говорил:

— Пропаганда, пропаганда! Этого мало теперь, рабочая молодежь права! Нужно шире поставить агитацию,— рабочие правы, я говорю...

Николай хмуро и в тон ему отозвался:

— Отовсюду идут жалобы на недостаток литературы, а мы всё еще не можем поставить хорошую типографию. Людмила из сил выбивается, она захворает, если мы не дадим ей помощников...

— А Весовщиков? — спросила Софья.

— Он не может жить в городе. Он возьмется за дело только в новой типографии, а для нее не хватает еще одного человека...

— Я не подойду? — тихо спросила мать.

Они все трое взглянули на нее и несколько секунд молчали.

— Хорошая мысль! — воскликнула Софья.

— Нет, это трудно для вас, Ниловна! — сухо сказал Николай.— Вам пришлось бы жить за городом, прекратить свидания с Павлом и вообще...

Вздохнув, она возразила:

— Для Паши это не велика потеря, да и мне эти свидания только душу рвут! Говорить ни о чем нельзя. Стоишь против сына дурой, а тебе в рот смотрят, ждут — не скажешь ли чего лишнего...

События последних дней утомили ее, и теперь, услышав о возможности для себя жить вне города, вдали от его драм, она жадно ухватилась за эту возможность.

Но Николай замял разговор.

— О чем думаешь, Иван? — обратился он к доктору.

Подняв низко опущенную над столом голову, доктор угрюмо ответил:

— Мало нас, вот о чем! Необходимо работать энергичнее... и необходимо убедить Павла и Андрея бежать, они оба слишком ценны для того, чтобы сидеть без дела...

Николай нахмурил брови и сомнительно покачал головой, мельком взглянув на мать. Она поняла, что при ней им неловко говорить о ее сыне, и ушла в свою комнату, унося в груди тихую обиду на людей за то, что они отнеслись так невнимательно к ее желанию. Лежа в постели с открытыми глазами, она, под тихий шепот голосов, отдалась во власть тревог.

Истекший день был мрачно непонятен и полон зловещих намеков, но ей тяжело было думать о нем, и, отталкивая от себя угрюмые впечатления, она задумалась о Павле. Ей хотелось видеть его на свободе, и в то же время это пугало ее: она чувствовала, что вокруг нее все обостряется, грозит резкими столкновениями. Молчаливое терпение людей исчезало, уступая место напряженному ожиданию, заметно росло раздражение, звучали резкие слова, отовсюду веяло чем-то возбуждающим. Каждая прокламация вызывала на базаре, в лавках, среди прислуги и ремесленников оживленные толки, каждый арест в городе будил пугливое, недоумевающее, а иногда и бессознательно сочувственное эхо суждений о причинах ареста. Все чаще слышала она от простых людей когда-то пугавшие ее слова: бунт, социалисты, политика; их произносили насмешливо, но за насмешкой неумело прятался пытливый вопрос; со злобой — и за нею звучал страх; задумчи-

во — с надеждой и угрозой. Медленно, но широкими кругами по застоявшейся темной жизни расходилось волнение, просыпалась сонная мысль, и привычное, спокойное отношение к содержанию дня колебалось. Все это она видела яснее других, ибо лучше их знала унылое лицо жизни, и теперь, видя на нем морщины раздумья и раздражения, она и радовалась и пугалась. Радовалась — потому что считала это делом своего сына, боялась — зная, что если он выйдет из тюрьмы, то встанет впереди всех на самом опасном месте. И погибнет.

Иногда образ сына вырастал перед нею до размеров героя сказки, он соединял в себе все честные, смелые слова, которые она слышала, всех людей, которые ей нравились, все героическое и светлое, что она знала. Тогда, умиленная, гордая, в тихом восторге, она любовалась им и, полная надежд, думала:

«Все будет хорошо, все!»

Ее любовь — любовь матери — разгоралась, сжимая сердце почти до боли, потом материнское мешало росту человеческого, сжигало его, и на месте великого чувства, в сером пепле тревоги, робко билась унылая мысль:

«Погибнет... пропадет!..»

XIV

В полдень она сидела в тюремной канцелярии против Павла и, сквозь туман в глазах рассматривая его бородатое лицо, искала случая передать ему записку, крепко сжатую между пальцев.

— Здоров, и все здоровы! — говорил он негромко.— Ну, а ты как?

— Ничего! Егор Иванович скончался! — машинально сказала она.

— Да? — воскликнул Павел и тихо опустил голову.

— На похоронах полиция дралась, арестовали одного! — простодушно продолжала она. Помощник начальника тюрьмы возмущенно чмокнул тонкими губами и, вскочив со стула, забормотал:

— Это запрещено, надо же понять! Запрещено говорить о политике!..

Мать тоже поднялась со стула и, как бы не понимая, виновато заявила:

— Я не о политике, о драке! А дрались они, это верно. И даже одному голову разбили...

— Все равно! Я прошу вас молчать! То есть молчать обо всем, что не касается лично вас — семьи и вообще дома вашего!

Чувствуя, что запутался, он сел за столом и, разбирая бумаги, уныло и утомленно добавил:

— Я — отвечаю, да...

Мать оглянулась и, быстро сунув записку в руку Павла, облегченно вздохнула.

— Не понимаешь, о чем говорить...

Павел усмехнулся.

— Я тоже не понимаю...

— Тогда не нужны и свидания! — раздраженно заметил чиновник. — Говорить не о чем, а ходят, беспокоят...

— Скоро ли суд-то? — помолчав, спросила мать.

— На днях прокурор был, сказал, что скоро...

Они говорили друг другу незначительные, ненужные обоим слова, мать видела, что глаза Павла смотрят в лицо ей мягко, любовно. Все такой же ровный и спокойный, как всегда, он не изменился, только борода сильно отросла и старила его да кисти рук стали белее. Ей захотелось сделать ему приятное, сказать о Николае, и она, не изменяя голоса, тем же тоном, каким говорила ненужное и неинтересное, продолжала:

— Крестника твоего видела...

Павел пристально взглянул ей в глаза, молча спрашивая. Желая напомнить ему о рябом лице Весовщикова, она постучала себя пальцем по щеке...

— Ничего, мальчик жив и здоров, на место скоро определится.

Сын понял, кивнул ей головой и с веселой улыбкой в глазах ответил:

— Это — хорошо!

— Ну, вот! — удовлетворенно произнесла она, довольная собой, тронутая его радостью.

Прощаясь с нею, он крепко пожал руку ее.

— Спасибо, мать!

Ей хмелем бросилось в голову радостное чувство сердечной близости к нему, и, не находя сил ответить словами, она ответила молчаливым рукопожатием.

Дома она застала Сашу. Девушка обычно являлась к Ниловне в те дни, когда мать бывала на свидании. Она никогда не расспрашивала о Павле, и если мать сама не говорила о нем, Саша пристально смотрела в лицо ей и удовлетворялась этим. Но теперь она встретила ее беспокойным вопросом:

— Ну, что он?

— Ничего, здоров!

— Записку отдали?

— Конечно! Я так ловко ее сунула...

— Он читал?

— Где же? Разве можно!

— Да, я забыла! — медленно сказала девушка.— Подождем еще неделю, еще неделю! А как вы думаете — он согласится?

Она нахмурила брови и смотрела в лицо матери остановившимися глазами.

— Да я не знаю, — размышляла мать. — Почему не уйти, если без опасности это?

Саша тряхнула головой и сухо спросила:

— Вы не знаете, что можно есть больному? Он просит есть.

— Все можно, все! Я сейчас...

Она пошла в кухню, Саша медленно двинулась за ней.

— Помочь вам?

— Спасибо, что вы?!

Мать наклонилась к печке, доставая горшок. Девушка тихо сказала ей:

— Подождите...

Лицо ее побледнело, глаза тоскливо расширились и дрожащие губы с усилием зашептали горячо и быстро:

— Я хочу вас просить. Я знаю — он не согласится! Уговорите его! Он — нужен, скажите ему, что он необходим для дела, что я боюсь — он захворает. Вы видите — суд все еще не назначен...

Ей, видимо, трудно было говорить. Она вся выпрямилась, смотрела в сторону, голос у нее звучал неровно. Утомленно опустив веки, девушка кусала губы, а пальцы кренко сжатых рук хрустели.

Мать была смята ее порывом, но поняла его и, взволнованная, полная грустного чувства, обняв Сашу, тихонько ответила:

— Дорогая вы моя! Никого он, кроме себя, не послушает, никого!

Они обе молчали, тесно прижавшись друг к другу. Потом Саша осторожно сняла с своих плеч руки матери и сказала, вздрагивая:

— Да, ваша правда! Все это глупости, нервы...

И вдруг, серьезная, просто кончила:

— Однако давайте покормим раненого...

Сидя у постели Ивана, она уже заботливо и ласково спрашивала:

— Сильно болит голова?

— Не очень, только смутно все! И слабость,— конфузливо натягивая одеяло к подбородку, отвечал Иван и прищуривал глаза, точно от яркого света. Заметив, что он не решается есть при ней, Саша встала и ушла.

Иван сел на постели, взглянул вслед ей и, мигая, сказал:

— Кра-асивая!..

Глаза у него были светлые и веселые, зубы мелкие, плотные, голос еще не установился.

— Вам сколько лет? — задумчиво спросила мать.

— Семнадцать...

— Родители-то где?

— В деревне; я с десяти лет здесь,— кончил школу и — сюда! А вас как звать, товарищ?

Мать всегда смешило и трогало это слово, обращенное к ней. И теперь, улыбаясь, она спросила:

— На что вам знать?

Юноша, смущенно помолчав, объяснил:

— Видите, студент из нашего кружка, то есть который читал с нами, он говорил нам про мать Павла Власова, рабочего, — знаете, демонстрация Первого мая?

Она кивнула головой и насторожилась.

— Он первый открыто поднял знамя нашей партии! — с гордостью заявил юноша, и его гордость созвучно отозвалась в сердце матери.

— Меня при том не было,— мы тогда думали здесь свою демонстрацию наладить — сорвалось! Мало нас было тогда. А на тот год — пожалуйте!.. Увидите!

Он захлебнулся от волнения, предвкушая будущие события, потом, размахивая в воздухе ложкой, продолжал:

— Так вот Власова — мать, говорю. Она тоже вошла в партию после этого. Говорят, такая — просто чудеса!

Мать широко улыбнулась, ей было приятно слышать восторженные похвалы мальчика. Приятно и неловко. Она даже хотела сказать ему: «Это я Власова!..», но удержалась и с мягкой насмешкой, с грустью, сказала себе: «Эх ты, старая дура!..»

— А вы — кушайте больше! Выздоравливайте скорее для хорошего дела! — вдруг взволнованно заговорила она, наклоняясь к нему.

Дверь отворилась, пахнуло сырым осенним холодом, вошла Софья, румяная, веселая.

— Шпионы за мной ухаживают, точно женихи за богатой невестой, честное слово! Надо мне убираться отсюда... Ну, как, Ваня? Хорошо? Что Павел, Ниловна? Саша здесь?

Закуривая папиросу, она спрашивала и не ждала ответов, лаская мать и юношу взглядом серых глаз. Мать смотрела на нее и, внутренне улыбаясь, думала:

«Вот и я тоже выхожу в хорошие люди!»

И, снова наклонясь к Ивану, сказала:

— Выздоравливайте, сынок!

И ушла в столовую. Там Софья рассказывала Саше:

— У нее уже готово триста экземпляров! Она убьет себя такой работой! Вот — героизм! Знаете, Саша, это большое счастье жить среди таких людей, быть их товарищем, работать с ними...

— Да! — тихо ответила девушка.

Вечером за чаем Софья сказала матери:

— А вам, Ниловна, снова надо посетить деревню.

— Ну, что же! Когда?

— Дня через три — можете?

— Хорошо...

— Вы поезжайте! — негромко посоветовал Николай.— Наймите почтовых лошадей и, пожалуйста, другой дорогой, через Никольскую волость...

Он замолчал и нахмурился. Это не шло к его лицу, странно и некрасиво изменяя всегда спокойное выражение.

— Через Никольское далеко! — заметила мать. — И дорого на лошадях...

— Видите ли что,— продолжал Николай.— Я вообще против этой поездки. Там беспокойно,— были уже аресты, взят какой-то учитель, надо быть осторожнее. Следовало бы выждать время...

Софья, постукивая пальцами по столу, заметила:

— Нам важно сохранить непрерывность в распространении литературы. Вы не боитесь ехать, Ниловна? — вдруг спросила она.

Мать почувствовала себя задетой.

— Когда же я боялась? И в первый раз делала это без страха... а тут вдруг...— Не кончив фразу, она опустила голову. Каждый раз, когда ее спрашивали — не боится ли она, удобно ли ей, может ли она сделать то или это,— она слышала в подобных вопросах просьбу к ней, ей казалось, что люди отодвигают ее от себя в сторону, относятся к ней иначе, чем друг к другу.

— Напрасно вы меня спрашиваете — боюсь ли я,— заговорила она, вздыхая,— друг друга вы не спрашиваете насчет страха.

Николай торопливо снял очки, снова надел их и пристально взглянул в лицо сестры. Смущенное молчание встревожило Власову, она виновато поднялась со стула, желая что-то сказать им, но Софья дотронулась до ее руки и тихонько попросила:

— Простите меня! Я больше не буду!

Это рассмешило мать, и через несколько минут все трое озабоченно и дружно говорили о поездке в деревню.

XV

На рассвете мать тряслась в почтовой бричке по размытой осенним дождем дороге. Дул сырой ветер, летели брызги грязи, а ямщик, сидя на облучке вполоборота к ней, задумчиво и гнусаво жаловался:

— Я ему говорю — брату то есть, — что ж, давай делиться! Начали мы делиться...

Он вдруг хлестнул кнутом левую лошадь и озлобленно крикнул:

— Н-но! Играй, мать твоя ведьма!..

Жирные осенние вороны озабоченно шагали по голым пашням, холодно посвистывая, налетал на них ветер. Вороны подставляли ударам ветра свои бока, он раздувал им перья, сбивая с ног, тогда они, уступая силе, ленивыми взмахами крыльев перелетали на новое место.

— Ну, обделил он меня. Вижу я — нечем мне взяться, — говорил ямщик.

Мать слышала его слова точно сквозь сон, память строила перед нею длинный ряд событий, пережитых за последние годы, и, пересматривая их, она повсюду видела себя. Раньше жизнь создавалась где-то вдали, неизвестно кем и для чего, а вот теперь многое делается на ее глазах, с ее помощью. И это вызывало у нее спутанное чувство недоверия к себе и довольства собой, недоумения и тихой грусти...

Все вокруг колебалось в медленном движении, в небе, тяжело обгоняя друг друга, плыли серые тучи, по сторонам дороги мелькали мокрые деревья, качая нагими вершинами, расходились кругом поля, выступали холмы, расплывались.

Гнусавый голос ямщика, звон бубенцов, влажный свист и шорох ветра сливались в трепетный, извилистый ручей, он тек над полем с однообразной силой...

— Богатому и в раю тесно,— такое дело!.. Начал он жать, начальство ему приятели,— качаясь на облучке, тянул ямщик.

Когда приехали на станцию, он отпряг лошадей и сказал матери безнадежным голосом:

— Дала бы ты мне пятак, — хоть бы выпил я!

Она дала монету, и, встряхнув ее на ладони, ямщик тем же тоном известил мать:

— На три — водки выпью, на две — хлеба съем...

После полудня, разбитая, озябшая, мать приехала в большое село Никольское, прошла на станцию, спросила себе чаю и села у окна, поставив под лавку свой тяжелый чемодан. Из окна было видно небольшую площадь, покрытую затоптанным ковром желтой травы, волостное правление — темно-серый дом с провисшей крышей. На крыльце волости сидел лысый длиннобородый мужик в одной рубахе и курил трубку. По траве шла свинья. Недовольно встряхивая ушами, она тыкалась рылом в землю и покачивала головой.

Плыли тучи темными массами, наваливались друг на друга. Было тихо, сумрачно и скучно, жизнь точно спряталась куда-то, притаилась.

Вдруг на площадь галопом прискакал урядник, осадил рыжую лошадь у крыльца волости и, размахивая в воздухе нагайкой, закричал на мужика — крики толкались в стекла окна, но слов не было слышно. Мужик встал, протянул руку, указывая вдаль, урядник прыгнул на землю, зашатался на ногах, бросил мужику повод, хватаясь руками за перила, тяжело поднялся на крыльцо и исчез в дверях волости...

Снова стало тихо. Лошадь дважды ударила копытом по мягкой земле. В комнату вошла девочка-подросток, с короткой желтой косой на затылке и ласковыми глазами на круглом лице. Закусив губы, она несла на вытянутых руках большой, уставленный посудой поднос с измятыми краями и кланялась, часто кивая головой.

— Здравствуй, умница! — ласково сказала мать.

— Здравствуйте!

Расставляя по столу тарелки и чайную посуду, девочка вдруг оживленно объявила:

— Сейчас разбойника поймали, ведут!

— Какого же это разбойника?

— Не знаю...

— А что он сделал?

— Я не знаю! — повторила девочка.— Я только слышала— поймали! Сторож из волости за становым побежал.

Мать посмотрела в окно,— на площади явились мужики. Иные шли медленно и степенно, другие — торопливо застегивая на ходу полушубки. Останавливаясь у крыльца волости, все смотрели куда-то влево.

Девочка тоже взглянула на улицу и убежала из комнаты, громко хлопнув дверью. Мать вздрогнула, подвинула свой чемодан глубже под лавку и, накинув на голову шаль, пошла к двери, спеша и сдерживая вдруг охватившее ее непонятное желание идти скорее, бежать...

Когда она вышла на крыльцо, острый холод ударил ей в глаза, в грудь, она задохнулась, и у нее одеревенели ноги — посредине площади шел Рыбин со связанными за спиной руками, рядом с ним шагали двое сотских, мерно ударяя о землю палками, а у крыльца волости стояла толпа людей и молча ждала.

Ошеломленная, мать неотрывно смотрела,— Рыбин что-то говорил, она слышала его голос, но слова исчезали без эха в темной, дрожащей пустоте ее сердца.

Она очнулась, перевела дыхание — у крыльца стоял мужик с широкой, светлой бородой, пристально глядя голубыми глазами в лицо ей. Кашляя и потирая горло обессиленными страхом руками, она с трудом спросила его:

— Это что же?

— А вот — глядите! — ответил мужик и отвернулся. Подошел еще мужик и встал рядом.

Сотские остановились перед толпой, она все росла быстро, но молча, и вот над ней вдруг густо поднялся голос Рыбина:

— Православные! Слыхали вы о верных грамотах, в которых правда писалась про наше крестьянское житье? Так вот — за эти грамоты страдаю, это я их в народ раздавал!

Люди окружали Рыбина теснее. Голос его звучал спокойно, мерно. Это отрезвляло мать.

— Слышишь? — толкнув в бок голубоглазого мужика, тихонько спросил другой. Тот, не отвечая, поднял голову и снова взглянул в лицо матери. И другой мужик тоже посмотрел на нее — он был моложе первого, с темной редкой бородкой и пестрым от веснушек, худым лицом. Потом оба они отодвинулись от крыльца в сторону.

«Боятся!» — невольно отметила мать.

Внимание ее обострялось. С высоты крыльца она ясно видела избитое, черное лицо Михаила Ивановича, различала горячий блеск его глаз, ей хотелось, чтобы он тоже увидал ее, и она, приподнимаясь на ногах, вытягивала шею к нему.

Люди смотрели на него хмуро, с недоверием и молчали. Только в задних рядах толпы был слышен подавленный говор.

— Крестьяне! — полным и тугим голосом говорил Рыбин.— Бумагам этим верьте,— я теперь за них, может, смерть приму, били меня, истязали, хотели выпытать — откуда я их взял, и еще бить будут,— все стерплю! Потому — в этих грамотах правда положена, правда эта дороже хлеба для нас должна быть,— вот!

— Зачем он это говорит? — тихо воскликнул один из мужиков у крыльца. Голубоглазый медленно ответил:

— Теперь все равно — двум смертям не бывать, а одной не миновать...

Люди стояли молчаливо, смотрели исподлобья, сумрачно, на всех как будто лежало что-то невидимое, но тяжелое.

На крыльце явился урядник и, качаясь, пьяным голосом заревел:

— Это кто говорит?

Он вдруг скатился с крыльца, схватил Рыбина за волосы и, дергая его голову вперед, отталкивая назад, кричал:

— Это ты говоришь, сукин сын, это ты?

Толпа покачнулась, загудела. Мать в бессильной тоске опустила голову. И снова раздался голос Рыбина:

— Вот, глядите, люди добрые...

— Молчать! — Урядник ударил его в ухо. Рыбин пошатнулся на ногах, повел плечами:

— Связали руки вам и мучают, как хотят...

— Сотские! Веди его! Разойдись, народ! — Прыгая перед Рыбиным, как цепная собака перед куском мяса, урядник толкал его кулаками в лицо, в грудь, в живот.

— Не бей! — крикнул кто-то в толпе.

— Зачем бьешь? — поддержал другой голос.

— Идем! — сказал голубоглазый мужик, кивнув головой. И они оба не спеша пошли к волости, а мать проводила их добрым взглядом. Она облегченно вздохнула — урядник снова тяжело взбежал на крыльцо и оттуда, грозя кулаком, исступленно орал:

— Веди его сюда! Я говорю...

— Не надо! — раздался в толпе сильный голос — мать поняла, что это говорил мужик с голубыми глазами.— Не допускай, ребята! Уведут туда — забьют до смерти. Да на нас же потом скажут,— мы, дескать, убили! Не допускай!

— Крестьяне! — гудел голос Михайлы.— Разве вы не видите жизни своей, не понимаете, как вас грабят, как обманывают, кровь вашу пьют? Все вами держится, вы — первая сила

на земле,— а какие права имеете? С голоду издыхать — одно ваше право!..

Мужики вдруг закричали, перебивая друг друга:

— Правильно говорит!

— Станового зовите! Где становой?..

— Урядник поскакал за ним...

— Пьяный-то!..

— Не наше дело начальство собирать...

Шум все рос, поднимался выше.

— Говори! Не дадим бить...

— Развяжите руки ему...

— Гляди,— греха не было бы!..

— Больно руки мне! — покрывая все голоса, ровно и звучно говорил Рыбин.— Не убегу я, мужики! От правды моей не скроюсь, она во мне живет...

Несколько человек солидно отошли от толпы в разные стороны, вполголоса переговариваясь и покачивая головами. Но все больше сбегалось плохо и наскоро одетых, возбужденных людей. Они кипели темной пеной вокруг Рыбина, а он стоял среди них, как часовня в лесу, подняв руки над головой, и, потрясая ими, кричал в толпу:

— Спасибо, люди добрые, спасибо! Мы сами должны друг дружке руки освободить,— так! Кто нам поможет?

Он отер бороду и снова поднял руку, всю в крови.

— Вот кровь моя,— за правду льется!

Мать сошла с крыльца, но с земли ей не видно было Михайлы, сжатого народом, и она снова поднялась на ступени. В груди у нее было горячо, и что-то неясно радостное трепетало там.

— Крестьяне! Ищите грамотки, читайте, не верьте начальству и попам, когда они говорят, что безбожники и бунтовщики те люди, которые для нас правду несут. Правда тайно ходит по земле, она гнезд ищет в народе,— начальству она вроде ножа и огня, не может оно принять ее, зарежет она его, сожжет! Правда вам — друг добрый, а начальству — заклятый враг! Вот отчего она прячется!..

Снова в толпе вспыхнуло несколько восклицаний:

— Слушай, православные!..

— Эх, брат, пропадешь ты...

— Кто тебя выдал?

— Поп! — сказал один из сотских.

Двое мужиков крепко выругались.

— Гляди, ребята! — раздался предупреждающий крик.

XVI

К толпе шел становой пристав, высокий, плотный человек с круглым лицом. Фуражка у него была надета набок, один ус закручен кверху, а другой опускался вниз, и от этого лицо его казалось кривым, обезображенным тупой, мертвой улыбкой. В левой руке он нес шашку, а правой размахивал в воздухе. Были слышны его шаги, тяжелые и твердые. Толпа расступалась перед ним. Что-то угрюмое и подавленное появилось на лицах, шум смолкал, понижался, точно уходил в землю. Мать чувствовала, что на лбу у нее дрожит кожа и глазам стало горячо. Ей снова захотелось пойти в толпу, она наклонилась вперед и замерла в напряженной позе.

— Что такое? — спросил пристав, остановясь против Рыбина и меряя его глазами.— Почему не связаны руки? Сотские! Связать!

Голос у него был высокий и звонкий, но бесцветный.

— Были связаны,— народ развязал! — ответил один из сотских.

— Что? Народ? Какой народ?

Становой посмотрел на людей, стоявших перед ним полукругом. И тем же однотонным, белым голосом, не повышая, не понижая его, продолжал:

— Это кто — народ?

Он ткнул наотмашь эфесом шашки в грудь голубоглазого мужика.

— Это ты, Чумаков, народ? Ну, кто еще? Ты, Мишин?

И дернул кого-то правой рукой за бороду.

— Разойдись, сволочь!.. А то я вас, — я вам покажу!

В голосе, на лице его не было ни раздражения, ни угрозы, он говорил спокойно, бил людей привычными, ровными движениями крепких, длинных рук. Люди отступали перед ним, опуская головы, повертывая в сторону лица.

— Ну? Вы что же? — обратился он к сотским. — Вяжи!

Выругался циничными словами, снова посмотрел на Рыбина и громко сказал ему:

— Руки назад, — ты!

— Не хочу я, чтобы вязали руки мне! — заговорил Рыбин. — Бежать не собираюсь, не дерусь, — зачем связывать меня?

— Что? — спросил пристав, шагнув к нему.

— Довольно вам мучить народ, звери! — возвышая голос, продолжал Рыбин. — Скоро придет и для вас красный день...

Становой стоял перед ним и смотрел в его лицо, шевеля усами. Потом он отступил на шаг и свистящим голосом изумленно запел:

— А-а-ах, сукин сын! Ка-акие слова?

И вдруг быстро и крепко ударил Рыбина по лицу.

— Кулаком правду не убьешь! — крикнул Рыбин, наступая на него. — И бить меня не имеешь права, собака ты паршивая!

— Не смею? Я? — протяжно взвыл становой.

И снова взмахнул рукой, целя в голову Рыбина. Рыбин присел, удар не коснулся его, и становой, пошатнувшись, едва устоял на ногах. В толпе кто-то громко фыркнул, и снова раздался гневный крик Михаила:

— Не смей, говорю, бить меня, дьявол!

Становой оглянулся — люди угрюмо и молча сдвигались в тесное, темное кольцо...

— Никита! — громко позвал становой, оглядываясь. — Никита, эй!

Из толпы выдвинулся коренастый, невысокий мужик в коротком полушубке. Он смотрел в землю, опустив большую, лохматую голову.

— Никита! — покручивая ус и не торопясь, сказал становой. — Дай ему в ухо, хорошенько!

Мужик шагнул вперед, остановился против Рыбина, поднял голову. В упор, в лицо ему Рыбин бил тяжелыми, верными словами:

— Вот, глядите, люди, как зверье душит вас вашей же рукой! Глядите, думайте!

Мужик медленно поднял руку и лениво ударил его по голове.

— Разве так, сукин ты сын?! — взвизгнул становой.

— Эй, Никита! — негромко сказали из толпы. — Бога не забывай!

— Бей, говорю! — крикнул становой, толкая мужика в шею.

Мужик шагнул в сторону и угрюмо сказал, наклонив голову:

— Не буду больше...

— Что?

Лицо станового дрогнуло, он затопал ногами и, ругаясь, бросился на Рыбина. Тупо хлястнул удар, Михайло покачнулся, взмахнул рукой, но вторым ударом становой опрокинул его на

землю и, прыгая вокруг, с ревом начал бить ногами в грудь, бока, в голову Рыбина.

Толпа враждебно загудела, закачалась, надвигаясь на станового, он заметил это, отскочил и выхватил шашку из ножен.

— Вы так? Бунтовать? А-а?.. Вот оно что?..

Голос у него вздрогнул, взвизгнул и точно переломился, захрипел. Вместе с голосом он вдруг потерял свою силу, втянул голову в плечи, согнулся и, вращая во все стороны пустыми глазами, попятился, осторожно ощупывая ногами почву сзади себя. Отступая, он кричал хрипло и тревожно:

— Хорошо! Берите его, я ухожу, — ну-ка? Знаете ли вы, сволочь проклятая, что он политический преступник, против царя идет, бунты заводит, знаете? А вы его защищать, а? Вы бунтовщики? Ага-а!..

Не шевелясь, не мигая глазами, без сил и мысли, мать стояла точно в тяжелом сне, раздавленная страхом и жалостью. В голове у нее, как шмели, жужжали обиженные, угрюмые и злые крики людей, дрожал голос станового, шуршали чьи-то шепоты...

— Коли он провинился — суди!..

— Вы — помилуйте его, ваше благородие...

— Что вы, в самом деле, без всякого закону?..

— Разве можно? Этак все начнут бить, тогда что будет?..

Люди разбились на две группы — одна, окружив станового, кричала и уговаривала его, другая, меньше числом, осталась вокруг избитого и глухо, угрюмо гудела. Несколько человек подняли его с земли, сотские снова хотели вязать руки ему.

— Погодите вы, черти! — кричали им.

Михайло отирал с лица и бороды грязь, кровь и молчал, оглядываясь. Взгляд его скользнул по лицу матери, — она, вздрогнув, потянулась к нему, невольно взмахнула рукою, — он отвернулся. Но через несколько минут его глаза снова остановились на лице ее. Ей показалось — он выпрямился, поднял голову, окровавленные щеки задрожали...

«Узнал,— неужели узнал?..»

И закивала ему головой, вздрагивая от тоскливой, жуткой радости. Но в следующий момент она увидела, что около него стоит голубоглазый мужик и тоже смотрит на нее. Его взгляд на минуту разбудил в ней сознание опасности...

«Что же это я? Ведь и меня схватят!»

Мужик что-то сказал Рыбину, тот тряхнул головой и вздрагивающим голосом, но четко и бодро заговорил:

— Ничего! Не один я на земле,— всю правду не выловят они! Где я был, там обо мне память останется,— вот! Хоть и разорили они гнездо, нет там больше друзей-товарищей...

«Это он для меня говорит!» — быстро сообразила мать.

— Но будет день, вылетят на волю орлы, освободится народ!

Какая-то женщина принесла ведро воды и стала, охая и причитая, обмывать лицо Рыбина. Ее тонкий, жалобный голос путался в словах Михаила и мешал матери понимать их. Подошла толпа мужиков со становым впереди, кто-то громко кричал:

— Давай подводу под арестанта, эй! Чья очередь?

Потом раздался новый, как бы обиженный голос станового:

— Я тебя могу ударить, а ты меня нет, не можешь, не смеешь, болван!

— Так! А ты кто — бог? — крикнул Рыбин.

Нестройный и негромкий взрыв восклицаний заглушил голос его:

— Не спорь, дядя! Тут — начальство!..

— Не сердись, ваше благородие! Не в себе человек...

— Ты молчи, чудак!

— Вот сейчас в город тебя повезут...

— Там закону бояться!

Крики толпы звучали умиротворяюще, просительно, они сливались в неясную суету, и все было в ней безнадежно, жалобно. Сотские повели Рыбина под руки на крыльцо волости, скрылись в двери. Мужики медленно расходились по площади, мать видела, что голубоглазый направляется к ней и исподлобья смотрит на нее. У нее задрожали ноги под коленками, унылое чувство засосало сердце, вызывая тошноту.

«Не надо уходить! — подумала она. — Не надо!»

И, крепко держась за перила, ждала.

Становой, стоя на крыльце волости, говорил, размахивая руками, упрекающим, уже снова белым, бездушным голосом:

— Дураки вы, сукины дети! Ничего не понимая, лезете в такое дело,— в государственное дело! Скоты! Благодарить меня должны, в ноги мне поклониться за доброту мою! Захочу я — все пойдете в каторгу...

Десятка два мужиков стояли, сняв шапки, и слушали. Темнело, тучи опускались ниже. Голубоглазый подошел к крыльцу и сказал, вздохнув:

— Вот какие дела у нас...

— Да-а, — тихо отозвалась она.

Он посмотрел на нее открытым взглядом и спросил:

— Чем занимаетесь?

— Кружева скупаю у баб, полотна тоже...

Мужик медленно погладил бороду. Потом, глядя по направлению к волости, сказал скучно и негромко:

— Этого у нас не найдется...

Мать смотрела на него сверху вниз и ждала момента, когда удобнее уйти в комнату. Лицо у мужика было задумчивое, красивое, глаза грустные. Широкоплечий и высокий, он был одет в кафтан, сплошь покрытый заплатами, в чистую ситцевую рубаху, рыжие, деревенского сукна штаны и опорки, надетые на босую ногу...

Мать почему-то облегченно вздохнула. И вдруг, подчиняясь чутью, опередившему неясную мысль, она неожиданно для себя спросила его:

— А что, ночевать у тебя можно будет?

Спросила, и все в ней туго натянулось — мускулы, кости. Она выпрямилась, глядя на мужика остановившимися глазами. В голове у нее быстро мелькали колючие мысли:

«Погублю Николая Ивановича. Пашу не увижу — долго! Изобьют!»

Глядя в землю и не торопясь, мужик ответил, запахивая кафтан на груди:

— Ночевать? Можно, чего же? Изба только плохая у меня...

— Не избалована я! — безотчетно ответила мать.

— Можно! — повторил мужик, меряя ее пытливым взглядом.

Уже стемнело, и в сумраке глаза его блестели холодно, лицо казалось очень бледным. Мать, точно спускаясь под гору, сказала негромко:

— Значит, я сейчас и пойду, а ты чемодан мой возьмешь...

— Ладно.

Он передернул плечами, снова запахнул кафтан и тихо проговорил:

— Вот — подвода едет...

На крыльце волости появился Рыбин, руки у него снова были связаны, голова и лицо окутаны чем-то серым.

— Прощайте, добрые люди! — звучал его голос в холоде вечерних сумерек.— Ищите правды, берегите ее, верьте человеку, который принесет вам чистое слово, не жалейте себя ради правды!..

— Молчать, собака! — крикнул откуда-то голос станового.— Сотский, гони лошадей, дурак!

— Чего вам жалеть? Какая ваша жизнь?..

Подвода тронулась. Сидя на ней с двумя сотскими по бокам, Рыбин глухо кричал:

— Чего ради погибаете в голоде? Старайтесь о воле, она даст и хлеба и правды,— прощайте, люди добрые!..

Торопливый шум колес, топот лошадей, голос станового обняли его речь, запутали и задушили ее.

— Кончено! — сказал мужик, тряхнув головой, и, обратясь к матери, негромко продолжал: — Вы там посидите на станции, — я погодя приду...

Мать вошла в комнату, села за стол перед самоваром, взяла в руку кусок хлеба, взглянула на него и медленно положила обратно на тарелку. Есть не хотелось, под ложечкой снова росло ощущение тошноты. Противно теплое, оно обессиливало, высасывая кровь из сердца, и кружило голову. Перед нею стояло лицо голубоглазого мужика — странное, точно недоконченное, оно не возбуждало доверия. Ей почему-то не хотелось подумать прямо, что он выдаст ее, но эта мысль уже возникла у нее и тягостно лежала на сердце, тупая и неподвижная.

«Заметил он меня! — лениво и бессильно соображала она.— Заметил, догадался...»

А дальше мысль не развивалась, утопая в томительном унынии, вязком чувстве тошноты.

Робкая, притаившаяся за окном тишина, сменив шум, обнажала в селе что-то подавленное, запуганное, обостряла в груди ощущение одиночества, наполняя душу сумраком, серым и мягким, как зола.

Вошла девочка и, остановясь у двери, спросила:

— Яичницу принести?

— Не надо. Не хочется уж мне, напугали меня криком-то!

Девочка подошла к столу, возбужденно, но негромко рассказывая:

— Как становой-то бил! Я близко стояла, видела, все зубы ему выкрошил,— плюет он, а кровь густая-густая, темная!.. Глазов-то совсем нету! Дегтярник он. Урядник там у нас лежит, пьянехонек, и все еще вина требует. Говорит — их шайка целая была, а этот, бородатый-то, старший, атаман, значит. Троих поймали, а один убежал, слышь. Еще учителя поймали, тоже с ними. В бога они не верят и других уговаривают, чтобы церкви ограбить, вот они какие! А наши мужики — которые жалели его, этого-то, а другие говорят — прикончить бы! У нас есть такие злые мужики — ай-ай!

Мать внимательно вслушивалась в бессвязную, быструю речь, стараясь подавить свою тревогу, рассеять унылое ожида-

ние. А девочка, должно быть, была рада тому, что ее слушали, и, захлебываясь словами, все с большим оживлением болтала, понижая голос:

— Тятька говорит — это от неурожая все! Второй год не родит у нас земля, замаялись! Теперь от этого такие мужики заводятся — беда! Кричат на сходках, дерутся. Намедни, когда Васюкова за недоимки продавали, он ка-ак треснет старосту по роже. Вот тебе моя недоимка, говорит...

За дверью раздались тяжелые шаги. Упираясь руками в стол, мать поднялась на ноги...

Вошел голубоглазый мужик и, не снимая шапку, спросил:

— Где багаж-то?

Он легко поднял чемодан, тряхнул им и сказал:

— Пустой! Марька, проводи приезжую ко мне в избу.

И ушел, не оглядываясь.

— Здесь ночуете? — спросила девочка.

— Да! За кружевами я, кружева покупаю...

— У нас не плетут! Это в Тинькове плетут, в Дарьиной, а у нас — нет! — объяснила девочка.

— Я туда завтра...

Заплатив девочке за чай, она дала ей три копейки и очень обрадовала ее этим. На улице, быстро шлепая босыми ногами по влажной земле, девочка говорила:

— Хотите, я в Дарьину сбегаю, скажу бабам, чтобы сюда несли кружева? Они придут, а вам не надо ехать туда. Двенадцать верст все-таки...

— Не нужно этого, милая! — ответила мать, шагая рядом с ней. Холодный воздух освежил ее, и в ней медленно зарождалось неясное решение. Смутное, но что-то обещавшее, оно развивалось туго, и женщина, желая ускорить рост его, настойчиво спрашивала себя:

«Как быть? Если прямо, на совесть...»

Было темно, сыро и холодно. Тускло светились окна изб красноватым, неподвижным светом. В тишине дремотно мычал скот, раздавались короткие окрики. Темная, подавленная задумчивость окутала село...

— Сюда! — сказала девочка. — Плохую ночевку выбрали вы, — беден больно мужик...

Она нащупала дверь, отворила ее, бойко крикнула в избу:

— Тетка Татьяна!

И убежала. Из темноты долетел ее голос:

— Прощайте!..

XVII

Мать остановилась у порога и, прикрыв глаза ладонью, осмотрелась. Изба была тесная, маленькая, но чистая,— это сразу бросалось в глаза. Из-за печки выглянула молодая женщина, молча поклонилась и исчезла. В переднем углу на столе горела лампа.

Хозяин избы сидел за столом, постукивая пальцем по его краю, и пристально смотрел в глаза матери.

— Проходите! — не вдруг сказал он.— Татьяна, ступай-ка, позови Петра, живее!

Женщина быстро ушла, не взглянув на гостью. Сидя на лавке против хозяина, мать осматривалась, — ее чемодана не было видно. Томительная тишина наполняла избу, только огонь в лампе чуть слышно потрескивал. Лицо мужика, озабоченное, нахмуренное, неопределенно качалось в глазах матери, вызывая в ней унылую досаду.

— А где мой чемодан? — вдруг и неожиданно для самой себя громко спросила она.

Мужик повел плечами и задумчиво ответил:

— Не пропадет...

Понизив голос, хмуро продолжал:

— Я давеча при девчонке нарочно сказал, что пустой он,— нет, он не пустой! Тяжело в нем положено!

— Ну? — спросила мать. — Так что?

Он встал, подошел к ней, наклонился и тихо спросил:

— Человека этого знаете?

Мать вздрогнула, но твердо ответила:

— Знаю!

Это краткое слово как будто осветило ее изнутри и сделало ясным все извне. Она облегченно вздохнула, подвинулась на лавке, села тверже...

Мужик широко усмехнулся.

— Я доглядел, когда знак вы ему делали и он тоже. Я спросил его на ухо — знакомая, мол, на крыльце-то стоит?

— А он что? — быстро спросила мать.

— Он? Сказал — много нас. Да! Много, говорит...

Вопросительно взглянув в глаза гостьи и снова улыбаясь, продолжал:

— Большой силы человек!.. Смелый... прямо говорит — я! Бьют его, а он свое ломит...

Его голос, неуверенный и несильный, неконченное лицо и светлые, открытые глаза все более успокаивали мать. Место

тревоги и уныния в груди ее постепенно занималось едкой, колющей жалостью к Рыбину. Не удерживаясь, со злобой, внезапной и горькой, она воскликнула подавленно:

— Разбойники, изуверы!

И всхлипнула.

Мужик отошел от нее, угрюмо кивая головой.

— Нажило себе начальство дружков, — да-а!

И, вдруг снова повернувшись к матери, он тихо сказал ей:

— Я вот что, я так догадываюсь, что в чемодане — газета, — верно?

— Да! — просто ответила мать, отирая слезы.— Ему везла.

Он, нахмурив брови, забрал бороду в кулак и, глядя в сторону, помолчал.

— Доходила она до нас, книжки тоже доходили. Человека этого мы знаем... видали!

Мужик остановился, подумал, потом спросил:

— Теперь, значит, что вы будете делать с этим — с чемоданом?

Мать посмотрела на него и сказала с вызовом:

— Вам оставлю!..

Он не удивился, не протестовал, только кратко повторил:

— Нам...

Утвердительно кивнув головой, выпустил бороду из кулака, расчесал ее пальцами и сел.

С неумолимой упорной настойчивостью память выдвигала перед глазами матери сцену истязания Рыбина, образ его гасил в ее голове все мысли, боль и обида за человека заслоняли все чувства, она уже не могла думать о чемодане и ни о чем более. Из глаз ее безудержно текли слезы, а лицо было угрюмо и голос не вздрагивал, когда она говорила хозяину избы:

— Грабят, давят, топчут в грязь человека, окаянные!

— Сила! — тихо отозвался мужик. — Силища у них большая!

— А где берут? — воскликнула мать с досадой. — От нас же берут, от народа, все от нас взято!

Ее раздражал этот мужик своим светлым, но непонятным лицом.

— Да-а! — задумчиво протянул он. — Колесо...

Чутко насторожился, наклонил голову к двери и, послушав, тихонько сказал:

— Идут...

— Кто?

— Свои... надо быть...

Вошла его жена, за нею в избу шагнул мужик. Бросил в угол шапку, быстро подошел к хозяину и спросил его:

— Ну, как?

Тот утвердительно кивнул головой.

— Степан! — сказала женщина, стоя у печи.— Может, они, проезжая, поесть хотят?

— Не хочу, спасибо, милая! — ответила мать.

Мужик подошел к матери и быстрым, надорванным голосом заговорил:

— Значит, позвольте познакомиться! Зовут меня Петр Егоров Рябинин, по прозвищу Шило. В делах ваших я несколько понимаю. Грамотен и не дурак, так сказать...

Он схватил протяную ему руку матери и, потрясая ее, обратился к хозяину:

— Вот, Степан, гляди! Варвара Николаевна барыня добрая, верно! А говорит насчет всего этого — пустяки, бредни! Мальчишки будто и разные там студенты по глупости народ мутят. Однако мы с тобой видим — давеча солидного, как следует быть, мужика заарестовали, теперь вот — они, женщина пожилая и, как видать, не господских кровей. Не обижайтесь — вы каких родов будете?

Говорил он торопливо, внятно, не переводя дыхания, бородка у него нервно дрожала и глаза, щурясь, быстро ощупывали лицо и фигуру женщины. Оборванный, всклокоченный, со спутанными волосами на голове, он, казалось, только что подрался с кем-то, одолел противника и весь охвачен радостным возбуждением победы. Он понравился матери своей бойкостью и тем, что сразу заговорил прямо и просто. Ласково глядя в лицо ему, она ответила на вопрос,— он же еще раз сильно тряхнул ее руку и тихонько, суховато засмеялся ломающимся смехом.

— Дело чистое, Степан, видишь? Дело отличное! Я тебе говорил — это народ собственноручно начинает. А барыня — она правды не скажет, ей это вредно. Я ее уважаю, что же говорить! Человек хороший и добра нам хочет, ну — немножко — и чтобы без убытка для себя! Народ же — он желает прямо идти и ни убытка, ни вреда не боится — видал? Ему вся жизнь вредна, везде — убыток, ему некуда повернуться, кругом — ничего, кроме — стой! — кричат со всех сторон.

— Я вижу! — сказал Степан, кивая головой, и тотчас же добавил: — Насчет багажа она беспокоится.

Петр хитро подмигнул матери и снова заговорил, успокоительно помахивая рукой:

— Не беспокойтесь! Все будет в порядке, мамаша! Чемоданчик ваш у меня. Давеча, как он сказал мне про вас, что, дескать, вы тоже с участием в этом и человека того знаете, — я ему говорю — гляди, Степан! Нельзя рот разевать в таком строгом случае! Ну, и вы, мамаша, видно, тоже почуяли нас, когда мы около стояли. У честных людей рожи заметные, потому — немного их по улицам ходит, — прямо сказать! Чемоданчик ваш у меня...

Он сел рядом с нею и, просительно заглядывая в глаза ее, продолжал:

— Ежели вы желаете выпотрошить его — мы вам в этом поможем с удовольствием! Книжки нам требуются...

— Она всё хочет нам отдать! — заметил Степан.

— И отлично, мамаша! Место всему найдем!..

Он вскочил на ноги, засмеялся и, быстро шагая по избе взад и вперед, говорил, довольный:

— Случай, так сказать, удивительный! Хоша вполне простой. В одном месте порвалось, в другом захлестнулось! Ничего! А газета, мамаша, хорошая, и дело свое она делает — протирает глаза! Господам — неприятна. Я тут верстах в семи у барыни одной работаю, по столярному делу — хорошая женщина, надо сказать, книжки дает разные, — иной раз прочитаешь — так и осенит! Вообще — мы ей благодарны. Но показал я ей газеты номерок — она даже обиделась несколько. «Бросьте, говорит, это, Петр! Это, говорит, мальчишки без разума делают. И от этого только горе ваше вырастет, тюрьма и Сибирь, говорит, за этим...»

Он снова неожиданно замолчал, подумал и спросил:

— А скажите, мамаша,— этот человек — родственник ваш?

— Чужой! — ответила мать.

Петр беззвучно засмеялся, чем-то очень довольный, и закивал головой, но в следующую секунду матери показалось, что слово «чужой» не на месте по отношению к Рыбину и обижает ее.

— Не родня я ему, — сказала она, — но знаю его давно и уважаю, как родного брата... старшего!

Нужное слово не находилось, это было неприятно ей, и снова она не могла сдержать тихого рыдания. Угрюмая, ожидающая тишина наполнила избу. Петр, наклонив голову на плечо, стоял, точно прислушиваясь к чему-то. Степан, облокотясь на стол, все время задумчиво постукивал пальцем по доске. Жена его прислонилась у печи в сумраке, мать чувствовала ее неотрывный взгляд и порою сама смотрела в лицо ей — оваль-

ное, смуглое, с прямым носом и круто обрезанным подбородком. Внимательно и зорко светились зеленоватые глаза.

— Друг, значит! — тихо молвил Петр. — С характером, н-да!.. Оценил себя высоко, — как следует! Вот, Татьяна, человек, а? Ты говоришь...

— Он женатый? — спросила Татьяна, перебивая его речь, и тонкие губы ее небольшого рта плотно сжались.

— Вдовый! — ответила мать грустно.

— Оттого и смел! — сказала Татьяна низким, грудным голосом.— Женатый такой дорогой не пойдет — заботится...

— А я? Женат и всё,— воскликнул Петр.

— Полно, кум! — не глядя на него и скривив губы, говорила женщина.— Ну, что ты такое? Только говоришь да, редко, книжку прочитаешь. Немного людям пользы от того, что ты со Степаном по углам шушукаешь.

— Меня, брат, многие слышат! — возразил мужик обиженно и тихо.— Я — вроде дрожжей тут, ты это напрасно...

Степан молча взглянул на жену и снова опустил голову.

— И зачем мужики женятся? — спросила Татьяна.— Работница нужна, говорят,— чего работать?

— Мало тебе еще! — глухо вставил Степан.

— Какой толк в этой работе? Впроголодь живешь изо дня в день все равно. Дети родятся — поглядеть за ними время нет,— из-за работы, которая хлеба не дает.

Она подошла к матери, села рядом с нею, говоря настойчиво, без жалобы и грусти...

— У меня — двое было. Один, двухлетний, сварился кипятком, другого — не доносила, мертвый родился, —из-за работы этой треклятой! Радость мне? Я говорю — напрасно мужики женятся, только вяжут себе руки, жили бы свободно, добивались бы нужного порядка, вышли бы за правду прямо, как тот человек! Верно говорю, матушка?..

— Верно! — сказала мать.— Верно, милая,— иначе не одолеешь жизни...

— У вас муженек-то есть?

— Помер. Сын у меня...

— А он где, с вами живет?

— В тюрьме сидит! — ответила мать.

И почувствовала, что эти слова, вместе с привычной грустью, всегда вызываемой ими, налили грудь ее спокойной гордостью.

— Второй раз сажают — все за то, что он понял божью правду и открыто сеял ее... Молодой он, красавец, умный! Га-

зету — он придумал, и Михайла Ивановича он на путь поставил,— хоть и вдвое старше его Михайло-то! Теперь вот — судить будут за это сына моего и — засудят, а он уйдет из Сибири и снова будет делать свое дело...

Она говорила, а гордое чувство все росло в груди у нее и, создавая образ героя, требовало слов себе, стискивало горло. Ей необходимо было уравновесить чем-либо ярким и разумным то мрачное, что она видела в этот день и что давило ей голову бессмысленным ужасом, бесстыдной жестокостью. Бессознательно подчиняясь этому требованию здоровой души, она собирала все, что видела светлого и чистого, в один огонь, ослеплявший ее своим чистым горением...

— Уже их много родилось таких людей, все больше рождается, и все они, до конца своего, будут стоять за свободу для людей, за правду...

Она забыла осторожность, и хотя не называла имен, но рассказывала все, что ей было известно о тайной работе для освобождения народа из цепей жадности. Рисуя образы, дорогие ее сердцу, она влагала в свои слова всю силу, все обилие любви, так поздно разбуженной в ее груди тревожными толчками жизни, и сама с горячей радостью любовалась людьми, которые вставали в памяти, освещенные и украшенные ее чувством.

— Работа идет общая по всей земле, во всех городах, силе хороших людей — нет ни меры, ни счета, все растет она и будет расти до победного нашего часа...

Голос ее лился ровно, слова она находила легко и быстро низала их, как разноцветный бисер, на крепкую нить своего желания очистить сердце от крови и грязи этого дня. Она видела, что мужики точно вросли там, где застала их речь ее, не шевелятся, смотрят в лицо ей серьезно, слышала прерывистое дыхание женщины, сидевшей рядом с ней, и все это увеличивало силу ее веры в то, что она говорила и обещала людям...

— Все, кому трудно живется, кого давит нужда и беззаконие, одолели богатые и прислужники их,— все, весь народ должен идти встречу людям, которые за него в тюрьмах погибают, на смертные муки идут. Без корысти объяснят они, где лежит путь к счастью для всех людей, без обмана скажут — трудный путь — и насильно никого не поведут за собой, но как встанешь рядом с ними — не уйдешь от них никогда, видишь — правильно все, эта дорога, а — не другая!

Ей приятно было осуществлять давнее желание свое — вот, она сама говорила людям о правде!

— С такими людьми можно идти народу, они на малом не помирятся, не остановятся, пока не одолеют все обманы, всю злобу и жадность, они не сложат рук, покуда весь народ не сольется в одну душу, пока он в один голос не скажет — я владыка, я сам построю законы для всех равные!..

Усталая, она замолчала, оглянулась. В грудь ей спокойно легла уверенность, что ее слова не пропадут бесполезно. Мужики смотрели на нее, ожидая еще чего-то. Петр сложил руки на груди, прищурил глаза, и на пестром лице его дрожала улыбка. Степан, облокотясь одной рукой на стол, весь подался вперед, вытянул шею и как бы все еще слушал. Тень лежала на лице его, и от этого оно казалось более законченным. Его жена, сидя рядом с матерью, согнулась, положив локти на колена, и смотрела под ноги себе.

— Вот как! — шепотом сказал Петр и осторожно сел на лавку, покачивая головой.

Степан медленно выпрямился, посмотрел на жену и развел в воздухе руками, как бы желая обнять что-то...

— Ежели за это дело браться,— задумчиво и негромко начал он,— то уже действительно надо всей душой...

Петр робко вставил:

— Н-да, назад не оглядывайся!..

— Затеяно это широко! — продолжал Степан.

— На всю землю! — снова добавил Петр.

XVIII

Мать оперлась спиной о стену и, закинув голову, слушала их негромкие, взвешивающие слова. Встала Татьяна, оглянулась и снова села. Ее зеленые глаза блестели сухо, когда она недовольно и с пренебрежением на лице посмотрела на мужиков.

— Много, видно, горя испытали вы? — вдруг сказала она, обращаясь к матери.

— Было! — отозвалась мать.

— Хорошо говорите,— тянет сердце за вашей речью. Думаешь — господи! хоть бы в щелку посмотреть на таких людей и на жизнь. Что живешь? Овца! Я вот грамотная, читаю книжки, думаю много, иной раз и ночь не спишь, от мыслей. А что толку? Не буду думать — зря исхизну, и буду — тоже зря.

Она говорила с усмешкой в глазах и порой точно вдруг перекусывала свою речь, как нитку. Мужики молчали. Ветер гла-

дил стекла окон, шуршал соломой по крыше, тихонько гудел в трубе. Выла собака. И неохотно, изредка в окно стучали капли дождя. Огонь в лампе дрогнул, потускнел, но через секунду снова разгорелся ровно и ярко.

— Послушала ваши речи — вот для чего люди живут! И так чудно,— слушаю я вас и вижу — да ведь я это знаю! А до вас ничего я этакого не слыхала, и мыслей у меня таких не было...

— Поесть бы надо, Татьяна, да погасить огонь! — сказал Степан хмуро и медленно.— Заметят люди — у Чумаковых огонь долго горел. Нам это неважно, а для гостьи, может, нехорошо окажется...

Татьяна встала и пошла к печке.

— Да-а! — тихонько и с улыбкой заговорил Петр.— Теперь, кум, держи ухо востро! Как появится в народе газета...

— Я не про себя говорю. Меня и заарестуют — не велика беда!

Жена его подошла к столу и сказала:

— Уйди...

Он встал, отошел в сторону и, глядя, как она накрывает на стол, с усмешкой заявил:

— Цена нашему брату — пятачок пучок, да и то — когда в пучке сотня...

Матери вдруг стало жалко его — он все больше нравился ей теперь. После речи она чувствовала себя отдохнувшей от грязной тяжести дня, была довольна собой и хотела всем доброго, хорошего.

— Неправильно вы судите, хозяин! — сказала она.— Не нужно человеку соглашаться с тем, как его ценят те люди, которым, кроме крови его, ничего не надо. Вы должны сами себя оценить, изнутри, не для врагов, а для друзей...

— Какие у нас друзья? — тихо воскликнул мужик.— До первого куска...

— А я говорю — есть друзья у народа...

— Есть, да — не здесь,— вот оно что! — задумчиво отозвался Степан.

— А вы их здесь заведите.

Степан подумал и тихо сказал:

— Н-да, надо бы...

— Садитесь за стол! — пригласила Татьяна.

За ужином Петр, подавленный речами матери и как будто растерявшийся, снова оживленно и быстро говорил:

— Вам, мамаша, для незаметности, так сказать, нужно выехать отсюда пораньше. И поезжайте вы на следующую станцию, а не в город,— на почтовых поезжайте...

— Зачем? Я свезу,— сказал Степан.

— Не надо! В случае чего — спросят тебя,— ночевала? Ночевала. Куда девалась? Я отвез! Ага-а, ты отвез? Иди-ка в острог! Понял? А в острог торопиться зачем же? Всему свой черед,— время придет — и царь помрет, говорится. А тут просто — ночевала, наняла лошадей, уехала! Мало ли кто ночует у кого? Село проезжее...

— Где это ты, Петр, бояться учился? — насмешливо спросила Татьяна.

— Все надо знать, кума! — ударив себя по колену, воскликнул Петр.— Умей бояться, умей и смелым быть! Ты помнишь, как из-за этой газеты земский Ваганова трепал? Теперь Ваганова-то за большие деньги не уговоришь книгу в руки взять, да! Вы, мамаша, мне верьте, я на всякие штуки шельма острая, это очень всем известно. Книжки и бумажки я вам посею в лучшем виде, сколько угодно! Народ у нас, конечно, не очень грамотен и пуглив, ну, однако, время так поджимает бока, что человек поневоле глаза таращит — в чем дело? А книжка ему совершенно просто отвечает: а вот в чем — думай, соображай! Есть примеры, что неграмотный больше грамотного понимает, особенно ежели грамотный-то сытый! Я тут везде хожу, много вижу — ничего! Жить можно, но требуется мозг и большая ловкость, чтобы сразу в лужу не сесть. Начальство — оно тоже носом чувствует, что как будто холодком подуло от мужика — улыбается он мало и совсем неласково,— вообще отвыкать от начальства хочет! Намедни в Смоляково — тут недалеко деревенька такая — приехали подати выбивать, а мужики — на дыбы, да за колья! Становой прямо говорит: «Ах вы, сукины дети! Да ведь это — против царя?!» Был там мужик один, Спивакин, он и скажи: «А ну вас к нехорошей матери с царем-то! Какой там царь, когда последнюю рубаху с плеч тащит?..» Вот оно куда пошло, мамаша! Конечно, Спивакина зацапали и в острог, а слово — осталось, и даже мальчишки малые знают его,— оно кричит, живет!

Он не ел, а все говорил быстрым шепотком, бойко поблескивая темными, плутоватыми глазами и щедро высыпая перед матерью, точно медную монету из кошеля, бесчисленные наблюдения над жизнью деревни.

Раза два Степан говорил ему:

— Ты бы поел...

Петр хватал кусок хлеба, ложку и снова заливался рассказами, точно щегленок песней. Наконец после ужина он, вскочив на ноги, заявил:

— Ну, мне пора домой!..

Встал перед матерью и, кивая головой, тряс ее руку, говоря:

— Прощайте, мамаша! Может, никогда и не увидимся! Должен вам сказать, что все это очень хорошо! Встретить вас и речи ваши — очень хорошо! В чемоданчике у вас, кроме печатного, еще что-нибудь есть? Платок шерстяной? Чудесно — шерстяной платок, Степан, помни! Сейчас он принесет вам чемоданчик! Идем, Степан! Прощайте! Всего хорошего!..

Когда они ушли, стало слышно, как шуршат тараканы, ветер возится по крыше и стучит заслонкой трубы, мелкий дождь монотонно бьется в окно. Татьяна приготовляла постель для матери, стаскивая с печи и с полатей одежду и укладывая ее на лавке.

— Живой человек! — заметила мать.

Хозяйка, взглянув на нее исподлобья, ответила:

— Звенит, звенит, а — недалеко слышно.

— А как муж ваш? — спросила мать.

— Ничего. Хороший мужик, не пьет, живем дружно, ничего! Только характера слабого...

Она выпрямилась и, помолчав, спросила:

— Ведь теперь что надо,— бунтовать надо народу? Конечно! Об этом все думают, только каждый в особицу, про себя. А нужно, чтобы вслух заговорили... и сначала должен кто-нибудь один решиться...

Она села на лавку и вдруг спросила:

— Говорите — и молодые барышни занимаются этим, ходят по рабочим, читают,— не брезгуют, не боятся?

И, внимательно выслушав ответ матери, глубоко вздохнула. Потом, опустя веки и наклонив голову, снова заговорила:

— В одной книжке прочитала я слова — безмысленная жизнь. Это я очень поняла, сразу! Знаю я такую жизнь — мысли есть, а не связаны и бродят, как овцы без пастуха,— нечем, некому их собрать... Это и есть — безмысленная жизнь. Бежала бы я от нее, да и не оглянулась,— такая тоска, когда что-нибудь понимаешь!

Мать видела эту тоску в сухом блеске зеленых глаз женщины, на ее худом лице, слышала в голосе. Ей захотелось утешить ее, приласкать.

— Вы-то, милая, понимаете, что делать...

Татьяна тихо перебила ее:

— Уметь надо. Готово вам, ложитесь!

Отошла к печке и молча встала там, прямая, сурово сосредоточенная. Мать, не раздеваясь, легла, почувствовала ноющую усталость в костях и тихо застонала. Татьяна погасила лампу, и, когда избу тесно наполнила тьма, раздался ее низкий, ровный голос. Он звучал так, точно стирал что-то с плоского лица душной тьмы:

— Не молитесь вы. Я тоже думаю, что нет бога. И чудес нет.

Мать беспокойно повернулась на лавке,— прямо на нее в окно смотрела бездонная тьма, и в тишину настойчиво вползал едва слышный шорох, шелест. Она заговорила почти шепотом и боязливо:

— Насчет бога — не знаю я, а во Христа верю... И словам его верю — возлюби ближнего, яко себя,— в это верю!..

Татьяна молчала. В темноте мать видела слабый контур ее прямой фигуры, серой на черном фоне печи. Она стояла неподвижно. Мать в тоске закрыла глаза.

Вдруг раздался холодный голос:

— Смерти деток моих не могу я простить ни богу, ни людям,— никогда!..

Ниловна беспокойно привстала, сердцем поняв силу боли, вызвавшей эти слова.

— Вы молодая, еще будут детки,— ласково сказала она.

Шепотом и не сразу женщина ответила:

— Нет! Испорчена я, доктор говорит,— никогда не рожу больше...

Мышь пробежала по полу. Что-то сухо и громко треснуло, разорвав неподвижность тишины невидимой молнией звука. И снова стали ясно слышны шорохи и шелесты осеннего дождя на соломе крыши, они шарили по ней, как чьи-то испуганные тонкие пальцы. И уныло падали на землю капли воды, отмечая медленный ход осенней ночи...

Сквозь тяжелую дрему мать услыхала глухие шаги на улице, в сенях. Осторожно отворилась дверь, раздался тихий окрик:

— Татьяна, легла, что ли?

— Нет.

— А она спит?

— Видно, спит.

Вспыхнул огонь, задрожал и утонул во тьме. Мужик подошел к постели матери, поправил тулуп, окутав ее ноги. Эта

«Мать»
Кукрыниксы

ласка мягко тронула мать своей простотой, и, снова закрыв глаза, она улыбнулась. Степан молча разделся, влез на полати. Стало тихо.

Чутко вслушиваясь в ленивые колебания дремотной тишины, мать неподвижно лежала, а перед нею во тьме качалось облитое кровью лицо Рыбина...

На полатях раздался сухой шепот.

— Видишь, какие люди берутся за это? Пожилые уж, испили горя досыта, работали, отдыхать бы им пора, а они — вот! Ты же молодой, разумный,— эх, Степа...

Влажный и густой голос мужика ответил:

— За такое дело, не подумав, нельзя взяться...

— Слышала я это...

Звуки оборвались и возникли снова — загудел голос Степана:

— Надо так — сначала поговорить с мужиками отдельно,— вот Маков, Алеша — бойкий, грамотный и начальством обижен. Шорин, Сергей — тоже разумный мужик. Князев — человек честный, смелый. Пока что будет! Надо поглядеть на людей, про которых она говорила. Я вот возьму топор да махну в город, будто дрова колоть, на заработки, мол, пошел. Тут надо осторожно. Она верно говорит: цена человеку — дело его. Вот как мужик-то этот. Его хоть перед богом ставь, он не сдаст... врылся. А Никитка-то, а? Засовестился,— чудеса!

— При вас бьют человека, а вы — рты разинули...

— Ты — погоди! Ты скажи — слава богу, что мы сами его не били, человека-то,— вот что!

Он шептал долго, то понижая голос так, что мать едва слышала его слова, то сразу начинал гудеть сильно и густо. Тогда женщина останавливала его:

— Тише! Разбудишь...

Мать заснула тяжелым сном — он сразу душной тучей навалился на нее, обнял и увлек.

Татьяна разбудила ее, когда в окна избы еще слепо смотрели серые сумерки утра и над селом в холодной тишине сонно плавал и таял медный звук сторожевого колокола церкви.

— Я самовар поставила, попейте чаю, а то холодно будет, прямо со сна, ехать...

Степан, расчесывая спутанную бороду, деловито спрашивал мать, как ее найти в городе, а ей казалось, что сегодня лицо мужика стало лучше, законченнее. За чаем он, усмехаясь, заметил:

— Как это случилось чудно!

— Что? — спросила Татьяна.

— Да вот знакомство! Просто так...

Мать задумчиво, но уверенно сказала:

— В этом деле удивительная простота во всем.

Расстались с ней хозяева сдержанно, скупо тратя слова, щедро обнаруживая множество мелких забот об ее удобствах.

Сидя в бричке, мать думала, что этот мужик начнет работать осторожно, бесшумно, точно крот, и неустанно. И всегда будет звучать около него недовольный голос жены, будет сверкать жгучий блеск ее зеленых глаз и не умрет в ней, пока жива она, мстительная, волчья тоска матери о погибших детях.

Вспомнился Рыбин, его кровь, лицо, горячие глаза, слова его,— сердце сжалось в горьком чувстве бессилия перед зверями. И всю дорогу до города, на тусклом фоне серого дня, перед матерью стояла крепкая фигура чернобородого Михайлы, в разорванной рубахе, со связанными за спиной руками, всклокоченной головой, одетая гневом и верою в свою правду. Мать думала о бесчисленных деревнях, робко прижавшихся к земле, о людях, тайно ожидавших прихода правды, и о тысячах людей, которые безмысленно и молча работают всю жизнь, ничего не ожидая.

Жизнь представлялась невспаханным, холмистым полем, которое натужно и немо ждет работников и молча обещает свободным, честным рукам:

«Оплодотворите меня семенами разума и правды — я взращу вам сторицею!»

Вспоминая успех свой, она глубоко в груди чувствовала тихий трепет радости и стыдливо подавляла его.

XIX

Дома дверь ей отпер Николай, растрепанный, с книгой в руках.

— Уже? — воскликнул он радостно.— Скоро вы!

Глаза его ласково и живо мигали под очками, он помогал ей раздеваться и, с ласковой улыбкой заглядывая в лицо, говорил:

— А у меня ночью, видите ли, обыск был, я подумал — какая причина? Не случилось ли чего с вами? Но — не арестовали. Ведь если бы вас арестовали, так и меня не оставили бы!..

Он ввел ее в столовую, оживленно продолжая:

— Однако — теперь прогонят со службы. Это — не огорчает. Мне надоело считать безлошадных крестьян!

Комната имела такой вид, точно кто-то сильный, в глупом припадке озорства, толкал с улицы в стены дома, пока не растряс все внутри его. Портреты валялись на полу, обои были отодраны и торчали клочьями, в одном месте приподнята доска пола, выворочен подоконник, на полу у печи рассыпана зола. Мать покачала головой при виде знакомой картины и пристально посмотрела на Николая, чувствуя в нем что-то новое.

На столе стоял погасший самовар, немытая посуда, колбаса и сыр на бумаге вместо тарелки, валялись куски и крошки хлеба, книги, самоварные угли. Мать усмехнулась, Николай тоже сконфуженно улыбнулся.

— Это уж я дополнил картину погрома, но ничего, Ниловна, ничего! Я думаю, они опять придут, оттого и не убирал все это. Ну, как вы съездили?

Вопрос тяжело толкнул ее в грудь — перед нею встал Рыбин, и она почувствовала себя виноватой, что сразу не заговорила о нем. Наклонясь на стуле, она подвинулась к Николаю и, стараясь сохранить спокойствие, боясь позабыть что-нибудь, начала рассказывать.

— Схватили его...

Лицо Николая дрогнуло.

— Да?

Мать остановила его вопрос движением руки и продолжала так, точно она сидела пред лицом самой справедливости, принося ей жалобу на истязание человека. Николай откинулся на спинку стула, побледнел и, закусив губу, слушал. Он медленно снял очки, положил их на стол, провел по лицу рукой, точно стирая с него невидимую паутину. Лицо его сделалось острым, странно высунулись скулы, вздрагивали ноздри,— мать впервые видела его таким, и он немного пугал ее.

Когда она кончила, он встал, с минуту молча ходил по комнате, сунув кулаки глубоко в карманы. Потом сквозь зубы пробормотал:

— Крупный человек, должно быть. Ему будет трудно в тюрьме, такие, как он, плохо чувствуют себя там!

Он все глубже прятал руки, сдерживая свое волнение, но все-таки оно чувствовалось матерью и передавалось ей. Глаза у него стали узкими, точно концы ножей. Снова шагая по комнате, он говорил холодно и гневно:

— Вы посмотрите, какой ужас! Кучка глупых людей, защищая свою пагубную власть над народом, бьет, душит, давит всех. Растет одичание, жестокость становится законом жизни — подумайте! Одни бьют и звереют от безнаказанности, заболевают сладострастной жаждой истязаний — отвратительной болезнью рабов, которым дана свобода проявлять всю силу рабьих чувств и скотских привычек. Другие отравляются местью, третьи, забитые до отупения, становятся немы и слепы. Народ развращают, весь народ!

Он остановился и замолчал, стиснув зубы.

— Невольно сам звереешь в этой звериной жизни! — тихо сказал он.

Но, овладев своим возбуждением, почти спокойно, с твердым блеском в глазах, взглянул в лицо матери, залитое безмолвными слезами.

— Нам, однако, нельзя терять времени, Ниловна! Давайте, дорогой товарищ, попробуем взять себя в руки...

Грустно улыбаясь, он подошел к ней и, наклонясь, спросил, пожимая ее руку:

— Где ваш чемодан?

— В кухне! — ответила она.

— У наших ворот стоят шпионы — такую массу бумаги мы не сумеем вынести из дому незаметно — а спрятать негде, а я думаю, они снова придут сегодня ночью. Значит, как ни жаль труда — мы сожжем все это.

— Что? — спросила мать.

— Все, что в чемодане.

Она поняла его, и — как ни грустно было ей — чувство гордости своею удачей вызвало на лице у нее улыбку.

— Ничего там нет, ни листика! — сказала она и, постепенно оживляясь, начала рассказывать о своей встрече с Чумаковым. Николай слушал ее, сначала беспокойно хмуря брови, потом с удивлением и наконец вскричал, перебивая рассказ:

— Слушайте,— да это отлично! Вы удивительно счастливый человек...

Стиснув ее руку, он тихо воскликнул:

— Вы так трогаете вашей верой в людей... я, право, люблю вас, как мать родную!..

Она с любопытством, улыбаясь, следила за ним, хотела понять — отчего он стал такой яркий и живой?

— Вообще — чудесно! — потирая руки, говорил он и смеялся тихим, ласковым смехом.— Я, знаете, последние дни страшно хорошо жил — все время с рабочими, читал, говорил,

смотрел. И в душе накопилось такое — удивительно здоровое, чистое. Какие хорошие люди, Ниловна! Я говорю о молодых рабочих — крепкие, чуткие, полные жажды всё понять. Смотришь на них и видишь — Россия будет самой яркой демократией земли!

Он утвердительно поднял руку, точно давал клятву, и, помолчав, продолжал:

— Я сидел тут, писал и — как-то окис, заплесневел на книжках и цифрах. Почти год такой жизни — это уродство. Я ведь привык быть среди рабочего народа, и, когда отрываюсь от него, мне делается неловко,— знаете, натягиваюсь я, напрягаюсь для этой жизни. А теперь снова могу жить свободно, буду с ними видеться, заниматься. Вы понимаете — буду у колыбели новорожденных мыслей, пред лицом юной, творческой энергии. Это удивительно просто, красиво и страшно возбуждает,— делаешься молодым и твердым, живешь богато!

Он засмеялся смущенно и весело, и его радость захватывала сердце матери, понятная ей.

— А потом — ужасно вы хороший человек! — воскликнул Николай.— Как вы ярко рисуете людей, как хорошо их видите!..

Николай сел рядом с ней, смущенно отвернув в сторону радостное лицо и приглаживая волосы, но скоро повернулся и, глядя на мать, жадно слушал ее плавный, простой и яркий рассказ.

— Удивительная удача! — воскликнул он.— У вас была полная возможность попасть в тюрьму, и — вдруг! Да, видимо, пошевеливается крестьянин,— это естественно, впрочем! Эта женщина — удивительно четко вижу я ее!.. Нам нужно пристроить к деревенским делам специальных людей. Людей! Их не хватает нам... Жизнь требует сотни рук...

— Вот бы Паше-то выйти на волю. И — Андрюше! — тихонько сказала она.

Он взглянул на нее и опустил голову.

— Видите ли, Ниловна, это вам тяжело будет слышать, но я все-таки скажу: я хорошо знаю Павла — из тюрьмы он не уйдет! Ему нужен суд, ему нужно встать во весь рост,— он от этого не откажется. И не надо! Он уйдет из Сибири.

Мать вздохнула и тихо ответила:

— Ну, что же? Он знает, как лучше...

— Гм! — говорил Николай в следующую минуту, глядя на нее через очки.— Кабы этот ваш мужичок поторопился прийти к нам! Видите ли, о Рыбине необходимо написать бумажку для деревни, ему это не повредит, раз он ведет себя так смело.

Я сегодня же напишу, Людмила живо ее напечатает... А вот как бумажка попадет туда?

— Я свезу...

— Нет, благодарю! — быстро воскликнул Николай.— Я думаю — не годится ли Весовщиков для этого, а?

— Поговорить с ним?

— Вот, попробуйте-ка! И поучите его.

— А что же я-то буду делать?

— Не беспокойтесь!

Он сел писать. Она прибирала на столе, поглядывая на него, и видела, как дрожит перо в его руке, покрывая бумагу рядами черных слов. Иногда кожа на шее у него вздрагивала, он откидывал голову, закрыв глаза, у него дрожал подбородок. Это волновало ее.

— Вот и готово! — сказал он, вставая.— Вы спрячьте эту бумажку где-нибудь на себе. Но — знайте, если придут жандармы, вас тоже обыщут.

— Пес с ними! — спокойно ответила она.

Вечером приехал доктор Иван Данилович..

— Почему это начальство вдруг так обеспокоилось? — говорил он, бегая по комнате.— Семь обысков было ночью. Где же больной, а?

— Он ушел еще вчера! — ответил Николай.— Сегодня, видишь ли, суббота, у него чтение, так он не может пропустить...

— Ну, это глупо, с расколотой головой на чтениях сидеть...

— Доказывал я ему, но безуспешно...

— Похвастаться охота перед товарищами,— заметила мать.— вот, мол, глядите — я уже кровь свою пролил...

Доктор взглянул на нее, сделал свирепое лицо и сказал, стиснув зубы:

— У-у, кровожадная...

— Ну, Иван, тебе здесь делать нечего, а мы ждем гостей — уходи! Ниловна, дайте-ка ему бумажку...

— Еще бумажка? — воскликнул доктор.

— Вот! Возьми и передай в типографию.

— Взял. Передам. Все?

— Все. У ворот — шпион.

— Видел. У моей двери тоже. Ну, до свиданья! До свиданья, свирепая женщина. А знаете, друзья, драка на кладбище — хорошая вещь в конце концов! О ней говорит весь город. Твоя бумажка по этому поводу — очень хороша и поспела во-

время. Я всегда говорил, что хорошая ссора лучше худого мира...

— Ладно, ты иди...

— Не весьма любезно! Ручку, Ниловна! А паренек поступил глупо все-таки. Ты знаешь, где он живет?

Николай дал адрес.

— Завтра надо съездить к нему,— славный ребятенок, а?

— Очень...

— Надо его поберечь,— у него мозги здоровые! — говорил доктор, уходя.— Именно из таких ребят должна вырасти истинно пролетарская интеллигенция, которая сменит нас, когда мы отыдем туда, где, вероятно, нет уже классовых противоречий...

— Ты стал много болтать, Иван...

— А — мне весело, это потому. Значит — ожидаешь тюрьмы? Желаю тебе отдохнуть там.

— Благодарю. Я не устал.

Мать слушала их разговор, и ей была приятна забота о рабочем.

Проводив доктора, Николай и мать стали пить чай и закусывать, ожидая ночных гостей и тихо разговаривая. Николай долго рассказывал ей о своих товарищах, живших в ссылке, о тех, которые уже бежали оттуда и продолжают свою работу под чужими именами. Голые стены комнаты отталкивали тихий звук его голоса, как бы изумляясь и не доверяя этим историям о скромных героях, бескорыстно отдавших свои силы великому делу обновления мира. Теплая тень ласково окружала женщину, грея сердце чувством любви к неведомым людям, и они складывались в ее воображении все — в одного огромного человека, полного неисчерпаемой мужественной силы. Он медленно, но неустанно идет по земле, очищая с нее влюбленными в свой труд руками вековую плесень лжи, обнажая перед глазами людей простую и ясную правду жизни. И великая правда, воскресая, всех одинаково приветно зовет к себе, всем равно обещает свободу от жадности, злобы и лжи — трех чудовищ, которые поработили и запугали своей циничной силой весь мир... Этот образ вызывал в душе ее чувство, подобное тому, с которым она, бывало, становилась перед иконой, заканчивая радостной и благодарной молитвой тот день, который казался ей легче других дней ее жизни. Теперь она забыла эти дни, а чувство, вызываемое ими, расширилось, стало более светлым и радостным, глубже вросло в душу и, живое, разгоралось все ярче.

— А жандармы не идут! — вдруг прерывая свой рассказ, воскликнул Николай.

Мать взглянула на него и, помолчав, с досадой отозвалась:

— Ну их ко псам!

— Разумеется! Но — вам пора спать, Ниловна, вы, должно быть, отчаянно устали,— удивительно крепкая вы, следует сказать! Сколько волнений, тревог — и так легко вы переживаете всё! Только вот волосы быстро седеют. Ну, идите, отдыхайте.

XX

Мать проснулась, разбуженная громким стуком в дверь кухни. Стучали непрерывно, с терпеливым упорством. Было еще темно, тихо, и в тишине упрямая дробь стука вызывала тревогу. Наскоро одевшись, мать быстро вышла в кухню и, стоя перед дверью, спросила:

— Кто там?

— Я! — ответил незнакомый голос.

— Кто?

— Отоприте! — просительно и тихо ответили из-за двери.

Мать подняла крючок, толкнула дверь ногой — вошел Игнат и радостно сказал:

— Ну,— не ошибся!

Он был по пояс забрызган грязью, лицо у него посерело, глаза ввалились, и только кудрявые волосы буйно торчали во все стороны, выбиваясь из-под шапки.

— У нас — беда! — заперев дверь, шепотом произнес он.

— Я знаю...

Это удивило парня. Мигнув глазами, он спросил:

— Откуда?

Она кратко и торопливо рассказала.

— А тех двух взяли? Товарищей-то?

— Их — не было. Они на явку пошли,— рекрута! Пятерых взяли, считая дядю Михайла...

Он потянул воздух носом и, ухмыляясь, сказал:

— А я — остался. Должно — ищут меня.

— Как же ты уцелел? — спросила мать. Дверь из комнаты тихо приотворилась.

— Я? — сидя на лавке и оглядываясь, воскликнул Игнат.— За минуту перед ними лесник прибег — стучит в окно,— держись, ребята, говорит, лезут на вас...

Он тихонько засмеялся, вытер лицо полой кафтана и продолжал:

— Ну — дядю Михайла и молотком не оглушишь. Сейчас он мне: «Игнат—в город, живо! Помнишь женщину пожилую?» А сам записку строчит. «На, иди!..» Я, ползком, кустами, слышу — лезут! Много их, со всех сторон шумят, дьяволы! Петлей вокруг завода. Лег в кустах,— прошли мимо! Тут я встал и давай шагать, и давай! Две ночи шел и весь день без отдыха.

Видно было, что он доволен собой, в его карих глазах светилась улыбка, крупные красные губы вздрагивали.

— Сейчас я тебя чаем напою! — торопливо говорила мать, схватив самовар.

— Вы записку-то получите...

Он с трудом поднял ногу, морщась и покрякивая поставил на лавку.

В дверях явился Николай.

— Здравствуйте, товарищ! — сказал он, щуря глаза.— Позвольте, я вам помогу.

И, наклонясь, стал быстро разматывать грязную онучу.

— Ну,— тихо воскликнул парень, дергая ногой, и, удивленно мигая глазами, поглядел на мать.

Не замечая его взгляда, она сказала:

— Надо ему водкой ноги-то растереть...

— Конечно! — молвил Николай.

Игнат смущенно фыркнул.

Николай нашел записку, расправил ее и, приблизив серую измятую бумажку к лицу, прочитал:

«Не оставляй дела, мать, без внимания, скажи высокой барыне, чтобы не забывала, чтобы больше писали про наши дела, прошу. Прощай. Рыбин».

Николай медленно опустил руку с запиской и негромко молвил:

— Это великолепно!..

Игнат смотрел на них, тихонько шевеля грязными пальцами разутой ноги; мать, скрывая лицо, смоченное слезами, подошла к нему с тазом воды, села на пол и протянула руки к его ноге — он быстро сунул ее под лавку, испуганно воскликнув:

— Чего?

— А ты давай скорее ногу...

— Сейчас я принесу спирт,— сказал Николай.

Парень засовывал ногу все дальше под лавку и бормотал:

— Что вы? В больнице, что ли...

Тогда она начала разувать другую.

Игнат громко сапнул носом и, неуклюже двигая шеей, смотрел на нее сверху вниз, смешно распустив губы.

— Ты знаешь,— заговорила она вздрагивающим голосом,— били Михаила Ивановича...

— Ну? — тихо и пугливо воскликнул парень.

— Да. И привели его избитого, и в Никольском урядник бил, становой — и по лицу и пинками... в кровь!

— Они это умеют! — отозвался парень, хмуря брови. Плечи у него вздрогнули.— То есть, боюсь я их — как чертей! А мужики — не били?

— Один ударил — становой приказал ему. А все — ничего, вступились даже — нельзя, говорят, бить...

— Н-да-а,— мужики-то начинают понимать, где кто стоит и зачем.

— Там тоже есть разумные...

— Где их нет? Нужда! Везде они есть — найти трудно.

Николай принес бутылку спирта, положил углей в самовар и молча ушел. Проводив его любопытными глазами, Игнат спросил мать тихонько:

— Барин-то — доктор?

— В этом деле нет господ, все — товарищи...

— Чудно мне! — сказал Игнат, недоверчиво и растерянно улыбаясь.

— Что — чудно?

— Да — так. На одном конце рожи бьют, на другом — ноги моют, а в середине — что?

Дверь из комнаты распахнулась, и Николай, стоя на пороге, сказал:

— А в середине люди, которые лижут руки тем, кто рожи бьет, и сосут кровь тех, чьи рожи бьют,— вот середина!

Игнат уважительно взглянул на него и, помолчав, проговорил:

— Это — похоже!

Парень встал, переступил с ноги на ногу, твердо упираясь ими в пол, и заметил:

— Как новые стали! Спасибо вам...

Потом сидели в столовой и пили чай, а Игнат рассказывал солидным голосом:

— Я разносчиком газеты был, ходить я очень здоров.

— Много народа читает? — спросил Николай.

— Все, которые грамотные, даже богачи читают,— они, конечно, не у нас берут... Они ведь понимают — крестьяне зем-

лю своей кровью вымоют из-под бар и богачей,— значит, сами и делить ее будут, а уж они так разделят, чтобы не было больше ни хозяев, ни работников,— как же! Из-за чего и в драку лезть, коли не из-за этого!

Он даже как бы обиделся и смотрел на Николая недоверчиво, вопросительно. Николай молча улыбался.

— А ежели сегодня подрались всем миром — одолели, значит,— а завтра опять — один богат, другой беден,— тогда — покорно благодарю! Мы хорошо понимаем — богатство, как сыпучий песок, оно смирно не лежит, а опять потечет во все стороны! Нет, уж это зачем же!

— А ты не сердись! — шутя сказала мать.

Николай задумчиво воскликнул:

— Как бы нам поскорее направить туда листок об аресте Рыбина!

Игнат насторожился.

— А есть листок? — спросил он.

— Да.

— Давайте — я снесу! — предложил парень, потирая руки.

Мать тихонько засмеялась, не глядя на него.

— Да ведь устал ты и боишься, сказал?

Игнат, приглаживая широкой ладонью кудрявые волосы на голове, деловито и спокойно сказал:

— Страх — страхом, а дело — делом! Вы чего насмехаетесь? Ишь вы, тоже!

— Эх ты,— дитя ты мое! — невольно воскликнула мать, поддаваясь чувству радости, вызванному им. Он ухмыльнулся, сконфуженный.

— Ну, вот — дитя!

Заговорил Николай, разглядывая парня добродушно прищуренными глазами:

— Вы не пойдете туда...

— А — что? Куда же я? — беспокойно спросил Игнат.

— Вместо вас пойдет другой, а вы ему подробно расскажете, что надо делать и как — хорошо?

— Ладно! — сказал Игнат, не вдруг и неохотно.

— А вам мы достанем хороший паспорт и устроим вас лесником.

Парень быстро вскинул голову и спросил, обеспокоенный:

— А ежели мужики за дровами приедут или там... вообще,— как же я? Вязать? Это — не подойдет мне...

Мать засмеялась, и Николай тоже, это снова смутило и огорчило парня.

— Не беспокойтесь! — утешил его Николай.— Не придется вам вязать мужиков,— уж поверьте!..

— Ну, то-то! — молвил Игнат и успокоился, весело улыбаясь.— Мне бы вот на фабрику, там, говорят, ребята довольно умные...

Мать поднялась из-за стола и, задумчиво глядя в окно, проговорила:

— Эх, жизнь! Пять раз в день насмеешься, пять наплачешься! Ну, кончил, Игнатий? Иди спать...

— Да я не хочу...

— Иди, иди...

— Строго у вас! Ну, иду... Спасибо за чай-сахар, за ласку...

Ложась на постель матери, он бормотал, почесывая голову:

— Теперь ото всего дегтем будет вонять у вас... эх! Напрасно все это... Спать мне не хочется... Как он насчет середины-то хватил... Черти...

И, вдруг громко всхрапнув, он заснул, высоко подняв брови и полуоткрыв рот.

XXI

Вечером он сидел в маленькой комнатке подвального этажа на стуле против Весовщикова и пониженным тоном, наморщив брови, говорил ему:

— В среднее окошко четыре раз...

— Четыре? — озабоченно повторил Николай.

— Сначала — три, вот так!

И ударил согнутым пальцем по столу, считая:

— Раз, два, три. Потом, обождав, еще раз.

— Понимаю.

— Отопрет рыжий мужик, спросит — за повитухой? Вы скажете — да, от заводчика! Больше ничего, уж он поймет!

Они сидели, наклонясь друг к другу головами, оба плотные, твердые, и, сдерживая голоса, разговаривали, а мать, сложив руки на груди, стояла у стола, разглядывая их. Все эти тайные стуки, условные вопросы и ответы заставляли ее внутренне улыбаться, она думала:

«Дети еще...»

На стене горела лампа, освещая на полу измятые ведра, обрезки кровельного железа. Запах ржавчины, масляной краски и сырости наполнял комнату.

Игнат был одет в толстое осеннее пальто из мохнатой материи, и оно ему нравилось, мать видела, как любовно гладил он ладонью рукав, как осматривал себя, тяжело ворочая крепкой шеей. И в груди ее мягко билось:

«Дети! Родные мои...»

— Вот! — сказал Игнат, вставая.— Значит, помните — сначала к Муратову, спросите дедушку...

— Запомнил! — ответил Весовщиков.

Но Игнат, по-видимому, не поверил ему, снова повторил все стуки, слова и знаки и наконец протянул руку:

— Кланяйтесь им! Народы хорошие — увидите...

Он окинул себя довольным взглядом, погладил пальто руками и спросил мать:

— Идти?

— Найдешь дорогу-то?

— Ну! Найду... До свиданья, значит, товарищи!

И ушел, высоко приподняв плечи, выпятив грудь, в новой шапке набекрень, солидно засунув руки в карманы. На висках у него весело дрожали светлые кудри.

— Ну,— вот и я при деле! — сказал Весовщиков, мягко подходя к матери.— Мне уж скучно стало... выскочил из тюрьмы — зачем? Только прячусь. А там я учился, там Павел так нажимал на мозги — одно удовольствие! А что, Ниловна, как начет побега решили?

— Не знаю! — ответила она, невольно вздохнув.

Положив ей на плечо тяжелую руку и приблизив к ней лицо, Николай заговорил:

— Ты скажи им — они тебя послушают,— очень легко это! Ты гляди сама, вот — стена тюрьмы, около — фонарь. Напротив — пустырь, налево — кладбище, направо улицы, город. К фонарю подходит фонарщик — днем, лампы чистить,— ставит лестницу к стене, влез, зацепил за гребень стены крючья веревочной лестницы, спустил ее во двор тюрьмы и — марш! Там, за стеной, знают время, когда это будет сделано, попросят уголовных устроить шум или сами устроят, а те, кому надо, в это время по лестнице через стенку — раз, два — готово!

Он размахивал перед лицом матери руками, рисуя свой план, все у него выходило просто, ясно, ловко. Она знала его тяжелым, неуклюжим. Глаза Николая прежде смотрели на все с угрюмой злобой и недоверием, а теперь точно прорезались заново, светились ровным, теплым светом, убеждая и волнуя мать...

— Ты подумай, ведь это будет — днем!.. Непременно днем. Кому в голову придет, что заключенный решится бежать днем, на глазах всей тюрьмы?..

— А застрелят! — вздрогнув, молвила женщина.

— Кто? Солдат — нет, надзиратели револьверами гвозди вколачивают...

— Уж очень просто все...

— Увидишь — верно! Нет, ты поговори с ними. У меня все готово — веревочная лестница, крючья для нее,— хозяин будет фонарщиком...

За дверью кто-то возился, кашлял, гремело железо.

— Вот он! — сказал Николай.

В открытую дверь просунулась жестяная ванна, хриплый голос бормотал:

— Лезь, черт...

Потом явилась круглая седая голова без шапки, с выпученными глазами, усатая и добродушная.

Николай помог втащить ванну, в дверь шагнул высокий, сутулый человек, закашлял, надувая бритые щеки, плюнул и хрипло поздоровался:

— Доброго здоровья...

— Вот, спроси его! — воскликнул Николай.

— Меня? О чем?

— О побеге...

— А-а! — сказал хозяин, вытирая усы черными пальцами.

— Вот, Яков Васильевич, не верит она, что это просто.

— Мм,— не верит? Значит — не хочет. А мы с тобой хотим, ну и — верим! — спокойно сказал хозяин и, вдруг перегнувшись пополам, начал глухо кашлять. Откашлялся, растирая грудь, долго стоял среди комнаты, сопя и разглядывая мать вытаращенными глазами.

— Решать это Паше и товарищам,— сказала Ниловна.

Николай задумчиво опустил голову.

— Это кто — Паша? — спросил хозяин, садясь.

— Сын мой.

— Как фамилия?

— Власов.

Он кивнул головой, достал кисет, вынул трубку и, набивая ее табаком, отрывисто говорил:

— Слышал. Мой племяш знает его. Он тоже в тюрьме, племяш — Евченко, слыхали? А моя фамилия — Гобун. Вот скоро всех молодых в тюрьму запрут, то-то нам, старикам, раз-

долье будет! Жандармский мне обещает племянника-то даже в Сибирь заслать. Зашлет, собака!

Закурив, он обратился к Николаю, часто поплевывая на пол.

— Так не хочет? Ее дело. Человек свободен, устал сидеть — иди, устал идти — сиди. Ограбили — молчи, бьют — терпи, убили — лежи. Это известно. А я Савку вытащу. Вытащу.

Его короткие, лающие фразы возбуждали у матери недоумение, а последние слова вызвали зависть.

Идя по улице встречу холодному ветру и дождю, она думала о Николае:

«Какой стал,— поди-ка ты!»

И, вспоминая Гобуна, почти молитвенно размышляла:

«Видно, не одна я заново живу!..»

А вслед за этим в сердце ее выросла дума о сыне:

«Кабы он согласился!»

XXII

В воскресенье, прощаясь с Павлом в канцелярии тюрьмы, она ощутила в своей руке маленький бумажный шарик. Вздрогнув, точно он ожег ей кожу ладони, она взглянула в лицо сына, прося и спрашивая, но не нашла ответа. Голубые глаза Павла улыбались обычной, знакомой ей улыбкой, спокойной и твердой.

— Прощай! — сказала она, вздыхая.

Сын снова протянул ей руку, и что-то ласковое дрогнуло в его лице.

— Прощай, мать!

Она ждала, не выпуская руки.

— Не беспокойся, не сердись! — проговорил он.

Эти слова и упрямая складка на лбу ответили ей.

— Ну, что ты? — бормотала она, опустив голову.— Чего там...

И торопливо ушла, не взглянув на него, чтобы не выдать своего чувства слезами на глазах и дрожью губ. Дорогой ей казалось, что кости руки, в которой она крепко сжала ответ сына, ноют и вся рука отяжелела, точно от удара по плечу. Дома, сунув записку в руку Николая, она встала перед ним и, ожидая, когда он расправит туго скатанную бумажку, снова ощутила трепет надежды. Но Николай сказал:

— Конечно! Вот что он пишет: «Мы не уйдем, товарищи, не можем. Никто из нас. Потеряли бы уважение к себе. Обратите внимание на крестьянина, арестованного недавно. Он заслужил ваши заботы, достоин траты сил. Ему здесь слишком трудно. Ежедневные столкновения с начальством. Уже имел сутки карцера. Его замучают. Мы все просим за него. Утешьте, приласкайте мою мать. Расскажите ей, она все поймет».

Мать подняла голову и тихо, вздрогнувшим голосом сказала:

— Ну,— чего же рассказывать мне? Я понимаю!

Николай быстро отвернулся в сторону, вынул платок, громко высморкался и пробормотал:

— Схватил насморк, видите ли...

Потом, закрыв глаза руками, чтобы поправить очки, и расхаживая по комнате, он заговорил:

— Видите ли, мы не успели бы все равно...

— Ничего! Пусть судят! — говорила мать, нахмурив брови, а грудь наливалась сырой, туманной тоской.

— Вот, я получил письмо от товарища из Петербурга...

— Ведь он и из Сибири может уйти... может?

— Конечно! Товарищ пишет — дело скоро назначат, приговор известен — всех на поселение. Видите? Эти мелкие жулики превращают свой суд в пошлейшую комедию. Вы понимаете — приговор составлен в Петербурге, раньше суда...

— Вы оставьте это, Николай Иванович! — решительно сказала мать.— Не надо меня утешать, не надо объяснять. Паша худо не сделает, даром мучить ни себя, ни других — не будет! И меня он любит,— да! Вы видите — думает обо мне. Разъясните, пишет, утешьте, а?..

Сердце у нее стучало быстро, голова кружилась от возбуждения.

— Ваш сын — прекрасный человек! — воскликнул Николай несвойственно громко.— Я очень уважаю его!

— Вот что, давайте-ка насчет Рыбина подумаем! — предложила она.

Ей хотелось что-нибудь делать сейчас же, идти куда-то, ходить до усталости.

— Да, хорошо! — ответил Николай, расхаживая по комнате.— Нужно бы Сашеньку...

— Она — придет. Она всегда приходит в тот день, когда я вижу Пашу...

Задумчиво опустив голову, покусывая губы и крутя бородку, Николай сел на диван, рядом с матерью.

— Жаль — нет сестры...

— Хорошо устроить это сейчас, пока Паша там,— ему приятно будет! — говорила мать.

Помолчали, и вдруг мать сказала, медленно и тихо:

— Не понимаю,— отчего он не хочет?..

Николай вскочил на ноги, но раздался звонок. Они сразу взглянули друг на друга.

— Это — Саша, гм! — тихонько произнес Николай.

— Как ей скажешь? — так же тихо спросила мать.

— Да-а, знаете...

— Очень жалко ее...

Звонок повторился менее громко, точно человек за дверью тоже не решался. Николай и мать встали и пошли вместе, но у двери в кухню Николай отшатнулся в сторону, сказав:

— Лучше — вы...

— Не согласен? — твердо спросила девушка, когда мать открыла ей дверь.

— Нет.

— Я знала это! — просто выговорила Саша, но лицо у нее побледнело. Она расстегнула пуговицы пальто и, снова застегнув две, попробовала снять его с плеч. Это не удалось ей. Тогда она сказала:

— Дождь, ветер,— противно! Здоров?

— Да.

— Здоров и весел,— негромко сказала Саша, рассматривая свою руку.

— Пишет, чтобы Рыбина освободить! — сообщила мать, не глядя на девушку.

— Да? Мне кажется — мы должны использовать этот план,— медленно проговорила девушка.

— Я тоже так думаю! — сказал Николай, появляясь в двери.— Здравствуйте, Саша!

Протянув руку, девушка спросила:

— В чем же дело? Все согласны, что план удачен?..

— А кто организует? Все заняты...

— Давайте мне! — быстро сказала Саша, вставая на ноги.— У меня есть время.

— Берите! Но надо спросить других...

— Хорошо, я спрошу! Я сейчас же и пойду.

И снова начала застегивать пуговицы пальто уверенными движениями тонких пальцев.

— Вы отдохнули бы! — предложила мать.

Она тихонько улыбнулась и ответила, смягчая голос:

— Не беспокойтесь, я не устала...

И, молча пожав им руки, ушла, снова холодная и строгая.

Мать и Николай, подойдя к окну, смотрели, как девушка прошла по двору и скрылась под воротами. Николай тихонько засвистал, сел за стол и начал что-то писать.

— Займется этим делом, и будет легче ей! — сказала мать, задумчиво и тихо.

— Да, конечно! — отозвался Николай и, обернувшись к матери, с улыбкой на добром лице спросил: — А вас, Ниловна, миновала эта чаша,— вы не знали тоски по любимом человеке?

— Ну! — воскликнула она, махнув рукой.— Какая там тоска? Страх был — как бы вот за того или этого замуж не выдали.

— И никто не нравился?

Она подумала и ответила:

— Не помню, дорогой мой. Как не нравиться?.. Верно, кто-нибудь нравился, только — не помню!

Посмотрела на него и просто, со спокойной грустью закончила:

— Много бил меня муж, все, что до него было,— как-то стерлось в памяти.

Он отвернулся к столу, а она на минуту вышла из комнаты, и, когда вернулась, Николай, ласково поглядывая на нее, заговорил, тихонько и любовно гладя словами свои воспоминания:

— А у меня, видите ли, тоже вот, как у Саши, была история! Любил девушку — удивительный человек была она, чудесный. Лет двадцати встретил я ее и с той поры люблю, и сейчас люблю, говоря правду! Люблю все так же — всей душой, благодарно и навсегда...

Стоя рядом с ним, мать видела глаза, освещенные теплым и ясным светом. Положив руки на спинку стула, а на них голову свою, он смотрел куда-то далеко, и все тело его, худое и тонкое, но сильное, казалось, стремится вперед, точно стебель растения к свету солнца.

— Что же вы — женились бы! — посоветовала мать.

— О! Она уже пятый год замужем...

— А раньше-то чего же?

Подумав, он ответил:

— Видите ли, у нас все как-то так выходило — она в тюрьме — я на воле, я на воле — она в тюрьме или в ссылке. Это очень похоже на положение Саши, право! Наконец ее со-

слали на десять лет в Сибирь, страшно далеко! Я хотел ехать за ней даже. Но стало совестно и ей и мне. А она там встретила другого человека,— товарищ мой, очень хороший парень! Потом они бежали вместе, теперь живут за границей, да...

Николай кончил говорить, снял очки, вытер их, посмотрел стекла на свет и стал вытирать снова.

— Эх, милый вы мой! — покачивая головой, любовно воскликнула женщина. Ей было жалко его, и в то же время что-то в нем заставляло ее улыбаться теплой, материнской улыбкой. А он переменил позу, снова взял в руку перо и заговорил, отмечая взмахами руки ритм своей речи:

— Семейная жизнь понижает энергию революционера, всегда понижает! Дети, необеспеченность, необходимость много работать для хлеба. А революционер должен развивать свою энергию неустанно, все глубже и шире. Этого требует время — мы должны идти всегда впереди всех, потому что мы — рабочие, призванные силою истории разрушить старый мир, создать новую жизнь. А если мы отстаем, поддаваясь усталости или увлеченные близкой возможностью маленького завоевания,— это плохо, это почти измена делу! Нет никого, с кем бы мы могли идти рядом, не искажая нашей веры, и никогда мы не должны забывать, что наша задача — не маленькие завоевания, а только полная победа.

Голос у него стал крепким, лицо побледнело, и в глазах загорелась обычная, сдержанная и ровная сила. Снова громко позвонили, прервав на полуслове речь Николая,— это пришла Людмила в легком не по времени пальто, с покрасневшими от холода щеками. Снимая рваные галоши, она сердитым голосом сказала:

— Назначен суд,— через неделю!

— Это верно? — крикнул Николай из комнаты.

Мать быстро пошла к нему, не понимая — испуг или радость волнуют ее. Людмила, идя рядом с нею, с иронией говорила своим низким голосом:

— Верно! В суде совершенно открыто говорят, что приговор уже готов. Но что же это? Правительство боится, что его чиновники мягко отнесутся к его врагам? Так долго, так усердно развращая своих слуг, оно все еще не уверено в их готовности быть подлецами?..

Людмила села на диван, потирая худые щеки ладонями, в ее матовых глазах горело презрение, голос все больше наливался гневом.

— Вы напрасно тратите порох, Людмила! — успокоительно сказал Николай.— Ведь они не слышат вас...

Мать напряженно вслушивалась в ее речь, но ничего не понимала, невольно повторяя про себя одни и те же слова:

«Суд, через неделю суд!»

Она вдруг почувствовала приближение чего-то неумолимого, нечеловечески строгого.

XXIII

Так, в этой туче недоумения и уныния, под тяжестью тоскливых ожиданий, она молча жила день, два, а на третий явилась Саша и сказала Николаю:

— Все готово! Сегодня в час...

— Уже готово? — удивился он.

— Да ведь чего же? Мне нужно было только достать место и одежду для Рыбина, все остальное взял на себя Гобун. Рыбину придется пройти всего один квартал. Его на улице встретит Весовщиков — загримированный, конечно,— накинет на него пальто, даст шапку и укажет путь. Я буду ждать его, переодену и увезу.

— Недурно! А кто это Гобун? — спросил Николай.

— Вы видели его. В его квартире вы занимались со слесарями.

— А! Помню. Чудаковатый старик...

— Он отставной солдат, кровельщик. Мало развитой человек, с неисчерпаемой ненавистью ко всякому насилию... Философ немножко,— задумчиво говорила Саша, глядя в окно. Мать молча слушала ее, и что-то неясное медленно назревало в ней.

— Гобун хочет освободить племянника своего,— помните, вам нравился Евченко, такой щеголь и чистюля?

Николай кивнул головой.

— У него все налажено хорошо,— продолжала Саша,— но я начинаю сомневаться в успехе. Прогулки — общие; я думаю, что, когда заключенные увидят лестницу — многие захотят бежать...

Она, закрыв глаза, помолчала, мать подвинулась ближе к ней.

— И помешают друг другу...

Они все трое стояли перед окном, мать — позади Николая и Саши. Их быстрый говор будил в сердце ее смутное чувство...

— Я пойду туда! — вдруг сказала она.

— Зачем? — спросила Саша.

— Не ходите, голубчик! Еще как-нибудь попадетесь! Не надо! — посоветовал Николай.

Мать посмотрела на него и тише, но настойчивее повторила:

— Нет, я пойду...

Они быстро переглянулись, Саша, пожимая плечами, сказала:

— Это понятно...

Обернувшись к матери, она взяла ее под руку, покачнулась к ней и заговорила простым и близким сердцу матери голосом:

— Я все-таки скажу вам, вы напрасно ждете...

— Голубушка! — воскликнула мать, прижав ее к себе дрожащей рукой.— Возьмите меня,— не помешаю! Мне — нужно. Не верю я, что можно это — убежать!

— Она пойдет! — сказала девушка Николаю.

— Это ваше дело! — ответил он, наклоняя голову.

— Нам нельзя быть вместе. Вы идите в поле, к огородам. Оттуда видно стену тюрьмы. Но — если спросят вас, что вы там делаете?

Обрадованная, мать уверенно ответила:

— Найду, что сказать!..

— Не забывайте, что вас знают тюремные надзиратели! — говорила Саша.— И если они увидят вас там...

— Не увидят! — воскликнула мать.

В ее груди вдруг болезненно ярко вспыхнула все время незаметно тлевшая надежда и оживила ее...

«А может быть, и он тоже...»— думала она, поспешно одеваясь.

Через час мать была в поле за тюрьмой. Резкий ветер летал вокруг нее, раздувал платье, бился о мерзлую землю, раскачивал ветхий забор огорода, мимо которого шла она, и с размаха ударялся о невысокую стену тюрьмы. Опрокинувшись за стену, взметал со двора чьи-то крики, разбрасывал их по воздуху, уносил в небо. Там быстро бежали облака, открывая маленькие просветы в синюю высоту.

Сзади матери был огород, впереди кладбище, а направо, саженях в десяти, тюрьма. Около кладбища солдат гонял на корде лошадь, а другой, стоя рядом с ним, громко топал в землю ногами, кричал, свистел и смеялся. Больше никого не было около тюрьмы.

Она медленно пошла дальше мимо них к ограде кладбища, искоса поглядывая направо и назад. И вдруг почувствовала, что ноги у нее дрогнули, отяжелели, точно примерзли к земле,— из-за угла тюрьмы спешно, как всегда ходят фонарщики, вышел сутулый человек с лестницей на плече. Мать, испуганно мигнув, быстро взглянула на солдат — они топтались на одном месте, а лошадь бегала вокруг них; посмотрела на человека с лестницей — он уже поставил ее к стене и влезал не торопясь. Махнув во двор рукой, быстро спустился, исчез за углом. Сердце матери билось торопливо, секунды шли медленно. На темной стене тюрьмы линии лестницы были едва заметны в пятнах грязи и осыпавшейся штукатурки, обнажившей кирпич. И вдруг над стеной явилась черная голова, выросло тело, перевалилось через стену, сползло по ней. Показалась другая голова в мохнатой шапке, на землю скатился черный ком и быстро исчез за угол. Михайло выпрямился, оглянулся, тряхнул головой...

— Беги, беги! — шептала мать, топая ногой.

В ушах у нее гудело, доносились громкие крики — вот над стеной явилась третья голова. Мать, схватившись руками за грудь, смотрела, замирая. Светловолосая голова без бороды рвалась вверх, точно хотела оторваться и вдруг — исчезла за стеной. Кричали всё громче, буйнее, ветер разносил по воздуху тонкие трели свистков. Михайло шел вдоль стены, вот он уже миновал ее, переходил открытое пространство между тюрьмой и домами города. Ей казалось, что он идет слишком медленно и напрасно так высоко поднял голову,— всякий, кто взглянет в лицо его, запомнит это лицо навсегда. Она шептала:

— Скорее... скорее...

За стеною тюрьмы сухо хлопнуло что-то,— был слышен тонкий звон разбитого стекла. Солдат, упираясь ногами в землю, тянул к себе лошадь, другой, приложив ко рту кулак, что-то кричал по направлению тюрьмы и, крикнув, поворачивал туда голову боком, подставляя ухо.

Напрягаясь, мать вертела шеей во все стороны, ее глаза, видя все, ничему не верили — слишком просто и быстро совершилось то, что она представляла себе страшным и сложным, и эта быстрота, ошеломив ее, усыпляла сознание. В улице уже не видно было Рыбина, шел какой-то высокий человек в длинном пальто, бежала девочка. Из-за угла тюрьмы выскочило трое надзирателей, они бежали тесно друг к другу и все вытягивали вперед правые руки. Один из солдат бросился им встречу, другой бегал вокруг лошади, стараясь вскочить на

нее, она не давалась, прыгала, и все вокруг тоже подпрыгивало вместе с нею. Непрерывно, захлебываясь звуком, воздух резали свистки. Их тревожные, отчаянные крики разбудили у женщины сознание опасности; вздрогнув, она пошла вдоль ограды кладбища, следя за надзирателями, но они и солдаты забежали за другой угол тюрьмы и скрылись. Туда же следом за ними пробежал знакомый ей помощник смотрителя тюрьмы в расстегнутом мундире. Откуда-то появилась полиция, сбегался народ.

Ветер кружился, метался, точно радуясь чему-то, и доносил до слуха женщины разорванные, спутанные крики, свист... Эта сумятица радовала ее, мать зашагала быстрее, думая:

«Значит — мог бы и он!»

Навстречу ей, из-за угла ограды, вдруг вынырнули двое полицейских.

— Стой! — крикнул один, тяжело дыша.— Человека — с бородой — не видала?

Она указала рукой на огороды и спокойно ответила:

— Туда побежал,— а что?

— Егоров! Свисти!

Она пошла домой. Было ей жалко чего-то, на сердце лежало нечто горькое, досадное. Когда она входила с поля в улицу, дорогу ей перерезал извозчик. Подняв голову, она увидала в пролетке молодого человека с светлыми усами и бледным, усталым лицом. Он тоже посмотрел на нее. Сидел он косо, и, должно быть, от этого правое плечо у него было выше левого.

Николай встретил ее радостно.

— Ну, что там?

— Как будто удалось...

Стараясь восстановить в своей памяти все мелочи, она начала рассказывать о бегстве и говорила так, точно передавала чей-то рассказ, сомневаясь в правде его.

— Нам везет! — сказал Николай, потирая руки.— Но — как я боялся за вас! Черт знает как! Знаете, Ниловна, примите мой дружеский совет — не бойтесь суда! Чем скорее он, тем ближе свобода Павла, поверьте! Может быть — он уйдет с дороги. А суд — это приблизительно такая штука...

Он начал рисовать ей картину заседания суда, она слушала и понимала, что он чего-то боится, хочет ободрить ее.

— Может, вы думаете, я там скажу что-нибудь судьям? — вдруг спросила она.— Попрошу их о чем-нибудь?

Он вскочил, замахал на нее руками и обиженно вскричал:

— Что вы!

— Я боюсь, верно! Чего боюсь — не знаю!..— Она помолчала, блуждая глазами по комнате.

— Иной раз кажется — начнут они Пашу обижать, измываться над ним. Ах ты, мужик, скажут, мужицкий ты сын! Что затеял? А Паша — гордый, он им так ответит! Или — Андрей посмеется над ними. И все они там горячие. Вот и думаешь — вдруг не стерпит... И засудят так, что уж и не увидишь никогда!

Николай хмуро молчал, дергая свою бородку.

— Этих дум не выгонишь из головы! — тихо сказала мать.— Страшно это — суд! Как начнут всё разбирать да взвешивать! Очень страшно! Не наказание страшно, а — суд. Не умею я этого сказать...

Николай — она чувствовала — не понимает ее, и это еще более затрудняло желание рассказать о страхе своем.

XXIV

Этот страх, подобный плесени, стеснявший дыхание тяжелой сыростью, разросся в ее груди, и, когда настал день суда, она внесла с собою в зал заседания тяжелый, темный груз, согнувший ей спину и шею.

На улице с нею здоровались слободские знакомые, она молча кланялась, пробираясь сквозь угрюмую толпу. В коридорах суда и в зале ее встретили родственники подсудимых и тоже что-то говорили пониженными голосами. Слова казались ей ненужными, она не понимала их. Все люди были охвачены одним и тем же скорбным чувством — это передавалось матери и еще более угнетало ее.

— Садись рядом! — сказал Сизов, подвигаясь на лавке.

Послушно села, оправила платье, взглянула вокруг. Перед глазами у нее слитно поплыли какие-то зеленые и малиновые полосы, пятна, засверкали тонкие, желтые нити.

— Погубил твой сын нашего Гришу! — тихо проговорила женщина, сидевшая рядом с ней.

— Молчи, Наталья! — ответил Сизов угрюмо.

Мать посмотрела на женщину — это была Самойлова, дальше сидел ее муж, лысый, благообразный человек, с окладистой рыжей бородой. Лицо у него было костлявое; прищурив глаза, он смотрел вперед, и борода его дрожала.

Сквозь высокие окна зал ровно наливался мутным светом, снаружи по стеклам скользил снег. Между окнами висел боль-

шой портрет царя в толстой, жирно блестевшей золотой раме, тяжелые малиновые драпировки окон прикрывали раму с боков прямыми складками. Перед портретом, почти во всю ширину зала, вытянулся стол, покрытый зеленым сукном, направо у стены стояли за решеткой две деревянные скамьи, налево — два ряда малиновых кресел. По залу бесшумно бегали служащие с зелеными воротниками, золотыми пуговицами на груди и животе. В мутном воздухе робко блуждал тихий шепот, носился смешанный запах аптеки. Все это — цвета, блески, звуки и запахи — давило на глаза, вторгалось вместе с дыханием в грудь и наполняло опустошенное сердце неподвижной, пестрой мутью унылой боязни.

Вдруг один из людей громко сказал что-то, мать вздрогнула, все встали, она тоже поднялась, схватившись за руку Сизова.

В левом углу зала отворилась высокая дверь, из нее, качаясь, вышел старичок в очках. На его сером личике тряслись белые редкие баки, верхняя бритая губа завалилась в рот, острые скулы и подбородок опирались на высокий воротник мундира, казалось, что под воротником нет шеи. Его поддерживал сзади под руку высокий молодой человек с фарфоровым лицом, румяным и круглым, а вслед за ними медленно двигались еще трое людей в расшитых золотом мундирах и трое штатских.

Они долго возились за столом, усаживаясь в кресла, а когда сели, один из них, в расстегнутом мундире, с ленивым, бритым лицом, что-то начал говорить старичку, беззвучно и тяжело шевеля пухлыми губами. Старичок слушал, сидя странно прямо и неподвижно, за стеклами его очков мать видела два маленькие, бесцветные пятнышка.

На конце стола у конторки стоял высокий лысоватый человек, покашливал, шелестел бумагами.

Старичок покачнулся вперед, заговорил. Первое слово он выговаривал ясно, а следующие как бы расползались у него по губам, тонким и серым:

— Открываю... Введите...

— Гляди! — шепнул Сизов, тихонько толкая мать, и встал.

В стене за решеткой открылась дверь, вышел солдат с обнаженной шашкой на плече, за ним явился Павел, Андрей, Федя Мазин, оба Гусевы, Самойлов, Букин, Сомов и еще человек пять молодежи, незнакомой матери по именам. Павел ласково улыбался, Андрей тоже, оскалив зубы, кивал головой; в зале стало как-то светлее, проще от их улыбок, оживленных лиц и движения, внесенного ими в натянутое, чопорное молча-

ние. Жирный блеск золота на мундирах потускнел, стал мягче, веяние бодрой уверенности, дуновение живой силы коснулось сердца матери, будя его. И на скамьях сзади нее, где до той поры люди подавленно ожидали, теперь тоже вырос ответный, негромкий гул.

— Не трусят! — услыхала она шепот Сизова, а с правой стороны тихо всхлипнула мать Самойлова.

— Тише! — раздался суровый окрик.

— Предупреждаю...— сказал старичок.

Павел и Андрей сели рядом, вместе с ними на первой скамье сели Мазин, Самойлов и Гусевы. Андрей обрил себе бороду, усы у него отросли и свешивались вниз, придавая его круглой голове сходство с головой кошки. Что-то новое появилось на его лице — острое и едкое в складках рта, темное в глазах. На верхней губе Мазина чернели две полоски, лицо стало полнее, Самойлов был такой же кудрявый, как и раньше, и так же широко ухмылялся Иван Гусев.

— Эх, Федька, Федька! — шептал Сизов, опустив голову.

Мать слушала невнятные вопросы старичка,— он спрашивал, не глядя на подсудимых, и голова его лежала на воротнике мундира неподвижно,— слышала спокойные, короткие ответы сына. Ей казалось, что старший судья и все его товарищи не могут быть злыми, жестокими людьми. Внимательно осматривая лица судей, она, пытаясь что-то предугадать, тихонько прислушивалась к росту новой надежды в своей груди.

Фарфоровый человек безучастно читал бумагу, его ровный голос наполнял зал скукой, и люди, облитые ею, сидели неподвижно, как бы оцепенев. Четверо адвокатов тихо, но оживленно разговаривали с подсудимыми, все они двигались сильно, быстро и напоминали собой больших, черных птиц.

По одну сторону старичка наполнял кресло своим телом толстый, пухлый судья, с маленькими, заплывшими глазами, по другую — сутулый, с рыжеватыми усами на бледном лице. Он устало откинул голову на спинку стула и, полуприкрыв глаза, о чем-то думал. У прокурора лицо было тоже утомленное, скучное. Сзади судей сидел, задумчиво поглаживая щеку, городской голова, полный, солидный мужчина; предводитель дворянства, седой, большебородый и краснолицый человек, с большими, добрыми глазами; волостной старшина в поддевке, с огромным животом, который, видимо, конфузил его,— он все старался прикрыть его полой поддевки, а она сползала.

— Здесь нет преступников, нет судей,— раздался твердый голос Павла,— здесь только пленные и победители...

Стало тихо, несколько секунд ухо матери слышало только тонкий, торопливый скрип пера по бумаге и биение своего сердца.

И старший судья тоже как будто прислушивался к чему-то, ждал. Его товарищи пошевелились. Тогда он сказал:

— М-да, Андрей Находка! Признаете вы...

Андрей медленно приподнялся, выпрямился и, дергая себя за усы, исподлобья смотрел на старичка.

— Да в чем же я могу признать себя виновным? — певуче и неторопливо, как всегда, заговорил хохол, пожав плечами.— Я не убил, не украл, я просто не согласен с таким порядком жизни, в котором люди принуждены грабить и убивать друг друга...

— Отвечайте короче,— с усилием, но внятно сказал старик.

На скамьях, сзади себя, мать чувствовала оживление, люди тихо шептались о чем-то и двигались, как бы освобождая себя из паутины серых слов фарфорового человека.

— Слышишь, как они? — шепнул Сизов.

— Федор Мазин, отвечайте...

— Не хочу! — ясно сказал Федя, вскочив на ноги. Лицо его залилось румянцем волнения, глаза засверкали, он почему-то спрятал руки за спину.

Сизов тихонько ахнул, мать изумленно расширила глаза.

— Я отказался от защиты, я ничего не буду говорить, суд ваш считаю незаконным! Кто вы? Народ ли дал вам право судить нас? Нет, он не давал! Я вас не знаю!

Он сел и скрыл свое разгоревшееся лицо за плечом Андрея.

Толстый судья наклонил голову к старшему и что-то прошептал. Судья с бледным лицом поднял веки, скосил глаза на подсудимых, протянул руку на стол и черкнул карандашом на бумаге, лежавшей перед ним. Волостной старшина покачал головой, осторожно переставив ноги, положил живот на колени и прикрыл его руками. Не двигая головой, старичок повернул корпус к рыжему судье, беззвучно поговорил с ним, тот выслушал его, наклонив голову. Предводитель дворянства шептался с прокурором, голова слушал их, потирая щеку. Вновь зазвучала тусклая речь старшего судьи.

— Каково отрезал? Прямо — лучше всех! — удивленно шептал Сизов на ухо матери.

Мать, недоумевая, улыбалась. Все происходившее сначала казалось ей лишним и нудным предисловием к чему-то страш-

ному, что появится и сразу раздавит всех холодным ужасом. Но спокойные слова Павла и Андрея прозвучали так безбоязненно и твердо, точно они были сказаны в маленьком домике слободки, а не перед лицом суда. Горячая выходка Феди оживила ее. Что-то смелое росло в зале, и мать, по движению людей сзади себя, догадывалась, что не она одна чувствует это.

— Ваше мнение? — сказал старичок.

Лысоватый прокурор встал и, держась одной рукой за конторку, быстро заговорил, приводя цифры. В его голосе не слышно было страшного.

Но в то же время, сухой, колющий налет бередил и тревожил сердце матери — было смутное ощущение чего-то враждебного ей. Оно не угрожало, не кричало, а развивалось невидимо, неуловимо. Лениво и тупо оно колебалось где-то вокруг судей, как бы окутывая их непроницаемым облаком, сквозь которое не достигало до них ничто извне. Она смотрела на судей, и все они были непонятны ей. Они не сердились на Павла и на Федю, как она ждала, не обижали их словами, но все, о чем они спрашивали, казалось ей ненужным для них, они как будто нехотя спрашивают, с трудом выслушивают ответы, всё заранее знают, ничем не интересуются.

Вот перед ними стоит жандарм и говорит басом:

— Павла Власова называли главным зачинщиком все...

— А Находку? — лениво и негромко спросил толстый судья.

— И его тоже...

Один из адвокатов встал, говоря:

— Могу я?

Старичок спрашивает кого-то:

— Вы ничего не имеете?

Все судьи казались матери нездоровыми людьми. Болезненное утомление сказывалось в их позах и голосах, оно лежало на лицах у них,— болезненное утомление и надоедная, серая скука. Видимо, им тяжело и неудобно все это — мундиры, зал, жандармы, адвокаты, обязанность сидеть в креслах, спрашивать и слушать.

Стоит перед ними знакомый желтолицый офицер и важно, растягивая слова, громко рассказывает о Павле, об Андрее. Мать, слушая его, невольно думала:

«Немного ты знаешь».

И смотрела на людей за решеткой уже без страха за них, без жалости к ним — к ним не приставала жалость, все они

вызвали у нее только удивление и любовь, тепло обнимавшую сердце; удивление было спокойно, любовь — радостно ясна. Молодые, крепкие, они сидели в стороне у стены, почти не вмешиваясь в однообразный разговор свидетелей и судей, в споры адвокатов с прокурором. Порою кто-нибудь презрительно усмехался, что-то говорил товарищам, по их лицам тоже пробегала насмешливая улыбка. Андрей и Павел почти все время тихо беседовали с одним из защитников — мать накануне видела его у Николая. К их беседе прислушивался Мазин, оживленный и подвижный более других, Самойлов что-то порою говорил Ивану Гусеву, и мать видела, что каждый раз Иван, незаметно отталкивая товарища локтем, едва сдерживает смех, лицо у него краснеет, щеки надуваются, он наклоняет голову. Раза два он уже фыркнул, а после этого несколько минут сидел надутый, стараясь быть более солидным. И в каждом, так или иначе, играла молодость, легко одолевая усилия сдержать ее живое брожение.

Сизов легонько тронул ее за локоть, она обернулась к нему — лицо у него было довольное и немного озабоченное. Он шептал:

— Ты погляди, как они укрепились, материны дети, а? Бароны, а?

В зале говорили свидетели — торопливо, обесцвеченными голосами, судьи — неохотно и безучастно. Толстый судья зевал, прикрывая рот пухлой рукой, рыжеусый побледнел еще более, иногда он поднимал руку и, туго нажимая на кость виска пальцем, слепо смотрел в потолок жалобно расширенными глазами. Прокурор изредка черкал карандашом по бумаге и снова продолжал беззвучную беседу с предводителем дворянства, а тот, поглаживая седую бороду, выкатывал огромные красивые глаза и улыбался, важно сгибая шею. Городской голова сидел, закинув ногу на ногу, бесшумно барабанил пальцами по колену и сосредоточенно наблюдал за движениями пальцев. Только волостной старшина, утвердив живот на коленях и заботливо поддерживая его руками, сидел наклонив голову и, казалось, один вслушивался в однообразное журчание голосов, да старичок, воткнутый в кресло, торчал в нем неподвижно, как флюгер в безветренный день. Продолжалось это долго, и снова оцепенение скуки ослепило людей.

— Объявляю...— сказал старичок и, раздавив тонкими губами следующие слова, встал.

Шум, вздохи, тихие восклицания, кашель и шарканье ног наполнили зал. Подсудимых увели, уходя, они, улыбаясь, ки-

вали головами родным и знакомым, а Иван Гусев негромко крикнул кому-то:

— Не робей, Егор!..

Мать и Сизов вышли в коридор.

— Чай пить в трактир пойдешь? — заботливо и задумчиво спросил ее старик.— Полтора часа время у нас!

— Не хочу.

— Ну, и я не пойду. Нет,— каковы ребята, а? Сидят вроде того, как будто они только и есть настоящие люди, а остальные все — ни при чем! Федька-то, а?

К ним подошел отец Самойлова, держа шапку в руке. Он угрюмо улыбался и говорил:

— Мой-то Григорий? От защитника отказался и разговаривать не хочет. Первый он, слышь, выдумал это. Твой-то, Пелагея, стоял за адвокатов, а мой говорит — не желаю! И тогда четверо отказались...

Рядом с ним стояла жена. Часто моргая глазами, она вытирала нос концом платка. Самойлов взял бороду в руку и продолжал, глядя в пол:

— Ведь вот штука! Глядишь на них, чертей, понимаешь — зря они всё это затеяли, напрасно себя губят. И вдруг начнешь думать — а может, их правда? Вспомнишь, что на фабрике они всё растут да растут, их то и дело хватают, а они, как ерши в реке, не переводятся, нет! Опять думаешь — а может, и сила за ними?

— Трудно нам, Степан Петров, понять это дело! — сказал Сизов.

— Трудно,— да! — согласился Самойлов.

Его жена, сильно потянув воздух носом, заметила:

— Здоровы все, окаянные...

И, не сдержав улыбки на широком, дряблом лице, продолжала:

— Ты, Ниловна, не сердись,— давеча я тебе бухнула, что, мол, твой виноват. А пес их разберет, который виноватее, если по правде говорить! Вон что про нашего-то Григория жандармы со шпионами говорили. Тоже, постарался,— рыжий бес!

Она, видимо, гордилась своим сыном, быть может не понимая своего чувства, но ее чувство было знакомо матери, и она ответила на ее слова доброй улыбкой, тихими словами:

— Молодое сердце всегда ближе к правде...

По коридору бродили люди, собирались в группы, возбужденно и вдумчиво разговаривая глухими голосами. Почти никто не стоял одиноко — на всех лицах было ясно видно желание

говорить, спрашивать, слушать. В узкой белой трубе между двух стен люди метались взад и вперед, точно под ударами сильного ветра, и, казалось, все искали возможности стать на чем-то твердо и крепко.

Старший брат Букина, высокий и тоже выцветший, размахивал руками, быстро вертясь во все стороны, и доказывал:

— Волостной старшина Клепанов в этом деле не на месте...

— Молчи, Константин! — уговаривал его отец, маленький старичок, и опасливо оглядывался.

— Нет, я скажу! Про него идет слух, что он в прошлом году приказчика своего убил из-за его жены. Приказчикова жена с ним живет — это как понимать? И к тому же он известный вор...

— Ах ты, батюшки мои, Константин!

— Верно! — сказал Самойлов.— Верно! Суд — не очень правильный...

Букин услыхал его голос, быстро подошел, увлекая за собой всех, и, размахивая руками, красный от возбуждения, закричал:

— За кражу, за убийство — судят присяжные, простые люди,— крестьяне, мещане,— позвольте! А людей, которые против начальства, судит начальство,— как так? Ежели ты меня обидишь, а я тебе дам в зубы, а ты меня за это судить будешь — конечно, я окажусь виноват, а первый обидел кто — ты? Ты!

Сторож, седой, горбоносый, с медалями на груди, растолкал толпу и сказал Букину, грозя пальцем:

— Эй, не кричи! Кабак тут?

— Позвольте, кавалер, я понимаю! Послушайте — ежели я вас ударю и я же вас буду судить, как вы полагаете...

— А вот я тебя вывести велю отсюда! — строго сказал сторож.

— Куда же? Зачем?

— На улицу. Чтобы ты не орал...

Букин осмотрел всех и негромко проговорил:

— Им главное, чтобы люди молчали...

— А ты как думал?! — крикнул старик строго и грубо.

Букин развел руками и стал говорить тише:

— И опять же, почему не допущен на суд народ, а только родные? Ежели ты судишь справедливо, ты суди при всех — чего бояться?

Самойлов повторил, но уже громче:

— Суд не по совести, это верно!..

Матери хотелось сказать ему то, что она слышала от Николая о незаконности суда, но она плохо поняла это и частью позабыла слова. Стараясь вспомнить их, она отодвинулась в сторону от людей и заметила, что на нее смотрит какой-то молодой человек со светлыми усами. Правую руку он держал в кармане брюк, от этого его левое плечо было ниже, и эта особенность фигуры показалась знакомой матери. Но он повернулся к ней спиной, а она была озабочена воспоминаниями и тотчас же забыла о нем.

Но через минуту слуха ее коснулся негромкий вопрос:

— Эта?

И кто-то громче, радостно ответил:

— Да!

Она оглянулась. Человек с косыми плечами стоял боком к ней и что-то говорил своему соседу, чернобородому парню в коротком пальто и в сапогах по колено.

Снова память ее беспокойно вздрогнула, но не создала ничего ясного. В груди ее повелительно разгоралось желание говорить людям о правде сына, ей хотелось слышать, что скажут люди против этой правды, хотелось по их словам догадаться о решении суда.

— Разве так судят? — осторожно и негромко начала она, обращаясь к Сизову.— Допытываются о том — что кем сделано, а зачем сделано — не спрашивают. И старые они все, молодых — молодым судить надо...

— Да,— сказал Сизов,— трудно нам понять это дело, трудно! — И задумчиво покачал головой.

Сторож, открыв дверь зала, крикнул:

— Родственники! Показывай билеты...

Угрюмый голос неторопливо проговорил:

— Билеты,— словно в цирк!

Во всех людях теперь чувствовалось глухое раздражение, смутный задор, они стали держаться развязнее, шумели, спорили со сторожами.

XXV

Усаживаясь на скамью, Сизов что-то ворчал.

— Ты что? — спросила мать.

— Так! Дурак народ...

Позвонил колокольчик. Кто-то равнодушно объявил:

— Суд идет...

«Мать»
Кукрыниксы

Снова все встали, и снова, в том же порядке, вошли судьи, уселись. Ввели подсудимых.

— Держись! — шепнул Сизов.— Прокурор говорить будет.

Мать вытянула шею, всем телом подалась вперед и замерла в новом ожидании страшного.

Стоя боком к судьям, повернув к ним голову, опираясь локтем на конторку, прокурор вздохнул и, отрывисто взмахивая в воздухе правой рукой, заговорил. Первых слов мать не разобрала, голос у прокурора был плавный, густой и тек неровно, то — медленно, то — быстрее. Слова однообразно вытягивались в длинный ряд, точно стежки нитки, и вдруг вылетали торопливо, кружились, как стая черных мух над куском сахара. Но она не находила в них ничего страшного, ничего угрожающего. Холодные, как снег, и серые, точно пепел, они сыпались, сыпались, наполняя зал чем-то досадно надоедающим, как тонкая, сухая пыль. Эта речь, скупая чувствами, обильная словами, должно быть, не достигала до Павла и его товарищей — видимо, никак не задевала их,— все сидели спокойно и, по-прежнему беззвучно беседуя, порою улыбались, порою хмурились, чтобы скрыть улыбку.

— Врет! — шептал Сизов.

Она не могла бы этого сказать. Она слышала слова прокурора, понимала, что он обвиняет всех, никого не выделяя; проговорив о Павле, он начинал говорить о Феде, а поставив его рядом с Павлом, настойчиво пододвигал к ним Букина,— казалось, он упаковывает, зашивает всех в один мешок, плотно укладывая друг к другу. Но внешний смысл его слов не удовлетворял, не трогал и не пугал ее, она все-таки ждала страшного и упорно искала его за словами — в лице, в глазах, в голосе прокурора, в его белой руке, неторопливо мелькавшей по воздуху. Что-то страшное было, она это чувствовала, но — неуловимое — оно не поддавалось определению, вновь покрывая ее сердце сухим и едким налетом.

Она смотрела на судей — им, несомненно, было скучно слушать эту речь. Неживые, желтые и серые лица ничего не выражали. Слова прокурора разливали в воздухе незаметный глазу туман, он все рос и сгущался вокруг судей, плотнее окутывая их облаком равнодушия и утомленного ожидания. Старший судья не двигался, засох в своей прямой позе, серые пятнышки за стеклами его очков порою исчезали, расплываясь по лицу.

И, видя это мертвое безучастие, это беззлобное равнодушие, мать недоуменно спрашивала себя:

«Судят?»

Вопрос стискивал ей сердце и, постепенно выжимая из него ожидание страшного, щипал горло острым ощущением обиды.

Речь прокурора порвалась как-то неожиданно — он сделал несколько быстрых, мелких стежков, поклонился судьям и сел, потирая руки. Предводитель дворянства закивал ему головой, выкатывая свои глаза, городской голова протянул руку, а старшина глядел на свой живот и улыбался.

Но судей речь его, видимо, не обрадовала, они не шевелились.

— Слово,— заговорил старичок, поднося к своему лицу какую-то бумагу,— защитнику Федосеева, Маркова и Загарова.

Встал адвокат, которого мать видела у Николая. Лицо у него было добродушное, широкое, его маленькие глазки лучисто улыбались,— казалось, из-под рыжеватых бровей высовываются два острия и, точно ножницы, стригут что-то в воздухе. Заговорил он неторопливо, звучно и ясно, но мать не могла вслушиваться в его речь — Сизов шептал ей на ухо:

— Поняла, что он говорил? Поняла? Люди, говорит, расстроенные, безумные. Это — Федор?

Она не отвечала, подавленная тягостным разочарованием. Обида росла, угнетая душу. Теперь Власовой стало ясно, почему она ждала справедливости, думала увидать строгую, честную тяжбу правды сына с правдой судей его. Ей представлялось, что судьи будут спрашивать Павла долго, внимательно и подробно о всей жизни его сердца, они рассмотрят зоркими глазами все думы и дела сына ее, все дни его. И когда увидят они правоту его, то справедливо, громко скажут:

— Человек этот прав!

Но ничего подобного не было,— казалось, что подсудимые невидимо далеко от судей, а судьи — лишние для них. Утомленная, мать потеряла интерес к суду и, не слушая слов, обиженно думала:

«Разве так судят?»

— Так их! — одобрительно прошептал Сизов.

Уже говорил другой адвокат, маленький, с острым, бледным и насмешливым лицом, а судьи мешали ему.

Вскочил прокурор, быстро и сердито сказал что-то о протоколе, потом, увещевая, заговорил старичок,— защитник, почтительно наклонив голову, послушал их и снова продолжал речь.

— Ковыряй! — заметил Сизов.— Расковыривай...

В зале зарождалось оживление, сверкал боевой задор, адвокат раздражал острыми словами старую кожу судей. Судьи,

как будто сдвинулись плотнее, надулись и распухли, чтобы отражать колкие и резкие щелчки слов.

Но вот поднялся Павел, и вдруг стало неожиданно тихо. Мать качнулась всем телом вперед. Павел заговорил спокойно:

— Человек партии, я признаю только суд моей партии и буду говорить не в защиту свою, а — по желанию моих товарищей, тоже отказавшихся от защиты,— попробую объяснить вам то, чего вы не поняли. Прокурор назвал наше выступление под знаменем социаль-демократии — бунтом против верховной власти и все время рассматривал нас как бунтовщиков против царя. Я должен заявить, что для нас самодержавие не является единственной цепью, оковавшей тело страны, оно только первая и ближайшая цепь, которую мы обязаны сорвать с народа...

Тишина углублялась под звуками твердого голоса, он как бы расширял стены зала, Павел точно отодвигался от людей далеко в сторону, становясь выпуклее.

Судьи зашевелились тяжело и беспокойно. Предводитель дворянства что-то прошептал судье с ленивым лицом, тот кивнул головой и обратился к старичку, а с другой стороны в то же время ему говорил в ухо больной судья. Качаясь в кресле вправо и влево, старичок что-то сказал Павлу, но голос его утонул в ровном и широком потоке речи Власова.

— Мы — социалисты. Это значит, что мы враги частной собственности, которая разъединяет людей, вооружает их друг против друга, создает непримиримую вражду интересов, лжет, стараясь скрыть или оправдать эту вражду, и развращает всех ложью, лицемерием и злобой. Мы говорим: общество, которое рассматривает человека только как орудие своего обогащения,— противочеловечно, оно враждебно нам, мы не можем примириться с его моралью, двуличной и лживой; цинизм и жестокость его отношения к личности противны нам, мы хотим и будем бороться против всех форм физического и морального порабощения человека таким обществом, против всех приемов дробления человека в угоду корыстолюбию. Мы, рабочие,— люди, трудом которых создается все — от гигантских машин до детских игрушек, мы — люди, лишенные права бороться за свое человеческое достоинство, нас каждый старается и может обратить в орудие для достижения своих целей, мы хотим теперь иметь столько свободы, чтобы она дала нам возможность со временем завоевать всю власть. Наши лозунги просты — долой частную собственность, все средства производства — народу, вся власть — народу, труд — обязателен для всех. Вы видите — мы не бунтовщики!

Павел усмехнулся, медленно провел рукой по волосам, огонь его голубых глаз вспыхнул светлее.

— Прошу вас,— ближе к делу! — сказал председатель внятно и громко. Он повернулся к Павлу грудью, смотрел на него, и матери казалось, что его левый тусклый глаз разгорается нехорошим, жадным огнем. И все судьи смотрели на ее сына так, что казалось — их глаза прилипают к его лицу, присасываются к телу, жаждут его крови, чтобы оживить ею свои изношенные тела. А он, прямой, высокий, стоя твердо и крепко, протягивал к ним руку и негромко, четко говорил:

— Мы — революционеры и будем таковыми до поры, пока одни — только командуют, другие — только работают. Мы стоим против общества, интересы которого вам приказано защищать, как непримиримые враги его и ваши, и примирение между нами невозможно до поры, пока мы не победим. Победим мы, рабочие! Ваши доверители совсем не так сильны, как им кажется. Та же собственность, накопляя и сохраняя которую они жертвуют миллионами порабощенных ими людей, та же сила, которая дает им власть над нами, возбуждает среди них враждебные трения, разрушает их физически и морально. Собственность требует слишком много напряжения для своей защиты, и, в сущности, все вы, наши владыки, более рабы, чем мы,— вы порабощены духовно, мы — только физически. Вы не можете отказаться от гнета предубеждений и привычек,— гнета, который духовно умертвил вас,— нам ничто не мешает быть внутренне свободными,— яды, которыми вы отравляете нас, слабее тех противоядий, которые вы — не желая — вливаете в наше сознание. Оно растет, оно развивается безостановочно, все быстрее оно разгорается и увлекает за собой все лучшее, все духовно здоровое даже из вашей среды. Посмотрите — у вас уже нет людей, которые могли бы идейно бороться за вашу власть, вы уже израсходовали все аргументы, способные оградить вас от напора исторической справедливости, вы не можете создать ничего нового в области идей, вы духовно бесплодны. Наши идеи растут, они всё ярче разгораются, они охватывают народные массы, организуя их для борьбы за свободу. Сознание великой роли рабочего сливает всех рабочих мира в одну душу,— вы ничем не можете задержать этот процесс обновления жизни, кроме жестокости и цинизма. Но цинизм — очевиден, жестокость — раздражает. И руки, которые сегодня нас душат, скоро будут товарищески пожимать наши руки. Ваша энергия — механическая энергия роста золота, она объединяет вас в группы, призванные пожрать друг друга, наша энергия —

живая сила все растущего сознания солидарности всех рабочих. Все, что делаете вы,— преступно, ибо направлено к порабощению людей, наша работа освобождает мир от призраков и чудовищ, рожденных вашею ложью, злобой, жадностью, чудовищ, запугавших народ. Вы оторвали человека от жизни и разрушили его; социализм соединяет разрушенный вами мир во единое великое целое, и это — будет!

Павел остановился на секунду и повторил тише, сильнее:

— Это — будет!

Судьи перешептывались, странно гримасничая, и всё не отрывали жадных глаз от Павла, а мать чувствовала, что они грязнят его гибкое, крепкое тело своими взглядами, завидуя здоровью, силе, свежести. Подсудимые внимательно слушали речь товарища, лица их побледнели, глаза сверкали радостно. Мать глотала слова сына, и они врезывались в памяти ее стройными рядами. Старичок несколько раз останавливал Павла, что-то разъяснял ему, однажды даже печально улыбнулся — Павел молча выслушивал его и снова начинал говорить сурово, но спокойно, заставляя слушать себя, подчиняя своей воле — волю судей. Но наконец старик закричал, протягивая руку к Павлу; в ответ ему, немного насмешливо, лился голос Павла:

— Я кончаю. Обидеть лично вас я не хотел, напротив — присутствуя невольно при этой комедии, которую вы называете судом, я чувствую почти сострадание к вам. Все-таки — вы люди, а нам всегда обидно видеть людей, хотя и враждебных нашей цели, но так позорно приниженных служением насилию, до такой степени утративших сознание своего человеческого достоинства...

Он сел, не глядя на судей, мать, сдерживая дыхание, пристально смотрела на судей, ждала.

Андрей, весь сияющий, крепко стиснул руку Павла, Самойлов, Мазин и все оживленно потянулись к нему, он улыбался, немного смущенный порывами товарищей, взглянул туда, где сидела мать, и кивнул ей головой, как бы спрашивая:

«Так?»

Она ответила ему глубоким вздохом радости, вся облитая горячей волной любви.

— Вот,— начался суд! — прошептал Сизов.— Ка-ак он их, а?

Она молча кивала головой, довольная тем, что сын так смело говорил,— быть может, еще более довольная тем, что он кончил. В голове ее трепетно бился вопрос:

«Ну? Как же вы теперь?»

XXVI

То, что говорил сын, не было для нее новым, она знала эти мысли, но первый раз здесь, перед лицом суда, она почувствовала странную, увлекающую силу его веры. Ее поразило спокойствие Павла, и речь его слилась в ее груди звездоподобным, лучистым комом крепкого убеждения в его правоте и в победе его. Она ждала теперь, что судьи будут жестоко спорить с ним, сердито возражать ему, выдвигая свою правду. Но вот встал Андрей, покачнулся, исподлобья взглянул на судей и заговорил:

— Господа защитники...

— Перед вами суд, а не защита! — сердито и громко заметил ему судья с больным лицом. По выражению лица Андрея мать видела, что он хочет дурить, усы у него дрожали, в глазах светилась хитрая кошачья ласка, знакомая ей. Он крепко потер голову длинной рукой и вздохнул.

— Разве ж? — сказал он, покачивая головой.— Я думаю — вы не судьи, а только защитники...

— Я попрошу вас говорить по существу дела! — сухо заметил старичок.

— По существу? Хорошо! Я уже заставил себя подумать, что вы действительно судьи, люди независимые, честные...

— Суд не нуждается в вашей характеристике!

— Не нуждается? Гм,— ну, все ж я буду продолжать... Вы люди, для которых нет ни своих, ни чужих, вы — свободные люди. Вот стоят перед вами две стороны, и одна жалуется — он меня ограбил и замордовал совсем! А другая отвечает — имею право грабить и мордовать, потому что у меня ружье есть...

— Вы имеете сказать что-нибудь по существу? — повышая голос, спросил старичок. У него дрожала рука, и матери было приятно видеть, что он сердится. Но поведение Андрея не нравилось ей — оно не сливалось с речью сына,— ей хотелось серьезного и строгого спора.

Хохол молча посмотрел на старичка, потом, потирая голову, сказал серьезно:

— По существу? Да зачем же я с вами буду говорить по существу? Что нужно было вам знать — товарищ сказал. Остальное вам доскажут, будет время, другие...

Старичок привстал и объявил:

— Лишаю вас слова! Григорий Самойлов!

Плотно сжав губы, хохол лениво опустился на скамью, рядом с ним встал Самойлов, тряхнув кудрями.

— Прокурор называл товарищей дикарями, врагами культуры...

— Нужно говорить только о том, что касается вашего дела!

— Это — касается. Нет ничего, что не касалось бы честных людей. И я прошу не прерывать меня. Я спрашиваю вас — что такое ваша культура?

— Мы здесь не для диспутов с вами! К делу! — обнажая зубы, говорил старичок.

Поведение Андрея явно изменило судей, его слова как бы стерли с них что-то, на серых лицах явились пятна, в глазах горели холодные, зеленые искры. Речь Павла раздражила их, но сдерживала раздражение своей силой, невольно внушавшей уважение, хохол сорвал эту сдержанность и легко обнажил то, что было под нею. Они перешептывались со странными ужимками и стали двигаться слишком быстро для себя.

— Вы воспитываете шпионов, вы развращаете женщин и девушек, вы ставите человека в положение вора и убийцы, вы отравляете его водкой,— международные бойни, всенародная ложь, разврат и одичание — вот культура ваша! Да, мы враги этой культуры!

— Прошу вас! — крикнул старичок, встряхивая подбородком. Но Самойлов, весь красный, сверкая глазами, тоже кричал:

— Но мы уважаем и ценим ту, другую культуру, творцов которой вы гноили в тюрьмах, сводили с ума...

— Лишаю слова! Федор Мазин!

Маленький Мазин поднялся, точно вдруг высунулось шило, и срывающимся голосом сказал:

— Я... я клянусь! Я знаю — вы осудили меня.

Он задохнулся, побледнел, на лице у него остались одни глаза, и, протянув руку, он крикнул:

— Я — честное слово! Куда вы ни пошлете меня — убегу, ворочусь, буду работать всегда, всю жизнь. Честное слово!

Сизов громко крякнул, завозился. И вся публика, поддаваясь все выше восходившей волне возбуждения, гудела странно и глухо. Плакала какая-то женщина, кто-то удушливо кашлял. Жандармы рассматривали подсудимых с тупым удивлением, публику — со злобой. Судьи качались, старик тонко кричал:

— Гусев Иван!

— Не хочу говорить!

— Василий Гусев!

— Не хочу!

— Букин Федор!

Тяжело поднялся белесоватый, выцветший парень и, качая головой, медленно сказал:

— Стыдились бы! Я человек тяжелый и то понимаю справедливость! — Он поднял руку выше головы и замолчал, полузакрыв глаза, как бы присматриваясь к чему-то вдали.

— Что такое? — раздраженно, с изумлением вскричал старик, опрокидываясь в кресле.

— А, ну вас...

Букин угрюмо опустился на скамью. Было огромное, важное в его темных словах, было что-то грустно укоряющее и наивное. Это почувствовалось всеми, и даже судьи прислушивались, как будто ожидая, не раздастся ли эхо, более ясное, чем эти слова. И на скамьях для публики все замерло, только тихий плач колебался в воздухе. Потом прокурор, пожав плечами, усмехнулся, предводитель дворянства гулко кашлянул, и снова постепенно родились шепоты, возбужденно извиваясь по залу.

Мать, наклонясь к Сизову, спросила:

— Будут судьи говорить?

— Все кончено... только приговор объявят...

— Больше ничего?

— Да...

Она не поверила ему.

Самойлова беспокойно двигалась по скамье, толкая мать плечом и локтем, и тихо говорила мужу:

— Как же это? Разве так можно?

— Видишь — можно!

— Что же будет ему, Грише-то?

— Отвяжись...

Во всех чувствовалось что-то сдвинутое, нарушенное, разбитое, люди недоуменно мигали ослепленными глазами, как будто перед ними загорелось нечто яркое, неясных очертаний, непонятного значения, но вовлекающей силы. И, не понимая внезапно открывавшегося великого, люди торопливо расходовали новое для них чувство на мелкое, очевидное, понятное им. Старший Букин, не стесняясь, громко шептал:

— Позвольте,— почему не дают говорить? Прокурор может говорить все и сколько хочет...

У скамей стоял чиновник и, махая руками на людей, вполголоса говорил:

— Тише! Тише...

Самойлов откинулся назад и за спиной жены гудел, отрывисто выбрасывая слова:

— Конечно, они виноваты, скажем. А ты дай объяснить! Против чего пошли они? Я желаю понять! Я тоже имею свой интерес...

— Тише! — грозя ему пальцем, воскликнул чиновник.

Сизов угрюмо кивал головой.

А мать неотрывно смотрела на судей и видела — они все более возбуждались, разговаривая друг с другом невнятными голосами. Звук их говора, холодный и скользкий, касался ее лица и вызывал своим прикосновением дрожь в щеках, недужное, противное ощущение во рту. Матери почему-то казалось, что они все говорят о теле ее сына и товарищей его, о мускулах и членах юношей, полных горячей крови, живой силы. Это тело зажигает в них нехорошую зависть нищих, липкую жадность истощенных и больных. Они чмокают губами и жалеют эти тела, способные работать и обогащать, наслаждаться и творить. Теперь тела уходят из делового оборота жизни, отказываются от нее, уносят с собой возможность владеть ими, использовать их силу, пожрать ее. И поэтому юноши вызывают у старых судей мстительное, тоскливое раздражение ослабевшего зверя, который видит свежую пищу, но уже не имеет силы схватить ее, потерял способность насыщаться чужою силой и болезненно ворчит, уныло воет, видя, что уходит от него источник сытости.

Эта мысль, грубая и странная, принимала тем более яркую форму, чем внимательнее разглядывала мать судей. Они не скрывали, казалось ей, возбужденной жадности и бессильного озлобления голодных, которые когда-то много могли пожрать. Ей, женщине и матери, которой тело сына всегда и все-таки дороже того, что зовется душой,— ей было страшно видеть, как эти потухшие глаза ползали по его лицу, ощупывали его грудь, плечи, руки, терлись о горячую кожу, точно искали возможности вспыхнуть, разгореться и согреть кровь в отвердевших жилах, в изношенных мускулах полумертвых людей, теперь несколько оживленных уколами жадности и зависти к молодой жизни, которую они должны были осудить и отнять у самих себя. Ей казалось, что сын чувствует эти сырые, неприятно щекочущие прикосновения и, вздрагивая, смотрит на нее.

Павел смотрел в лицо матери немного усталыми глазами спокойно и ласково. Порою кивал ей головой, улыбался.

«Скоро свобода!» — говорила ей эта улыбка и точно гладила сердце матери мягкими прикосновениями.

Вдруг судьи встали все сразу. Мать тоже невольно поднялась на ноги.

— Пошли! — сказал Сизов.

— За приговором? — спросила мать.

— Да...

Ее напряжение вдруг рассеялось, тело обняло душной истомой усталости, задрожала бровь, и на лбу выступил пот. Тягостное чувство разочарования и обиды хлынуло в сердце и быстро переродилось в угнетающее душу презрение к судьям и суду. Ощущая боль в бровях, она крепко провела ладонью по лбу, оглянулась — родственники подсудимых подходили к решетке, зал наполнился гулом разговора. Она тоже подошла к Павлу и, крепко стиснув его руку, заплакала, полная обиды и радости, путаясь в хаосе разноречивых чувств. Павел говорил ей ласковые слова, хохол шутил и смеялся.

Все женщины плакали, но больше по привычке, чем от горя. Горя, ошеломляющего внезапным, тупым ударом, неожиданно и невидимо падающего на голову, не было,— было печальное сознание необходимости расстаться с детьми, но и оно тонуло, растворялось в впечатлениях, вызванных этим днем. Отцы и матери смотрели на детей со смутным чувством, где недоверие к молодости, привычное сознание своего превосходства над детьми странно сливалось с другим чувством, близким уважению к ним, и печальная, безотвязная дума, как теперь жить, притуплялась о любопытство, возбужденное юностью, которая смело и бесстрашно говорит о возможности другой, хорошей жизни. Чувства сдерживались неумением выражать их, слова тратились обильно, но говорили о простых вещах, о белье и одежде, о необходимости беречь здоровье.

А брат Букина, взмахивая руками, убеждал младшего брата:

— Именно — справедливость! И больше ничего!

Младший Букин отвечал:

— Ты скворца береги...

— Будет цел!..

А Сизов держал племянника за руку и медленно говорил:

— Так, Федор, значит, поехал ты...

Федя наклонился и прошептал ему что-то на ухо, плутовато улыбаясь. Конвойный солдат тоже улыбнулся, но тотчас же сделал суровое лицо и крякнул.

Мать говорила с Павлом, как и другие, о том же — о платье, о здоровье, а в груди у нее толкались десятки вопросов

о Саше, о себе, о нем. Но подо всем этим лежало и медленно разрасталось чувство избытка любви к сыну, напряженное желание нравиться ему, быть ближе его сердцу. Ожидание страшного умерло, оставив по себе только неприятную дрожь при воспоминании о судьях да где-то в стороне темную мысль о них. Чувствовала она в себе зарождение большой, светлой радости, не понимала ее и смущалась. Видя, что хохол говорит со всеми, понимая, что ему нужна ласка более, чем Павлу, она заговорила с ним:

— Не понравился мне суд!

— А почему, ненько? — благодарно улыбаясь, воскликнул хохол.— Стара мельница, а — не бездельница...

— И не страшно, и не понятно людям — чья же правда? — нерешительно сказала она.

— Ого, чего вы захотели! — воскликнул Андрей.— Да разве здесь о правде тягаются?..

Вздохнув и улыбаясь, она сказала:

— Я ведь думала, что — страшно...

— Суд идет!

Все быстро кинулись на места.

Упираясь одною рукою о стол, старший судья, закрыв лицо бумагой, начал читать ее слабо жужжавшим, шмелиным голосом.

— Приговаривает! — сказал Сизов, вслушиваясь.

Стало тихо. Все встали, глядя на старика. Маленький, сухой, прямой, он имел что-то общее с палкой, которую держит невидимая рука. Судьи тоже стояли: волостной — наклонив голову на плечо и глядя в потолок, голова — скрестив на груди руки, предводитель дворянства — поглаживая бороду. Судья с больным лицом, его пухлый товарищ и прокурор смотрели в сторону подсудимых. А сзади судей, с портрета, через их головы, смотрел царь, в красном мундире, с безразличным белым лицом, и по лицу его ползало какое-то насекомое.

— На поселение! — облегченно вздохнув, сказал Сизов.— Ну, кончено, слава тебе, господи! Говорилось — каторга! Ничего, мать! Это ничего!

— Я ведь — знала,— ответила она усталым голосом.

— Все-таки! Теперь уж верно! А то кто их знает? — Он обернулся к осужденным, которых уже уводили, и громко сказал:

— До свиданья, Федор! И — все! Дай вам бог!

Мать молча кивала головой сыну и всем. Хотелось заплакать, но было совестно.

XXVII

Она вышла из суда и удивилась, что уже ночь над городом, фонари горят на улице и звезды в небе. Около суда толпились кучки людей, в морозном воздухе хрустел снег, звучали молодые голоса, пересекая друг друга. Человек в сером башлыке заглянул в лицо Сизова и торопливо спросил:

— Какой приговор?

— Поселение.

— Всем?

— Всем.

— Спасибо!

Человек отошел.

— Видишь? — сказал Сизов.— Спрашивают...

Вдруг их окружило человек десять юношей и девушек, и быстро посыпались восклицания, привлекавшие людей. Мать и Сизов остановились. Спрашивали о приговоре, о том, как держались подсудимые, кто говорил речи, о чем, и во всех вопросах звучала одна и та же нота жадного любопытства,— искреннее и горячее, оно возбуждало желание удовлетворить его.

— Господа! Это мать Павла Власова! — негромко крикнул кто-то, и не сразу, но быстро все замолчали.

— Позвольте пожать вам руку!

Чья-то крепкая рука стиснула пальцы матери, чей-то голос взволнованно заговорил:

— Ваш сын будет примером мужества для всех нас...

— Да здравствует русский рабочий! — раздался звонкий крик.

Крики росли, умножались, вспыхивали там и тут, отовсюду бежали люди, сталкиваясь вокруг Сизова и матери. Запрыгали по воздуху свистки полиции, но трели их не заглушали криков. Старик смеялся, а матери все это казалось милым сном. Она улыбалась, пожимала руки, кланялась, и хорошие, светлые слезы сжимали горло, ноги ее дрожали от усталости, но сердце, насыщенное радостью, все поглощая, отражало впечатления подобно светлому лику озера. А близко от нее чей-то ясный голос нервно говорил:

— Товарищи! Чудовище, пожирающее русский народ, сегодня снова проглотило своей бездонной, жадной пастью...

— Однако, мать, идем! — сказал Сизов.

И в то же время откуда-то явилась Саша, взяла мать под руку и быстро потащила за собой на другую сторону улицы, говоря:

— Идите,— пожалуй, будут бить. Или арестуют. Поселение? В Сибирь?

— Да, да!

— А как он говорил? Я, впрочем, знаю. Он был всех сильнее и проще, всех суровее, конечно. Он чуткий, нежный, но только стыдится открыть себя.

Ее горячий полушепот, слова любви ее, успокаивая волнение матери, поднимали ее упавшие силы.

— Когда поедете к нему? — тихонько и ласково спросила она Сашу, прижимая ее руку к своему телу. Уверенно глядя вперед, девушка ответила:

— Как только найду кого-нибудь, кто бы взял мою работу. Ведь я тоже жду приговора. Вероятно, они меня тоже в Сибирь,— я заявлю тогда, что желаю быть поселенной в той местности, где будет он.

Сзади раздался голос Сизова:

— Кланяйтесь тогда ему от меня! Сизов, мол. Он знает. Дядя Федора Мазина...

Саша остановилась, обернулась, протягивая руку.

— Я знакома с Федей. Меня зовут Александра.

— А по батюшке?

Она взглянула на него и ответила:

— У меня нет отца.

— Помер, значит...

— Нет, он жив! — возбужденно ответила девушка, и что-то упрямое, настойчивое прозвучало в ее голосе, явилось на лице.— Он помещик, теперь — земский начальник, он обворовывает крестьян...

— Та-ак! — подавленно отозвался Сизов и, помолчав, сказал, идя рядом с девушкой и поглядывая на нее сбоку:

— Ну, мать, прощай! Мне налево идти. До свиданья, барышня,— строго вы насчет отца-то! Конечно, ваше дело...

— Ведь если ваш сын — дрянной человек, вредный людям, противный вам — вы это скажете? — страстно крикнула Саша.

— Ну,— скажу! — не вдруг ответил старик.

— Значит, вам справедливость — дороже сына, а мне она— дороже отца...

Сизов улыбнулся, качая головой, потом сказал, вздохнув:

— Ну-ну! Ловко вы! Коли надолго вас хватит — одолеете вы стариков,— напор у вас большой!.. Прощайте, желаю вам всякого доброго! И к людям — подобрее, а? Прощай, Ниловна! Увидишь Павла, скажи — слышал, мол, речь его. Не все понятно, даже страшно иное, но — скажи — верно!

Он приподнял шапку и степенно повернул за угол улицы.

— Хороший, должно быть, человек! — заметила Саша, проводив его улыбающимся взглядом своих больших глаз.

Матери показалось, что сегодня лицо девушки мягче и добрее, чем всегда.

Дома они сели на диван, плотно прижавшись друг к другу, и мать, отдыхая в тишине, снова заговорила о поездке Саши к Павлу. Задумчиво приподняв густые брови, девушка смотрела вдаль большими, мечтающими глазами, по ее бледному лицу разлилось спокойное созерцание.

— Потом, когда родятся у вас дети,— приеду я к вам, буду нянчиться с ними. И заживем мы там не хуже здешнего. Работу Паша найдет, руки у него золотые...

Окинув мать пытливым взглядом, Саша спросила:

— А вам разве не хочется сейчас ехать за ним?

Вздохнув, мать сказала:

— На что я ему? Только помешаю, в случае побега. Да и не согласился бы он...

Саша кивнула головой.

— Не согласится.

— К тому же я — при деле! — добавила мать с легкой гордостью.

— Да! — задумчиво отозвалась Саша.— Это хорошо...

И вдруг, вздрогнув, как бы сбрасывая с себя что-то, заговорила просто и негромко:

— Жить он там не станет. Он — уйдет, конечно...

— А как же вы?.. И дитя, в случае?..

— Там увидим. Он не должен считаться со мной, и я не буду стеснять его. Мне будет тяжело расстаться с ним, но, разумеется, я справлюсь. Я не стесню его, нет.

Мать почувствовала, что Саша способна сделать так, как говорит, ей стало жалко девушку. Обняв ее, она сказала:

— Милая вы моя, трудно вам будет!

Саша мягко улыбнулась, прижимаясь к ней всем телом.

Явился Николай, усталый, и, раздеваясь, торопливо заговорил:

— Ну, Сашенька, вы убирайтесь, пока целы! За мной с утра гуляют два шпиона, и так открыто, что дело пахнет арестом. У меня — предчувствие. Что-то где-то случилось. Кстати, вот у меня речь Павла, ее решено напечатать. Несите ее к Людмиле, умоляйте работать быстрее. Павел говорил славно, Ниловна!.. Берегитесь шпионов, Саша...

Говоря, он крепко растер озябшие руки и, подойдя к столу, начал поспешно выдвигать ящики, выбирая из них бумаги, одни рвал, другие откладывал в сторону, озабоченный и растрепанный.

— Давно ли я все вычистил, а уж опять вот сколько накопилось всякой всячины,— черт! Видите ли, Ниловна, вам, пожалуй, тоже лучше не ночевать дома, а? Присутствовать при этой музыке довольно скучно, а они могут и вас посадить,— вам же необходимо будет поездить туда и сюда с речью Павла...

— Ну, на что я им? — сказала мать.

Николай, помахивая кистью руки перед глазами, уверенно сказал:

— У меня есть нюх. К тому же вы могли бы помочь Людмиле, а? Идите-ка подальше от греха...

Возможность принять участие в печатании речи сына была приятна ей, она ответила:

— Коли так — я уйду.

И, неожиданно для себя самой, сказала уверенно, но негромко:

— Теперь я ничего не боюсь,— слава тебе, Христе!

— Чудесно! — воскликнул Николай, не глядя на нее.— Вот что — вы мне скажите, где чемодан мой и мое белье, а то вы забрали все в свои хищнические руки, и я совершенно лишен возможности свободно распоряжаться личной собственностью.

Саша молча жгла в печке обрывки бумаг и, когда они сгорали, тщательно мешала пепел с золой.

— Вы, Саша, уходите! — сказал Николай, протянув ей руку.— До свиданья! Не забывайте книгами, если явится что-нибудь интересное. Ну, до свиданья, дорогой товарищ! Будьте осторожнее...

— Вы рассчитываете надолго? — спросила Саша.

— А черт их знает! Вероятно, за мной кое-что есть. Ниловна, идите вместе, а? За двоими труднее следить,— хорошо?

— Иду! — ответила мать.— Сейчас оденусь...

Она внимательно следила за Николаем, но, кроме озабоченности, заслонившей обычное, доброе и мягкое выражение лица, не замечала ничего. Ни лишней суетливости движений, никакого признака волнения не видела она в этом человеке, дорогом ей более других. Ко всем одинаково внимательный, со всеми ласковый и ровный, всегда спокойно одинокий, он для всех оставался таким же, как и прежде, живущим тайною жизнью внутри себя и где-то впереди людей. Но она знала, что он подошел к ней ближе всех, и любила его осторожной и как бы

в самое себя не верящей любовью. Теперь ей было нестерпимо жаль его, но она сдерживала свое чувство, зная, что, если покажет его, Николай растеряется, сконфузится и станет, как всегда, смешным немного,— ей не хотелось видеть его таким.

Она снова вошла в комнату, он, пожимая руку Саши, говорил:

— Чудесно! Это, я уверен, очень хорошо для него и для вас. Немножко личного счастья — это не вредно. Вы готовы, Ниловна?

Он подошел к ней, улыбаясь и поправляя очки.

— Ну, до свиданья, я хочу думать — месяца на три, на четыре, на полгода, наконец! Полгода — это очень много жизни... Берегите себя, пожалуйста, а? Давайте обнимемся...

Худой и тонкий, он охватил ее шею своими крепкими руками, взглянул в ее глаза и засмеялся, говоря:

— Я, кажется, влюбился в вас,— все обнимаюсь!

Она молчала, целуя его лоб и щеки, а руки у нее тряслись. Чтобы он не заметил этого, она разжала их.

— Смотрите, завтра — осторожнее! Вы вот что, пошлите утром мальчика — там у Людмилы есть такой мальчуган — пускай он посмотрит. Ну, до свиданья, товарищи! Все хорошо!..

На улице Саша тихонько сказала матери:

— Вот так же просто он пойдет на смерть, если будет нужно, и так же, вероятно, немножко заторопится. А когда смерть взглянет в его лицо, он поправит очки, скажет — чудесно! — и умрет.

— Люблю я его! — прошептала мать.

— Я удивляюсь, а любить — нет! Уважаю — очень. Он както сух, хотя добр и даже, пожалуй, нежен иногда, но все это— недостаточно человеческое... Кажется, за нами следят? Давайте разойдемся. И не входите к Людмиле, если вам покажется, что есть шпион.

— Я знаю! — сказала мать. Но Саша настойчиво прибавила:

— Не входите! Тогда — ко мне. Прощайте пока!

Она быстро повернулась и пошла обратно.

XXVIII

Через несколько минут мать сидела, греясь у печки, в маленькой комнатке Людмилы. Хозяйка в черном платье, подпоясанном ремнем, медленно расхаживала по комнате, наполняя ее шелестом и звуками командующего голоса.

В печи трещал и выл огонь, втягивая воздух из комнаты, ровно звучала речь женщины.

— Люди гораздо более глупы, чем злы. Они умеют видеть только то, что близко к ним, что можно взять сейчас. А все близкое — дешево, дорого — далекое. Ведь, в сущности, всем было бы выгодно и приятно, если бы жизнь стала иной, более легкой, люди — более разумными. Но для этого сейчас же необходимо побеспокоить себя...

Вдруг остановясь против матери, она сказала тише и как бы извиняясь:

— Редко вижу людей, и когда кто-нибудь заходит, начинаю говорить. Смешно?

— Почему же? — отозвалась мать. Она старалась догадаться, где эта женщина печатает, и не видела ничего необычного. В комнате, с тремя окнами на улицу, стоял диван и шкаф для книг, стол, стулья, у стены постель, в углу около нее умывальник, в другом — печь, на стенах фотографии картин. Все было новое, крепкое, чистое, и на все монашеская фигура хозяйки бросала холодную тень. Чувствовалось что-то затаенное, спрятанное, но было непонятно где. Мать осмотрела двери — через одну она вошла сюда из маленькой прихожей, около печи была другая дверь, узкая и высокая.

— Я к вам по делу! — смущенно сказала она, заметив, что хозяйка наблюдает за нею.

— Я знаю! Ко мне не ходят иначе...

Что-то странное почудилось матери в голосе Людмилы, она взглянула ей в лицо, та улыбалась углами тонких губ, за стеклами очков блестели матовые глаза. Отводя свой взгляд в сторону, мать подала ей речь Павла.

— Вот, просят напечатать поскорее...

И стала рассказывать о приготовлениях Николая к аресту.

Людмила, молча сунув бумагу за пояс, села на стул, на стеклах ее очков отразился красный блеск огня, его горячие улыбки заиграли на неподвижном лице.

— Когда они придут ко мне — я буду стрелять в них! — негромко и решительно проговорила она, выслушав рассказ матери.— Я имею право защищаться от насилия, и я должна бороться с ним, если других призываю к этому.

Отблески огня соскользнули с лица ее, и снова оно сделалось суровым, немного надменным.

«Нехорошо тебе живется!» — вдруг ласково подумала мать.

Людмила начала читать речь Павла нехотя, потом все ближе наклонялась над бумагой, быстро откидывая прочитанные листки в сторону, а прочитав, встала, выпрямилась, подошла к матери.

— Это — хорошо!

Она подумала, опустив на минуту голову.

— Я не хотела говорить с вами о вашем сыне — не встречалась с ним и не люблю печальных разговоров. Я знаю, что это значит, когда близкий идет в ссылку! Но — мне хочется спросить вас — хорошо иметь такого сына?..

— Да, хорошо! — сказала мать.

— И — страшно, да?

Спокойно улыбаясь, мать ответила:

— Теперь уж — не страшно...

Людмила, поправляя смуглой рукой гладко причесанные волосы, отвернулась к окну. Легкая тень трепетала на ее щеках, может быть, тень подавленной улыбки.

— Я живо наберу. Вы ложитесь, у вас был трудный день, устали. Ложитесь здесь, на кровати, я не буду спать и ночью, может быть, разбужу вас помочь мне... Когда ляжете, погасите лампу.

Она подбросила в печь два полена дров, выпрямилась и ушла в узкую дверь около печи, плотно притворив ее за собой. Мать посмотрела вслед ей и стала раздеваться, думая о хозяйке:

«О чем-то тоскует...»

Усталость кружила ей голову, а на душе было странно спокойно и все в глазах освещалось мягким и ласковым светом, тихо и ровно наполнявшим грудь. Она уже знала это спокойствие, оно являлось к ней всегда после больших волнений и — раньше — немного тревожило ее, но теперь только расширяло душу, укрепляя ее большим и сильным чувством. Она погасила лампу, легла в холодную постель, съежилась под одеялом и быстро уснула крепким сном...

А когда открыла глаза — комната была полна холодным белым блеском ясного зимнего дня, хозяйка с книгою в руках лежала на диване и, улыбаясь не похоже на себя, смотрела ей в лицо.

— Ой, батюшки! — смущенно воскликнула мать.— Вот как я,— много время-то, а?

— Доброе утро! — отозвалась Людмила.— Скоро десять, вставайте, будем чай пить.

— Что же вы меня не разбудили?

— Хотела. Подошла к вам, а вы так хорошо улыбались во сне...

Гибким движением всего тела она поднялась с дивана, подошла к постели, наклонилась к лицу матери, и в ее матовых глазах мать увидала что-то родное, близкое и понятное.

— Мне стало жалко помешать вам, может быть, вы видели счастливый сон...

— Ничего не видела!

— Ну, все равно! Но мне понравилась ваша улыбка. Спокойная такая, добрая... большая!

Людмила засмеялась, смех ее звучал негромко, бархатисто.

— Я и задумалась о вас... Трудно вам живется!

Мать, двигая бровями, молчала, думая.

— Конечно, трудно! — воскликнула Людмила.

— Не знаю уж! — осторожно сказала мать.— Иной раз покажется трудно. А всего так много, все такое серьезное, удивительное, двигается одно за другим скоро, скоро так...

Знакомая ей волна бодрого возбуждения поднималась в груди, наполняя сердце образами и мыслями. Она села на постели, торопливо одевая мысли словами.

— Идет, идет,— все к одному... Много тяжелого, знаете! Люди страдают, бьют их, жестоко бьют, и многие радости запретны им,— очень это тяжело!

Людмила, быстро вскинув голову, взглянула на нее обнимающим взглядом и заметила:

— Вы говорите не о себе!

Мать посмотрела на нее, встала с постели и, одеваясь, говорила:

— Да как же отодвинешь себя в сторону, когда и того любишь, и этот дорог, и за всех боязно, каждого жалко, все толкается в сердце... Как отойдешь в сторону?

Стоя среди комнаты полуодетая, она на минуту задумалась. Ей показалось, что нет ее, той, которая жила тревогами и страхом за сына, мыслями об охране его тела, нет ее теперь — такой, она отделилась, отошла далеко куда-то, а может быть, совсем сгорела на огне волнения, и это облегчило, очистило душу, обновило сердце новой силой. Она прислушивалась к себе, желая заглянуть в свое сердце и боясь снова разбудить там что-либо старое, тревожное.

— О чем задумались? — ласково спросила хозяйка, подходя к ней.

— Не знаю! — ответила мать.

Помолчали, глядя друг на друга, улыбнулись обе, потом Людмила пошла из комнаты, говоря:

— Что-то делает мой самовар?

Мать посмотрела в окно, на улице сиял холодный, крепкий день, в груди ее тоже было светло, но жарко. Хотелось говорить обо всем, много, радостно, со смутным чувством благодарности кому-то неизвестному за все, что сошло в душу и рдело там вечерним предзакатным светом. Давно не возникавшее желание молиться волновало ее. Чье-то молодое лицо вспомнилось, звонкий голос крикнул в памяти — «это мать Павла Власова!..». Сверкнули радостно и нежно глаза Саши, встала темная фигура Рыбина, улыбалось бронзовое, твердое лицо сына, смущенно мигал Николай, и вдруг все всколыхнулось глубоким, легким вздохом, слилось и спуталóсь в прозрачное, разноцветное облако, обнявшее все мысли чувством покоя.

— Николай был прав! — сказала Людмила, входя.— Его арестовали. Я посылала туда мальчика, как вы сказали. Он говорил, что на дворе полиция, видел полицейского, который прятался за воротами. И ходят сыщики, мальчик их знает.

— Так! — сказала мать, кивая головой.— Ах, бедный...

Вздохнула, но — без печали, и тихонько удивилась этому.

— Он последнее время много читал среди городских рабочих, и вообще ему пора было провалиться! — хмуро и спокойно заметила Людмила.— Товарищи говорили — уезжай! Не послушал! По-моему — в таких случаях надо заставлять, а не уговаривать...

В двери встал черноволосый и румяный мальчик с красивыми синими глазами и горбатым носом.

— Я внесу самовар? — звонко спросил он.

— Пожалуйста, Сережа! Мой воспитанник.

Матери казалось, что Людмила сегодня иная, проще и ближе ей. В гибких колебаниях ее стройного тела было много красоты и силы, несколько смягчавшей строгое и бледное лицо. За ночь увеличились круги под ее глазами. И чувствовалось в ней напряженное усилие, туго натянутая струна в душе.

Мальчик внес самовар.

— Знакомься, Сережа! Пелагея Ниловна, мать того рабочего, которого вчера осудили.

Сережа молча поклонился, пожал руку матери, вышел, принес булки и сел за стол. Людмила, наливая чай, убеждала мать не ходить домой до поры, пока не выяснится, кого там ждет полиция.

— Может быть — вас! Вас, наверное, будут допрашивать...

— Пускай допрашивают! — отозвалась мать.— И арестуют — не велика беда. Только бы сначала Пашину речь разослать.

— Она уже набрана. Завтра можно будет иметь ее для города и слободы... Вы знаете Наташу?

— Как же!

— Отвезете ей...

Мальчик читал газету и как будто не слышал ничего, но порою глаза его смотрели из-за листа в лицо матери, и, когда она встречала их живой взгляд, ей было приятно, она улыбалась. Людмила снова вспоминала Николая без сожаления об его аресте, а матери казался вполне естественным ее тон. Время шло быстрее, чем в другие дни,— когда кончили пить чай, было уже около полудня.

— Однако! — воскликнула Людмила.

И в то же время торопливо постучали. Мальчик встал, вопросительно взглянул на хозяйку, прищурив глаза.

— Отопри, Сережа. Кто бы это?

И спокойным движением она опустила руку в карман юбки, говоря матери:

— Если жандармы, вы, Пелагея Ниловна, встаньте вот сюда, в этот угол. А ты, Сережа...

— Я знаю! — тихо ответил мальчик, исчезая.

Мать улыбнулась. Ее эти приготовления не взволновали — в ней не было предчувствия беды.

Вошел маленький доктор. Он торопливо говорил:

— Во-первых, Николай арестован. Ага, вы здесь, Ниловна? Вас не было во время ареста?

— Он меня отправил сюда.

— Гм,— я не думаю, что это полезно для вас!.. Во-вторых, сегодня в ночь разные молодые люди напечатали на гектографах штук пятьсот речи. Я видел — сделано недурно, четко, ясно. Они хотят вечером разбросать по городу. Я — против,— для города удобнее печатные листки, а эти следует отправить куда-нибудь.

— Вот я и отвезу их Наташе! — живо воскликнула мать.— Давайте-ка!

Ей страшно захотелось скорее распространить речь Павла, осыпать всю землю словами сына, и она смотрела в лицо доктора ожидающими ответа глазами, готовая просить.

— Черт знает, насколько удобно вам теперь взяться за это! — нерешительно сказал доктор и вынул часы.— Теперь

одиннадцать сорок три,— поезд в два пять, дорога туда — пять пятнадцать. Вы приедете вечером, но недостаточно поздно. И не в этом дело...

— Не в этом! — повторила хозяйка, нахмурив брови.

— А в чем? — спросила мать, подвигаясь к ним.— Только в том, чтобы хорошо сделать...

Людмила пристально взглянула на нее и, потирая лоб, заметила:

— Вам — опасно...

— Почему? — горячо и требовательно воскликнула мать.

— Вот — почему! — заговорил доктор быстро и неровно.— Вы исчезли из дому за час до ареста Николая. Вы уехали на завод, где вас знают как тетку учительницы. После вашего приезда на заводе явились вредные листки. Все это захлестывается в петлю вокруг вашей шеи.

— Меня там не заметят! — убеждала мать, разгораясь.— А ворочусь, арестуют, спросят, где была...

Остановясь на секунду, она воскликнула:

— Я знаю, как сказать! Оттуда я проеду прямо в слободу, там у меня знакомый есть, Сизов,— так я скажу, что, мол, прямо из суда пришла к нему, горе, мол, привело. А у него тоже горе — племянника осудили. Он покажет так же. Видите?

Чувствуя, что они уступят силе ее желания, стремясь скорее побудить их к этому, она говорила все более настойчиво. И они уступили.

— Что ж, поезжайте! — неохотно согласился доктор.

Людмила молчала, задумчиво прохаживаясь по комнате. Лицо у нее потускнело, осунулось, а голову она держала, заметно напрягая мускулы шеи, как будто голова вдруг стала тяжелой и невольно опускалась на грудь. Мать заметила это.

— Всё вы бережете меня! — улыбаясь, сказала она.— Себя не бережете...

— Неверно! —ответил доктор.— Мы себя бережем, должны беречь! И очень ругаем того, кто бесполезно тратит силу свою, да-с! Теперь вот что — речь вы получите на вокзале...

Он объяснил ей, как это будет сделано, потом взглянул в лицо ее, сказал:

— Ну, желаю успеха!

И ушел, все-таки недовольный чем-то. Когда дверь закрылась за ним, Людмила подошла к матери, беззвучно смеясь.

— Я понимаю вас...

Взяв ее под руку, она снова тихо зашагала по комнате.

— У меня тоже есть сын. Ему уже тринадцать лет, но он живет у отца. Мой муж — товарищ прокурора. И мальчик — с ним. Чем он будет? — часто думаю я...

Ее влажный голос дрогнул, потом снова задумчиво и тихо полилась речь:

— Его воспитывает сознательный враг тех людей, которые мне близки, которых я считаю лучшими людьми земли. Сын может вырасти врагом моим. Со мною жить ему нельзя, я живу под чужим именем. Восемь лет не видела я его,— это много — восемь лет!

Остановясь у окна, она смотрела в бледное, пустынное небо, продолжая:

— Если бы он был со мной — я была бы сильнее, не имела бы раны в сердце, которая всегда болит. И даже если бы он умер — мне легче было бы...

— Голубушка вы моя! — тихонько сказала мать, чувствуя, как сострадание жжет ей сердце.

— Вы счастливая! — с усмешкой молвила Людмила.— Это великолепно — мать и сын рядом,— это редко!

Власова неожиданно для себя самой воскликнула:

— Да, хорошо! — И, точно сообщая тайну, понизив голос, продолжала: — Все — вы, Николай Иванович, все люди правды — тоже рядом! Вдруг люди стали родными,— понимаю всех. Слов не понимаю, а все другое — понимаю!

— Вот как! — промолвила Людмила.— Вот как...

Мать положила руку на грудь ей и, тихонько толкая ее, говорила почти шепотом и точно сама созерцая то, о чем говорит.

— Миром идут дети! Вот что я понимаю — в мире идут дети, по всей земле, все, отовсюду — к одному! Идут лучшие сердца, честного ума люди, наступают неуклонно на все злое, идут, топчут ложь крепкими ногами. Молодые, здоровые, несут необоримые силы свои все к одному — к справедливости! Идут на победу всего горя человеческого, на уничтожение несчастий всей земли ополчились, идут одолеть безобразное и — одолевают! Новое солнце зажгем, говорил мне один, и — зажгут! Соединим разбитые сердца все в одно — соединят!

Ей вспоминались слова забытых молитв, зажигая новой верой, она бросала их из своего сердца, точно искры.

— Ко всему несут любовь дети, идущие путями правды и разума, и всё облачают новыми небесами, всё освещают огнем нетленным — от души. Совершается жизнь новая, в пламени любви детей ко всему миру. И кто погасит эту любовь, кто?

Какая сила выше этой, кто поборет ее? Земля ее родила, и вся жизнь хочет победы ее,— вся жизнь!

Она отшатнулась от Людмилы, утомленная волнением, и села, тяжело дыша. Людмила тоже отошла, бесшумно, осторожно, точно боясь разрушить что-то. Она гибко двигалась по комнате, смотрела перед собой глубоким взглядом матовых глаз и стала как будто еще выше, прямее, тоньше. Худое, строгое лицо ее было сосредоточено и губы нервно сжаты. Тишина в комнате быстро успокоила мать; заметив настроение Людмилы, она спросила виновато и негромко:

— Я, может, что-нибудь не так сказала?..

Людмила быстро обернулась, взглянула на нее как бы в испуге и торопливо заговорила, протянув руки к матери, точно желая остановить нечто:

— Всё так, так! Но — не будем больше говорить об этом. Пусть оно останется таким, как сказалось.— И более спокойно продолжала: — Вам уже скоро ехать надо,— далеко ведь!

— Да, скоро! Ах, как я рада, кабы вы знали! Слово сына повезу, слово крови моей! Ведь это — как своя душа!

Она улыбалась, но ее улыбка неясно отразилась на лице Людмилы. Мать чувствовала, что Людмила охлаждает ее радость своей сдержанностью, и у нее вдруг возникло упрямое желание перелить в эту суровую душу огонь свой, зажечь ее,— пусть она тоже звучит согласно строю сердца, полного радостью. Она взяла руки Людмилы, крепко стиснула их, говоря:

— Дорогая вы моя! Как хорошо это; когда знаешь, что уже есть в жизни свет для всех людей и — будет время — увидят они его, обнимутся с ним душой!

Ее доброе большое лицо вздрагивало, глаза лучисто улыбались и брови трепетали над ними, как бы окрыляя их блеск. Ее охмеляли большие мысли, она влагала в них все, чем горело ее сердце, все, что успела пережить, и сжимала мысли в твердые, емкие кристаллы светлых слов. Они всё сильнее рождались в осеннем сердце, освещенном творческой силой солнца весны, всё ярче цвели и рдели в нем.

— Ведь это—как новый бог родится людям! Все—для всех, все — для всего! Так понимаю я всех вас. Воистину, все вы — товарищи, все — родные, все — дети одной матери, — правды!

Снова захлестнутая волной возбуждения своего, она остановилась, перевела дух и, широким жестом разведя руки как бы для объятия, сказала:

— И когда я говорю про себя слово это — товарищи! — слышу сердцем — идут!

Она добилась, чего хотела,— лицо Людмилы удивленно вспыхнуло, дрожали губы, из глаз катились слезы, большие, прозрачные.

Мать крепко обняла ее, беззвучно засмеялась, мягко гордясь победою своего сердца.

Когда они прощались, Людмила заглянула в лицо ей и тихо спросила:

— Вы знаете, что с вами — хорошо?

XXIX

На улице морозный воздух сухо и крепко обнял тело, проник в горло, защекотал в носу и на секунду сжал дыхание в груди. Остановясь, мать оглянулась: близко от нее на углу стоял извозчик в мохнатой шапке, далеко — шел какой-то человек, согнувшись, втягивая голову в плечи, а впереди него вприпрыжку бежал солдат, потирая уши.

«Должно быть, в лавочку послали солдатика!» — подумала она и пошла, с удовольствием слушая, как молодо и звучно скрипит снег под ее ногами. На вокзал она пришла рано, еще не был готов ее поезд, но в грязном, закопченном дымом зале третьего класса уже собралось много народа — холод согнал сюда путейских рабочих, пришли погреться извозчики и какие-то плохо одетые, бездомные люди. Были и пассажиры, несколько крестьян, толстый купец в енотовой шубе, священник с дочерью, рябой девицей, человек пять солдат, суетливые мещане. Люди курили, разговаривали, пили чай, водку. У буфета кто-то раскатисто смеялся, над головами носились волны дыма. Визжала, открываясь, дверь, дрожали и звенели стекла, когда ее с шумом захлопывали. Запах табаку и соленой рыбы густо бил в нос.

Мать села у входа на виду и ждала. Когда открывалась дверь,— на нее налетало облако холодного воздуха, это было приятно ей, и она глубоко вдыхала его полною грудью. Входили люди с узлами в руках,— тяжело одетые, они неуклюже застревали в двери, ругались и, бросив на пол или на лавку вещи, стряхивали сухой иней с воротников пальто и с рукавов, отирали его с бороды, усов, крякали.

Вошел молодой человек с желтым чемоданом в руках, быстро оглянулся и пошел прямо к матери.

— В Москву? — негромко спросил он.

— Да. К Тане.

— Вот!

Он поставил чемодан около нее на лавку, быстро вынул папиросу, закурил ее и, приподняв шапку, молча ушел к другой двери. Мать погладила рукой холодную кожу чемодана, облокотилась на него и, довольная, начала рассматривать публику. Через минуту она встала и пошла на другую скамью ближе к выходу на перрон. Чемодан она легко держала в руке, он был невелик, и шла, подняв голову, рассматривая лица, мелькавшие перед нею.

Какой-то молодой человек в коротком пальто с поднятым воротником столкнулся с нею и молча отскочил, взмахнув рукою к голове. Ей показалось что-то знакомое в нем, она оглянулась и увидала, что он одним светлым глазом смотрит на нее из-за воротника. Этот внимательный глаз уколол ее, рука, в которой она держала чемодан, вздрогнула, и ноша вдруг отяжелела.

«Я где-то видела его!» — подумала она, заминая этой думой неприятное и смутное ощущение в груди, не давая другим словам определить чувство, тихонько, но властно сжимавшее сердце холодом. А оно росло и поднималось к горлу, наполняло рот сухой горечью, ей нестерпимо захотелось обернуться, взглянуть еще раз. Она сделала это — человек, осторожно переступая с ноги на ногу, стоял на том же месте, казалось, он чего-то хочет и не решается. Правая рука у него была засунута между пуговиц пальто, другую он держал в кармане, от этого правое плечо казалось выше левого.

Она, не торопясь, подошла к лавке и села, осторожно, медленно, точно боясь что-то порвать в себе. Память, разбуженная острым предчувствием беды, дважды поставила перед нею этого человека — один раз в поле, за городом после побега Рыбина, другой — в суде. Там рядом с ним стоял тот околодочный, которому она ложно указала путь Рыбина. Ее знали, за нею следили — это было ясно.

«Попалась?» — спросила она себя. А в следующий миг ответила, вздрагивая:

«Может быть, еще нет...»

И тут же, сделав над собой усилие, строго сказала:

«Попалась!»

Оглядывалась и ничего не видела, а мысли одна за другою искрами вспыхивали и гасли в ее мозгу.

«Оставить чемодан,— уйти?»

Но более ярко мелькнула другая искра:

«Сыновнее слово бросить? В такие руки...»

Она прижала к себе чемодан.

«А — с ним уйти?.. Бежать...»

Эти мысли казались ей чужими, точно их кто-то извне насильно втыкал в нее. Они ее жгли, ожоги их больно кололи мозг, хлестали по сердцу, как огненные нити. И, возбуждая боль, обижали женщину, отгоняя ее прочь от самой себя, от Павла и всего, что уже срослось с ее сердцем. Она чувствовала, что ее настойчиво сжимает враждебная сила, давит ей на плечи и грудь, унижает ее, погружая в мертвый страх; на висках у нее сильно забились жилы и корням волос стало тепло.

Тогда, одним большим и резким усилием сердца, которое как бы встряхнуло ее всю, она погасила все эти хитрые, маленькие, слабые огоньки, повелительно сказав себе:

«Стыдись!»

Ей сразу стало лучше, и она совсем окрепла, добавив:

«Не позорь сына-то! Никто не боится».

Глаза ее встретили чей-то унылый, робкий взгляд. Потом в памяти мелькнуло лицо Рыбина. Несколько секунд колебаний точно уплотнили все в ней. Сердце забилось спокойнее.

«Что ж теперь будет?» — думала она, наблюдая.

Шпион подозвал сторожа и что-то шептал ему, указывая на нее глазами. Сторож оглядывал его и пятился назад. Подошел другой сторож, прислушался, нахмурил брови. Он был старик, крупный, седой, небритый. Вот он кивнул шпиону головой и пошел к лавке, где сидела мать, а шпион быстро исчез куда-то.

Старик шагал не торопясь, внимательно щупая сердитыми глазами лицо ее. Она подвинулись в глубь скамьи.

«Только бы не били...»

Он остановился рядом с нею, помолчал и негромко, сурово спросил:

— Что глядишь?

— Ничего.

— То-то, воровка! Старая уж, а — туда же!

Ей показалось, что его слова ударили ее по лицу, раз и два; злые, хриплые, они делали больно, как будто рвали щеки, выхлестывали глаза...

— Я? Я не воровка, врешь! — крикнула она всею грудью, и все перед нею закружилось в вихре ее возмущения, опьяняя сердце горечью обиды. Она рванула чемодан, и он открылся.

— Гляди! Глядите все! — кричала она, вставая, взмахнув над головою пачкой выхваченных прокламаций. Сквозь шум

в ушах она слышала восклицания сбегавшихся людей и видела — бежали быстро, все, отовсюду.

— Что такое?

— Вот, сыщик...

— Что это?

— Украла, говорит...

— Почтенная такая,— ай-ай-ай!

— Я не воровка! — говорила мать полным голосом, немного успокаиваясь при виде людей, тесно напиравших на нее со всех сторон.

— Вчера судили политических, там был мой сын — Власов, он сказал речь — вот она! Я везу ее людям, чтобы они читали, думали о правде...

Кто-то осторожно потянул бумаги из ее рук, она взмахнула ими в воздухе и бросила в толпу.

— За это тоже не похвалят! — воскликнул чей-то пугливый голос.

Мать видела, что бумаги хватают, прячут за пазухи, в карманы,— это снова крепко поставило ее на ноги. Спокойнее и сильнее, вся напрягаясь и чувствуя, как в ней растет разбуженная гордость, разгорается подавленная радость, она говорила, выхватывая из чемодана пачки бумаги и разбрасывая их налево и направо в чьи-то быстрые, жадные руки.

— За что судили сына моего и всех, кто с ним,— вы знаете? Я вам скажу, а вы поверьте сердцу матери, седым волосам ее — вчера людей за то судили, что они несут вам всем правду! Вчера узнала я, что правда эта... никто не может спорить с нею, никто!

Толпа замолчала и росла, становясь все более плотной, слитно окружая женщину кольцом живого тела.

— Бедность, голод и болезни — вот что дает людям их работа. Всё против нас — мы издыхаем всю нашу жизнь день за днем в работе, всегда в грязи, в обмане, а нашими трудами тешатся и объедаются другие и держат нас, как собак на цепи, в невежестве — мы ничего не знаем, и в страхе —мы всего боимся! Ночь — наша жизнь, темная ночь!

— Так! — глухо раздалось в ответ.

— Заткни глотку ей!

Сзади толпы мать заметила шпиона и двух жандармов, и она торопилась отдать последние пачки, но когда рука ее опустилась в чемодан, там она встретила чью-то чужую руку.

— Берите, берите! — сказала она, наклоняясь.

— Разойдись! — кричали жандармы, расталкивая людей. Они уступали толчкам неохотно, зажимали жандармов своею массою, мешали им, быть может не желая этого. Их властно привлекала седая женщина с большими честными глазами на добром лице, и, разобщенные жизнью, оторванные друг от друга, теперь они сливались в нечто целое, согретое огнем слова, которого, быть может, давно искали и жаждали многие сердца, обиженные несправедливостями жизни. Ближайшие стояли молча, мать видела их жадно-внимательные глаза и чувствовала на своем лице теплое дыхание.

— Уходи, старуха!

— Сейчас возьмут!..

— Ах, дерзкая!

— Прочь! Разойдись! — все ближе раздавались крики жандармов. Люди перед матерью покачивались на ногах, хватаясь друг за друга.

Ей казалось, что все готовы понять ее, поверить ей, и она хотела, торопилась сказать людям все, что знала, все мысли, силу которых чувствовала. Они легко всплывали из глубины ее сердца и слагались в песню, но она с обидою чувствовала, что ей не хватает голоса, хрипит он, вздрагивает, рвется.

— Слово сына моего — чистое слово рабочего человека, неподкупной души! Узнавайте неподкупное по смелости!

Чьи-то юные глаза смотрели в лицо ее с восторгом и со страхом.

Ее толкнули в грудь, она покачнулась и села на лавку. Над головами людей мелькали руки жандармов, они хватали за воротники и плечи, отшвыривали в сторону тела, срывали шапки, далеко отбрасывая их. Все почернело, закачалось в глазах матери, но, превозмогая свою усталость, она еще кричала остатками голоса:

— Собирай, народ, силы свои во единую силу!

Жандарм большой красной рукой схватил ее за ворот, встряхнул.

— Молчи!

Она ударилась затылком о стену, сердце оделось на секунду едким дымом страха и снова ярко вспыхнуло, рассеяв дым.

— Иди! — сказал жандарм.

— Не бойтесь ничего! Нет муки горше той, которой вы всю жизнь дышите...

— Молчать, говорю! — Жандарм взял под руку ее, дернул. Другой схватил другую руку, и, крупно шагая, они повели мать.

— ...которая каждый день гложет сердце, сушит грудь!

Шпион забежал вперед и, грозя ей в лицо кулаком, визгливо крикнул:

— Молчать, ты, сволочь!

Глаза у нее расширились, сверкнули, задрожала челюсть. Упираясь ногами в скользкий камень пола, она крикнула:

— Душу воскресшую — не убьют!

— Собака!

Шпион ударил ее в лицо коротким взмахом руки.

— Так ее, стерву старую! — раздался злорадный крик.

Что-то черное и красное на миг ослепило глаза матери, соленый вкус крови наполнил рот.

Дробный, яркий взрыв криков оживил ее.

— Не смей бить!

— Ребята!

— Ах ты, мерзавец!

— Дай ему!

— Не зальют кровью разума!

Ее толкали в шею, спину, били по плечам, по голове, все закружилось, завертелось темным вихрем в криках, вое, свисте, что-то густое, оглушающее лезло в уши, набивалось в горло, душило, пол проваливался под ее ногами, колебался, ноги гнулись, тело вздрагивало в ожогах боли, отяжелело и качалось, бессильное. Но глаза ее не угасали и видели много других глаз — они горели знакомым ей смелым, острым огнем,— родным ее сердцу огнем.

Ее толкали в двери.

Она вырвала руку, схватилась за косяк.

— Морями крови не угасят правды...

Ударили по руке.

— Только злобы накопите, безумные! На вас она падет!

Жандарм схватил ее за горло и стал душить.

Она хрипела.

— Несчастные...

Кто-то ответил ей громким рыданием.

ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ

РОМЭНУ РОЛЛАНУ
ЧЕЛОВЕКУ,
ПОЭТУ

I

Года через два после воли, за обедней в день преображения господня, прихожане церкви Николы на Тычке заметили «чужого»,— ходил он в тесноте людей, невежливо поталкивая их, и ставил богатые свечи пред иконами, наиболее чтимыми в городе Дремове. Мужчина могучий, с большою, колечками, бородой, сильно тронутой проседью, в плотной шапке черноватых, по-цыгански курчавых волос, носище крупный, из-под бугристых, густых бровей дерзко смотрят серые, с голубинкой глаза, и было отмечено, что, когда он опускал руки, широкие ладони его касались колен.

Ко кресту он подошел в ряду именитых горожан; это особенно не понравилось им, и, когда обедня отошла, виднейшие люди Дремова остановились на паперти поделиться мыслями о чужом человеке. Одни говорили — прасол, другие — бурмистр, а городской староста Евсей Баймаков, миролюбивый человек плохого здоровья, но хорошего сердца, сказал, тихонько покашливая:

— Уповательно — из дворовых людей егерь или что другое по части барских забав.

А суконщик Помялов, по прозвищу Вдовый Таракан, суетливый сластолюбец, любитель злых слов, человек рябой и безобразный, недоброжелательно выговорил:

— Видали,— лапы-те у него каковы длинны? Вон как идет, будто это для него на всех колокольнях звонят.

Широкоплечий, носатый человек шагал вдоль улицы твердо, как по своей земле; одет в синюю поддевку добротного сукна, в хорошие юфтовые сапоги, руки сунул в карманы, локти плотно прижал к бокам. Поручив просвирне Ерданской узнать

подробно, кто этот человек, горожане разошлись, под звон колоколов, к пирогам, приглашенные Помяловым на вечерний чай в малинник к нему.

После обеда другие дремовцы видели неведомого человека за рекою, на «Коровьем языке», на мысу, земле князей Ратских; ходил человек в кустах тальника, меряя песчаный мыс ровными, широкими шагами, глядел из-под ладони на город, на Оку и на петлисто запутанный приток ее, болотистую речку Ватаракшу. В Дремове живут люди осторожные, никто из них не решился крикнуть ему, спросить: кто таков и что делает? Но все-таки послали будочника Машку Ступу, городского шута и пьяницу; бесстыдно, при всех людях и не стесняясь женщин, Ступа снял казенные штаны, а измятый кивер оставил на голове, перешел илистую Ватаракшу вброд, надул свой пьяный животище, смешным, гусиным шагом подошел к чужому и, для храбрости, нарочито громко спросил:

— Кто таков?

Не слышно было, как ответил ему чужой, но Ступа тотчас же возвратился к своим людям и рассказал:

— Спросил он меня: что ж ты это какой безобразный? Глазищи у него злые, похож на разбойника.

Вечером, в малиннике Помялова, просвирня Ерданская, зобатая женщина, знаменитая гадалка и мудрица, вытаращив страшные глаза, доложила лучшим людям:

— Зовут — Илья, прозвище — Артамонов, сказал, что хочет жить у нас для своего дела, а какое дело — не допыталась я. Прпехал по дороге из Воргорода, тою же дорогой и отбыл в три часа — в четвертом.

Так ничего особенного и не узнали об этом человеке, и было это неприятно, как будто кто-то постучал ночью в окно и скрылся, без слов предупредив о грядущей беде.

Прошло недели три, и уже почти затянуло рубец в памяти горожан, вдруг этот Артамонов явился сам-четверт прямо к Баймакову и сказал, как топором рубя:

— Вот тебе, Евсей Митрич, новые жители под твою умную руку. Пожалуй, помоги мне укрепиться около тебя на хорошую жизнь.

Дельно и кратко рассказал, что он человек князей Ратских из курской их вотчины на реке Рати; был у князя Георгия приказчиком, а, по воле, отошел от него, награжден хорошо и решил свое дело ставить: фабрику полотна. Вдов, детей зовут: старшего — Петр, горбатого — Никита, а третий — Олешка, племянник, но — усыновлен им, Ильей.

— Лен мужики наши мало сеют,— раздумчиво заметил Баймаков.

— Заставим сеять больше.

Голос Артамонова был густ и груб, говорил он, точно в большой барабан бил, а Баймаков всю свою жизнь ходил по земле осторожно, говорил тихо, как будто боясь разбудить кого-то страшного. Мигая ласковыми глазами печального сиреневого цвета, он смотрел на ребят Артамонова, каменно стоявших у дверп; все они были очень разные: старший — похож на отца, широкогрудый, брови срослись, глаза маленькие, медвежьи, у Никиты глаза девичьи, большие и синие, как его рубаха, Алексей — кудрявый, румяный красавец, белокож, смотрит прямо и весело.

— В солдаты одного? — спросил Баймаков.

— Нет, мне дети самому нужны; квитанцию имею.

И, махнув на детей рукою, Артамонов приказал:

— Выдьте вон.

А когда они тихо, гуськом один за другим и соблюдая старшинство, вышли, он, положив на колено Баймакова тяжелую ладонь, сказал:

— Евсей Митрич, я заодно и сватом к тебе: отдай дочь за старшего моего.

Баймаков даже испугался, привскочил на скамье, замахал руками.

— Что ты, бог с тобой! Я тебя впервые вижу, кто ты есть — не знаю, а ты — эко! Дочь у меня одна, замуж ей рано, да ты и не видал ее, не знаешь — какова... Что ты?

Но Артамонов, усмехаясь в курчавую бороду, сказал:

— Про меня — спроси исправника, он князю моему довольно обязан, и ему князем писано, чтоб чинить мне помощь во всех делах. Худого — не услышишь, вот те порука — святые иконы. Дочь твою я знаю, я тут, у тебя в городе, все знаю, четыре раза неприметно был, все выспросил. Старший мой тоже здесь бывал и дочь твою видел — не беспокойся!

Чувствуя себя так, точно на него медведь навалился, Баймаков попросил гостя:

— Ты погоди...

— Недолго — могу, а долго годить — года не годятся,— строго сказал напористый человек и крикнул в окно, на двор:

— Идите, кланяйтесь хозяину.

Когда они, простясь, ушли, Баймаков, испуганно глядя на иконы, трижды перекрестился, прошептал:

— Господи — помилуй! Что за люди? Сохрани от беды.

Он поплелся, пристукивая палкой, в сад, где, под липой, жена и дочь варили варенье. Дородная, красивая жена спросила:

— Какие это молодцы на дворе стояли, Митрич?

— Неизвестно. А где Наталья?

— За сахаром пошла в кладовку.

— За сахаром,— сумрачно повторил Баймаков, опускаясь на дерновую скамью.— Сахар. Нет, это правду говорят: от воли — большое беспокойство будет людям.

Присмотревшись к нему, жена спросила тревожно:

— Ты — что? Опять неможется?

— Душа у меня взныла. Думается — человек этот пришел сменить меня на земле.

Жена начала утешать его:

— Полно-ко! Мало ли теперь людей из деревень в город идет.

— То-то и есть, что идут. Я тебе покамест ничего не скажу, дай — подумаю...

Через пятеро суток Баймаков слег в постель, а через двенадцать — умер, и его смерть положила еще более густую тень на Артамонова с детьми. За время болезни старосты Артамонов дважды приходил к нему, они долго беседовали один на один; во второй раз Баймаков позвал жену и, устало сложив руки на груди, сказал:

— Вот — с ней говори, а я уж, видно, в земных делах не участник. Дайте — отдохну.

— Пойдем-ка со мной, Ульяна Ивановна,— приказал Артамонов и, не глядя, идет ли хозяйка за ним, вышел из комнаты.

— Иди, Ульяна; уповательно — это судьба,— тихо посоветовал староста жене, видя, что она не решается следовать за гостем. Она была женщина умная, с характером, не подумав — ничего не делала, а тут вышло как-то так, что через час времени она, возвратясь к мужу, сказала, смахивая слезы движением длинных, красивых ресниц:

— Что ж, Митрич, видно, и впрямь — судьба; благослови дочь-то.

Вечером она подвела к постели мужа пышно одетую дочь, Артамонов толкнул сына, парень с девушкой, не глядя друг на друга, взялись за руки, опустились на колени, склонив головы, а Баймаков, задыхаясь, накрыл их древней, отеческой иконой в жемчугах.

— Во имя отца и сына... Господи, не оставь милостью чадо мое единое!

И строго сказал Артамонову:

— Помни,— на тебе ответ богу за дочь мою!

Тот поклонился ему, коснувшись рукою пола.

— Знаю.

И, не сказав ни слова ласки будущей снохе, почти не глядя на нее и сына, мотнул головою к двери:

— Идите.

А когда благословленные ушли, он присел на постель больного, твердо говоря:

— Будь покоен, все пойдет как надо. Я — тридцать семь лет безнаказанно служил князьям моим, а человек — не бог, человек — не милостив, угодить ему трудно. И тебе, сватья Ульяна, хорошо будет, станешь вместо матери парням моим, а им приказано будет уважать тебя.

Баймаков слушал, молча глядя в угол, на иконы, и плакал, Ульяна тоже всхлипывала, а этот человек говорил с досадой:

— Эх, Евсей Митрич, рано ты отходишь, не сберег себя. Мне бы ты вот как нужен, позарез!

Он шаркнул рукою поперек бороды, вздохнул шумно.

— Знаю я дела твои: честен ты и умен достаточно, пожить бы тебе со мной годов пяток, заворотили бы мы дела,— ну — воля божья!

Ульяна жалобно крикнула:

— Что ты, ворон, каркаешь, что ты нас пугаешь? Может, еще...

Но Артамонов встал и поклонился в пояс Баймакову, как мертвому.

— Спасибо за доверие. Прощайте, мне надо на Оку, там барка с хозяйством пришла.

Когда он ушел, Баймакова обиженно завыла:

— Облом деревенский, нареченной сыну невесте словечка ласкового не нашел сказать!

Муж остановил ее:

— Не ной, не тревожь меня.

И сказал, подумав:

— Ты — держись его: этот человек, уповательно, лучше наших.

Баймакова почетно хоронил весь город, духовенство всех пяти церквей. Артамоновы шли за гробом вслед за женой и дочерью усопшего; это не понравилось горожанам; горбун Никита, шагавший сзади своих, слышал, как в толпе ворчали:

— Неизвестно кто, а сразу на первое место лезет.

Вращая круглыми глазами цвета дубовых желудей, Помялов нашептывал:

— И Евсей, покойник, и Ульяна — люди осторожные, зря они ничего не делали, стало быть, тут есть тайность, стало быть, соблазнил их чем-то коршун этот, иначе они с ним разве породнились бы?

— Да-а, темное дело.

— Я и говорю — темное. Наверно — фальшивые деньги. А ведь каким будто праведником жил Баймаков-то а?

Никита слушал, склоня голову, и выгибал горб, как бы ожидая удара. День был ветреный, ветер дул вслед толпе, и пыль, поднятая сотнями ног, дымным облаком неслась вслед за людьми, густо припудривая намасленные волосы обнаженных голов. Кто-то сказал:

— Гляди, как Артамонова нашей пылью наперчило,— посерел, цыган...

На десятый день после похорон мужа Ульяна Баймакова с дочерью ушла в монастырь, а дом свой сдала Артамонову. Его и детей точно вихрем крутило, с утра до вечера они мелькали у всех на глазах, быстро шагая по всем улицам, торопливо крестясь на церкви; отец был шумен и неистов, старший сын угрюм, молчалив и, видимо, робок или застенчив, красавец Олешка — задорен с парнями и дерзко подмигивал девицам, а Никита с восходом солнца уносил острый горб свой за реку, на «Коровий язык», куда грачами слетелись плотники, каменщики, возводя там длинную кирпичную казарму и в стороне от нее, под Окою, двухэтажный большой дом из двенадцативершковых бревен,— дом, похожий на тюрьму. Вечерами жители Дремова, собравшись на берегу Ватаракши, грызли семена тыквы и подсолнуха, слушали храп и визг пил, шарканье рубанков, садкое тяпанье острых топоров и насмешливо вспоминали о бесплодности построения Вавилонской башни, а Помялов утешительно предвещал чужим людям всякие несчастия:

— Весною вода подтопит безобразные постройки эти. И — пожар может быть: плотники курят табак, а везде — стружка.

Чахоточный поп Василий вторил ему:

— На песце строят.

— Нагонят фабричных — пьянство начнется, воровство, распутство.

Огромный, налитый жиром, раздутый во все стороны мельник и трактирщик Лука Барский хриплым басом утешал:

— Людей больше — кормиться легче. Ничего, пускай работают люди.

Очень смешил горожан Никита Артамонов; он вырубил и выкорчевал на большом квадрате кусты тальника, целые дни черпал жирный ил Ватаракши, резал торф на болоте и, подняв горб к небу, возил торф тачкой, раскладывая по песку черными кучками.

— Огород затевает,— догадались горожане.— Экой дурак! Разве песок удобришь?

На закате солнца, когда Артамоновы гуськом, отец впереди, переходили вброд через реку и на зеленоватую воду ее ложились их тени, Помялов указывал:

— Глядите, глядите,— стень-то какая у горбатого!

И все видели, что тень Никиты, который шел третьим, необычно трепетна и будто тяжелее длинных теней братьев его. Как-то после обильного дождя вода в реке поднялась, и горбун, запнувшись за водоросли или оступясь в яму, скрылся под водою. Все зрители на берегу отрадно захохотали, только Ольгушка Орлова, тринадцатилетняя дочь пьяницы часовщика, крикнула жалобно:

— Ой, ой — утонет!

Ей дали подзатыльник.

— Не ори зря.

Алексей, идя последним, нырнул, схватил брата, поставил на ноги, а когда они, оба мокрые, выпачканные илом, поднялись на берег, Алексей пошел прямо на жителей, так что они расступились пред ним, и кто-то боязливо сказал:

— Ишь ты, звереныш...

— Не любят нас,— заметил Петр; отец, на ходу, взглянул в лицо ему:

— Дай срок — полюбят.

И обругал Никиту:

— Ты, чучело! Гляди под ноги, не смеши народ. Нам не на смех жить, барабан!

Жили Артамоновы, ни с кем не знакомясь, хозяйство их вела толстая старуха, вся в черном, она повязывала голову черным платком так, что концы его торчали рогами, говорила каким-то мятым языком, мало и непонятно, точно не русская; от нее ничего нельзя было узнать об Артамоновых.

— Монахами притворяются, разбойники...

Дознано было, что отец и старший сын часто ездят по окрестным деревням, подговаривая мужиков сеять лен. В одну из таких поездок на Илью Артамонова напали беглые солда-

ты, он убил одного из них кистенем, двухфунтовой гирей, привязанной к сыромятному ремню, другому проломил голову, третий убежал. Исправник похвалил Артамонова за это, а молодой священник бедного Ильинского прихода наложил епитимью за убийство — сорок ночей простоять в церкви на молитве.

Осенними вечерами Никита читал отцу и братьям Жития святых, поучения отцов церкви, но отец часто перебивал его:

— Высока премудрость эта, не досягнуть ее нашему разуму. Мы — люди чернорабочие, не нам об этом думать, мы на простое дело родились. Покойник князь Юрий семь тысяч книг перечитал и до того в мысли эти углубился, что и веру в бога потерял. Все земли объездил, у всех королей принят был — знаменитый человек! А построил суконную фабрику — не пошло дело. И — что ни затевал, не мог оправдать себя. Так всю жизнь и прожил на крестьянском хлебе.

Говоря, он произносил слова четко, задумывался, прислушиваясь к ним, и снова поучал детей:

— Вам жить — трудно будет, вы сами себе закон и защита. Я вот жил не своей волей, а — как велено. И вижу: не так надо, а поправить не могу, дело не мое, господское. Не только сделать по-своему боялся, а даже и думать не смел, как бы свой разум не спутать с господским. Слышишь, Петр?

— Слышу.

— То-то. Понимай. Живет человек, а будто нет его. Конечно, и ответа меньше, не сам ходишь, тобой правят. Без ответа жить легче, да — толку мало.

Иногда он говорил час и два, все спрашивая: слушают ли дети? Сидит на печи, свеся ноги, разбирая пальцами колечки бороды, и не торопясь кует звено за звеном цепи слов. В большой чистой кухне теплая темнота, за окном посвистывает вьюга, шелково гладит стекло, или трещит в синем холоде мороз. Петр, сидя у стола перед сальной свечою, шуршит бумагами, негромко щелкает косточками счет, Алексей помогает ему, Никита искусно плетет корзины из прутьев.

— Вот — воля нам дана царем-государем. Это надо понять: в каком расчете воля? Без расчета и овцу из хлева не выпустишь, а тут — весь народ, тысячи тысяч, выпущен. Это значит: понял государь — с господ немного возьмешь, они сами всё проживают. Георгий, князь, еще до воли, сам догадался, говорил мне: подневольная работа — невыгодна. Вот и оказано нам доверие для свободной работы. Теперь и солдат не два-

дцать пять лет ружье таскать будет, а — иди-ка, работай! Теперь всяк должен показать себя, к чему годен. Дворянству — конец подписан, теперь вы сами дворяне,— слышите?

Ульяна Баймакова прожила в монастыре почти три месяца, а когда вернулась домой, Артамонов на другой же день спросил ее:

— Скоро свадьбу состроим?

Она возмутилась, сердито сверкнув глазами.

— Что ты, опомнись! Полугода не прошло со смерти отца, а ты... Али греха не знаешь?

Но Артамонов строго остановил ее:

— Греха я тут, сватья, не вижу. То ли еще господа делают, а бог терпит. У меня — нужда: Петру хозяйка требуется.

Потом он спросил: сколько у нее денег? Она ответила:

— Больше пятисот не дам за дочерью!

— Дашь и больше,— уверенно и равнодушно сказал большой мужик, в упор глядя на нее. Они сидели за столом друг против друга, Артамонов — облокотясь, запустив пальцы обеих рук в густую шерсть бороды, женщина, нахмурив брови, опасливо выпрямилась. Ей было далеко за тридцать, но она казалась значительно моложе, на ее сытом, румяном лице строго светились сероватые умные глаза. Артамонов встал, выпрямился.

— Красивая ты, Ульяна Ивановна.

— Еще чего скажешь? — сердито и насмешливо спросила она.

— Ничего не скажу.

Он ушел неохотно, тяжко шаркая ногами, а Баймакова, глядя вслед ему и, кстати, скользнув глазами по льду зеркала, шепнула с досадой:

— Бес бородатый. Ввязался...

Чувствуя себя в опасности пред этим человеком, она пошла наверх к дочери, но Натальи не оказалось там; взглянув в окно, она увидала дочь на дворе у ворот, рядом с нею стоял Петр. Баймакова быстро сбежала по лестнице и, стоя на крыльце, крикнула:

— Наталья — домой!

Петр поклонился ей.

— Не порядок это, молодец хороший, без матери беседовать с девицей, чтобы впредь не было этого!

— Она мне нареченная,— напомнил Петр.

— Все едино; у нас свои обычаи,— сказала Баймакова, но спросила себя:

«Что это я рассердилась? Молодым, да не миловаться. Нехорошо как. Будто позавидовала дочери».

В комнате она больно дернула дочь за косу, все-таки запретив ей говорить с женихом с глаза на глаз.

— Хоть он и благословенный тебе, да еще — либо дождик, либо снег, либо — будет, либо — нет,— сурово сказала она.

Темная тревога мутила ее мысли; через несколько дней она пошла к Ерданской погадать о будущем,— к знахарке, зобатой, толстой, похожей на колокол, все женщины города сносили свои грехи, страхи и огорчения.

— Тут гадать не о чем,— сказала Ерданская,— я тебе, душа, прямо скажу: ты за этого человека держись. У меня не зря глаза на лоб лезут,— я людей знаю, я их проникаю, как мою колоду карт. Ты гляди, как он удачлив, все дела у него шаром катятся, наши-то мужики только злые слюни пускают от зависти к нему. Нет, душа, ты его не бойся, он не лисой живет, а медведем.

— То-то что медведем,— согласилась вдова и, вздохнув, рассказала гадалке:

— Боюсь; с первого раза, когда он посватал дочь,— испугалась. Вдруг, как будто из тучи упал никому не ведомый и в родню полез. Разве эдак-то бывает? Помню, говорит он, а я гляжу в наглые глазищи его и на все слова дакаю, со всем соглашаюсь, словно он меня за горло взял.

— Это значит: верит он силе своей,— объяснила премудрая просвирня.

Но все это не успокоило Баймакову, хотя знахарка, провожая ее из своей темной комнаты, насыщенной душным запахом лекарственных трав, сказала на прощанье:

— Помни: дураки только в сказках удачливы...

Подозрительно громко хвалила она Артамонова, так громко и много, что казалась подкупленной. А вот большая, темная и сухая, как соленый судак, Матрена Барская говорила иное:

— Весь город стоном стонет, Ульяна, про тебя; как это не боишься ты этих пришлых? Ой, гляди! Недаром один парень горбат, не за мал грех родителей уродом родился...

Трудно было вдове Баймаковой, и все чаще она поколачивала дочь, сама чувствуя, что без причины злится на нее. Она старалась как можно реже видеть постояльцев, а люди эти все чаще становились против нее, затемняя жизнь тревогой.

Незаметно подкралась зима, сразу обрушилась на город гулкими метелями, крепкими морозами, завалила улицы и до-

ма сахарными холмами снега, надела ватные шапки на скворешни и главы церквей, заковала белым железом реки и ржавую воду болот; на льду Оки начались кулачные бои горожан с мужиками окрестных деревень. Алексей каждый праздник выходил на бой и каждый раз возвращался домой злым и битым.

— Что, Олеша? — спрашивал Артамонов.— Видно, здесь бойцы ловчее наших?

Растирая кровоподтеки медной монетой или кусками льда, Алексей угрюмо отмалчивался, поблескивая ястребиными глазами, но Петр однажды сказал:

— Алексей дерется лихо, это его свои, городские, бьют.

Илья Артамонов, положив кулак на стол, спросил:

— За что?

— Не любят.

— Его?

— Всех нас, заедино.

Отец ударил кулаком по столу, так что свеча, выскочив из подсвечника, погасла; в темноте раздалось рычание:

— Что ты мне, словно девка, все про любовь говоришь? Чтоб не слыхал я этих слов!

Зажигая свечу, Никита тихо сказал:

— Не надо бы Олеше ходить на бои.

— Это — чтобы люди смеялись: испугался Артамонов! Ты — молчи, пономарь! Сморчок.

Изругав всех, Илья через несколько дней, за ужином, сказал ворчливо-ласково:

— Вам бы, ребята, на медведей сходить, забава хорошая! Я хаживал с князем Георгием в рязанские леса, на рогатину брали хозяев, интересно!

Воодушевясь, он рассказал несколько случаев удачной охоты и через неделю пошел с Петром и Алексеем в лес, убил матерого медведя, старика. Потом пошли одни братья и подняли матку, она оборвала Алексею полушубок, оцарапала бедро, братья все-таки одолели ее и принесли в город пару медвежат, оставив убитого зверя в лесу, волкам на ужин.

— Ну, как твои Артамоновы живут? — спрашивали Баймакову горожане.

— Ничего, хорошо.

— Зимой свинья смирна,— заметил Помялов.

Вдова, не веря себе, начала чувствовать, что с некоторой поры враждебное отношение к Артамоновым обижает ее, неприязнь к ним окутывает и ее холодом. Она видела, что Арта-

моновы живут трезво, дружно, упрямо делают свое дело и ничего худого не приметно за ними. Зорко следя за дочерью и Петром, она убедилась, что молчаливый, коренастый парень ведет себя не по возрасту серьезно, не старается притиснуть Наталью в темном углу, щекотать ее и шептать на ухо зазорные слова, как это делают городские женихи. Ее несколько тревожило непонятное, сухое, но бережное и даже как будто ревнивое отношение Петра к дочери.

«Не ласков будет муженек».

Но однажды, спускаясь с лестницы, она услыхала внизу, в сенях, голос дочери:

— Опять на медведя пойдете?

— Собираемся. А что?

— Опасно, Алешу-то задел зверь.

— Сам виноват — не горячись. Значит — думаете обо мне?

— Я про вас ничего не сказала.

«Ишь ты, шельма,— подумала мать, улыбаясь и вздохнув.— А он — простак».

Илья Артамонов все настойчивее говорил ей:

— Поторопись со свадьбой, а то они сами поторопятся.

Она видела, что надо торопиться, девушка плохо спала по ночам и не могла скрыть, что ее томит телесная тоска. На пасху она снова увезла ее в монастырь, а через месяц, воротясь домой, увидала, что запущенный сад ее хорошо прибран, дорожки выполоты, лишаи с деревьев сняты, ягодник подрезан и подвязан; и все было сделано опытной рукою. Спускаясь по дорожке к реке, она заметила Никиту,— горбун чинил плетень, подмытый весенней водою. Из-под холщовой, длинной, ниже колен, рубахи жалобно торчали кости горба, почти скрывая большую голову, в прямых светлых волосах; чтоб волосы не падали на лицо, Никита повязал их веткой березы. Серый среди сочно-зеленой листвы, он был похож на старичка отшельника, самозабвенно увлеченного работой; взмахивая серебряным на солнце топором, он ловко затесывал кол и тихонько напевал, тонким голосом девушки, что-то церковное. За плетнем зеленовато блестела шелковая вода, золотые отблески солнца карасями играли в ней.

— Бог в помощь,—неожиданно для себя умиленно сказала женщина; блеснув на нее мягким светом синих глаз, Никита ласково отозвался:

— Спаси бог.

— Это ты сад убрал?

— Я.

— Хорошо убрал. Любишь сады?

Стоя на коленях, он кратко рассказал, что с девяти лет был отдан князем барином в ученики садовнику, а теперь ему девятнадцать лет.

«Горбат, а будто не злой»,— подумала женщина.

Вечером, когда она с дочерью пила чай у себя наверху, Никита встал в двери с пучком цветов в руке и с улыбкой на желтоватом, некрасивом и невеселом лице.

— Извольте принять букет.

— Зачем это? — удивилась Баймакова, подозрительно рассматривая красиво подобранные цветы и травы. Никита объяснил ей, что у господ своих он обязан был каждое утро приносить цветы княгине.

— Вот как,— сказала Баймакова и, немножко зарумянившись, гордо подняла голову: — Али я похожа на княгиню? Она, поди-ка, красавица?

— Так ведь и вы тоже.

Еще более покраснев, Баймакова подумала:

«Не отец ли научил его?»

— Ну, спасибо за почет,— сказала она, но к чаю не пригласила Никиту, а когда он ушел, подумала вслух:

— Хороши глаза у него; не отцовы, а материны, должно быть.

И вздохнула.

— Видно — судьба нам с ними жить.

Она не очень уговаривала Артамонова подождать со свадьбой до осени, когда исполнится год со дня смерти мужа ее, но решительно заявила свату:

— Только ты, сударь, Илья Васильевич, отступись от этого дела, дай мне устроить все по-нашему, по-хорошему, по-старинному. Это и тебе выгодно, сразу войдешь во все лучшие наши люди, на виду встанешь.

— Ну,— горделиво замычал Артамонов,— меня и без этого издали видно.

Обиженная его заносчивостью, она сказала:

— Тебя здесь не любят.

— Ну, бояться станут.

И, ухмыляясь, пожав плечами:

— Вот и Петр тоже все про любовь поет. Чудаки вы...

— Да и на меня нелюбовь эта заметно падает.

— Ты, сватья, не беспокойся!

Артамонов поднял длинную лапу, докрасна сжав пальцы в кулак.

— Я людей обламывать умею, вокруг меня недолго попрыгаешь. Я обойдусь и без любови...

Женщина промолчала, думая с жуткой тревогой:

«Экой зверь».

И вот уютный дом ее наполнен подругами дочери, девицами лучших семей города; все они пышно одеты в старинные парчовые сарафаны, с белыми пузырями рукавов из кисеи и тонкого полотна, с проймами и мордовским шитьем шелками, в кружевах у запястий, в козловых и сафьяновых башмаках, с лентами в длинных девичьих косах. Невеста, задыхаясь в тяжелом, серебряной парчи, сарафане с вызолоченными ажурными пуговицами от ворота до подола,— в шушуне золотой парчи на плечах, в белых и голубых лентах; она сидит, как ледяная, в переднем углу и, отирая кружевным платком потное лицо, звучно «стиховодит»:

По лугам, по зелены-им,
По цветам, по лазоревым,
Разлилася вода вешняя,
Студена̀ вода, ой, мутная...

Подруги голосно и дружно подхватывают замирающий стон девичьей жалобы:

Посылают меня, дѐвицу,
Посылают меня по̀ воду,
Меня босу, необутую,
Ой, нагую, неодетую...

Невидимый в толпе девиц, хохочет и кричит Алексей:

— Это — смешная песня! Засовали девицу в парчу, как индюшку в жестяное ведро, а — кричите: нага, неодета!

Близко к невесте сидит Никита, новая синяя поддевка уродливо и смешно взъехала с горба на затылок, его синие глаза широко раскрыты и смотрят на Наталью так странно, как будто он боится, что девушка сейчас растает, исчезнет. В двери стоит, заполняя всю ее, Матрена Барская и, ворочая глазами, гудит глубоким басом:

— Не жалобно поете, девицы.

Шагнув широким шагом лошади, она строго внушает, как надо петь по старине, с каким трепетом надо готовиться к венцу.

— Сказано: «за мужем — как за каменной стеной», так вы знайте: крепка стена — не проломишь, высока — не перескочишь.

Но девицы плохо слушают ее, в комнате тесно, жарко, толкая старуху, они бегут во двор, в сад; среди них, как пчела

в цветах, Алексей в шелковой золотистой рубахе, в плисовых шароварах, шумный и веселый, точно пьян.

Обиженно надув толстые губы, выпучив глаза, высоко приподняв спереди подол штофной юбки, Барская, тучей густого дыма, поднимается наверх, к Ульяне, и пророчески говорит:

— Весела дочь у тебя, не по правилу это, не по обычаю. Веселому началу — плохой конец!

Баймакова озабоченно роется в большом, кованом сундуке, стоя на коленях пред ним; вокруг нее на полу, на постели разбросаны, как в ярмарочной лавке, куски штофа, канауса, московского кумача, кашмировые шали, ленты, вышитые полотенца, широкий луч солнца лежит на ярких тканях, и они разноцветно горят, точно облако на вечерней заре.

— Не порядок это — жить жениху до венца в невестином доме, надо было выехать Артамоновым...

— Говорила бы раньше, поздно теперь говорить об этом,— ворчит Ульяна, наклоняясь над сундуком, чтобы спрятать огорченное лицо, и слышит басовитый голос:

— Про тебя был слух, что ты — умная, вот я и молчала. Думала — сама догадаешься. Мне что? Мне — была бы правда сказана, люди не примут, господь зачтет.

Барская стоит, как монумент, держа голову неподвижно, точно чашу, до краев полную мудрости; не дождавшись ответа, она вылезает за дверь, а Ульяна, стоя на коленях в цветном пожаре тканей, шепчет в тоске и страхе:

— Господи — помоги! Не лиши разума.

Снова шорох у двери, она поспешно сунула голову в сундук, чтобы скрыть слезы, Никита в двери:

— Наталья Евсевна послала узнать, не надо ли вам помощи в чем-нибудь.

— Спасибо, милый...

— На кухне Ольгунька Орлова патокой облилась.

— Да — что ты? Умненькая девчоночка,— вот бы тебе невеста...

— Кто пойдет за меня...

А в саду под липой, за круглым столом, сидят, пьют брагу Илья Артамонов, Гаврила Барский, крестный отец невесты, Помялов и кожевник Житейкин, человек с пустыми глазами, тележник Воропонов; прислонясь к стволу липы, стоит Петр, темные волосы его обильно смазаны маслом и голова кажется железной, он почтительно слушает беседу старших.

— Обычаи у вас другие,— задумчиво говорит отец, а Помялов хвастается:

— Мы жа тут коренной народ. Велика Русь!

— И мы — не пристяжные.

— Обычаи у нас древние...

— Мордвы много, чуваш...

С визгом и смехом, толкаясь, сбежали в сад девицы, и, окружив стол ярким венком сарафанов, запели величанье:

Ой, свату великому,
Да Илье-то бы Васильевичу,
На ступень ступить — нога сломить,
На другу ступить — другá сломить,
А на третью — голова свернуть.

— Вот так честят! — удивленно вскричал Артамонов, обращаясь к сыну,— Петр осторожно усмехнулся, поглядывая на девиц и дергая себя за ухо.

— А ты — слушай! — советует Барский и хохочет.

Того мало свату нашему
Да похитчику девичьему...

— Еще мало? — возбуждаясь, кричит Артамонов, видимо смущенный, постукивая пальцами по столу.

А девицы яростно поют:

С хором бы тя ò борону,
Да с горы бы тя ò каменье,
Чтобы ты нас не обманывал,
Не хвалил бы, не нахваливал
Чужедальние стороны,
Нелюдимые слободы,—
Они горем насеяны
Да слезами поливаны...

— Вот оно к чему! — обиженно вскричал Артамонов.— Ну, я, девицы, не во гнев вам, свою-то сторону все-таки похвалю: у нас обычаи помягче, народ поприветливее. У нас даже поговорка сложена: «Свапа да Усожа — в Сейм текут; слава тебе, боже,— не в Оку!»

— Ты — погоди, ты еще не знаешь нас,— не то хвастаясь, не то угрожая, сказал Барский.— Ну, одари девиц!

— Сколько ж им дать?

— Сколько душе не жалко.

Но когда Артамонов дал девицам два серебряных рубля, Помялов сердито сказал:

— Широко даешь, бахвалишься!

— Ну и трудно угодить на вас! — тоже гневно крикнул Илья, Барский оглушительно захохотал, а Житейкин рассыпал в воздухе смешок, мелкий и острый.

Девичник кончился на рассвете, гости разошлись, почти все в доме заснули, Артамонов сидел в саду с Петром и Никитой, гладил бороду и говорил негромко, оглядывая сад, щупая глазами розоватые облака:

— Народ — терпкий. Нелюбезный народ. Уж ты, Петруха, исполняй все, что теща посоветует, хоть и бабьи пустяки это, а — надо! Алексей пошел девок провожать? Девкам он — приятен, а парням — нет. Злобно смотрит на него сынишка Барского... н-да! Ты, Никита, поласковее будь, ты это умеешь. Послужи отцу замазкой, где я трещину сделаю, ты — заткни.

Заглянув одним глазом в большой деревянный жбан, он продолжал угрюмо:

— Всё вылакали; пьют, как лошади. Что думаешь, Петр?

Перебирая в руках шелковый пояс, подарок невесты, сын тихо сказал:

— В деревне — проще, спокойнее жить.

— Ну... Чего проще, коли день проспал...

— Тянут они со свадьбой.

— Потерпи.

И вот наступил для Петра большой, трудный день. Петр сидит в переднем углу горницы, зная, что брови его сурово сдвинуты, нахмурены, чувствуя, что это нехорошо, не красит его в глазах невесты, но развести бровей не может, они точно крепкой ниткой сшиты. Исподлобья поглядывая на гостей, он встряхивает волосами, хмель сыплется на стол и на фату Натальи, она тоже понурилась, устало прикрыв глаза, очень бледная, испугана, как дитя, и дрожит от стыда.

— Горько! — в двадцатый раз ревут красные, волосатые рожи с оскаленными зубами.

Петр поворачивается, как волк, не сгибая шеи, приподнимает фату и сухими губами, носом тычется в щеку, чувствуя атласный холод ее кожи, пугливую дрожь плеча; ему жалко Наталью и тоже стыдно, а тесное кольцо подвыпивших людей орет:

— Не умеет парень!

— В губы цель!

— Эх, я бы вот поцеловал...

Пьяный женский голос визжит:

— Я те поцелую!

— Горько! — рычит Барский.

Сцепив зубы, Петр прикладывается к влажным губам девушки, они дрожат, и вся она, белая, как будто тает, подобно

облаку на солнце. Они оба голодны, им со вчерашнего дня не давали есть. От волнения, едких запахов хмельного и двух стаканов шипучего цимлянского вина Петр чувствует себя пьяным и боится, как бы молодая не заметила этого. Все вокруг зыблется, то сливаясь в пеструю кучу, то расплываясь во все стороны красными пузырями неприятных рож. Сын умоляюще и сердито смотрит на отца, Илья Артамонов, встрепанный, пламенный, кричит, глядя в румяное лицо Баймаковой:

— Сватья, чокнемся медком! Мед у тебя — в хозяйку сладок...

Она протягивает круглую, белую руку, сверкает на солнце золотой браслет с цветными камнями, на высокой груди переливается струя жемчуга. Она тоже выпила, в ее серых глазах томная улыбка, приоткрытые губы соблазнительно шевелятся, чокнувшись, она пьет и кланяется свату, а он, встряхивая косматой башкой, восхищенно орет:

— Эка повадка у тебя, сватья! Княжья повадка, убей меня бог!

Петр смутно понимает, что отец неладно держит себя; в пьяном реве гостей он чутко схватывает ехидные возгласы Помялова, басовитые упреки Барской, тонкий смешок Житейкина.

«Не свадьба, а — суд»,— думает он и слышит:

— Глядите, как он, бес, смотрит на Ульяну-то, ой-ой!

— Быть еще свадьбе, только — без попов...

Эти слова на минуту влипают в уши ему, но он тотчас забывает их, когда колено или локоть Натальи, коснувшись его, вызовет во всем его теле тревожное томленье. Он старается не смотреть на нее, держит голову неподвижно, а с глазами сладить не может, они упрямо косятся в ее сторону.

— Скоро ли конец этому? — шепчет он, Наталья так же отвечает:

— Не знаю.

— Стыдно...

— Да,— слышит он и рад, что молодая чувствует одинаково с ним.

Алексей — с девицами, они пируют в саду; Никита сидит рядом с длинным попом, у попа мокрая борода и желтые, медные глаза на рябом лице. Со двора и с улицы в открытые окна смотрят горожане, десятки голов шевелятся в синем воздухе, поминутно сменяясь одна другою; открытые рты шепчут, шипят, кричат; окна кажутся мешками, из которых эти шум-

ные головы сейчас покатятся в комнату, как арбузы. Никита особенно отметил лицо землекопа Тихона Вялова, скуластое, в рыжеватой густой шерсти и в красных пятнах. Бесцветные на первый взгляд глаза странно мерцали, подмигивая, но мигали зрачки, а ресницы — неподвижны. И неподвижны тонкие, упрямо сжатые губы небольшого рта, чуть прикрытого курчавыми усами. А уши нехорошо прижаты к черепу. Этот человек, навалясь грудью на подоконник, не шумел, не ругался, когда люди пытались оттолкнуть его, он молча оттирал их легкими движениями плеч и локтей. Плечи у него были круто круглые, шея пряталась в них, голова росла как бы прямо из груди, он казался тоже горбатым, и в лице его Никита нашел нечто располагающее, доброе.

Кривой парень неожиданно и гулко ударил в бубен, крепко провел пальцем по коже его, бубен заныл, загудел, кто-то, свистнув, растянул на колене двухрядную гармонику, и тотчас посреди комнаты завертелся, затопал кругленький, кудрявый дружка невесты, Степаша Барский, вскрикивая в такт музыке:

Эй, девицы-супротивницы,
Хороводницы, затейницы!
У меня ли густо денежки звенят,
Выходите, что ли, супроти меня!

Отец его выпрямился во весь свой огромный рост и загремел:

— Степка! Не выдай город, покажи курятам!

Вскочил Илья Артамонов, дернув встрепанной, как помело, головою, лицо его налилось кровью, нос был красен, как уголь, он закричал в лицо Барскому:

— Мы тебе не курята, а — куряне! И — еще кто кого перепляшет! Олеша!

Весь сияющий, точно лаком покрытый, Алексей, улыбаясь, присмотрелся к дремовскому плясуну и пошел, вдруг побледнев, неуловимо быстро, взвизгивая по-девичьи.

— Присловья не знает! — крикнули дремовцы, и тотчас раздался отчаянный рев Артамонова:

— Олешка — убью!

Не останавливаясь, четко отбивая дробь, Алексей вложил два пальца в рот, оглушительно свистнул и звонко выговорил:

У барина, у Мокея,
Было пятеро лакеев,
Ныне барин Мокей
Сам таков же лакей!

— Нате! — победоносно рявкнул Артамонов.

— Ого! — многозначительно воскликнул поп и, подняв палец, покрутил головою.

— Алексей перепляшет вашего,— сказал Петр Наталье,— она робко ответила:

— Легкий.

Отцы стравливали детей, как бойцовых петухов; полупьяные, они стояли плечо в плечо друг с другом, один — огромный, неуклюжий, точно куль овса, из его красных, узеньких щелей под бровями обильно текли слезы пьяного восторга; другой весь подобрался, точно готовясь прыгнуть, шевелил длинными руками, поглаживая бедра свои, глаза его почти безумны. Петр, видя, что борода отца шевелится на скулах, соображает:

«Зубами скрипит... Ударит кого-нибудь сейчас...»

— Охально пляшет артамоновский! — слышен трубный голос Матрены Барской.— Не фигурно пляшет! Бедно!

Илья Артамонов хохочет в темное, круглое, как сковородка, лицо ее, в широкий нос,— Алексей победил, сын Барских, шатаясь, идет к двери, а Илья, грубо дернув руку Баймаковой, приказывает:

— Ну-тко, сватья, выходи!

Побледнев, размахивая свободной рукою, она гневно и растерянно отбивается:

— Что ты! Али мне вместно, что ты?

Гости примолкли, ухмыляясь, Помялов переглянулся с Барской, маслено шипят его слова:

— Ну, ничего! Утешь, Ульяна, спляши! Господь простит...

— Грех — на меня! — кричит Артамонов.

Он как будто отрезвел, нахмурился и точно в бой пошел, идя как бы не своей волей. Баймакову толкнули встречу ему, пьяненькая женщина пошатнулась, оступилась и, выпрямясь, вскинув голову, пошла по кругу,— Петр услышал изумленный шепот:

— А, батюшки! Муж в земле еще года не лежит, а она и дочь выдала и сама пляшет!

Не глядя на жену, но понимая, что ей стыдно за мать, он пробормотал:

— Не надо бы отцу плясать.

— И матушке не надо бы,— ответила она тихо и печально, стоя на скамье и глядя в тесный круг людей, через их головы; покачнувшись, она схватилась рукою за плечо Петра.

— Тише! — сказал он ласково, поддержав ее за локоть.

В открытые окна, через головы зрителей, вливались отблески вечерней зари, в красноватом свете этом кружились, как слепые, мужчина и женщина. В саду, во дворе, на улице хохотали, кричали, а в душной комнате становилось все тише. Туго натянутая кожа бубна бухала каким-то темным звуком, верещала гармоника, в тесном круге парней и девиц все еще, как обожженные, судорожно метались двое; девицы и парни смотрели на их пляску молча, серьезно, как на необычно важное дело, солидные люди частью ушли во двор, остались только осовевшие, неподвижно пьяные.

Артамонов, топнув, остановился.

— Ну, забила ты меня, Ульяна Ивановна!

Женщина, вздрогнув, тоже вдруг встала, как пред стеною, и, поклонясь всем круговым поклоном, сказала:

— Не обессудьте.

Обмахиваясь платком, она тотчас ушла из комнаты, а на смену ей влезла Барская.

— Разводите молодых! Ну-ко, Петр, иди ко мне; дружки,— ведите его под руки!

Отец, отстранив дружек, положил свои длинные, тяжелые руки на плечи сына:

— Ну, иди, дай бог счастья! Обнимемся давай!

Он толкнул его, дружки подхватили Петра под руки, Барская, идя впереди, бормотала, поплевывая во все стороны:

— Тьфу, тьфу! Ни болезни, ни горюшка, ни зависти, ни бесчестьица, тьфу! Огонь, вода — вовремя, не на беду, на счастье!

Когда Петр вошел вслед за ней в комнату Натальи, где была приготовлена пышная постель, старуха тяжело села посреди комнаты на стул.

— Слушай, да — не забудь! — торжественно говорила она.— Вот тебе две полтины, положи их в сапоги, под пятку; придет Наталья, встанет на колени, захочет с тебя сапоги снять,— ты ей не давай...

— Зачем это? — угрюмо спросил Петр.

— Не твое дело. Три раза — не дашь, а в четвертый — разреши, и тут она тебя трижды поцелует, а полтинники ты дай ей, скажи: дарю тебе, раба моя, судьба моя! Помни! Ну, разденешься и ляг спиной к ней, а она тебя просить будет: пусти ночевать! Так ты — молчи, только в третий раз протяни ей руку,— понял? Ну, потом...

Петр изумленно взглянул в темное, широкое лицо наставницы, раздувая ноздри, облизывая губы, она отирала платком жирный подбородок, шею и властно, четко выговаривала грубые, бесстыдные слова, повторив на прощанье:

— Крику — не верь, слезам — не верь.— Она, пошатываясь, вылезла из комнаты, оставив за собою пьяный запах, а Петром овладел припадок гнева,— сорвав с ног сапоги, он метнул их под кровать, быстро разделся и прыгнул в постель, как на коня, сцепив зубы, боясь заплакать от какой-то большой обиды, душившей его.

— Черти болотные...

В пуховой постели было жарко; он соскочил на пол, подошел к окну, распахнул раму,— из сада в лицо ему хлынул пьяный гул, хохот, девичий визг; в синеватом сумраке, между деревьями, бродили черные фигуры людей. Медным пальцем воткнулся в небо тонкий шпиль никольской колокольни, креста на нем не было, сняли золотить. За крышами домов печально светилась Ока, кусок луны таял над нею, дальше черными сугробами лежали бесконечные леса. Ему вспомнилась другая земля,— просторная земля золотых пашен, он вздохнул; на лестнице затопали, захихикали, он снова прыгнул в кровать, открылась дверь, шуршал шелк лент, скрипели башмаки, кто-то, всхлипывая, плакал; звякнул крючок, вложенный в пробой. Петр осторожно приподнял голову; в сумраке у двери стояла белая фигура, мерно размахивая рукою, сгибаясь почти до земли.

«Молится. А я — не молился».

Но молиться — не хотелось.

— Наталья Евсеевна,— тихонько заговорил он,— вы не бойтесь. Я сам боюсь. Замучился.

Обеими руками приглаживая волосы на голове, дергая себя за ухо, он бормотал:

— Ничего этого не надо — сапоги снимать и все. Глупости. У меня сердце болит, а она балуется. Не плачьте.

Осторожно, боком она прошла к окну, тихонько сказав:

— Гуляют еще.

— Да.

Боясь чего-то, не решаясь подойти один к другому, оба усталые, они долго перебрасывались ненужными словами. На рассвете заскрипела лестница, кто-то стал шарить рукою по стене, Наталья пошла к двери.

— Барскую не пускайте,— шепнул Петр.

— Это — матушка,— сказала Наталья, открыв дверь; Петр сел на кровати, спустив ноги, недовольный собою, тоскливо думая:

«Плох я, не смел, посмеется надо мной она, дождусь...»

Дверь открылась, Наталья тихо сказала:

— Матушка зовет.

Она прислонилась к печке, почти невидимая на белых изразцах, а Петр вышел за дверь, и там, в темноте, его встретил обиженный, испуганный, горячий шепот Баймаковой:

— Что ж ты делаешь, Петр Ильич, что ты — опозорить хочешь меня и дочь мою? Ведь утро наступает, скоро будить вас придут, надо девичью рубаху людям показать, чтобы видели: дочь моя — честная!

Говоря, она одною рукой держала Петра за плечо, а другой отталкивала его, возмущенно спрашивая:

— Что ж это? Силы нет, охоты нет? Не пугай ты меня, не молчи...

Петр глухо сказал:

— Жалко ее. Боязно.

Он не видел лица тещи, но ему послышалось, что женщина коротко засмеялась.

— Нет, ты иди-ка, иди, делай свое мужское дело! Христофору-мученику помолись. Иди. Дай — поцелую...

Крепко обняв его за шею, дохнув теплым запахом вина, она поцеловала его сладкими, липкими губами, он, не успев ответить на поцелуй, громко чмокнул воздух. Войдя в светелку, заперев за собою дверь, он решительно протянул руки, девушка подалась вперед, вошла в кольцо его рук, говоря дрожащим голосом:

— Выпимши она немножко...

Петр ожидал других слов. Пятясь к постели, он бормотал:

— Не бойся. Я — некрасивый, а — добрый...

Прижимаясь к нему все плотнее, она шепнула:

— Ноженьки не держат...

...Пировать в Дремове любили; свадьба растянулась на пять суток; колобродили с утра до полуночи, толпою расхаживая по улицам из дома в дом, кружась в хмельном чаду. Особенно обилен и хвастлив пир устроили Барские, но Алексей побил их сына за то, что тот обидел чем-то подростка Ольгу Орлову. Когда отец и мать Барские пожаловались Артамонову на Алексея, он удивился:

— Где ж это видано, чтоб парни не дрались?

Он торовато одарял девиц лентами и гостинцами, парней — деньгами, насмерть поил отцов и матерей, всех обнимал, встряхивал:

— Эх, люди! Живем али нет?

Вел он себя буйно, пил много, точно огонь заливая внутри себя, пил не пьянея и заметно похудел в эти дни. От Ульяны Баймаковой держался в стороне, но дети его заметили, что он посматривает на нее требовательно, гневно. Он очень хвастался силой своей, тянулся на палке с гарнизонными солдатами, поборол пожарного и троих каменщиков, после этого к нему подошел землекоп Тихон Вялов и не предложил, а потребовал:

— Теперь со мной.

Артамонов, удивленный его тоном, обвел взглядом коренастое тело землекопа.

— А ты — кто такое: силен или хвастлив?

— Не знаю,— серьезно ответил тот.

Схватив друг друга за кушаки, они долго топтались на одном месте. Илья смотрел через плечо Вялова на женщин, бесстыдно подмигивая им. Он был выше землекопа, но тоньше и несколько складнее его. Вялов, упираясь плечом в грудь ему, пытался приподнять соперника и перебросить через себя. Илья, понимая это, вскрикивал:

— Не хитер ты, брат, не хитер!

И вдруг, ухнув, сам перебросил Тихона через голову свою с такой силой, что тот, ударом о землю, отбил себе ноги. Сидя на траве, стирая пот с лица, землекоп сконфуженно молвил:

— Силен.

— Видим,— ответили ему насмешливо.

— Здоров,— повторил Вялов.

Илья протянул ему руку.

— Вставай!

Не приняв руки, землекоп попытался встать, не мог и снова вытянул ноги, глядя вслед толпе странными, тающими глазами. К нему подошел Никита, участливо спрашивая:

— Больно? Помочь?

Землекоп усмехнулся.

— Кости страдают. Я — сильнее отца-то твоего, да не столько ловок. Ну, пойдем за ними, Никита Ильич, простец!

И, дружески взяв горбуна под руку, он пошел с ним за толпою, притопывая ногами и этим, должно быть, надеясь умерить боль.

Молодожены, истомленные бессонными ночами и усталостью, безвольно, напоказ людям плавали по улицам среди

пестрой, шумной, подпившей толпы, пили, ели, конфузились, выслушивая бесстыдные шуточки, усиленно старались не смотреть друг на друга и, расхаживая под руку, сидя всегда рядом, молчали, как чужие. Это очень нравилось Матрене Барской, она хвастливо спрашивала Илью и Ульяну:

— Хорошо ли научен сын-от? То-то же! Ты гляди, Ульяна, как я тебе дочь вышколила! А — зять? Павлином ходит; я — не я, жена — не моя!

Но уходя к себе, спать, Петр и Наталья сбрасывали прочь вместе с одеждой все, навязанное им, покорно принятое ими, и разговаривали о прожитом дне:

— Ну, и пьют же у вас! — удивлялся Петр.

— А у вас — меньше? — спрашивала жена.

— Разве мужикам можно так пить!

— Не похожи вы на мужиков.

— Мы — дворовые, это вроде дворян будет.

Иногда они, обнявшись, садились у окна, дыша вкусными запахами сада, и молчали.

— Что молчишь? — тихонько спрашивала жена,— муж так же тихо отвечал:

— Неохота говорить обыкновенные слова.

Ему хотелось услышать слова необыкновенные, но Наталья не знала их. Когда же он рассказывал ей о безграничной широте и просторе золотых степей, она спрашивала:

— Ни лесов нет, ничего? Ой, как страшно, должно быть!

— Страхи — в лесах живут,— скучновато сказал Петр.— В степи — какой же страх? Там — земля, да небо, да — я.

И вот однажды, когда они сидели у окна, молча любуясь звездной ночью, в саду, около бани, послышалась возня, кто-то бежал, задевая и ломая прутья малинника, потом стал слышен негромкий, гневный возглас:

— Что ты, дьявол?

Наталья испуганно вскочила.

— Это — матушка!

Петр высунулся из окна, загородив его своей широкой спиною, он увидал, что отец, обняв тещу, прижимает ее к стене бани, стараясь опрокинуть на землю, она, часто взмахивая руками, бьет его по голове и, задыхаясь, громко шепчет:

— Пусти, закричу!

И не своим голосом крикнула:

— Родимый — не тронь! Пожалей...

Петр бесшумно закрыл окно, схватил жену, посадил ее на колени себе.

— Не гляди.

Она билась в руках его, вскрикивая:

— Что это, кто?

— Отец,— сказал Петр, крепко стиснув ее.— Не понимаешь, что ли...

— Ой, как же это? — шептала она со стыдом и страхом; муж отнес ее на постель, покорно говоря:

— Мы родителям не судьи.

Схватясь руками за голову, Наталья качалась, ныла:

— Грех-то какой!

— Не наш грех,— сказал Петр и вспомнил слова отца: «Господа то ли еще делают?» — Это и лучше: к тебе не полезет. Они, старики,— просты; для них это «птичий грех» — со снохой баловаться. Не плачь.

Жена сквозь слезы говорила:

— Еще когда они плясали, так я подумала... Если он — насильно, что же теперь будет у нас?

Но, утомленная волнением, она скоро заснула не раздеваясь, а Петр открыл окно, осмотрел сад,— там никого не было, вздыхал предрассветный ветер, деревья встряхивали душистую тьму. Оставив окно открытым, он лег рядом с женою, не закрывая глаз, думая о случившемся. Хорошо бы жить вдвоем с Натальей на маленьком хуторе...

...Наталья проснулась скоро, ей показалось, что ее разбудили жалость к матери и обида за нее. Босая, в одной рубахе, она быстро сошла вниз. Дверь в комнату матери, всегда запертая на ночь, была приоткрыта, это еще более испугало женщину, но, взглянув в угол, где стояла кровать матери, она увидала под простыней белую глыбу и темные волосы, разбросанные по подушке.

«Спит. Наплакалась, нагоревалась...»

Нужно что-то сделать, чем-то утешить оскорбленную мать. Она пошла в сад; мокрая, в росе, трава холодно щекотала ноги; только что поднялось солнце из-за леса, и косые лучи его слепили глаза. Лучи были чуть теплые. Сорвав посеребренный росою лист лопуха, Наталья приложила его к щеке, потом к другой и, освежив лицо, стала собирать на лист гроздья красной смородины, беззлобно думая о свекре. Тяжелой рукою он хлопал ее по спине и, ухмыляясь, спрашивал:

— Ну, что — живешь? Дышишь? Ну — живи!

Других слов для нее у него, видимо, не было, а ласковые шлепки несколько обижали ее: так ласкают лошадей.

«Разбойник какой»,— подумала она, заставляя себя думать о свекре враждебно.

Пели зяблики, зорянки, щебетали чижи, тихо, шелково шуршали листья деревьев, далеко на краю города играл пастух, с берега Ватаракши, где росла фабрика, доносились человечьи голоса, медленно плывя в светлой тишине. Что-то щелкнуло; вздрогнув, Наталья подняла голову,— над нею, на сучке яблони висела западня для птиц, чиж бился среди тонких прутьев.

«Кто ж это ловит? Никита?»

Где-то хрустнул сухой сучок.

Когда она вернулась в дом и заглянула в комнату матери, та, проснувшись, лежала вверх лицом, удивленно подняв брови, закинув руку за голову.

— Кто... что ты? — тревожно спросила она, приподнимаясь на локте.

— Ничего, вот — смородины к чаю набрала тебе.

На столе у кровати стоял большой графин кваса, почти пустой, квас был пролит на скатерть, пробка графина лежала на полу. Строгие, светлые глаза матери окружены синеватой тенью, но не опухли от слез, как ожидала видеть это Наталья; глаза как будто тоже потемнели, углубились, и взгляд их, всегда несколько надменный, сегодня казался незнакомым, смотрел издали, рассеянно.

— Комары спать не дают, в амбаре спать буду,— говорила мать, кутая шею простыней.— Искусали. А ты что рано встала? Зачем ходишь босая по росе? Подол мокрый. Простудишься...

Говорила мать неласково и неохотно, сквозь какие-то свои думы. Тревога дочери постепенно заменялась неприязненным и острым любопытством женщины.

— Я проснулась — подумала о тебе... во сне тебя видела.

— Что подумала? — осведомилась мать, глядя в потолок.

— Вот — одна ты спишь, без меня...

Наталье показалось, что щеки матери зарумянились и что, когда она, улыбаясь, сказала: «Я не боязлива»,— улыбка вышла фальшивой.

— Ну, иди, милок, твой проснулся, слышишь — топает? — приказала мать, закрыв глаза.

Медленно поднимаясь по лестнице, Наталья думала брезгливо и почти враждебно:

«Ночевал он у нее, это он квас пил. Шея-то у нее в пятнах, не комары накусали, а нацеловано. Не скажу Пете об этом. В амбаре спать хочет. А — кричала...»

— Где была? — спросил Петр, зорко всматриваясь в лицо жены,— она опустила глаза, чувствуя себя виноватой в чем-то.

— Смородину собирала, к матери зашла.

— Ну, что же она?

— Ничего будто...

— Так,— сказал Петр, дернув себя за ухо,— так!

И, усмехаясь, потирая темно-рыжий подбородок, вздохнул:

— Видно,— правду говорила дура Барская: крику — не верь, слезам — не верь.

Затем он строго спросил:

— Никиту видела?

— Нет.

— Как же — нет? Вот он — птиц ловит в саду.

— Ой,— пугливо крикнула Наталья,— а я вот так, в одной рубахе ходила!

— То-то вот...

— И когда он спит?

Петр, надевая сапог, громко крякнул, а жена, искоса взглянув на него, усмехнулась, говоря:

— Ведь горбат, а приятный... приятнее Алексея...

Муж крякнул еще раз, но — потише.

...Каждый день, на восходе солнца, когда пастух, собирая стадо, заунывно наигрывал на длинной берестяной трубе,— за рекою начинался стук топоров, и обыватели, выгоняя на улицу коров, овец, усмешливо говорили друг другу:

— Чу, затяпали, ни свет ни заря...

— Жадность — покою лютый враг.

Илье Артамонову иногда казалось, что он уже преодолел ленивую неприязнь города; дремовцы почтительно снимали пред ним картузы, внимательно слушали его рассказы о князьях Ратских, но почти всегда тот или другой не без гордости замечал:

— У нас господа попроще, победнее, а — построже ваших!

Вечерами, в праздники, сидя в густом, красивом саду трактира Барского на берегу Оки, он говорил богачам, сильным людям Дремова:

— От моего дела всем вам будет выгода.

— Давай бог,— отвечал Помялов, усмехаясь коротенькой, собачьей улыбкой, и нельзя было понять: ласково лизнет или укусит? Его измятое лицо неудачно спрятано в пеньковой бородке, серый нос недоверчиво принюхивается ко всему, а желудевые глаза смотрят ехидно.

— Давай бог,— повторяет он,— хотя и без тебя не плохо жили, ну, может, и с тобой так же проживем.

Артамонов хмурится:

— Двоемысленно говоришь, не дружески.

Барский хохочет, кричит:

— Он у нас — такой!

У Барского на месте лица скупо наляпаны багровые куски мяса, его огромная голова, шея, щеки, руки — весь он густо оброс толстоволосой, медвежьей шерстью, уши — не видны, ненужные глаза скрыты в жирных подушечках.

— Вся моя сила в жир пошла,— говорит он и хохочет, широко открывая пасть, полную тупыми зубами.

К Артамонову присматривается очень светлыми глазами тележник Воропонов, он поучает сухоньким голосом:

— Дела делать — надо, а и божие не следует забывать. Сказано: «Марфа, Марфа, печешися о многом, а единое на потребу суть».

Светлые и точно пустые глаза его смотрят так, как будто Воропонов догадывается о чем-то и вот сейчас оглушит необыкновенным словом. Иногда он как будто и начинал говорить нечто:

— Конечно, и Христос хлеб вкушал, так что Марфа...

— Ну-ну,— останавливал его кожевник Житейкин, церковный староста,— куда поехал?

Воропонов умолкал, двигая серыми ушами, а Илья спрашивал кожевника:

— Ты мое дело понимаешь?

— Это зачем? — искренне удивлялся Житейкин.— Дело — твое, тебе его и понимать, чудак! У тебя — твое, у меня — мое.

Артамонов пил густое пиво и смотрел сквозь деревья на мутную полосу Оки и левее, где в бок ей выползала из ельника, из болот, зеленой змеею фигурно изогнувшаяся Ватаракша. Там, на мысу, на золотой парче песка маслено светится щепа и стружка, краснеет кирпич, среди примятых кустов тальника вытянулась длинная, мясного цвета фабрика, похожая на гроб без крышки. Горит на солнце амбар, покрытый матовым, еще не окрашенным железом, и, точно восковой, тает желтый сруб двухэтажного дома, подняв в жаркое небо туго натянутые золотые стропила,— Алексей ловко сказал, что дом издали похож на гусли. Алексей живет там, отодвинут подальше от парней и девиц города; трудно с ним — задорен и вспыльчив. Петр тяжелее его, в Петре есть что-то мутное; еще не понимает он, как много может сделать смелый человек.

По лицу Артамонова проходит тень, он, усмехаясь, смотрит из-под густых бровей на горожан, это — дешевый народ, жадность к делу у них робкая, а настоящего задора — нет.

Ночами, когда город мертво спит, Артамонов вором крадется по берегу реки, по задворкам, в сад вдовы Баймаковой. В теплом воздухе гудят комары, и как будто это они разносят над землей вкусный запах огурцов, яблок, укропа. Луна катится среди серых облаков, реку гладят тени. Перешагнув через плетень в сад, Артамонов тихонько проходит во двор, вот он в темном амбаре, из угла его встречает опасливый шепот:

— Незаметно прошел?

Сбрасывая одежду, он сердито ворчит:

— Досада это мне,— прятаться! Мальчишка я, что ли?

— А не заводи полюбовницу.

— Рад бы не завел, да господь навел.

— Ой, что ты говоришь, еретик! Мы с тобой против бога идем...

— Ну, ладно! Это — после. Эх, Ульяна, люди тут у вас...

— А ты — полно, не скучай,— шепчет женщина и долго, с яростной жадностью, утешает его ласками, а отдохнув, подробно рассказывает о людях: кого надо бояться, кто умен, кто бесчестен, у кого лишние деньги есть.

— Помялов с Воропоновым, зная, что тебе дров много нужно, хотят леса кругом скупить, прижать тебя.

— Опоздали, князь леса мне запродал.

Вокруг них, над ними непроницаемо черная тьма, они даже глаз друг друга не видят и говорят беззвучным шепотом. Пахнет сеном, березовыми вениками, из погреба поднимается сыроватый, приятный холодок. Тяжелая, точно из свинца литая, тишина облила городишко; иногда пробежит крыса, попищат мышата, да ежечасно на колокольне у Николы подбитый колокол бросает в тьму унылые, болезненно дрожащие звуки.

— Экая ты дородная! — восхищается Артамонов, поглаживая горячее и пышное тело женщины.— Экая мощная! Что ж ты родила мало?

— Кроме Натальи — двое было, слабенькие, померли.

— Значит — муж был плох...

— Не поверишь,— шепчет она,— я ведь до тебя и не знала, какова есть любовь. Бабы, подруги, бывало, рассказывают, а я — не верю, думаю: врут со стыда! Ведь, кроме стыда, я и не знала ничего от мужа-то, как на плаху, ложилась на постель.

Молюсь богу: заснул бы, не трогал бы! Хороший был человек, тихий, умный, а таланта на любовь бог ему не дал...

Ее рассказ и возбуждает и удивляет Артамонова, крепко поглаживая пышные груди ее, он ворчит:

— Вот как бывает, а я и не знал, думал: всякий мужик бабе сладок.

Он чувствует себя сильнее и умнее рядом с этой женщиной, днем — всегда ровной, спокойной, разумной хозяйкой, которую город уважает за ум ее и грамотность. Однажды, растроганный ее девичьими ласками, он сказал:

— Я понимаю, на что ты пошла. Зря мы детей женили, надо было мне с тобой обвенчаться...

— Дети у тебя — хорошие, они и узнают про нас,— не беда, а вот если город узнает...

Она вздрогнула всем телом.

— Ну, ничего,— шепнул Илья.

Как-то она полюбопытствовала:

— Скажи-ка: вот — человека ты убил, не снится он тебе?

Равнодушно почесывая бороду, Илья ответил:

— Нет, я крепко сплю, снов не вижу. Да и чему сниться? Я и не видал, каков он. Ударили меня, я едва на ногах устоял, треснул кого-то кистенем по башке, потом — другого, а третий убежал.

Вздохнув, он с обидой проворчал:

— Наткнутся на тебя дураки, а ты за них отвечай богу...

Несколько минут лежали молча.

— Задремал?

— Нет.

— Иди, светать скоро начнет; на стройку пойдешь? Ох, умаешься ты со мной...

— Не бойся,— на будни хватило, хватит и на праздник,— похвалился Артамонов, одеваясь.

Он идет по холодку, в перламутровом сумраке раннего утра; ходит по своей земле, сунув руки за спину под кафтан; кафтан приподнялся петушиным хвостом; Артамонов давит тяжелою ногой стружку, щепу, думает:

«Олешке надо дать выгуляться, пускай с него пена сойдет. Трудный парень, а — хорош».

Ложится на песок или на кучу стружек и быстро засыпает. В зеленоватом небе ласково разгорается заря; вот солнце хвастливо развернуло над землею павлиний хвост лучей и само, золотое, всплыло вслед за ним; проснулись рабочие и, видя распростертое, большое тело, предупреждают друг друга:

— Тут!

Скуластый Тихон Вялов, держа на плече железный заступ, смотрит на Артамонова мерцающими глазами так, точно хочет перешагнуть через него и — не решается.

Муравьиная суета людей, крики, стук не будят большого человека, лежа в небо лицом, он храпит, как тупая пила,— землекоп идет прочь, оглядываясь, мигая, как ушибленный по голове. Из дома вышел Алексей в белой холщовой рубахе, в синих портах, он легко, как по воздуху, идет купаться и обходит дядю осторожно, точно боясь разбудить его тихим скрипом стружки под ногами. Никита еще засветло уехал в лес; почти каждый день он привозит оттуда воза два перегноя, сваливая его на месте, расчищенном для сада, он уже насадил берез, клена, рябины, черемухи, а теперь копает в песке глубокие ямы, забивая их перегноем, илом, глиной,— это для плодовых деревьев. По праздникам ему помогает работать Тихон Вялов.

— Сады садить — дело безобидное,— говорит он.

Дергая себя за ухо, ходит Петр Артамонов, посматривает на работу. Сочно всхрапывает пила, въедаясь в дерево, посвистывают, шаркая, рубанки, звонко рубят топоры, слышны смачные шлепки извести, и всхлипывает точило, облизывая лезвие топора. Плотники, поднимая балку, поют «Дубинушку», молодой голос звонко выводит:

Пришел к Марье кум Захарий,
Кулаком Марью по харе...

— Грубо поют,— сказал Петр землекопу Вялову,— тот, стоя по колено в песке, ответил:

— Все едино чего петь...

— Как это?

— В словах души нет.

«Непонятный мужик»,— подумал Петр, отходя от него и вспоминая, что, когда отец предложил Вялову место наблюдающего за работой, мужик этот ответил, глядя под ноги отцу:

— Нет, я не гожусь на это, не умею людями распоряжаться. Ты меня в дворники возьми...

Отец крепко обругал его.

...Холодная, мокрая пришла осень, сады покрылись ржавчиной, черные железные леса тоже проржавели рыжими пятнами; посвистывал сырой ветер, сгоняя в реку бледные, растоптанные стружки. Каждое утро к амбару подъезжали телеги, груженные льном, запряженные шершавыми лошадьми. Петр

«Дело Артамоновых»
С. Герасимов

принимал товар, озабоченно следя, как бы эти бородатые, угрюмые мужики не подсунули «потного», смоченного для веса водою, не продали бы простой лен по цене «долгунца». Трудно было ему с мужиками; нетерпеливый Алексей яростно ругался с ними. Отец уехал в Москву, вслед за ним отправилась теща, будто бы на богомолье. Вечерами, за чаем, за ужином, Алексей сердито жаловался:

— Скучно тут жить, не люблю я здешних...

Этим он всегда раздражал Петра.

— Сам-то хорош! Задираешь всех. Хвастать любишь.

— Есть чем, вот и хвастаю.

Встряхивая кудрями, он расправлял плечи, выгибал грудь и, дерзко прищурив глаза, смотрел на братьев, на невестку. Наталья сторонилась его, точно боясь в нем чего-то, говорила с ним сухо.

После обеда, когда муж и Алексей уходили снова на работы, она шла в маленькую, монашескую комнату Никиты и, с шитьем в руках, садилась у окна, в кресло, искусно сделанное для нее горбуном из березы. Горбун, исполняя роль конторщика, с утра до вечера писал, считал, но когда являлась Наталья, он, прерывая работу, рассказывал ей о том, как жили князья, какие цветы росли в их оранжереях. Его высокий, девичий голос звучал напряженно и ласково, синие глаза смотрели в окно, мимо лица женщины, а она, склонясь над шитьем, молчала так задумчиво, как молчит человек наедине с самим собою. Почти не глядя друг на друга, они сидели час, два, но порою Никита осторожно и как бы невольно обнимал невестку ласковым теплом синих глаз, и его большие, собачьи уши заметно розовели. Скользящий взгляд его иногда заставлял женщину тоже взглянуть на деверя и улыбнуться ему милостивой улыбкой — странной улыбкой; иногда Никита чувствует в ней некую догадку о том, что волнует его, иногда же улыбка эта кажется ему и обиженной и обидной, он виновато опускает глаза.

За окном шуршит и плещет дождь, смывая поблекшие краски лета, слышен крик Алексея, рев медвежонка, недавно прикованного на цепь в углу двора, бабы-трепальщицы дробно околачивают лен. Шумно входит Алексей; мокрый, грязный, в шапке, сдвинутой на затылок, он все-таки напоминает весенний день; посмеиваясь, он рассказывает, что Тихон Вялов отсек себе палец топором.

— Будто — невзначай, а дело явное: солдатчины боится. А я бы охотой в солдаты пошел, только б отсюда прочь.

И, хмурясь, он урчит, как медвежонок:
— Заехали к чертям на задворки...
Потом требовательно протягивает руку:
— Дай пятналтынный, я в город иду.
— Зачем?
— Не твое дело.
Уходя, он напевает:

Бежит девка по дорожке,
Тащит милому лепешки...

— Ох, доиграется он до нехорошего! — говорит Наталья.— Подруги мои с Ольгунькой Орловой часто видят его, а ей только пятнадцатый год пошел, матери — нет у нее, отец пьяница...

Никите не нравится, как она говорит это, в словах ее он слышит избыток печали, излишек тревоги и как будто зависть.

Горбун молча смотрит в окно, в мокром воздухе качаются лапы сосен, сбрасывают с зеленых игол ртутные капли дождя. Это он посадил сосны; все деревья вокруг дома посажены его руками...

Входит Петр, угрюмый и усталый.

— Чай пить пора, Наталья.

— Рано еще.

— Пора, говорю! — кричит он, а когда жена уходит, садится на ее место и тоже ворчит, жалуясь:

— Взвалил отец на мои плечи всю эту машину. Верчусь колесом, а куда еду — не знаю. Если у меня не так идет, как надо,— задаст он мне...

Никита мягко и осторожно говорит ему об Алексее, о девице Орловой, но брат отмахивается рукою, видимо не вслушавшись в его слова.

— Нет у меня времени девками любоваться! Я и жену только ночами сквозь сон вижу, а днем слеп, как сыч. Глупости у тебя на уме...

И, дергая себя за ухо, он говорит осторожно:

— Не наше бы это дело, фабрика. Нам бы лучше податься в степи, купить там землю, крестьянствовать. Шума-то было бы меньше, а толку — больше...

Илья Артамонов возвратился домой веселый, помолодевший, он подстриг бороду, еще шире развернул плечи, глаза его светились ярче, и весь он стал точно заново перекованный плуг. Барином развалясь на диване, он говорил:

— Дела наши должны идти, как солдаты. Работы вам, и детям вашим, и внукам довольно будет. На триста лет. Боль-

шое украшение хозяйства земли должно изойти от нас, Артамоновых!

Пощупал глазами сноху и закричал:

— Пухнешь, Наталья? Родишь мальчика — хороший подарок сделаю.

Вечером, собираясь спать, Наталья сказала мужу:

— Хорош батюшка, когда веселый.

Муж, искоса взглянув на нее, неласково отозвался:

— Еще бы не хорош, подарок обещал.

Но недели через две-три Артамонов притих, задумался; Наталья спросила Никиту:

— На что батюшка сердится?

— Не знаю. Его не поймешь.

В тот же вечер, за чаем, Алексей вдруг сказал отчетливо и громко:

— Батюшка,— отдай меня в солдаты.

— К-куда? — заикнувшись, спросил Илья.

— Не хочу я жить здесь...

— Ступайте вон! — приказал Артамонов детям, но когда и Алексей пошел к двери, он крикнул ему:

— Стой, Олешка!

Он долго рассматривал парня, держа руки за спиною, шевеля бровями, потом сказал:

— А я думал: вот у меня орел!

— Не приживусь я тут.

— Врешь. Место твое — здесь. Мать твоя отдала мне тебя в мою волю,— иди!

Алексей шагнул, точно связанный, но дядя схватил его за плечо:

— Не так бы надо говорить с тобой,— со мной отец кулаком говорил. Иди.

И, еще раз окрикнув его, внушительно добавил:

— Тебе — большим человеком быть, понял? Чтобы впредь я от тебя никакого визгу не слыхал...

Оставшись один, он долго стоял у окна, зажав бороду в кулак, глядя, как падает на землю серый мокрый снег, а когда за окном стало темно, как в погребе, пошел в город. Ворота Баймаковой были уже заперты, он постучал в окно, Ульяна сама отперла ему, недовольно спросив:

— Что это ты когда явился?

Не отвечая, не раздеваясь, он прошел в комнату, бросил шапку на пол, сел к столу, облокотясь, запустив пальцы в бороду, и рассказал про Алексея.

— Чужой: сестра моя с барином играла, оно и сказывается.

Женщина посмотрела, плотно ли закрыты ставни окон, погасила свечу,— в углу, пред иконами, теплилась синяя лампада в серебряной подставе.

— Жени его скорей, вот и свяжешь,— сказала она.

— Да, так и надо. Только — это не все. В Петре — задору нет, вот горе! Без задора — ни родить, ни убить. Работает будто не свое, все еще на барина, все еще крепостной, воли не чувствует,— понимаешь? Про Никиту я не говорю: он — убогий, у него на уме только сады, цветы. Я ждал — Алексей вгрызется в дело...

Баймакова успокаивала его:

— Рано тревожишь себя. Погоди, завертится колесо бойчее, подомнет всех — обомнутся.

Они беседовали до полуночи, сидя бок о бок в теплой тишине комнаты,— в углу ее колебалось мутное облако синеватого света, дрожал робкий цветок огня. Жалуясь на недостаток в детях делового задора, Артамонов не забывал и горожан:

— Скуподушные люди.

— Тебя не любят за то, что ты удачлив, за удачу мы, бабы, любим, а вашему брату чужая удача — бельмо на глаз.

Ульяна Баймакова умела утешить и успокоить, а Илья Артамонов только недовольно крякнул, когда она сказала ему:

— Я вот одного до смерти боюсь — понести от тебя...

— В Москве дела — огнем горят! — продолжал он, вставая, обняв женщину.— Эх, кабы ты мужиком была...

— Прощай, родимый, иди!

Крепко поцеловав ее, он ушел.

...На масленице Ерданская привезла Алексея из города в розвальнях оборванного, избитого, без памяти. Ерданская и Никита долго растирали его тело тертым хреном с водкой, он только стонал, не говоря ни слова. Артамонов зверем метался по комнате, засучивая и спуская рукава рубахи, скрипя зубами, а когда Алексей очнулся, он заорал на него, размахивая кулаком:

— Кто тебя — говори?

Приоткрыв жалобно злой, запухший глаз, задыхаясь, сплевывая кровь, Алексей тоже захрипел:

— Добивай...

Испуганная Наталья громко заплакала,— свекор топнул на нее, закричал:

— Цыц! Вон!

Алексей хватал голову руками, точно оторвать ее хотел. и стонал.

Потом, раскинув руки, свалился на бок, замер, открыв окровавленный, хрипящий рот; на столе у постели мигала свеча, по обезображенному телу ползали тени, казалось, что Алексей все более чернеет, пухнет. В ногах у него молча и подавленно стояли братья, отец шагал по комнате и спрашивал кого-то:

— Неужто — не выживет, а?

Но через восемь суток Алексей встал, влажно покашливая, харкая кровью; он начал часто ходить в баню, парился, пил водку с перцем; в глазах его загорелся темный, угрюмый огонь, это сделало их еще более красивыми. Он не хотел сказать, кто избил его, но Ерданская узнала, что бил Степан Барский, двое пожарных и мордвин, дворник Воропонова. Когда Артамонов спросил Алексея: так ли это? — тот ответил:

— Не знаю.

— Врешь!

— Не видел; они мне сзади кафтан, что ли, на голову накинули.

— Скрываешь ты что-то,— догадывался Артамонов, Алексей взглянул в лицо его нехорошо пылающими глазами и сказал:

— Я — выздоровею.

— Ешь больше! — посоветовал Артамонов и проворчал в бороду себе: — За такое дело — красного петуха пустить бы, поджарить им лапы-то...

Он стал еще более внимателен, грубо ласков с Алексеем и работал напоказ, не скрывая своей цели: воодушевить детей страстью к труду.

— Все делайте, ничем не брезгуйте! — поучал он и делал много такого, чего мог бы не делать, всюду обнаруживая звериную, зоркую ловкость,— она позволяла ему точно определять, где сопротивление силе упрямее и как легче преодолеть его.

Беременность снохи неестественно затянулась, а когда Наталья, промучившись двое суток, на третьи родила девочку, он огорченно сказал:

— Ну, это что...

— Благодари бога за милость,— строго посоветовала Ульяна,— сегодня день Елены Льняницы.

— Ой ли?

Он схватил святцы, взглянул и по-детски обрадовался:

— Веди к дочери!

Положив на грудь снохи серьги с рубинами и пять червонцев, он кричал:

— Получи! Хоть и не парня родила, а — хорошо!

И спрашивал Петра:

— Ну, что, рыба-сом, рад? Я, когда ты родился, рад был!

Петр пугливо смотрел в бескровное, измученное, почти незнакомое лицо жены; ее усталые глаза провалились в черные ямы и смотрели оттуда на людей и вещи, как бы вспоминая давно забытое; медленными движениями языка она облизывала искусанные губы.

— Что она молчит? — спросил он тещу.

— Накричалась,— объяснила Ульяна, выталкивая его из комнаты.

Двое суток, день и ночь слушал он вопли жены и сначала жалел ее, боялся, что она умрет, а потом, оглушенный ее криками, отупев от суеты в доме, устал и бояться и жалеть. Он старался только уйти куда-нибудь подальше, куда не достигал бы вой жены, но спрятаться от этого не удавалось, визг звучал где-то внутри головы его, возбуждая необыкновенные мысли. И всюду, куда бы он ни шел, он видел Никиту с топором или железной лопатой в руках, горбун что-то рубил, тесал, рыл ямы, бежал куда-то бесшумным бегом крота, казалось — он бегает по кругу, оттого и встречается везде.

— Не разродится, пожалуй,— сказал Петр брату,— горбун, всадив лопату в песок, спросил:

— Что повитуха говорит?

— Утешает. Обещает. Ты что дрожишь?

— Зубы болят.

Вечером, в день родов, сидя на крыльце дома с Никитой и Тихоном, он рассказал, задумчиво улыбаясь:

— Теща положила мне на руки ребенка-то, а я с радости и веса не почувствовал, чуть к потолку не подбросил дочь. Трудно понять: из-за такой малости, а какая тяжелая мука...

Почесывая скулу, Тихон Вялов сказал спокойно, как всегда говорил:

— Все человечьи муки из-за малости.

— Как это? — строго спросил Никита; дворник, зевнув, равнодушно ответил:

— Да — так как-то...

Из дома позвали ужинать.

Ребенок родился крупный, тяжелый, но через пять месяцев умер от угара, мать тоже едва не умерла, угорев вместе с ним.

— Ну, что ж! — утешал отец Петра на кладбище.— Родит еще. А у нас теперь своя могила здесь будет, значит — якорь брошен глубоко. С тобой — твое, под тобой — твое, на земле — твое и под землей твое,— вот что крепко ставит человека!

Петр кивнул головою, глядя на жену; неуклюже согнув спину, она смотрела под ноги себе, на маленький холмик, по которому Никита сосредоточенно шлепал лопатой. Смахивая пальцами слезы со щек так судорожно быстро, точно боялась обжечь пальцы о свой распухший, красный нос, она шептала:

— Господи, господи...

Между крестов, читая надписи, ходил, кружился Алексей; он похудел и казался старше своих лет. Его немужицкое лицо, обрастая темным волосом, казалось обожженным и закоптевшим, дерзкие глаза, углубясь под черные брови, смотрели на всех неприязненно, он говорил глуховатым голосом, свысока и как бы нарочито невнятно, а когда его переспрашивали, взвизгивал:

— Не понимаешь?

И ругался. В его отношении к братьям явилось что-то нехорошее, насмешливое. На Наталью он покрикивал, как на работницу, а когда Никита, с упреком, сказал ему: «Зря обижаешь Наташу!» — он ответил:

— Я человек больной.

— Она смирная.

— Ну и пусть потерпит.

О том, что он больной, Алексей говорил часто и всегда почти с гордостью, как будто болезнь была достоинством, отличавшим его от людей.

Идя с кладбища рядом с дядей, он сказал ему:

— Надо бы нам свой погост устроить, а то с этими и мертвому лежать зазорно.

Артамонов усмехнулся.

— Устроим. Все будет у нас: церковь, кладбище, училище заведем, больницу,— погоди!

Когда шли по мосту через Ватаракшу, на мосту, держась за перила, стоял нищеподобный человек, в рыженьком, отрепанном халате, похожий на пропившегося чиновника. На его дряблом лице, заросшем седой бритой щетиной, шевелились волосатые губы, открывая осколки черных зубов, мутно светились мокренькие глазки. Артамонов отвернулся, сплюнул, но, заметив, что Алексей необычно ласково кивнул головою дрянному человечку, спросил:

— Это что?

— Часовщик Орлов.

— И видно, что Орлов!

— Он — умный,— настойчиво сказал Алексей.— Его — затравили...

Артамонов покосился на племянника и промолчал.

Наступило лето, сухое и знойное, за Окою горели леса, днем над землею стояло опаловое облако едкого дыма, ночами лысая луна была неприятно красной, звезды, потеряв во мгле лучи свои, торчали, как шляпки медных гвоздей, вода реки, отражая мутное небо, казалась потоком холодного и густого подземного дыма.

Артамоновы, поужинав, задыхаясь в зное, пили чай в саду, в полукольце кленов; деревья хорошо принялись, но пышные шапки их узорной листвы в эту мглистую ночь не могли дать тени. Трещали сверчки, гудели однорогие, железные жуки, пищал самовар. Наталья, расстегнув верхние пуговицы кофты, молча разливала чай, кожа на груди ее была теплого цвета, как сливочное масло; горбун сидел склонив голову, строгая прутья для птичьих клеток, Петр дергал пальцами мочку уха, тихонько говоря:

— Людей дразнить — вредно, а отец дразнит.

Алексей, сухо покашливая, смотрел в сторону города и точно ждал чего-то, вытягивая шею.

В городе заныл колокол.

— Набат? Пожар? — спросил Алексей, приложив ладонь ко лбу и вскакивая.

— Что ты? Звонарь часы отбивает.

Алексей встал и ушел, а Никита, помолчав, сказал тихонько:

— Всё пожары ему чудятся.

— Злой стал,— осторожно заметила Наталья.— А сколько в нем веселья было...

Внушительно, как подобает старшему, Петр упрекнул брата и жену:

— Вы оба глупо глядите на него; ему ваша жалость обидна. Идем спать, Наталья.

Ушли. Горбун, посмотрев вслед им, тоже встал, пошел в беседку, где спал на сене, присел на порог ее. Беседка стояла на холме, обложенном дерном, из нее, через забор, было видно темное стадо домов города, колокольни и пожарная каланча сторожили дома. Прислуга убирала посуду со стола, звякали чашки. Вдоль забора прошли ткачи, один нес бредень, другой гремел железом ведра, третий высекал из кремня искры, пы-

таясь зажечь трут, закурить трубку. Зарычала собака, спокойный голос Тихона Вялова ударил в тишину:

— Кто идет?

Тишина была натянута над землею туго, точно кожа барабана, даже слабый хруст песка под ногами ткачей отражался ею неприятно четко. Никите очень нравилась беззвучность ночей. Чем полнее была она, тем более сосредоточивал он всю силу воображения своего вокруг Натальи, тем ярче светились милые глаза, всегда немного испуганные или удивленные. И легко было выдумывать различные, счастливые для него события: вот он нашел богатейший клад, отдал его Петру, а Петр отдал ему Наталью. Или: вот напали разбойники, а он совершает такие необыкновенные подвиги, что отец и брат сами отдавали ему Наталью в награду за то, что сделано им. Пришла болезнь, после нее от всего семейства остались в живых только двое: он и Наталья, и тогда бы он показал ей, что ее счастье скрыто в его душе.

Было уже за полночь, когда он заметил, что над стадом домов города, из неподвижных туч садов, возникает еще одна, медленно поднимаясь в темно-серую муть неба; через минуту она, снизу, багрово осветилась, он понял, что это пожар, побежал к дому и увидал: Алексей быстро лезет по лестнице на крышу амбара.

— Пожар! — крикнул Никита; брат ответил, влезая выше:

— Знаю. Ну?

— Вот,— ждал ты,— вспомнил горбун и, удивленный, остановился среди двора.

— Ну, ждал! Так что? В такую сушь всегда пожары бывают.

— Надо ткачей будить...

Но ткачей уже разбудил Тихон, и один за другим они бежали к реке, весело покрикивая.

— Влезай ко мне,— предложил Алексей, сидя верхом на коньке крыши, горбун покорно полез, говоря:

— Наташа не испугалась бы.

— А ты не боишься, что Петр набьет тебе еще горб?

— За что? — тихо спросил Никита и услыхал:

— Не пяль глаз на его жену.

Горбун долго не мог ответить ни слова, ему казалось, что он скользит с крыши и сейчас упадет, ударится о землю.

— Что ты говоришь? Подумал бы,— пробормотал он.

— Ну, ладно, ладно! Вижу я... Не бойся,— сказал Алексей весело, как давно уже не говорил; он смотрел из-под ладони,

как толстые языки огня, качаясь, волнуют тишину, заставляя ее глухо гудеть, и оживленно рассказывал:

— Это — Барские горят. У них, на дворе, бочек двадцать дегтя. До соседей огонь не дойдет, сады помешают.

«Бежать надо»,— думал Никита, глядя вдаль, во тьму, разорванную огнем; там, в красноватом воздухе, стояли деревья, выкованные из железа, по красноватой земле суетливо бегали игрушечно маленькие люди, было даже видно, как они суют в огонь тонкие, длинные багры.

— Хорошо горит,— похваливал Алексей.

«В монастырь уйду»,— думал горбун.

На дворе сонно и сердито ворчал Петр, в ответ ему лениво плыли слова Тихона Вялова, и, точно в раме, в окне дома стояла, крестясь, Наталья.

Никита сидел на крыше до поры, пока на месте пожарища засверкала золотом груда углей, окружая черные колонны печных труб. Потом он слез на землю, вышел за ворота и столкнулся с отцом, мокрым, выпачканным сажей, без картуза, в изорванной поддевке.

— Куда? — необыкновенно яростно закричал отец, толкнув Никиту во двор, и, увидав белую фигуру Алексея на крыше, приказал еще свирепей:

— Ты чего там торчишь? Слезь. Тебе, дураку, здоровье беречь надо...

Никита прошел в сад, присел там на скамью под окном комнаты отца и вскоре услыхал, как отец, сильно хлопнув дверью, вполголоса, но глухо спросил:

— Погубить себя хочешь? А меня срамом покрыть, а? Убью...

Внятливо ответил Алексей:

— Сам ты меня надоумил.

— Молчать! Моли бога, что тот негодяй языка лишен...

Никита встал и тихонько, но поспешно ушел в угол сада, в беседку.

Утром, за чаем, отец рассказывал:

— Поджог; поджигатель оказался пьяница этот, часовщик. Избили его, наверно — помрет. Разорил его Барский, что ли, да и на сына его, Степку, был он сердит. Дело темное.

Алексей спокойно пил молоко, а Никита, чувствуя, что у него трясутся руки, сунул их между колен и крепко зажал. Отец, заметив его движение, спросил:

— Ты что ежишься?

— Нездоровится.

— Всем вам нездоровится. А я вот здоров...

Сердито оттолкнув недопитый стакан чая, он ушел.

Дело Артамонова быстро обрастало людями; в двух верстах от фабрики, по холмам, покрытым вереском, среди редкого ельника, выстроились маленькие, приземистые хижины, без дворов, без плетней, издали похожие на ульи. Для одиноких и холостых рабочих Артамонов построил над неглубоким оврагом, руслом высохшей реки, имя которой забыто, длинный барак, с крышей на один скат, с тремя трубами на крыше, с маленькими, ради сохранения тепла, окнами; окна придавали бараку сходство с конюшней, и рабочие назвали его — «Жеребячий дворец».

Илья Артамонов становился все более хвастливо криклив, но заносчивости богача не приобретал, с рабочими держался просто, пировал у них на свадьбах, крестил детей, любил по праздникам беседовать со старыми ткачами, они научили его посоветовать крестьянам сеять лен по старопашням и по лесным пожогам, это оказалось очень хорошо. Старые ткачи восхищались податливым хозяином, видя в нем мужика, которому судьба милостиво улыбается, учили молодежь:

— Глядите, как дела крутить надо!

А Илья Артамонов учил детей:

— Мужики, рабочие — разумнее горожан. У городских — плоть хилая, умишко трепаный, городской человек жаден, а — не смел. У него все выходит мелко, непрочно. Городские ни в чем точной меры не знают, а мужик крепко держит себя в пределах правды, он не мечется туда-сюда. И правда у него простая: бог, например, хлеб, царь. Он — весь простой, мужик, за него и держитесь. Ты, Петр, сухо с рабочими говоришь и все о деле, это — не годится, надобно уметь и о пустяках поболтать. Пошутить надо; веселый человек лучше понятен.

— Шутить я не умею,— сказал Петр и по привычке дернул себя за ухо.

— Учись. Шутка — минутка, а заряжает на час. Алексей тоже неловок с людьми, криклив, придирчив.

— Жулики они и лентяи,— задорно отозвался Алексей.

Артамонов строго крикнул:

— Много ли ты знаешь про людей? — Но улыбнулся в бороду и, чтоб не заметили улыбку, прикрыл ее рукою; он вспомнил, как смело и разумно спорил Алексей с горожанами о кладбище: дремовцы не желали хоронить на своем погосте рабочих Артамонова. Пришлось купить у Помялова большой кусок ольховой рощи и устраивать свой погост.

— Погост,— размышлял Тихон Вялов, вырубая с Никитой тонкие, хилые деревья.— Не на свое место слова ставим. Называется — погост, а гостят тут века вечные. Погосты — это дома, города.

Никита видел, что Вялов работает легко и ловко, проявляя в труде больше разумности, чем в своих темных и всегда неожиданных словах. Так же, как отец, он во всяком деле быстро находил точку наименьшего сопротивления, берег силу и брал хитростью. Но была ясно заметна и разница: отец за все брался с жаром, а Вялов работал как бы нехотя, из милости, как человек, знающий, что он способен на лучшее. И говорил он так же: немного, милостиво, многозначительно, с оттенком небрежности, намекающе:

— Я и еще много знаю; и не то еще могу сказать.

И всегда в его словах слышались Никите какие-то намеки, возбуждавшие в нем досаду на этого человека, боязнь пред ним и — острое, тревожное любопытство к нему.

— Много ты знаешь,— сказал он Вялову, тот не спеша ответил:

— Затем живу. Я знаю — это не беда, я для себя знаю. Мое знатьё спрятано у скупого в сундуке, оно никому не видимо, будь спокоен...

Не заметно было, чтоб Тихон выспрашивал людей о том, что они думают, он только назойливо присматривался к человеку птичьими, мерцающими глазами и, как будто высосав чужие мысли, внезапно говорил о том, чего ему не надо знать. Иногда Никите хотелось, чтоб Вялов откусил себе язык, отрубил бы его, как отрубил себе палец,— он и палец отрубил себе не так, как следовало, не на правой руке, а на левой, безымянный. Отец, Петр и все считали его глупым, но Никите он не казался таким. У него все росло смешанное чувство любопытства к Тихону и страха пред этим скуластым, непонятным мужиком. Чувство страха особенно усилилось после того, как Вялов, возвращаясь с Никитой из леса, вдруг заговорил:

— А ты все сохнешь. Ты б, чудак, сказал ей, может — пожалеет, она будто добрая.

Горбун остановился; у него от испуга замерло сердце, окаменели ноги, он растерянно забормотал:

— Про что сказать, кому?

Вялов, взглянув на него, шагнул дальше, Никита схватил его за рукав рубахи, тогда Тихон пренебрежительно отвел его руку.

— Ну, зачем притворяешься?

Сбросив с плеча на землю выкопанную в лесу березу, Никита оглянулся, ему захотелось ударить Тихона по шершавому лицу, хотелось, чтоб он молчал, а тот, глядя вдаль, щурясь, говорил спокойно, как обыкновенное:

— А если она и не добра, так притворится может на твой час. Бабы — любопытные, всякой хочется другого мужика попробовать, узнать — есть ли что слаще сахара? Нашему же брату — много ли надо? Раз, два — вот и сыт и здоров. А ты — сохнешь. Ты — попытайся, скажи, авось она согласится.

Никите послышалось в его словах чувство дружеской жалости; это было ново, неведомо для него и горьковато щипало в горле, но в то же время казалось, что Тихон раздевает, обнажает его.

— Ерунду придумал ты,— сказал он.

В городе звонили колокола, призывая к поздней обедне. Тихон встряхнул деревья на плече своем и пошел, пристукивая по земле железной лопатой, говоря все так же спокойно:

— Ты меня не опасайся. Я ведь жалею тебя, ты человек приятный, любопытный. Вы все, Артамоновы, страх как любопытные... Ты характером и не похож на горбатого, а ведь горбат.

Испуг Никиты растаял в горячей печали, от нее у него мутилось в глазах, он спотыкался, как пьяный, хотелось лечь на землю и отдохнуть; он тихонько попросил:

— Ты молчи об этом.

— Я сказал: как в сундуке заперто.

— Забудь. Ей не проговорись.

— Я с ней не говорю... Зачем с ней говорить?

И вплоть до дома оба шли молча. Синие глаза горбуна стали больше, круглее и печальней, он смотрел мимо людей, за плечи им, он стал еще более молчалив и незаметен. Но Наталья приметила что-то:

— Ты что грустный ходишь? — спросила она, Никита ответил:

— Дела много,— и быстро отошел прочь. Это обидело женщину, она не впервые чувствовала, что деверь не так ласков с нею, как прежде. Ей жилось скучно. За четыре года она родила двух девочек и уже снова ходила непорожней.

— Что ты все девок родишь, куда их? — ворчал свекор, когда она родила вторую, и не подарил ей ничего, а Петру жаловался:

— Мне внучат надо, а не зятьев. Разве я для чужих людей дело затеял?

Каждое слово свекра заставляло женщину чувствовать себя виноватой; она знала, что и муж недоволен ею. Ночами, лежа рядом с ним, она смотрела в окно на далекие звезды и, поглаживая живот, мысленно просила:

«Господи,— сыночка бы...»

Но иногда ей хотелось крикнуть мужу и свекру:

«Нарочно, назло вам буду девочек родить!»

И хотелось сделать что-то удивительное, неожиданное для всех — хорошее, чтоб все люди стали ласковее к ней, или злое, чтобы все они испугались. Но ни хорошего, ни плохого она не могла выдумать.

Вставая на рассвете, она спускалась в кухню и вместе с кухаркой готовила закуску к чаю, бежала вверх кормить детей, потом поила чаем свекра, мужа, деверей, снова кормила девочек, потом шила, чинила белье на всех, после обеда шла с детями в сад и сидела там до вечернего чая. В сад заглядывали бойкие шпульницы, льстиво хвалили красоту девочек, Наталья улыбалась, но не верила похвалам,— дети казались ей некрасивыми.

Иногда между деревьев мелькал Никита, единственный человек, который был ласков с ней, но теперь, когда она приглашала его посидеть с ней, он виновато отвечал:

— Прости, время нет у меня.

У нее незаметно сложилась обидная мысль: горбун был фальшиво ласков с нею; муж приставил его к ней сторожем, чтоб следить за нею и Алексеем. Алексея она боялась, потому что он ей нравился; она знала: пожелай красавец деверь, и она не устоит против него. Но он — не желал, он даже не замечал ее; это было и обидно женщине и возбуждало в ней вражду к Алексею, дерзкому, бойкому.

В пять часов пили чай, в восемь ужинали, потом Наталья мыла младенцев, кормила, укладывала спать, долго молилась, стоя на коленях, и ложилась к мужу с надеждой зачать сына. Если муж хотел ее, он ворчал, лежа на кровати:

— Будет. Ложись.

Торопливо крестясь, прерывая молитву, она шла к нему, покорно ложилась. Иногда, очень редко, Петр шутил:

— Что много молишься? Всего себе не вымолишь, другим не хватит...

Ночью, разбуженная плачем ребенка, покормив, успокоив его, она подходила к окну и долго смотрела в сад, в небо, без слов думая о себе, о матери, свекре, муже, обо всем, что дал ей незаметно прошедший, нелегкий день. Было странно не слы-

шать привычных голосов, веселых или заунывных песен работниц, разнообразных стуков и шорохов фабрики, ее пчелиного жужжания; этот непрерывный, торопливый гул наполнял весь день, отзвуки его плавали по комнатам, шуршали в листве деревьев, ласкались к стеклам окон; шорох работы, заставляя слушать его, мешал думать.

А в ночной тишине, в сонном молчании всего живого, вспоминались жуткие рассказы Никиты о женщинах, плененных татарами, жития святых отшельниц и великомучениц, вспоминались и сказки о счастливой, веселой жизни, но чаще всего память подсказывала обидное.

Свекор смотрел на нее как на пустое место, и это еще было хорошо, но нередко, встречаясь с нею в сенях или в комнате глаз на глаз, он бесстыдно щупал ее острым взглядом от груди до колен и неприязненно всхрапывал.

Муж был сух, холоден, она чувствовала, что иногда он смотрит на нее так, как будто она мешает ему видеть что-то другое, скрытое за ее спиной. Часто, раздевшись, он не ложился, а долго сидел на краю постели, упираясь в перину одною рукой, а другой дергая себя за ухо или растирая бороду по щеке, точно у него болели зубы. Его некрасивое лицо морщилось то жалобно, то сердито,— в такие минуты Наталья не решалась лечь в постель. Говорил он мало, только о домашнем и лишь изредка, все реже, вспоминал о крестьянской, о помещичьей жизни, непонятной Наталье. Зимою в праздники, на святках и на масленице, он возил ее кататься по городу; запрягали в сани огромного вороного жеребца, у него были желтые, медные глаза, исчерченные кровавыми жилками, он сердито мотал башкой и громко фыркал,— Наталья боялась этого зверя, а Тихон Вялов еще более напугал ее, сказав:

— Дворянский конь, зол на чужую власть.

Часто приходила мать; Наталья завидовала ее свободной жизни, праздничному блеску ее глаз. Эта зависть становилась еще острее и обидней, когда женщина замечала, как молодо шутит с матерью свекор, как самодовольно он поглаживает бороду, любуясь своей сожительницей, а она ходит павой, покачивая бедрами, бесстыдно хвастаясь пред ним своей красотою. Город давно знал о ее связи со сватом и, строго осудив за это, отшатнулся от нее, солидные люди запретили дочерям своим, подругам Натальи, ходить к ней, дочери порочной женщины, снохе чужого, темного мужика, жене надутого гордостью, угрюмого мужа; маленькие радости девичьей жизни теперь казались Наталье большими и яркими.

Обидно было видеть, что мать, такая прямодушная раньше, теперь хитрит с людями и фальшивит; она, видимо, боится Петра и, чтоб он не замечал этого, говорит с ним льстиво, восхищается его деловитостью; боится она, должно быть, и насмешливых глаз Алексея, ласково шутит с ним, перешептывается о чем-то и часто делает ему подарки; в день именин подарила фарфоровые часы с фигурками овец и женщиной, украшенной цветами; эта красивая, искусно сделанная вещь всех удивила.

— За долг у меня остались часы, всего за три целковых, старинные они, не ходят,— объяснила мать.— Когда Алеша женится,— дом свой украсит...

«И я бы украсила»,— подумалось Наталье.

Мать подробно расспрашивала о хозяйстве, скучно поучала:

— По будням салфеток к столу не давай, от усов, от бород салфетки сразу пачкаются.

На Никиту, который прежде нравился ей, она смотрела поджимая губы, говорила с ним, как с приказчиком, которого подозревают в чем-то нечестном, и предупреждала дочь:

— Ты смотри, не очень привечай его, горбатые — хитрые.

Не один раз Наталья хотела пожаловаться матери на мужа за то, что он не верит ей и велел горбуну сторожить ее, но всегда что-то мешало Наталье говорить об этом.

Но всего хуже, когда мать, тоже обеспокоенная тем, что Наталья не может родить мальчика, расспрашивает ее о ночных делах с мужем, расспрашивает бесстыдно, неприкрыто, ее влажные глаза, улыбаясь, щурятся, пониженный голос мурлыкает, любопытство ее тяжело волнует, и Наталья рада слышать вопрос свекра:

— Сватья,— лошадь запрячь?

— Я бы лучше пешочком прошлась.

— Ладно; я тебя провожу.

Муж задумчиво говорит:

— Умный человек теща; ловко она отца держит. При ней он мягче с нами. Ей бы дом свой продать да к нам перебраться.

«Не надо этого»,— хочет сказать Наталья, но — не смеет и еще больше обижается на мать за то, что та любима и счастлива.

Сидя у окна в сад или в саду с шитьем в руках, она слышит отрывки беседы Тихона с Никитой, они возятся за ягодником у бани, и, сквозь мягкий шумок фабрики, просачиваются спокойные слова дворника:

— Скука — от людей; скучатся они в кучу, и начинается скука.

«Как верно!» — думает Наталья, но приятный голос Никиты увещевает:

— Заговариваешься ты. А — хороводы, игры? Без людей — веселья нет.

«И это верно»,— удивляясь, соглашается женщина.

Она видит, что все вокруг ее говорят уверенно, каждый что-то хорошо знает, она именно видит, как простые твердые слова, плотно пригнанные одно к другому, отгораживают каждому человеку кусок какой-то крепкой правды, люди и отличаются словами друг от друга и украшают себя ими, побрякивая, играя словами, как золотыми и серебряными цепочками своих часов. У нее нет таких слов, ей не во что одеть свои думы, и, неуловимые, мутные, как осенний туман, они только тяготят ее, она тупеет от них, все чаще думая с тоской и досадой:

«Глупа я, ничего не знаю, не понимаю...»

— Медведь значит — ведун, ведает, где мед,— бормочет Тихон в кустах малины.

«Так и есть»,— думает Наталья и, вздрогнув, вспоминает, как Алексей убил ее любимца: до тринадцати месяцев медведь бегал по двору, ручной и ласковый, как собака, влезал в кухню и, становясь на задние ноги, просил хлеба, тихонько урча, мигая смешными глазами. Он был весь смешной, добрый и понимающий доброту. Его все любили, Никита ухаживал за ним, расчесывая комья густой, свалявшейся шерсти, водил его купать в реку, и медведь так полюбил его, что, когда Никита уходил куда-либо, зверь, подняв морду, тревожно нюхал воздух, фыркая, бегал по двору, ломился в контору, комнату своего пестуна, неоднократно выдавливал стекла в окне, выламывал раму. Наталья любила кормить его пшеничным хлебом с патокой, он сам научился макать куски хлеба в чашку патоки; радостно рыча, покачиваясь на мохнатых ногах, совал хлеб в розовую, зубастую пасть, обсасывал лишкую, сладкую лапу, его добродушные глазенки счастливо сияли, и он тыкал башкой в колени Натальи, вызывая ее играть с ним. С этим милым зверем можно было говорить, он уже что-то понимал.

Но однажды Алексей напоил его водкой, пьяный медведь плясал, кувыркался, залез на крышу бани и, разбирая трубу, стал скатывать кирпичи вниз; собралась толпа рабочих и хохотала, глядя на него. С того дня почти каждый праздник Алексей, на потеху людям, стал поить медведя, и зверь так привык пьянствовать, что гонялся за всеми рабочими, от которых

пахло вином, и не давал Алексею пройти по двору без того, чтоб не броситься к нему. Его посадили на цепь, но он разломал свою конуру и с цепью на шее, с бревном на другом конце ее, стал ходить по двору, размахивая лапами, мотая башкой. Его хотели поймать, он оцарапал ногу Тихона, сбил с ног молодого рабочего Морозова и ушиб Никиту, хватив его лапой по бедру. Тогда прибежал Алексей с рогатиной, он с разбега воткнул ее в живот зверя, Наталья видела из окна, как медведь осел на задние ноги и замахал лапами, он как бы прощения просил у людей, разъяренно кричавших вокруг его. Кто-то угодливо сунул в руки Алексея острый, плотничный топор, припрыгивая, остробородый деверь ударил его по лапе, по другой, медведь рявкнул, опустился на изрубленные лапы, из них направо и налево растекалась кровь, образуя на утоптанной земле густо-красные пятна. Жалобно рыча, зверь подставил голову под новый удар топора, тогда Алексей, широко раскорячив ноги, всадил топор в затылок медведя, как в полено, медведь ткнулся мордой в кровь свою, а топор так глубоко завяз в костях, что Алексей, упираясь ногою в мохнатую тушу, едва мог вырвать топор из черепа. Жалко было медведя, но еще более было жалко знать, что бесстрашный, ловкий, веселый озорник деверь путается с какой-то ничтожной девчонкой, а ее, Наталью, не видит.

Деверя все хвалили за ловкость, за храбрость, свекор, похлопывая его по плечу, кричал:

— А — говоришь — больной? Ах ты...

Никита убежал со двора, а Наталья так плакала, что муж удивленно и с досадой спросил ее:

— Ну, а если человека убьют при тебе, что ж ты тогда будешь делать?

И, как на маленькую, крикнул:

— Перестань, дура!

Ей показалось, что он хочет ударить, и, сдерживая слезы, она вспомнила первую ночь с ним,— какой он был тогда сердечный, робкий. Вспомнила, что он еще не бил ее, как бьют жен все мужья, и сказала, сдерживая рыдания:

— Прости, жалко очень.

— Жалеть надо меня, а не медведя,— ответил он негромко и уже ласковее.

Когда она впервые пожаловалась матери на суровость мужа, та, памятно, сказала ей:

— Мужик — пчела; мы для мужика — цветы, он с нас мед собирает, это надо понимать, надо учиться терпеть, милок. Му-

жики — всем владычат, у них забот больше нашего, они вон строят церкви, фабрики. Ты гляди, что свекор-то на пустом месте настроил...

Илья Артамонов все более бешено торопился развить и укрепить свое дело, он как будто предчувствовал, что срок его — не велик. В мае, незадолго до Николина дня, прибыл для второго корпуса фабрики паровой котел, его привезли на барке, причалившей к песчаному берегу Оки там, где в нее лениво втекала болотная вода зеленой Ватаракши. Предстояла трудная работа: котел надо было тащить сажен полтораста по песчаному грунту. В Николин день Артамонов устроил для рабочих сытный, праздничный обед с водкой, брагой; столы были накрыты на дворе, бабы украсили его ветками елей, берез, пучками первых цветов весны и сами нарядились пестро, как цветы. Хозяин с семьей и немногими гостями сидел за столом среди старых ткачей, солоно шутил с дерзкими на язык шпульницами, много пил, искусно подзадоривал людей к веселью и, распахивая рукою поседевшую бороду, кричал возбужденно:

— Эх, ребята! Али не живем?

Им, его повадкой любовались, он чувствовал это и еще более пьянел от радости быть таким, каков есть. Он сиял и сверкал, как этот весенний, солнечный день, как вся земля, нарядно одетая юной зеленью трав и листьев, дымившаяся запахом берез и молодых сосен, поднявших в голубое небо свои золотистые свечи,— весна в этом году была ранняя и жаркая, уже расцветала черемуха и сирень. Все было празднично, все ликовало; даже люди в этот день тоже как будто расцвели всем лучшим, что было в них.

Древний ткач Борис Морозов, маленький, хилый старичок, с восковым личиком, уютно спрятанным в седой, позеленевшей бороде, белый весь и вымытый, как покойник, встал, опираясь о плечо старшего сына, мужика лет шестидесяти, и люто кричал, размахивая костяной, без мяса, рукою:

— Глядите,— девяносто лет мне, девяносто с лишком, нате-ко! Солдат, Пугача бил, сам бунтовал в Москве, в чумной год, да-а! Бонапарта бил...

— А ласкал кого? — кричал Артамонов в ухо ему,— ткач был глух.

— Двух жен, кроме прочих. Гляди: семь парней, две дочери, девятнадцать внучат, пятеро правнуков,— эко наткал! Вон они, все у тебя живут, вона — сидят...

— Давай еще! — кричал Илья.

— Будут. Трех царей да царицу пережил — нате-ко! У скольких хозяев жил, все примерли, а я — жив! Версты полотен наткал. Ты, Илья Васильев, настоящий, тебе долго жить. Ты — хозяин, ты дело любишь, и оно тебя. Людей не обижаешь. Ты — нашего дерева сук,— катай! Тебе удача — законная жена, а не любовница: побаловала, да и нет ее! Катай во всю силу. Будь здоров, брат, вот что! Будь здоров, говорю...

Артамонов схватил его на руки, приподнял, поцеловал, растроганно крича:

— Спасибо, робенок! Я тебя управляющим сделаю...

Люди орали, хохотали, а старый пьяненький ткач, высоко поднятый над ними, потрясал в воздухе руками скелета и хихикал визгливо:

— У него — всё по-своему, всё не так...

Ульяна Баймакова, не стыдясь, вытирала со щек слезы умиления.

— Сколько радости,— сказала ей дочь, она, сморкаясь, ответила:

— Такой уж человек, на радость и создан господом...

— Учись, ребята, как надо с людями жить,— кричал Артамонов детям.— Гляди, Петруха!

После обеда, убрав столы, бабы завели песни, мужики стали пробовать силу, тянулись на палке, боролись; Артамонов, всюду поспевая, плясал, боролся; пировали до рассвета, а с первым лучом солнца человек семьдесят рабочих во главе с хозяином шумной ватагой пошли, как на разбой, на Оку, с песнями, с посвистом, хмельные, неся на плечах толстые катки, дубовые рычаги, веревки, за ними ковылял по песку старенький ткач и бормотал Никите:

— Он своего добьется! Он? Я зна-аю...

Благополучно сгрузили с барки на берег красное тупое чудовище, похожее на безголового быка; опутали его веревками и, ухая, рыча, дружно повезли на катках по доскам, положенным на песок; котел покачивался, двигаясь вперед, и Никите казалось, что круглая, глупая пасть котла разверзлась удивленно пред веселой силою людей. Отец, хмельной, тоже помогал тащить котел, напряженно покрикивая:

— Потише, эй, потише!

И, хлопая ладонью по красному боку железного чудовища, приговаривал:

— Пошел котел, пошел!

Меньше полусотни сажен осталось до фабрики, когда котел покачнулся особенно круто и не спеша съехал с переднего

катка, ткнувшись в песок тупой мордой,— Никита видел, как его круглая пасть дохнула в ноги отца сырой пылью. Люди сердито облепили тяжелую тушу, пытаясь подсунуть под нее каток, но они уже выдохлись, а котел упрямо влип в песок и, не уступая усилиям их, как будто зарывался все глубже. Артамонов с рычагом в руках возился среди рабочих, покрикивая:

— Молодчики, берись дружней! О-ух...

Котел нехотя пошевелился и снова грузно осел, а Никита увидал, что из толпы рабочих вышел незнакомой походкой отец, лицо у него было тоже незнакомое, шел он, сунув одну руку под бороду, держа себя за горло, а другой щупал воздух, как это делают слепые; старый ткач, припрыгивая вслед за ним, покрикивал:

— Земли поешь, земли...

Никита подбежал к отцу, тот, икнув, плюнул кровью под ноги ему и сказал глухо:

— Кровь.

Лицо его посерело, глаза испуганно мигали, челюсть тряслась, и все его большое, умное тело испуганно сжалось.

— Ушибся? — спросил Никита, схватив его за руку, отец пошатнулся на него, толкнул и ответил негромко:

— Пожалуй,— жила лопнула...

— Земли поешь, говорю...

— Отстань,— уйди!

И, снова обильно плюнув кровью, Артамонов пробормотал с недоумением:

— Текёт. Где Ульяна?

Горбун хотел бежать домой, но отец крепко держал его за плечо и, наклонив голову, шаркал по песку ногами, как бы прислушиваясь к шороху и скрипу, едва различимому в сердитом крике рабочих.

— Что такое? — спросил он и пошел к дому, шагая осторожно, как по жердочке над глубокой рекою. Баймакова прощалась с дочерью, стоя на крыльце, Никита заметил, что, когда она взглянула на отца, ее красивое лицо странно, точно колесо, все повернулось направо, потом налево и поблекло.

— Льду давайте,— закричала она, когда отец, неумело подогнув ноги, опустился на ступень крыльца, все чаще икая и сплевывая кровь. Как сквозь сон, Никита слышал голос Тихона:

— Лед — вода; водой крови не заменить...

— Земли пожевать надо...

— Тихон, скачи за попом...

— Поднимайте, несите,— командовал Алексей; Никита подхватил отца под локоть, но кто-то наступил на пальцы ноги его так сильно, что он на минуту ослеп, а потом глаза его стали видеть еще острей, запоминая с болезненной жадностью все, что делали люди в тесноте отцовой комнаты и на дворе. По двору скакал Тихон на большом черном коне, не в силах справиться с ним; конь не шел в ворота, прыгал, кружился, вскидывая злую морду, разгоняя людей,— его, должно быть, пугал пожар, ослепительно зажженный в небе солнцем; вот он наконец выскочил, поскакал, но перед красной массой котла шарахнулся в сторону, сбросив Тихона, и возвратился во двор, храпя, взмахивая хвостом.

Кто-то кричит:

— Мальчишки, бегом...

На подоконнике, покручивая темную, острую бородку, сидит Алексей, его нехорошее, немужицкое лицо заострилось и точно пылью покрыто, он смотрит, не мигая, через головы людей на постель, там лежит отец, говоря не своим голосом:

— Значит — ошибся. Воля божия. Ребята — приказываю: Ульяна вам вместо матери, слышите? Ты, Уля, помоги им, Христа ради... Эх! Вышлите чужих из горницы...

— Молчи ты,— протяжно и жалобно стонет Баймакова, всовывая в рот ему кусочки льда.— Нет здесь чужих.

Отец глотает лед и, нерешительно вздыхая, говорит:

— Греху моему вы не судьи, а она не виновата. Наталья, суров я был с тобой, ну, ничего. Мальчишек! Петруха, Олеша — дружно живите. С народом поласковей. Народ — хороший. Отборный. Ты, Олеша, женись на этой, на своей... ничего!

— Батюшка — не оставляй нас,— просит Петр, опускаясь на колени, но Алексей толкает его в спину, шепчет:

— Что ты? Не верю я...

Наталья рубит кухонным ножом лед в медном тазу, хрустящие удары сопровождает лязг меди и всхлипывания женщины. Никите видно, как ее слезы падают на лед. Желтенький луч солнца проник в комнату, отразился в зеркале и бесформенным пятном дрожит на стене, пытаясь стереть фигуры красных, длинноусых китайцев на синих, как ночное небо, обоях.

Никита стоит у ног отца, ожидая, когда отец вспомнит о нем. Баймакова то расчесывает гребнем густые, курчавые волосы Ильи, то отирает салфеткой непрерывную струйку крови в углу его губ, капли пота на лбу и на висках, она что-то шепчет в его помутневшие глаза, шепчет горячо, как молитву,

а он, положив одну руку на плечо ей, другую на колено, отяжелевшим языком ворочает последние слова:

— Знаю. Спаси тебя Христос. Хороните на своем, на нашем кладбище, не в городе. Не хочу там, ну их...

И с великой кипящей тоскою он шептал:

— Эх, ошибся я, господи... Ошибся...

Пришел высокий, сутулый священник с Христовой бородкой и грустными глазами.

— Погоди, батя,— сказал Артамонов и снова обратился к детям:

— Ребята — не делитесь! Живите дружно. Дело вражды не любит. Петр,— ты старший, на тебе ответ за все, слышишь? Уходите...

— Никита,— напомнила Баймакова.

— Никиту — любите. Где он? Идите... После... И Наталья...

Он умер, истек кровью после полудня, когда солнце еще благостно сияло в зените. Он лежал, приподняв голову, нахмуря восковое лицо, оно было озабочено, и неплотно прикрытые глаза его как будто задумчиво смотрели на широкие кисти рук, покорно сложенных на груди.

Никите казалось, что все в доме не так огорчены и напуганы этой смертью, как удивлены ею. Это тупое удивление он чувствовал во всех, кроме Баймаковой, она молча, без слез сидела около усопшего, точно замерзла, глухая ко всему, положив руки на колени, неотрывно глядя в каменное лицо, украшенное снегом бороды.

Петр вытянулся, говорил излишне и неуместно громко, входя в комнату, где лежал отец и, попеременно с Никитой, толстая монахиня выпевала жалобы псалтыря; Петр вопросительно заглядывал в лицо отца, крестился и, минуты две-три постояв, осторожно уходил, потом его коренастая фигура мелькала в саду, на дворе, и казалось, что он чего-то ищет.

Алексей хлопотливо суетился, устраивая похороны, гонял лошадь в город, возвращался оттуда, вбегал в комнату, спрашивал Ульяну о порядке похорон, о поминках.

— Погоди,— говорила она, и Алексей исчезал, потный, усталый. Приходила Наталья, робко и жалостливо предлагала матери выпить чаю, поесть; внимательно выслушав ее, мать говорила:

— Погоди.

Никита при жизни отца не знал, любит ли его, он только боялся, хотя боязнь и не мешала ему любоваться вооду-

шевленной работой человека, неласкового к нему и почти не замечавшего — живет ли горбатый сын? Но теперь Никите казалось, что он один по-настоящему, глубоко любил отца, он чувствовал себя налитым мутной тоскою, безжалостно и грубо обиженным этой внезапной смертью сильного человека; от этой тоски и обиды ему даже дышать трудно было. Он сидел в углу, на сундуке, ожидая своей очереди читать псалтырь, мысленно повторял знакомые слова псалмов и оглядывался. Теплый сумрак наполнял комнату, в нем колебались желтенькие, живые цветы восковых свечей. По стенам фокусно лепились длинноусые китайцы, неся на коромыслах цибики чая, на каждой полосе обоев было восемнадцать китайцев по два в ряд, один ряд шел к потолку, а другой опускался вниз. На стену падал масленый свет луны, в нем китайцы были бойчее, быстрее шли и вверх и вниз.

Вдруг сквозь однотонный поток слов псалтыря Никита услыхал негромкий настойчивый вопрос:

— Да неужто — помер? Господи?

Это спросила Ульяна, и голос ее прозвучал так поражающе горестно, что монахиня, прервав чтение, ответила виновато:

— Умер, матушка, умер, по воле божией...

Стало совершенно невыносимо, Никита поднялся и шумно вышел из комнаты, унося нехорошую, тяжелую обиду на монахиню.

У ворот, на скамье, сидел Тихон; отламывая пальцами от большой щепы маленькие щепочки, он втыкал их в песок и ударами ноги загонял их глубже, так, что они становились невидны. Никита сел рядом, молча глядя на его работу; она ему напоминала жуткого городского дурачка Антонушку: этот лохматый, темнолицый парень, с вывороченной в колене ногою, с круглыми глазами филина, писал палкой на песке круги, возводил в центре их какие-то клетки из щепочек и прутьев, а выстроив что-то, тотчас же давил свою постройку ногою, затирал песком, пылью и при этом пел гнусаво:

Христос воскресе, воскресе!
Кибитка потерял колесо.
Бутырма, бай, бай, бустарма.
Баю, баю, бай, Христос.

— Дело-то какое, а? — сказал Тихон и, хлопнув себя по шее, убил комара; вытер ладонь о колено, поглядел на луну, зацепившуюся за сучок ветлы над рекою, потом остановил глаза свои на мясистой массе котла.

— Рано в этом году комар родился,— спокойно продолжал он.— Да, вот комар — живет, а...

Горбун, чего-то боясь, не дал ему кончить, сердито напомнив:

— Да ведь ты убил комара.

И поспешно ушел прочь от дворника, а через несколько минут, не зная, куда девать себя, снова явился в комнате отца, сменил монахиню и начал чтение. Вливая в слова псалмов тоску свою, он не слышал, когда вошла Наталья, и вдруг за спиной его раздался тихий плеск ее голоса. Всегда, когда она была близко к нему, он чувствовал, что может сказать или сделать нечто необыкновенное, может быть, страшное, и даже в этот час боялся, что помимо воли своей скажет что-то. Нагнув голову, приподняв горб, он понизил сорвавшийся голос, и тогда, рядом со словами девятой кафизмы, потекли всхлипывающие слова двух голосов.

— Вот — крест нательный сняла с него, буду носить.

— Мама, родная, ведь и я тоже одна.

Никита снова поднял голос, чтобы заглушить, не слышать этот влажный шепот, но все-таки вслушивался в него.

— Не стерпел господь греха...

— В чужом гнезде, одна...

— «Камо гряду от лица твоего и от гнева твоего камо бегу?» — старательно выпевал Никита вопль страха, отчаяния, а память подсказывала ему печальную поговорку: «Не любя жить — горе, а полюбишь — вдвое»,— и он смущенно чувствовал, что горе Натальи светит ему надеждой на счастье.

Утром из города приехали на дрожках Барский и городской голова Яков Житейкин, пустоглазый человек, по прозвищу Недожаренный, кругленький и действительно сделанный как бы из сырого теста; посетив усопшего, они поклонились ему, и каждый из них заглянул в потемневшее лицо боязливо, недоверчиво, они, видимо, тоже были удивлены гибелью Артамонова. Затем Житейкин кусающим, едким голосом сказал Петру:

— Слышно, будто хотите вы схоронить родителя на своем кладбище, так ли, нет ли? Это, Петр Ильич, нам, городу, обида будет, как будто вы не желаете знаться с нами и в дружбе жить не согласны, так ли, нет ли?

Скрипнув зубами, Алексей шепнул брату:

— Гони их!

— Кума,— гудел Барский, налезая на Ульяну.— Как же это? Обидно!

Житейкин допрашивал Петра:

— Это не поп ли Глеб насоветовал вам? Нет, вы это отмените, батюшка ваш первый фабрикант по уезду, зачинатель нового дела,— лицо и украшение города. Даже исправник удивляется, спрашивал: православные ли вы?

Он говорил непрерывно, не замечая попыток Петра прервать его речь, а когда Петр сказал наконец, что такова воля родителя, Житейкин сразу успокоился.

— Так ли, нет ли — хоронить мы приедем.

И всем стало ясно, что он не за тем явился, о чем говорил. Он отправился в угол комнаты, где Барский, прижав Ульяну к стене, что-то бормотал ей, но раньше чем Житейкин успел подойти к ним, Ульяна крикнула:

— Дурак ты, кум, уйди!

У нее дрожали губы и брови, заносчиво подняв голову, она сказала Петру:

— Эти двое и Помялов с Воропоновым просят меня уговорить вас, братьев, продать им фабрику, деньги мне дают за помощь...

— Уйдите... господа! — сказал Алексей, указывая на дверь.

Покашливая, улыбаясь, Житейкин направил Барского к двери, толкая его под локоть, а Баймакова, опустясь на сундук, заплакала, жалуясь:

— Память о человеке хотят стереть...

Алексей, глядя на лицо Артамонова, сказал торжественно и зло:

— Хуже буду, а таким, как эти,— не стану жить! Лучше башку себе разобью.

— Нашли время для торговли,— проворчал Петр, тоже косясь на отца.

Подойдя к Никите, Наталья тихонько спросила его:

— А ты что молчишь?

Он был тронут тем, что о нем вспомнили, он был обрадован, что вспомнила Наталья, и, не сдержав улыбку радости, он сказал тоже тихо:

— Что же я... Мы с тобой...

Но женщина задумчиво отошла от него.

На похороны Ильи Артамонова явились почти все лучшие люди города, приехал исправник, высокий, худощавый, с голым подбородком и седыми баками, величественно прихрамывая, он шагал по песку рядом с Петром и дважды сказал ему одни и те же слова:

— Покойник был отлично рекомендован мне его сиятельством князем Георгием Ратским и рекомендацию эту совершенно оправдал.

Но вскоре заявил Петру:

— Носить покойников в гору — тяжело!

Сказал и, боком выбравшись из толпы, туго поджав бритые губы, встал под сосною в тень, пропуская мимо себя, как солдат на параде, толпу горожан и рабочих.

День был яркий, благодатно сияло солнце, освещая среди жирных пятен желтого и зеленого пеструю толпу людей; она медленно всползала среди двух песчаных холмов на третий, уже украшенный не одним десятком крестов, врезанных в голубое небо и осененных широкими лапами старой, кривой сосны. Песок сверкал алмазными искрами, похрустывая под ногами людей, над головами их волновалось густое пение попов, сзади всех шел, спотыкаясь и подпрыгивая, дурачок Антонушка; круглыми глазами без бровей он смотрел под ноги себе, нагибался, хватая тоненькие сучки с дороги, совал их за пазуху и тоже пронзительно пел:

Христос воскресе, воскресе,
Кибитка потерял колесо...

Благочестивые люди били его, запрещая петь это, и теперь исправник, погрозив ему пальцем, крикнул:

— Цыц, дурак...

В городе Антонушку не любили, он был мордвин или чуваш, и поэтому нельзя было думать, что он юродивый Христа ради, но его боялись, считая предвозвестником несчастий, и когда, в час поминок, он явился на двор Артамоновых и пошел среди поминальных столов, выкрикивая нелепые слова: «Куятыр, куятыр,— черт на колокольню, ай-яй, дождик будет, мокро будет, каямас черненько плачет!» — некоторые из догадливых людей перешепнулись:

— Ну, значит, Артамоновым счастья не будет!

Петр уловил этот шепот. А через некоторое время он увидал, что Тихон Вялов прижал дурачка в углу двора, и услышал спокойные, но пытливые вопросы дворника:

— Это что будет — каямас? Не знаешь? На. Пошел прочь! Ну, ну — иди...

...Быстро, как осенний, мутный поток с горы, скользнул год; ничего особенного не случилось, только Ульяна Баймакова сильно поседела, и на висках у нее вырезались печальные лучики старости. Очень заметно изменился Алексей, он

стал мягче, ласковее, но в то же время у него явилась неприятная торопливость, он как-то подхлестывал всех веселыми шуточками, острыми словами, и особенно тревожило Петра его дерзкое отношение к делу, казалось, что он играет с фабрикой так же, как играл с медведем, которого, потом, сам же и убил. Было странно его пристрастие к вещам барского обихода; кроме часов, подарка Баймаковой, в комнате его завелись какие-то ненужные, но красивенькие штучки, на стене висела вышитая бисером картина — девичий хоровод. Алексей был бережлив, зачем же он тратит деньги на пустяки? Он и одеваться стал модно, дорого. Холил свою темную остренькую бородку, брил щеки и все более терял простое, мужицкое. Петр чувствовал в двоюродном брате что-то очень чужое, неясное, он незаметно, недоверчиво присматривался к нему, и недоверие все возрастало.

Петр относился к делу осторожно, опасливо, так же, как к людям. Он выработал себе неторопливую походку и подкрадывался к работе, прищуривая медвежьи глаза, как бы ожидая, что то, к чему он подходит, может ускользнуть от него. Иногда, уставая от забот о деле, он чувствовал себя в холодном облаке какой-то особенной, тревожной скуки, и в эти часы фабрика казалась ему каменным, но живым зверем, зверь приник, прижался к земле, бросив на нее тени, точно крылья, подняв хвост трубою, морда у него тупая, страшная, днем окна светятся, как ледяные зубы, зимними вечерами они железные и докрасна раскалены от ярости. И кажется, что настоящее, скрытое дело фабрики не в том, чтоб наткать версты полотна, а в чем-то другом, враждебном Петру Артамонову.

В годовщину смерти отца, после панихиды на кладбище, вся семья собралась в светлой, красивой комнате Алексея, он, волнуясь, сказал:

— Отец завещал нам жить дружно; так и надо,— мы тут как в плену.

Никита заметил, что Наталья, сидевшая рядом с ним, вздрогнула, удивленно взглянув на деверя, а тот продолжал очень мягко:

— Но все-таки и при дружбе мешать друг другу мы не должны. Дело — одно для всех, а жизнь у каждого своя. Верно?

— Ну? — осторожно спросил Петр, глядя через голову брата.

— Вы все знаете, что я живу с девицей Орловой, теперь хочу обвенчаться с нею. Помнишь, Никита, она одна пожалела, когда ты в воду упал?

Никита кивнул головою. Он сидел почти впервые так близко к Наталье, и это было до того хорошо, что не хотелось двигаться, говорить и слушать, что говорят другие. И когда Наталья, почему-то вздрогнув, легонько толкнула его локтем, он улыбнулся, глядя под стол, на ее колени.

— Мне она — судьба, я так думаю,— говорил Алексей.— С нею можно жить как-то иначе. Вводить ее в дом я не хочу, боюсь — не уживетесь с нею.

Ульяна Баймакова, подняв опущенные, тяжелой печалью налитые глаза, помогла Алексею.

— Я ее хорошо знаю, редкая рукодельница. Грамотна. Отца, пьяницу, кормила с малых лет своих и сама себя. Только — характерная; Наталья, пожалуй, не уживется с ней.

— Я со всеми сживаюсь,— обиженно заметила Наталья, а муж, искоса взглянув на нее, сказал брату:

— Это действительно твое дело.

Алексей обратился к Баймаковой, предложив ей продать ему дом:

— На что он тебе?

Петр поддержал его:

— Тебе надо с нами жить.

— Ну, я пойду, обрадую Ольгу,— сказал Алексей. Когда он ушел, Петр, толкнув Никиту в плечо, спросил:

— Ты что — дремлешь? О чем задумался?

— Алексей хорошо делает...

— Ну? Увидим. А по-твоему, матушка?

— Конечно, хорошо, что он с ней венчается, а как жить будут — кто знает? Она — особенная. Вроде дурочки.

— Спасибо за такую родню,— усмехнулся Петр.

— Может, я и не то сказала,— говорила Ульяна, как будто глядя в темноту, где все спутанно колеблется и не дается глазу.

— Она — хитрая; вещей у отца ее много было, так она их у меня прятала, чтоб отец не пропил, и Олеша таскал их мне, по ночам, а потом я будто дарила их ему. Это вот у него всё ее вещи, приданое. Тут дорогие есть. Не очень я ее люблю, все-таки — своенравна.

Стоя спиною к теще, Петр смотрел в окно, в саду бормотали скворцы, передразнивая все на свете, он вспомнил слова Тихона:

«Не люблю скворцов,— на чертей похожи». Глупый человек этот Тихон, потому и заметен, что уж очень глуп.

Все так же тихо, нехотя и, видимо, сквозь другие думы, Баймакова рассказывала, что мать Ольги Орловой, помещица, женщина распутная, сошлась с Орловым еще при жизни мужа и лет пять жила с ним.

— Он — мастер; мебель делал и часы чинил, фигуры резал из дерева, у меня одна спрятана — женщина голая, Ольга считает ее за материн портрет. Пили они оба. А когда муж помер — обвенчались, в тот же год она утонула, пьяная, когда купалась...

— Вот как люди любят,— вдруг сказала Наталья. Неуместные эти слова заставили Ульяну взглянуть на дочь с упреком, Петр усмехнулся, заметив:

— Не про любовь речь шла, а о пьянстве.

Все замолчали. Наблюдая за Натальей, Никита видел, что повесть матери волнует ее, она судорожно щиплет пальцами бахрому скатерти, простое, доброе лицо ее, покраснев, стало незнакомо сердитым.

После ужина, сидя в саду, в зарослях сирени, под окном Натальиной комнаты, Никита услыхал над головою своей задумчивые слова Петра:

— Ловок Алексей. Умен.

И тотчас раздался режущий сердце вой Натальи:

— Все вы — умные. Только я — дура. Верно сказал он: в плену! Это я живу в плену у вас...

Никита замер от страха, от жалости, схватился обеими руками за скамью, неведомая ему сила поднимала его, толкала куда-то, а там, над ним, все громче звучал голос любимой женщины, возбуждая в нем жаркие надежды.

Наталья заплетала косу, когда слова мужа вдруг зажгли в ней злой огонь. Она прислонилась к стене, прижав спиною руки, которым хотелось бить, рвать; захлебываясь словами, сухо всхлипывая, она говорила, не слушая себя, не слыша окриков изумленного мужа,— говорила о том, что она чужая в доме, никем не любима, живет, как прислуга.

— Ты меня не любишь, ты и не говоришь со мной ни о чем, навалишься на меня камнем, только и всего! Почему ты не любишь меня, разве я тебе не жена? Чем я плоха, скажи! Гляди, как матушка любила отца твоего, бывало — сердце мое от зависти рвется...

— Вот и люби меня эдак же,— предложил Петр, сидя на подоконнике и разглядывая искаженное лицо жены в сумра-

ке, в углу. Слова ее он находил глупыми, но с изумлением чувствовал законность ее горя и понимал, что это — умное горе. И хуже всего в горе этом было то, что оно грозило опасностью длительной неурядицы, новыми заботами и тревогами, а забот и без этого было достаточно.

Белая, в ночной рубахе, безрукая фигура жены трепетала и струилась, угрожая исчезнуть. Наталья то шептала, то вскрикивала, как бы качаясь на качели, взлетая и падая.

— Вот, гляди, как Алексей любит свою... И его любить легко — он веселый, одевается барином, а ты — что? Ходишь, ни с кем не ласков, никогда не посмеешься. С Алексеем я бы душа в душу жила, а я с ним слова сказать не смела никогда, ты ко мне сторожем горбуна твоего приставил, нарочно, хитреца противного...

Никита встал и, наклоня голову, убито пошел в глубь сада, отводя руками ветви деревьев, хватавшие его за плечи.

Петр тоже встал, подошел к жене, схватил ее за волосы на макушке и, отогнув голову, заглянул в глаза.

— С Алексеем? — спросил он негромко, но густым голосом. Он был так удивлен словами жены, что не мог сердиться на нее, не хотел бить; он все более ясно сознавал, что жена говорит правду: скучно ей жить. Скуку он понимал. Но — надо же было успокоить ее, и, чтоб достичь этого, он бил ее затылок о стену, спрашивая тихо:

— Ты — что сказала, дура, а? С Алексеем?

— Пусти, — пусти — закричу...

Он взял ее другою рукой за горло, стиснул его, лицо жены тотчас побагровело, она захрипела.

— Дрянь,— сказал Петр, тиснув ее к стене, и отошел; она тоже откачнулась от стены и прошла мимо его к зыбке; давно уже хныкал ребенок. Петру показалось, что жена перешагнула через него. Перед ним качался, ползал из стороны в сторону темно-синий кусок неба, прыгали звезды. Сбоку, почти рядом, сидела жена, ее можно было ударить по лицу наотмашь, не вставая. Ее лицо было тупо, точно одеревенело, но по щекам медленно, лениво текли слезы. Она кормила девочку, глядя сквозь стеклянную пленку слез в угол, не замечая, что ребенку неудобно сосать ее грудь, горизонтально торчавший сосок выскальзывал из его губ, ребенок, хныкая, чмокал воздух и вращал головкой. Встряхнувшись, как после ночного кошмара, Петр сказал:

— Поправь грудь, не видишь!

— Муха в доме,— пробормотала Наталья.— Муха без крыльев...

— Так ведь и я — тоже один; не двое Петров Артамоновых живет.

Он смутно почувствовал, что сказано им не то, что хотелось сказать, и даже сказана какая-то неправда. А чтоб успокоить жену и отвести от себя опасность, нужно было сказать именно правду, очень простую, неоспоримо ясную, чтоб жена сразу поняла ее, подчинилась ей и не мешала ему глупыми жалобами, слезами, тем бабьим, чего в ней до этой поры не было. Глядя, как она небрежно, неловко укладывает дочь, он говорил:

— У меня — дело! Фабрика — это не хлеб сеять, не картошку садить. Это — задача. А у тебя что в башке?

Сначала он говорил строго и внушительно, пытаясь приблизиться к этой неуловимой правде, но она ускользала, и голос его начал звучать почти жалобно.

— Фабрика — это не просто,— повторил он, чувствуя, что слова иссякают и говорить ему не о чем. Жена молчала, раскачивая зыбку, стоя спиной к нему. Его выручил негромкий, спокойный голос Тихона Вялова:

— Петр Ильич, эй!

— Что надо? — спросил он, подойдя к окну.

— Выдь ко мне,— требовательно сказал дворник.

— Невежа! — проворчал Петр и упрекнул жену: — Вот видишь? И ночью покоя нет, а ты тут раскисла...

Тихон без шапки, мерцая глазами, встретил его на крыльце, оглянул двор, ярко освещенный луною, и сказал тихонько:

— Я Никиту Ильича сейчас из петли вынул...

— Чего? Откуда?

И, точно проваливаясь сквозь землю, Петр опустился на ступень крыльца.

— Да ты не садись, идем к нему, он тебя желает...

Не вставая, Петр шепотом спросил:

— Что же это он? А?

— Теперь — в себе; я его водой отлил. Пойдем-ко...

Подняв хозяина за локоть, Тихон повел его в сад.

— Он в бане приснастился, в передбаннике, спустил петлю с чердака, со стропила, да и того...

Петр прирос к земле, повторив:

— Что же это? С тоски по отце, что ли?

Дворник тоже остановился:

«Дело Артамоновых»
С. Герасимов

— Он до того дошел, что рубахи ее целовать стал...

— Какие рубахи, что ты?

Щупая босыми ногами землю, Петр присматривался к собаке дворника, она явилась из кустов и вопросительно смотрела на него, помахивая хвостом. Он боялся идти к брату, чувствуя себя пустым, не зная, что сказать Никите.

— Эх, без глаз живете,— проворчал дворник, Петр молчал, ожидая, что еще скажет он.

— Ее рубахи, Натальи Евсеевны, они тут висели, сушились, после стирки.

— Зачем же он... Постой!

Петр толкнул собаку ногою, представив коротенькую, горбатую фигуру брата, целующего женскую рубаху; это было и смешно и вынудило у него брезгливый плевок. Но тотчас ушибла, оглушила жгучая догадка; схватив дворника за плечи, он встряхнул его, спросил сквозь зубы:

— Целовались? Видел ты — ну?

— Я — все вижу. Наталья Евсеевна даже и не знает ничего.

— Врешь?

— Какая у меня причина врать? Я от тебя награды не жду.

И, как будто топором вырубая просвет во тьме, Тихон в немногих словах рассказал хозяину о несчастии его брата. Петр понимал, что дворник говорит правду, он сам давно уже смутно замечал ее во взглядах синих глаз брата, в его услугах Наталье, в мелких, но непрерывных заботах о ней.

— Та-ак,— прошептал он и подумал вслух: — Некогда мне было понять это.

Потом, толкнув Тихона вперед, сказал:

— Идем.

Он не хотел принять на себя первый взгляд Никиты и, войдя в низенькую дверь бани, еще не различая брата в темноте, спросил из-за спины Тихона дрогнувшим голосом:

— Что ж ты делаешь, Никита?

Горбун не ответил. Он был едва видим на лавке у окна, мутный свет падал на его живот и ноги. Потом Петр различил, что Никита, опираясь горбом о стену, сидит, склонив голову, рубаха на нем разорвана от ворота до подола и, мокрая, прилипла к его переднему горбу, волосы на голове его тоже мокрые, а на скуле — темная звезда и от нее лучами потеки.

— Кровь? Разбился? — шепотом спросил Петр.

— Нет, это я его маленько ушиб, второпях,— ответил Тихон глупо громко и шагнул в сторону.

Подойти к брату было страшно. Слушая свои слова, как чужие, Петр дергал себя за ухо, жаловался, упрекал:

— Стыдно. Против бога, брат. Эх ты...

— Знаю! — хрипло, тоже не своим голосом ответил Никита.— Не дотерпел. Ты меня отпусти. Я — в монастырь уйду. Слышишь? Всей душой прошу...

Кашлянув со свистом, он замолчал.

Чем-то умиленный, Петр снова начал тихо и ласково упрекать и наконец сказал:

— А насчет Натальи, это, конечно, черт тебя смутил...

— Ой, Тихон,— воющим голосом вскричал Никита и болезненно крякнул.— Ведь просил я тебя, Тихон,— молчи! Хоть сй-то не говорите, Христа ради! Смеяться будет, обидится. Пожалейте все-таки меня! Я ведь всю жизнь богу служить буду за вас. Не говорите! Никогда не говорите. Тихон,— это все ты, эх, человек...

Он бормотал, держа голову неестественно прямо, не двигая сю, и это было тоже страшно. Дворник сказал:

— Я бы и молчал, если б не этот случай. От меня она ничего не узнает...

Все более умиляясь, сам смущенный этим, Петр твердо обещал:

— Крест порукой — она ничего не будет знать.

— Ну — спасибо! А я — в монастырь.

И Никита замолчал, точно уснув.

— Больно тебе? — спросил брат; не получив ответа, он повторил:

— Шею-то — больно?

— Ничего,— хрипло сказал Никита.— Вы — идите...

— Не уходи,— шепнул Петр дворнику, пятясь к двери мимо него.

Но когда он вышел в сад и глубоко вдохнул приторно теплые запахи потной земли, его умиленность тотчас исчезла пред натиском тревожных дум. Он шагал по дорожке, заботясь, чтоб щебень под ногами не скрипел,— была потребна великая тишина, иначе не разберешься в этих думах. Враждебные, они пугали обилием своим, казалось, они возникают не в нем, а вторгаются извне, из ночного сумрака, мелькают в нем летучими мышами. Они так быстро сменяли одна другую, что Петр не успевал поймать и заключить их в слова,

улавливая только хитрые узоры, петли, узлы, опутывающие его, Наталью, Алексея, Никиту, Тихона, связывая всех в запутанный хоровод, который вращался неразличимо быстро, а он — в центре этого круга, один. Словами он думал самое простое:

«Надо, чтоб теща скорее переехала к нам, а Алексея — прочь. Наталью приласкать следует. «Гляди, как любят». Так ведь это он не от любови, а от убожества своего в петлю полез. Хорошо, что он идет в монахи, в людях ему делать нечего. Это — хорошо. Тихон — дурак, он должен был раньше сказать мне».

Но это были не те неуловимые, бессловесные думы, которые смущали и пугали его, заставляя опасливо всматриваться в густой и влажный сумрак ночи. Вдали, в фабричном поселке, извивался, чуть светясь, тоненький ручей невеселой песни. Жужжали комары. Петр Артамонов ясно чувствовал необходимость как можно скорее изжить, подавить тревогу. Он не заметил, как дошел до кустов сирени, под окном спальни своей, он долго сидел, упираясь локтями в колена, сжав лицо ладонями, глядя в черную землю, земля под ногами шевелилась и пузырилась, точно готовясь провалиться.

«Удивительно все-таки, как Никита одолел песок. Уйдет в монастырь — садовником будет там. Это ему хорошо».

Не заметив, как подошла жена, он испуганно вскочил, когда пред ним, точно из земли, поднялась белая фигура, но знакомый голос успокоил его несколько:

— Прости Христа ради, что кричала я...

— Ну, что же,— бог простит, я ведь и сам кричал,— великодушно сказал он, обрадованный, что жена пришла и теперь ему не надо искать те мягкие слова, которые залепили бы и замазали трещину ссоры.

Он сел, Наталья нерешительно опустилась рядом с ним, надо было все-таки сказать ей что-нибудь утешительное, Петр сказал:

— Я понимаю, что тебе скучно. Веселье у нас в доме не живет. Чему веселиться? Отец веселье в работе видел. У него так выходило: просто людей нет — все работники, кроме нищих да господ. Все живут для дела. За делом людей не видно.

Говорил он осторожно, опасаясь сказать что-то лишнее, и, слушая себя, находил, что он говорит, как серьезный, деловой человек, настоящий хозяин. Но он чувствовал, что все эти

слова какие-то ненужные, они скользят по мыслям, не вскрывая их, не в силах разгрызть, и ему казалось, что сидит он на краю ямы, куда в следующую минуту может столкнуть его кто-то, кто, следя за его речью, нашептывает:

«Неправду говоришь».

Очень вовремя жена, положив голову на плечо его, шепнула:

— Ведь ты мне — на всю жизнь, как же ты не понимаешь этого?

Он тотчас же обнял ее, притиснул к себе, слушая горячий шепот:

— Это — грех, не понимать. Взял девушку, она тебе детей родит, а тебя будто и нет,— без души ты ко мне. Это грех, Петя. Кто тебе ближе меня, кто тебя пожалеет в тяжелый час?

Ему показалось, что жена приподняла его и, перевернув в воздухе, приятно обессилила; погружаясь в освежающий холодок, он почти благодарно заговорил:

— Обещал я ему молчать,— не могу!

И торопливо рассказал ей все, что слышал от дворника о Никите.

— Рубахи твои целовал,— в саду сушились,— вот до чего обалдел! Как же ты — не знала, не замечала за ним этого?

Плечо жены под рукою его сильно вздрогнуло.

«Жалеет?» — подумал Петр, но она торопливо, возмущенно ответила:

— Никогда, никакой корысти не замечала! Ах, скрытный! Верно, что горбатые — хитрые.

«Брезгует? Или — притворяется?» — спросил себя Артамонов и напомнил жене:

— Он был ласков с тобой...

— Ну, так что? — вызывающе ответила она. — И Тулун — ласков.

— Ну — все-таки... Тулун — собака.

— Так ты его собакой и приставил ко мне, чтоб он следил за мной, берег бы меня от свекра, от Алексея,— я ведь понимаю! Ох, как он мне противен, как обиден был...

Было ясно, что Наталья обижена, возмущена, это чувствовалось по трепету ее кожи, по судорожным движениям пальцев, которыми она дергала и щипала рубаху, но мужчине казалось, что возмущение чрезмерно, и, не веря в него, он нанес жене последний удар:

— Его Тихон из петли вынул. В бане лежит.

Жена обмякла, осела под его рукой, вскрикнув с явным страхом:

— Нет... Что ты? Господи...

«Значит — врала»,— решил Петр; но она, дернув головою так, как будто ее ударили по лбу, зашептала, зло всхлипывая:

— Что же это будет? Только смертью батюшки прикрылись немножко от суда людского, а теперь опять про нас начнут говорить,— ой, господи, за что? Один брат — в петлю лезет, другой неизвестно на ком, на любовнице женится,— что же это? Ах, Никита Ильич! Что же это за бесстыдство? Ну — спасибо! Угодил, безжалостный...

Облегченно вздохнув, муж крепко погладил плечо жены.

— Не бойся, никто ничего не узнает. Тихон — не скажет, он ему — приятель, а от нас всем доволен. Никита в монахи собирается...

— Когда?

— Не знаю.

— Ох, скорее бы! Как я с ним теперь?

Помолчав, Петр предложил:

— Сходи к нему, погляди...

Но, подскочив, точно уколотая, жена почти закричала:

— Ой — не посылай, не пойду! Не хочу, боюсь...

— Чего? — быстро спросил Петр.

— Удавленника. Не пойду, что хочешь делай... Боюсь.

— Ну — идем спать! — сказал Артамонов, вставая на твердые ноги.— На сей день довольно помучились.

Медленно шагая рядом с женою, он ощущал, что день этот подарил ему вместе с плохим нечто хорошее и что он, Петр Артамонов, человек, каким до сего дня не знал себя,— очень умный и хитрый, он только что ловко обманул кого-то, кто навязчиво беспокоил его душу темными мыслями.

— Конечно, ты мне самая близкая,— говорил он жене.— Кто ближе тебя? Так и думай: самая близкая ты мне. Тогда — все будет хорошо...

На двенадцатый день после этой ночи, на утренней заре, сыпучей, песчаной тропою, потемневшей от обильной росы, Никита Артамонов шагал с палкой в руке, с кожаным мешком на горбу, шагал быстро, как бы торопясь поскорее уйти от воспоминаний о том, как родные провожали его: все они, не проспавшись, собрались в обеденной комнате, рядом с кухней, сидели чинно, говорили сдержанно, и было так ясно, что ни у

кого из них нет для него ни единого сердечного слова. Петр был ласков и почти весел, как человек, сделавший выгодное дело, раза два он сказал:

— Вот у нас в семье свой молитвенник о грехах наших будет...

Наталья равнодушно и очень внимательно разливала чай, ее маленькие, мышиные уши заметно горели и казались измятыми, она хмурилась и часто выходила из комнаты; мать ее задумчиво молчала и, помусливая палец, приглаживала седые волосы на висках, только Алексей, необычно для него, волновался, спрашивал, подергивая плечами:

— Как это ты решился, Никита? Вдруг, а? Непонятно мне...

Рядом с ним сидела небольшая, остроносенькая девица Орлова и, приподняв темные брови, бесцеремонно рассматривала всех глазами, которые не понравились Никите,— они не по лицу велики, не по-девичьи остры и слишком часто мигали.

Тяжело было сидеть среди этих людей и боязливо думалось:

«Вдруг Петр скажет всем? Скорее бы отпустили...»

Петр начал прощаться первый, он подошел, обнял и сказал дрогнувшим голосом, очень громко:

— Ну, брат родной, прощай...

Баймакова остановила его:

— Что ты? Посидеть надо сначала, помолчать, потом, помолясь, прощаться.

Все это было сделано быстро, снова подошел Петр, говоря:

— Прости нас. Пиши насчет вклада, сейчас же вышлем. На тяжелый послух не соглашайся. Прощай. Молись за нас побольше.

Баймакова, перекрестив его, трижды поцеловала в лоб и щеки, она почему-то заплакала; Алексей, крепко обняв, заглянул в глаза, говоря:

— Ну — с богом. У каждого — своя тропа. Все-таки я не понимаю, как это ты вдруг решился...

Наталья подошла последней, но, не доходя вплоть, прижав руку ко груди своей, низко поклонилась, тихо сказала:

— Прощай, Никита Ильич...

Груди у нее все еще высокие, девичьи, а уже кормила троих детей.

Вот и все. Да, еще Орлова: она сунула жесткую, как щепа, маленькую, горячую руку, — вблизи лицо ее было еще неприятней. Она спросила глупо:

— Неужели пострижетесь?

На дворе с ним прощалось десятка три старых ткачей, древний, глухой Борис Морозов кричал, мотая головой:

— Солдат да монах — первые слуги миру, нате-ко!

Никита зашел на кладбище, проститься с могилой отца, встал на колени пред нею и задумался, не молясь,— вот как повернулась жизнь! Когда за спиною его взошло солнце и на омытый росою дерн могилы легла широкая, угловатая тень, похожая формой своей на конуру злого пса Тулуна, Никита, поклонясь в землю, сказал:

— Прости, батюшка.

В чуткой тишине утра голос прозвучал глухо и сипло; помолчав, горбун повторил громче:

— Прости, батюшка.

И — заплакал, горько, по-женски всхлипывая, нестерпимо жалко стало свой прежний ясный и звонкий голос.

Потом, отойдя от кладбища с версту, Никита внезапно увидал дворника Тихона; с лопатой на плече, с топором за поясом он стоял в кустах у дороги, как часовой.

— Пошел? — спросил он.

— Иду. Ты что тут?

— Рябину выкопать хочу, около сторожки моей посажу, у окна.

Постояли минуту, молча глядя друг на друга, Тихон отвел в сторону тающие глаза свои.

— Шагай, я тебя провожу несколько.

Пошли молча. Первый заговорил Тихон:

— Росы какие сильные. Это — вредные росы, к засухе, к неурожаю.

— Избави бог.

Тихон Вялов сказал что-то неясное.

— Чего? — спросил Никита, несколько испуганный, — он всегда ждал от этого человека особенных слов, раздражающих душу.

— Может — избавит, говорю.

Но Никита был уверен, что землекоп сказал что-то такое, чего не хочет повторить.

— Что ж ты,— не веришь, что ли, в милость божию? — с упреком спросил он.

— Зачем? — спокойно ответил Тихон. — Теперь — дожди нужны. И для грибов росы эти вредные. А у хорошего хозяина все вовремя.

Вздохнув, Никита покачал головою.

— Нехорошо как-то думаешь ты, Тихон...

— Нет, я думаю хорошо. Я не глазами думаю.

Снова прошли молча шагов полсотни. Никита смотрел под ноги, на широкую тень свою, Вялов в такт шагам стучал пальцем по дереву топорища.

— Я приду, Никита Ильич, через годок, поглядеть на тебя, — ладно?

— Приходи. Любопытен ты.

— Это — верно.

Он снял шапку, остановился:

— Ну, когда так, — прощай, Никита Ильич! — И, почесывая скулу, он задумчиво прибавил:

— Нравишься ты мне, по душе. Ты — кроткого духа. Отец твой был умного тела, а ты — духовный, душевный...

Бросив палку на землю, встряхнув горбом, чтоб поправить мешок, Никита молча обнял его, а Тихон, крепко облапив, ответил громко, настойчиво:

— Значит — приду.

— Спасибо.

Там, где дорога круто загибалась в сосновый лес, Никита оглянулся, — Тихон, сунув шапку под мышку, опираясь на лопату, стоял среди дороги, как бы решив не пропускать никого по ней; тянул утренний ветерок и шевелил волосы на его неприятной голове.

Издали Тихон стал чем-то похож на дурачка Антонушку. Думая об этом темном человеке, Никита Артамонов ускорил шаг, а в памяти его назойливо зазвучало:

«Христос воскресе, воскресе,
Кибитка потерял колесо».

II

Только в девятую годовщину смерти отца Артамоновы кончили строить церковь и освятили ее во имя Ильи Пророка. Строили семь лет; виновником медленности этой был Алексей.

— Бог — подождет, ему спешить некуда,— бойко, нехорошо шутил он и дважды израсходовал кирпич для храма, один раз — на третий корпус фабрики, другой — на больницу.

После освящения, отслужив панихиду над могилами отца и детей своих, Артамоновы подождали, когда народ разошелся

с кладбища, и, деликатно не заметив, что Ульяна Баймакова осталась в семейной ограде на скамье под березами, пошли не спеша домой; торопиться было некуда, торжественный обед для духовенства, знакомых и служащих с рабочими назначен в три часа.

День — серенький; небо, по-осеннему, нахмурилось; всхрапывал, как усталая лошадь, сырой ветер, раскачивая вершины ельника, обещая дождь. На рыжей полосе песчаной дороги качались темненькие фигурки людей, сползая к фабрике; три корпуса ее, расположенные по радиусу, вцепились в землю, как судорожно вытянутые красные пальцы.

Алексей, махнув палкой, сказал:

— Радовался бы покойник отец, видя, как мы действуем!

— Огорчился бы, когда царя убили, — ответил, подумав, Петр, не желая поддакивать брату.

— Ну, огорчаться он не очень любил. И жил не царевым умом, своим.

Поглубже натянув картуз, Алексей остановился, взглянул на женщин; его жена, маленькая, стройная, в простеньком, темном платье, легко шагая по размятому песку, вытирала платком свои очки и была похожа на сельскую учительницу рядом с дородной Натальей, одетой в черную шелковую тальму со стеклярусом на плечах и рукавах; темно-лиловая головка красиво прикрывала ее пышные, рыжеватые волосы.

— Хорошеет все жена у тебя.

Петр промолчал.

— А Никита опять не приехал на годовщину. Сердится, что ли, на нас?

В сырые дни у Алексея побаливала грудь и нога; он шел прихрамывая, опираясь на палку. Ему хотелось сгладить унылое впечатление панихиды и печаль серенького дня; упрямый во всем, он хотел заставить брата говорить.

— Теща осталась на могиле поплакать. Все еще помнит. Хорошая старуха. Я шепнул Тихону, чтоб он подождал и проводил ее; она жалуется на одышку, ходить трудно, говорит.

Артамонов-старший негромко и принужденно повторил:

— Трудно.

— Ты — дремлешь? Что — трудно?

— Тихона рассчитать надо,— ответил Петр, глядя вбок, на холмы, сердито ощетиненные елками.

— За что? — удивленно спросил брат. — Мужик честный, аккуратен, не пьет...

— Дурак, — добавил Петр.

Подошли женщины; Ольга приятным голосом, неожиданно сильным для ее маленького тела, сказала мужу:

— Уговариваю Наташу, чтоб она отдала Илью в гимназию, а она — боится.

Беременная Наталья шагала сытой уткой, переваливаясь с ноги на ногу; тоном старшей, медленно и в нос, она выговорила:

— А по-моему — гимназия мода вредная. Вот Елена такими словами письма пишет, что и не поймешь.

— Учить всех, учить! — строго заявил Алексей, сняв картуз, отирая вспотевший лоб и преждевременную лысину; она исползала от висков к темени острыми углами, сильно удлинив его лицо.

Вопросительно поглядывая на мужа, Наталья спорила:

— Помялов верно говорит: от ученья люди дичают.

— Да, — сказал Петр.

— Вот видите! — удовлетворенно воскликнула Наталья, но муж задумчиво добавил:

— Надо учить.

Брат и Ольга засмеялись; Наталья упрекнула их:

— Что это вы? Забыли? С панихиды идете.

Взяв ее под руки, они пошли быстрее, а Петр замедлил шаг.

— Я подожду мать.

Его огорчил неприятный человек Тихон Вялов. Перед панихидой, стоя на кладбище, разглядывая вдали фабрику, Петр сказал вслух, сам себе, не хвастаясь, а просто говоря о том, что видел:

— Разрослось дело.

И тотчас услыхал за плечом своим спокойный голос бывшего землекопа:

— Дело, как плесень в погребе, — своей силой растет.

Петр ничего не сказал ему, даже не оглянулся, но явная и обидная глупость слов дворника возмутила его. Человек работает, дает кусок хлеба не одной сотне людей, день и ночь думает о деле, не видит, не чувствует себя в заботах о нем, и вдруг какой-то темный дурак говорит, что дело живет своей силой, а не разумом хозяина. И всегда человечишка этот бормочет что-то о душе, о грехе.

Артамонов присел у дороги на старый пень срубленной сосны, подергал себя за ухо и вспомнил, как однажды он пожаловался Ольге:

«О душе подумать некогда».

Он услышал странный вопрос:

— Разве душа живет отдельно от тебя?

В этих словах ему почудилась бабья шутка, но птичье лицо Ольги было серьезно; темненькие глаза ее сияли за стеклами очков ласково.

— Не понимаю, — сказал он.

— А я не понимаю, когда о душе говорят отдельно от человека, как будто о сироте-приемыше.

— Не понимаю, — повторил Петр и утратил желание говорить с этой женщиной; очень чужая, мало понятная ему, она все-таки нравилась своей простотой, но внушала опасение, что под видимой простотой ее скрыта хитрость.

А Тихон Вялов всегда не нравился ему. Неприятно было видеть это скуластое, пятнистое лицо, странные глаза и прилипшие к черепу уши, спрятанные в рыжеватых волосах, эту туго растущую бороду, походку Тихона, не быструю, но спорую, и все его неуклюжее, коренастое тело. Неприятно и как будто завидно было его спокойствие; даже аккуратность в работе раздражала. Работал Тихон, как машина, и почти никогда не давал повода упрекнуть его в чем-либо, но и это возбуждало досаду. И все более неприятно было видеть, что человек этот, с каждым годом глубже врастая в хозяйство, видимо, чувствует себя необходимой спицей в колесе жизни Артамоновых. Странно, что дети любят его так же, как собаки и лошади. Старый волкодав Тулун, посаженный на цепь и озлобленный этим, никого, кроме Тихона, не подпускал к себе, а старший сын, своенравный Илья, послушен дворнику больше, чем отцу и матери.

Чтоб убрать Вялова с глаз, Артамонов предлагал ему место церковного сторожа, лесника, — Тихон отрицательно мотал тяжелой головою:

— Не гожусь я для этого. А если надоел тебе,— отдохни, отпусти меня на месяц, я к Никите Ильичу схожу.

Именно так он и сказал: отдохни. Это слово, глупое и дерзкое, вместе с напоминанием о брате, притаившемся где-то за болотами, в бедном лесном монастыре, вызывало у Петра тревожное подозрение: кроме того, что Тихон рассказал о Никите, вынув его из петли, он, должно быть, знает еще что-то постыдное, он как будто ждет новых несчастий, мерцающие его глаза внушают:

«Не трогай меня, я тебе нужен».

Он уже трижды ходил в монастырь: повесит за спину себе котомку и, с палкой в руке, уходит не торопясь; казалось — он идет по земле из милости к ней, да и все он делает как бы из милости.

Возвратясь, Тихон отвечал на расспросы о Никите туго, невразумительно; всегда думалось, что он говорит не все, что знает.

— Здоров. В почете. За поклоны, за гостинцы — благодарить велел.

— Что ж он говорит? — допытывался Петр.

— А что монаху говорить?

— Ну, все-таки? — нетерпеливо допрашивал Алексей.

— Насчет бога. Погодой интересуется, дожди, говорит, не вовремя идут. На комара жалуется; комаров у них там многовато. Про вас спрашивал.

— Что?

— Заботится, жалеет.

— Нас? За что?

— За все. Вот — вы бегом живете, а он остановился, ну и жалеет вас за беспокойство ваше.

Алексей хохотал, вскрикивая:

— Экая ерунда!

Зрачки Тихона таяли, глаза пустели.

— Ведь я не знаю, как он думает, я сказываю, что он говорил. Я — простой.

— Да, прост! — насмешливо соглашался Алексей. — Вроде Антона-дурака.

Ветер обдал Петра Артамонова душистым теплом, и стало светлее; из глубочайшей голубой ямы среди облаков выглянуло солнце. Петр взглянул на него, ослеп и еще глубже погрузился в думы свои.

Было что-то обидное в том, что Никита, вложив в монастырь тысячу рублей и выговорив себе пожизненно сто восемьдесят в год, отказался от своей части наследства после отца в пользу братьев.

— Что это за подарки? — ворчал Петр, но Алексей — обрадовался:

— А куда ему деньги? Дармоедам, монахам на жир? Нет, он хорошо решил. У нас — дело, дети.

Наталья даже умилилась.

— Все-таки не забыл он вину свою перед нами! — удовлетворенно сказала она, сгоняя пальцем одинокую слезу с румяной щеки. — Вот и приданое Елене.

На душу Петра поступок брата лег тенью,— в городе говорили об уходе Никиты в монастырь зло, нелестно для Артамоновых.

С Алексеем Петр жил мирно, хотя видел, что бойкий брат взял на себя наиболее легкую часть дела: он ездил на Нижегородскую ярмарку, раза два в год бывал в Москве и, возвращаясь оттуда, шумно рассказывал сказки о том, как преуспевают столичные промышленники.

— Парадно живут, не хуже дворян.

— Барином жить — просто, — намекал Петр, но, не поняв намека, брат восхищался:

— Домище сгрохает купец, так это — собор! Дети образованные.

Хотя он сильно постарел, но к нему вернулась юношеская живость, и ястребиные глаза его блестели весело.

— Ты что все хмуришься? — спрашивал он брата и даже учил: — Дело делать надо шутя, дела скуки не любят.

Петр замечал в нем сходство с отцом, но Алексей становился все более непонятен ему.

— Я человек хворый,— все еще напоминал он, но здоровья не берег, много пил вина, азартно, ночами, играл в карты и, видимо, был нечистоплотен с женщинами. Что в его жизни главное? Как будто — не сам он и не гнездо его. Дом Баймаковой давно требовал солидного ремонта, но Алексей не обращал на это внимания. Дети рождались слабыми и умирали до пяти лет, жил только Мирон, неприятный, костлявый мальчишка, старше Ильи на три года. И Алексей и жена его заразились смешной жадностью к ненужным вещам, комнаты у них тесно набиты разнообразной барской мебелью, и оба они любили дарить ее; Наталье подарили забавный шкаф, украшенный фарфором, теще — большое кожаное кресло и великолепную, карельской березы с бронзой, кровать; Ольга искусно вышивала бисером картины, но муж привозил ей из своих поездок по губернии такие же вышивки.

— Чудишь ты, — сказал Петр, получив подарок брата, монументальный стол со множеством ящиков и затейливой резьбой, но Алексей, хлопая по столу ладонью, кричал:

— Поет! Таким штукам больше не быть, в Москве это поняли!

— Ты бы лучше серебро покупал, у дворян серебра много...

— Дай срок — все купим! В Москве...

Если верить Алексею, то в Москве живут полуумные люди, они занимаются не столько делами, как все, поголовно, стараются жить по-барски, для чего скупают у дворянства все, что можно купить, от усадеб до чайных чашек.

Сидя в гостях у брата, Петр всегда с обидой и завистью чувствовал себя более уютно, чем дома, и это было так же непонятно, как и не понимал он, что нравится ему в Ольге? Рядом с Натальей она казалась горничной, но у нее не было глупого страха пред керосиновыми лампами, и она не верила, что керосин вытапливают студенты из жира самоубийц. Приятно слушать ее мягкий голос, и хороши ее глаза; очки не скрывают их ласкового блеска, но о делах и людях она говорит досадно, ребячливо, откуда-то издали; это удивляло и раздражало.

— Что ж у тебя — виноватых нет, что ли? — насмешливо спрашивал Петр, она отвечала:

— Виноватые есть, да я судить не люблю.

Петр не верил ей.

С мужем она обращалась так, как будто была старше и знала себя умнее его. Алексей не обижался на это, называл ее тетей и лишь изредка, с легкой досадой, говорил:

— Перестань, тетя, надоело! Я больной человек, меня побаловать не вредно.

— Достаточно избалован, будет уж!

Она улыбалась мужу улыбкой, которую Петр хотел бы видеть на лице своей жены. Наталья — образцовая жена, искусная хозяйка, она превосходно солила огурцы, мариновала грибы, варила варенья, прислуга в доме работала с точностью колесиков в механизме часов; Наталья неутомимо любила мужа спокойной любовью, устоявшейся, как сливки. Она была бережлива.

— Сколько теперь у нас в банке-то? — спрашивала она и тревожилась: — Ты гляди, хорош ли банк, не лопнул бы!

Когда она брала в руки деньги, красивое лицо ее становилось строгим, малиновые губы крепко сжимались, а в глазах являлось что-то масленое и едкое. Считая разноцветные, грязные бумажки, она трогала их пухлыми пальцами так осторожно, точно боялась, что деньги разлетятся из-под рук ее, как мухи.

— Как вы — доходы-то делите с Алексеем? — спрашивала она в постели, насытив Петра ласками. — Не обсчитывает он тебя? Он — ловкий! Они с женой жадные. Так и хватают все, так и хватают!

Она чувствовала себя окруженной жуликами и говорила:

— Никому, кроме Тихона, не верю.

— Значит, дураку веришь,— устало бормотал Петр.

— Дурак — да совестлив.

Когда Петр впервые посетил с ней Нижегородскую ярмарку и, пораженный гигантским размахом всероссийского торжища, спросил жену:

— Каково, а?

— Очень хорошо,— ответила она.— Всего много, и все дешевле, чем у нас.

Затем она начала считать, что следует купить:

— Мыла два пуда, свеч ящик, сахару мешок да рафинаду...

Сидя в цирке, она закрывала глаза, когда на арену выходили артисты.

— Ах, бесстыжие, ах, голяшки! Ой, хорошо ли мне глядеть на них, хорошо ли для ребенка-то? Не водил бы ты меня на страхи эти, может, я мальчиком беременна!

В такие минуты Петр Артамонов чувствовал, что его душит скука, зеленоватая и густая, как тина реки Ватаракши, в которой жила только одна рыба — жирный, глупый линь.

Наталья все так же много и деловито молилась, а помолясь и опрокинувшись в кровать, усердно вызывала мужа к наслаждению ее пышным телом. От кожи ее пахло чуланом, в котором хранились банки солений, маринадов, копченой рыбы, окорока. Петр нередко и все чаще чувствовал, что жена усердствует чрезмерно, ласки ее опустошают его.

— Отстань, устал я,— говорил он.

— Ну, спи с богом,— покорно отзывалась жена и, быстро заснув, удивленно приподнимала брови, улыбалась, как бы глядя закрытыми глазами на что-то очень хорошее и никогда не виданное ею.

В те часы, когда Петр особенно ясно, с унынием ощущал, что Наталья нежеланна ему, он заставлял себя вспоминать ее в жуткий день рождения первого сына. Мучительно тянулся девятнадцатый час ее страданий, когда теща, испуганная, в слезах, привела его в комнату, полную какой-то особенной духоты. Извиваясь на смятой постели, выкатив искаженные лютой болью глаза, растрепанная, потная и непохожая на себя, жена встретила его звериным воем:

— Петя, прощай, умираю. Мальчик будет... Петр, прости...

Губы ее, распухшие от укусов, почти не шевелились, и слова шли как будто не из горла, а из опустившегося к ногам

живота, безобразно вздутого, готового лопнуть. Посиневшее лицо тоже вздулось; она дышала, как уставшая собака, и так же высовывала опухший, изжеванный язык, хватала волосы на голове, тянула их, рвала и все рычала, выла, убеждая, одолевая кого-то, кто не хотел или не мог уступить ей:

— М-мальчика...

День был ветреный, за окном тряслась и шумела черемуха, на стеклах трепетали тени, Петр увидел их прыжки, услыхал шорох и, обезумев, крикнул:

— Окно занавесьте! Не видите?

И в страхе убежал, сопровождаемый визгом женщины:

— И—и—у—у...

А через полтора часа теща, немая от счастья и усталости, снова привела его к постели жены, Наталья встретила его нестерпимо сияющим взглядом великомученицы и слабеньким, пьяным языком сказала:

— Мальчик. Сын.

Он наклонился, приложил щеку к плечу ее, забормотал:

— Ну, мать, этого я тебе не забуду до гроба, так и знай! Ну, спасибо...

Впервые он назвал ее матерью, вложив в это слово весь свой страх и всю радость; она, закрыв глаза, погладила голову его тяжелой, обессиленной рукою.

— Богатырь,— сказала рябая, носатая акушерка, показывая ребенка с такой гордостью, как будто она сама родила его. Но Петр не видел сына, пред ним все заслонялось мертвым лицом жены, с темными ямами на месте глаз:

— Не умрет?

— Н-ну, — громко и весело сказала рябая акушерка, — если б от этого умирали, тогда и акушерок не было бы.

Теперь богатырю шел девятый год, мальчик был высок, здоров, на большелобом, курносом лице его серьезно светились большие, густо-синие глаза,— такие глаза были у матери Алексея и такие же у Никиты. Через год родился еще сын, Яков, но уже с пяти лет лобастый Илья стал самым заметным человеком в доме. Балуемый всеми, он никого не слушал и жил независимо, с поразительным постоянством попадая в неудобные и опасные положения. Его шалости почти всегда принимали несколько необычный характер, и это возбуждало у отца чувство, близкое гордости.

Однажды Петр застал сына в сарае, мальчик пытался пристроить к старому корыту колесо тачки.

— Это что будет?

— Пароход.

— Не поедет.

— У меня — поедет! — сказал сын задорным тоном деда. Петр не мог убедить его в бесполезности работы, но, убеждая, думал:

«Дедушкин характер».

Илья был непреклонен в достижении своих целей, но все-таки ему не удалось устроить пароход из корыта и двух колес тачки. Тогда он нарисовал колеса углем на боках корыта, стащил его к реке, спустил в воду и погряз в тине. Однако не испугался, а тотчас же закричал бабам, полоскавшим белье:

— Эй, бабы! Вытащите, а то утону...

Мать велела изрубить корыто, а Илью нашлепала, с этого дня он стал смотреть на нее такими же невидящими глазами, как смотрел на двухлетнюю сестренку Таню. Он был вообще деловой человечек, всегда что-то строгал, рубил, ломал, налаживал, и, наблюдая это, отец думал:

«Толк будет. Строитель».

Иногда Илья целые дни не замечал отца и вдруг, являясь в контору, влезал на колени, приказывал:

— Расскажи чего-нибудь.

— Некогда мне.

— Мне тоже некогда.

Усмехаясь, отец отодвигал в сторону бумаги.

— Ну, вот: жили-были мужики...

— Про мужиков я все знаю; смешное расскажи.

Смешного отец не знал.

— Ты поди к бабушке.

— Она сегодня чихает.

— Ну — к матери.

— Она меня мыть будет.

Артамонов смеялся; сын был единственным существом, вызывавшим у него хороший, легкий смех.

— Тогда я пойду к Тихону,— заявлял Илья, пытаясь соскочить с колен отца, но тот удерживал его.

— А что Тихон говорит?

— Все.

— Что, однако?

— Он все знает, он в Балахне жил. Там баржи строят, лодки...

Когда Илья свалился откуда-то, разбив себе лицо, мать, колотя его, кричала:

— Не лазай по крышам, уродушкой будешь, горбатым!

Багровый от обиды, сын не заплакал, но пригрозил матери:

— Еще я тебе помру, когда бить будешь!

Об этой угрозе она сказала отцу, он усмехнулся:

— Ты не бей его, а посылай ко мне.

Сын пришел, встал у косяка двери, заложив руки за спину; не чувствуя ничего к нему, кроме любопытства и волнующей нежности, Петр спросил:

— Ты что это матери грубишь?

— Я не дурак,— сердито ответил сын.

— Как же не дурак, если грубишь?

— Так она — дерется. Тихон сказал: только дураков бьют.

— Тихон? Тихон сам...

Но Петр почему-то остерегся назвать дворника дураком; он шагал по комнате, присматриваясь к человеку у двери, не зная — что сказать?

— Ты вот тоже брата Якова бьешь.

— Он — дурак. Ему — не больно, он толстый.

— Что же: толстый, так — надо бить?

— Он жадный.

Петр чувствовал, что не умеет учить сына и что сын понимает это. Может быть, было бы проще и полезнее натрепать ему уши, но не поднималась рука над этой тревожно милой, вихрастой головою. Даже и думать о наказании неловко было под пристальным, ожидающим взглядом родных, синих глаз. И солнце мешало; всегда выходило как-то так, что Илья наиболее отчаянно шалил в солнечные дни. Говоря мальчику обычные слова увещаний, Петр вспоминал время, когда он сам выслушивал эти же слова и они не доходили до сердца его, не оставались в памяти, вызывая только скуку и лишь ненадолго страх. А побои, даже и заслуженные, трудно забыть, это Петр Артамонов тоже хорошо знал.

Второй сын Яков, кругленький и румяный, был похож лицом на мать. Он много и даже как будто с удовольствием плакал, а перед тем, как пролить слезы, пыхтел, надувая щеки, и тыкал кулаками в глаза свои. Он был труслив, много и жадно ел и, отяжелев от еды, или спал, или жаловался:

— Мама, мне скушно!

Дочь Елена приезжала домой только летом, она была какая-то чужая барышня.

Семи лет Илья начал учиться грамоте у попа Глеба, но узнав, что сын конторщика Никонова учится не по псалтырю, а по книжке с картинками «Родное слово», сказал отцу:

— Я не стану учиться, у меня язык болит.

Нужно было долго и ласково расспрашивать его, прежде чем он объяснил:

— Паша Никонов учится по родному, а я по чужому.

Но иногда этот очень живой мальчик, запнувшись за что-то, часами одиноко сидел на холме под сосною, бросая сухие шишки в мутно-зеленую воду реки Ватаракши.

«Скучает», — догадывался отец.

Он тоже недели и месяцы жил оглушенный шумом дела, кружился, кружился и вдруг попадал в густой туман неясных дум, слепо запутывался в скуке и не мог понять, что больше ослепляет его: заботы о деле или же скука от этих, в сущности, однообразных забот? Часто в такие дни он натыкался на человека и начинал ненавидеть его за косой взгляд, за неудачное слово; так, в этот серенький день, он почти ненавидел Тихона Вялова.

Вялов приближался, ведя под руку тещу, рассказывая:

— Мы, Вяловы, большая семья...

— Что же ты со своими не живешь? — спросил Петр, подходя к Баймаковой, взяв ее под локоть; Тихон замолчал, отшагнул в сторону; Артамонов настойчиво и строго повторил вопрос. Тогда, сузив бесцветные глаза, дворник равнодушно ответил:

— Да уж нет их никого, своих-то, всех извели.

— Что значит — извели? Кто извел?

— Двоих братов под Севастополь угнали, там они и загибли. Старший в бунт ввязался, когда мужики волей смутились; отец — тоже причастный бунту — с картошкой не соглашался, когда картошку силком заставляли есть; его хотели пороть, а он побежал прятаться, провалился под лед, утонул. Потом было еще двое у матери, от другого мужа, Вялова, рыбака, я да брат Сергей...

— А где брат? — спросила Ульяна, мигая опухшими от слез глазами.

— Его убили.

— Рассказываешь ты, как поминанье читаешь,— сердито сказал Артамонов.

— Это Ульяне Ивановне любопытно... Приуныла она маленько, вот я и...

Не кончив слов, он наклонился, поднял с дороги сухой сучок и отбросил его в сторону. Минуты две шли молча.

— А кто убил брата? — вдруг спросил Артамонов.

— Кто убивает? Человек убивает,— спокойно сказал Тихон, а Баймакова, вздохнув, добавила:

— Молния тоже...

...В середине лета наступили тяжелые дни, над землей, в желтовато-дымном небе стояла угнетающая, безжалостно знойная тишина; всюду горели торфяники и леса. Вдруг буйно врывался сухой, горячий ветер, люто шипел и посвистывал, срывал посохшие листья с деревьев, прошлогоднюю, рыжую хвою, вздымал тучи песка, гнал его над землей вместе со стружкой, корнем, перьями кур; толкал людей, пытаясь сорвать с них одежду, и прятался в лесах, еще жарче раздувая пожары.

На фабрике было много больных; Артамонов слышал, сквозь жужжание веретен и шорох челноков, сухой, надсадный кашель, видел у станков унылые, сердитые лица, наблюдал вялые движения; количество выработки понизилось, качество товара стало заметно хуже; сильно возросли прогульные дни, мужики стали больше пить, у баб хворали дети. Веселый плотник Серафим, старичок с розовым лицом ребенка, то и дело мастерил маленькие гробики и нередко сколачивал из бледных, еловых досок домовины для больших людей, которые отработали свой урок.

— Гулянье надо устроить,— настаивал Алексей,— повеселить надо, подбодрить народ!

Уезжая с женою на ярмарку, он еще раз посоветовал:

— Устрой гулянье — оживут люди! Ты — верь: веселье — от всех бед спасенье!

— Займись,— приказал Петр жене.— Получше сделай, пообильнее.

Наталья недовольно заворчала, он сердито спросил:

— Ну?

Протестующе громко высморкав нос в край передника, жена ответила:

— Слышу.

Гулянье начали молебном. Очень благолепно служил поп Глеб; он стал еще более худ и сух; надтреснутый голос его, произнося необычные слова, звучал жалобно, как бы умоляя из последних сил; серые лица чахоточных ткачей сурово нахмурились, благочестиво одеревенели; многие бабы плакали навзрыд. А когда поп поднимал в дымное небо печальные глаза свои, люди, вслед за ним, тоже умоляюще смотрели в дым на тусклое, лысое солнце, думая, должно быть, что кроткий поп видит в небе кого-то, кто знает и слушает его.

После молебна бабы вынесли на улицу поселка столы, и вся рабочая сила солидно уселась к деревянным чашкам, до краев полным жирной лапшою с бараниной. Вокруг каждой чашки садилось десять человек, на каждом столе стояло ведро

крепкого, домашнего пива и четверть водки; это быстро приподняло упавших духом, истомленных людей. Тишина, горячей шапкой накрывшая землю, всколебалась, отодвинулась на болота, к лесным пожарам, поселок загудел веселыми голосами, стуком деревянных ложек, смехом детей, окриками баб, говором молодежи.

За сытным, обильным обедом сидели часа три; потом, разведя пьяных по домам, молодежь собралась вокруг чистенького, аккуратного плотника Серафима. Его синяя пестрядинная рубаха и такие же порты, многократно стиранные, стали голубыми, пьяненькое, розовое личико с острым носом восторженно сияло, блестели, подмигивая, бойкие, нестарческие глазки. В этом веселом делателе гробов было, соответственно имени его, что-то небесно-радостное, какой-то легкий трепет. Сидя на скамье, положив гусли на острые свои колена, перебирая струны темными пальцами, изогнутыми, точно коренья хрена, он запел напевом слепцов-нищих, с нарочитой заунывностью и гнусаво, в нос:

А и вот вам, люди, сказ на забаву
Да премудрости вашей на разгадку!

И, подмигнув девицам, среди которых величаво стояла дочь его, шпульница Зинаида, грудастая, красивая, с дерзкими глазами, он завел еще более высоко и уныло:

Да вот сидит Христос в светлом рае,
Во душистой, небесной прохладе,
Под высокой, златоцветной липой,
Восседает на лыковом престоле.
Раздает он серебро и злато,
Раздает драгоценное каменье,
Все богатым людям в награду,
За то, что они, богаты,
Бедному люду доброхоты,
Бедную братию любят,
Нищих, убогих сыто кормят.

Он снова подмигнул девкам и вдруг перевел голосишко на плясовой лад, а дочь его, по-цыгански закинув руки за голову, встряхивая грудями, взвизгнула и пошла плясать под звонкую песенку отца и струнный звон.

А кто серебро возьмет,—
Тому ноги отшибет!
А кто золото возьмет,—
Того пламенем сожжет!
А яхонты, жемчуга
Все бельмами на глаза!..

Звон гусель и веселую игру песни Серафима заглушил свист парней; потом запели плясовую девки и бабы:

С моря быстрые кораблики бегут,
Красным девушкам подарочки везут!

А Зинаида, притопывая, подпевала пронзительно:

От Пашки — Палашке
Рогож на рубашки;
От Терешки — Матрешке
Две березовы сережки.

Илья Артамонов сидел на штабеле теса с Павлом Никоновым, худеньким мальчиком, на длинной шее которого беспокойно вертелась какая-то старенькая, лысоватая голова, а на сером, нездоровом лице жадно бегали серые, боязливые глазки. Илье очень нравился голубой старичок, было приятно слушать игру гусель и задорный, смешной голос Серафима, но вдруг вспыхнула, завертелась эта баба в кумачовой кофте и все разрушила, вызвав буйный свист, нестройную, крикливую песню. Эта баба стала окончательно противна ему, когда Никонов вполголоса сказал:

— Зинаидка — распутная, со всеми живет. И с твоим отцом тоже, я сам видел, как он ее тискал.

— Зачем? — недогадливо спросил Илья.

— Ну, знаешь!

Илья опустил глаза. Он знал, зачем тискают девиц, и ему было досадно, что он спросил об этом товарища.

— Врешь,— сказал он брезгливо и не слушая шепот Никонова. Этот мальчик, забитый и трусливый, не нравился ему своей вялостью и однообразием скучных рассказов о фабричных девицах, но Никонов понимал толк в охотничьих голубях, а Илья любил голубей и ценил удовольствие защищать слабосильного мальчика от фабричных ребятишек. Кроме того, Никонов умел хорошо рассказывать о том, что он видел, хотя видел он только неприятное и говорил обо всем, точно братишка Яков,— как будто жалуясь на всех людей.

Посидев несколько минут молча, Илья пошел домой. Там, в саду, пили чай под жаркой тенью деревьев, серых от пыли. За большим столом сидели гости: тихий поп Глеб, механик Коптев, черный и курчавый, как цыган, чисто вымытый конторщик Никонов, лицо у него до того смытое, что трудно понять, какое оно. Был маленький усатый нос, была шишка на лбу, между носом и шишкой расползалась

улыбка, закрывая узкие щелки глаз дрожащими складками кожи.

Илья сел рядом с отцом, не веря, чтоб этот невеселый человек путался с бесстыдной шпульницей. Отец молча погладил плечо его тяжелой рукою. Все были разморены зноем, обливались потом, говорили нехотя, только звонкий голос Коптева звучал, как зимою, в хрустальную, морозную ночь.

— В поселок-то пойдем? — спросила мать.

— Да; пойду оденусь,— сказал отец, встал из-за стола и пошел к дому; спустя минуту Илья побежал за ним, догнал его на крыльце.

— Ты что? — ласково спросил отец,— сын тоже спросил, глядя в глаза его:

— Ты Зинаиду тискал или не тискал?

Илье показалось, что отец испугался; это не удивило его, он считал отца робким человеком, который всех боится, оттого и молчалив. Он нередко чувствовал, что отец и его боится, вот — сейчас боится. И чтоб ободрить испуганного человека, он сказал:

— Я — не верю, я только спрашиваю.

Отец толкнул его в сени и, затолкав по коридору в свою комнату, плотно закрыл за собою дверь, а сам стал, посапывая, шагать из угла в угол, так шагал он, когда сердился.

— Поди сюда,— сказал Артамонов-старший, остановясь у стола, младший Артамонов подошел.

— Ты что сказал?

— Это Павлушка говорит, а я не верю.

— Не веришь? Так.

Петр выдул из себя гнев, в упор разглядывая лобастую голову сына, его серьезное, неласковое лицо. Он дергал себя за ухо, соображая: хорошо это или плохо, что сын не верит глупой болтовне такого же мальчишки, как сам он, не верит и, видимо, утешает его этим неверием? Он не находил, что и как надо сказать сыну, и ему решительно не хотелось бить Илью. Но надо же было сделать что-то, и он решил, что самое простое и понятное — бить. Тогда, тяжело подняв не очень послушную руку, он запустил пальцы в жестковатые вихры сына и, дергая их, начал бормотать:

— Не слушай дураков, не слушай!

И, оттолкнув, приказал:

— Ступай. Сиди в своей горнице. И — сиди там. Да.

Сын пошел к двери, склонив голову набок, неся ее, как чужую, а отец, глядя на него, утешал себя:

«Не плачет. Я его — не больно».

Он попробовал рассердиться.

— Ишь ты! Не верю! Вот я тебе и показал.

Но это не заглушало чувства жалости к сыну, обиды за него и недовольства собою.

«Впервые побил,— думал он, неприязненно разглядывая свою красную, волосатую руку.— А меня до десяти-то лет, наверно, сто раз били».

Но и это не утешало. Взглянув в окно на солнце, подобное капле жира в мутной воде, послушав зовущий шум в поселке, Артамонов неохотно пошел смотреть гулянье и дорогой тихонько сказал Никонову:

— Пасынок твой моему Илье глупости внушает...

— Я его выпорю,— с полной готовностью и даже как будто с удовольствием предложил конторщик.

— Ты ему придержи язык,— добавил Петр, искоса взглянув в пустое лицо Никонова и облегченно думая:

«Вот как просто».

Поселок встретил хозяев шумно и благодушно; сияли полупьяные улыбки, громко кричала лесть; Серафим, притопывая ногами в новых лаптях, в белых онучах, перевязанных, по-мордовски, красными оборами, вертелся пред Артамоновым и пел осанну:

Ой, кто это идет?
Это — сам идет!
А кого же он ведет?
Самоё ведет!

Седобородый, длинноволосый Иван Морозов, похожий на священника, басом говорил:

— Мы тобой довольны. Мы — довольны.

Другой старик, Мамаев, кричал с восторгом:

— У Артамоновых забота о людях барская!

А Никонов говорил Коптеву так, что все слышали:

— Благодарный народ, умеет ценить благодетелей своих!

— Мама, меня толкают! — жаловался Яков, одетый в рубаху розового шелка, шарообразный; мать держала его за руку, величаво улыбаясь бабам, и уговаривала:

— Ты гляди, как старичок пляшет...

Голубой плотник неутомимо вертелся, подпрыгивал, сыпал прибаутки:

Эх, притопывай, нога!
Притопывай чаще!
Лапоть легче сапога,
Баба — девки — слаще!

Артамонов не впервые слышал похвалы ему, он имел все основания не верить искренности этих похвал, но все-таки они его размягчали; ухмыляясь, он говорил:

— Ну, ладно, спасибо! Ничего, живем дружно.

И думал:

«Жаль, не видит Илья, как чествуют отца».

У него явилась потребность сделать что-то хорошее, чем-то утешить людей; подумав, дернув себя за ухо, он сказал:

— Детскую больницу надо вдвое расширить.

Широко размахнув руками, Серафим отскочил от него.

— Слышали? Валяй — ура хозяину!

Недружно, но громко люди рявкнули ура; растроганная, окруженная бабами, Наталья сказала в нос, нараспев:

— Подите, бабы, возьмите еще бочонка три пива, Тихон выдаст, подите!

Это еще более усилило восхищение баб; а Никонов, качая головой, умиленно говорил:

— Архиерейская встреча...

— Ма-ам,— мне жарко,— мычал Яков.

Радости эти несколько смял, нарушил чернобородый, с огромными, как сливы, глазами, кочегар Волков; он подскочил к Наталье, неумело повесив через левую руку тощенького, замлевшего от жары ребенка, с болячками на синеватой коже, подскочил и начал истерически кричать:

— Как быть-то? Жена скончалась. От жары скончалась, ау! Вот — прирост остался,— как быть?

Из его безумных глаз текли какие-то желтые слезы; отталкивая кочегара от Натальи, бабы говорили, как будто извиняясь:

— Ты его не слушай, он, видишь, не в разуме. Жена у него распутная была. Чахоточная. Да он и сам нездоровый.

— Возьмите младенца-то у него,— сердито посоветовал Артамонов, и тотчас же к раскисшему тельцу ребенка протянулось несколько пар бабьих рук, но Волков крепко выругался и убежал.

В общем, все было хорошо, пестро и весело, как и следует быть празднику. Замечая лица новых рабочих, Артамонов думал почти с гордостью:

«Растет число народа. Видел бы отец...»

Вдруг жена пожалела:

— Не вовремя наказал ты Илью, не видит он любовь к тебе.

Артамонов промолчал, взглянув исподлобья на Зинаиду, она шла впереди десятка девиц и пела неприятным, низким голосом:

Ходит мимо,
Смотрит мило,
Видно, хочет,
Ах, полюбить!

«Халда,— подумал он.— И песня плохая».

Вынул часы, посмотрел на них и зачем-то солгал:

— Я схожу домой, должна быть депеша от Алексея.

Он пошел быстро, обдумывая на ходу, что надо сказать сыну, придумал что-то очень строгое и достаточно ласковое, но, тихо отворив дверь в комнату Ильи, все забыл. Сын стоял на коленях, на стуле, упираясь локтями о подоконник, он смотрел в багрово-дымное небо; сумрак наполнял маленькую комнату бурой пылью; на стене, в большой клетке, возился дрозд: собираясь спать, чистил свой желтый нос.

— Ну что, сидишь?

Илья вздрогнул, обернулся, не спеша слез со стула.

— То-то вот! Слушаешь всякую дрянь.

Сын стоял наклонив голову, отец понял, что он делает это нарочно, чтоб напомнить о трепке.

— Зачем гнешься? Держи голову прямо.

Илья приподнял брови, но не взглянул на отца. Дрозд начал прыгать по жердочкам, негромко посвистывая.

«Сердится»,— подумал Артамонов, присев на кровать Ильи, тыкая пальцем в подушку.— Пустяки слушать не надо.

Илья спросил:

— А как же, когда говорят?

Его серьезный, хороший голос обрадовал отца, Петр заговорил более ласково и храбро:

— Говорят, а ты — не слушай! Ты — забывай! Скажут при тебе пакость, а ты — забудь.

— Ты забываешь?

— Ну а как же? Если б я помнил все, что слышу, чем бы я стал?

Он говорил не спеша, заботливо выбирая слова попроще, отлично понимал, что все они не нужны, и, быстро запутавшись в темной мудрости простых слов, сказал, вздохнув:

— Поди ко мне.

Илья подошел осторожно. Отец, зажав его бока коленями, легонько надавил ладонью на широкий лоб и, чувствуя, что сын не хочет поднять голову, обиделся.

— Ты что капризничаешь? Погляди на меня.

Илья взглянул прямо в глаза, но это вышло еще хуже, потому что он спросил:

— За что ты побил меня? Ведь я сказал, что не верю Павлушке.

Артамонов-старший ответил не сразу. Он с удивлением видел, что сын каким-то чудом встал вровень с ним, сам поднялся до значительности взрослого или принизил взрослого до себя.

«Не по возрасту обидчив»,— мельком подумал он и встал, говоря поспешно, стремясь скорее помирить сына с собою.

— Я тебя — не больно. Надо учить. Меня отец бил ой-ёй как! И мать. Конюх, приказчик. Лакей-немец. Еще когда свой бьет — не так обидно, а вот чужой — это горестно. Родная рука — легка!

Шагая по комнате, шесть шагов от двери до окна, он очень торопился кончить эту беседу, почти боясь, что сын спросит еще что-нибудь.

— Наглядишься, наслушаешься ты здесь чего не надо,— бормотал он, не глядя на сына, прижавшегося к спинке кровати.— Учить надо тебя. В губернию надо. Хочешь учиться?

— Хочу.

— Ну вот...

Хотелось приласкать сына, но этому что-то мешало. И он не мог вспомнить: ласкали его отец и мать после того, как, бывало, обидят?

— Ну, иди, гуляй. Да ты бы не дружился с Пашкой-то.

— Его никто не любит.

— И не за что, такого гнилого.

Сойдя к себе, стоя пред окном, Артамонов задумался: нехорошо у него вышло с сыном.

«Избаловал я его. Не боится он».

Со стороны поселка притекал пестрый шумок, визг и песни девиц, глухой говор, скрежет гармоники. У ворот четко прозвучали слова Тихона:

— Что ж ты дома, дитя? Гулянье, а ты — дома? Учиться поедешь? Это хорошо. «Неученый — что нерожёный»,— вот как говорят. Ну, мне без тебя скушно будет, дитя.

Артамонову захотелось крикнуть:

«Врешь, это мне будет скучно! Ишь ластится к хозяйскому сыну, подлая душа»,— подумал он со злостью.

Отправив сына в город, к брату попа Глеба, учителю, который должен был приготовить Илью в гимназию, Петр дей-

ствительно почувствовал пустоту в душе и скуку в доме. Стало так неловко, непривычно, как будто погасла в спальне лампада; к синеватому огоньку ее Петр до того привык, что в бесконечные ночи просыпался, если огонек почему-нибудь угасал.

Перед отъездом Илья так озорничал, как будто намеренно хотел оставить о себе дурную память; нагрубил матери до того, что она расплакалась, выпустил из клеток всех птиц Якова, а дрозда, обещанного ему, подарил Никонову.

— Ты что ж это как озоруешь? — спросил отец, но Илья, не ответив, только голову склонил набок, и Артамонову показалось, что сын дразнит его, снова напоминая о том, что он хотел забыть. Странно было ощущать, как много места в душе занимает этот маленький человек.

«Неужто отец тоже вот так беспокоился за меня?»

Память уверенно отвечала, что он никогда не чувствовал в своем отце близкого, любимого человека, а только строгого хозяина, который гораздо более внимательно относился к Алексею, чем к нему.

«Что ж я, добрее отца?» — спрашивал себя Артамонов и недоумевал, не зная — добрый он или злой? Думы мешали ему, внезапно возникая в неудобные часы, нападая во время работы. Дело шумно росло, смотрело на хозяина сотнями глаз, требовало постоянно напряженного внимания, но лишь только что-нибудь напоминало об Илье — деловые думы разрывались, как гнилая, перепревшая основа, и нужно было большое усилие, чтоб вновь связать их тугими узлами. Он пытался заполнить пустоту, образованную отсутствием Ильи, усилив внимание к младшему сыну, и с угрюмой досадой убеждался, что Яков не утешает его.

— Тятя, купи мне козла,— просил Яков; он всегда чего-нибудь просил.

— Зачем козла?

— Я буду верхом кататься.

— Плохо выдумал. Это ведьмы на козлах ездят.

— А Еленка подарила мне книжку с картинками, так там на козле мальчик хороший...

Отец думал:

«Илья картинке не поверил бы. Он бы сейчас пристал: расскажи про ведьму».

Не нравилось ему, что Яков, сам раздразнив фабричных ребятишек, жаловался:

— Обижают.

Старший сын тоже забияка и драчун, но он никогда ни на кого не жаловался, хотя нередко бывал битым товарищами в поселке, а этот труслив, ленив, всегда что-то сосет, жует. Иногда в поступках Якова замечалось что-то непонятное и как будто нехорошее: за чаем мать, наливая ему молока, задела рукавом кофты стакан и, опрокинув его, обожглась кипятком.

— А я видел, что прольешь,— широко улыбаясь, похвастался Яков.

— Видел, а — молчал; это нехорошо,— заметил отец.— Вот мать ноги обварила.

Мигая и посапывая, Яков продолжал безмолвно жевать, а через несколько дней отец услышал, что он говорит кому-то на дворе, захлебываясь словами:

— Я видел, что он его бить хочет; идет, идет, подошел, да сзади ка-ак даст!

Выглянув в окно, Артамонов увидал, что сын, размахивая кулаком, возбужденно беседует с дрянненьким Павлушкой Никоновым. Он позвал Якова, запретил ему дружить с Никоновым, хотел сказать что-то поучительное, но, взглянув в сиреневые белки с какими-то очень светлыми зрачками, вздохнув, отстранил сына:

— Иди, пустоглазый...

Осторожно, как по скользкому, Яков пошел, прижав локти к бокам, держа ладони вытянутыми, точно нес на них что-то неудобное, тяжелое.

«Неуклюж. Глуповат»,— решил отец.

В дочери, рослой, неразговорчивой, тоже было что-то скучное и общее с Яковом. Она любила лежать, читая книжки, за чаем ела много варенья, а за обедом, брезгливо отщипывая двумя пальчиками кусочки хлеба, болтала ложкой в тарелке, как будто ловя в супе муху; поджимала туго налитые кровью, очень красные губы и часто, не подобающим девчонке тоном, говорила матери:

— Теперь так не делают. Это уже вышло из моды.

Когда отец сказал ей: «Ты что же, ученая, не взглянешь, как тебе на рубахи полотно ткут?» — она ответила:

— Пожалуйста.

Надела праздничное платье, взяла зонтик, подарок дяди Алексея, и, покорно шагая вслед за отцом, внимательно следила: не задеть бы платьем за что-нибудь. Несколько раз чихнула, а когда рабочие желали ей доброго здоровья, она, краснея, молча, без улыбки на лице, важно надутом, кивала им головою. Отец рассказывал ей о работе, но, скоро заметив, что

она смотрит не на станки, а под ноги себе, замолчал, почувствовав себя обиженным равнодушием дочери к его хлопотливому делу. Выйдя из ткацкой на двор, он все-таки спросил:

— Ну что?

— Пыльно очень,— ответила она, осматривая свое платье.

— Немного видела,— усмехнулся Петр и с досадой закричал:

— Да что ты все подол поднимаешь? Двор чистый, а подол и так короток.

Она испуганно отняла два пальчика, которыми поддерживала юбку, и сказала виновато:

— Маслом очень пахнет.

Его особенно раздражали эти ее два пальчика, и Артамонов ворчал:

— Гляди, двумя-то пальцами немного возьмешь!

В ненастный день, когда она читала, лежа на диване, отец, присев к ней, осведомился, что она читает?

— Об одном докторе.

— Так. Наука, значит.

Но, заглянув в книгу, возмутился.

— Что же ты врешь? Это — стихи. Разве науку стихами пишут?

Торопливо и путано она рассказала какую-то сказку: бог разрешил сатане соблазнить одного доктора, немца, и сатана подослал к доктору черта. Дергая себя за ухо, Артамонов добросовестно старался понять смысл этой сказки, но было смешно и досадно слышать, что дочь говорит поучающим тоном, это мешало понимать.

— Доктор — пьяница был?

Он видел, что его вопрос сконфузил Елену, и, уже не слушая ее пояснений, сказал, сердясь:

— Путаница какая-то. Басня. Доктора в чертей не верят. Откуда у тебя книга?

— Механик дал.

Петр вспомнил, как иногда Елена задумчиво смотрит серыми глазами кошки на что-то впереди себя, и нашел нужным предупредить дочь:

— Коптев тебе не пара, ты с ним не очень хихикай.

Да, Елена и Яков были скучнее, серей Ильи, он все лучше видел это. И не заметил, как постепенно на месте любви к сыну у него зародилась ненависть к Павлу Никонову. Встречая хилого мальчика, он думал:

«Из-за такого паршивца...»

Мальчик был физически противен ему. Ходил Никонов согнув спину, его голова тревожно вертелась на тонкой шее; даже когда мальчик бежал, Артамонову казалось, что он крадется, как трусливый жулик. Он много работал, чистил сапоги и платье вотчима, колол и носил дрова, воду, таскал из кухни ведра помой, полоскал в реке пеленки своего брата. Хлопотливый, как воробей, грязненький, оборванный, он запскивающе улыбался всем какой-то собачьей улыбкой, а видя Артамонова, еще издали кланялся ему, сгибая гусиную шею, роняя голову на грудь. Артамонову почти приятно было видеть мальчика под осенним дождем или зимою, когда Павел колол дрова и грел дыханием озябшие пальцы, стоя, как гусь, на одной ноге, поджимая другую, с которой сползал растоптанный, дырявый сапог. Он кашлял, хватаясь синими лапками за грудь, извиваясь штопором.

Узнав, что мальчик держит на чердаке бани две пары голубей, Артамонов приказал Тихону выпустить птиц и следить, чтоб мальчишка не лазил на чердак.

— Упадет с крыши, разобьется. Вон какой он гнилой.

Как-то вечером, войдя в контору, он увидал, что этот мальчик выскабливает с пола ножом и смывает мокрой тряпкой пролитые чернила.

— Кто пролил?

— Отец.

— А не ты?

— Ей-богу — не я!

— А отчего морда оплакана?

Стоя на коленях, подставив голову под удар, Павел не ответил, тогда Артамонов, придавив его взглядом, удовлетворенно сказал:

— Так тебе и надо.

Но вдруг, на минуту прозрев, он усмехнулся в бороду, почувствовав, как ребячлива и смешна эта неприязнь к ничтожному мальчишке.

«Эко, чем забавляюсь!» — снисходительно подумал он и бросил на пол тяжелый медный пятак.

— На, купи себе пряников.

Мальчик так осторожно протянул грязные косточки своих пальцев к монете, точно боялся, что медь обожжет.

— Бьет тебя вотчим?

— Да.

— Ну, что ж? Всех бьют,— утешил Артамонов. А через несколько дней Яков пожаловался, что Павлушка чем-то обидел его, и Артамонов-старший, не веря сыну, уже только по привычке, посоветовал конторщику:

— Ты пори пасынка.

— Я порю-с,— почтительно уверил Никонов.

Летом, когда Илья приехал на каникулы, незнакомо одетый, гладко остриженный и еще более лобастый,— Артамонов острее невзлюбил Павла, видя, что сын упрямо продолжает дружиться с этим отрепышем, хиляком. Сам Илья тоже стал нехорошо вежлив, говорил отцу и матери «вы», ходил, сунув руки в карманы, держался в доме гостем, дразнил брата, доводя его до припадков слезливого отчаяния, раздражал чем-то сестру так, что она швыряла в него книгами, и вообще вел себя сорванцом.

— Я говорила! — жаловалась Наталья мужу.— И все говорят: ученье ведет к дерзости.

Артамонов молчал, тревожно наблюдая за сыном, ему казалось, что хотя Илья озорничает много, но как-то невесело, нарочно. На крыше бани снова явились голуби, они, воркуя, ходили по коньку, а Илья и Павел, сидя у трубы, часами оживленно болтали о чем-то, если не гоняли голубей. Еще в первые дни по приезде сына отец предложил ему:

— Ну, рассказывай, как живешь; я тебе много рассказывал, теперь твоя очередь.

Илья очень кратко и торопливо рассказал что-то неинтересное о том, как мальчики дразнят учителей.

— А зачем дразнить?

— Надоедают,— объяснил Илья.

— Так. Это будто неладно. Учиться трудно?

— Нет, легко.

— Врешь?

— Посмотрите отметки,— сказал Илья, дернув плечом, а глаза его пристально смотрели в сад, в небо. Отец спросил:

— Чего ты там видишь?

— Ястреб.

Артамонов-старший вздохнул.

— Ну, беги, гуляй. Скучно со мной, видать.

Оставшись один, он вспомнил, что и ему в детстве почти всегда было или скучно, или боязно, когда отец говорил с ним.

— Учителей дразнит. Мне эдакое и в лоб не влетало, когда дьячок учил меня ременной плетью. Для детей житьишко будто мягче стало.

«Дело Артамоновых»
С. Герасимов

Пред отъездом в город Илья попросил — это была его единственная просьба:

— Папаша, позвольте Павлу держать голубей на чердаке, в бане...

Ничего не обещая, отец сказал:

— Всех, кому плохо, не утешишь.

— Значит — можно,— решил сын.— Я скажу ему — обрадуется.

Артамонов-старший был обижен тем, что сын, заботясь о радостях какого-то дрянненького мальчишки, не позаботился, не сумел внести немножко радости в жизнь отца. И после отъезда сына он почувствовал себя одержимым еще более настойчивой неприязнью к пасынку конторщика. Теперь стало так, что, когда дома, на фабрике или в городе Артамонов раздражался чем-нибудь,— в центр всех его раздражений самовольно вторгался оборванный, грязненький мальчик и как будто приглашал вешать на его жидкие кости все злые мысли, все недобрые чувства. Вот этот мальчишка действительно рос, как плесень, как вечерняя тень, и, мелькая вороватым чертенком, все чаще попадался на глаза.

В ласковый день бабьего лета Артамонов, усталый и сердитый, вышел в сад. Вечерело; в зеленоватом небе, чисто выметенном ветром, вымытом дождями, таяло, не грея, утомленное солнце осени. В углу сада возился Тихон Вялов, сгребая граблями опавшие листья, печальный, мягкий шорох плыл по саду; за деревьями ворчала фабрика, серый дым лениво пачкал прозрачность воздуха. Чтоб не видеть дворника, не говорить с ним, хозяин прошел в противоположный угол сада, к бане; дверь в нее была не притворена.

«Этот — там».

Осторожно заглянув в предбанник, он увидал в углу его, в тени, на лавке распластанную фигурку своего врага,— склонив голову, широко раздвинув ноги, он занимался детским грехом. Это на секунду обрадовало Артамонова, но тотчас же он вспомнил о Якове, Илье и в испуге, с отвращением, зашипел:

— Ты что делаешь, паршивый?

Рука Павла, перестав дрожать, взметнулась, он весь странно оторвался от лавки, открыл рот, тихонько взвизгнул, сжался комом и бросился под ноги большого человека,— Артамонов с наслаждением ударил его правой ногою в грудь и остановил; мальчик хрустнул, слабо замычал, опрокинулся на бок.

Был момент, когда Артамонову показалось, что этим пинком ноги он сбросил с души своей какие-то грязные лохмотья,

тяжесть, надоевшую ему. Но в следующую минуту он, выглянув в сад, прислушался, притворил дверь и, наклонясь, сказал негромко:

— Ну, вставай, идем!

Мальчик лежал, выбросив одну руку вперед, другую придавив коленом, одна нога его казалась намного короче другой, он как бы незаметно подползал к Петру, и вытянутая рука его была неестественно, страшно длинна. Пошатнувшись, Артамонов схватился рукою за косяк, снял картуз и подкладкой его вытер внезапно и обильно вспотевший лоб.

— Вставай, я никому не скажу,— сказал он шепотом, уже понимая, что убил мальчика, видя, что из-под щеки его, прижатой к полу, тянется, извиваясь, лента темненькой крови.

«Убил»,— мысленно произнес Петр. Немудрое, коротенькое слово звучало оглушительно. Артамонов сунул картуз в карман поддевки, перекрестился, тупо глядя на маленькое, жалобно скорченное тело; испуганно билась нехитрая мысль:

«Скажу, что нечаянно. Дверью ушиб. Дверью. Дверь — тяжелая».

Он повернулся и грузно присел на лавку,— сзади его стоял Тихон с метлою в руках, смотрел жидкими глазами на Никонова и раздумчиво чесал каменную скулу свою.

— Вот,— громко начал Артамонов, держась руками за край лавки, но Тихон, качнув головою, перебил его:

— Слабый мальчонко, неловок. Сколько раз я увещал его — не лазь!

— Чего? — со страхом, но и с надеждой спросил Петр.

— Разобьешься, говорю. И ты, Петр Ильич, предвещал это, помнишь? Всякая охота требует ловкости. Без памяти, что ли?

Присев на корточки, дворник пощупал руку Павла, шею, потрогал пальцем щеку, и, отирая палец о фартук, шаркая им, точно спичку зажигал, он сказал:

— Пожалуй — совсем отошел. Гниленький был, много ли надо?

Говорил Тихон спокойно, двигался медленно и весь был такой, как всегда, но хозяин не верил ему и ждал каких-то грозных, осуждающих слов. Однако Тихон, взглянув на потолок в квадрат, вырезанный в нем, послушав воркованье голубей, снова заговорил спокойно и просто:

— Он по двери лазил; одну ногу поставит на лавку, другую на скобу двери, потом на верх ее, оттуда схватится ру-

ками за край и подтянется на руках-то. А ручонки — без силы, вот и сорвался да, видать, об угол двери сердцем и угодил.

— Я этого не видал,— сказал Петр. Чувство самосохранения подсказывало ему быстренькие догадки:

«Врет? Фальшивит? Капкан ставит мне, в руки взять хочет? Или в самом деле не догадался, дурак?»

Последнее было вероятнее. Тихон вел себя глупо: качнув головою, точно ударив лбом кого-то, он вздохнул:

— Эх, соринка! И зачем такие? Пойду, скажу матери. Вотчим, поди-ко, не больно горевать станет, мальчонко был лишний ему.

Артамонов очень подозрительно вслушивался в слова дворника, пытаясь уловить в них фальшь, но Тихон говорил, как всегда, тоном человека, чуждого любопытству.

— Чу! — сказал он, пошевелив бровями, прислушиваясь: где-то на дворе женщина сердито кричала:

— Пашка! Пашка-а...

Тихон погладил скулу.

— Вот те и Пашка! Готовь слезы...

«Нет,— дурак»,— решил Артамонов и, вытащив из кармана картуз, пошел в сад, внимательно рассматривая сломанный козырек.

Недели две, три он прожил, чувствуя, что в нем ходит, раскачивает его волна темного страха, угрожая ежедневно новой, неведомой бедою. Вот сейчас откроется дверь, влезет Тихон и скажет:

«Ну, я, конечно, знаю...»

Но внешне все шло хорошо; все отнеслись к смерти мальчика деловито и просто, покорные привычке родить и хоронить. Никонов повязал желтую шею свою новым, черным галстуком, и на смытом лице его явилась скромная важность, точно он получил награду, давно заслуженную им. Мать убитого, высокая, тощая, с лошадиным лицом, молча, без слез, торопилась схоронить сына,— так казалось Артамонову; она все оправляла кисейный рюш в изголовье гроба, передвигала венчик на синем лбу трупа, осторожно вдавливала пальцами новенькие, рыжие копейки, прикрывавшие глаза его, и как-то нелепо быстро крестилась. Петр подметил, что рука у нее до того устала, что за панихидой мать дважды не могла поднять руку,— поднимет, а рука опускается, как сломанная.

Да, с этой стороны все обошлось гладко; Никоновы даже многословно и надоедливо благодарили за пособие на похороны, хотя Артамонов, опасаясь возбудить излишней щедростью

подозрения Тихона, дал немного. Ему все-таки не верилось, что дворник так глуп, каким он показал себя там, в бане. Вот уже второй раз баня выдвигает этого человека на первое место, все глубже втискивая его в жизнь Петра. Это — странно и жутко. Артамонов даже думал, что баню надо поджечь или сломать, распилить на дрова, кстати, она уже стара и гниет. Надо построить другую и на ином месте.

Зорко наблюдая за Тихоном, он видел, что дворник живет все так же, как-то нехотя, из милости и против воли своей; так же малоречив; с рабочими груб, как полицейский, они его не любят; с бабами он особенно, брезгливо груб, только с Натальей говорит как-то особенно, точно она не хозяйка, а родственница его, тетка или старшая сестра.

— Ты что больно ласкова с Тихоном? — не раз допытывался он, жена отвечала:

— Уж очень он прижился к нам.

Если б дворник имел друзей, ходил куда-нибудь,— можно было бы думать, что он сектант; за последние года появилось много разных сектантов. Но приятелей у Тихона, кроме Серафима-плотника, не было, он охотно посещал церковь, молился истово, но всегда почему-то некрасиво открыв рот, точно готовясь закричать. Порою, взглянув в мерцающие глаза дворника, Артамонов хмурился, ему казалось, что в этих жидких глазах затаена угроза, он ощущал желание схватить мужика за ворот, встряхнуть его:

«Ну, говори!»

Но зрачки Тихона таяли, расплывались, и каменное спокойствие его скуластого лица подавляло тревогу Петра. Когда был жив Антон-дурак, он нередко торчал в сторожке дворника или, по вечерам, сидел с ним у ворот на скамье, и Тихон допрашивал безумного:

— Ты не болтай зря, ты подумай и объясни: куятыр — это кто?

— Каямас,— радостно взвизгивал Антон и запевал:

Хиристос воскиресе, воскиресе...

— Постой!

Кибитка потерял колесо...

— Чего ты добиваешься? — спросил Артамонов с досадой, непонятной ему.

— Чтобы слова нечеловечьи объяснил.

— Да это — дураковы слова!

— И у дурака свой разум должен быть,— глупо сказал Тихон.

Вообще говорить с ним не стоило. Как-то бессонной, воющей ночью Артамонов почувствовал, что не в силах носить мертвую тяжесть на душе, и, разбудив жену, сказал ей о случае с мальчиком Никоновым. Наталья, молча мигая сонными глазами, выслушала его и сказала, зевнув:

— А я забываю сны.

Но вдруг — встрепенулась.

— Ох, боюсь, как бы Яша не занялся этим!

— Чем? — удивленно спросил муж, а когда она ощутимо объяснила ему, чего боится, он подумал, с досадой дергая себя за ухо:

«Напрасно говорил».

В эту ночь, под шорох и свист метели, он, вместе с углубившимся сознанием своего одиночества, придумал нечто, освещающее убийство, объясняющее его: он убил испорченного мальчика, опасного товарища Илье, по силе любви своей к сыну, из страха за него. Это вносило в темную ненависть к мальчику Никонову понятную причину, это несколько облегчало. Но хотелось совершенно избавиться от этой тяжести, свалить ее на чьи-то другие плечи. Он пригласил попа Глеба, желая поговорить о грехе необычном не на исповеди, во время покаяния в обычных грехах.

Тощий, сутулый поп пришел вечером, тихонько сел в угол; он всегда засовывал длинное тело свое глубоко в углы, где потемнее, тесней; он как будто прятался от стыда. Его фигура в старенькой темной рясе почти сливалась с темной кожей кресла, на сумрачном фоне тускло выступало только пятно лица его; стеклянной пылью блестели на волосах висков капельки растаявшего снега, и, как всегда, он зажал реденькую, но длинную бороду свою в костлявый кулак.

Не решаясь начать беседу с главного, Артамонов заговорил о том, как быстро портится народ, раздражая своей ленью, пьянством, распутством; говорить об этом стало скучно, он замолчал, шагая по комнате. Тогда из сумрачного угла потекла речь попа, очень похожая на жалобу:

— Никто не заботится о народе, сам же он духовно заботиться о себе не привык, не умеет. Образованные люди... впрочем,— не решусь осуждать, да и мало у нас образованных людей. И не вживаются они, знаете, в обыкновенную жизнь, в народное. Хотя желают многого, но — не главного. Их на бунт

влечет, а отсюда гонение власти на них. И вообще все как-то не налаживается у нас. Вот только единый голос все громче слышен в суетном шуме, обращен к совести мира и властно стремится пробудить ее, это голос некоего графа Толстого, философа и литератора. Замечательнейший человек, речь его смела до дерзости, но так как... тут, видите, задета православная церковь...

Он долго рассказывал о Льве Толстом, и хотя это было не совсем понятно Артамонову, однако вздыхающий голос попа, истекая из сумрака тихим ручьем и рисуя почти сказочную фигуру необыкновенного человека, отводил Артамонова от самого себя. Не забывая о том, зачем он пригласил священника, Петр постепенно поддавался чувству жалости к нему. Он знал, что бедняки города смотрят на Глеба как на блаженного за то, что этот поп не жаден, ласков со всеми, хорошо служит в церкви и особенно трогательно отпевает покойников. Все это Артамонов считал естественным,— таков и должен быть поп. Его симпатия к священнику была вызвана общей нелюбовью городского духовенства и лучших людей ко Глебу. Но духовный пастырь должен быть суров, он обязан знать и говорить особенные, пронзающие слова, обязан возбуждать страх пред грехом, отвращение ко греху. Артамонов знал, что такой силой Глеб не обладает, и, слушая его неуверенную речь, слова которой колебались, видимо, боясь кого-то обидеть, он вдруг сказал:

— Я тебя, отец Глеб, для того потревожил, чтоб известить: в этом году я говеть не стану.

— Что ж так? — задумчиво спросил поп и, не дождавшись ответа, сказал: — Отвечаете пред совестью своей.

Артамонову послышалось, что Глеб произнес эти слова так же бессердечно, как говорит дворник Тихон. По бедности своей поп не носил галош, с его тяжелых, мужицких сапог натекли лужи талого снега, он шлепал подошвами по лужам и все говорил, жалуясь, но не осуждая:

— Смотришь на происходящее, и лишь одно утешает: зло жизни, возрастая, собирается воедино, как бы для того, чтоб легче было преодолеть его силу. Всегда так наблюдал я: появляется малый стерженек зла и затем на него, как на веретено нитка, нарастает все больше и больше злого. Рассеянное преодолеть трудно, соединенное же возможно отсечь мечом справедливости сразу...

Эти слова остались в памяти Артамонова, он услыхал в них нечто утешительное: стерженек — это Павел, ведь к нему,

бывало, стекались все темные мысли, он притягивал их. И снова, в этот час, он подумал, что некоторую долю его греха справедливо будет отнести на счет сына. Облегченно вздохнув, он пригласил попа к чаю.

В столовой было светло, уютно, теплый воздух ее насыщен вкусными запахами; на столе, благодушно пофыркивая паром, кипел самовар; теща, сидя в кресле, приятно пела четырехлетней внучке:

Святая молонья
Раздала дары своя:
Апостолу Петру —
Ему летнюю жару;
Угоднику Николе —
На морях, озерах волю;
А пророку Илие —
Золотое копие...

— Языческое,— сказал поп, присаживаясь к столу, и виновато усмехнулся.

В спальне жена говорила Петру:

— Алексей воротился, видела я его. Он все больше с ума сходит по Москве. Ох, боюсь я...

Летом на белой шее и румяном, отшлифованном лице Натальи явились какие-то красненькие точки; мелкие, как уколы иголки, они все-таки мешали ей, и дважды в неделю, перед сном, она усердно втирала в кожу щек мазь медового цвета. Этим делом она и занималась, сидя перед зеркалом, двигая голыми локтями; под рубахой тяжело колыхались шары ее грудей. Петр лежал в постели, закинув руки под голову, бородою в потолок, искоса смотрел на жену и находил, что она похожа на какую-то машину, а от ее мази пахнет вареной севрюгой. Когда Наталья, помолясь убедительным шепотом, легла в постель и, по честной привычке здорового тела, предложила себя мужу, он притворился спящим.

«Стерженек,— думал он.— Вот и я — веретено. Верчусь. А кто прядет? Тихон сказал: человек прядет, а черт дерюгу ткет. Экая несуразная морда!»

Раздуваемое Алексеем дело все шире расползалось по песчаным холмам над рекою; они потеряли свою золотистую окраску, исчезал серебряный блеск слюды, угасали острые искорки кварца, песок утаптывался; с каждым годом, веснами, на нем все обильнее разрастались, ярче зеленели сорные травы, на тропах уже подорожник прижимал свой лист; лопух развешивал большие уши; вокруг фабрики деревья сада

сеяли цветень; осенний лист, изгнивая, удобрял жиреющий песок. Фабрика все громче ворчала, дышала тревогами и заботами; жужжали сотни веретен, шептали станки; целый день, задыхаясь, пыхтели машины, над фабрикой непрерывно кружился озабоченный трудовой гул; приятно было сознавать себя хозяином всего этого, даже до удивления, до гордости приятно.

Но порою, и все чаще, Артамоновым овладевала усталость, он вспоминал свои детские годы, деревню, спокойную, чистую речку Рать, широкие дали, простую жизнь мужиков. Тогда он чувствовал, что его схватили и вертят невидимые, цепкие руки, целодневный шум, наполняя голову, не оставлял в ней места никаким иным мыслям, кроме тех, которые внушались делом, курчавый дым фабричной трубы темнил все вокруг унынием и скукой.

В часы и дни такого настроения ему особенно не нравились рабочие; казалось, что они становятся всё слабосильнее, теряют мужицкую выносливость, заразились бабьей раздражительностью, не в меру обидчивы, дерзко огрызаются. В них явилось что-то бесхозяйственное, неустойчивое; раньше, при отце, они жили семейнее, дружней, не так много пьянствовали, не так бесстыдно распутничали, а теперь все спуталось, люди стали бойчее и даже как будто умней, но небрежнее к работе, злее друг к другу и все нехорошо, жуликовато присматриваются, примериваются. Особенно озорниковатой и непочтительной становилась молодежь, молодых фабрика очень быстро делала совершенно непохожими на мужиков.

Кочегара Волкова пришлось отправить в губернию, в дом умалишенных, а всего лишь пять лет тому назад он, погорелец, красивый, здоровый, явился на фабрику вместе с бойкой женою. Через год жена его загуляла, он стал бить ее, вогнал в чахотку, и вот уж обоих нет. Таких случаев быстрого сгорания людей Артамонов наблюдал не мало. За пять лет было четыре убийства, два — в драке, одно из мести, а один пожилой ткач зарезал девку-шпульницу из ревности. Часто дрались до крови, до серьезных поранений.

На Алексея все это, видимо, не действовало. Брат становился непонятней. В нем было что-то общее с чистеньким, шутливым плотником Серафимом, который одинаково весело и ловко делал ребятишкам дудки, самострелы и сколачивал для них гроба. Ястребиные глаза Алексея сверкали уверенностью, что все идет хорошо и впредь будет хорошо идти. Уже три могилы

было у него на кладбище; твердо, цепко жил только Мирон, некрасиво, наскоро слаженный из длинных костей и хрящей, весь скрипучий, щелкающий. У него была привычка ломать себе пальцы так, что они громко хрустели. В тринадцать лет он уже носил очки, это сделало немножко короче его длинный птичий нос и притемнило неприятно светлые глаза. Ходил этот мальчик всегда с какой-нибудь книгой в руке, защемив в ней палец так, что казалось — книга приросла к нему. С отцом и матерью он говорил, как равный, даже и не говорил, а рассуждал. Им это нравилось, а Петр, определенно чувствуя, что племянник не любит его, платил ему тем же.

В доме Алексея все было несерьезно, несолидно; Артамонов-старший видел, что разница между его жизнью и жизнью брата почти такова, как между монастырем и ярмарочным балаганом. В городе у Алексея и жены его приятелей не было, но в его тесных комнатах, похожих на чуланы, набитые ошарканными, старыми вещами, собирались по праздникам люди сомнительного достоинства: золотозубый фабричный доктор Яковлев, человек насмешливый и злой; крикливый техник Коптев, пьяница и картежник; учитель Мирона, студент, которому полиция запретила учиться; его курносая жена курила папиросы, играла на гитаре. Бывали и еще какие-то обломки людей, все они одинаково дерзко ругали попов, начальство, и было ясно, что каждый из них считает себя отличнейшим умником. Артамонов всем существом своим чувствовал, что это — не настоящие люди, и не понимал, зачем они брату, хозяину половины большого, важного дела? Слушая их крики, он вспоминал жалобу попа:

«Желают многого, но — не главного».

Он не спрашивал себя,— в чем и где это главное, он знал, что главное — в деле.

Любимцем брата был, видимо, крикливый цыган Коптев; он казался пьяным, в нем было что-то напористое и даже как будто умное, он чаще всех говорил:

— Все это пустяки, философия! Промышленность — вот! Техника.

Но в Коптеве Артамонов-старший подозревал что-то еретическое, разрушительное.

— Опасный парень,— сказал он брату; Алексей удивился:

— Коптев? Что ты? Это — молодчина, деловик, вол, умница! Таких бы тысячи!

И, усмехаясь, прибавил:

— Будь у меня дочь, я бы его женил, цепью приковал бы к делу!

Петр угрюмо отошел от него. Если не играли в карты, он одиноко сидел в кресле, излюбленном им, широком и мягком, как постель; смотрел на людей, дергая себя за ухо, и, не желая соглашаться ни с кем из них, хотел бы спорить со всеми; спорить хотелось не только потому, что все эти люди не замечали его, старшего в деле, но еще и по другим каким-то основаниям. Эти основания были неясны ему, говорить он не умел и лишь изредка, натужно, вставлял свое слово:

— А вот поп Глеб рассказывал мне про одного графа...

Коптев немедленно лаял на него:

— Какое вам дело до графа, вам, вам? Граф этот — последний вздох деревенской России...

Он кричал и непочтительно тыкал пальцем в сторону Петра, а все остальные, слушая его, тоже становились похожими на цыган, бездомное, бродячее племя.

«Моль,— думал Петр.— Дармоеды».

Однажды он сказал:

— Это неправильно говорится: «Дело — не медведь, в лес не уйдет». Дело и есть медведь, уходить ему незачем, оно облапило и держит. Дело человеку — барин.

— Вот, вот,— залаял Коптев.— Где так скажут? Кто так скажет? Вот она — опасность!

А брат Алексей насмешливо спросил:

— Ты что же — у Тихона мысли занимаешь?

Это очень рассердило Петра, и дома он сказал жене:

— Ты гляди за Еленой, около нее цыган этот, Коптев, вьется. Алексей мирволит ему. Елена — кусок жирный, не для такого. Присматривай ей жениха.

— Какие тут женихи для нее,— озабоченно заговорила Наталья.— Женихов надо в губернии искать. Да и рано бы....

— Гляди — ранят,— усмехнулся Артамонов и этим вызвал у жены игривый хохоток.

Когда ему удавалось выскользнуть на краткое время, выломиться из ограниченного круга забот о фабрике, он снова чувствовал себя в густом тумане неприязни к людям, недовольства собою. Было только одно светлое пятно — любовь к сыну, но и эта любовь покрылась тенью мальчика Никонова или ушла глубже под тяжестью убийства. Глядя на Илью, он иногда ощущал потребность сказать ему:

«Вот что я сделал из страха за тебя».

Разум его был недостаточно хитер и не мог скрыть, что страх явился за секунду до убийства, но Петр понимал, что только этот страх и может, хоть немного, оправдать его. Однако, разговаривая с Ильею, он боялся даже вспоминать о его товарище, боялся случайно проговориться о преступлении, которому он хотел придать облик подвига.

Он видел, что сын растет быстро, но как-то в сторону. Илья становился спокойнее, с матерью говорил мягче, не дразнил Якова, тоже гимназиста, любил возиться с младшей сестрой Татьяной, над Еленой необидно посмеивался, но во всем, что он говорил, был заметен какой-то озабоченный, вдумчивый холодок. Павла Никонова заменил Мирон, братья почти не разлучались, неистощимо разговаривая о чем-то, размахивая руками; вместе учились, читали, сидя в саду, в беседке. Илья почти не жил дома, мелькнет утром за чаем и уходит в город к дяде или в лес с Мироном и вихрастым, черненьким Горицветовым; этот маленький, пронырливый мальчишка, колючий, как репейник, ходил виляющей походкой, его глаза были насмешливо вывихнутыми и казались косыми.

— Охота тебе дружиться с таким жиденком,— брезгливо заметила Наталья сыну; Петр Артамонов увидал, что тонко вычерченные брови сына дрогнули.

— Жиденок — обидное слово, мамаша. Вы знаете, что Александр — племянник нашего священника Глеба, значит — русский. В гимназии — он первый...

Мать пренебрежительно фыркнула:

— Жиды везде на первое место лезут.

— Откуда вы знаете это? — не уступал сын.— В городе — четыре еврея, все бедные, кроме аптекаря.

— Да сорок жиденят. И в Воргороде везде жиды, и на ярмарке...

С обидной настойчивостью Илья повторил:

— Жиды — плохое слово.

Тогда мать, стукнув чайной ложкой по блюдечку, закричала, краснея:

— Да что ты меня учишь? Не знаю я, что ли, как надо говорить? Я — не слепая, я вижу, как подхалим этот ко всем, даже к Тихону, ластится; вот я и говорю: ласков, как жиденок, а ласковые — опасные. Знала я такого, ласкового...

— Довольно! — строго вмешался Петр, а она, готовая заплакать, жаловалась:

— Что уж это, Петр Ильич, слова нельзя сказать!

Илья замолчал, нахмурясь, а мать напомнила ему:

— Ведь я тебя родила.

— Благодарю,— сказал Илья, отодвигая пустую чашку; отец искоса взглянул на него и усмехнулся, дернув себя за ухо.

В словах жены он слышал, что она боится сына, как раньше боялась керосиновых ламп, а недавно начала бояться затейливого кофейника, подарка Ольги: ей казалось, что кофейник взорвется. Нечто близкое смешному страху матери пред сыном ощущал пред ним и сам отец. Непонятен был юноша, все трое они непонятны. Что забавное находили они в дворнике Тихоне? Вечерами они сидели с ним у ворот, и Артамонов-старший слышал увещевающий голос мужика:

— Это — так. Меньше несешь — легче идешь. А насчет углов — не верьте. Какие углы в небе? Стен в небе нету.

Гимназисты хохотали. Илья смеялся бархатисто, немного, Мирон — сухо и едко, Горицветов же не так охотно, как они, и всегда решительно обрывал смех свой, убеждая друзей:

— Подождите, это вовсе не смешно!

И снова ленивенько гудела темная речь Тихона:

— Вы, дети, про человека больше учитесь, как вообще человек. Кто к чему назначен, какая кому судьба? Вот о чем колдовать надо. Слова тоже. Слова надо понимать насквозь. Вот вы, часто,— тот, другой — говорите: конечно, круглое словцо. А конца-то и нет ничему!

И Тихон Вялов повторял знакомую Петру свою поговорку:

— Человек — нитку прядет, черт — дерюгу ткет, так оно, без конца, и идет.

Молодежь хохотала, густо смеялся и Тихон, вздыхал:

— Эх вы, ученые, недопеченные!

В сумраке вечера дети становились меньше, незначительнее, чем они были при свете солнца, а Тихон распухал, расползался и говорил еще глупее, чем днем.

Беседы Ильи с Тихоном, укрепляя неприязнь Артамонова к дворнику, внушали ему какие-то неясные опасения. Он спрашивал сына:

— Чем тебя Тихон занимает?

— Интересный человек.

— Да чем интересен? Глупостью своей?

Илья тихо ответил:

— И глупость понимать надо.

Ответ понравился Артамонову.

— Это — верно: в глупости живем.

Но он тотчас же сообразил:

«Тихоновы слова!»

Сын возбуждал в нем какие-то особенные надежды; когда он видел, как Илья, сунув руки в карманы, посвистывая тихонько, смотрит из окна во двор на рабочих, или не торопясь идет по ткацкой, или, легким шагом, в поселок, отец удовлетворенно думал:

«Зоркий хозяин будет. И в дело войдет не так, как я: впрягли и — повез!»

Было несколько обидно, что сын неразговорчив, а если говорит, то кратко, как бы заранее обдуманными словами, они не возбуждают желания продолжать беседу.

«Суховат»,— думал Артамонов и утешал себя тем, что Илья выгодно не похож на крикливого болтуна Горицветова, на вялого, ленивого Якова и на Мирона, который, быстро теряя юношеское, говорил книжно, становился заносчив и похож на чиновника, который знает, что на каждый случай жизни в книгах есть свой, строгий закон.

Недели каникул пробегали неуловимо быстро, и вот дети уже собираются уезжать. Выходит как-то так, что Наталья напутствует благими советами Якова, а отец говорит Илье не то, что хотел бы сказать. Но ведь как скажешь, что скучно жить в комариной туче однообразных забот о деле? Об этом не говорят с мальчишками.

Артамонову-старшему так хотелось испытать что-либо не похожее на обыкновенное, неизбежное, как снег, дождь, грязь, зной, пыль, что, наконец, он нашел или выдумал нечто. В глухом лесном углу уезда его захватила в пути июньская гроза с градом, с оглушающим треском грома и синими взрывами туч. По узкой, лесной дороге неразличимо во тьме хлынул поток воды, земля под ногами лошадей растаяла и потекла, заливая колеса шарабана до осей. Жутко было, когда синий, холодный огонь на секунду грозно освещал кипение расплавленной земли, а по бокам дороги, из мокрой тьмы, сквозь стеклянную сеть дождя, взлетали, подпрыгивая от страха, черные деревья. Невидимые лошади остановились, фыркая, хлюпая копытами по воде, толстый кучер Яким, кроткий человек, ласково и робко успокаивал коней. Град, наполнив лес ледяным шумом, просыпался быстро, но его сменил густой ливень, дробно охлестывая листву миллионами тяжелых капель, наполняя тьму сердитым воем.

— К Поповым надо ехать,— сказал Яким.

И вот Артамонов, одетый в чужое платье, обтянутый им, боясь пошевелиться, сконфуженно сидит, как во сне, у стола,

среди теплой комнаты в сухом, приятном полумраке; шумит никелированный самовар, чай разливает высокая, тонкая женщина, в чалме рыжеватых волос, в темном, широком платье. На ее бледном лице хорошо светятся серые глаза; мягким голосом она очень просто и покорно, не жалуясь, рассказала о недавней смерти мужа, о том, что хочет продать усадьбу и, переехав в город, открыть там прогимназию.

— Это посоветовал мне ваш брат. Интересный он человек, такой живой, самобытный.

Петр завистливо крякнул, присматриваясь ко всему, что окружало его. В молодости, разъезжая с отцом по губернии, он часто бывал в барских домах, но ничего особенного не замечал в них, чувствуя только стеснение от людей и вещей, а в этом доме ничто не стесняло; здесь было что-то ласковое и праведное. Большая лампа под матовым абажуром обливала молочным светом посуду, серебро на столе и гладко причесанную, темную головку маленькой девочки с зеленым козырьком над глазами; пред нею лежала тетрадь, девочка рисовала тонким карандашом и мурлыкала тихонько, не мешая слушать ровную речь матери. Комната невелика, тесно заставлена мебелью, и все вещи точно вросли в нее, но каждая жила отдельно и что-то говорила о себе, так же, как три очень яркие картины на стенах; на картине против Петра белая, сказочная лошадь гордо изогнула шею; грива ее невероятно длинна, почти до земли. Все удивительно уютно, спокойно, и, точно задумчивая песня, как будто издали доходя, звучал красивый голос хозяйки. Вот в таком окружении можно прожить всю жизнь без тревог, не сделав ничего плохого; имея женой такую женщину, можно уважать ее, можно говорить с нею обо всем.

За дверью на террасу, сквозь полукруг разноцветных стекол, синевато взрывалось, вспыхивало черное небо, уже не пугая душу.

На заре Артамонов уехал, бережно увозя впечатление ласкового покоя, уюта и почти бесплотный образ сероглазой, тихой женщины, которая устроила этот уют. Плывя в шарабане по лужам, которые безразлично отражали и золото солнца, и грязные пятна изорванных ветром облаков, он, с печалью и завистью, думал:

«Вот как живут».

Он почему-то не сказал жене о своем знакомстве и скрыл его от Алексея; тем более неловко стало ему через несколько недель, когда, придя к брату, он увидал Попову рядом с Ольгой, на диване; брат толкнул его к дивану:

— Вот, Вера Николаевна, братишко мой.

Женщина, улыбаясь, протянула руку:

— Мы уже знакомы.

— Как это? — удивленно воскликнул Алексей.— Когда это? Ты что же не сказал?

В удивлении брата Петр почувствовал нечто нехорошее, и у него необъяснимо пошевелились волосы бороды; дернув себя за ухо, он ответил:

— Я — забыл.

Алексей, бесстыдно указывая на него пальцем, кричал:

— Смотрите — покраснел, а? Нет, ловко ты ответил, дитятко! Да разве эдакую даму, однажды увидев, можно забыть? Глядите — уши у него чешутся, растут!

Попова улыбалась необидно, ласково.

Пили мед со льдом из высоких, граненых бокалов; мед привезла в подарок Ольге эта женщина, он был золотист, как янтарь, весело пощипывал язык, подсказывал Петру какие-то очень бойкие слова, но их некуда было вставить, брат непрерывно и беспокойно трещал:

— Нет, Вера Николаевна, вы не торопитесь продавать! Это надо продать любителю тишины, это — место для отдыха души. А наш брат — что вам даст? Земли у вас нет, лесу — мало, да и — плохой, да и кому, кроме зайцев, лес нужен здесь?

Петр сказал:

— Продавать не надо.

— Почему же? — спросила Попова, задумчиво прихлебывая мед, и вздохнула: — Надо.

Петру не понравился внимательный взгляд Ольги и трепет ее губ, спрятавших улыбку: он мрачно выпил мед и промолчал в ответ Поповой.

Через два дня, в конторе, Алексей объявил ему, что намерен дать Поповой денег под заклад вещей.

— Усадьбе ее цена — семь целковых, а вот вещи...

— Не давай,— сказал Петр очень решительно.

— Почему? Я вещам цену знаю...

— Не давай.

— Да — почему? — кричал Алексей.— Я — со знатоком приеду к ней, с оценщиком.

Петр отрицательно мотал головою; ему очень хотелось отговорить брата от этой операции, но, не находя возражений, он вдруг предложил:

— Пополам дадим; ты — половину и я.

Алексей усмехнулся, глядя на него в упор.

— Чудить начинаешь?

— Значит — пора пришла,— сказал Петр Артамонов громко.

— Смотри: не в тот адрес! — предупредил брат.— Я — пробовал, она — рыба.

После двух-трех встреч с Поповой Артамонов выучился мечтать о ней. Он ставил эту женщину рядом с собою, и тотчас же возникала пред ним жизнь удивительно легкая, уютная, красивая внешне, приятно тихая внутренне, без необходимости ежедневно видеть десятки нерадивых к делу людей; всегда чем-то недовольные, они то кричали, жаловались, то лгали, стараясь обмануть, их назойливая лесть раздражала так же, как плохо скрытая, но все растущая враждебность. Легко создавалась картина жизни вне всего этого, вдали от красного, жирного паука фабрики, все шире ткавшего свою паутину. Он видел себя чем-то подобным большому коту; ему тепло и спокойно, хозяйка любит его, охотно ласкает, и больше ему ничего не нужно. Ничего.

Как раньше мальчик Никонов был для него темной точкой, вокруг которой собиралось все тяжелое и неприятное, так теперь Попова стала магнитом, который притягивал к себе только хорошие, легкие думы и намерения. Он отказался ехать с братом и каким-то хитрым старичком в очках в усадьбу Поповой, оценивать ее имущество, но когда Алексей, устроив дело с закладной, воротился, он предложил:

— Продай мне закладную.

Алексей был неприятно изумлен, долго выспрашивал, зачем это нужно, и наконец сказал:

— Послушай, мне это не выгодно! Заплатить ей — нечем, цена вещам — большая, понимаешь? Давай придачи!

Сторговались; Алексей, морщась, сказал:

— Желаю удачи. Дело — доброе.

Петр тоже чувствовал, что им сделано хорошее дело: он подарил себе угол для отдыха.

— Жене твоей — не говорить? — спросил брат, подмигнув.

— Твое дело.

Испытующе глядя на него, Алексей сказал:

— Ольга думает, что влюбился ты в Попову.

— А это — мое дело.

— Не рычи. В эти, в наши годы, почти все мужчины шалят.

Грубо и сердито Петр ответил:

— Ты меня не трогай...

Вскоре он почувствовал, что Ольга стала говорить с ним еще более дружелюбно, но как-то жалостливо; это не понравилось ему, и, осенним вечером, сидя у нее, он спросил:

— Тебе муж плел чего-нибудь насчет Поповой?

Погладив легкой рукой своей его волосатую руку, она сказала:

— Дальше меня это не пойдет.

— Оно никуда не пойдет,— сказал Артамонов, стукнув кулаком по колену.— Оно — со мной останется. Тебе этого не понять. Ты ей не говори ничего.

Он не испытывал вожделения к Поповой, в мечтах она являлась пред ним не женщиной, которую он желал, а необходимым дополнением к ласковому уюту дома, к хорошей, праведной жизни. Но когда эта женщина переехала в город, он стал часто видеть ее у Алексея и вдруг почувствовал себя ошеломленным. Он увидел ее у постели заболевшей Ольги; засучив рукава кофты, наклонясь над тазом, она смачивала водою полотенце, сгибалась, разгибалась; удивительно стройная, с небольшими девичьими грудями, она была неотразимо соблазнительна. Стоя у двери, Артамонов молча, исподлобья смотрел на ее белые руки, на тугие икры ног, на бедра, вдруг окутанный жарким туманом желания до того, что почувствовал ее руки вокруг своего тела. В ответ на ее приветствие он, с трудом согнув шею, прошел к окну и сел там, отдуваясь, угрюмо спрашивая:

— Что же ты это, Ольга? Нехорошо...

Впервые женщина действовала на него так властно и сокрушительно; он даже испугался, смутно ощущая в этом нечто опасное, угрожающее. Послав своего кучера за доктором, он тотчас ушел пешком по дороге на фабрику.

Был конец февраля; оттепель угрожала вьюгой; серенький туман висел над землею, скрывая небо, сузив пространство до размеров опрокинутой над Артамоновым чаши; из нее медленно сыпалась сырая, холодная пыль; тяжело оседая на волосах усов, бороды, она мешала дышать. Артамонов, шагая по рыхлому снегу, чувствовал себя так же смятым и раздавленным, как в ночь покушения Никиты на самоубийство и в час убийства Павла Никонова. Сходство тяжести этих двух моментов было ясно ему, и тем более опасным казался третий. Было ясно, что он никогда не сумеет сделать эту барыню любовницей своей. Он уже и в этот час видел, что внезапно вспыхнувшее влечение к Поповой ломает и темнит в нем что-то милое

ему, отодвигая эту женщину в ряд обычного. Он слишком хорошо знал, что такое жена, и у него не было причин думать, что любовница может быть чем-то или как-то лучше женщины, чьи пресные, обязательные ласки почти уже не возбуждали его.

«Чего надо? — спрашивал он себя.— Блудить хочешь? Жена есть».

Всегда в часы, когда ему угрожало что-нибудь, он ощущал напряженное стремление как можно скорей перешагнуть чрез опасность, оставить ее сзади себя и не оглядываться назад. Стоять пред чем-то угрожающим — это то же, что стоять ночью во тьме на рыхлом, весеннем льду, над глубокой рекою; этот ужас он испытал, будучи подростком, и всем телом помнил его.

Через несколько дней, прожитых в тяжелом, чадном отупении, он, после бессонной ночи, рано утром вышел на двор и увидал, что цепная собака Тулун лежит на снегу, в крови; было еще так сумрачно, что кровь казалась черной, как смола. Он пошевелил ногою мохнатый труп, Тулун тоже пошевелил оскаленной мордой и взглянул выкатившимся глазом на ногу человека. Вздрогнув, Артамонов отворил низенькую дверь сторожки дворника, спросил, стоя на пороге:

— Кто убил собаку?

— Я,— сказал Тихон, держа блюдечко чая на пяти растопыренных пальцах.

— Зачем это?

— Опять человека укусила.

— Кого?

— Зинаиду, Серафимову дочь.

Задумавшись о чем-то, помолчав, Петр сказал:

— Жалко пса.

— А — как же? Я его вскормил. А он и на меня стал рычать. Положим, и человек сбесится, если его на цепь посадить...

— Верно,— сказал Артамонов и ушел, очень плотно прикрыв дверь за собой, думая:

«Иной раз даже этот разумно говорит».

Он постоял среди двора, прислушиваясь к шороху и гулу фабрики. В дальнем углу светилось желтое пятно — огонь в окне квартиры Серафима, пристроенной к стене конюшни. Артамонов пошел на огонь, заглянул в окно,— Зинаида в одной рубахе сидела у стола, пред лампой, что-то ковыряя иглой; когда он вошел в комнату, она, не поднимая головы, спросила:

— Зачем вернулся?

Но, вскинув глаза, бросила шитье на стол, встала, улыбаясь, вскрикнув:

— Ой, господи! А я думала — отец.

— Тебя, слышь, Тулун укусил?

— Да ведь как! — точно хвастаясь, сказала она и, поставив ногу на стул, приподняла подол рубахи: — Глядите-ко!

Артамонов мельком взглянул на белую ногу, перевязанную под коленом, и подошел вплоть к девице, спрашивая глухо:

— А ты зачем, на заре, по двору бегаешь? Зачем, а?

Вопросительно взглянув в лицо его, она тотчас же догадливо усмехнулась, сильно дунув в стекло лампы, погасила ее и сказала:

— Дверь надобно запереть.

Через полчаса Петр Артамонов не торопясь шел на фабрику, приятно опустошенный; дергал себя за ухо, поплевывал, с изумлением вспоминая бесстыдство ласк шпульницы, и усмехался: ему казалось, что он кого-то очень ловко обманул, обошел...

Он вломился в разгульную жизнь фабричных девиц, как медведь на пасеку. Вначале эта жизнь, превышая все, что он слышал о ней, поразила его задорной наготою слов и чувств; все в ней было развязано, показывалось с вызывающим бесстыдством, об этом бесстыдстве пели и плакали песни, Зинаида и подруги ее называли его — любовь, и было в нем что-то острое, горьковатое, опьяняющее сильнее вина.

Артамонов знал, что служащие фабрики называют прислонившуюся к стене конюшни хижину Серафима «Капкан», а Зинаиде дали прозвище Насос. Сам плотник называл жилище свое «Монастырем». Сидя на скамье, около печи, всегда с гуслями на расшитом полотенце, перекинутом через плечо, за шею, он, бойко вскидывая кудрявую головку, играя розовым личиком, подмигивал, покрикивал:

— Веселись, монашенки! Ведь это, Петр Ильич, монахини, ты что думаешь? Они веселому черту послух несут, а я у них — настоятель, вроде попа, звонкие косточки! Кинь рублик на веселье жизни!

Получив деньги, он совал их за онучу и разудало пел, подыгрывая на гуслях:

Сидит барыня в аду,
Просит жареного льду.
Черти ее, глупую,
Кочергою щупают!

— Много прибауток знаешь ты,— удивлялся хозяин, а старичок хвастливо балагурил:

— Сито! Я — как сито; какую хошь дрянь насыпь в меня, я тебе песню отсею. Такой я человек — сито!

И рассказывал:

— Меня этому господа выучили; были такие замечательные господа Кутузовы, и был господин Япушкин, тоже пьяница. Притворялся бедным,— хитрый! — ходил пешком с коробом за плечами, будто мелочью торговал, а сам все, что видит, слышит,— записывал. Писал, писал, да — к царю: гляди, говорит, твое величество, о чем наши мужики думают! Поглядел царь, почитал записи, смутился душой и велел дать мужикам волю, а Япушкину поставить в Москве медный памятник, самого же его — не трогать, а сослать живого в Суздаль и поить вином, сколько хочет, на казенный счет. Потому, видишь, что Япушкин еще много записал тайностей про народ, ну только они были царю не выгодны и требовалось их скрыть. Там, в Суздали, Япушкин спился до смерти, а записи у него, конечно, выкрали.

— Врешь ты что-то,— заметил Артамонов.

— Кроме девок — никогда, никому не врал, это не мое рукомесло,— говорил старик, и трудно было понять, когда он не шутит.

— Врет, кто правду знает,— балагурил он,— а я врать не могу, я правды не знаю. То есть, ежели хочешь,— я тебе скажу: я правды множество видел, и мой куплет таков: правда — баба, хороша, покамест молода.

Но, не зная правды, он знал бесконечно много историй о господах, о их забавах и несчастиях, о жестокости и богатстве и, рассказывая об этом, добавлял всегда с явным сожалением:

— Ну, однако, им — конец! С точки жизни съехали, сами себя не понимают! Сорвались...

Он писал пальцем круг над своей головой и, быстро опустив руку, чертил такой же круг над полом.

— Зашалились! — говорил он, подмигивая, и пел:

Жили-были господа,
Кушали телятину.
И проели господа
Худобишку тятину!

Рассказывал Серафим о разбойниках и ведьмах, о мужицких бунтах, о роковой любви, о том, как ночами к неутешным вдовам летают огненные змеи, и обо всем он говорил так

занятно, что даже неуемная дочь его слушала эти сказки молча, с задумчивой жадностью ребенка.

В Зинаиде Артамонов брезгливо наблюдал соединение яростного распутства с расчетливой деловитостью. Он не однажды вспоминал клевету Павла Никонова,— клевету, которая оказалась пророчеством.

«Почему — эту выбрал я? — спрашивал он себя.— Есть — красивее. Хорош буду, когда сын узнает про нее».

Он замечал также, что Зинаида и подруги ее относятся к своим забавам, точно к неизбежной повинности, как солдаты к службе, и порою думал, что бесстыдством своим они тоже обманывают и себя, и еще кого-то. Его скоро стала отталкивать от Зинаиды ее назойливая жадность к деньгам, попрошайничество; это было выражено в ней более резко, чем у Серафима, который тратил деньги на сладкое вино «Тенериф»,— он почему-то называл его «репным вином»,— на любимую им колбасу с чесноком, мармелад и сдобные булки.

Артамонову очень нравился легкий, забавный старичок, искусный работник, он знал, что Серафим также нравится всем, на фабрике его звали — Утешитель, и Петр видел, что в этом прозвище правды было больше, чем насмешки, а насмешка звучала ласково.

Тем более непонятна и неприятна была ему дружба Серафима с Тихоном, Тихон же как будто нарочно углублял эту неприязнь. День именин Вялова на двадцатом году его службы у Артамоновых Наталья решила сделать особенно торжественным днем для именинника.

— Подумай, какой он редкий человек! — сказала она мужу.— За двадцать лет ничего худого не видели мы от него. Как восковая свеча теплится.

Желая особенно почтить дворника, Петр сам понес ему подарки. В сторожке его встретил нарядный Серафим, за ним стоял Тихон, наклонив голову, глядя на сапоги хозяина.

— От меня тебе — часы, на! От жены — сукно на поддевку. И вот еще — деньги.

— Деньги — лишние,— пробормотал Тихон, потом сказал:

— Спасибо.

Он пригласил хозяина выпить «Тенерифа», подаренного Серафимом, а старичок тотчас же заиграл словами:

— Ты, Петр Ильич, нам цену знаешь, а мы — тебе. Мы понимаем: медведь любит мед, а кузнец железо кует; господа для нас медведи были, а ты — кузнец. Мы видим: дело у тебя большое, трудное.

Тут Вялов, вертя в пальцах серебряные часы, сказал, глядя на них:

— Дело — перила человеку; по краю ямы ходим, за них держимся.

— Вот! — закричал Серафим, чему-то радуясь.— Верно! А то бы упали, значит!

— Ну, это вы говорите зря,— сказал Артамонов.— Потому что вы не хозяева. Вам — не понять...

Он не находил достаточно сильных возражений, хотя слова Тихона сразу рассердили его. Не впервые Тихон одевал ими свою упрямую, темную мысль, и она все более раздражала хозяина. Глядя на обильно смазанную маслом, каменную голову дворника, он искал подавляющих слов и сопел, дергая ухо.

— Дела, конечно, разные,— примирительно заговорил Серафим: — есть— плохие, есть — хорошие...

— Хорош нож, да горлу невтерпеж,— проворчал Тихон.

Хозяину захотелось крепко обругать именинника, и, едва сдержав это желание, он строго спросил:

— Что ты, как всегда, неразумно бормочешь о деле? Понять нельзя...

Тихон, глядя под стол, согласился:

— Понять — трудно.

Снова заговорил плотник:

— Он, Петр Ильич, только безобидные дела признает...

— Постой, Серафим, пускай он сам скажет.

Тогда Тихон, не шевелясь, показывая хозяину серую, в ладонь величиной, лысину на макушке, вздохнул:

— Делам черт Каина обучил...

— Вот он как загибает! — крикнул Серафим, ударив себя ладонью по колену.

Артамонов встал со стула и сердито посоветовал дворнику:

— Ты бы лучше не говорил о том, чего тебе не понять. Да.

Он ушел из сторожки возмущенный, думая о том, что Тихона следует рассчитать. Завтра же и рассчитать бы. Ну — не завтра, а через неделю. В конторе его ожидала Попова. Она поздоровалась сухо, как незнакомая, садясь на стул, ударила зонтиком в пол и заговорила о том, что не может уплатить сразу все проценты по закладной.

— Это пустяки,— тихо сказал Петр, не глядя на нее, и услыхал ее слова:

— Если вы не согласны отсрочить,— за вами право отказать мне.

Она сказала это обиженно и, вновь стукнув зонтом, ушла так неожиданно быстро, что он успел взглянуть на нее лишь тогда, когда она притворяла дверь за собою.

«Рассердилась,— сообразил Артамонов.— За что же?»

Через час он сидел у Ольги, хлопая фуражкой по дивану, и говорил:

— Ты ей скажи: мне процентов не надо и денег не надо с нее. Какие это деньги? И чтобы она не беспокоилась, понимаешь?

Разбирая пестрые мотки шелка, передвигая по столу коробочки с бисером, Ольга сказала задумчиво:

— Я-то понимаю, а она едва ли поймет.

— А ты сделай так, чтоб она. Что мне ты?

— Спасибо,— сказала Ольга, блеснув очками, эта стеклянная улыбка вызвала у Петра раздражение.

— Не шути! — грубовато сказал он.— Мою свинью в ее огороде я не надеюсь пасти, не ищу этого,— не думай!

— Ох, мужик,— вздохнув, сказала Ольга, сомнительно качая гладко причесанной головою.

Петр крикнул:

— Ты — верь! Я знаю, что говорю...

— Ох, знаешь ли?

Охала она сочувственно, это Артамонов слышал. Он видел, что глаза ее смотрят на него через очки жалобно, почти нежно, но это только сердило его. Он хотел сказать ей нечто убедительно ясное и не находил нужных слов, глядя на подоконник, где среди мясистых листьев бегоний, похожих на звериные уши, висели изящные кисти цветов.

— Мне усадьбу ее жалко. Это замечательная усадьба, да! Она там — родилась...

— Родилась она в Рязани...

— Она там привыкла, все равно! А у меня там душа первый раз спокойно уснула...

— Проснулась,— поправила Ольга.

— Это — все равно для души — уснула, проснулась...

Он долго говорил что-то, что самому ему было неясно, Ольга слушала, облокотясь на стол, а когда у него иссякли слова, сказала:

— Теперь послушай меня...

И поведала ему, что Наталья, зная о его возне со шпульницей, обижена, плачет, жалуется на него. Но Артамонова не тронуло это.

— Хитрая,— сказал он, усмехаясь.— Ни словом не дала мне понять, что знает. Тебе жаловалась? Так. А ведь она тебя не любит.

Подумав, он добавил:

— Зинаиду прозвали Насос, это — верно! Она из меня всю дрянь высосала.

— Гадости говоришь,— поморщилась Ольга и вздохнула.— Помнится, я тебе сказала как-то, что душа у тебя — приемыш, так и есть, Петр, боишься ты сам себя, как врага...

Эти слова задели его:

— Дерзко ты говоришь со мной; мальчишка я, что ли? Ты бы вот о чем подумала: вот я говорю с тобой, и душа моя открыта, а больше мне не с кем говорить эдак-то. С Натальей — не разговоришься. Мне ее иной раз бить хочется. А ты... Эх вы, бабы!..

Он надел фуражку и, внезапно охваченный немой скукой, ушел, думая о жене,— он давно уж не думал о ней, почти не замечал ее, хотя она, каждую ночь, пошептавшись с богом, заученно ласково укладывалась под бок мужа.

«Знает, а лезет,— гневно думал он.— Свинья».

Жена была знакомой тропою, по которой Петр, и ослепнув, прошел бы не споткнувшись; думать о ней не хотелось. Но он вспомнил, что теща, медленно умиравшая в кресле, вся распухнув, с безобразно раздутым багровым лицом, смотрит на него все более враждебно; из ее когда-то красивых, а теперь тусклых и мокрых глаз жалобно текут слезы; искривленные губы шевелятся, но отнявшийся язык немо вываливается изо рта, бессилен сказать что-либо; Ульяна Баймакова затискивает его пальцами полуживой, левой руки.

«Эта — чувствует. Ее жалко».

Ему все-таки нужно было большое усилие воли, чтоб прекратить бесстыдную возню с Зинаидой. Но как только он сделал это,— тотчас же, рядом с похмельными воспоминаниями о шпульнице, явились какие-то ноющие думы. Как будто родился еще другой Петр Артамонов, он жил рядом с первым, шел за спиной его. Он чувствовал, что этот двойник растет, становится ощутимей и мешает ему во всем, что он, Петр Артамонов настоящий, призван и должен делать. Этот, другой, ловко пользуясь минутами внезапно, как ветер из-за угла, налетавшей задумчивости, нашептывал ему досадные, едкие мысли:

«Работаешь, как лошадь, а — зачем? Сыт на всю жизнь. Пора сыну работать. От любви к сыну — мальчишку убил. Барыня понравилась — распутничать начал».

Всегда, после того как скользнет такая мысль, жизнь становилась темней и скучней.

Он как-то недоглядел, когда именно Илья превратился во взрослого человека. Не одно это событие прошло незаметно; так же незаметно Наталья просватала и выдала замуж дочь Елену в губернию за бойкого парня с черненькими усиками, сына богатого ювелира; так же, между прочим, умерла наконец, задохнулась теща, знойным полуднем июня, перед грозою; еще не успели положить ее на кровать, как где-то близко ударил гром, напугав всех.

— Окна, двери закройте! — крикнула Наталья, подняв руки к ушам; огромная нога матери вывалилась из ее рук и глухо стукнула пяткой о пол.

Петру Артамонову показалось, что он даже не сразу узнал сына, когда вошел в комнату высокий, стройный человек в серой, легкой паре, с заметными усами на исхудавшем, смугловатом лице. Яков, широкий и толстый, в блузе гимназиста, был больше похож на себя. Сыновья вежливо поздоровались, сели.

— Вот,— сказал отец, шагая по конторе,— вот и бабушка померла.

Илья промолчал, закуривая папиросу, а Яков выговорил новым, не своим голосом:

— Хорошо, что в каникулы, а то бы я не приехал.

Пропустив мимо ушей неумные слова младшего, Артамонов присматривался к лицу Ильи; значительно изменясь, оно окрепло, лоб, прикрытый прядями потемневших волос, стал не так высок, а синие глаза углубились. Было и забавно и как-то неловко вспомнить, что этого задумчивого человека в солидном костюме он трепал за волосы; даже не верилось, что это было. Яков просто вырос, он только увеличился, оставшись таким же пухлым, каким был, с такими же радужными глазами. И рот у него был еще детский.

— Сильно вырос ты, Илья,— сказал отец.— Ну, вот, присматривайся к делу, а годика через три и к рулю встанешь.

Играя корешковой папиросницей, с отбитым уголком, Илья взглянул в лицо отца:

— Нет, я буду учиться еще.

— Долго ли?

— Года четыре, пять.

— Эко! Чему это?

— Истории.

Артамонову не понравилось, что сын курит, да и папиросница у него плохая, мог бы купить лучше. Ему еще более не понравилось намерение Ильи учиться и то, что он сразу, в первые же минуты, заговорил об этом.

Указав в окно, на крышу фабрики, где фыркала паром тонкая трубка и откуда притекал ворчливый гул работы, он сказал внушительно, стараясь говорить мягко:

— Вот она пыхтит, история! Ей и надо учиться. Нам положено полотно ткать, а история — дело не наше. Мне пятьдесят, пора меня сменить.

— Мирон сменит, Яков. Мирон будет инженером,— сказал Илья и, высунув руку за окно, стряхнул пепел папиросы. Отец напомнил:

— Мирон — племянник, а не сын. Ну, об этом после поговорим...

Дети встали, ушли, отец проводил их обиженным и удивленным взглядом; что же — у них нечего сказать ему? Посидели пять минут, один, выговорив глупость, сонно зевнул, другой — надымил табаком и сразу огорчил. Вот они идут по двору, слышен голос Ильи:

— Пойдем посмотрим на реку?

— Нет, я устал. Растрясло.

«Река и завтра не утечет, а мать огорчена смертью родительницы своей, захлопоталась на похоронах».

Подчиняясь своей привычке спешить навстречу неприятному, чтоб скорее оттолкнуть его от себя, обойти, Петр Артамонов дал сыну неделю отдыха и приметил за это время, что Илья говорит с рабочими на «вы», а по ночам долго о чем-то беседует с Тихоном и Серафимом, сидя с ними у ворот; даже подслушал из окна, как Тихон мертвеньким голосом своим выливал дурацкие слова:

— Так, так! Жить нищим,— значит не с чем жить. Верно, Илья Петрович, если не жадовать — на всех всего хватит.

А Серафим весело кудахтал:

— Это я знаю! Это я да-авно слышал...

Яков вел себя понятнее: бегал по корпусам, ласково поглядывал на девиц, смотрел с крыши конюшни на реку, когда там, в обеденное время, купались женщины.

«Бычок,— хмуро думал отец.— Надо сказать Серафиму, чтоб присмотрел за ним, не заразился бы...»

Во вторник день был серенький, задумчивый и тихий. Рано утром, с час времени, на землю падал, скупо и лениво, мелкий дождь, к полудню выглянуло солнце, неохотно посмотрело на фабрику, на клин двух рек и укрылось в серых облаках, зарывшись в пухлую мякоть их, как Наталья, ночами, зарывала румяное лицо свое в пуховые подушки.

Перед вечерним чаем Артамонов спросил Якова:

— А где брат?

— Не знаю; сидел там на холме, под сосной.

— Позови. Нет, не надо. Как вы — согласно живете?

Ему показалось, что младший сын едва заметно усмехнулся, говоря:

— Ничего, дружно.

— А — все-таки? Правду говори...

Яков опустил глаза, подумал:

— В мыслях — не очень согласны.

— В каких мыслях?

— Вообще, обо всем.

— В чем же?

— Он все по книгам, а я — просто, от ума. Как вижу.

— Так,— сказал отец, не умея спросить более подробно.

Накинул на плечи парусиновое пальто, взял подарок Алексея, палку с набалдашником — серебряная птичья лапа держит малахитовый шар — и, выйдя за ворота, посмотрел из-под ладони к реке на холм,— там под деревом лежал Илья в белой рубахе.

«А песок сегодня сыроват. Простудиться может, неосторожный».

Не спеша, честно взвешивая тяжесть всех слов, какие необходимо сказать сыну, отец пошел к нему, приминая ногами серые былинки, ломко хрустевшие. Сын лежал вверх спиною, читал толстую книгу, постукивая по страницам карандашом; на шорох шагов он гибко изогнул шею, посмотрел на отца и, положив карандаш между страниц книги, громко хлопнул ею; потом — сел, прислонясь спиной к стволу сосны, ласково погладив взглядом лицо отца. Артамонов-старший, отдуваясь, тоже присел на обнаженный, дугою выгнутый корень.

«Не буду сегодня говорить о деле, успею еще, поболтаем просто».

Но Илья, обняв колена свои руками, сказал негромко:

— Так вот, папаша, я решил посвятить себя науке.

— Посвятить,— повторил отец.— Как в попы.

Он хотел сказать шутливо, но услыхал, что слова его прозвучали угрюмо, почти сердито; он, с досадой на себя, ударил палкой по песку. И тотчас началось что-то непонятное, ненужное; синь глаз Ильи потемнела, четко выведенные брови сдвинулись, он откинул волосы со лба и с нехорошей настойчивостью заговорил:

— Фабрикантом я не буду, я для этого дела не способен...

— Эдак-то вот Тихон говорит, — вставил отец, усмехаясь.

Не обратив внимания на его слова, сын начал объяснять, почему он не хочет быть фабрикантом и вообще хозяином какого-либо дела; говорил он долго, минут десять, и порою в словах его отец улавливал как будто нечто верное, даже приятно отвечавшее его смутным думам, но, в общем, он ясно видел, что сын говорит неразумно, по-детски.

— Постой,— сказал он, ткнув палкой в песок, около ноги сына.— Погоди, это не так. Это — чепуха. Нужна команда. Без команды народ жить не может. Без корысти никто не станет работать. Всегда говорится: «Какая мне корысть?» Все вертятся на это веретено. Гляди, сколько поговорок: «Был бы сват насквозь свят, кабы душа не просила барыша». Или: «И святой барыша ради молится». «Машина — вещь мертвая, а и она смазки просит».

Он говорил не волнуясь и, вспоминая подходящие пословицы, обильно смазывал жиром их мудрости речь свою. Ему нравилось, что он говорит спокойно, не затрудняясь в словах, легко находя их, и он был уверен, что беседа кончится хорошо. Сын молчал, пересыпая песок из горсти в горсть, отсеивал от него рыжие иглы хвои и сдувал их с ладони. Но вдруг он сказал, тоже спокойно:

— Все это не убеждает меня. Этой мудростью дальше нельзя жить.

Артамонов-старший приподнялся, опираясь на палку, сын не помог ему.

— Так. Значит, отец говорит неправду?

— Есть другая правда.

— Врешь. Другой — нет.

И, махнув палкой в сторону фабрики, отец сказал:

— Вон она, правда! Дедушка твой ее начал, я туда положил всю жизнь, а теперь — твоя очередь. Только и всего. А ты что? Мы — работали, а тебе — гулять? На чужом труде пра-

ведником жить хочешь? Не плохо придумал! История! Ты на историю плюнь. История — не девица, на ней не женишься. И — какая там, дура, история? К чему она? А я тебе лентяйничать не дам...

Почувствовав, что он стал говорить излишне сердито, Петр Артамонов попытался сгладить свои слова:

— Я — понимаю, тебе в Москве жить хочется; там веселее, вот и Алексей...

Илья поднял книгу, сдул с нее песчинки и сказал:

— Разрешите учиться.

— Не разрешаю! — вскрикнул отец, воткнув палку в песок.— Не проси.

Тогда Илья тоже встал и, глядя через плечо отца побелевшими глазами, сказал негромко:

— Ну, что ж, мне придется обойтись без разрешения.

— Не смеешь!

— Нельзя запретить человеку жить, как он хочет, — сказал Илья, тряхнув головою.

— Человеку? Ты — сын мой, а не человек. Какой ты человек? На тебе все — мое.

Это вырвалось как-то само собою, этого не надо было говорить. И, смягчив голос, отец сказал, качая головою укоризненно:

— Так-то платишь ты за мои заботы о тебе? Эх, дурень...

Он видел, что Илья покраснел и у него дрожат руки, сын хочет спрятать их в карманы брюк, а руки не находят карманов. И, боясь, что сын скажет что-то лишнее, даже непоправимое, он торопливо сам сказал:

— Ради тебя я человека убил... Может быть...

Артамонов прибавил — может быть — потому, что, сказав первые слова, тотчас понял: их тоже нельзя было говорить в такую минуту мальчишке, который явно не хочет понять его.

«Сейчас спросит: какого человека?» — подумал он и быстро шагнул вниз по сыпучему склону холма, а сын оглушительно сказал в затылок ему:

— Не одного убили вы, вон там целое кладбище убитых фабрикой.

Артамонов остановился, обернулся; Илья, протянув руку, указывал книгой на кресты в сером небе. Песок захрустел под ногами отца, Артамонов вспомнил, что за несколько минут пред этим он уже слышал что-то обидное о фабрике и кладбище. Ему хотелось скрыть свою обмолвку, нужно, чтоб сын

забыл о ней, и, по-медвежьи, быстро идя на него, размахивая палкой, стремясь испугать, Артамонов-старший крикнул:

— Ты что сказал, подлец?

Илья отскочил за ствол дерева:

— Образумьтесь! Что вы?

Отец ударил палкой по стволу, она переломилась; бросив обломок ее к ногам сына так, что обломок косо, кверху зеленым шаром, воткнулся в песок, Петр Артамонов пригрозил:

— Нужники чистить заставлю!

И быстро пошел, покатился прочь, шатаясь, чувствуя, что разум его снует в словах горя и гнева, как челнок в запутанной основе.

«Выгоню. Нужда заставит — воротится. Тогда — нужники чистить. Да, не дури!» — отрывал он коротенькие мысли от быстро вертевшегося клубка их и в то же время смутно понимал, что вел себя не так, как следовало, пересолил, раздул обиду свою.

Выйдя на берег Оки, он устало сел на песчаном обрыве, вытер пот с лица и стал смотреть в реку. В маленькой, неглубокой заводи плавала стайка плотвы, точно стальные иглы прошивали воду. Потом, важно разводя плавниками, явился лещ, поплавал, повернулся на бок и, взглянув красненьким глазком вверх, в тусклое небо, пустил по воде светлым дымом текучие кольца.

Артамонов, погрозив лещу пальцем, вслух сказал:

— Я тебе устрою судьбу!

И — оглянулся, услыхав, что слова звучали фальшиво. Спокойное течение реки смывало гнев; тишина, серенькая и теплая, подсказывала мысли, полные тупого изумления. Самым изумительным было то, что вот сын, которого он любил, о ком двадцать лет непрерывно и тревожно думал, вдруг, в несколько минут, выскользнул из души, оставив в ней злую боль. Артамонов был уверен, что ежедневно, неутомимо все двадцать лет он думал только о сыне, жил надеждами на него, любовью к нему, ждал чего-то необыкновенного от Ильи.

«Как спичка,— вспыхнула, и — нет ее! Что же это?»

Серое небо чуть порозовело; в одном месте его явилось пятно посветлее, напоминая масленый лоск на заношенном сукне. Потом выглянула обломанная луна; стало свежо и сыро; туман легким дымом поплыл над рекой.

Артамонов пришел домой, когда жена, уже раздетая, положив левую ногу на круглое колено правой, морщась, стригла ногти. Искоса взглянув на мужа, она спросила:

— Ты куда это Илью послал?

— К черту, — ответил он, раздеваясь.

— Все сердишься ты,— вздохнула Наталья; муж промолчал, посапывая, возясь нарочито шумно. Дождь начал кропить стекла окон, влажный шепот поплыл по саду.

— Уж очень загордился Илья ученьем.

— У него мать — дура.

Мать втянула носом воздух и, перекрестясь, легла в постель, а Петр, раздеваясь, с наслаждением обижал ее:

— Что ты можешь? Ничего. Дети не боятся тебя. Чему ты учила их? Ты одно можешь: есть да спать. Да рожу мазать себе.

Жена сказала в подушку:

— А кто учиться отдавал их? Я говорила...

— Молчи!

Он тоже замолчал, прислушиваясь, как все сильнее падает дождь на листья черемухи, посаженной Никитой.

«Благую долю выбрал горбатый. Ни детей, ни дела. Пчелы. Я бы и пчел не стал разводить, пусть каждый, как хочет, сам себе мед добывает».

Повернувшись вверх грудью так осторожно, как будто она лежала на льду, Наталья дотронулась теплой щекою до плеча мужа.

— Поругался ты с Ильей?

Было стыдно рассказать о том, что произошло у него с сыном; он проворчал:

— С детями — не ругаются, их ругают.

— В город уехал он.

— Воротится. Даром нигде не кормят. Понюхает, как нужда пахнет, и воротится. Спи, не мешай мне.

Через минуту он сказал:

— Якову учиться больше не надо.

И еще через минуту:

— Послезавтра на ярмарку поеду. Слышишь?

— Слышу.

«Что же это такое? — соображал Артамонов, закрыв глаза, но видя перед собою лобастое лицо, вспоминая нестерпимо обидный блеск глаз Ильи. — Как работника, рассчитал отца, подлец! Как нищего оттолкнул...»

Поражала непонятная быстрота разрыва; как будто Илья уже давно решил оторваться. Но — что понудило его на этот поступок? И, вспоминая резкие, осуждающие слова Ильи, Артамонов думал:

«Мирошка, легавая собака, настроил его. А о том, что дела человеку вредны, это — Тихоновы мысли. Дурак, дурак! Кого слушал? А — учился! Чему же учился? Рабочих ему жалко, а отца не жалко. И бежит прочь, чтобы вырастить в сторонке свою праведность».

От этой мысли обида на Илью вспыхнула еще ярче.

«Нет, врешь, не увильнешь!»

Тут вспомнился Никита, отбежавший в сторону, в тихий угол.

«Все меня впрягают в работу, а сами бегут».

Но Артамонов тотчас же уличил себя: это — неправильно, вот Алексей не убежал, этот любит дело, как любил его отец. Этот — жаден, ненасытно жаден, и все у него ловко, просто. Он вспомнил, как однажды, после пьяной драки на фабрике, сказал брату:

— Портится народ.

— Заметно, — согласился Алексей.

— Злятся все отчего-то. Как будто все смотрят одной парой глаз...

Алексей и с этим согласился; усмехаясь, он сказал:

— И это — верно. Иной раз я вспоминаю, что вот такими же глазами Тихон разглядывал отца, когда тот на твоей свадьбе с солдатами боролся. Потом сам стал бороться. Помнишь?

— Ну, что там Тихон? Это — убогий.

Тогда Алексей заговорил серьезно:

— Ты что-то часто говоришь об этом: портятся люди, портятся. Но ведь это дело не наше; это дело попов, учителей, ну — кого там? Лекарей разных, начальства. Это им наблюдать, чтобы народ не портился, это — их товар, а мы с тобой — покупатели. Все, брат, понемножку портится. Ты вот стареешь, и я тоже. Однако ведь ты не скажешь девке: не живи, девка, старухой будешь!

«Умен, бес,— подумал Артамонов-старший.— Простоумен».

И, слушая бойкую, украшенную какими-то новыми прибаутками речь брата, позавидовал его живости, снова вспомнил о Никите; горбуна отец наметил утешителем, а он запутался в глупом, бабьем деле, и — нет его.

Много передумал в эту дождливую ночь Артамонов-старший. Сквозь горечь его размышлений струйкой дыма пробивались еще какие-то другие, чужие мысли, их как будто нашептывал темный шумок дождя, и они мешали ему оправдать себя.

«Дело Артамоновых»
С. Герасимов

— А в чем я виноват? — спрашивал он кого-то и, хотя не находил ответа, почувствовал, что это вопрос не лишний. На рассвете он внезапно решил съездить в монастырь к брату; может быть, там, у человека, который живет в стороне от соблазнов и тревог, найдется что-нибудь утешающее и даже решительное.

Но, подъезжая на паре почтовых лошадей к монастырю, разбитый тряской по проселочной дороге, он думал:

«Это — просто, в уголке стоять; нет, ты побегай по улице! В погребе огурец не портится, а на солнце — живо гниет».

Он не видел брата уже четыре года; последнее свидание с Никитой было скучно, сухо: Петру показалось, что горбун смущен, недоволен его приездом; он ежился, сжимался, прячась, точно улитка в раковину; говорил кисленьким голосом не о боге, не о себе и родных, а только о нуждах монастыря, о богомольцах и бедности народа; говорил нехотя, с явной натугой. Когда Петр предложил ему денег, он сказал тихо и небрежно:

— Настоятелю дай, мне не надо.

Было видно, что все монахи смотрят на отца Никодима почтительно; а настоятель, огромный, костлявый, волосатый и глухой на одно ухо, был похож на лешего, одетого в рясу; глядя в лицо Петра жутким взглядом черных глаз, он сказал излишне громко:

— Отец Никодим — украшение бедной обители нашей.

Монастырь, спрятанный на невысоком пригорке, среди частокола бронзовых сосен, под густыми кронами их, встретил Артамонова будничным звоном жиденьких колоколов, они звали к вечерней службе. Привратник, прямой и длинный, как шест, с маленькой, ненужной, детской головкой, в скуфейке, выгоревшей, измятой, отворив ворота, пробормотал, запинаясь, захлебываясь:

— Д-до-б-бро...

И сразу, со свистом, выдохнул:

— П-пож-жаловать.

Сизо-синяя туча, покрыв половину неба, неподвижно висела над монастырем, от нее все кругом придавлено густой, сыровато душной скукой, медный крик колоколов был бессилен поколебать ее.

— Одному не поднять, — виновато сказал служка гостиницы, попробовав вытащить из кибитки ящик с подарками Никите, и стукнул по ящику маленьким, черным кулаком.

Пыльный и усталый, Петр медленно пошел в сад к белой келье брата, уютно спрятанной среди вишен и яблонь; шел и

думал, что напрасно он приехал сюда, лучше бы ехать на ярмарку. Тряская лесная дорога, перепутанная корневищем, взболтала, смешала все горестные думы, заменив их нудной тоской, желанием отдыха, забытья.

«Кутнуть бы хорошенько».

Он увидел брата сидящим на скамье, в полукружии молодых лип, перед ним, точно на какой-то знакомой картинке, расположилось человек десять богомолов: чернобородый купец в парусиновом пальто, с ногой, обернутой тряпками и засунутой в резиновый ботик; толстый старик, похожий на скопца-менялу; длинноволосый парень в солдатской шинели, скуластый, с рыбьими глазами; столбом стоял, как вор пред судьей, дремовский пекарь Мурзин, пьяница и буян, и хрипло говорил:

— Правильно: бог — далеко.

Чертя по утоптанной земле беленьким посошком, не глядя на людей, Никита поучал:

— И чем ниже человек, тем выше от него бог, гонимый смрадом гниения нашего во грехах.

«Утешает», — подумал Артамонов-старший и мысленно усмехнулся.

— Бог — видит: бездельно веруем; а без дел вера — на что ему? Где наша помощь друг другу и где любовь? И о чем молим? Всё о мелких пустяках. Молиться надобно, а все-таки...

Он поднял глаза, с минуту молча смотрел на брата, пристально, снизу вверх. И медленно, как большую тяжесть, поднимал посох, как бы намереваясь ударить им кого-то. Горбун встал, бессильно опустил голову, осеняя людей крестом, но, вместо молитвы, сказал:

— Вот — братец приехал ко мне.

Безволосый старик, нехорошо округлив медные глаза, посмотрел на Петра и размашисто, с явной нарочитостью, перекрестился.

— Идите с богом, — прибавил Никита.

Люди пошли вразброд, как стадо с пастбища, старик подхватил под локоть купца с больною ногой, пекарь Мурзин взял его под другой локоть.

— Ну, здравствуй. Благослови.

Длинной рукою, окрыленной черным рукавом рясы, отец Никодим отвел протянутые к нему сложенные горстью руки брата и сказал тихо, без радости:

— Не ждал.

Махнув посохом в направлении кельи, он пошел впереди брата, шел толчками, разбрасывая кривые ноги, держа одну руку на груди, у сердца.

— Постарел ты,— смущенно заметил Петр.

— На то живем. Ноги болеть стали. Место наше сырое.

Казалось, что Никита стал еще более горбат; угол его спины и правое плечо приподнялись, согнули тело ближе к земле и, принизив его, сделали шире; монах был похож на паука, которому оторвали голову, и вот он слепо, криво ползет по дорожке, по хрящскому щебню. В тесной, чистенькой келье отец Никодим стал побольше, но еще страшней; когда он снял клобук, матово, точно у покойника, блеснул его полуголый, как бы лишенный кожи, костяной череп; на висках, за ушами, на затылке повисли неровные пряди серых волос. Лицо у него было тоже костяное, цвета воска; всюду на костях лица не хватало мяса; выцветшие глаза не освещали его, взгляд их, казалось, был сосредоточен на кончике крупного, но дряблого носа, под носом беззвучно шевелились темные полоски иссохших губ, рот стал еще больше, разделял лицо глубокой впадиной, и особенно жутко неприятна была серая плесень волос на верхней губе.

Тихо, точно прислушиваясь к чему-то, и медленно, как бы с трудом вспоминая слова, монах говорил пухлолицему парню-келейнику, похожему на банщика:

— Самовар. Хлеба. Меду.

— Как тихо говоришь.

— Зубы выкрошились.

Монах сел к столу в деревянное, окрашенное белой краской кресло.

— Живете?

— Живем.

— Тихон жив?

— Жив. Что ему?

— Давно не был он у меня.

Замолчали. Никита, двигая рукою, шуршал рясой, этот тараканий шорох еще более сгущал скуку Петра.

— Я тебе гостинцев привез. Скажи, чтоб ящик притащили. Там вино есть. Разрешают у вас вино?

Брат, вздохнув, ответил:

— У нас — не строго. У нас — трудно. Даже и пьяницы завелись с той поры, как народ усердно стал посещать обитель. Пьют. Что делать? Дышит мир и отравляет. Монахи — тоже люди.

— Слышал я — к тебе много людей ходят?

— По неразумию это, — сказал монах. — Да, ходят. Кружатся. Праведности ищут, праведника. Указания: как жить? Жили, жили, а — вот... Не умеем. Терпенья нет.

Чувствуя, что слова монаха тревожат его, Артамонов-старший проворчал:

— Баловство. Крепостное право терпели, а воли не терпят! Слабо взнузданы.

Никита промолчал.

— При господах — не шлялись, не бродяжили.

Горбун мельком взглянул на него и опустил глаза.

Так, с трудом находя слова, прерывая беседу длительными паузами, они говорили до поры, пока келейник принес самовар, душистый липовый мед и теплый хлеб, от которого еще поднимался хмельной парок. Внимательно смотрели, как белобрысый келейник неуклюже возился на полу, вскрывая крышку ящика. Петр поставил на стол банку свежей икры, две бутылки.

— Портвейн, — прочитал Никита. — Это вино настоятель любит. Умный человек. Много понимает.

— А вот я — мало понимаю, — вызывающе признался Петр.

— Сколько надо — понимаешь и ты, а больше-то — зачем? Больше нужного — понимать вредно.

Монах осторожно вздохнул. В его словах Петру послышалось что-то горькое. Ряса грязно и маслено лоснилась в сумраке, скупо освещенном огоньком лампады в углу и огнем дешевенькой, желтого стекла, лампы на столе. Приметив, с какой расчетливой жадностью брат высосал рюмку мадеры, Петр насмешливо подумал:

«Толк знает».

После каждой рюмки Никита, отщипнув сухими и очень белыми пальцами мякиш хлеба, макал его в мед и не торопясь жевал; тряслась его серая, точно выщипанная бороденка. Незаметно было, чтоб вино охмеляло монаха, но мутноватые глаза его посветлели, оставаясь все так же сосредоточены на кончике носа. Петр пил осторожно, не желая показаться брату пьяным, пил и думал:

«Про Наталью — не спрашивает. И прошлый раз не спросил. Стыдится. Ни о ком не спрашивает. Мирские. А он — праведник. Его — люди ищут».

Сердито шаркнув бородой по жилету, дернув себя за ухо, он сказал:

— Ловко ты укрылся тут. Хорошо.

— Раньше было хорошо, теперь — хуже, богомолов много. Приемы эти...

— Приемы? — Петр усмехнулся. — Как у зубного доктора.

— Хочу перевестись поглуше куда-нибудь, — сказал монах, бережно наливая вино в рюмки.

— Где спокойнее,— добавил Петр и снова усмехнулся, а монах высосал вино, облизал губы темненьким, тряпичным языком и заговорил, качнув костяною головой:

— Очень заметно растет число обеспокоенного народа. Прячутся, скрыться хотят от забот...

— Этого я не вижу,— возразил Петр, зная, что говорит неправду.— «Это ты спрятался»,— хотелось ему сказать.

— А тревоги, тенью, за ними...

На языке Петра сами собою вспухали слова упреков; ему хотелось спорить, даже прикрикнуть на брата, и, думая о сыне, он сказал сердитым голосом:

— Человек сам тревог ищет, сам нужды хочет! Делай свое дело, не форси умом — проживешь спокойно!

Но брат, должно быть, не слышал его слов, оглушенный своими мыслями; он вдруг тряхнул угловатым телом, точно просыпаясь; ряса потекла с него черными струйками; кривя губы, он заговорил очень внятно и тоже как будто сердясь:

— Приходят, просят: научи! А — что я знаю, чему научу? Я человек не мудрый. Меня — настоятель выдумал. Сам я — ничего не знаю, как неправильно осужденный. Осудили: учи! А — за что осудили?

«Намекает,— сообразил Артамонов-старший.— Жаловаться хочет».

Он понимал, что у Никиты есть причины жаловаться на его судьбу, он и раньше, посещая его, ожидал этих жалоб. И, подергав себя за ухо, он внушительно предупредил брата:

— На судьбу многие жалуются, только это — ни к чему.

— Так; довольных — не заметно, —сказал горбун, прицеливаясь глазами в угол, на огонь лампады.

— А тебе еще покойник родитель наказывал: утешай! Будь утешителем.

Никита усмешливо растянул рот, собрал серую бородку свою в горсть и стер ею усмешку, продолжая сеять в сумрак слова, которые, толкая Петра, возбуждали в нем и любопытство и настороженное ожидание опасного.

— Они тут внушают мне и людям, будто я мудрый; это, конечно, ради выгоды обители, для приманки людей. А для меня — это должность трудная. Это, брат, строгое дело! Чем утешать-то? Терпите, говорю. А — вижу: терпеть надоело всем. Надейтесь, говорю. А на что надеяться? Богом не утешаются. Тут ходит пекарь...

— Это — наш, Мурзин, пьяница он,— сказал Артамонов-старший, желая отвести, оттолкнуть что-то.

— Он уже мнит себя судьей богу, для него уж бог миру не хозяин. Теперь таких, дерзких, немало. Тут еще безбородый один — заметил ты? Это — злой человек, этот всему миру недруг. Приходят, пытают. Что им скажешь? Они затем приходят, чтобы смущать.

Монах говорил все живее. Вспоминая, каким видел он брата в прежние посещения, Петр заметил, что глаза Никиты мигают не так виновато, как прежде. Раньше ощущение горбуном своей виновности успокаивало — виноватому жаловаться не надлежит. А теперь вот он жалуется, заявляет, что неправильно осужден. И старший Артамонов боялся, что брат скажет ему:

«Это меня осудил ты!»

Нахмурясь, играя цепочкой часов, он подыскивал слова самозащиты.

— Да,— говорил горбун, и казалось, что втайне он доволен тем, на что жалуется.— Люди все назойливее, мысли у них дерзкие. Недавно жил у нас, недели две, ученый, молодой еще, но как будто не в себе, испуганный человек. Настоятель внушает мне: «Ты, говорит, укрепи его простотой твоей, ты, говорит, скажи ему вот что и вот как». А я на чужие мысли не памятлив. Он, ученый-то, часами из меня жилы тянул, говорит и говорит, а я даже слов его не понимаю, не то что мысли. «Дьявола, говорит, владыкой плоти нашей нельзя признать, это будет двоебожие и оскорбление тела Христова, коему причащаемся: «Тело Христово примите, источника бессмертного ядите». Богохулит: «Пусть, говорит, будет бог с рогами, но чтобы — один, иначе невозможно жить». Замучил он меня, забыл я все наущения отца Феодора, кричу: «Плоть твоя — видоизменение, а дух — уничтожение». Настоятель после ругал меня: «Что ты, говорит, какую кощунственную бессмыслицу сболтнул?» Да, вот как...

Рассказ показался Петру смешным и, выставив брата в жалком виде, несколько успокоил Артамонова-старшего.

— О боге — трудно говорить,— проворчал он.

— Трудно,— согласился отец Никодим и спросил маслено, горько: — Помнишь, отец учил: мы — люди чернорабочие, высока для нас премудрость эта?

— Помню.

— Да. Отец Феодор внушает: «Читай книги!» Я — читаю, а книга для меня, как дальний лес, шумит невнятно. Сегодняшнему дню книга не отвечает. Теперь возникли такие мысли — их книгой не покроешь. Сектант пошел отовсюду. Люди рассуждают, как сны рассказывают, или — с похмелья. Вот — Мурзин этот...

Монах выпил портвейна, пожевал хлеба и, скатав мякиш в небольшой шарик, стал гонять его пальцем по столу, продолжая:

— Отец Феодор говорит: «Вся беда — от разума; дьявол разжег его злой собакой, дразнит, и собака лает на все зря». Может быть, это и правда, а — согласиться обидно. Тут есть доктор, простой человек, веселый, он иначе думает: разум — дитя, ему всё — игрушки, всё — забавно; он хочет доглядеть, как устроено и то, и это, и что внутри. Ну, конечно, ломает...

— Пожалуй — опасно ты говоришь,— заметил Петр. Слова брата снова тревожно толкали, раскачивали его, удивляя и пугая своей неожиданностью, остротой. Ему снова захотелось подавить Никиту, принизить его.

«Напился монах»,— попробовал он успокоить себя.

В келье стало душно, стоял кисленький запах углей и лампадного масла, запах, гасивший мысли Петра. На маленьком, черном квадрате окна торчали листья какого-то растения, неподвижные, они казались железными. А брат, похожий на паука, тихо и настойчиво плел свою паутину.

— Все мысли — опасны. Особенно — простые. Возьми Тихона.

— Полуумный.

— Нет, напрасно! У него разум — строгий. Я вначале даже боялся говорить с ним,— и хочется, а — боюсь! А когда отец помер — Тихон очень подвинул меня к себе. Ты ведь не так любил отца, как я. Тебя и Алексея не обидела эта несправедливая смерть, а Тихона обидела. Я ведь тогда не на монахиню рассердился за глупость ее, а на бога, и Тихон сразу приметил это. «Вот, говорит, комар живет, а человек...»

— Бредишь ты! — строго заметил Петр.— Выпил лишнее. Какая монахиня?

Никита настойчиво продолжал:

— Тихон говорит: если бог миру хозяин, так дожди должны идти вовремя, как полезно хлебу и людям. И не все пожары — от человека; леса — молния зажигает. И зачем было Каину грешить, на смерть нашу? На что богу уродство всякое; горбатые, например, на что ему?

«Ага, вот оно что!» — подумал Петр, усмехаясь в бороду, чувствуя, что жалобы брата на бога очень успокаивают его; это хорошо, что монах не жалуется на родных.

— Каина — нельзя понять. Этим Тихон меня как на цепь приковал. Со дня смерти отца у меня и началось. Я думал: уйду в монастырь — погаснет. А — нет. Так и живу в этих мыслях.

— Прежде ты об этом молчал...

— Всего сразу не скажешь. Да, я бы, может, всю жизнь молчал, но — богомольцы мешают. Совесть тревожат. И — опасно, вдруг выскользнет Тихоново в моих-то речах? Нет, он человек умный, хоть, может, я и не люблю его. Он и про тебя думает, вот, говорит, трудился человек для детей, а дети ему чужие...

— Это еще что? — сердито спросил Петр.— Что он может знать?

— Знает. Дело, говорит, обман...

— Слышал я... Его, дурака, прогнать нужно, да — много знает он о семейном, нашем...

Артамонов сказал это, желая напомнить Никите о тягостной ночи, когда Тихон вынул его из петли, но думая о мальчике Никонове. Монах не понял намека; он поднес рюмку ко рту, окунул язык в вино и, облизав губы, продолжал жестянымн словами:

— Тихона тоже обидел кто-то, он и оторвался от всех, как разоренный...

Нужно было отвести монаха от этих мыслей.

— Что ж ты теперь, не веришь, что ли, в бога-то? — спросил он и удивился: он хотел спросить ядовито, а вышло как-то не так.

— Трудно понять, кто теперь верит,— не сразу ответил монах.— Думают все — много, а веры не заметно. Думать-то не надо, если веришь. Этот, который о боге с рогами говорил...

— Брось,— посоветовал Петр, оглянувшись.— Все это — от скуки, от безделья. Запрячь бы всех в железные хомуты.

— Нет, в двоих верить нельзя,— настойчиво сказал отец Никодим.

Уже второй раз на колокольне били в колокол; мерные удары торкались в черное стекло окна. Петр спросил:

— На службу пойдешь?

— Не хожу. Ноги стоять не дают.

— Тут за нас молишься?

Монах не ответил.

— Ну, мне бы уснуть, устал я в дороге.

Никита молча уперся длинными руками в ручки кресла, осторожно поднял угловатое тело свое, позвал:

— Митя. Митрий?

И снова опустился, виновато сказав:

— Прости: забыл я, келейник-то мой в гостинице спит. Услал я его; хотелось свободно поговорить, а они тут доносчики все, ябедники...

Он ненужно и многословно объяснил брату путь в гостиницу, и когда Петр вышел во тьму, под холодненький, пыльный дождь, то подумал:

«Не хотелось, болтуну, чтоб я ушел».

И внезапно, со знакомым страхом, Артамонов-старший почувствовал, что снова идет по краю глубокого оврага, куда в следующую минуту может упасть. Он ускорил шаг, протянул руки вперед, щупая пальцами водянистую пыль ночной тьмы, неотрывно глядя вдаль, на жирное пятно фонаря.

«Нет,— поспешно думал он, спотыкаясь,— все это не надо мне. Завтра же уеду. Не надо. Что случилось? Илья воротится! Нет, надобно твердо жить. Вон как Алексей разыгрался. Он и обыграть меня может».

Об Алексее он думал насильно, потому что не хотел думать о Никите, о Тихоне. Но когда он лег на жесткую койку монастырской гостиницы, его снова обняли угнетающие мысли о монахе, дворнике. Что это за человек, Тихон? На все вокруг падает его тень, его слова звучат в ребячливых речах сына, его мыслями околдован брат.

«Утешитель! — думал он о брате.— А вот Серафим, простой плотник, умеет утешать».

Не спалось, покусывали комары, за стеною бормотали в три голоса какие-то люди, Петру подумалось, что это, должно быть, пекарь Мурзин, купец с больною ногой и человек с лицом сконца.

«Пьянствуют, наверное».

Монастырский сторож изредка бил колотушкой в чугунную доску, потом вдруг, очень торопливо, как бы опоздав, ис-

пугавшись, заблаговестили к заутрене, и под этот звон Петр задремал.

Брат пришел к нему таким, как он видел его вчера, в саду, с тем же чужим и злонамеренным взглядом вкось и снизу вверх. Артамонов-старший торопливо умылся, оделся и приказал служке, чтоб дали лошадь до ближайшей почтовой станции.

— Что так скоро? — спросил монах, не удивляясь.— Я думал,— поживешь здесь.

— Дело не позволяет.

Пили чай. Петр долго придумывал: о чем бы спросить брата? И — вспомнил:

— Значит — уходить хочешь отсюда?

— Думаю. Не отпускают.

— Что ж это они?

— Я выгоден им. Полезен.

— Так. А — куда ж ты?

— Может — странствовать буду.

— С больными-то ногами?

— И безногие двигаются.

— Это — верно, двигаются,— согласился Петр.

Помолчали. Затем Никита сказал:

— Тихону поклонись.

— Еще кому?

— Всем.

— Ладно. А что ж ты не спросишь, как Алексей живет?

— Что спрашивать? Я — знаю, он — умеет. Я, может быть, скоро уйду отсюда.

— Зимой не уйдешь.

— Почему? И зимой ходят.

— Верно, ходят,— снова согласился Петр и предложил брату денег.

— Давай, на починку мельницы пойдут. К настоятелю не зайдешь?

— Некогда, лошадь подана.

Прощаясь, братья обнялись. Обнимать Никиту было неудобно. Он не благословил брата, правая рука его запуталась в рукаве рясы, и Петр подумал, что запуталась она нарочно. Упираясь горбом в живот его, Никита глухо попросил:

— Ты прости, ежели я вчера лишнее что-нибудь сказал.

— Ну, что там! Мы — братья.

— Думаешь, думаешь по ночам-то...

— Да, да! Ну, прощай...

Выехав за ворота монастыря, Петр оглянулся и на белой стене гостиницы увидал фигуру брата, похожую на камень.

— Прощай,— проворчал он, сняв фуражку, голову его обильно посолил мелкий дождь. Ехали сосновым лесом, было очень тихо, только хвоя сосен стеклянно звенела под бисером дождя. На козлах брички подпрыгивал монах, а лошадь была рыжая, с какими-то лысыми ушами.

«О чем говорят! — думал Петр.— Бог дожди не вовремя посылает. Это всё со зла, от зависти, от уродства. От лени. Заботы нет. Без заботы человек — как собака без хозяина».

Петр оглянулся, поеживаясь, нашел, что дождь идет действительно не вовремя, и снова, серым облаком, его окутали невеселые думы. Чтоб избавиться от них, он пил водку на каждой станции.

Вечером, когда вдали показался дымный город, дорогу перерезал запыхавшийся поезд, свистнул, обдал паром и врезался под землю, исчез в какой-то полукруглой дыре.

III

Припоминая бурные дни жизни на ярмарке, Петр Артамонов ощущал жуткое недоумение, почти страх; не верилось, что все, что воскрешала память, он видел наяву и сам кипел в огромном, каменном котле, полном грохота, рева музыки, песен, криков, пьяного восторга и сокрушающего душу тоскливого воя безумных людей. Варил и разбалтывал все это большой кудрявый человек в цилиндре и сюртуке; на синем, бритом лице его были влеплены выпуклые, совиные глаза; человек этот шлепал толстыми губами и, обнимая, толкая Артамонова, орал:

— Дурак — молчи! Крещение Руси, понимаешь? Ежегодное крещение на Волге и Оке!

Лицом он был похож на повара, а по одежде на одного из тех людей с факелами, которых нанимают провожать богатых покойников в могилы. Петр смутно помнил, что он дрался с этим человеком, а затем они пили коньяк, размешивая в нем мороженое, и человек, рыдая, говорил:

— Пойми рев русской души! Мой отец был священник, а я — прохвост!

Голос у него был густой, трубный, но мягкий, он обливал всех людей темным потоком неслыханных слов, и слова эти неотразимо волновали.

— Истление плоти! — кричал он.— Бой с дьяволом! Бросьте ему, свинье, грязную дань! Укрощай телесный бунт, Петя! Не согрешив — не покаешься, не покаешься — не спасешься. Омой душу! В баню ходим, тело моем? А — душа? Душа просит бани. Дайте простор русской душе, певучей душе, святой, великой!

Петр тоже плакал, растроганный, и бормотал:

— Сирота она, душа, приемыш — верно! Забыта. Не жалеем.

И все люди кричали:

— Верно! Правильно!

А лысый, рыжебородый человек с раскаленным лицом и лиловыми ушами, кругленький, верткий, крутился, точно кубарь, исступленно по-бабьи взвизгивая:

— Степа — правда! Обожаю тебя. Смертельно люблю. Три штучки смертельно люблю: тебя, кисленькое и правду. О душе — правду!

И тоже плакал и пел:

Смертию смерть поправ.

Петр подпевал ему словами Антона-дурачка:

Кибитка потерял колесо.

Ему тоже казалось, что он любит черного Степу, он слушал его крики очарованно, и хотя иногда необыкновенные слова пугали его, но больше было таких, которые, сладко и глубоко волнуя, как бы открывали дверь из темного, шумного хаоса в некий светлый покой. Особенно нравились ему слова «певчая душа», было в них что-то очень верное, жалобное, и они сливались с такой картиной: в знойный, будний день, на засоренной улице Дремова стоит высокий, седобородый, костлявый, как смерть, старик, он устало вертит ручку шарманки, а перед нею, задрав голову, девочка лет двенадцати в измятом, синеньком платье, закрыв глаза, натужно, срывающимся голосом поет:

И не жду от жизни ниче-во я...
И я ищу свободы и покоя...

Вспомнив эту девочку, Артамонов бормотал человеку с лиловыми ушами:

— Душа — певчая! Это он — верно!

— Степа? — крикливо спрашивал рыжебородый.— Степа все знает! У него — ключи ко всякой душе!

И, раскаляясь все более, рыжебородый визжал:

— Степа, друг человеческий, рви! Адвокат Парадизов — вези нас в вертеп неприступный! Все допускаю...

Друг человеческий был пастырем и водителем компании кутивших промышленников, и всюду, куда бы он ни являлся со своим пьяным стадом, грохотала музыка, звучали песни, то — заунывные, до слез надрывавшие душу, то — удалые, с бешеной пляской; от музыки оставались в памяти слуха только глухо бухающие удары в большой барабан и тонкий свист какой-то отчаянной дудочки. Когда пели тягучие, грустные песни, казалось, что каменные стены трактиров сжимаются и душат, а когда хор пел бойко, удало и пестро одетые молодцы плясали — стены точно .ветер колебал и раздувал. Буйно качало, перебрасывая от радости к восхищению печалью, и минутами Петра Артамонова обнимал и жег такой восторг, что ему хотелось сделать что-то необыкновенное, потрясающее, убить кого-нибудь и, упав к ногам людей, стоять на коленях пред ними, всенародно взывая:

«Судите меня, казните страшной казнью!»

Были на «Самокате», в сумасшедшем трактире, где пол со всеми столиками, людьми, лакеями медленно вертелся; оставались неподвижными только углы зала, туго, как подушка пером, набитого гостями, налитого шумом. Круг пола вертелся и показывал в одном углу кучу пестовых, меднотрубых музыкантов; в другом — хор, толпу разноцветных женщин с венками на головах; в третьем на посуде и бутылках буфета отражались огни висячих ламп, а четвертый угол был срезан дверями, из дверей лезли люди и, вступая на вращающийся круг, качались, падали, взмахивая руками, оглушительно хохотали, уезжая куда-то.

Друг человеческий, черный Степа, объяснял Артамонову:

— Глупо, а — хорошо! Пол — на брусьях, как блюдечко на растопыренных пальцах, брусья вкреплены в столб, от столба, горизонтально, два рычага, в каждый запряжена пара лошадей, они ходят и вертят пол. Просто? Но — в этом есть смысл. Петя,— помни: во всем скрыт свой смысл, увы!

Он поднимал палец к потолку, на пальце сверкал волчьим глазом зеленоватый камень, а какой-то широкогрудый купец с собачьей головою, дергая Артамонова за рукав, смотрел на него в упор, остеклевшими глазами мертвеца, и спрашивал громко, как глухой:

— А что скажет Дуня, а? Ты — кто?

Не ожидая ответа, он спрашивал другого соседа:

— Ты — кто? А что я скажу Дуне? А?

Откидывался на спинку стула, фыркал:

— Ф-фу, черт!

И кричал неистово:

— Айда в другое место!

Потом он оказался кучером, сидел на козлах коляски, запряженной парой серых лошадей, и громогласно оповещал всех прохожих, встречных:

— К Пауле едем! Айда с нами!

Ехали под дождем, в коляске было пять человек, один лежал в ногах Артамонова и бормотал:

— Он меня обманул — я его обману. Он меня — я его...

На площади, у холма, похожего на каравай хлеба, коляска опрокинулась, Петр упал, ушиб голову, локоть и, сидя на мокром дерне холма, смотрел, как рыжий с лиловыми ушами лез по холму, к ограде мечети, и рычал:

— Прочь, хочу в татара креститься, в Магометы хочу, пустите!

Черный Степан схватил его за ноги, стащил вниз, куда-то повел; из лавок, из караван-сарая сбежалась толпа персов, татар, бухарцев; старик в желтом халате и зеленой чалме грозил Петру палкой.

— Урус, шайтан...

Меднолицый полицейский поставил Петра на ноги, говоря:

— Скандалы не разрешаются.

Съехались извозчики, усадили пьяных и повезли; впереди, стоя, ехал друг человеческий и что-то кричал в кулак, как в рупор. Дождь прекратился, но небо было грозно черное, каким никогда не бывает наяву; над огромным корпусом караван-сарая сверкали молнии, разрывая во тьме огненные щели, и стало очень страшно, когда копыта лошадей гулко застучали по деревянному мосту через канал Бетанкура,— Артамонов ждал, что мост провалится и все погибнут в неподвижно застывшей, черной, как смола, воде.

В разорванных, кошмарных картинах этих Артамонов искал и находил себя среди обезумевших от разгула людей, как человека почти незнакомого ему. Человек этот пил насмерть и алчно ждал, что вот в следующую минуту начнется что-то совершенно необыкновенное и самое главное, самое радостное,— или упадешь куда-то в безграничную тоску, или поднимешься в такую же безграничную радость, навсегда.

Самое жуткое, что осталось в памяти ослепляющим пятном, это — женщина, Паула Менотти. Он видел ее в большой, пустой комнате с голыми стенами; треть комнаты занимал стол, нагруженный бутылками, разноцветным стеклом рюмок и бокалов, вазами цветов и фрукт, серебряными ведерками с икрой и шампанским. Человек десять рыжих, лысых, седоватых людей нетерпеливо сидели за столом; среди нескольких пустых стульев один был украшен цветами.

Черный Степа стоял среди комнаты, подняв, как свечу, палку с золотым набалдашником, и командовал:

— Эй, свиньи, подождите жрать!

Кто-то глухо сказал:

— Не лай.

— Молчать! — крикнул друг человеческий.— Распоряжаюсь — я!

И почему-то вдруг стало темнее, тотчас же за дверью раздались глухие удары барабана, Степа шагнул к двери, растворил; вошел толстый человек с барабаном на животе, попатываясь, шагая, как гусь, он сильно колотил по барабану.

— Бум, бум, бум...

Пятеро таких же солидных, серьезных людей, согнувшись, напрягаясь, как лошади, ввезли в комнату рояль за полотенца, привязанные к его ножкам; на черной, блестящей крышке рояля лежала нагая женщина, ослепительно белая и страшная бесстыдством наготы. Лежала она вверх грудью, подложив руки под голову; распущенные темные волосы ее, сливаясь с черным блеском лака, вросли в крышку; чем ближе она подвигалась к столу, тем более четко выделялись формы ее тела и назойливее лезли в глаза пучки волос под мышками, на животе.

Повизгивали медные колесики, скрипел пол, гулко бухал барабан; люди, впряженные в эту тяжелую колесницу, остановились, выпрямились. Артамонов ждал, что все засмеются — тогда стало бы понятнее, но все за столом поднялись на ноги и молча смотрели, как лениво женщина отклеивалась, отрывалась от крышки рояля; казалось, что она только что пробудилась от сна, а под нею — кусок ночи, сгущенный до плотности камня; это напомнило какую-то сказку. Стоя, женщина закинула обильные и густые волосы свои за плечи, потопала ногами, замутив глубокий блеск лака пятнами белой пыли; было слышно, как под ударами ее ног гудели струны.

Вошли двое: седоволосая старуха в очках и человек во фраке; старуха села, одновременно обнажив свои желтые зубы

и двухцветные косточки клавиш, а человек во фраке поднял к плечу скрипку, сощурил рыжий глаз, прицелился, перерезал скрипку смычком, и в басовое пение струн рояля ворвался тонкий, свистящий голос скрипки. Нагая женщина волнисто выпрямилась, тряхнула головою, волосы перекинулись на ее нахально торчавшие груди, спрятали их; она закачалась и запела медленно, негромко, в нос, отдаленным, мечтающим голосом.

Все молчали, глядя на нее, приподняв вверх головы, лица у всех были одинаковые, глаза — слепые. Женщина пела нехотя, как бы в полусне, ее очень яркие губы произносили непонятные слова, масленые глаза смотрели пристально через головы людей. Артамонов никогда не думал, что тело женщины может быть так стройно, так пугающе красиво. Поглаживая ладонями грудь и бедра, она все встряхивала головою, и казалось, что и волосы ее растут, и вся она растет, становясь пышнее, больше, все закрывая собою так, что, кроме нее, уже стало ничего не видно, как будто ничего и не было. Артамонов хорошо помнил, что она ни на минуту не возбудила в нем желания обладать ею, а только внушала страх, вызывала тяжкое стеснение в груди, от нее веяло колдовской жутью. Однако он понимал, что, если женщина эта прикажет, он пойдет за нею и сделает все, чего она захочет. Взглянув на людей, он убедился в этом.

«Всякий пойдет, все».

Он трезвел, и ему хотелось незаметно уйти. Он окончательно решил сделать это, услыхав чей-то громкий шепот:

— Чаруса. Омут естества. Понимаешь? Чаруса.

Артамонов знал, что чаруса — лужайка в болотистом лесу, лужайка, на которой трава особенно красиво шелковиста и зелена, но если ступить на нее — провалишься в бездонную трясину. И все-таки он смотрел на женщину, прикованный неотразимой, покоряющей силой ее наготы. И когда на него падал ее тяжелый масленый взгляд, он шевелил плечами, сгибал шею и, отводя глаза в сторону, видел, что уродливые, полупьяные люди таращат глаза с тем туповатым удивлением, как обыватели Дремова смотрели на маляра, который, упав с крыши церкви, разбился насмерть.

Черный, кудрявый Степа, сидя на подоконнике, распустив толстые губы свои, гладил лоб дрожащей рукою, и казалось, что он сейчас упадет, ударится головою в пол. Вот он зачем-то оторвал расстегнувшийся манжет рубашки и швырнул его в угол.

Движения женщины стали быстрее, судорожней; она так извивалась, как будто хотела спрыгнуть с рояля и — не могла; ее подавленные крики стали гнусавее и злей; особенно жутко было видеть, как волнисто извиваются ее ноги, как резко дергает она головою, а густые волосы ее, взметываясь над плечами, точно крылья, падают на грудь и спину звериной шкурой.

Вдруг музыка оборвалась, женщина спрыгнула на пол, черный Степа окутал ее золотистым халатом и убежал с нею, а люди закричали, завыли, хлопая ладонями, хватая друг друга; завертелись лакеи, белые, точно покойники в саванах; зазвенели рюмки и бокалы, и люди начали пить жадно, как в знойный день. Пили и ели они нехорошо, непристойно; было почти противно видеть головы, склоненные над столом, это напоминало свиней над корытом.

Явилась толпа цыган, они раздражающе пели, плясали, в них стали бросать огурцами, салфетками — они исчезли; на место их Степа пригнал шумный табун женщин; одна из них, маленькая, полная, в красном платье, присев на колени Петра, поднесла к его губам бокал шампанского и, звонко чокнувшись своим бокалом, предложила:

— Выпьем, рыжий, за здоровье Мити!

Была она легкая, как моль, звали ее — Пашута. Она очень ловко играла на гитаре и трогательно пела:

Снилось мне утро лазурное, чистое,—

и когда звонкий голос ее особенно печально выговаривал:

Снилась мне юность моя, невозвратная,—

Артамонов дружески, отечески гладил ее голову и утешал:

— Не скули! Ты еще молодая, не бойся...

А ночью, обнимая ее, он крепко закрывал глаза, чтобы лучше видеть другую, Паулу Менотти.

В редкие, трезвые часы он с великим изумлением видел, что эта беспутная Пашута до смешного дорого стоит ему, и думал:

«Экая моль!»

Поражало его умение ярмарочных женщин высасывать деньги и какая-то бессмысленная трата ими заработка, достигнутого ценою бесстыдных, пьяных ночей. Ему сказали, что человек с собачьим лицом, крупнейший меховщик, тратил на Паулу Менотти десятки тысяч, платил ей по три тысячи каждый

раз, когда она показывала себя голой. Другой, с лиловыми ушами, закуривая сигары, зажигая на свече сторублевые билеты, совал за пазухи женщин пачки кредиток.

— Бери, немка, у меня много.

Он всех женщин называл немками. Артамонов же стал видеть в каждой из них неприкрытое бесстыдство густоволосой Паулы, и все женщины — глупые и лукавые, скрытные и дерзкие,— чувствовал он, враждебны ему; даже вспоминая о жене, он и в ней подмечал нечто скрыто враждебное.

«Моль»,— думал он, присматриваясь к цветистому хороводу красивых, юных женщин, очень живо и ярко воскрешаемых памятью.

Он не мог понять: что же это, как же? Люди работают, гремят цепями дела, оглушая самих себя только для того, чтоб накопить как можно больше денег, а потом — жгут деньги, бросают их горстями к ногам распутных женщин? И все это большие, солидные люди, женатые, детные, хозяева огромных фабрик.

«Отец, пожалуй, так же бы колобродил»,— почти уверенно думал он. Самого себя он видел не участником этой жизни, этих кутежей, а случайным и невольным зрителем. Но эти думы пьянили его сильнее вина, и только вином можно было погасить их. Три недели прожил он в кошмаре кутежей и очнулся лишь с приездом Алексея.

Артамонов-старший лежал на полу, на жиденьком, жестком тюфяке; около него стояло ведро со льдом, бутылки кваса, тарелка с квашеной капустой, обильно сдобренной тертым хреном. На диване, открыв рот и, как Наталья, подняв брови, разметалась Пашута, свесив на пол ногу, белую с голубыми жилками и ногтями, как чешуя рыбы. За окном тысячами жадных пастей ревело всероссийское торжище.

Сквозь похмельный гул в голове и ноющую боль отравленного тела Артамонов угрюмо вспоминал события и забавы истекшей ночи, когда вдруг, точно из стены вылез, явился Алексей. Прихрамывая, постукивая палкой, он подошел и рассыпался словами:

— Что — опрокинулся, лежишь? А я тебя вчера весь день и всю ночь искал, да к утру сам завертелся.

Он тотчас позвал лакея, заказал лимонаду, коньяку, льду; подскочил к дивану, пошлепал Пашуту по плечу.

— Вставай, барышня!

Не сразу открыв глаза, барышня проворчала:

— К черту. Отстань.

— Это ты пойдешь к черту,— не сердито сказал Алексей, приподнял ее за плечи, посадил, потряс и указал на дверь:

— Брысь!

— Не тронь ее,— сказал Петр; брат усмехнулся, успокоил:

— Ничего; позовем — придет!

— О, черти,— сказала женщина, уже покорно надевая кофту.

Алексей командовал, как доктор:

— Вставай, Петр, сними рубаху, вытрись льдом!

Подняв с пола раздавленную шляпку, Пашута надела ее на встрепанную голову, но, посмотрев в зеркало над диваном, сказала:

— Очень прекрасная королева!

И, швырнув шляпку на пол, под диван, длительно зевнула:

— Ну, прощай, Митя! Помни: я — в номерах Симанского, номер тринадцать.

Петру стало жалко ее, не вставая с пола, он сказал брату:

— Дай ей.

— Сколько?

— Ну... пятьдесят.

— Э! Много.

Алексей сунул в руку женщины какую-то бумажку, проводил ее, плотно притворил дверь.

— Скупо дал,— вызывающе заметил Петр.— Она вчера за шляпу больше заплатила.

Алексей сел в кресло, сложил руки на палке, оперся на них подбородком и сухо, начальнически спросил:

— Ты что же делаешь?

— Пью,— задорно ответил старший, встал и начал обтирать тело льдом, покрякивая.

— Пей, Кузьма, да не теряй ума! А ты что?

— А что?

Алексей подошел к нему и, глядя, как на незнакомого, тихим голосом, с присвистом спросил:

— Забыл? На тебя жалоба подана, ты адвокату морду разбил, полицейского столкнул в канал...

Он так долго перечислял проступки, что Артамонову-старшему показалось:

«Врет. Пугает».

Он спросил:

— Какому адвокату? Ерунда.

— Не ерунда, а — черному, этому — как его?

— Мы с ним и раньше дрались,— сказал Петр, трезвея, но брат еще строже продолжал:

— А за что ты излаял почтенных людей? И своих?

— Я?

— Ты, вот этот! Жену ругал, Тихона, меня, мальчишку какого-то вспомнил, плакал. Кричал: Авраам, Исаак, баран! Что это значит?

Петра обожгло страхом, он опустился на стул.

— Не знаю. Пьян был.

— Это — не причина! — почти крикнул Алексей, подпрыгивая, точно он скакал на хромой лошади.— Тут — другое: «что у трезвого на уме, у пьяного — на языке», вот что тут! О семейном в кабаках не кричат. Почему — Авраам, жертвоприношение и прочая дрянь? Ты ведь дело конфузишь, ты на меня тень наводишь. Что ты, как в бане, разделся? Хорошо еще, что был при скандале этом Локтев, приятель мой, и догадался свалить тебя с ног коньяком, а меня вот телеграммой вызвал. Он и рассказал мне все это. Сначала, говорит, все смеялись, а потом начали вслушиваться,— что такое человек орет?

— Все орут,— пробормотал Петр, подавленный и снова пьянея от слов брата, а тот говорил почти шепотом:

— Все — об одном, а ты — обо всем! Ладно, что Локтев догадался напоить всех в лоск. Может — забудут. Но ведь наше дело политическое: сегодня Локтев — друг, а завтра — лютый враг.

Петр сидел на стуле, крепко прижав затылок к стене; пропитанная яростным шумом улицы, стена вздрагивала; Петр молчал, ожидая, что эта дрожь утрясет хмельной хаос в голове его, изгонит страх. Он ничего не мог вспомнить из того, о чем говорил брат. И было очень обидно слышать, что брат говорит голосом судьи, словами старшего; было жутко ждать, что еще скажет Алексей.

— Что с тобой? — допытывался он, все подпрыгивая.— Сказал, что едешь к Никите...

— Я у него был.

— И я был. Когда на депешу ответили, что тебя там нет, я, конечно, туда поскакал. Испугались все; ведь — на земле живем, могут и убить.

— Завелась во мне какая-то дрянь,— тихо, виновато сознался Петр.

— Так ее на люди выносить надо? Пойми: ты на дело наше тень бросаешь! Какое там у тебя жертвоприношение? Что ты — персиянин? С мальчиками возишься? Какой мальчик?

Приглаживая волосы на голове и бороду обеими руками, Петр сказал сквозь пальцы:

— Илья... все из-за него...

И медленно, нерешительно, точно нащупывая тропу в темноте, он стал рассказывать Алексею о ссоре с Ильей; долго говорить не пришлось; брат облегченно и громко сказал:

— Ф-фу! Ну, это — ничего! А Локтев понял по-азиатски, скандально. Значит — Илья? Ну, брат, ты прости, только это — неразумно. Купечество должно всему учиться, на все точки жизни встать, а ты...

Он очень долго и красноречиво говорил о том, что дети купцов должны быть инженерами, чиновниками, офицерами. Оглушающий шум лез в окно; подъезжали экипажи к театру, кричали продавцы прохладительных напитков и мороженого; особенно невыносимо грохотала музыка в павильоне, построенном бразильцами из железа и стекла, на сваях, над водою канала. Удары барабана напоминали о Пауле Менотти.

— Какая-то дрянь завелась во мне,— повторил Артамонов-старший, щупая ухо, а другою рукой наливая коньяку в стакан лимонада; брат взял бутылку из руки его, предупредив:

— Смотри, опять напьешься. Вот у меня Мирон учится на инженера — сделай милость! За границу хочет ехать — пожалуйста! Все это — в дом, а не из дома. Ты — пойми, наше сословие — главная сила...

Петру ничего не хотелось понимать. Под оживленный говорок брата он думал, что вот этот человек достиг чем-то уважения и дружбы людей, которые богаче и, наверное, умнее его, они ворочают торговлей всей страны, другой брат, спрятавшись в монастыре, приобретает славу мудреца и праведника, а вот он, Петр, предан на растерзание каким-то случаям. Почему? За что?

— А за распутство ты обругал почтенных людей — напрасно! — говорил Алексей уже как-то мягко, вкрадчиво.— Это — не от распутства, это от избытка силы. Адвокат — шельма, но он правильно понимает, он умный! Конечно — люди пожилые, даже старики, а озорство у них, как у мальчишек, да ведь мальчишки-то озоруют тоже от силы роста. И то возьми в расчет, что бабы у нас пресные, без перца, скучно с ними! Я не про Ольгу мою говорю, она — особенная! Есть такие глупомудрые бабы, они как бы слепы на тот глаз, который плохое видит, Ольга вот из эдаких. Ее обидеть — нельзя, она плохое не видит, злому — не верит. Ты про Наталью эдак не скажешь, а людям верно сказал про нее: домашняя машина!

— Так и сказал? — угрюмо осведомился Петр.

— Не сам же Локтев выдумал эти слова.

Хотелось еще о многом спросить брата, но Петр боялся напомнить ему то, что Алексей, может быть, уже забыл. У него возникало чувство неприязни и зависти к брату.

«Все умеет, бес...»

Он видел в брате нечто рысистое, нахлестанное и лисью изворотливость. Раздражали ястребиные глаза, золотой зуб, блестевший за верхней, судорожной губою, седенькие усы, воинственно закрученные, веселая бородка и цепкие, птичьи пальцы рук, особенно неприятен был указательный палец правой руки, всегда рисовавший в воздухе что-то затейливое. А кургузый, железного цвета пиджачок делал Алексея похожим на жуликоватого ходатая по чужим делам.

Ему вдруг захотелось, чтоб Алексей ушел.

— Поспать надо мне,— сказал он, прикрыв глаза.

— Это — разумно,— согласился брат.— Ты уж сегодня не ходи никуда.

«Как мальчишку, он меня учит»,— обиженно подумал Петр, проводив его. Пошел в угол к умывальнику и остановился, увидав, что рядом с ним бесшумно двигается похожий на него человек, несчастно растрепанный, с измятым лицом, испуганно выкатившимися глазами, двигается и красной рукою гладит мокрую бороду, волосатую грудь. Несколько секунд он не верил, что это его отражение в зеркале, над диваном, потом жалобно усмехнулся и снова стал вытирать куском льда лицо, шею, грудь.

«Найму извозчика, поеду в город»,— решил он, одеваясь, но, сунув руку в карман пиджака, сбросил его на стул и крепко прижал пальцем костяную кнопку звонка.

— Чаю; завари крепче! — сказал он слуге.— Соленого дай. Коньяку.

Посмотрел из окна, широкие двери лавок были уже заперты, по улице ползли люди, приплюснутые жаркой тьмою к булыжнику; трещал опаловый фонарь у подъезда театра; где-то близко пели женщины.

«Моль».

— Можно убрать,— сказали за спиною, он круто обернулся; в двери стояла старуха с одним глазом, с половой щеткой и тряпками в руках. Он молча вышел в коридор и наткнулся на человека в темных очках, в черной шляпе; человек сказал в щель неприкрытой двери:

— Да, да, больше ничего!

Все было нехорошо, заставляло думать, искать в словах скрытый смысл. Потом Артамонов-старший сидел за круглым столом, перед ним посвистывал маленький самовар, позванивало стекло лампы над головою, точно ее легко касалась чья-то невидимая рука. В памяти мелькали странные фигуры бешено пьяных людей, слова песен, обрывки командующей речи брата, блестели чьи-то мимоходом замеченные глаза, но в голове все-таки было пусто и сумрачно; казалось, что ее пронзил тоненький, дрожащий луч и это в нем, как пылинки, пляшут, вертятся люди, мешая думать о чем-то очень важном.

Он пил горячий, крепкий чай, глотал коньяк, обжигая рот, но не чувствовал, что пьянеет, только возрастало беспокойство, хотелось идти куда-то. Позвонил. Явился какой-то туманно струящийся человек, без лица, без волос, похожий на палку с костяным набалдашником.

— Ликеру зеленого принеси, Ванька; зеленого, знаешь?

— Так точно, шартрез.

— Ты разве Ванька?

— Никак нет, Константин.

— Ну, ступай.

Когда лакей принес ликер, Артамонов спросил:

— Солдат?

— Никак нет.

— А говоришь, как солдат.

— Должность сходная, повиноваться надо.

Артамонов подумал, дал ему рубль и посоветовал:

— А ты — не повинуйся. Пошли всех к..., а сам торгуй мороженым. И больше ничего!

Ликер был клейкий, точно патока, и едкий, как нашатырный спирт. От него в голове стало легче, яснее, все как-то сгустилось, и, пока в голове происходило это сгущение, на улице тоже стало тише, все уплотнилось, образовался мягкий шумок и поплыл куда-то далеко, оставляя за собою тишину.

«Повиноваться надо? — размышлял Артамонов.— Кому? Я — хозяин, а не лакей. Хозяин я или нет?»

Но все размышления внезапно пресеклись, исчезли, спугнутые страхом: Артамонов внезапно увидал пред собою того человека, который мешал ему жить легко и умело, как живет Алексей, как живут другие, бойкие люди: мешал ему широколицый, бородатый человек, сидевший против него у самовара;

он сидел молча, вцепившись пальцами левой руки в бороду, опираясь щекою на ладонь; он смотрел на Петра Артамонова так печально, как будто прощался с ним, и в то же время так, как будто жалел его, укорял за что-то; смотрел и плакал, из-под его рыжеватых век текли ядовитые слезы; а по краю бороды, около левого глаза, шевелилась большая муха; вот она переползла, точно по лицу покойника, на висок, остановилась над бровью, заглядывая в глаз.

— Что, сволочь? — спросил Артамонов врага своего; тот не двинулся, не ответил, только пошевелил губами.

— Ревешь? — злорадно заорал Петр Артамонов.— Запутал меня, подлец, а сам плачешь? Самому жалко? У-у...

Схватив со стола бутылку, он с размаха ударил того по лысоватому черепу.

На треск разбитого зеркала, на грохот самовара и посуды, свалившихся с опрокинутого стола, явились люди, их было немного, но каждый раскалывался надвое, расплывался; одноглазая старуха в одну и ту же минуту сгибалась, поднимая самовар, и стояла прямо.

Сидя на полу, Артамонов слышал жалобные голоса:

— Ночь, все спят.

— Зеркальце разбили.

— Это, знаете, не фасон...

Артамонов, разводя руками, плыл куда-то и мычал:

— Муха...

На другой день к вечеру, рысцой, прибежал Алексей, заботливо, как доктор — больного или кучер — лошадь, осмотрел брата, сказал, расчесывая усы какой-то маленькой щеточкой:

— Неестественно ты разбух; в этом образе домой являться — нельзя! К тому же ты мне здесь можешь оказать помощь. Бороду следует постричь, Петр. И купи ты себе сапоги другие, сапоги у тебя — извозчичьи!

Стиснув челюсти, покорно Артамонов-старший шел за братом к парикмахеру,— Алексей строго и точно объяснял, насколько надо остричь бороду и волосы на голове; в магазине обуви он сам выбрал Петру сапоги. После этого, взглянув в зеркало, Петр нашел, что он стал похож на приказчика, а сапоги жали ему ногу в подъеме. Но он молчал, сознавая, что брат действует правильно: и волосы постричь, и сапоги переменить — все это нужно. Нужно вообще привести себя в порядок, забыть все мутное, подавляющее, что осталось от кутежа и весомо, ощутимо тяготило.

Но сквозь туман в голове и усталость отравленного, измотанного тела он, присматриваясь к брату, испытывал все более сложное чувство, смесь зависти и уважения, скрытой насмешливости и вражды. Этот рысистый человек, тощий, с палочкой в руке, остроглазый, сверкал и дымил, пылая ненасытной жадностью к игре делом. Завтракая, обедая с ним в кабинетах лучших трактиров ярмарки, в компании именитых купцов, Петр с немалым изумлением видел, что Алексей держится как будто шутом, стараясь смешить, забавлять богачей, но они, должно быть не замечая шутовского, явно любили, уважали Алексея, внимательно слушали сорочий треск его речей.

Огромный, тугобородый текстильщик Комолов грозил ему пальцем цвета моркови, но говорил ласково, выкатив бычьи глаза, сочно причмокивая:

— Ловок ты, Олеша, хитер, лиса! Обошел ты меня...

— Ермолай Иванович! — восторженно кричал Алексей.— Соревнование — так?

— Верно. Не зевай, ходи тузом козырей!

— Ермолай Иванович,— учусь!

Комолов соглашался:

— Учиться — надо.

— Господа! — так же восторженно, но уже вкрадчиво говорил Алексей, размахивая вилкой.— Сын мой, Мирон, умник, будущий инженер, сказывал: в городе Сиракузе знаменитейший ученый был; предлагал он царю: дай мне на что опереться, я тебе всю землю переверну!

— Ишь ты, серопузый...

— Переверну, говорит! Господа! Нашему сословию есть на что опереться — целковый! Нам не надо мудрецов, которые переворачивать могут, мы сами — с усами; нам одно надобно: чиновники другие! Господа! Дворянство — чахнет, оно — не помеха нам, а чиновники у нас должны быть свои и все люди нужные нам — свои, из купцов, чтоб они наше дело понимали,— вот!

Седые, лысые дородные люди весело соглашались:

— Верно, серопузый!

А одноглазый, остроносый, костлявенький старичок, дисконтер Лосев, вежливенько хихикая, говорил:

— У Алексея Ильича умишко — мышка; все знает: где — сало, где — мало, и грызет, грызет! Его здоровье!

Поднимали бокалы, Алексей радостно чокался со всеми, а Лосев, похлопывая детской ручкой по крутому плечу Комолова, говорил:

— Умненькие среди нас заводятся.

— Всегда были! — гордо отвечал Комолов.— Родитель мой из грузчиков в люди вышел...

— Родитель твой с того начал, говорят, что богатого армянина зарезал,— посмеиваясь, сказал Лосев, а тугобородый текстильщик, захохотав, как баран, ответил:

— Враки! Это у нас по глупости говорят: если — счастлив, значит — грешен! И про тебя, Кузьма, нехороши слухи бегают...

— И про меня,— подтвердил Лосев, вздыхая.— Слухи — мухи, эх!

Артамонов-старший слушал, покрякивая, много ел, старался меньше пить и уныло чувствовал себя среди этих людей зверем другой породы. Он знал: все они — вчерашние мужики; видел во всех что-то разбойное, сказочное, внушающее почтение к ним и общее с его отцом. Конечно, отец был бы с ними и в деле и в кутежах, он, вероятно, так же распутничал бы и жег деньги, точно стружку. Да, деньги — стружка для этих людей, которые неутомимо, со всею силой строгают всю землю, друг друга, деревню.

Но брат был чем-то не похож на этих больших людей, и порою, несмотря на неприязнь к нему, Петр чувствовал, что Алексей острее, умнее их и даже — опаснее.

— Господа! — исступленно, как одержимый, кричал он.— Подумайте, какая неистощимая сила рук у нас, какие громадные миллионы мужика! Он и работник, он и покупатель. Где это есть в таком числе? Нигде нет! И не надобно нам никаких немцев, никаких иноземцев, мы всё сами!

— Верно,— соглашались с ним подвыпившие, горластые люди.

Он говорил о необходимости повысить пошлины на ввоз иностранных товаров, о скупке помещичьих земель, о вредности дворянских банков, он все знал, и со всем, что он говорил, люди восторженно соглашались, к удивлению Артамонова-старшего.

«Верно Никита сказал, этот умеет жить»,— думал он с завистью.

Несмотря на слабость своего здоровья, Алексей тоже распутничал. У него была, видимо, постоянная и давняя любовница, москвичка, содержавшая хор певиц, дородная, вальяжная женщина с медовым голосом и лучистыми глазами. Говорили, что ей уже сорок лет, но по лицу ее, матово-белому, с румянцем под кожей, казалось, что ей нет и тридцати.

— Алешинька, сокол,— говорила она, показывая острые, лисьи зубы, и закрывала Алексея собою, как мать ребенка.

Она должна была знать, что Алексей не брезгует и девицами ее хора, она, конечно, видела это. Но отношение ее к брату было дружеское, Петр не однажды слышал, как Алексей советуется с нею о людях и делах, это удивляло его, и он вспоминал отца, Ульяну Баймакову.

«Бес»,— думал он, глядя на брата.

Даже озорство его имело какой-то особенно затейливый характер. Толстый клоун, немец Майер, показывал в цирке свинью; одетая в длиннополый сюртук, в цилиндре, в сапожках бутылками, она ходила на задних ногах, изображая купца. Публику это очень забавляло, смеялось и купечество, но Алексей отнесся иначе — он обиделся и уговорил компанию приятелей выкрасть свинью. Подкупили конюха, выкрали свинью, и купечество торжественно съело ее мясо, приготовленное под разными соусами искуснейшим поваром гостиницы Барбатенко. Петр Артамонов смутно слышал, что клоун повесился с горя [1]. Все, что он подметил в Алексее на ярмарке, вызвало у него очень тревожные мысли.

«Жулик. Без совести. Может по миру пустить меня и сам этого не заметит. И не из жадности разорит, а просто — заиграется».

Сознание этой опасности, отрезвив его, поставило на ноги. Домой он возвращался один, Алексей проехал в Москву. Был сентябрь, ветреный и мокрый, когда Артамонов подъезжал к Дремову. Позванивая бубенцами, смачно чмокая копытами по раскисшей земле, ямские лошади охотно бежали сквозь невысокий ельник, строгими рядами недвижимо охранявший узкую полосу болотистой дороги. Небо сплошь замазано серым тестом облаков, так же серо и скучно было в похмельной голове. Артамонов как будто похоронил кого-то очень близкого, но кто все-таки надоел ему. Было жалко покойника, но было и приятно знать, что его уже больше не встретишь; перестал он смущать неясностью своих требований, немых упреков и всем тем, что мешало жить настоящему, живому человеку.

«Дело делать надо, больше ничего! — убеждал он себя.— Все люди делом живы. Да».

---

[1] Факт описан П. Д. Боборыкиным в газете «Русский курьер», относится к 80-м годам.

Он принялся за дело с полным напряжением сил своих. Спокойно пошли ясные дни бабьего лета, сменяясь грустным сиянием лунных ночей.

Просыпаясь в жемчужном сумраке утренних зорь осени, Артамонов-старший слышал требовательный гудок фабрики, а через полчаса начинался ее неугомонный шорох, шепот, глуховатый, но мощный и привычный уху шум работы. С рассвета до позднего вечера у амбаров кричали мужики и бабы, сдавая лен; у трактира, на берегу Ватаракши, открытого одним из бесчисленных Морозовых, звучали пьяные песни, визжала гармоника. По двору ходил тяжелый, аккуратный, как машина, строгий к людям Тихон Вялов с метлой, с лопатой в руках, с топором; он не торопясь мел, копал, рубил, покрикивал на мужиков, на рабочих. Мелькал голубой, всегда чистенький Серафим. В доме, тоже как машина, действовала Наталья, очень довольная богатыми подарками, которые муж привез ей с ярмарки, и еще больше — его молчаливым, ровным спокойствием. Все шло гладко, казалось прочно слаженным; фабрика, люди, даже лошади — все работало как заведенное на века. И быстро, точно облака, гонимые ветром, плыли месяца, слагались в годы.

Быком, наклоня голову, Артамонов-старший ходил по корпусам, по двору, шагал по улице поселка, пугая ребятишек, и всюду ощущал нечто новое, странное: в этом большом деле он являлся почти лишним, как бы зрителем. Было приятно видеть, что Яков понимает дело и, кажется, увлечен им; его поведение не только отвлекало от мыслей о старшем сыне, но даже примиряло с Ильей.

«Обойдусь и без тебя, ученый. Учись».

Сытенький, розовощекий, с приятными глазами, которые, улыбаясь, отражали все цвета, точно мыльные пузыри, Яков солидно носил круглое тело свое и, хотя вблизи был странно похож на голубя, издали казался деловитым, ловким хозяином. Работницы ласково улыбались ему, он ворковал с ними, прищуриваясь сладостно, и ходил около них как-то боком, не умея скрыть под напускной солидностью задор молодого петуха. Отец дергал себя за ухо, ухмылялся и думал:

«Паулу бы тебе показать, дурачок...»

Ему нравилось, что Яков, бывая у дяди, не вмешивался в бесконечные споры Мирона с его приятелем, отрепанным, беспокойным Горицветовым. Мирон стал уже совершенно не похож на купеческого сына; худощавый, носатый, в очках, в курточке с позолоченными пуговицами, какими-то вензелями

на плечах, он напоминал мирового судью. Ходил и сидел он прямо, как солдат, говорил высокомерно, заносчиво, и хотя Петр понимал, что племянник всегда говорит что-то умное, все-таки Мирон не нравился ему.

— Ну, брат, это хилософия,— поучительно говорил он, держа руки фертом, сунув их в карманы курточки.— Это мудрствование от хилости, от неумелости.

Артамонову-старшему казалось, что и Горицветов тоже говорит не плохо, не глупо. Маленький, в черной рубахе под студенческим сюртуком, неприглядно расстегнутый, лохматый, с опухшими глазами, точно он не спал несколько суток, с темным, острым лицом в прыщах, он кричал, никого не слушая, судорожно размахивая руками, и наскакивал на Мирона.

— Вы достигнете того, что солнце будет восходить в небеса по свистку ваших фабрик и дымный день вылезать из болот, из лесов по зову машин, но — что сделаете вы с человеком?

Мирон поднимал брови, морщился и, поправляя очки, долбил сухо, мерно:

— Это — хилософия, это — стишки! Это языкоблудие и суемудрие, друг мой. Жизнь — борьба; лирика, истерика неуместны в ней и даже смешны...

Слова спорщиков были приметны, как белые голуби среди сизых; Артамонов-старший думал:

«Да, вот оно: новые птицы — новые песни».

Суть спора он понимал смутно и, наблюдая за Яковом, с удовольствием видел, что сын разглаживает светлый пух на верхней губе своей потому, что хочет спрятать насмешливую улыбочку.

«Так,— думал Петр.— А что сказал бы Илья?»

Горицветов кричал:

— Заковав землю и людей в железо, сделав человека рабом машины...

Покачивая носом, Мирон говорил ему:

— Человек, о котором ты заботишься,— бездельник. Он погибнет, если завтра не поймет, что его спасение в развитии промышленности...

«У которого — правда? Который лучше?» — догадывался Петр Артамонов.

Горицветов не нравился ему еще более, чем племянник, в нем было что-то жидкое, ненадежное, он явно чего-то боялся, кричал. Бесцеремонен, как пьяный, он садился к обеденному

столу раньше хозяев, судорожно перекладывал ножи и вилки, ел быстро, неблагопристойно, обжигаясь, кашляя; в нем, как в Алексее, было что-то подпрыгивающее, лишнее и, кажется, злое. Темные зрачки его воспаленных глаз смотрели слепо, с Петром Артамоновым он здоровался молча, непочтительно совал ему шершавую, горячую руку и быстро отдергивал ее. В конце концов это был какой-то ненужный человек и нельзя понять: зачем он Мирону?

— Ты, Степа, ешь, а не говори,— советовала ему Ольга, он трескуче отвечал:

— Не могу, здесь проповедуют пагубную ересь!

Петра изумляло молчаливое внимание Алексея к спорам студентов, он лишь изредка поддерживал сына:

— Правильно! Где сила, там и власть, а сила — в промышленниках, значит...

Ольга, с лучистыми морщинками на висках, с красненьким кончиком носа, отягченного толстыми, без оправы, стеклами очков, после обеда и чая садилась к пяльцам у окна и молча, пристально, бесконечно вышивала бисером необыкновенно яркие цветы. У брата Петр чувствовал себя уютнее, чем дома, у брата было интересней и всегда можно выпить хорошего вина.

Возвращаясь домой с Яковом, отец спрашивал его:

— Понимаешь, о чем спорят?

— Понимаю,— кратко отвечал сын.

Чтоб скрыть от него свое непонимание, Артамонов-старший строго допытывался:

— А о чем?

Яков всегда отвечал неохотно, коротко, но понятно; по его словам выходило, что Мирон говорит: Россия должна жить тем же порядком, как живет вся Европа, а Горицветов верит, что у России свой путь. Тут Артамонову-старшему нужно было показать сыну, что у него, отца, есть на этот счет свои мысли, и он внушительно сказал:

— Если б иноземцы жили лучше нас, так они бы к нам не лезли...

Но — это была мысль Алексея, своих же не оказывалось. Артамонов обиженно хмурился. А сын как будто еще углубил обиду, сказав:

— Можно прожить и не хвастаясь умом, без этих разговоров...

Артамонов-старший промычал:

— Можно и без них...

Он все чаще испытывал толчки маленьких обид и удивлений. Они отодвигали его куда-то в сторону, утверждая в роли зрителя, который должен все видеть, обо всем думать. А все вокруг незаметно, но быстро изменялось, всюду, в словах и делах, навязчиво кричало новое, беспокойное. Как-то, за чаем, Ольга сказала:

— Правда — это когда душа полна и больше ничего не хочешь.

— Верно,— согласился Петр.

Но Мирон, сверкнув очками, начал учить мать:

— Это — не правда, а смерть. Правда — в деле, в действии.

Когда он ушел, унося с собою толстый лист бумаги, свернутый в трубу, Петр заметил Ольге:

— Груб с тобою сын.

— Нисколько.

— Вижу, груб!

— Он — умнее меня,— сказала Ольга.— Я ведь необразованна, я часто глупости говорю. Дети вообще умнее нас.

В это Артамонов не мог поверить, усмехаясь, он ответил:

— Верно, ты говоришь глупости. А вот старики были умнее нас, стариками сказано: «От сыновей — горе, от дочерей — вдвое»,— поняла?

Ее слова об уме детей очень задели его, она, конечно, хотела намекнуть на Илью. Он знал, что Алексей помогает Илье деньгами, Мирон пишет ему письма, но из гордости он никогда не расспрашивал, где и как живет Илья; Ольга сама, между прочим, искусно рассказывала об этом, понимая гордость его. От нее он знал, что Илья зачем-то уехал жить в Архангельск, а теперь живет за границей.

— Ну, и пускай живет. Умнее будет — поймет, что был глуп.

Порою, думая об Илье, он удивлялся упрямству сына; все кругом умнеют, чего он ждет, Илья?

Он нередко встречал в доме брата Попову с дочерью, все такую же красивую, печально спокойную и чужую ему. Она говорила с ним мало и так, как, бывало, он говорил с Ильей, когда думал, что напрасно обидел сына. Она его стесняла. В тихие минуты образ Поповой вставал пред ним, но не возбуждал ничего, кроме удивления; вот, человек нравится, о нем думаешь, но — нельзя понять, зачем он тебе нужен, и говорить с ним так же невозможно, как с глухонемым.

Да, все изменялось. Даже рабочие становятся все капризнее, злее, чахоточнее, а бабы все более крикливы. Шум в рабочем поселке беспокойней; вечерами даже кажется, что все там воют волками и даже засоренный песок сердито ворчит.

У рабочих заметна какая-то неоседливость, страсть бродяжить. Никем и ничем не обиженные парни вдруг приходят в контору, заявляя о расчете.

— Куда это вы? — спрашивал Петр.

— Поглядеть, что в других местах.

— Чего они бесятся? — спрашивал Артамонов-старший брата,— Алексей с лисьими ужимочками, посмеиваясь, говорил, что рабочие волнуются везде.

— Еще у нас — хорошо, тихо, а вот в Петербурге... Чиновники, министры у нас не те, каких надо...

И дальше он говорил уже нечто такое дерзкое, глупое, что старший брат угрюмо поучал его:

— Ерунда это! Это господам выгодно власть отнять у царя, господа беднеют. А мы и безвластно богатеем. Отец у тебя в дегтярных сапогах по праздникам гулял, а ты заграничные башмаки носишь, шелковые галстуки. Мы должны быть работники царю, а не свиньи. Царь — дуб, это с него нам золотые желуди.

Алексей, слушая, усмехался и этим еще более раздражал. Артамонов-старший находил, что все вообще люди слишком часто усмехаются; в этой их новой привычке есть что-то и невеселое и глупое. Никто из них не умел, однако, насмешничать так утешительно и забавно, как Серафим-плотник, бессмертный старичок.

Артамонов очень подружился с Утешителем. Время от времени на него снова стала нападать скука, вызывая в нем непобедимое желание пить. Напиваться у брата было стыдно, там всегда торчали чужие люди, а он особенно не хотел показать себя пьяным Поповой. Дома Наталья в такие дни уныло сгибалась, угнетенно молчала; было бы лучше, если б она ругалась, тогда и самому можно бы ругать ее. А так она была похожа на ограбленную и, не возбуждая злобы, возбуждала чувство, близкое жалости к ней; Артамонов шел к Серафиму.

— Выпить хочу, старик!

Веселый плотник улыбался, одобрял:

— Это — обыкновенное дело, как солнышко летом! Устал ты, значит, притомился. Ну, ну, подкрепись! Дело твое — не малое, не бородавка на щеке!

«Дело Артамоновых»
С. Герасимов

Он держал для хозяина необыкновенного вкуса настойки, наливки, доставал из всех углов разноцветные бутылки и хвастался:

— Сам выдумал, а совершает одна дьяконица, вдова, перец-баба! Вот, отведай, эта — на березовой серьге с весенним соком настояна. Какова?

Присаживался к столу и, потягивая свое, «репное», болтал:

— Да, так вот, дьяконица! Разнесчастная женщина. Что ни любовник, то и вор. А без любовников — не может, такое у нее нетерпение в жилах...

— Нет, вот я видел одну на ярмарке,— вспоминал Артамонов.

— Конечно! — спешил подтвердить Серафим.— Там отборные товары со всей земли. Я знаю!

Серафим всех и все знал; занятно рассказывал о семейных делах служащих и рабочих, о всех говорил одинаково ласково и о дочери своей, как о чужой ему.

— Остепенилась, шельма. Живет со слесарем Седовым и ведь хорошо живет, гляди-ко! Да, всякая тварь свою ямку находит.

Хорошо было у Серафима в его чистой комнатке, полной смолистого запаха стружек, в теплом полумраке, которому не мешал скромный свет жестяной лампы на стене.

Выпив, Артамонов жаловался на людей, а плотник утешал его:

— Это — ничего, это хорошо! Побежали люди, вот в чем суть! Лежал-лежал человек, думал-думал, да встал и — пошел! И пускай идет! Ты — не скучай, ты человеку верь. Себе-то веришь?

Петр Артамонов молчал, соображая: верит он себе или нет? А бойкий голосок Серафима, позванивая словами, утешительно пел:

— Ты не гляди, кто каков, плох, хорош, это непрочно стоит, вчера было хорошо, а сегодня — плохо. Я, Петр Ильич, все видел, и плохое и хорошее, ох, много я видел! Бывало — вижу: вот оно, хорошее! А его и нет. Я — вот он я, а его нету, его, как пыль ветром, снесло. А я — вот! Так ведь я — что? Муха между людей, меня и не видно. А — ты...

Серафим, многозначительно подняв палец, умолкал.

Слушать его речи Артамонову было дважды приятно; они действительно утешали, забавляя, но в то же время Артамонову было ясно, что старичишка играет, врет, говорит не по

совести, а по ремеслу утешителя людей. Понимая игру Серафима, он думал:

«Шельмец старик, ловок! Вот, Никита эдак-то не умеет».

И вспоминал разных утешителей, которых видел в жизни: бесстыдных женщин ярмарки, клоунов цирка и акробатов, фокусников, укротителей диких зверей, певцов, музыкантов и черного Степу, «друга человеческого». В брате Алексее тоже есть что-то общее с этими людями. А в Тихоне Вялове — нет. И в Пауле Менотти тоже нет.

Пьянея, он говорил Серафиму:

— Врешь, старый черт!

Плотник, хлопая ладонями по своим острым коленям, говорил очень серьезно:

— Не-ет! Ты сообрази: как мне врать, ежели я правды не знаю? Я же тебе из души говорю: правды не знаю я, стало быть,— как же я совру?

— Тогда — молчи!

— Али я немой? — ласково спрашивал Серафим, и розовое личико его освещалось улыбкой.— Я — старичок,— говорил он,— я мое малое время и без правды доживу. Это молодым надо о правде стараться, для того им и очки полагаются. Мирон Лексеич в очках гуляет, ну, он насквозь видит, что к чему, кого — куда.

Артамонову-старшему было приятно знать, что плотник не любит Мирона, и он хохотал, когда Серафим, позванивая на струнах гусель, задорно пел:

Ходит дятел по заводу,
Смотрит в светлые очки,
Дескать, я тут — самый умный,
Остальные — дурачки!

— Верно! — одобрил Артамонов.

А плотник, тоже пьяненький, притопывая аккуратной ножкой, снова пел:

То не ястреб, то не сыч
Щиплет птичек тоже,
Это — Алексей Ильич,
Угодничек божий!

Артамонову-старшему и это нравилось; тогда Серафим бесстыдно пел о Якове:

Яша Машу обнимает,
Ничего не понимает...

Так они забавлялись иногда до рассвета, потом в дверь стучал Тихон Вялов, будил хозяина, если он уже уснул, и равнодушно говорил:

— Домой пора, сейчас гудок будет; рабочие увидят вас,— нехорошо!

Артамонов кричал:

— Что — нехорошо? Я — хозяин!

Но подчинялся дворнику, шел, тяжело покачиваясь, ложился спать, иногда спал до вечера, а ночью снова сидел у Серафима.

Веселый плотник умер за работой; делал гроб утонувшему сыну одноглазого фельдшера Морозова и вдруг свалился мертвым. Артамонов пожелал проводить старика в могилу, пошел в церковь, очень тесно набитую рабочими, послушал, как строго служит рыжий поп Александр, заменивший тихого Глеба, который вдруг почему-то расстригся и ушел неизвестно куда. В церкви красиво пел хор, созданный учителем фабричной школы Грековым, человеком, похожим на кота, и было много молодежи.

«Воскресенье»,— объяснил себе Артамонов обилие народа.

Небольшой, легкий гроб несли тоже молодые ткачи; более солидные рабочие держались в стороне; за гробом шагала нахмурясь, но без слез, Зинаида в непристойно пестрой кофте, рядом с нею широкоплечий, чисто одетый слесарь Седов, в стороне тяжело мял песок Тихон Вялов. Ярко сияло солнце, мощно и согласно пели певчие, и был заметен в этих похоронах странный недостаток печали.

— Хорошо хоронят,— сказал Артамонов, отирая пот с лица; Тихон остановился, глядя под ноги себе, подумал, потом сказал:

— Приятен был; игровой, как эта...

Он повертел рукою в воздухе.

— Ее старик по улице носил, а девчонка пела... Утешал.

Взглянув на хозяина с непочтительной, возмутившей Артамонова строгостью, он добавил:

— С толку он сбивал людей: никого не обижает, а живет — неправедно.

— Праведно, праведно! — передразнил его хозяин.— Ты к этим мыслям на цепь посажен. Гляди — сбесишься, как Тулун...

И, круто отвернувшись от дворника, Артамонов пошел домой.

Было еще рано, около полудня, но уже очень жарко; песок дороги и синь воздуха становились все горячее. К вечеру соли-

це нанарило горы белых облаков, они медленно поплыли над краем земли к востоку, сгущая духоту. Артамонов погулял в саду, вышел за ворота. Тихон мазал дегтем петли ворот; заржавев во время весенних дождей, они скверно визжали.

— Что ж ты сегодня, в праздник, мажешь? — лениво спросил Артамонов, присев на лавку,— Тихон косо взглянул на него белками глаз и сказал вполголоса:

— Серафим был вредный.

— Чем это?

В ответ Артамонову черными тараканами поползли странные слова:

— Памятлив был, помнил много. Все помнил, что видел. А — что видеть можно? Зло, канитель, суету. Вот он и рассказывал всем про это. От него большая смута пошла. Я — вижу.

Тыкая помазком в пятки петель, он продолжал все более ворчливо:

— Вышибить надо память из людей. От нее зло растет. Надо так: одни пожили — померли, и все зло ихнее, вся глупость с ними издохла. Родились другие; злого ничего не помнят, а добро помнят. Я вот тоже от памяти страдаю. Стар, покоя хочу. А — где покой? В беспамятстве покой-то...

Никогда еще Тихон не говорил сразу так много и раздражающе. Глупые, как всегда, слова его в этот час почему-то были особенно враждебны Артамонову; разглядывая клочковатую бороду дворника, его жидкие, расплывшиеся зрачки, измятый морщинами каменный лоб, Артамонов удивлялся все растущему уродству этого человека. Морщины были неестественно глубоки, точно складки на голенище сапога, скуластое лицо, оголенное старостью, приняло серый цвет пемзы, нос — ноздреватый, как губка.

«Одряхлел,— думал Артамонов, и это было приятно ему.— Заговариваться стал. Не работник, надо рассчитать. Дам награду».

Держа в одной руке квач, а в другой ведерко дегтя, Тихон подвинулся к нему и, указывая квачом на темно-красное, цвета сырого мяса, здание фабрики, ворчал:

— Ты послушал бы, что они там говорят, Седов-щеголь, кривой Морозов, брат его Захарка, Зинаидка тоже,— они прямо говорят: которое дело чужими руками строится — это вредное дело, его надо изничтожить...

— Будто — твои мысли,— насмешливо сказал хозяин.

— Мои? — Тихон отрицательно мотнул головой.— Нет, не мои. Я этих затей не принимаю. Работай каждый на себя, тог-

да ничего не будет, никакого зла. А они говорят: все — от нас пошло, мы — хозяева! Ты гляди, Петр Ильич, это верно: все от них! Они тебя впрягли в дело, ты вывез воз на ровную дорогу, а теперь...

Артамонов солидно крякнул, встал, сунул руки в карманы и решительно, хотя несколько путаясь в словах, заговорил, глядя через голову Тихона, в облака:

— Вот что: я, конечно, понимаю, ты всю жизнь со мной прожил, это — так! Ну, однако, ты стар, тебе уж трудно...

— А Серафим поддакивал в этом,— сказал Тихон, видимо не слушая хозяина.

— Подожди! Тебе пора на отдых...

— Всем — пора. А как же?

— Постой... Характер у тебя — тяжелый...

Тихон Вялов не удивился, услыхав о расчете, он спокойно пробормотал:

— Ну, что ж...

— Я тебя, конечно, награжу,— обещал Артамонов, несколько смущенный его спокойствием. Тихон промолчал, смазывая дегтем свои пыльные сапоги; тогда Артамонов сказал со всей твердостью:

— Значит — прощай!

— Ладно,— ответил дворник.

Артамонов пошел за реку, надеясь, что там прохладнее; там, под сосною, где он поссорился с Ильей, Серафим построил ему из белых сучьев березы нечто вроде трона. Оттуда хорошо было видно всю фабрику, дом, двор, поселок, церковь, кладбище. Льдисто сверкали большие окна фабричной больницы, школы; маленькие люди челноками сновали по земле, ткали бесконечную ткань дела, люди еще меньше бегали по песку фабричного поселка. Около церковной ограды, среди серых стволов ольхи, паслось игрушечное стадо коз; их развел одноглазый фельдшер Морозов, внук древнего ткача Бориса,— фабричные бабы много покупали козьего молока для детей. А за больницей, на лысом квадрате земли, обнесенном решеткой, паслись мелкие люди в желтых халатах и белых колпаках, похожие на сумасшедших. Вокруг фабрики развелось много птиц: воробьев, ворон, галок, трещали сороки, торопливо перелетая с места на место, блестя атласом белых боков; сизые голуби ходили по земле, особенно много было птиц около трактира на берегу Ватаранши, где останавливались мужики, привозя лен.

Но с некоторого времени все это большое хозяйство уже не возбуждало ни удовольствия, ни гордости Артамонова, оно являлось для него источником разнообразных обид. Обидно было видеть, как брат, племянник и разные люди, окружающие их, кричат, размахивают руками, точно цыгане на базаре, спорят, не замечая его, человека старшего в деле. Даже говоря о фабрике, они забывали о нем, а когда он им напоминал о себе, люди эти слушали его молча, как будто соглашались с ним, но делали все по-своему и в крупном и в мелком. Это началось давно, еще с той поры, как они, против его желания, построили на фабрике электрическую станцию; Артамонов-старший быстро убедился, что это и выгоднее и безопасней, но все-таки не мог забыть обиду. Мелких обид было много, и они всё увеличивались в числе, становились острее.

Особенно дерзко и противно вел себя племянник; он кончил учиться, одевался в какие-то нерусские, кожаные курточки, весь, от золотых очков до желтых ботинок, блестел, щурился, морщился и говорил:

— Это, дядя, старо. Не то время, дядя.

Казалось, он боится времени, как слуга — строгого хозяина. Но только этого он и боялся, во всем же остальном — невыносимо дерзок. Однажды он даже сказал:

— Поймите, дядя, с такими людями, как вы и подобные вам, Россия не может больше жить.

Это настолько крепко ударило Артамонова, что он даже не спросил: почему? Оскорбленный, ушел и несколько недель не ходил к брату, не разговаривал с Мироном, встречая его на фабрике.

Мирон собирался жениться на дочери Веры Поповой, такой же высокой и стройной, как ее поседевшая, замороженная мать. Как все, эта девица тоже неприятно усмехалась. Она дергала шеей, присматривалась ко всему упорным взглядом больших, бесстыдно открытых глаз, должно быть ни во что не верующих, и, напевая сквозь зубы, жужжа, как муха, с утра до вечера портила полотно, размазывая на нем пестрые картинки. Ее соломенная шляпа, привязанная лентой за шею, всегда болталась на спине, волосы у нее были тоже соломенного цвета; одевалась неаккуратно, ноги были видны из-под юбки, почти до колен.

Противен был бездельник Горицветов; он мелькал, как стриж, неожиданно являлся, исчезал, снова являлся и, наскакивая на всех злой, маленькой собачкой, кричал свое:

— Вы хотите превратить богато одухотворенную Россию в бездушную Америку, вы строите мышеловку для людей...

В этих криках Артамонов слышал иногда что-то верное, но чаще — нечто общее с глупостью Тихона Вялова, хотя он не знал людей, более различных, чем этот обожженный, судорожный прыгун и тяжелый, ко всему равнодушный Тихон. Горицветов подбегал к Елизавете Поповой и кричал на нее:

— Почему вы молчите, вы, человек духа?

Она улыбалась; лицо у нее было надменно и неподвижно, улыбались только ее серые, осенние глаза. Артамонов-старший слышал какие-то неслыханные, непонятные слова.

— Агония романтизма,— говорил Мирон, тщательно протирая куском замши стекла очков.

Алексей летал где-то в Москве; Яков толстел, держался солидно в стороне, он говорил мало, но, должно быть, хорошо: его слова одинаково раздражали и Мирона и Горицветова. Яков отпустил окладистую татарскую бородку, и вместе с рыжеватой бородою у Якова все заметнее насмешливость; приятно было слышать, когда сын лениво говорил бойким людям:

— Сядете вы в лужу по дороге в господа! Жили бы проще.

Старшему Артамонову и — он видел — Якову было очень смешно, когда Елизавета Попова вдруг уехала в Москву и там обвенчалась с Горицветовым. Мирон обозлился и не мог скрыть этого; покручивая острую, не купеческую бородку, вытягивая из нее нить сухих слов, он говорил явно фальшиво:

— Такие люди, как Степан Горицветов,— люди вымирающего племени. Нигде в мире нет людей настолько бесполезных, как он и подобные ему.

Яков сказал, подзадоривая:

— Однако ж один эдакий ловко стащил из-под твоего носа кусок, облюбованный тобою!

Приподняв плечи, Мирон ответил:

— Я — не романтик.

— Чего? Кто это? — спросил Артамонов-старший, и Мирон отчеканил, точно судья, читающий приговор свой:

— Никто не понимает, что такое романтик, вам этого тоже не понять, дядя. Это — нечто для красоты, как парик на лысую голову, или — для осторожности, как фальшивая борода жулику.

«Ага, прищемил нос»,— подумал Артамонов-старший с удовольствием.

Эти маленькие удовольствия несколько примиряли его со множеством обид, которые он испытывал со стороны бойких людей, все более крепко забиравших дело в свои цепкие руки, отодвигая его в сторону, в одиночество. Но и в одиночестве он нашел, надумал нечто горестно приятное. одиночество знакомило его с новым, хотя уже смутно знакомым,— с Петром Артамоновым иного рисунка, иного характера.

Это — хороший человек, и он жестоко обижен; жизнь обращалась с ним несправедливо, как мачеха с пасынком. Он начал жизнь покорным, бессловесным слугою своего отца, который не дал ему никаких радостей, а только глупую, скучную жену и взвалил на плечи его большое, тяжелое дело. Да, жена любила его, и первый год жизни с нею был не плох, но теперь он знал, что даже распутная шпульница Зинаида умеет любить забавнее, жарче. И уж лучше не вспоминать о ловких, бешеных женщинах ярмарки. Жена всю жизнь боялась, сначала — Алексея, керосиновых ламп, потом электрических; когда они вспыхивали, Наталья отскакивала и крестилась. Она сконфузила его на ярмарке, в магазине граммофонов.

— Ой, не надо, не покупай! — просила она.— Может, в этой штуке проклятый кричит, душа его спрятана!

Теперь она боялась Мирона, доктора Яковлева, дочери своей Татьяны и. дико растолстев, целые дни ела. Из-за нее едва не удавился брат. Дети не уважали ее. Когда она уговаривала Якова жениться, сын советовал ей насмешливо:

— Ты, мама, лучше покушай чего-нибудь.

Она отвечала покорно и неуверенно:

— Да я как будто уж не хочу.

И снова ела.

Отец сказал Якову:

— Ты что насмехаешься над матерью? Жениться тебе — пора.

— Не время связывать себя семьей,— деловито ответил Яков.

— Да что вы все боитесь времени? — рассердился отец; сын, не ответив, пожал плечами.

Он тоже говорил:

— Вы, папаша, не понимаете.

Он говорил это мягко, но все-таки ведь не может быть, чтоб отец понимал меньше сына. Люди живут не завтрашним днем, а вчерашним, все люди так живут.

Старший сын, любимый, пропал, исчез. Из любви к нему пришлось сделать такое, о чем не хочется вспоминать.

Старшая дочь Елена, широколицая, широкобедрая баба, избалованная богатством и пьяницей мужем, была совершенно чужим человеком; она изредка приезжала навестить родителей, пышно одетая, со множеством колец на пальцах. Позванивая золотыми цепочками, брелоками, глядя сытыми глазами в золотой лорнет, она говорила усталым голосом:

— Как у вас пахнет нехорошо; дом весь протух, сгнил; вы бы новый построили. И кто же теперь живет рядом с фабрикой!

Артамонов случайно слышал, как она говорила матери:

— А папаша все такой же? Как, должно быть, скучно с ним! Мой — пьяница, шалун, а — веселый.

У нее была какая-то особенно раздражавшая страсть к чистоте: садясь на стул, она обмахивала его платочком, от нее так крепко пахло духами, что хотелось чихать; ее бесцеремонная, обидная брезгливость ко всему в доме вызывала у Артамонова желание возместить дочери за все, чем она раздражала его; он при ней ходил по дому и даже по двору в одном нижнем белье, в неподпоясанном халате, в галошах на босую ногу, а за обедом громко чавкал и рыгал, как башкир. Дочь возмущалась:

— Что это, папаша?

Именно этого возмущения он и добивался.

— Извините, барыня! — говорил он.— Я ведь мужик.

И рыгал, чавкал еще более свирепо.

Дочь бывала за границей и вечерами лениво, жирненьким голоском рассказывала матери чепуху: в каком-то городе бабы моют наружные стены домов щетками с мылом, в другом городе зиму и лето такой туман, что целый день горят фонари, а все-таки ничего не видно; в Париже все торгуют готовым платьем и есть башня настолько высокая, что с нее видно города, которые за морем.

С младшей сестрою Елена спорила и даже ругалась. Татьяна росла худенькой, темнокожей и обозленной тем, что она неприглядна. В ней было что-то напоминавшее дьячка; должно быть, ее коротенькая коса, плоская грудь и синеватый нос. Она жила у сестры, не могла почему-то кончить гимназию, боялась мышей и, соглашаясь с Мироном, что власть царя надо ограничить, недавно начала курить папиросы. Приезжая летом на фабрику, кричала на мать, как на прислугу, с отцом говорила сквозь зубы, целые дни читала книги, вече-

ром уходила в город, к дяде, оттуда ее приводил золотозубый доктор Яковлев. По ночам не спала от девичьей тоски и била туфлей комаров на стенах, как будто стреляя из пистолета.

Все вокруг становилось чуждо, крикливо, вызывающе глупо, все — от дерзких речей Мирона до бессмысленных песенок кочегара Васьки, хромого мужика с вывихнутым бедром и растрепанной, на помело похожей, головою; по праздникам Васька, ухаживая за кухаркой, торчал под окном кухни и, подыгрывая на гармонике, закрыв глаза, орал:

Стала ты теперь несчастна-я,
Моя привычка!
Хочу видеть ежечасно
Твое, морда, личико!

И давно уже Ольга ничего не рассказывала про Илью, а новый Петр Артамонов, обиженный человек, все чаще вспоминал о старшем сыне. Наверное, Илья уже получил достойное возмездие за свою строптивость, об этом говорило изменившееся отношение к нему в доме Алексея. Как-то вечером, придя к брату и раздеваясь в передней, Артамонов-старший слышал, что Мирон, возвратившийся из Москвы, говорит:

— Илья — один из тех людей, которые смотрят на жизнь сквозь книгу и не умеют отличить корову от лошади.

«Врешь»,— подумал Артамонов, находя что-то утешительное во враждебном отзыве племянника.

Алексей спросил:

— Он — одной партии с Горицветовым?

— Он — вреднее,— ответил Мирон.

Входя в комнату, Артамонов-старший мысленно пригрозил им:

«Погодите, воротится он — покажет вам кое-что...»

Мирон тотчас начал рассказывать о Москве, сердито жаловаться на бестолковость правительства; приехала Наталья с сыном — Мирон заговорил о необходимости строить бумажную фабрику, он давно уже надоедал этим.

— У нас, дядя, деньги зря лежат,— сказал он. Наталья, покраснев так, что у нее даже уши вспухли, крикливо возразила:

— Где это они лежат, у кого лежат?

Артамонова вдруг обняла скука, как будто пред ним широко открыли дверь в комнату, где все знакомо и так надоело, что комната кажется пустой. Эта внезапная, телесная скука являлась откуда-то извне, туманом; затыкая уши, ослепляя

глаза, она вызывала ощущение усталости и пугала мыслями о болезни, о смерти.

— Надоели вы мне,— сказал он.— Когда я отдохну от вас?

Яков проворчал:

— Довольно возни с тем, что есть...

А Наталья кричала:

— И так развели рабочих до того, что выйти некуда! Пьянство, матерщина...

Артамонов подошел к окну,— в саду стоял Тихон Вялов и, задрав голову, указывал пальцем на яблоню какой-то девчонке.

«Ишь ты, Адам»,— подумал Петр Артамонов, стряхнув скуку; такие отдаленные думы не часто, мышами, пробегали мимо него, он всегда рад был их внезапности, он даже любил их за то, что они не тревожили, мелькнет, исчезнет и — только.

Вот тоже Тихон; жестоко обиделся Петр Артамонов, увидав, что брат взял дворника к себе после того, как Тихон пропадал где-то больше года и вдруг снова явился, притащив неприятную весть: брат Никита скрылся из монастыря неизвестно куда. Петр был уверен, что старик знает, где Никита, и не говорит об этом лишь потому, что любит делать неприятное. Из-за этого человека Артамонов-старший крепко поссорился с братом, хотя Алексей и убедительно защищал себя:

— Подумай: человек всю жизнь работал на нас, а мы его выкинули,— ну, хорошо это?

Петр знал, что это нехорошо, но еще хуже для него было присутствие Тихона в доме. Жена тоже, кажется, первый раз за всю жизнь встала на сторону Алексея; с необычной для нее твердостью она говорила:

— Нехорошо, Петр Ильич, хоть бей меня, а — нехорошо!

Они и Ольга уговорили и успокоили его. Но обиженный человек торжествовал:

«Что? Твоя воля — никому не закон... Видишь?»

Обиженный человек становился все виднее, ощутимее Артамонову-старшему. Осторожно внося на холм, под сосну, свое отяжелевшее тело, Петр садился в кресло и, думая об этом человеке, искренне жалел его. Было и сладостно и горько выдумывать несчастного, непонятного, никем не ценимого, но хорошего человека; выдумывался он так же легко, так же из ничего, как в жаркие дни над болотами, в синей пустоте, возникал белый дым облаков.

Глядя на фабрику и на все рожденное ею, человек этот внушал:

«Можно бы жить иначе, без этих затей».

Фабрикант Артамонов возражал ему:

«Тихоновы мысли».

«Поп Глеб то же говорил, и Горицветов, и еще многие. Да, мухами в паутине бьются люди».

«Дешево — не проживешь»,— нехотя возражал фабрикант.

Иногда этот немой спор двух людей в одном разгорался особенно жарко, и обиженный человек, становясь беспощадным, почти кричал:

«Помнишь, ты, пьяный, на ярмарке, каялся людям, что принес в жертву сына, как Авраам Исаака, а мальчишку Никонова вместо барана подсунули тебе, помнишь? Верно это, верно! И за это, за правду, ты меня бутылкой ударил. Эх, задавил ты меня, погубил! И меня ты в жертву принес. А — кому жертва, кому? Рогатому богу, о котором Никита говорил? Ему? Эх ты...»

В минуты столь жестоких споров фабрикант Артамонов-старший крепко закрывал глаза, чтоб удержать постыдные, злые и горькие слезы. Но слезы неудержимо лились, он стирал их со щек и бороды ладонями, потом досуха тер ладонь о ладонь и тупо рассматривал опухшие, багровые руки свои. И пил мадеру большими глотками, прямо из горлышка бутылки.

Но, несмотря на эти горестные слезы, выжимаемые им, обиженный человек был приятен и необходим Артамонову-старшему, как банщик, когда тот мягкой и в меру горячей, душисто намыленной мочалкой трет кожу спины в том месте, где самому человеку нельзя почесать,— не достает рука.

...Вдруг где-то далеко, за Сибирью, поднялся крепкий кулак и стал бить Россию.

Алексей подпрыгивал, размахивая газетой, кричал:

— Разбой! Грабеж! — и, поднимая птичью лапу к потолку, свирепо шевелил пальцами, шипел:

— Мы их... мы им...

Золотозубый доктор, сунув руки в карманы, стоял, прислонясь к теплым изразцам печи, и бормотал:

— Возможно, что и они нас.

Этот большой, медно-рыжий человек, конечно, усмехался, он усмехался всегда, о чем бы ни говорилось; он даже

о болезнях и смертях рассказывал с той же усмешечкой, с которой говорил о неудачной игре в преферанс; Артамонов-старший смотрел на него, как на иноземца, который улыбается от конфуза оттого, что не способен понять чужих ему людей; Артамонов не любил его, не верил ему и лечился у городского врача, молчаливого немца Крона.

Озабоченно покручивая бородку, морщась, точно у него болел висок, Мирон журавлем шагал из угла в угол и поучал всех:

— Дело надо было начинать в союзе с англичанами...

— Да — какое дело-то? — допытывался Артамонов-старший, но ни бойкий брат, ни умный племянник не могли толково рассказать ему, из-за чего внезапно вспыхнула эта война. Ему было приятно наблюдать смятение всезнающих, самоуверенных людей, особенно смешным казался брат, он вел себя так непонятно, что можно было думать: эта нежданная война задевала, прежде всех, именно его, Алексея Артамонова, мешая ему делать что-то очень важное.

По городу пошел крестный ход. Бородатое купечество, важно и благочестиво утаптывая тяжелыми ногами обильно выпавший снег, тесным стадом быков шагало за кряжистым, золотым духовенством; несло иконы, хоругви; соединенный хор всех церквей города громогласно и внушительно пел:

— «Спаси, го-осподи, люди твоя-а...»

Слова молитвы, похожей на требование, вылетали из круглых ртов белым паром, замерзая инеем на бровях и усах басов, оседая в бородах нестройно подпевавшего купечества. Особенно пронзительно, настойчиво и особенно не в лад хору пел городской голова Воропонов, сын тележника; толстый, краснощекий, с глазами цвета перламутровых пуговиц, он получил в наследство от своего отца вместе с имуществом и неукротимую вражду ко всем Артамоновым.

Они, семеро, шли все вместе; впереди прихрамывал Алексей, ведя жену под руку, за ним Яков с матерью и сестрой Татьяной, потом шел Мирон с доктором; сзади всех шагал в мягких сапогах Артамонов-старший.

— Нация,— негромко говорил Мирон.

— Парад сил,— ответил доктор.

Мирон снял очки, стал протирать их платком, а доктор добавил:

— Увидите — вздуют!

— Н-ну, это сырье не скоро загорится...

— Перестань,— сказал Артамонов-старший племяннику, тот искоса взглянул на него и повесил очки на свой длинный нос, предварительно пощупав его пальцами.

— Спас-си, господи, люди твоя! — требовал Ворононов подчеркнуто громко, с присвистом вывизгивая слово «люди», волком оборачивался назад, оглядывая горожан, и зачем-то махал на них бобровой шапкой.

Хорошо, густо пела сорокалетняя, но свежая, круглая, грудастая дочь Помялова, третий раз вдова и первая в городе по скандальной, бесстыдной жизни. Петр Артамонов слышал, как она вполголоса советовала Наталье:

— Ты бы, кума, отправила мужа-то на войну, он у тебя страховидный, от него враги побегут.

И спрашивала Якова:

— Ты что, крестник, не женишься, петух?

Артамонов-старший тряхнул головою, слова, как мухи, мешали ему думать о чем-то важном; он отошел в сторону, стал шагать по тротуару медленнее, пропуская мимо себя поток людей, необыкновенно черный в этот день, на пышном, чистом снегу. Люди шли, шли и дышали паром, точно кипящие самовары.

Вот шагает во главе своих учениц Вера Попова с каменным лицом; снежинки искрятся на ее седых волосах; белые, в инее, ресницы ее дрогнули, когда она кивнула пышноволосой, ничем не покрытой головой. Артамонов пожалел ее:

«Глупая. Впряглась уток пасти».

Прокатилась длинная волна стриженых голов; это ученики двух городских училищ; тяжелый, серой машиной продвинулась полурота солдат, ее вел знаменитый в городе хладнокровный поручик Маврин: он ежедневно купался в Оке, начиная с половодья и кончая заморозками, и, как было известно, жил на деньги Помяловой, находясь с нею в незаконной связи.

Важно, сытым гусем, шел жандармский офицер Нестеренко, человек с китайскими усами, а его больная жена шла под руку с братом своим, Житейкиным, сыном умершего городского старосты и хозяином кожевенного завода; про Житейкина говорили, что хотя он распутничает с монахинями, но прочитал семьсот книг и замечательно умел барабанить по маленькому барабану, даже тайно учит солдат этому искусству.

Потом проехал в санях ожиревший Степан Барский с пьяницей зятем своим и косоглазой дочерью; темной кучей долго

двигался мелкий народ: мещане, кожевники, ткачи, тележники, нищие и какие-то никому не нужные старухи, похожие на крыс. Снег лениво солил обнаженные головы, издали доносился неумолимо требующий крик Воропонова:

— Спаси, господи, люди твоя...

«А на что богу эти люди? Понять — нельзя»,— подумал Артамонов. Он не любил горожан и почти не имел в городе связей, кроме деловых знакомств; он знал, что и город не любит его, считая гордым, злым, но очень уважает Алексея за его пристрастие украшать город, за то, что он вымостил главную улицу, украсил площадь посадкой лип, устроил на берегу Оки сад, бульвар. Мирона и даже Якова боятся, считают их свыше меры жадными, находят, что они всё кругом забирают в свои руки.

Осматривая медленный ход задумавшихся людей, Артамонов хмурился,— много незнакомых лиц и слишком много разноцветных глаз смотрят на него с одинаковой неприязнью.

У ворот дома Алексея ему поклонился Тихон. Артамонов спросил:

— Воюем, старик?

Молча, знакомым движением тяжелой руки, Тихон погладил скулу. Первый раз за всю жизнь с ним Артамонов спросил этого человека с доверием к нему:

— Ты что думаешь?

— Пустяковина,— тотчас ответил Вялов, как будто он ждал вопроса.

— У тебя — все пустяки,— неопределенно сказал Артамонов.

— А — как же? Собаки, что ли? Не звери мы.

Артамонов пошел дальше сквозь мелкий, пыльный снег. Снег падал все гуще и уже почти совсем скрыл толпу людей вдали, в белых холмах деревьев и крыш.

Теперь, после смерти Серафима Утешителя, Артамонов-старший ходил развлекаться к вдовой дьяконице Таисье Параклитовой, женщине неопределенных лет, худенькой, похожей на подростка и на черную козу. Она была тихая и всегда во всем соглашалась с ним:

— Так, милый! — говорила она.— Да, да, милый, да!

Пил Артамонов много, но хмелел медленно, и его раздражало, что навязчивые, унылые думы так долго не тают, не тонут в крепких, вкусных водках Таисьи. Первые минуты опьянения были неприятны, хмель делал мысли Петра о себе, о людях еще более едкими, горькими, окрашивал всю жизнь

в злые, зелено-болотные краски, придавал им кипучую быстроту; Артамонову казалось, что это кипение вертит, кружит его, а в следующую минуту перебросит через какой-то край. Скрипя зубами, он вслушивался, всматривался в темный бунт внутри себя, потом кричал дьяконице:

— Ну, что молчишь? Говори что знаешь!

Женщина козой прыгала на колени к нему, она была удивительно легкая и теплая; раскрыв пред собою невидимую книгу, она читала:

— Поручика Маврина Помялова отчислила от себя, он опять проиграл в карты триста двадцать; хочет она векселя подать ко взысканию, у нее векселя на него есть. А жандарм потому жену свою держит здесь, что завел в городе любовницу, а не потому, что жена больная...

— Это все — дрянь,— говорил Артамонов.

— Дрянь, милый, и — какая дрянь!

Ее рассказы о дрянненьких былях города путали думы Артамонова, отводили их в сторону, оправдывали и укрепляли его неприязнь к скучным грешникам — горожанам. На место этих дум вставали и двигались по какому-то кругу картины буйных кутежей на ярмарке; метались неистовые люди, жадно выкатив пьяные, но никогда не сытые глаза, жгли деньги и, ничего не жалея, безумствовали всячески в лютом озлоблении плоти, стремясь к большой, ослепительно-белой на черном, бесстыдно обнаженной женщине...

Петр Артамонов молча сосал разноцветные водки, жевал скользкие, кисленькие грибы и чувствовал всем своим пьяным телом, что самое милое, жутко могучее и настоящее скрыто в ярмарочной бесстыднице, которая за деньги показывает себя голой и ради которой именитые люди теряют деньги, стыд, здоровье. А для него от всей жизни осталась вот эта черная коза.

— Раздевайся,— рычал он.— Пляши!

— Как же я без музыки-то? — говорит дьяконица, расстегиваясь.— Носкова бы позвать, охотника, он на гармонии хорошо играет...

В этих забавах время шло незаметно, иногда из потока мутных дней выскакивало что-то совершенно непостижимое: зимою пришли слухи о том, что рабочие в Петербурге хотели разрушить дворец, убить царя.

Тихон Вялов ворчал:

— Еще и церкви рассыплют. А — как же? Народ — не железный.

Летом стали говорить, что по русским морям плавает русский же корабль и стреляет из пушек по городам,— Тихон сказал:

— А — как же? Навыкли воевать.

По городу снова пошли с иконами. Воропонов в рыжем сюртуке нес портрет царя и требовал:

— Спаси, господи, люди твоя-а-а!

В этот раз он кричал еще громче и даже злее, но все-таки в его — а-а! — призыв на помощь звучал тревожно.

Житейкин, с двухствольным ружьем в руках, пьяный, без шапки, сверкая багровой лысиной, шел во главе своих кожевников и неистово скандалил, орал:

— Ребята! Не дадим жидам Россию! Чья Россия? Наша!

— Наша,— согласно кричали кожевники, тоже не трезвые, и, встречая ткачей, врагов своих, затевали с ними драки, ударили палкой доктора Яковлева, бросили в Оку старика аптекаря; Житейкин долго гонялся по городу за сыном его, дважды разрядил вслед ему ружье, но — не попал, а только поранил дробью спину портного Брускова.

Фабрика перестала работать, молодежь, засучивая рукава рубах, бросилась в город, несмотря на уговоры Мирона и других разумных людей, несмотря на крики и плач баб.

Фабрика опустела, обездушела и точно сморщилась под ветром, который тоже бунтовал, выл и свистел, брызгая ледяным дождем, лепил на трубу липкий снег; потом сдувал его, смывал.

Сидя у окна, Артамонов-старший тупо смотрел, как из города и в город муравьями бегут темненькие фигурки мужчин и женщин; сквозь стекла были слышны крики, и казалось, что людям весело. У ворот визжала гармоника, в толпе рабочих хромой кочегар Васька Кротов пел:

Стало тесно на земле:
Деремся с японами!
Они бьют нас по скуле,
А мы их — иконами!

Ветер приносил из города ворчливый шумок, точно там кипел огромный самовар, наполненный целым озером воды. На двор въехала лошадь Алексея, на козлах экипажа сидел одноглазый фельдшер Морозов; выскочила Ольга, окутанная шалью. Артамонов испугался и, забыв о боли в ногах, вскочил, пошел встречу ей.

— Что случилось?

Встряхиваясь, точно курица, она сказала:

— Окна побили у нас кожевники...

Артамонов, уступая ей дорогу, усмехнулся, проворчал:

— Ну, вот... Доболтались! Орали на меня, а — вот оно как! Нет, царь...

И вдруг он услыхал гневный, необычный для Ольги, громкий ответ:

— Отстань! Нечестный человек это, твой царь!

— Много ты понимаешь в царях,— смущенно сказал он, дотрагиваясь до своего уха.

Его изумил гнев маленькой старушки в очках, всегда тихой, никого не осуждавшей, в ее словах было что-то поражающе искреннее, хотя и ненужное, жалкое, как мышиный писк против быка, который наступил на хвост мыши, не видя этого и не желая. Артамонов сел в свое кресло, задумался.

Он давно, несколько недель не видел Ольгу, избегал встреч с ее сыном, поссорившись с ним. Еще в конце лета, когда Петр Артамонов лежал в постели с отекшими ногами, к нему явился торжественный и потный Воропонов и, шлепая тяжелыми, синими губами, предложил ему подписать телеграмму царю — просьбу о том, чтоб царь никому не уступал своей власти. Артамонова очень удивила дерзкая затея городского головы, но он подписал бумагу, уверенный, что это будет неприятно брату, Мирону, да, наверное, и Воропонов получит хороший выговор из Петербурга: не суйся, дурак толстогубый, не в свое дело, не заносись высоко!

Положив бумагу в карман сюртука, застегнувшись на все пуговицы, Воропонов начал жаловаться на Алексея, Мирона, доктора, на всех людей, которые, подзуживаемы евреями, одни — слепо, другие — своекорыстно, идут против царя; Артамонов-старший слушал его жалобы почти с удовольствием, поддакивал, и только когда синие губы Воропонова начали злобно говорить о Вере Поповой, он строго сказал:

— Вера Николаевна тут ни при чем.

— Как это — ни при чем? Нам известно...

— Ничего тебе не известно.

— Доиграетесь до беды,— пригрозил голова и ушел.

А вечером на Артамонова собаками бросились племянник, дочь, бросились и залаяли, не щадя его старость.

— Что вы делаете, папаша? — кричала Татьяна, и на ее некрасивом лице прыгали сумасшедшие глаза. Яков стоял у окна, барабанил по стеклу пальцами. Артамонову казалось, что и сын против него, а Мирон едко спрашивал:

— Вы читали, что там написано в этой бумаге?

— Не читал! — сказал Артамонов.— Не читал, а — знаю: написано, чтоб щенкам воли не давать!

Ему было приятно видеть, как сердятся Мирон и Татьяна, но молчание Якова — смущало, он верил деловитости сына, догадывался, что поступил против его интересов, а вовлечь Якова в этот спор, спросить: как он думает? — не позволяло самолюбие. Он лежал и огрызался, рычал, а Мирон долбил, качая носом:

— Поймите: царь окружен шайкой мошенников, и нужно, чтоб их сменили честные люди...

Артамонов знал, что именно Мирон метит в честные люди и что отец его ездил в Москву хлопотать, чтоб Мирона кто-то там назначил кандидатом в государеву думу. И смешно и опасно представить этого журавля-племянника близко к царю. Вдруг вбежал растрепанный, расстегнутый Алексей и запрыгал, затрещал:

— Что ж ты делаешь, безумный человек?

Он кричал, как на служащего.

— К черту! — взревел Артамонов-старший.— Учить меня? Провалитесь все к черту! Вон!..

Он даже сам был испуган внезапным взрывом своего гнева.

Теперь, сидя в углу, слушая беззлобный рассказ Ольги о бунте в городе, он вспоминал эту ссору и пытался понять: кто же прав, он или эти люди?

Его особенно смутили детски гневные слова Ольги. Вот она уже спокойно, даже умиленно говорит:

— Милые люди ткачи у нас! Как они живо прогнали воропоновских рабочих и кожевников. Остались там, охраняют дом...

А Наталья, очень испуганная, сердито хныкает:

— От вашего дома и пошла смута. Так и надо вам! Всё — от вас.

Явился Мирон и, не здороваясь, расхаживая по комнате пружинной походкой, стал грозить:

— Все эти Воропоновы и Житейкины дорого заплатят за то, что обучают народ бунтовать. Это им даром не пройдет, это отзовется! Вполне достаточно уроков мятежа со стороны друзей Ильи Петровича Артамонова, а если еще и эти начнут...

Артамонов-старший промолчал.

После скандала с петицией Воропонова Мирон стал для него окончательно, непримиримо противен, но он видел, что

фабрика всецело в руках этого человека, Мирон ведет дело ловко, уверенно, рабочие слушают его или боятся; они ведут себя смирнее городских.

Ветер притих, зарылся в густой снег. Снег падал тяжело и прямо, густыми хлопьями, он занавесил окна белым занавесом, на дворе ничего не видно. Никто не говорил с Артамоновым-старшим, и он чувствовал, что все, кроме жены, считают его виновным во всем: в бунтах, в дурной погоде, в том, что царь ведет себя как-то неумело.

— А где же Яша? — тревожно спросила мать.— Яша-то, говорю, где?

Мирон брезгливо сморщил нос и сказал, не глядя на тетку:

— Вероятно, спрятался в городе, в своем курятнике.

— Чего? В каком? — пугливо забормотала Наталья.

Артамонов подумал:

«Пожалуй, не знает, дура, что у Якова любовница».

И вдруг сказал твердо:

— Ну, вот что: живите, как хотите! Делайте. Да. Действительно — не понимаю я. Стар. А — тут... Тут черт играет. Жил — жил — ничего не понимаю...

IV

До двадцати шести лет Яков Артамонов жил хорошо, спокойно, не испытывая никаких особенных неприятностей, но затем время, враг людей, которые любят спокойную жизнь, начало играть с Яковом запутанную, бесчестную игру. Началось это в апреле, ночью, года три спустя после мятежей, встряхнувших терпеливый народ.

Яков лежал на диване и курил, наслаждаясь ощущением насыщенности, исключающей все желания; это ощущение он ценил выше всего в жизни, видя в нем весь ее смысл. Оно являлось одинаково приятным и после вкусного обеда, и после обладания женщиной.

Женщина, кругленькая и стройная, стояла среди комнаты у стола, задумчиво глядя на сердитый, лиловый огонь спиртовки под кофейником; ее голые руки и детское лицо, освещенные огнем лампы под красным абажуром, окрашивались в цвет вкусно поджаренной корочки пирога. Растрепанные темные волосы картинно осыпали шею и плечи. На голом теле Полины золотисто-желтый бухарский халат, на ногах — зеленые, сафьяновые туфли. В ней есть что-то очень легкое, не

русское; у нее милая рожица подростка-мальчишки; пухлые губы, задорные глаза, круглые, как вишни; даже в этот час, когда Яков сыт ею, она приятна ему. Она, конечно, несравнимо лучше всех девиц и женщин, которых он знал, и была бы совершенно хороша, если б не ее глупый характер.

— Я не хочу кофею, Апельсинчик,— сказал Яков, сквозь густую пелену дыма папиросы; Полина, не взглянув на него, спросила:

— А — я?

— Не знаю, чего ты хочешь,— ответил Яков, устало зевнув.

— Нет, знаешь,— схватив его слова на лету и встряхнув головою, заговорила женщина ломким голосом. Послушав минуту, две ее царапающие, крючковатые слова, Яков сел, бросил папиросу на пол и, надевая ботинки, сказал, вздохнув:

— Не понимаю твоей привычки портить хорошее настроение! Ведь ты знаешь: я не могу жениться, пока отец не помер...

Тут, как всегда, Полина осыпала его обидными словами:

— Конечно, тебе, паук, только бы хорошее настроение! Я знаю: ты для хорошего настроения готов продать меня татарину, старьевщику, да! Ты — бесчестный человек...

Яков особенно не любил, когда она именовала его пауком, в ласковые минуты у нее было для него другое забавное имя — Соленький. И ему казалось, что уж сегодня-то она могла бы воздержаться от ссоры: за два часа пред этим он дал ей сто рублей.

— Криком ты ничего не добьешься,— спокойно предупредил он ее, надев шляпу, протягивая руку.— До свидания!

— Свинья! И опять окурков на пол набросал...

По улице метался сырой ветер, тени облаков ползали по земле, как бы желая вытереть лужи, на минуту выглядывала луна, и вода в лужах, покрытая тонким льдом, блестела медью. В этот год зима упрямо не уступала место весне; еще вчера густо падал снег.

Яков Артамонов шел не торопясь, сунув руки в карманы, держа под мышкой тяжелую палку, и думал о том, как необъяснимо, странно глупы люди. Что нужно милой дурочке Полине? Она живет спокойно, не имея никаких забот, получает немало подарков, красиво одевается, тратит около ста рублей в месяц, Яков знал, чувствовал, что он ей нравится. Ну, что же еще? Почему она хочет венчаться?

«Глупо. как мышь в банке варенья»,— заключил он любимой, им самим придуманной поговоркой. Жизнь казалась ему

простой, не требующей от человека ничего, кроме того, чем он уже обладает. В сущности, ведь ясно: все люди стремятся к одному и тому же, к полноте покоя; суета дня — это только мало приятное введение к тишине ночи, к тем часам, когда остаешься один на один с женщиной, а потом, приятно утомленный ее ласками, спишь без сновидений. В этом — все действительно значительное и настоящее. Люди — глупы уже потому, что почти все они, скрыто или явно, считают себя умнее его; они выдумывают очень много лишнего; возможно, что они делают это по силе какой-то слепоты, каждый хочет отличиться от всех других, боясь потерять себя в людях, боясь не видеть себя.

Глуп Илья, запутавшийся в книгах еще тогда, когда он учился в гимназии, а теперь заболтавшийся где-то среди социалистов. Много обидного видел от него Яков, а теперь вот, недавно, пришлось посылать Илье денег куда-то в Сибирь. Невыносимо, хотя и смешно, глупа мать; еще более невыносимо и тяжко глуп угрюмый отец, старый медведь, не умеющий жить с людями, пьяный и грязный. Смешон суетливый попрыгун дядя Алексей; ему хочется попасть в Государственную думу, ради этого он жадно питается газетами, стал фальшиво ласков со всеми в городе и заигрывает с рабочими фабрики, точно старая, распутная баба. Особенно же и как-то подавляюще, страшно глуп этот носатый дятел Мирон; считая себя самым отличным умником в России, он, кажется, видит себя в будущем министром, и уже теперь не скрывает, что только ему одному ясно, что надо делать, как все люди должны думать. Он тоже старается притереться к рабочим, устраивает для них различные забавы, организовал команды футболистов, завел библиотеку, он хочет прикормить волков морковью.

Рабочие ткут великолепное полотно, одеваясь в лохмотья, живя в грязи, пьянствуя; они в массе околдованы тоже какой-то особенной глупостью, дерзко открытой, лишенной даже той простенькой, хозяйственной хитрости, которая есть у каждого мужика. О рабочих Якову Артамонову приходилось думать больше, чем о всем другом, потому что он ежедневно сталкивался с ними и давно, еще в юности, они внушили ему чувство вражды,— он имел тогда немало резких столкновений с молодыми ткачами из-за девиц, и до сего дня некоторые из его соперников, видимо, не забыли старых обид. Когда он был еще безбородым, в него дважды по ночам бросали камнями. Матери тогда не однажды приходилось откупаться деньгами от скандалов и бабьего визга, при этом она смешно уговаривала его:

— Что уж это ты, как петух! Подождал бы, когда женишься, или уж заведи одну и — живи! Пожалуются на тебя отцу, так он тебя, как Илью, прогонит...

За два, три мятежных года Яков не заметил ничего особенно опасного на фабрике, но речи Мирона, тревожные вздохи дяди Алексея, газеты, которые Артамонов-младший не любил читать, но которые с навязчивой услужливостью и нескрываемой, злорадной угрозой рассказывали о рабочем движении, печатали речи представителей рабочих в Думе,— все это внушало Якову чувство вражды к людям фабрики, обидное чувство зависимости от них. Ему казалось, что он уже научился искусно скрывать это чувство под мелкой уступчивостью их требованиям, под улыбками и шуточками. Но, в общем, все шло не плохо, хотя иногда внезапно охватывало и стесняло какое-то смущение, как будто он, Яков Артамонов, хозяин, живет в гостях у людей, которые работают на него, давно живет и надоел им, они, скучно помалкивая, смотрят на него так, точно хотят сказать:

«Что ж ты не уходишь? Пора!»

В часы, когда он испытывал это, у него являлось смутное предчувствие, что на фабрике скрыто и невидимо тлеет, дымится что-то крайне опасное для него, лично для него.

Яков был уверен, что человек — прост, что всего милее ему — простота и сам он, человек, никаких тревожных мыслей не выдумывает, не носит в себе. Эти угарные мысли живут где-то вне человека, и, заражаясь ими, он становится тревожно непонятным. Лучше не знать, не раздувать эти чадные мысли. Но, будучи враждебен этим мыслям, Яков чувствовал их наличие вне себя и видел, что они, не развязывая тугих узлов всеобщей глупости, только путают все то простое, ясное, чем он любил жить.

Умнее всех людей, которых он знал, ему казался старик Тихон Вялов; наблюдая его спокойное отношение к людям, его милостивую работу, Яков завидовал дворнику. Тихон даже спал умно, прижав ухо к подушке, к земле, как будто подслушивая что-то.

Он спросил старика:

— Ты сны видишь?

— Зачем? Я не баба,— сказал Тихон, и под словами его Яков почувствовал что-то густое, устоявшееся, непоколебимо сильное.

«Бабьи сны»,— думал Артамонов-младший, слушая споры и речи в доме дяди Алексея, думал и внутренне усмехался.

Вообще же он думал трудно, а задумываясь, двигался тяжело, как бы неся большую тяжесть, и, склонив голову, смотрел под ноги. Так шел он и в ту ночь от Полины; поэтому и не заметил, откуда явилась пред ним приземистая, серая фигура, высоко взмахнула рукою. Яков быстро опустился на колено, тотчас выхватил револьвер из кармана пальто, ткнул в ногу нападавшего человека, выстрелил; выстрел был глух и слаб, но человек отскочил, ударился плечом о забор, замычал и съехал по забору на землю.

Лишь после этого Яков почувствовал, что он смертельно испуган, испуган так, что хотел закричать и не мог; руки его дрожали и ноги не послушались, когда он хотел встать с колен. В двух шагах от него возился на земле, тоже пытаясь встать, этот человек, без шапки, с курчавой головою.

— Застрелю, сволочь,— хрипло сказал Яков, вытягивая руку с револьвером,— человек повернул к нему широкое лицо и пробормотал:

— Застрелили уж...

Тут Яков узнал его, тоже забормотал изумленно:

— Носков? Ах, подлец! Ты?

Страх Якова быстро уступал чувству, близкому радости, это чувство было вызвано не только сознанием, что он счастливо отразил нападение, но и тем, что нападавший оказался не рабочим с фабрики, как думал Яков, а чужим человеком. Это — Носков, охотник и гармонист, игравший на свадьбах, одинокий человек; он жил на квартире у дьяконицы Параклитовой; о нем до этой ночи никто в городе не говорил ничего худого.

— Так вот чем ты занимаешься? — сказал Яков и встал на ноги, оглядываясь; было тихо, только ветер встряхивал сучки деревьев над забором.

— А — чем я занимаюсь? — вдруг громко спросил Носков.— Я пошутить хотел, попугать вас, больше ничего! А вы сразу — бац! За это — не похвалят, глядите! Я сам испугался...

— Ах, вот как? — насмешливо, тоном победителя, сказал Артамонов.— Ну, вставай, идем в полицию.

— Идти я не могу, вы меня изувечили.

Носков поднял шапку и, глядя внутрь ее, прибавил:

— А полиции я не боюсь.

— Ну, там — увидим. Вставай!

— Не боюсь,— повторил Носков.— Чем вы докажете, что я на вас напал, а не вы на меня, с испуга? Это — раз!

— Так. А — два? — спросил Яков, усмехнувшись, но несколько удивляясь спокойствию Носкова.

— Есть и два. Я для вас человек полезный.

— Это — сказка. Это из сказки!

И, направив револьвер в лицо гармониста, Яков с внезапной злостью пригрозил:

— Вот я тебе башку размозжу!

Носков поднял глаза и, снова опустив их в шапку, сказал внушительно:

— Не затевайте скандала. Доказать вы ничего не можете, хотя и богатый. Я говорю: пошутить хотел. Я папашу вашего знаю, много раз на гармони играл ему.

Он резким жестом взбросил шапку на голову, наклонился и стал приподнимать штанину, мыча сквозь зубы, потом, вынув из кармана платок, начал перевязывать ногу, раненную выше колена. Он все время что-то бормотал невнятно, но Яков не слушал его слов, вновь обескураженный странным поведением неудачного грабителя.

С необыкновенной для него быстротой Яков Артамонов соображал: конечно, надо оставить Носкова тут у забора, идти в город, позвать ночного сторожа, чтоб он караулил раненого, затем идти в полицию, заявить о нападении. Начнется следствие. Носков будет рассказывать о кутежах отца у дьяконицы. Может быть, у него есть друзья, такие же головорезы, они, возможно, попытаются отомстить. Но нельзя же оставить этого человека без возмездия...

Ночь становилась все холодней; рука, державшая револьвер, ныла от холода; до полицейского управления — далеко, там, конечно, все спят. Яков сердито сопел, не зная, как решить, сожалея, что сразу не застрелил этого коренастого парня, с такими кривыми ногами, как будто он всю жизнь сидел верхом на бочке. И вдруг он услыхал слова, поразившие его своей неожиданностью:

— Я вам прямо скажу, хотя это — секрет,— говорил Носков, все возясь с ногою своей.— Я тут для вашей пользы живу, для наблюдения за рабочими вашими. Я, может быть, нарочно сказал, что хотел напугать вас, а мне на самом-то деле надо было схватить одного человека, и я опознался...

— Ч-черт,— сказал Яков.— Как?

— Да, вот так... Вы — не знаете, а у дьяконицы в бане собираются социалисты и опять говорят о бунте, книжки читают...

— Врешь,— тихо сказал Яков, веря ему.— А — кто? Кто собирается?

— Этого я не могу сказать. Арестуют, узнаете.

Носков, держась за доски забора, встал и попросил:

— Дайте мне палку, без нее я не дойду...

Наклонясь, Яков поднял палку, подал ему и оглянулся, тихо спрашивая:

— Но тогда как же ты, зачем же вы набросились на меня?

— Я — не набрасывался. Я — опознался. Мне нужно было не вас, а другого. Вы все это оставьте. Ошибка. Вы увидите скоро, что я говорю правду. Должны дать мне денег на лечение ноги. Вот что...

И, придерживаясь за забор, опираясь на палку, Носков начал медленно переставлять кривые ноги, удаляясь прочь от огородов, в сторону темных домиков окраины, шел и как бы разгонял холодные тени облаков, а отойдя шагов десять, позвал негромко:

— Яков Петрович!

Яков подошел к нему очень быстро, Носков сказал:

— Вы об этом случае — никому, ни словечка! А то... Сами понимаете.

Он взмахнул палкой и пошел дальше, оставив Якова отупевшим. Приходилось думать сразу о многом, и нужно было сейчас же решить: так ли он поступил, как следовало? Конечно, если Носков занимается наблюдением за социалистами, это полезный, даже необходимый человек, а — если он наврал, обманул, чтоб выиграть время и потом отомстить за свою неудачу и за выстрел? Он врет, что опознался и что хотел напугать, врет, это ясно. А вдруг он подкуплен рабочими, чтобы убить? Среди ткачей на фабрике была большая группа буянов, озорников, но социалистов среди них трудно вообразить. Наиболее солидные рабочие, как Седов, Крикунов, Маслов и другие, сами недавно требовали, чтоб контора рассчитала одного из наиболее неукротимых безобразников. Нет, Носков, наверное, обманул. Нужно ли рассказать об этом Мирону?

Яков не мог представить, что будет, если рассказать о Носкове Мирону; но, разумеется, брат начнет подробно допрашивать его, как судья, в чем-то обвинит и, наверное, так или иначе, высмеет. Если Носков шпион — это, вероятно, известно Мирону. И, наконец, все-таки не совсем ясно — кто ошибся: Носков или он, Яков? Носков сказал:

«Скоро увидите, что я говорю правду».

Он смотрел вслед охотнику до поры, пока тот не исчез в ночных тенях. Как будто все было просто и понятно: Носков напал с явной целью — ограбить. Яков выстрелил в него, а затем начиналось что-то тревожно запутанное, похожее на дурной сон. Необыкновенно идет Носков вдоль забора, и необыкновенно густыми лохмотьями ползут за ним тени; Яков впервые видел, чтоб тени так тяжко тащились за человеком.

Задерганный думами, устав от них, Артамонов-младший решил молчать и ждать. Думы о Носкове не оставляли его, он хмурился, чувствовал себя больным, и в обед, когда рабочие выходили из корпусов, он, стоя у окна в конторе, присматривался к ним, стараясь догадаться: кто из них социалист? Неужели — кочегар Васька, чумазый, хромой, научившийся у плотника Серафима ловко складывать насмешливые частушки?

Через несколько дней Артамонов-младший, проезжая застоявшуюся лошадь, увидал на опушке леса жандарма Нестеренко, в шведской куртке, в длинных сапогах, с ружьем в руке и туго набитым птицей ягдташем на боку. Нестеренко стоял лицом к лесу, спиною к дороге и, наклоня голову, подняв руки к лицу, раскуривал папиросу; его рыжую кожаную спину освещало солнце, и спина казалась железной. Яков тотчас решил, что нужно делать, подъехал к нему, торопливо поздоровался:

— А я не знал, что вы здесь!

— Третий день; жене моей, батенька, все хуже, да-с!

Это печальное сведение Нестеренко сообщил очень оживленно и тотчас, хлопнув рукою по ягдташу, прибавил:

— А я — вот! Не плохо, а?

— Вы знаете Носкова, охотника? — спросил Яков негромко; рыжеватые брови офицера удивленно вползли кверху, его китайские усы пошевелились, он придержал один ус, сощурился, глядя в небо, все это вызвало у Якова догадку: «Соврет. Но — как?»

— Носков? Кто это?

— Охотник. Курчавый, кривоногий...

— Да? Как будто видел такого в лесу. Скверное ружьишко... А — что?

Теперь офицер смотрел в лицо Якова пристальным, спрашивающим взглядом серых глаз с какой-то светленькой искрой в центре зрачка; Яков быстро рассказал ему о Носкове. Нестеренко выслушал его, глядя в землю, забивая в нее при-

кладом ружья сосновую шишку, выслушал и спросил, не подняв глаз:

— Почему же вы не заявили полиции? Это — ее дело, батенька, и это ваша обязанность.

— Я же говорю: он будто бы шпионит за рабочими, а это — ваше дело...

— Так,— сказал жандарм, гася папиросу о ствол ружья, и, снова глядя прищуренными глазами прямо в лицо Якова, внушительно начал говорить что-то не совсем понятное; выходило, что Яков поступил незаконно, скрыв от полиции попытку грабежа, но что теперь уж заявлять об этом поздно.

— Если б вы его тогда же сволокли в полицейское управление, ну — дело ясное! Но и то не совсем. А теперь как вы докажете, что он нападал на вас? Ранен? Ба! В человека можно выстрелить с испуга... случайно, по неосторожности...

Яков чувствовал, что Нестеренко хитрит, путает что-то, даже как бы хочет запугать и отодвинуть его или себя в сторону от этой истории; а когда офицер сказал о возможности выстрела с испуга, подозрение Якова упрочилось:

«Врет».

— Да-с, батенька. За то, что он выдает себя каким-то наблюдателем, этот гусь, конечно, поплатится. Мы спросим его, что он знает.

И, положив руку на плечо Якова, офицер сказал:

— Вот что: вы мне дайте честное слово, что все это останется между нами. Это — в ваших интересах, понимаете? Итак: честное слово?

— Конечно. Пожалуйста.

— Вы не скажете об этом ни дяде, ни Мирону Алексеевичу,— вы действительно не говорили еще им? Ну, вот. Предоставим это дело его внутренней логике. И — никому ни звука! Так? Охотник сам себя ранил, вы тут ни при чем.

Яков улыбался: с ним говорил другой человек, веселый, добродушный.

— До свидания,— говорил он.— Помните: честное слово!

Артамонов-младший возвратился домой несколько успокоенный; вечером дядя предложил ему съездить в губернию, он уехал с удовольствием, а через восемь дней, возвратясь домой и сидя за обедом у дяди, с новой тревогой слушал рассказ Мирона:

— Нестеренко оказался не таким бездельником, как я думал, он и в городе поймал троих: учителя Модестова и еще каких-то.

— А у нас? — спросил Яков.

— У нас: Седова, Крикунова, Абрамова и пятерых помоложе. Хотя арестовывать приезжали жандармы из губернии, но, разумеется, это дело Нестеренко, и, таким образом, жена его хворает с явной пользой для нас. Да, он — не глуп. Боится, чтоб его не кокнули...

— Теперь — перестали убивать,— заметил Алексей.

— Н-ну,— сказал Мирон.— Да! В городе арестован еще этот, охотник...

— Носков? — тихо, испуганно спросил Яков.

— Не знаю. Он жил у дьяконицы, у нее же в бане устраивали свои конгрессы эти революционеры. А в доме у нее — и с нею — забавлялся твой отец, как тебе известно. Совпадение — дрянненькое...

— Да уж,— сказал Алексей, мотнув лысой головою.— Что с ним делать?

У Якова потемнело в глазах, и он уже не мог слушать, о чем говорит дядя с братом. Он думал: Носков арестован; ясно, что он тоже социалист, а не грабитель, и что это рабочие приказали ему убить или избить хозяина; рабочие, которых он, Яков, считал наиболее солидными, спокойными! Седов, всегда чисто одетый и уже немолодой; вежливый, веселый слесарь Крикунов; приятный Абрамов, певец и ловкий, на все руки, работник. Можно ли было думать, что эти люди тоже враги его?

Ему показалось также, что за эти дни в доме дяди стало еще более крикливо и суетно. Золотозубый доктор Яковлев, который никогда ни о ком, ни о чем не говорил хорошо, а на все смотрел издали, чужими глазами, посмеиваясь, стал еще более заметен и как-то угрожающе шелестел газетами.

— Да,— говорил он, сверкая зубами,— шевелимся, просыпаемся! Люди становятся похожи на обленившуюся прислугу, которая, узнав о внезапном, не ожиданном ею возвращении хозяина и боясь расчета, торопливо, нахлестанная испугом, метет, чистит, хочет привести в порядок запущенный дом.

— Двусмысленно говорите вы, доктор,— заметил Мирон, поморщившись.— Этот ваш анархизм, скептицизм...

Но доктор говорил все громче, речи его становились длиннее, слова внушали Якову тревогу. Казалось, что и все чего-то боятся, грозят друг другу несчастиями, взаимно раздувают свои страхи, можно было думать даже так, что люди боятся именно того, что они сами же и делают,— своих мыслей и слов.

В этом Яков видел нарастание всеобщей глупости, сам же он жил страхом не выдуманным, а вполне реальным, всей кожей чувствуя, что ему на шею накинута петля, невидимая, но все более тугая и влекущая его навстречу большой, неотвратимой беде.

Его страх возрос еще более месяца через два, когда снова в городе явился Носков, а на фабрике — Абрамов, гладко обритый, желтый и худой.

— Возьмете меня, старика? — спросил он, улыбаясь; Яков не посмел отказать ему.

— Что, трудно в тюрьме? — спросил он. Абрамов ответил все с тою же улыбкой:

— Тесно очень! Если б тиф не помогал начальству,— не знаю, куда бы оно сажало народ!

«Да,— подумал Яков, проводив ткача,— ты улыбаешься, а я знаю, что ты думаешь...»

В тот же вечер Мирон из-за Абрамова устроил ему оскорбительную сцену, почти накричал на него, даже топнул ногою, как на лакея:

— Ты с ума сошел? — кричал он, и нос его покраснел со зла.— Завтра же дай расчет...

А через несколько дней, когда он утром купался в Оке, его застигли поручик Маврин и Нестеренко, они подъехали в лодке, усатой от множества удилищ, хладнокровный поручик поздоровался с Яковом небрежным кивком головы, молча, и тотчас же отъехал на середину реки, а Нестеренко, раздеваясь, тихо сказал:

— Вы напрасно не приняли Абрамова, очень жалею, что не мог предупредить вас.

— Это — Мирон,— пробормотал Артамонов-младший, чувствуя, что слова офицера крепко пахнут спиртом.

— Да? — спросил Нестеренко.— Это не от вас зависело?

— Нет.

— Жаль. Парень этот был бы полезен. Приманка. Живец.

И, глядя на Якова глазами соучастника, голый, золотистый на солнце, блестя кожей, как сазан чешуей, офицер снова спросил:

— А приятеля вашего — видели? Охотника?

Нестеренко засмеялся тихим смехом самодовольного человека.

— Знаете, что его побудило охотиться на вас? Ружье хотел купить, двустволку. Все — страсти, батенька, страсти руководят людями, да-с! Он, охотник, будет очень полезен теперь,

когда я его крепко держу за горло благодаря его ошибке с вами...

— Какая же ошибка, когда вы говорите...

— Ошибка, сударь мой, ошибка! — настойчиво повторил офицер и, разбрызгивая воду, крестя голую грудь, пошел в реку, шагая, как лошадь.

«Черт вас всех побери»,— уныло подумал Яков.

Вдруг — точно дверь закрыли в комнату, где был шум,— пришла смерть.

Среди ночи Якова разбудила, всхлипывая, мать:

— Вставай скорее, Тихон прискакал, дядя Алексей скончался!

Яков вскочил, забормотал:

— Как же это! Он и не хворал ведь...

Пошатываясь, тяжко дыша, в дверь влез отец.

— Тихон,— ворчал он.— Где Тихон, там уж добра не жди! Вот, Яков, а? Вдруг...

Босый, в халате, накинутом на ночное белье, он дергал себя за ухо, оглядывался, точно попал в незнакомое место, и ухал:

— Ух...

— Как же это? — недоумевал Яков.

— Без покаяния,— сказала мать, похожая на огромный мешок муки.

Поехали на бричке; Яков сидел за кучера, глядя, как впереди подпрыгивает на коне Тихон, а сбоку от него по дороге стелется, пляшет тень, точно пытаясь зарыться в землю.

Ольга встретила их на дворе, она ходила от сарая к воротам туда и обратно, в белой юбке, в ночной кофте, при свете луны она казалась синеватой, прозрачной, и было странно видеть, что от ее фигуры на лысый булыжник двора падает густая тень.

— Вот и кончилась моя жизнь,— тихонько сказала она. Черная собака Кучум неотвязно шагала вслед за нею.

На скамье, под окном кухни, сидел согнувшись Мирон; в одной его руке дымилась папироса, другою он раскачивал очки свои, блестели стекла, тонкие золотые ниточки сверкали в воздухе; без очков нос Мирона казался еще больше. Яков молча сел рядом с ним, а отец, стоя посреди двора, смотрел в открытое окно, как нищий, ожидая милостыни. Ольга возвышенным голосом рассказывала Наталье, глядя в небо:

— Не заметила я, когда... Вдруг плечико у него стало смертно холодное, ротик открылся. Не успел, родной, сказать мне последнее слово свое. Вчера пожаловался: сердце колет.

Рассказывала Ольга тихо, и от слов ее тоже как будто падали тени.

Мирон, бросив погасшую папиросу, боднул Якова головою в плечо и тихонько провыл:

— Т-ты не знаешь, какой он хороший...

— Что ж делать? — ответил Яков, не находя иных слов. Надобно было сказать что-нибудь и тетке, а — что скажешь? Он замолчал, глядя в землю, шаркая ногою по ней.

Отец, крякнув, осторожно пошел в дом, за ним на цыпочках пошел и Яков. Дядя лежал накрытый простынею, на голове его торчал рогами узел платка, которым была подвязана челюсть, большие пальцы ног так туго натянули простыню, точно пытались прорвать ее. Луна, обтаявшая с одного бока, светло смотрела в окно, шевелилась кисея занавески; на дворе взвыл Кучум, и, как бы отвечая ему, Артамонов-старший сказал ненужно громко, размашисто крестясь:

— Жил легко и помер легко...

Из окна Яков видел, что теперь по двору рядом с теткой ходит Вера Попова, вся в черном, как монахиня, и Ольга снова рассказывает возвышенным голосом:

— Во сне скончался...

— Не дури! — тихо крикнул Вялов; он, вытирая лошадь клочками сена, мотал головою, не давая коню схватить губами его ухо; Артамонов-старший тоже взглянул в окно, проворчал:

— Орет, дурак; ничего не понимает...

«Ничего не надо говорить»,— подумал Яков, выходя на крыльцо, и стал смотреть, как тени черной и белой женщин стирают пыль с камней; камни становятся все светлее. Мать шепталась с Тихоном, он согласно кивал головою, конь тоже соглашался; в глазу его светилось медное пятно. Вышел из дома отец, мать сказала ему:

— Никите Ильичу депешу бы послать, Тихон знает, где он.

— Тихон знает! — сердито повторил отец.— Пошли, Мирон.

Мирон встал, пошел, задел плечом косяк двери и погладил косяк ладонью.

— Илье тоже пошли,— сказал Артамонов-старший вслед ему; из темной дыры, прорезанной в стене, Мирон ответил:

«Дело Артамоновых»
С. Герасимов

— Илья не может приехать.

— Ведь я с ним тридцать лет прожила,— рассказывала Ольга и точно сама удивлялась тому, что говорит.— Да еще до венца четыре года дружились. Как же теперь я буду?

Отец подошел к Якову.

— Илья — где?

— Не знаю.

— Врешь?

— Не время теперь говорить об Илье, папаша.

Во двор поспешно вошел доктор Яковлев, спросил:

— В спальне?

«Дурак,— подумал Яков.— Ведь не воскресишь».

Его угнетала невозможность пропустить мимо себя эти часы уныния. Все кругом было тягостно, ненужно: люди, их слова, рыжий конь, лоснившийся в лунном свете, как бронза, и эта черная, молча скорбевшая собака. Ему казалось, что тетка Ольга хвастается тем, как хорошо она жила с мужем; мать, в углу двора, всхлипывала как-то распущенно, фальшиво, у отца остановились глаза, одеревенело лицо, и все было хуже, тягостнее, чем следовало быть.

В день похорон дяди Алексея на кладбище, когда гроб уже опустили в могилу и бросали на него горстями желтый песок, явился дядя Никита.

«Вот еще»,— подумал Яков, разглядывая угловатую фигуру монаха, прислонившуюся к стволу березы, им же и посаженной.

— Опоздал ты,— сказал ему отец, подходя к брату, вытирая слезы с лица; монах втянул, как черепаха, голову свою в горб. Вид у него был нищий; ряса выгорела на солнце, клобук принял окраску старого, жестяного ведра, сапоги стоптаны. Пыльное его лицо опухло, он смотрел мутными глазами в спины людей, окружавших могилу, и что-то говорил отцу неслышным голосом, дрожала серая бороденка. Яков исподлобья оглянулся,— монаха любопытно щупали десятки глаз, наверное, люди смотрят на уродливого брата и дядю богатых людей и ждут, не случится ли что-нибудь скандальное? Яков знал, что город убежден: Артамоновы спрятали горбуна в монастырь для того, чтоб воспользоваться его частью наследства после отца.

Толстый, благодушный священник отец Николай тенористо уговаривал Ольгу:

— Не станем оскорблять стенанием и плачем господа бога нашего, ибо воля его...

А Ольга отвечала возвышенным голосом:

— Да ведь я не плачу, не жалуюсь я!

Руки у нее дрожали, она странно судорожными жестами ошаривала юбку свою, хотела спрятать в карман мокрый от слез комочек платка.

Тихон Вялов умело засыпал могилу, помогая сторожу кладбища, у могилы, остолбенело вытянувшись, стоял Мирон, а горбатый монах тихо, жалобно говорил Наталье:

— Ой, какая ты стала,— не узнать!

И, ткнув пальцем в передний горб свой, прибавил неуместно, ненужно:

— Меня — нельзя не узнать. Это — твой, Яков? А тот, высокий, Алешин, Мирон? Так, так! Ну, пойдемте, пойдемте...

Яков остался на кладбище. За минуту пред этим он увидал в толпе рабочих Носкова, охотник прошел мимо его рядом с хромым кочегаром Васькой и, проходя, взглянул в лицо Якова нехорошим, спрашивающим взглядом. О чем думает этот человек? Конечно, он не может думать безвредно о человеке, который стрелял в него, мог убить.

Подошел Тихон, стряхивая ладонью песок с поддевки, и сказал:

— Ведь вот, уж как старался Алексей Ильич, а все-таки... И Никита Ильич слабенек...

— Тут есть,— вдруг сказал Яков и оборвал слова свои.

— Чего?

— Рабочие жалеют дядю.

— А — как же?

— Тут есть один — Носков, охотник,— снова начал Яков.— Я бы тебе сказал про него...

— Лошадь падет, и ту — жаль,— раздумчиво говорил Тихон.— Алексей Ильич бегом жил, с разбегу и скончался. Как ушибся обо что. А еще за день до смерти говорил мне...

Яков замолчал, поняв, что его слова не дойдут до Тихона. Он решил сказать Тихону о Носкове потому, что необходимо было сказать кому-либо о этом человеке; мысль о нем угнетала Якова более, чем все происходящее. Вчера в городе к нему откуда-то из-за угла подошел этот кривоногий, с тупым лицом солдата, снял фуражку и, глядя внутрь ее, в подкладку, сказал:

— Имею должок за вами, обещали дать на лечение ноги. К тому же и дядюшка у вас помер, так что — как бы на помин души. А у меня случай есть — замечательную гармонию могу купить для утешения вашего папаши...

Яков ошеломленно смотрел на него и молчал. Тогда Носков поучительно и настойчиво прибавил:

— И как я служу вашей пользе, против недругов России...

— Сколько? — спросил Яков.

Носков, не сразу, ответил:

— Тридцать пять рублей.

Яков дал ему деньги и быстро пошел прочь возмущенный, испуганный. «Он меня дураком считает, он думает, что я его боюсь, подлец! Нет, погоди же...»

И теперь, медленно шагая домой, Яков думал лишь о том, как ему избавиться от этого человека, несомненно желающего подвести его, как быка, под топор.

Бесконечно тянулись шумные часы поминок. Люди забавлялись, заставляя дьякона Карцева и певчих возглашать усопшему вечную память. Житейкин напился до того, что, размахивая вилкой, запел неприлично и грозно:

Бойцы вспоминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они...

Степан Барский, когда его мягкое, точно пуховая подушка, тело втискивали в экипаж, громко похвалил:

— Ну, Петр Ильич, воистину — любил ты брата! Такие поминки долго не забыть!

Яков слышал, как отец, сильно выпивший, ответил угрюмо и насмешливо:

— Ты скоро все забудешь, лопнешь скоро.

Житейкина, Барского, Воропонова и еще несколько человек почтенных горожан отец пригласил сам, против желания Мирона, и Мирон был явно возмущен этим; посидев за поминальным столом не более получаса, он встал и ушел, шагая, как журавль. Вслед за ним незаметно исчезла тетка Ольга, потом скрылся и монах, которому, видимо, надоели расспросы полупьяных людей о монастырской жизни. А отец вел себя так, как будто хотел обидеть всех людей, и все время, до конца поминок, Яков ждал, что вспыхнет ссора между отцом и горожанами.

Мать, оскорбленная тем, что за теткой Ольгой ухаживала Попова, надулась и уехала домой, а отец почему-то пожелал ночевать в кабинете дяди Алексея. Все это казалось Якову нелепо капризным, ненужным и еще более расстраивало его. Пролежав на диване часа два, тщетно ожидая сна, он вышел

на двор и под окном кухни на скамье увидал рядом с Тихоном черную фигуру монаха, странно похожего на какую-то сломанную машину. Без клобука на лысой голове монах стал меньше, шире, его заплесневелое лицо казалось детским; он держал в руке стакан, а на скамье, рядом с ним, стояла бутылка кваса.

— Это — кто? — тихонько спросил он и тотчас сам ответил:— Это — Яша. Посиди со стариками, Яша!

И, подняв стакан против луны, посмотрел на мутную влагу в нем. Луна спряталась за колокольней, окутав ее серебряным туманным светом и этим странно выдвинув из теплого сумрака ночи. Над колокольней стояли облака, точно грязные заплаты, неумело вшитые в синий бархат. Нюхая землю, по двору задумчиво ходил любимец Алексея, мордастый пес Кучум; ходил, нюхал землю и вдруг, подняв голову в небо, негромко вопросительно взвизгивал.

— Цыц, Кучум,— вполголоса сказал Тихон.

Собака подошла, сунула толстую башку в колени Тихона и провыла что-то.

— Чувствует,— заметил Яков. Ему не ответили, а он очень хотел говорить, чтоб не думать.

— Понимает, говорю,— настойчиво повторил он,— дворник тихо отозвался:

— А — как же?

— В Суздале монастырская собака воров по запаху узнавала,— вспомнил монах.

— О чем беседуете? — спросил Яков; монах выпил квас, вытер рот рукавом рясы и беззубо заговорил, точно с лестницы идя:

— Тихон вот замечает: опять к мятежу люди склонны. Оно — похоже! Очень задумались все...

— Дела замучили,— вставил Тихон, играя ушами собаки.

— Прогони собаку,— приказал Яков,— блохи от нее.

Дворник снял Кучумовы лапы с колен своих, отодвинул собаку ногой; она, поджав хвост, села и скучно дважды пролаяла. Трое людей посмотрели на нее, и один из них мельком подумал, что, может быть, Тихон и монах гораздо больше жалеют осиротевшую собаку, чем ее хозяина, зарытого в землю.

— Бунт — будет,— сказал Яков и осторожно посмотрел в темные углы двора.— Помнишь, Тихон, арестовали Седова с товарищами?

— А — как же?

Монах вынул из кармана рясы жестяную коробочку, достал из нее щепоть табаку, понюхал и сообщил племяннику:

— Вот, табачок нюхаю. Глазам помогает это, плохо видеть стали.

Чихнув, он продолжал:

— Арестуют даже и в деревнях...

— Шпионы завелись,— сказал Яков, стараясь говорить просто.

— Подсматривают за всеми.

Тихон проворчал:

— Ежели не подсматривать — ничего не узнаешь.

А Яков, нерешительно ворочая языком, пожимаясь от ночной свежести или от страха, говорил почти шепотом:

— И у нас есть. Про Носкова, охотника, нехорошие слухи... Будто он донес на Седова и на всех в городе...

— Ишь ты, дурак,— не сразу отозвался Тихон, протянул руку к собаке, но тотчас опустил ее на колено, а Яков почувствовал, что слова его сказаны напрасно, упали в пустоту, и зачем-то предупредил Тихона:

— Ты, однако, не говори про Носкова.

— Зачем говорить? Он меня некасаемый. Да и некому говорить, никто никому не верит.

— Да,— сказал монах,— веры мало; я после войны с солдатами ранеными говорил, вижу: и солдат войне не верит! Железо, Яша, железо везде, машина! Машина работает, машина поет, говорит! Железному этому заводу жития и люди другие нужны,— железные. Очень многие понимают это, я таких встречал. «Мы, говорят, вам, мякишам, покажем!» А некоторые другие обижаются. Когда человек командует — к этому привыкли, а когда железный металл — обидно! К топору, молотку, ко всему, что в руку взять можно,— привыкли, а тут вещь — сто пудов, однако как живая.

Тихон крякнул и, незнакомо Якову, неслыханно им,— засмеялся, говоря:

— Вперед лошади телега бежит. Эх, черти!

— И многие — обозлились,— продолжал монах очень тихо.— Я три года везде ходил, я видел: ух, как обозлились! А злятся — не туда. Друг против друга злятся; однако — все виноваты, и за ум, и за глупость. Это мне поп Глеб сказал: очень хорошо!

— Поп-то жив? — спросил Тихон.

— Попа — нет,— ответил Никита.— Он расстригся, он теперь по сельским ярмаркам книжками торгует.

— Хороший поп,— сказал Тихон.— Я у него на исповеди бывал. Хорош. Только он притворялся попом из бедности своей, а по-настоящему в бога не верил, так думаю.

— Нет, он — веровал во Христа. Каждый по-своему верует.

— Оттого и смятение,— твердо сказал Тихон и снова нехорошо усмехнулся: — Додумались...

На крыльцо бесшумно вышел Артамонов-старший, босиком, в ночном белье, посмотрел в бледное небо и сказал людям под окном:

— Не спится. Собака мешает. И вы урчите тут...

Собака сидела среди двора, насторожив уши, повизгивая, и смотрела в темную дыру открытого окна, должно быть ожидая, когда хозяин позовет ее.

— А ты, Тихон, все свое долбишь! — заговорил Артамонов.— Вот, Яков, гляди: наткнулся мужик на одну думу — как волк в капкан попал. Вот так же и брат твой. Ты, Никита, про Илью знаешь?

— Слышал.

— Да. Прогнал я его. Вскочил он на чужого коня, поскакал, а — куда? Конечно, не всякий может, как он, отказаться от богатства и жить неведомо как...

— Алексей божий человек также,— тихо напомнил Никита.

Артамонов-старший поднял руку к виску, помолчал и пошел в сад, сказав Якову:

— Принеси мне в беседку одеяло, подушки, может, я там засну.

Грузный, в белом весь, с растрепанными волосами на голове, с темно-бурым опухшим лицом, он был почти страшен.

— О машинах ты, Никита, зря говорил,— сказал он, остановясь среди двора.— Что ты понимаешь в машинах? Твое дело — о боге говорить. Машины не мешают...

Тихон непочтительно, упрямо прервал его речь:

— От машин жить дороже и шуму больше.

Артамонов-старший отмахнулся от него и медленно пошел в сад, а Яков, шагая впереди его с подушками, сердито и уныло думал:

«Родные: отец, дядя,— а зачем они мне? Они помочь не могут».

Отец не пригласил брата жить к себе, монах поселился в доме тетки Ольги, на чердаке, предупредив ее:

— Я немножко поживу, я уйду скоро...

Жил он почти незаметно и, если его не звали вниз,— в комнаты не сходил. Шевырялся в саду, срезывая сухие сучья с деревьев, черепахой ползал по земле, выпалывая сорные травы, сморщивался, подсыхал телом и говорил с людями тихо, точно рассказывая важные тайны. Церковь посещал неохотно, отговариваясь нездоровьем, дома молился мало и говорить о боге не любил, упрямо уклоняясь от таких разговоров.

Яков видел, что монах очень подружился с Ольгой, его уважала бессловесная Вера Попова, и даже Мирон, слушая рассказы дяди о его странствованиях, о людях, не морщился, хотя после смерти отца Мирон стал еще более заносчив, сух, распоряжался по фабрике, как старший, и покрикивал на Якова, точно на служащего.

На расплывшееся, красное лицо Натальи монах смотрел так же ласково, как на все и на всех, но говорил с нею меньше, чем с другими, да и сама она постепенно разучивалась говорить, только дышала. Ее отупевшие глаза остановились, лишь изредка в их мутном взгляде вспыхивала тревога о здоровье мужа, страх пред Мироном и любовная радость при виде толстенького, солидного Якова. С Тихоном монах был в чем-то не согласен, они ворчали друг на друга, и хотя не спорили, но оба ходили мимо друг друга, точно двое слепых.

В жизнь Якова угловатая, черная фигура дяди внесла еще одну тень, вид монаха вызывал в нем тяжелые предчувствия, его темное, тающее лицо заставляло думать о смерти. Яков Артамонов смотрел на все, что творилось дома, с высоты забот о себе самом, но хотя заботы всё возрастали, однако и дома тоже возникало все больше новых тревог. Чутье мужчины, опытного в делах любви, подсказывало ему, что Полина стала холоднее с ним, а хладнокровный поручик Маврин подтверждал подозрения Якова; встречаясь с ним, поручик теперь только пренебрежительно касался пальцем фуражки и прищуривал глаза, точно разглядывая нечто отдаленное и очень маленькое, тогда как раньше он был любезней, вежливее и в общественном собрании, занимая у Якова деньги на игру в карты или прося его отсрочить уплату долга, не однажды одобрительно говорил:

— У вас, Артамонов, фигура артиллериста.

Или говорил что-нибудь другое, тоже приятное. Якову льстило грубоватое добродушие этого точно из резины отлитого офицера, удивлявшего весь город своим презрением к холоду, ловкостью, силой и, несомненно, скрытой в нем отчаян-

ной храбростью. Он смотрел в лица людей круглыми, каменными глазами и говорил сиповато, командующим голосом:

— Я мужчина хладнокровный и терпеть не могу преувеличений.

Поссорившись за картами с почтмейстером Дроновым, больным, но ехидного ума старичком, которого все в городе боялись, Маврин сказал ему:

— Преувеличивать не стану, но вы — старый дурак!

Подозревая в нем соперника, Яков Артамонов боялся столкновений с поручиком, но у него не возникало мысли о том, чтоб уступить Маврину Полину,— женщина становилась все приятнее ему. Все-таки он уже не однажды предупреждал ее:

— Смотри, если замечу что-нибудь между тобой и Мавриным — брошу!

Рядом с этим росла тревога, которую вызывал в нем охотник Носков. Он подстерегал Якова на окраине города, у мостика через Ватаракшу, внезапно вырастал из земли и настойчиво, как должного, просил денег, глядя в свою фуражку.

Было что-то странное, нехорошее в том, что охотник появлялся всегда на одном и том же месте, выходя из крапивы и репейника, из густой заросли сорных трав под двумя кривыми ветлами. Года два тому назад на этом месте стоял дом огородника Панфила; огородника кто-то убил, дом подожгли, ветлы обгорели, глинистая земля, смешанная с углем и золою, была плотно утоптана игроками в городки; среди остатков кирпичного фундамента стояла печь, торчала труба; в ясные ночи над трубою, невысоко в небе, дрожала зеленоватая звезда. Носков, не торопясь, шурша крапивой, выходил из-за трубы, медленно стаскивал с головы своей фуражку и бормотал:

— Я вам заслужу. Тут у вас снова заводится компания...

— Эти компании не мое дело,— сердито говорил Яков и слышал в ответе Носкова явное нахальство:

— Конечно, не вы организуете, но дело-то касается вас.

«Жаль, не пристрелил я его тогда».— в десятый раз сожалел Яков и, давая деньги шпиону, говорил:

— Ты, смотри, осторожнее!

— Я знаю.

— Меня не впутай.

— Зачем же? Будьте покойны.

«Да, конечно, он считает меня дураком...»

Понимая, что Носков человек полезный, Яков Артамонов был уверен, что кривоногий парень с плоским лицом не может не отомстить ему за выстрел. Он хочет этого. Он запугает или на деньги, которые сам же Яков дает ему, подкупит каких-нибудь рабочих и прикажет им убить. Якову уже казалось, что за последнее время рабочие стали смотреть на него внимательней и злей.

Мирон все чаще говорил: рабочие бунтуют не ради того, чтоб улучшить свое положение, но потому, что им со стороны внушается нелепейшая, безумнейшая мысль: они должны взять в свою волю банки, фабрики и вообще все хозяйство страны. Говоря об этом, он вытягивался, выпрямлялся, шагал по комнате длинными ногами и вертел шеей, запуская палец за воротник, хотя шея у него была тонкая, а воротник рубашки достаточно широк.

— Это уж даже и не социализм, а черт знает что! И вот сторонником этой выдумки является твой родной брат. Наше правительство старых ворон...

Яков понимал, что все это говорится Мироном для того, чтоб убедить слушателей и себя в своем праве на место в Государственной думе, а все-таки гневные речи брата оставляли у Якова осадок страха, усиливая сознание его личной беззащитности среди сотен рабочих. Он даже испытал нечто близкое припадку ужаса: как-то утром его разбудил вой и крик на фабричном дворе, приподняв голову с подушки, он увидал, что по белой, гладкой стене склада мчится буйная толпа теней, они подпрыгивают, размахивая руками, и, казалось, двигают по земле все здание склада. Он, сразу весь вспотев, думал, безмолвно кричал:

«Бунт...»

Этот поток теней, почему-то более страшных, чем люди, быстро исчез. Яков понял, что у ворот фабрики разыгралась обычная в понедельник драка,— после праздников почти всегда дрались, но в памяти его остался этот жуткий бег темных, воющих пятен. Вообще вся жизнь становилась до того тревожной, что неприятно было видеть газету и не хотелось читать ее. Простое, ясное исчезало, отовсюду вторгалось неприятное, появлялись новые люди.

Сестра Татьяна вдруг привезла из Воргорода жениха, сухонького, рыжеватого человечка в фуражке инженера; легкий, быстрый на ногу, очень веселый, он был на два года моложе Татьяны, и, начиная с нее, все в доме сразу стали звать его Митя. Он играл на гитаре, пел песни, одна из них, которую

он распевал особенно часто, казалась Якову обидной для сестры и очень возмущала мать.

Жена моя в гробу.
Рабу
Устрой, господь, твою
В раю!

Но сестра не обижалась; ее, как всех, забавлял этот человек, и даже мать нередко умиленно говорила ему:

— Ах ты, чижик! Да ты поешь, паяц!

Есть Митя мог, точно голубь, бесконечно много; Артамонов-старший разглядывал его, как сон, удивленными глазами, мигая, и спрашивал:

— При таком характере ты должен пить. Пьешь?

— Могу,— ответил зять и за ужином доказал, что пить он может тоже изрядно. Он везде бывал: на Волге и на Урале, в Крыму и на Кавказе, он знал бесчисленное количество забавных прибауток, рассказов, смешных словечек; казалось, что он прибежал из какой-то веселой, беспечной страны.

— Жизнь — красавица! — говорил он и сразу попал в непрерывно вертящийся круг дела, понравился рабочим, молодежь смеялась, старики ткачи ласково кивали головами, и даже Мирон, слушая его сверкающую смехом речь, слизывал языком улыбки со своих тонких губ. Вот он идет рядом с Мироном по двору фабрики к пятому корпусу, этот корпус еще только вцепился в землю, пятый палец красной кирпичной лапы; он стоит весь опутанный лесами, на полках лесов возятся плотники, блестят их серебряные топоры, блестят стеклом и золотом очки Мирона, он вытягивает руку, точно генерал на старинной картинке ценою в пятачок, Митя, кивая головою, тоже взмахивает руками, как бы бросая что-то на землю.

Яков смотрит на них из окна конторы. Зять нравится и ему, с ним весело, забываешь многое, что тяготит; Яков даже завидует характеру этого человека, но чувствует к нему странное недоверие: кажется, что этот человек ненадолго, до завтра, а завтра он объявит себя актером, парикмахером или исчезнет так же внезапно, как явился. В нем было еще одно хорошее качество,— он, видимо, не жаден, не спрашивает, сколько приданого за Татьяной, хотя в этом, может быть, скрыта какая-то Татьянина хитрость. Но отец, трезвый, ворчал:

— Вот на какого рыженького работал я...

И Мирон женился.

— Позвольте представить вам жену мою,— сказал он, приехав из Москвы, и поставил пред собою голубоглазую, пухленькую куколку с кудрявой, свернутой набок головкой. Его жена была игрушечно маленьких размеров, но сделана как-то особенно отчетливо, и это придавало ей в глазах Якова вид не настоящей женщины, а сходство с фарфоровой фигуркой, прилепленной к любимым часам дяди Алексея; голова фигурки была отбита и приклеена несколько наискось; часы стояли на подзеркальнике, и статуэтка, отворотясь от людей, смотрела в зеркало. Мирон объявил, что жену его зовут Анна и что ей восемнадцать лет, но умолчал, что в придачу к ней ему дали четверть миллиона и что она единственная дочь фабриканта бумаги.

— Вот как женятся,— ворчал отец, глядя на Якова красными глазами.— А ты путаешься черт знает с какой. А Илью вымели из обихода, как сор.

Отец ходил с трудом, тяжело раскачивая обмякшее, вялое тело. Якову казалось, что тело это злит отца и он нарочно выставляет напоказ людям угнетающее безобразие старческой наготы: он щеголял в ночном белье, в неподпоясанном халате, в туфлях на босую ногу, с раскрытой, оплывшей грудью, так же, как ходил перед дочерью Еленой, чтобы позлить ее. Иногда он являлся в контору, долго сидел там и, мешая Якову, жаловался, что вот он отдал все свои силы фабрике, детям, всю жизнь прожил запряженный в каменные оглобли дела, в дыму забот, не испытав никаких радостей.

Сын слушал и молчал, видя, что эти жалобы, утешая отца, раздувают, увеличивают его до размеров колокольни,— утром солнце видит ее раньше, чем ему станут заметны дома людей, и с последней с нею прощается, уходя в ночь. Но из этих жалоб Яков извлекал для себя поучительный вывод: жить так, как жил отец,— бессмысленно.

И всегда он видел, что после насыщения жалобами отцом овладевает горячий зуд, беспокойное желание обижать людей, издеваться над ними. Он шел к старухе жене, сидевшей у окна в сад, положив на колени ненужные руки, уставя пустые глаза в одну точку; он садился рядом с нею и зудел:

— О чем думаешь? Толста, а не видно тебя. Дети-то не видят. Татьяна с кухаркой говорит милее, чем с тобою. Елена-то забыла, не приезжает, а? Видно, опять нового любовника завела. А Илья — где?

Но жену дразнить было скучно, ее багровое лицо быстро потело слезами, казалось, что слезы льются не только из глаз

ее, но выступают из всех точек туго надутой кожи щек, из двойного, рыхлого подбородка, просачиваются где-то около ушей.

— Ну, рассохлась,— брезгливо ворчал старик и уходил, отмахиваясь от нее, как от дыма. Нет, она не забавляла.

Якова он не дразнил, но сыну всегда казалось, что отец смотрит на него с обидной жалостью. Иногда он вздыхал:

— Эх ты, пустоглазый...

Мирон был недоступен насмешкам, отец явно и боязливо сторонился его; это было понятно Якову. Мирона все боялись и на фабрике и дома, от матери и фарфоровой его жены до Гришки, мальчика, отворявшего парадную дверь. Когда Мирон шел по двору, казалось, что длинная тень его творит вокруг тишину.

Смеяться над рыженьким зятем не было удовольствия, этот сам себя умел высмеивать, он явно предпочитал ударить сам себя раньше, чем его побьет другой. Татьяна, беременная, очень вспухла, важно надула губы, после обеда лежала, читая сразу три книги, потом шла гулять; муж бежал рядом с нею, как пудель.

Артамонов-старший приказывал запрячь лошадь и ехал в город дразнить брата и Тихона; Яков неоднократно слышал, как он делает это.

— Что, студент в клобуке, проюрдонил бога-то? — привязывался он к монаху.

Никита двигал горбом, крепко гладил ладонями длинных рук острые колена свои и тихо, жалобно говорил:

— Ой, напрасно это...

— Как — напрасно? Ты не ту шляпу носишь, эта у тебя шляпа фальшивая. Вся твоя одежда фальшивая. Какой ты монах?

— Моей души дело.

— Табак нюхаешь. Нет, проиграл ты, ошибся. Женился бы в свое время на бедной девушке, на сироте, она бы тебе благодарно детей родила, был бы ты теперь, как я, дед. А ты допустил — помнишь?

Медленно, как огромная черепаха, монах отползал прочь, а Петр Ильич Артамонов шел к Ольге, рассказывал ей о кутежах Алексея на ярмарке. Но это тоже не забавляло его; маленькая старушка после смерти мужа заразилась какой-то непоседливостью, она все ходила, передвигая мебель, переставляя вещи с места на место, поглядывая в окна. Ходила, держа голову неподвижно, и хотя на носу ее красовались очки с тол-

стыми стеклами, она жила на ощупь, тыкая в пол палкой, простирая правую руку вперед. А на злые рассказы старика она, усмехаясь, отвечала:

— Что хочешь говори; к такому, каким я знаю Алешу, ничего худого не пристанет, хорошего не прибавится.

— Верно сказал он про тебя: ты одним глазом смотришь.

— Обоими почти не вижу,— сказала Ольга.— Не вижу, вчера любимый его стакан фарфоровый разбила сослепа.

Пробовал Артамонов-старший дразнить Тихона Вялова, но это было тоже трудно. Тихон не сердился, он, глядя вбок, покрякивал, отвечая кратко и спокойно.

— Долго ты живешь,— говорил Артамонов, Тихон резонно отвечал:

— Живут и больше.

— А вот зачем ты жил, а? Ты говори!

— Все живут.

— Верно, да — не всякий целую жизнь дворы метет, сор убирает...

У Тихона были свои мысли.

— Родился, ну, и живи до смерти,— говорил он, но Артамонов, не слушая его, продолжал:

— Ты вот всю жизнь с метлой прожил. Нет у тебя ни жены, ни детей, не было никаких забот. Это — почему? Тебе еще отец мой другое место давал, а ты — не захотел, отверг-ся. Это что же за упрямство у тебя?

— Опоздал спросить, Петр Ильич,— ответил Тихон, глядя в сторону.

Сердясь, Артамонов настойчиво зудел:

— Ты погляди, сколько за срок твоей жизни народу разбогатело. Все люди добивались облегчения себе, деньги копили...

— Копил, копил да черта и купил,— сказал Тихон, особенно кругло́ и густо произнося о́.

Яков ждал, что отец рассердится, обругает Тихона, но старик, помолчав, пробормотал что-то невнятное и отошел прочь от дворника, который хотя и линял, лысел, становился одноцветным, каким-то суглинистым, но, не поддаваясь ухищрениям старости, был все так же крепок телом, даже приобретал некое благообразие, а говорил все более важно, поучающим тоном. Якову казалось, что Тихон говорит и ведет себя более «по-хозяйски», чем отец.

Сам Яков все яснее видел, что он лишний среди родных, в доме, где единственно приятным человеком был чужой —

Митя Лонгинов. Митя не казался ему ни глупым, ни умным, он выскальзывал из этих оценок, оставаясь отличным от всех. Его значительность подтверждалась и отношением к нему Мирона; черствый, властный, всеми командующий Мирон жил с Митей дружно и хотя часто спорил, но никогда не ссорился, да и спорил осторожно. В доме с утра до вечера звучал разноголосый зов:

— Митя! — кричала Татьяна.

— Где Митя? — спрашивала мать, и даже отец рычал, высунувшись в окно:

— Митрий,— обедать пора!

Митя бегал по фабрике лисьим бегом и ловко заметал пушистым хвостом смешных слов, веселых шуточек сухую, обидную строгость Мирона с рабочими и служащими. Рабочих он называл друзьями.

— Дружище, это — не так! — говорил он бородатому, солидному десятнику плотников, выхватывал из кармана книжечку в красной коже, карандаш или чертил что-то на доске и спрашивал:

— Видишь? Так? И — так? И вот так? Вышло?

— Правильно,— соглашался десятник.— А мы все по старинке, как привыкли...

— Нет, милая личность, надо привыкать к новому — выгоднее!

Десятник соглашался:

— Правильно.

Своею бойкою игрою с делом Митя был похож на дядю Алексея, но в нем не заметно было хозяйской жадности, веселым балагурством он весьма напоминал плотника Серафима, это было замечено и отцом; как-то во время ужина, когда Митя размел, рассеял сердитое настроение за столом, отец, ухмыляясь, проворчал:

— Вот тоже, был у нас Утешитель, Серафим... да!

Яков слышал, как однажды, после обычного столкновения отца с Мироном, Митя сказал Мирону:

— Соединение страшненького и противненького с жалким,— чисто русская химия!

И тотчас же утешил:

— Но — ничего! Это скоро пройдет, изживется. Мы — очищаемся...

Праздничным вечером, в саду за чаем, отец пожаловался:

— Я без праздника прожил! — Зять тотчас взвился ракетой, рассыпался золотым песком бойких слов:

— Это — ваша ошибка, и ничья больше! Праздники устанавливает для себя человек. Жизнь — красавица, она требует подарков, развлечений, всякой игры, жить надо с удовольствием. Каждый день можно найти что-нибудь для радости.

Говорил он долго, ловко, точно на дудочке играя, и все за столом примолкли; всегда бывало так, что, слушая его, люди точно засыпали; Яков тоже испытывал обаяние его речей, он чувствовал в них настоящую правду, но ему хотелось спросить Митю:

«Зачем же ты женился на некрасивой, глупой девице?»

Яков видел в его отношении к жене нечто фальшивое, слишком любезное, подчеркнутую заботливость; Якову казалось, что и сестра чувствует эту фальшь, она жила уныло, молчаливо, слишком легко раздражалась и гораздо чаще, оживленнее беседовала о политике с Мироном, чем с веселым мужем своим. Кроме политики, она не умела говорить ни о чем.

Иногда Яков думал, что Митя Лонгинов явился не из веселой, беспечной страны, а выскочил из какой-то скучной, темной ямы, дорвался до незнакомых, новых для него людей и от радости, что наконец дорвался, пляшет пред ними, смешит, умиляется обилию их, удивлен чем-то. Вот в этом его удивлении Яков подмечал нечто глуповатое; так удивляется мальчишка в магазине игрушек, но — мальчишка, умно и сразу отличающий, какие игрушки лучше.

Из всех людей в доме и на фабрике двое определенно не любили Татьянина мужа: дядя Никита и Тихон Вялов. На вопрос Якова: как ему нравится Митя,— дворник спокойно ответил:

— Неверный.

— Чем?

— Муха. На всякую дрянь садится.

Яков долго, настойчиво допрашивал старика, но тот не мог сказать ничего более ясного.

— Сам видишь, Яков Петрович,— сказал он.— Видишь ведь: человек фигуры выдумывает.

Дядя, монах, сказал почти то же.

— Пылит,— сказал он, вздохнув.— Я таких много видел, краснобаев. Путают они народ. И сами тоже в словах запутались. Скажи ему: горох, а он тебе: горы, ох... Да, да.

Было странно слышать, что этот кроткий урод говорит сердито, почти со злобой, совершенно несвойственной ему. И еще более удивляло единогласие Тихона и дяди в оценке мужа Татьяны,— старики жили несогласно, в какой-то явной,

но немой вражде, почти не разговаривая, сторонясь друг друга. В этом Яков еще раз видел надоевшую ему человеческую глупость: в чем могут быть не согласны люди, которых завтра же опрокинет смерть?

Дядя Никита умирал. Якову казалось, что отец усердно помогает ему в этом, почти при каждой встрече он мял и давил монаха упреками:

— Я весь век жил в людях волом, а ты — живешь котом. Все заботятся устроить тебе потеплее, помягче и даже будто не видят, что ты горбат. Меня все считают злым, а какой я злой? Я всю жизнь...

Втягивая голову в горб, монах просил, покашливая:

— Ты — не сердись.

Чувство брезгливости к отцу, к его обнаженной, точно из мыла слепленной груди, покрытой плесенью седоватых волос, тоже мешало жить Якову, это чувство трудно было прятать, скрыть. Он изредка должен был напоминать себе:

«Отец. От него я родился».

Но это не украшало отца, не гасило брезгливость к нему, в этом было даже что-то обидное, принижающее. Отец почти ежедневно ездил в город как бы для того, чтоб наблюдать, как умирает монах. С трудом, сопя, Артамонов-старший влезал на чердак и садился у постели монаха, уставив на него воспаленные, красные глаза. Никита молчал, покашливая, глядя оловянным взглядом в потолок; руки у него стали беспокойны, он все одергивал рясу, обирал с нее что-то невидимое. Иногда он вставал, задыхаясь от кашля.

— Хрустишь? — спрашивал брат.

Никита полз к окну, хватаясь руками за плечи брата, спинку кровати, стульев; ряса висела на нем, как парус на сломанной мачте; садясь у окна, он, открыв рот, смотрел вниз, в сад и вдаль, на темную, сердитую щетину леса.

— Ну, отдохни,— говорил брат, дергая дряблую мочку уха, спускался вниз и оповещал Ольгу:

— Хрустит. Скоро уж...

Приезжал толстый монах, отец Мардарий, и убеждал отправить Никиту в монастырь, по какому-то уставу он должен умереть именно там и там же его необходимо было похоронить. Но горбун уговорил Ольгу:

— После отвезете туда, когда умру.

И жалобно, трижды попросил:

— Крышечку гроба повыше сделайте, чтоб не давила. Уж не забудьте!

Умер он за четыре дня до начала войны, а накануне смерти попросил известить монастырь:

— Пусть приедут за мной, я к их прибытию успею помереть.

Утром, в день смерти его, Яков помог отцу подняться на чердак, отец, перекрестясь, уставился в темное, испепеленное лицо с полузакрытыми глазами, с провалившимся ртом; Никита неестественно громко сказал:

— Прости меня.

— Ну, что ты? За что? — проворчал Петр Артамонов.

— За дерзость мою...

— Меня прости,— сказал старший.— Я тут, иной раз, шутил с тобой...

— Бог шутку не осудит,— шепотом уверил монах, а брат, помолчав, спросил:

— Вот, как ты теперь?.. Куда?

— Забыл я,— торопливо заговорил монах, прервав брата.— Ты, Яша, скажи Тихону, спилил бы он кленок у беседки, не пойдет кленок, нет...

Невыносимо было Якову слушать этот излишне ясный голос и смотреть на кости груди, нечеловечески поднявшиеся вверх, точно угол ящика. И вообще ничего человеческого не осталось в этой кучке неподвижных костей, покрытых черным, в руках, державших поморский, медный крест. Жалко было дядю, но все-таки думалось: зачем это установлено, чтоб старики и вообще домашние люди умирали на виду у всех?

Подождав, не скажет ли брат еще чего, отец ушел под руку с Яковом, молчаливо опустив голову. Внизу он сказал:

— Умирает.

— Да? — спросил Мирон, сидя у стола, закрыв половину тела своего огромным листом газеты; спросив, он не отвел от нее глаз, но затем бросил газету на стол и сказал в угол жене:

— Я был прав,— читай!

Его кругленькая жена подкатилась к столу, а мать, сидя у окна, испуганно спросила:

— Неужели, Мирон, неужели война?

— Вот и второй Артамонов,— громко напомнил Петр.

— Врут, конечно,— сказал Мирон жене или Якову, который тоже, наклонясь над газетой, читал тревожные телеграммы, соображая: чем все это грозит ему? Артамонов-старший, махнув рукою, пошел на двор, там солнце до того накалило булыжник, что тепло его проникало сквозь мягкие подошвы бархатных сапогов. Из окна сыпались сухенькие, поучающие

слова Мирона; Яков, стоя с газетой в руках у окна, видел, как отец погрозил кому-то своим багровым кулаком.

На третий день, рано утром, приехали монахи; их было семеро, все разного роста и объема, они показались Якову неразличимыми, как новорожденные. Лишь один из них, самый высокий, тощий, с густейшей бородою и не подобающим ни монаху, ни случаю громким, веселым голосом, тот, который шел впереди всех с большим, черным крестом в руках, как будто не имел лица: был он лысый, нос его расплылся по щекам, и, кроме двух черненьких ямок между лысиной и бородой, у него на месте лица ничего не значилось. Шагая, он так медленно поднимал ноги, точно был слеп; он пел на три голоса:

— «Святый боже»,— низко, почти басом;

— «Святый крепкий»,— выше, тенористо, а —

— «Святый бессмертный, помилуй нас!» — так пронзительно, что мальчишки, забегая вперед, с удивлением смотрели в бороду его, вместилище невидимого трехголосого рта.

Когда похороны вышли из улицы на площадь, оказалось, что она тесно забита обывателями, запасными, солдатами поручика Маврина, малочисленным начальством и духовенством в центре толпы. Хладнокровный поручик парадно, монументом стоял впереди своих солдат, его освещало солнце; конусообразные попы и дьякона стояли тоже золотыми истуканами, они таяли, плавились на солнце, сияние риз тоже падало на поручика Маврина; впереди аналоя подпрыгивал, размахивая фуражкой, толстый офицер с жестяной головою.

Трехголосый монах, покачивая черным крестом, остановился пред стеною людей и басом сказал:

— Расступитесь!

Но люди расступились не пред ним, а пред рыжей, длинной лошадью Экке, помощника исправника,— взмахивая белой перчаткой, он наехал на монаха, поставил лошадь поперек улицы и закричал упрекающе, обиженно:

— К-куда? Что вы, не видите? Назад!

Монах, подняв крест, затянул:

— Святый бо-о...

— Ур-ра! — крикнул офицер, и весь народ на площади тысячами голосов разъяренно рявкнул:

— Ур-рра-а...

А Экке, привстав на стременах, тоже кричал:

— Петр Ильич, пож-жалуйста, переулочком! В обход! Мирон Алексеевич — прошу вас! Тут — воодушевление, а вы,— как же это?

Артамонов-старший, стоя у изголовья гроба, поддерживаемый женою и Яковом, посмотрел снизу вверх на деревянное лицо Экке и угрюмо сказал монахам, которые несли гроб:

— Сворачивайте, отцы...

И, всхлипнув, добавил:

— Последний раз, видно, распоряжаюсь...

Все это показалось Якову неприличным, даже несколько смешным, но когда свернули в переулок, где жила Полина, он увидал ее быстро шагающей встречу похоронам, она шла в белом платье, под розовым зонтиком, и торопливо крестила выпуклую, туго обтянутую грудь.

«Мавриным любоваться идет»,— тотчас же сообразил он и задохнулся пылью, раздражением. Монахи пошли быстрее, чернобородый стал петь тише, задумчивей, а хор певчих и совсем замолчал. За городом, против ворот бойни, стояла какая-то странная телега, накрытая черным сукном, запряженная парой пестрых лошадей, гроб поставили на телегу и начали служить панихиду, а из улицы, точно из трубы, доносился торжественный рев меди, музыка играла «Боже, царя храни», звонили колокола трех церквей и притекал пыльный, дымный рык:

— Р-р-р-а-а!

Якову казалось, что он слышит команду поручика Маврина:

— Р-но-о!

После панихиды пришлось ехать в дом тетки, долго сидеть за поминальным столом, слушая сердитую воркотню отца:

— Какой дурак распорядился поставить лошадей против бойни, а?

— Полиция, полиция,— успокаивал Митя и объяснял: — Неудобно, знаете: национальное воодушевление, а тут — похоронные дроги! Не совпадает...

Мирон, слизнув улыбку с губ своих, говорил доктору Яковлеву, который был особенно заметен в тяжелые, неприятные дни:

— Но если мы дружно навалимся брюхом, как Митька в «Князе Серебряном»... В конце концов — все на свете решается соотношением чисел...

— Техникой,— возразил доктор.

— Техника? Ну, да... Но...

Только вечером, в десятом часу, Яков мог вырваться из этой скучной канители и побежал к Полине, испытывая тре-

вогу, еще никогда до этого часа не изведанную им, предчувствуя, что должно случиться нечто необыкновенное. Конечно, это и случилось.

— Ох,— сказала кухарка Полины, когда Яков, пройдя двором, вошел в кухню,— сказала и грузно опустилась на скамью у печи.

— Сводня, подлая,— ответил Яков и остановился пред дверью в комнату, прислушиваясь к четким, солдатским шагам и знакомому, военному голосу:

— Так вот, надо сообразить — так или не так?.. Сообразите же!

«На «вы» говорит,— сообразил Яков,— может быть, еще ничего не было».

Но, открыв дверь, стоя на пороге ее, он тотчас убедился, что все уже было: хладнокровный поручик, строго сдвинув брови, стоял среди комнаты в расстегнутом кителе, держа руки в карманах, из-под кителя было видно подтяжки, и одна из них отстегнута от пуговицы брюк; Полина сидела на кушетке, закинув ногу на ногу, чулок на одной ноге спустился винтом, ее бойкие глаза необычно круглы, а лицо, густо заливаясь румянцем, багровеет.

— Н-ну-с? — спросил хладнокровный поручик и вопросом своим окончательно утвердил все подозрения Якова. Он шагнул вперед, бросил шляпу на стул и сказал незнакомым себе, сорвавшимся голосом:

— Я — с похорон... с поминок...

— Да-с? — вопросительно, тоном хозяина отозвался поручик, Полина, затянувшись так, что папироса затрещала, сказала с дымом, но не виновато, а небрежно:

— Ипполит Сергеевич уговаривает меня идти в сестры милосердия...

— В сестры? М-да,— произнес Яков, усмехаясь,— тогда хладнокровный поручик, шагнув к нему, отчетливо спросил:

— Что значит эта усмешка? Прошу помнить: я преувеличений н-не люблю-с! Не терплю!

В эти две-три минуты Яков испытал, как сквозь него прошли горячие токи обиды, злости, прошли и оставили в нем подавляющее, почти горестное сознание, что маленькая женщина эта необходима ему так же, как любая часть его тела, и что он не может позволить оторвать ее от него. От этого сознания к нему вновь возвратился гнев, он похолодел, встал, сунув руку в карман.

— Не подходи! — предупредил он поручика, чувствуя, что у него выкатываются глаза так, что им больно.

— Эт-то почему? — спросил поручик и шагнул еще. Его противная манера удваивать буквы в словах всегда не нравилась Якову, а в эту минуту привела его в бешенство, он хотел выдернуть руку из кармана, крикнул:

— Убью!

Поручик Маврин схватил его за руку, мучительно сжал ее у кисти, револьвер глухо выстрелил в кармане, затем рука Якова с резкой болью как бы сломалась в локте, вырвалась из кармана, поручик взял из его пальцев револьвер и, бросив его на кресло, сказал:

— Не вышло!

— Яша, Яша! — слышал Артамонов громкий шепот.— Ипполит Сергеевич,— господа! Вы с ума сошли? Из-за чего? Ведь это — скандал! Из-за чего же?

— Н-ну,— оглушительно сказал хладнокровный поручик, взяв Якова за бороду, дергая ее вниз и этим заставляя кланяться ему:— Проси — прощенья — дурак!

С каждым словом, и рассекая длинные надвое, он дергал бороду вниз, потом легким ударом в подбородок заставлял поднимать ее.

— Ой, как стыдно, ой! — шептала Полина, хватая поручика за локоть.

Яков не мог двигать правой рукою, но, крепко сжав зубы, отталкивал поручика левой; он мычал, по щекам его текли слезы унижения.

— Не сметь меня касаться! — рявкнул поручик и, оттолкнув его, посадил в кресло, на револьвер. Тогда Яков, закрыв лицо руками, скрывая слезы, замер в полуобмороке, едва слыша, сквозь гул в голове, крики Полины:

— Боже мой, как это неблагородно! И это вы, вы! Такой скандал! За что?

— Идите к черту, барышня! — сказал поручик чугунным голосом.— Вот вам целковый за удовольствие,— эт-того достаточно! Я не выношу преувеличений, но вы самая обыкновенная...

Растаптывая пол тяжелыми ударами ног, поручик, хлопнув дверью, исчез, оставив за собой тихий звон стекла висячей лампы и коротенький визг Полины. Яков встал на мягкие ноги, они сгибались, все тело его дрожало, как озябшее; среди комнаты под лампой стояла Полина, рот у нее был открыт, она хрипела, глядя на грязненькую бумажку в руке своей.

— Сволочь,— сказал Яков.— Зачем ты это сделала? А — говорила... Убить надо тебя...

Женщина взглянула на него, бросила бумажку на пол и хрипло, с изумлением, протянула:

— Ка-акой негодяй...

Она опустилась в кресло, согнулась, схватив руками голову, а Яков, ударив ее кулаком по плечу, крикнул:

— Пусти! Дай револьвер...

Не шевелясь, она все так же изумленно спросила:

— Так ты меня любишь?

— Ненавижу!

— Врешь! Любишь теперь!

Она прыгнула на него так быстро, что Яков не успел оттолкнуть ее, она обняла его за шею и, с яростной настойчивостью, обжигая кусающими поцелуями, горячо дыша в глаза, в рот ему, шептала:

— Врешь, любишь, любишь. И я тоже — на! Ах ты, мягкий, Солененький мой...

Солененький — ее любимое ласкательное словечко, она произносила его только в минуты исключительно сильного возбуждения, и оно всегда опьяняло Якова до какого-то сладостного и нежного зверства. Так случилось и в эту минуту; он мял, щипал, целовал ее и бормотал, задыхаясь:

— Дрянь. Паскудница. Ведь знаешь...

Через час он сидел на кушетке, она лежала на коленях у него; покачивая ее, он с удивлением думал:

«Как быстро все прошло!..»

А она утомленно говорила:

— Озлилась я, хотела бросить тебя. Ты все хлопочешь о своих, хоронишь, а мне скучно. И я не знала: любишь ты меня? Теперь будешь крепче любить, ревновать будешь потому что. Когда есть ревность...

— Уехать бы отсюда,— устало сказал Яков.

— Да. В Париж. Я могу говорить по-французски.

Огня они не зажгли, в комнате было темно и душно, на улице кричали запасные солдаты, бабы, хотя было поздно, за полночь.

— Теперь за границу не уедешь, там — война,— вспомнил Яков.— Война, черт их возьми...

Женщина снова заговорила о своем:

— Без ревности только собаки любят. Ты посмотри: все драмы, романы — все из ревности...

Яков усмехнулся, вздрогнув:

— Хорошо выстрелил револьвер, пуля могла в ногу мне попасть, а вот только на брюках дырочка.

Полина сунула в дырочку палец и вдруг, всхлипнув, сказала с тихой, но лютой злобой:

— Ах, жалко, что ты не успел выстрелить в него! В тугой бы, в резиновый живот ему!

— Молчи! — сказал Яков, сильно тряхнув ее, но она продолжала, присвистывая сквозь зубы и все так же люто:

— Подлец! Как обругал меня! Какие вы все... Ничего вы не понимаете в женщине!

И, вздернув распухшие губы, показывая крепко сжатые лисьи зубы, она дополнила:

— Ведь если женщина изменила, это вовсе не значит, что она уже не любит!

— Молчи, говорю! — крикнул Яков и тиснул ее так, что она застонала:

— Ой, вот я чувствую, любишь! Яша, Солененький мой...

Он ушел от нее на рассвете легкой походкой, чувствуя себя человеком, который в опасной игре выиграл нечто ценное. Тихий праздник в его душе усиливало еще и то, что когда он, уходя, попросил у Полины спрятанный ею револьвер, а она не захотела отдать его, Яков принужден был сказать, что без револьвера боится идти, и сообщил ей историю с Носковым. Его очень обрадовал испуг Полины, волнение ее убедило его, что он действительно дорог ей, любим ею. Ахая, всплескивая руками, она стала упрекать его:

— Почему ты не сказал мне об этом?

И тревожно размышляла:

— Конечно, это очень интересно — сыщик! Вот, например, Шерлок Холмс,— ты читал? Но ведь у нас, наверное, и сыщики — тоже негодяи?

— Конечно,— подтвердил Яков.

Отдавая ему револьвер, она захотела проверить, хорошо ли он стреляет, и уговорила Якова выстрелить в открытую печку, для чего Якову пришлось лечь животом на пол; легла и она; Яков выстрелил, из печки на них сердито дунуло золой, а Полина, ахнув, откатилась в сторону, потом, подняв ладонь, тихо сказала:

— Смотри!

В крашеной половице была маленькая, косо и глубоко идущая дырка.

— Как подумаешь, что туда ушла смерть! — сказала Полина, вздыхая, нахмурив тонко вычерченные брови.

И никогда еще Яков не видел ее такой милой, не чувствовал так близко к себе. Глаза ее смотрели по-детски удивленно, когда он рассказывал о Носкове, и ничего злого уже не было на ее остреньком лице подростка.

«Не чувствует вины»,— с удивлением подумал Яков, и это было приятно ему.

Провожая его, она говорила, гладя бороду Якова:

— Ах, Яша, Яша! Так вот как, значит! Мы — серьезно? Ах, боже мой... Но этот подлец!

Сжала пальцы рук в один кулак и, потрясая им, негодуя, пожаловалась:

— Господи, сколько подлецов!

Но вдруг, схватив руку Якова, задумчиво нахмурилась, тихонько говоря:

— Постой, постой! Тут есть одна барышня, ах, разумеется!

Просияла и, перекрестив Якова, отпустила его:

— Иди, Солененький!

Утро было прохладное, росистое; вздыхал предрассветный ветер, зеленовато-жемчужное небо дышало запахом яблоков.

«Конечно, она это со зла наблудила, и надо жениться на ней, как только отец умрет»,— великодушно думал он и тут же вспомнил смешные слова Серафима Утешителя:

«Всякая девица — утопающая, за соломину хватается. Тут ее и лови!»

Тревожила мысль о хладнокровном поручике, он не похож на соломинку, он обозлился и, вероятно, будет делать пакости. Но поручика должны отправить на войну. И даже о Носкове Якову Артамонову думалось спокойнее, хотя он, подозрительно оглядываясь, чутко прислушивался и сжимал в кармане ручку револьвера,— чаще всего Носков ловил Якова именно в эти часы.

Но прошло недели две, и страх пред охотником снова обнял Артамонова чадным дымом. В воскресенье, осматривая лес, купленный у Воропонова на сруб, Яков увидал Носкова, он пробирался сквозь чащу, увешанный капканами, с мешком за спиною.

— Счастливая встреча для вас,— сказал он, подходя, сняв фуражку; носил он ее по-солдатски: с заломом верхнего круга на правую бровь и, снимая, брал не за козырек, а за верх.

Не отвечая на его странное приветствие, в котором чувствовалась угроза, Яков сжал зубы и судорожно стиснул ре-

вольвер в кармане. Носков тоже молчал с минуту, расковыривал пальцем подкладку фуражки и не смотрел на Якова.

— Ну? — спросил Артамонов; Носков поднял собачьи глаза и, приглаживая дыбом стоявшие, жесткие волосы, проговорил отчетливо:

— Ваша любовь, то есть Пелагея Андреевна, познакомилась с дочерью попа Сладкопевцева, так вы ей скажите, чтобы она это бросила.

— Почему?

— Так уж...

И, послушав звон колоколов в городе, охотник прибавил:

— Даю совет от души, желая добра. А вы мне подарите рубликов...

Он посмотрел в небо и сосчитал:

— Тридцать пять...

«Застрелить, собаку!» — думал Яков Артамонов, отсчитывая деньги.

Охотник взял бумажки, повернулся на кривых ногах, звякнув железом капканов, и, не надев фуражку, полез в чащу, а Яков почувствовал, что человек этот стал еще более тяжко неприятен ему.

— Носков! — негромко позвал он, а когда тот остановился, полускрытый лапами елок, Яков предложил ему:

— Бросил бы ты это!

— Зачем? — спросил Носков, высунув голову вперед, и Артамонову показалось, что в пустых глазах Носкова светится что-то боязливое или очень злое.

— Опасное дело,— объяснил Яков.

— Надо уметь,— сказал Носков, и глаза его погасли.— Для неумеющего — все опасно.

— Как хочешь.

— Против своей пользы говорите.

— Какая же тут польза, во вражде? — пробормотал Яков, жалея, что заговорил со шпионом.

«Туда же,— рассуждает, идиот...»

А Носков поучительно сказал:

— Без этого — не живут. У всякого — своя вражда, своя нужда. До свидания!

Он повернулся спиною к Якову и вломился в густую зелень елей. Послушав, как он шуршит колкими ветвями, как похрустывают сухие сучья, Яков быстро пошел на просеку, где его ждала лошадь, запряженная в дрожки, и погнал в город, к Полине.

— Вот — подлец! — почти радостно удивилась Полина.— Уже узнал, что она приходит ко мне? Скажите пожалуйста!

— Зачем ты знакомишься с такими? — сердито упрекнул Яков, но она тоже сердито, дергая желтый газовый шарфик на груди своей, затараторила:

— Во-первых — это надо для тебя же! А во-вторых — что же мне, кошек, собак завести, Маврина? Я сижу одна, как в тюрьме, на улицу выйти не с кем. А она — интересная, она мне романы, журналы дает, политикой занимается, обо всем рассказывает. Я с ней в гимназии у Поповой училась, потом мы разругались...

Тыкая его пальцем в плечо, она говорила все более раздраженно:

— Ты воображаешь, что легко жить тайной любовницей? Сладкопевцева говорит, что любовница, как резиновые галоши,— нужна, когда грязно, вот! У нее роман с вашим доктором, и они это не скрывают, а ты меня прячешь, точно болячку, стыдишься, как будто я кривая или горбатая, а я — вовсе не урод...

— Погоди,— сказал Яков,— женюсь! Серьезно говорю, хотя ты и свинья...

— Еще вопрос, кто из нас свиноватее! — крикнула и ребячливо расхохоталась, повторяя: — Свиноватее, виноватее,— запуталась! Солененький мой... Милый ты, не жадный! Другой бы — молчал; ведь тебе шпион этот полезен...

Как всегда, Яков ушел от нее успокоенный, а через семь дней, рано утром табельщик Елагин, маленький, рябой, с кривым носом, сообщил, что на рассвете, когда ткачи ловили бреднем рыбу, ткач Мордвинов, пытаясь спасти тонувшего охотника Носкова, тоже едва не утоп и лег в больницу. Слушая гнусавый доклад, Яков сидел, вытянув ноги для того, чтоб глубже спрятать руки в карманы, руки у него дрожали.

«Утопили»,— думал он и, представляя себе добродушного Мордвинова, человека с мягким, бабьим лицом, не верил, чтоб этот человек мог убивать кого-то.

«Счастливый случай»,— думал он, облегченно вздыхая. Полина тоже согласилась, что это — счастливый случай.

— Конечно,— лучше так,— сказала она, серьезно нахмурясь,— потому что, если б как-нибудь иначе убивали его,— был бы шум.

Но — пожалела:

— Было бы интереснее поймать его, заставить раскаяться и — повесить или расстрелять. Ты читал...

— Ерунду говоришь, Полька,— прервал ее Яков.

Прошло несколько тихих дней, Яков съездил в Воргород, возвратился, и Мирон, озабоченно морщась, сказал:

— У нас еще какая-то грязная история; по предписанию из губернии Экке производит следствие о том, при каких условиях утонул этот охотник. Арестовал Мордвинова, Кирьякова, кочегара Кротова, шута горохового,— всех, кто ловил рыбу с охотником. У Мордвинова рожа поцарапана, ухо надорвано. В этом видят, кажется, нечто политическое... Не в надорванном ухе, конечно...

Он остановился у рояля, раскачивая пенсне на пальце, глядя в угол прищуренными глазами. В измятой шведской куртке, в рыжеватых брюках и высоких, по колено, пыльных сапогах, он был похож на машиниста; его костистые, гладко обритые щеки и подстриженные усы напоминали военного; мало подвижное лицо его почти не изменялось, что бы и как бы он ни говорил.

— Идиотское время! — раздумчиво говорил он.— Вот, влопались в новую войну. Воюем, как всегда, для отвода глаз от собственной глупости; воевать с глупостью — не умеем, нет сил. А все наши задачи пока — внутри страны. В крестьянской земле рабочая партия мечтает о захвате власти. В рядах этой партии — купеческий сын Илья Артамонов, человек сословия, призванного совершить великое дело промышленной и технической европеизации страны. Нелепость на нелепости! Измена интересам сословия должна бы караться как уголовное преступление, в сущности — это государственная измена... Я понимаю какого-нибудь интеллигента, Горицветова, который ни с чем не связан, которому некуда девать себя, потому что он бездарен, нетрудоспособен и может только читать, говорить; я вообще нахожу, что революционная деятельность в России — единственное дело для бездарных людей...

Якову казалось, что брат говорит, видя пред собою полную комнату людей, он все более прищуривал глаза и, наконец, совсем закрыл их. Яков перестал слушать его речь, думая о своем: чем кончится следствие о смерти Носкова, как это заденет его, Якова?

Вошла беременная, похожая на комод, жена Мирона, осмотрела его и сказала усталым голосом:

— Поди переоденься!

Мирон покорно взбросил пенсне на нос и ушел.

Через месяц приблизительно всех арестованных выпустили; Мирон строго, не допускающим возражений голосом, сказал Якову:

— Рассчитай всех.

Яков давно уже, незаметно для себя, привык подчиняться сухой команде брата, это было даже удобно, снимало ответственность за дела на фабрике, но он все-таки сказал:

— Кочегара надо бы оставить.

— Почему?

— Веселый. Давно работает. Развлекает людей.

— Да? Ну, пожалуй, оставим.

И, облизнув губы, Мирон сказал:

— Шуты действительно полезны.

Некоторое время Якову казалось, что, в общем, все идет хорошо, война притиснула людей, все стали задумчивее, тише. Но он привык испытывать неприятности, предчувствовал, что не все они кончились для него, и смутно ждал новых. Ждать пришлось не очень долго, в городе снова явился Нестеренко под руку с высокой дамой, похожей на Веру Попову; встретив на улице Якова, он, еще издали, посмотрел сквозь него, а подойдя, поздоровавшись, спросил:

— Можете зайти ко мне через час? Я — у тестя. Знаете — жена моя умирает. Так что я вас попрошу: не звоните с парадного, это обеспокоит больную, вы — через двор. До свидания!

Час был тяжел и неестественно длинен, и когда Яков Артамонов устало сел на стул в комнате, заставленной книжными шкафами, Нестеренко, тихо и прислушиваясь к чему-то, сказал:

— Ну-с, приятеля нашего укокали. Это несомненно, хотя и не доказано. Сделано ловко, можно похвалить. Теперь вот что: дама вашего сердца, Пелагея Назарова, знакома с девицей Сладкопевцевой, на днях арестованной в Воргороде. Знакома?

— Не знаю,— сказал Яков и сразу весь вспотел, а жандарм поднес руку свою к носу и, рассматривая ногти, сказал очень спокойно:

— Знаете.

— Кажется — знакома.

— Вот именно.

«Что ему надо?» — соображал Яков, исподлобья рассматривая серое, в красных жилках, плоское лицо с широким носом, мутные глаза, из которых как будто капала тяжкая скука и текли остренькие струйки винного запаха.

— Я говорю с вами не официально, а как знакомый, который желает вам добра и которому не чужды ваши деловые интересы,— слышал Яков сиповатый голос.— Тут, видите ли, какая штука, дорогой мой... стрелок! — Жандарм усмехнулся, помолчал и объяснил:

— Я говорю — стрелок, потому что мне известен еще один случай неудачного пользования вами огнестрельным оружием. Да, так вот, видите ли: девица Сладкопевцева знакома с Назаровой, дамой вашего сердца. Теперь — сообразите: род деятельности охотника Носкова никому, кроме вас и меня, не мог быть известен. Я — исключаюсь из этой цепи знакомств. Носков был не глуп, хотя — вял и...

Нестеренко, вздохнув, посмотрел под стол:

— Ничто не вечно. Остаетесь — вы...

Якову Артамонову казалось, что изо рта офицера тянутся не слова, но тонкие, невидимые петельки, они захлестывают ему шею и душат так крепко, что холодеет в груди, останавливается сердце и все вокруг, качаясь, воет, как зимняя вьюга. А Нестеренко говорил с медленностью — явно нарочитой:

— Я думаю, я почти уверен, что вами была допущена некоторая неосторожность в словах, да? Вспомните-ка!

— Нет,— тихо сказал Яков, опасаясь, как бы голос не выдал его.

— Так ли? — спросил офицер, размахнув усы красными пальцами.

— Нет, — повторил Яков, качая головою.

— Странно. Очень странно. Однако — поправимо. Вот что-с: Носкова нужно заменить таким же человеком, полезным для вас. К вам явится некто Минаев, вы наймете его, да?

— Хорошо, — сказал Яков.

— Вот и все. Кончено. Будьте осторожны, прошу вас! Никаким дамам — ни-ни! Ни слова. Понимаете?

«Он говорит как с мальчишкой, с дураком», — подумал Яков.

Потом жандарм говорил о близости осеннего перелета птиц, о войне и болезни жены, о том, что за женою теперь ухаживает его сестра.

— Но — надо готовиться к худшему,— сказал Нестеренко и, взяв себя за усы, приподнял их к толстым мочкам ушей, приподнялась и верхняя губа его, обнажив желтые косточки.

«Бежать,— думал Яков.— Запутает он меня. Уехать».

«Черт вас всех возьми,— думал он, идя берегом Оки.— На что вы мне нужны? На что?»

Мелкий дождь, предвестник осени, лениво кропил землю, желтая вода реки покрылась рябью; в воздухе, теплом до тошноты, было что-то еще более углублявшее уныние Якова Артамонова. Неужели нельзя жить спокойно, просто, без всех этих ненужных, бессмысленных тревог?

Но, как обоз в зимнюю метель, двигались один за другим месяцы, тяжело и обильно нагруженные необычно тревожным.

Пришел с войны один из Морозовых, Захар, с георгиевским крестом на груди, с лысой, в красных язвах, обгоревшей головою; ухо у него было оторвано, на месте правой брови — красный рубец, под ним прятался какой-то раздавленный, мертвый глаз, а другой глаз смотрел строго и внимательно. Он сейчас же сдружился с кочегаром Кротовым, и хромой ученик Серафима Утешителя запел, заиграл:

Эх, ветер дует, дождь идет,
Я лежу в окопе.
Помогаю, идиёт,
Воевать Европе!

Яков спросил Морозова:

— Что, Захар, плохо воюем?

— Хорошо-то нечем, — ответил ткач. Голос у него был дерзко лающий, в словах слышалось отчаянное бесстыдство песенок кочегара.

— Хозяина нет у нас, Яков Петрович, — говорил он в лицо хозяину. — Хозяйствуют жулики.

Этот человек и Васька-кочегар стали как-то особенно заметны, точно фонари, зажженные во тьме осенней ночи. Когда веселый Татьянин муж нарядился в штаны с широкой, до смешного, мотней и такого же цвета, как гнилая Захарова шинель, кочегар посмотрел на него и запел:

Вот так брючки для растяп!
Сразу видно разницу:
Одни — голову растят,
А другие — задницу!

К удивлению Якова, зять не обиделся на эту насмешку, а захохотал, явно поощряя кочегара на дальнейшее словесное озорство. Рабочие тоже смеялись, и особенно хохотала фабрика, когда Захар Морозов привел на двор мохнатого кутенка, с пушистым, геройски загнутым на спину хвостом, на конце хвоста, привязан мочалом, болтался беленький георгиевский крест. Мирон не стерпел этого озорства, Захара арестовала полиция, а кутенок очутился у Тихона Вялова.

По улицам города ходили хромые, слепые, безрукие и всячески изломанные люди в солдатских шинелях, и все вокруг окрашивалось в гнойный цвет их одежды. Изломанных, испорченных солдат водили на прогулки городские дамы, дамами командовала худая, тонкая, похожая на метлу, Вера Попова, она привлекла к этому делу и Полину, но та, потряхивая головою, кричала, жаловалась:

— Ой, нет, я не могу! Это безобразие! Ты посмотри, Яша, они все молодые, здоровые и все изувечены, и такой запах от них — не могу! Послушай — уедем!

— Куда? — уныло спрашивал Яков, видя, что его женщина становится все более раздражительной, страшно много курит и дышит горькой гарью. Да и вообще все женщины в городе, а на фабрике — особенно, становились злее, ворчали, фыркали, жаловались на дороговизну жизни, мужья их, посвистывая, требовали увеличения заработной платы, а работали все хуже; поселок вечерами шумел и рычал по-новому громко и сердито.

Среди рабочих мелькал солидный слесарь Минаев, человек лет тридцати, черный и носатый, как еврей. Яков боязливо сторонился его, стараясь не встречаться со взглядом слесаря, который смотрел на всех людей темными глазами так, как будто он забыл о чем-то и не может вспомнить.

Грязным обломком плавал по двору отец, едва передвигая больные ноги. Теперь на его широких плечах висела дорожная лисья шуба с вытертым мехом, он останавливал людей, строго спрашивая:

— Куда идешь?

А когда ему отвечали, махал рукою, бормотал:

— Ну, ступай. Бездельники. Клопы, моей кровью живете!

Его лиловатое, раздутое лицо брезгливо дрожало, нижняя губа отваливалась; за отца было стыдно пред людями. Сестра Татьяна целые дни шуршала газетами, тоже чем-то испуганная до того, что у нее уши всегда были красные. Мирон птицей летал в губернию, в Москву и Петербург, возвратясь, топал широкими каблуками американских ботинок и злорадно рассказывал о пьяном, распутном мужике, пиявкой присосавшемся к царю.

— В живого такого мужика — не верю! — упрямо говорила полуслепая Ольга, сидя рядом со снохой на диване, где возился и кричал ее двухлетний сын Платон. — Это нарочно выдумано, для примера...

— Это — замечательно! — возглашал веселый Татьянин муж. — Это — изумительно! Деревня — мстит! Ага?

Он радостно потирал жирненькие руки свои, обросшие рыжей шерстью. Он один уверенно ждал какого-то праздника.

— Боже мой! — с досадой восклицала Татьяна. — Что тебя радует? Не понимаю!

Удивленно открыв рот, Митя каркал:

— Ка-ак? Ты — не понимаешь? Так — пойми же! За все, что она претерпела, деревня — мстит! В лице этого мужика она выработала в себе разрушающий яд...

— Позвольте! — морщась, сказал Мирон. — Еще недавно вы говорили иное...

Но Митя почти исступленно, захлебываясь словами, говорил проникновенным шепотом:

— Это — символ, а не просто — мужик! Три года тому назад они праздновали трехсотлетний юбилей своей власти и вот...

— Чепуха,— резко сказал Мирон; доктор Яковлев, как всегда, усмехался, а Яков Артамонов думал, что если эти речи станут известны жандарму Нестеренке...

— Зачем вы все это говорите? — спрашивал он. — Какой толк?

И уговаривал:

— Перестаньте!

Он замечал, что и Мирон необыкновенно рассеян, встревожен, это особенно расстраивало Якова. В конце концов из всех людей только один Митя оставался таким же, каким был, так же вертелся волчком, брызгал шуточками и по вечерам, играя на гитаре, пел:

Жена моя в гробу...

Но Татьяне уже не нравились его песенки.

— Фу, как это надоело! — говорила она и шла к детям.

Митя ловко умел успокаивать рабочих; он посоветовал Мирону закупить в деревнях муки, круп, гороха, картофеля и продавать рабочим по своей цене, начисляя только провоз и утечку. Рабочим это понравилось, а Якову стало ясно, что фабрика верит веселому человеку больше, чем Мирону, и Яков видел, что Мирон все чаще ссорится с Татьяниным мужем.

— Вы хотите держать нос по ветру? — четко, не скрывая злобы, спрашивает Мирон, а Митя, улыбаясь, отвечает:

— Воля народа... право народа...

— Я спрашиваю: кто же, собственно, вы? — кричит Мирон.

— Будет вам орать,— ворчит Артамонов-старший, но Яков видит в тусклых глазах отца искорки удовольствия, старику приятно видеть, как ссорятся зять и племянник, он усмехается, когда слышит раздраженный визг Татьяны, усмехается, когда мать робко просит:

— Налей мне, Таня, еще чашечку...

Все новое было тревожно и выскакивало как-то вдруг, без связи с предыдущим. Вдруг совершенно ослепшая тетка Ольга простудилась и через двое суток умерла, а через несколько дней после ее смерти город и фабрику точно громом оглушило: царь отказался от престола.

— Что ж теперь — республика будет? — спросил Яков брата, радостно воткнувшего нос в газету.

— Республика, конечно! — ответил Мирон, склонясь над столом; он упирался ладонями в распластанный лист газеты так, что бумага натянулась и вдруг лопнула с треском. Якову это показалось дурным предзнаменованием, а Мирон разогнулся, лицо у него было необыкновенное, и он сказал не свойственным ему голосом, крикливо, но ласково:

— Начнется выздоровление, обновление России — вот что, брат!

И размахнул руками, как бы желая обнять Якова, но тотчас одну руку опустил, а другую, подержав протянутой, поднял; поправил пенсне, снова протянул руку, стал похож на семафор и заявил, что завтра же вечером едет в Москву.

Митя тоже размахивал руками, точно озябший извозчик, он кричал:

— Теперь все пойдет отлично; теперь народ скажет наконец свое мощное слово, давно назревшее в душе его!

Мирон уже не спорил с ним, задумчиво улыбаясь, он облизывал губы; а Яков видел, что так и есть: все пошло отлично, все обрадовались, Митя с крыльца рассказывал рабочим, собравшимся на дворе, о том, что делалось в Петербурге, рабочие кричали ура, потом, схватив Митю за руки, за ноги, стали подбрасывать в воздух. Митя сжался в комок, в большой мяч, и взлетал очень высоко, а Мирон, когда его тоже стали качать, как-то разламывался в воздухе, казалось, что у него отрываются и руки и ноги. Митю окружила толпа старых рабочих, и огромный, жилистый ткач Герасим Воинов кричал в лицо ему:

— Митрий Павлов, ты — удобный человек, удобный, — понял? Ребята — уру ему!

Кричали ура, а кочегар Васька, приплясывая, блестя лысоватым черепом, орал, точно пьяный:

Эх,— далеко люди сидели
От царева трона!
Подошли да поглядели —
На троне — ворона!

— Делай, Вася! — поощряли его.

Якова тоже хотели качать, но он убежал и спрятался в доме, будучи уверен, что рабочие, подбросив его вверх, — не подхватят на руки, и тогда он расшибется о землю. А вечером, сидя в конторе, он услыхал на дворе под окном голос Тихона:

— Зачем отнял кутенка? Ты продай его мне. Я из него хорошую собаку сделаю.

— Э, старик, разве теперь время собак воспитывать? — ответил Захар Морозов.

— А ты чего делаешь? Продай, возьми целковый, ну?

— Отстань.

Яков, выглянув из окна, сказал:

— Царь-то, Тихон, а?

— Да, — отозвался старик и, посмотрев за угол дома, тихонько свистнул.

— Свергли царя-то!

Тихон наклонился, подтягивая голенище сапога, и сказал в землю:

— Разыгрались. Вот оно, Антоново слово: потеряла кибитка колесо!..

Выпрямился и пошел за угол дома, покрикивая негромко:

— Тулун, Тулун...

Хороводом пошли крикливо веселые недели; Мирон, Татьяна, доктор, да и все люди стали ласковее друг с другом; из города явились какие-то незнакомые и увезли с собою слесаря Минаева. Потом пришла весна, солнечная и жаркая.

— Послушай, Солененький, — говорила Полина, — я все-таки не понимаю, как же это? Царь отказался царствовать, солдат всех перебили, изувечили; полицию разогнали, командуют какие-то штатские, — как же теперь жить? Всякий черт будет делать все, что хочет, и, конечно, Житейкин не даст мне покоя. И он, и все другие, кто ухаживал за мной и кому я отказала. Я не хочу, не могу теперь, когда все заодно, жить здесь, я должна жить там, где меня никто не знает! И потом: ведь уж если это сделано — революция и свобода, — то, конечно, для того, чтобы каждый жил, как ему нравится!

Полина говорила все настойчивее, все многословней, Яков чувствовал в ее речах нечто неоспоримое и успокаивал:

— Подожди немного. утрясется это, тогда...

Но он уже не верил, что волнение вокруг успокоится, он видел, что с каждым днем на фабрике шум вскипает гуще, становится грозней. Человек, который привык бояться, всегда найдет причину для страха; Якова стал пугать жареный череп Захара Морозова, Захар ходил царьком, рабочие следовали за ним, как бараны за овчаркой, Митя летал вокруг него ручной сорокой. В самом деле, Морозов приобрел сходство с большой собакой, которая выучилась ходить на задних лапах; сожженная кожа на голове его, должно быть, полопалась, он иногда обертывал голову, как чалмой, купальным, мохнатым полотенцем Татьяны, которое дал ему Митя; огромная голова, придавив Захара, сделала его ниже ростом; шагал он важно, как толстый помощник исправника Экке, большие пальцы держал за поясом отрепанных солдатских штанов и, пошевеливая остальными пальцами, как рыба плавниками, покрикивал:

— Товарищи — порядок!

Он судил троих парней за кражу полотна; громко, так что было слышно на всем дворе, он спрашивал воров:

— Вы понимаете, у кого украли?

И сам же отвечал:

— Вы украли у себя, у всех нас! Разве можно теперь воровать, сукины дети?

Он приказал высечь воров, и двое рабочих с удовольствием отхлестали их прутьями ветлы, а Васька-кочегар исступленно пел, приплясывая:

Вот как нынче насекомых секут!
Вот какой у нас праведный судья...

Сорвался, забормотал что-то, разводя руками, и вдруг крикнул:

Спаси, господи, люди твоя!

Митя закричал:

— Браво-о!

Митя бегал в серепьких брючках, в кожаной фуражке, сдвинутой на затылок, на рыжем лице его блестел пот, а в глазах сияла хмельная, зеленоватая радость. Вчера ночью он крепко поссорился с женою; Яков слышал, как из окна их комнаты в сад летел сначала громкий шепот, а потом несдерживаемый крик Татьяны:

— Вы — клоун! Вы — бесчестный человек! Ваши убеждения? У нищих — нет убеждений. Ложь! Месяц тому назад эти твои убеждения... Довольно! Завтра я уезжаю в город, к сестре... Да, дети со мной...

Это не удивило Якова, он давно уже видел, что рыженький Митя становится все более противным человеком, но Яков был удивлен и даже несколько гордился тем, что он первый подметил ненадежность рыженького. А теперь даже мать, еще недавно любившая Митю, как она любила петухов, ворчала:

— Что уж это, какой он стал несогласный, будто жиденок! Вот, корми их...

Митя кричал:

— Все — превосходно! Жизнь — красавица, умница! Но басни о возможности мирного сожительства волков с баранами, — это надо забыть, Татьяна Петровна! С этим — опоздали!

Мирон озлобленно и сухо спросил его:

— А что вы скажете завтра?

— Что жизнь подскажет! Да! Ну-с, дальше?

Жена и Мирон ходили около Мити так осторожно, точно он был выпачкан сажей. А через несколько дней Митя переехал в город, захватив с собою имущество свое: три больших связки книг и корзину с бельем.

Всюду Яков наблюдал бестолковую, пожарную суету, все люди дымились дымом явной глупости, и ничто не обещало близкого конца этим сумасшедшим дням.

— Ну, — сказал он Полине, — я решил: едем! Сначала — в Москву, а там — подумаем...

— Наконец-то! — обрадовалась женщина, обнимая, целуя его.

Июльский вечер, наполнив сад красноватым сумраком, дышал в окна тяжким запахом земли, размоченной дождем, нагретой солнцем. Было хорошо, но грустно.

Сняв со своей шеи горячие, влажные руки Полины, Яков задумчиво сказал:

— Прикрой грудь... Вообще — оденься! Надо — серьезно.

Она соскочила на пол с колен его, в два прыжка подбежала к постели, окуталась халатом и деловито села рядом с ним.

— Видишь ли,— заговорил Яков, растирая ладонью бороду по щеке так, что волоса скрипели.— Надо подумать, поискать такое место, государство, где спокойно. Где ничего не надо понимать и думать о чужих делах не надо. Вот!

— Конечно, — сказала Полина.

— Все надо делать осторожно. Мирон говорит: поезда набиты беглыми солдатами. Надо прибедниться...

— Только ты возьми с собой побольше денег.

— Ну да, разумеется. Я уеду так, чтоб мои не знали — куда. Я будто в Воргород поеду, — понимаешь?

— А — зачем скрывать? — удивленно и недоверчиво спросила Полина.

Он не знал — зачем; эта мысль только что явилась у него, но он чувствовал, что это — хорошая мысль.

— Ну, знаешь — отец, Мирон, расспросы... Это все — не нужно. Деньги — в Москве, денег я могу достать много, хороших...

— Только — скорее! — просила Полина. — Ты видишь: жить — нельзя. Все дорого, и ничего нет. И, наверное, будут грабить, потому что — как жить?

Оглянувшись на дверь, она шептала:

— Вот кухарка была добрая, а теперь стала дерзкая и всегда точно пьяная. Она может зарезать меня во сне, почему же не зарезать, если все так спуталось? Вчера слышу — перешептывается с кем-то. Боже мой! — думаю, — вот! Но приотворила тихонько дверь, а она стоит на коленках и — рычит! Ужас!

— Подожди, — остановил Яков быстрый поток ее тревожного шепота. — Сначала уеду я...

— Нет, — громко сказала она, ударив кулачком своим по колену. — Сначала — я! Ты дашь мне денег и...

— Что ж ты — не веришь мне? — обиженно и сердито спросил мужчина и получил твердо сказанный ответ:

— Не верю. Я — честная, я говорю прямо: нет! Разве можно теперь верить, когда все и царю изменили и всему изменяют? Ты — кому веришь?

Она говорила убедительно, и еще более убедительно говорила грудь ее из складок распахнувшегося халата. Яков Артамонов уступил ей; решили, что она завтра же начнет собираться, поедет в Воргород и там подождет его.

На другой же день Яков стал жаловаться на боли в желудке, в голове, это было весьма правдоподобно; за последние месяцы он сильно похудел, стал вялым, рассеянным, радужные глаза его потускнели. И через восемь дней он ехал по дороге от города на станцию; тихо ехал по краю избитого шоссе с вывороченным булыжником, торчавшим среди глубоких выбоин, в них засохла грязь, вздутая горбом, исчерченная трещинами.

Сзади его оставалась такая же разбитая, развороченная жизнь, а впереди из мягкой ямы в центре дымных туч белесым пятном просвечивало мертвенькое солнце.

Через месяц Мирон Артамонов, приехав из Москвы, сказал Татьяне, наклонив голову, разглядывая ладонь свою:

— Должен сообщить тебе нечто печальное: в Москве ко мне явилась эта пошлая девица, с которой жил Яков, и сказала, что какие-то люди — гм, какие теперь люди? — избили его и выбросили из вагона...

— Нет! — крикнула Татьяна, попробовав встать со стула.

— На ходу поезда. Через двое суток он скончался и похоронен ею на сельском кладбище около станции Петушки.

Татьяна молча прижала платок к своим глазам, ее острые плечи задрожали, черное платье как-то потекло с них, как будто эта женщина, тощая, с длинной шеей, стала таять.

Мирон поправил пенсне, хрустнул пальцами, потирая руки, послушал звон одинокого колокола, благовест ко всенощной, затем, шагая по комнате, сказал:

— Что же плакать? Между нами — он был совершенно бесполезный человек. И — неприлично глуп, прости! Разумеется — жалко. Да.

— Боже мой, — сказала Татьяна, мигая покрасневшими веками, и, помуслив палец, пригладила брови.

— Эта бойкая девица, — говорил Мирон, сунув руки в карманы, — весьма неискусно притворяется печальной вдовой, но одета настолько шикарно, что — ясно: она обобрала Якова. Она говорит, что писала нам сюда.

Татьяна отрицательно мотнула головою.

— Нет? Я так и знал. Я полагаю, что отцу и матери не нужно говорить об этом, пусть думают, что Яков жив. Так?

— Да, это лучше, — согласилась Татьяна.

— Впрочем, дядя, кажется, ничего уже не понимает, но мать утопила бы себя в слезах...

Покачав головою, Татьяна сказала:

— Скоро мы все погибнем.

— Возможно, если останемся здесь. Но я немедля отправляю жену и детей прочь отсюда. Советую и тебе убраться, не дожидаясь, когда Захар Морозов... Итак: мы старикам ничего не скажем. Ну, извини меня, еду домой, жена нездорова...

Длинной рукою своей он встряхнул руку сестры и ушел, сказав:

— Невероятно трудно ездить теперь, дороги — в ужаснейшем состоянии!

Артамонов-старший жил в полусне, медленно погружаясь в сон, все более глубокий. Ночь и большую часть дня он лежал в постели, остальное время сидел в кресле против окна; за окном голубая пустота, иногда ее замазывали облака; в зеркале отражался толстый старик с надутым лицом, заплывшими глазами, клочковатой, серой бородою. Артамонов смотрел на свое лицо и думал:

«Хорош комар».

Приходила жена, наклонялась над ним, тормошила и хныкала:

— Уехать надо, лечиться надо...

— Уйди, — лениво говорил Артамонов. — Уйди, лошадь. Надоела. Дай покою.

И, оставаясь один, прислушивался, как празднично шумят люди на дворе, в саду, везде. А фабрика — молчит.

Привычный собеседник, обманутый человек, оживлявший Артамонова уколами своих мыслишек, — исчез, умер. И хорошо сделал, — думать старику было трудно, не хотелось, да он давно уже понял, что и бесполезно думать, потому что понять ничего нельзя. Куда исчезли все: Яков, Татьяна, зять?

Иногда он спрашивал жену:

— Илья — воротился?

— Нет.

— Нет еще?

— Нет.

— А — Яков?

— И Яков.

— Так. Гуляют. А дело Мирошка сосет.

— Ты не думай про это, — советовала Наталья.

— Уйди.

Она уходила в угол и сидела там, глядя тусклыми глазами на бывшего человека, с которым истратила всю свою жизнь. У нее тряслась голова, руки двигались неверно, как вывихнутые, она похудела, оплыла, как сальная свеча.

Изредка, но все чаще, Петра Артамонова будила непонятная суета в доме: являлись какие-то чужие люди, он присматривался к ним, стараясь понять их шумный бред, слышал вопли жены:

— Господи, да — что же это? За что? Ведь это — хозяин, хозяева мы! Ну, дайте я увезу его, ему лечиться надо, в город надо ему! Да — позвольте же увезти-то...

«Спрятать хочет. А — чего прятать? — соображал Артамонов. — Дура. Весь век свой дурой жила. Яков — в нее родился.

И — все. А Илья — в меня. Вот он воротится — он наведет порядок...»

Шел дождь, падал снег, трещал мороз, выла и посвистывала метель.

Из этого состояния полуяви-полусна Артамонова вытряхнуло острое ощущение голода. Он увидал себя в саду, в беседке; сквозь ее стекла и между мокрых ветвей просвечивало красноватое, странно близкое небо, казалось, что оно висит тут же, за деревьями, и до него можно дотронуться рукою.

— Есть хочу, — сказал Артамонов; ему не ответили.

Синеватая, сырая мгла наполняла сад; перед беседкой стояли, положив головы на шеи друг другу, две лошади, серая и темная; на скамье за ними сидел человек в белой рубахе, распутывая большую связку веревок.

— Наталья, — слышишь? Есть давай...

Прежде, когда он, очнувшись от забытья, звал жену, она тотчас являлась, она всегда была где-то близко, а сегодня — нет ее.

«Неужто? — подумал Артамонов, и в голове его стало яснее. — Или — захворала?»

Он приподнял голову, у двери в баню сквозь кусты что-то блестело, потом оказалось, что это ружье со штыком за спиною зеленоватого солдата, неразличимого в кустах. На дворе кто-то кричал:

— Вы что, товарищи, — шутите? Разве так лошадей держат? Так — свиней не держат! А почему сено не убрано и намокло? А в баню, под замок — хочешь?

Человек в белой рубахе сбросил веревки с колен на землю и встал, сказав негромко в сторону солдата:

— Явился еси, с небеси, черт его унеси!

— Командиров стало больше прежнего, — ответил солдат.

— И кто их, дьяволов, назначает?

— Сами себя. Теперь, браток, все само собой делается, как в старухиной сказке.

Человек подошел к лошадям, взял их за гривы, — Артамонов-старший крикнул как мог громко:

— Эй, позови жену!

— Молчи, старик, — ответили ему. — Ишь ты, жену захотел...

Лошади ушли. Артамонов провел ладонью по лицу, по бороде, холодными пальцами пощупал ухо, осмотрелся. Он лежал у глухой незастекленной стены беседки, под яблоней, на которой красные яблоки висели гроздьями, как рябина; лежать

было жестко; он покрыт своей изношенной лисьей шубой, и на нем толстый зимний пиджак. Но — не жарко. Нельзя понять — зачем он тут? Может быть — в доме предпраздничная уборка? Какой же праздник? Зачем лошади в саду и солдат у бани? И кто это орет на дворе: «Вы, товарищ, — бестолковый мальчишка! Чего? Люди устали? Уставать — рано! Без дураков...»?

Кричали далеко, но крик оглушал, вызывая шум в голове. И ног как будто нет; от колен не двигаются ноги. Яблоню на стене писал маляр Ванька Лукин, вор; он потом обокрал церковь и помер, сидя в тюрьме.

В беседку вошел кто-то очень широкий, в мохнатой шапке; он внес холодную тень и густой запах дегтя.

— Это — Тихон?

— А как же...

Ворчливый ответ Тихона тоже оглушил. Старый дворник развел руками, точно поплыл над скрипучим полом.

— Кто это орет?

— Захарка Морозов.

— А — солдат к чему тут?

— Война.

Помолчав, Артамонов спросил:

— И сюда враг дошел?

— Это — против тебя война, Петр Ильич...

Хозяин строго сказал:

— Ты, старый дурак, не шути, я тебе не товарищ!

Он услыхал спокойный ответ:

— Последняя война, больше не хотят. И теперь — все товарищи. А для дурака я действительно стар.

Было ясно, что Тихон издевается. Вот он бесцеремонно сел в ногах хозяина, не сняв шапку. На дворе сиповато, сорванным голосом, командуют:

— И чтобы после восьми часов на улицах — никаких фигур!

— Где жена? — спросил Артамонов.

— Ушла хлеба искать.

— Как это — искать?

— А как же? Хлеб — не кирпич, на земле не валяется.

Сумрак в саду становился все гуще, синее; около бани зевнул, завыл солдат, он стал совсем невидим, только штык блестел, как рыба в воде. О многом хотелось спросить Тихона, но Артамонов молчал: все равно у Тихона ничего не поймешь. К тому же и вопросы как-то прыгали, путались, не давая понять, который из них важнее. И очень хотелось есть.

Тихон заворчал:

— Дурак, а правду понял раньше всех. Вот оно как повернулось. Я говорил: всем каторга! И — пришло. Смахнули, как пыль тряпицей. Как стружку смели. Так-то, Петр Ильич. Да. Черт строгал, а ты — помогал. А — к чему все? Грешили, грешили, — счета нет грехам! Я все смотрел: диво! Когда конец? Вот наступил на вас конец. Отлилось вам свинцом все это... Потеряла кибитка колесо...

«Бредит», — сообразил Артамонов, но все-таки спросил:

— Зачем я тут?

— Выгнали из дома.

— Мирон?

— Всех.

— А... Яков?

— Его давно нет.

— Где Илья?

— Слышно — с этими. Надо быть, потому ты и жив, что он — с ними, а то...

«Бредит, — уверенно решил Петр Артамонов и замолчал, думая: — Выжил из ума, старичишко. Так и надо было ждать».

Мелкие, тускленькие звезды высыпались в небо; раньше как будто не было таких звезд. И не было их так много.

Тихон взял шапку и, тиская ее в руках, снова заворчал:

— Отрыгнулась вам вся хитрая глупость ваша. Нищим — легче.

Вдруг, иным голосом, он спросил:

— Помнишь мальчишку-то, конторщикова-то?

— Ну? Так — что?

Петр Артамонов не мог понять: испугал или только удивил его этот неожиданный вопрос? Но он тотчас понял, как только Тихон сказал:

— Убил ты его, как Захар кутенка. А на что убил?

Артамонову стало ясно: Тихон наконец все-таки донес на него, и вот он, больной, арестован. Но это не очень испугало его, а скорей возмутило нечеловеческой глупостью. Он оперся локтями, приподнял голову, заговорил тихо, с укором и насмешкой, чувствуя на языке какую-то горечь и сухость во рту:

— Это ты — врешь! И — для каждого проступка есть срок, давность! А ты — все сроки пропустил. Да! И — сошел с ума. И — забыл, что сам видел, сам сказал тогда...

— А — что я сказал? — перебил его старик. — Я, конешно, не видел, ну — я понял! Сказал, чтоб поглядеть: что ты будешь делать? Я — лжу сказал, а ты — рад, схватился за лжу.

Я глядел-глядел, ждал-ждал... И все вы — такие. Алексей Ильич научил тестя своего, пьяницу, трактир Барского поджечь, а твой отец догадался об этом, устроил, что убили пьяницу до смерти. Никита Ильич знал это, он тоже до всего доходил умом. Ему бы молчать, а он, со зла на тебя, мне сказал. Я говорю: «Ты монах, тебе все это забыть надо, а я — буду помнить». Запугали вы его делами вашими. Послали его в петлю, а после в монастырь: молись за нас! А ему за вас и молиться страшно было — не смел! И оттого — бога лишился...

Казалось, Тихон может говорить до конца всех дней. Говорил он тихо, раздумчиво и как будто беззлобно. Он стал почти невидим в густой, жаркой тьме позднего вечера. Его шершавая речь, напоминая ночной шорох тараканов, не пугала Артамонова, но давила своей тяжестью, изумляя до немоты. Он все более убеждался, что этот непонятный человек сошел с ума. Вот он длительно вздохнул, как бы свалив с плеч своих тяжесть, и продолжал все так же однотонно раскапывать прошлое, ненужное:

— Веры вы, Артамоновы, и меня лишили. Никита Ильич сбил меня из-за вас, сам обезбожел и меня... Ни бога, ни черта нет у вас. Образа в доме держите для обмана. А что у вас есть? Нельзя понять. Будто и есть что-то. Обманщики. Обманом жили. Теперь — все видно: раздели вас...

С трудом пошевелив тело свое, Артамонов сбросил на пол страшно тяжелые ноги, но кожа подошв не почувствовала пола, и старику показалось, что ноги отделились, ушли от него, а он повис в воздухе. Это — испугало его, он схватился руками за плечо Тихона.

— Куда? — спросил дворник, грубо стряхнув его руки. — Не тронь. Силы у тебя нет, не задушишь. У отца твоего — была сила, — хвастовством изошла. Веры, говорю, лишили вы меня; не знаю, как теперь и умереть мне. Загляделся на вас, беси...

Артамонов все сильнее хотел есть, и его очень пугали ноги.

«Неужто — умираю? Мне еще семидесяти пяти нет. Господи...»

Он снова попробовал лечь, но не хватило сил поднять ноги. Тогда он приказал Тихону:

— Помоги, подними ноги мои!

Положив на скамью мертвые ноги бывшего хозяина, Тихон сплюнул, снова сел, тыкая рукою в шапку, в руке его что-то блестело. Артамонов присмотрелся: это игла, Тихон в темноте

ушивал шапку, утверждая этим свое безумие. Над ним мелькала серая, ночная бабочка. В саду, в воздухе вытянулись три полосы желтого света, и чей-то голос далеко, но внятно сказал:

— Назад, товарищи, оборота нет и не будет для нас...

Тихон заглушил этот голос:

— Тоже и отец твой; он брата моего убил.

— Врешь, — невольно сказал Артамонов, но тотчас спросил: — Когда?

— Вот те и когда...

— Что ты все врешь, безумный? — вдруг возмутился Артамонов, ощущая, как голод сосет и сушит его. — Что тебе надо? Совесть мне ты, судья? Зачем ты молчал тридцать лет с лишком?

— Вот и молчал. Значит — думал!

— Злобу копил? Эх... Ну, ступай, донеси полиции.

— Полиции — нет.

— Скажи — вот, он меня всю жизнь поил, кормил — судите его! Так ведь донес уж! Чего же надо, ну? Прижми, припугни меня,— денег требуй, ну?

— Денег у тебя нет. Ничего у тебя нет. И — не было. А на судей мне — наплевать. Я — сам себе судья.

— Так чем ты грозишь, бредовой человек?

Но Тихон как будто не грозил, Артамонов смутно чувствовал это. Тихон ворчал:

— Конец всем Каинам. За что брата убили?

— Врешь про брата!

Старики начали говорить быстрее, перебивая друг друга.

— Я — вру? Я с ним был тогда...

— С кем?

— С братом. Я убежал, когда отец твой кокнул его. Это его кровью истек отец-то. Для чего кровь-то?

— Опоздал ты...

— Ну, вот — опрокинули вас, свалили, остался ты беззащитный, а я, как был, в стороне...

— Безумным остался...

Артамонов чувствовал, что бывший землекоп загоняет его в угол, в яму, где все неразличимо, непонятно и страшно. Он настойчиво твердил:

— Опоздал ты. Брата — врешь — не было у тебя, у таких, как ты, — ничего не бывает...

— Совесть бывает.

— Ты сам сбил мне с толку сына, Илью!

— Это вы, Артамоновы, сбили меня с толку, Никита Ильич разбередил!

— А он говорил — ты его!

— Мне сколько раз убить хотелось отца-то твоего. Я его чуть лопатой по голове не хряснул... Вы — хитрые...

— Ты сам...

— Серафима завели. Он тоже мутил меня: никого не обижает, а живет неправедно. Как это так? Везде — хитрости...

— Кто идет? К-куда? — сердито, громко крикнули во тьме.— Сказано вам, гадам,— после восьми не двигаться?

Тихон встал, подошел к двери и вывалился из нее во тьму. Артамонов, раздавленный волнением, голодом, усталостью, видел, как сквозь три полосы масленого света в саду промелькнуло широкое, черное. Он закрыл глаза, ожидая теперь чего-то окончательно страшного.

— Достала? — спросил Тихон кого-то.

— Вот — всё!

Это — голос жены. Где была она, зачем она оставила его с этим стариком?

Артамонов открыл глаза, приподнялся на локтях, глядя в дверь, заткнутую двумя черными фигурами. Внезапно ему вспомнилось, что он всю жизнь думал о том, кто виноват пред ним, по чьей вине жизнь его была так тяжело запутана, насыщена каким-то обманом. И вот сейчас все это стало ясно.

Жена подошла к нему, наклонилась, зашептала:

— Ну, слава тебе, господи...

— Вот, Тихон, кто виноват во всем! — решительно сказал Артамонов и облегченно вздохнул. — Она жадничала, она меня настраивала, да!

Он с торжеством зарычал:

— Из-за нее и брат Никита пропал. Ты сам знаешь, да...

Артамонов задохнулся. Было странно видеть, что жена не обиделась, не испугалась, не заплакала. Она гладила трясущейся рукою волосы на голове его и тревожно, но ласково шептала:

— Тихонько, не кричи, тут — злые все...

— Есть давай...

Жена сунула в руку его огурец и тяжелый кусок хлеба; огурец был теплый, а хлеб прилип к пальцам, как тесто.

Артамонов изумился:

— Это — что? Мне? Всё?

— Тише, Христа ради, — шептала Наталья, — ведь — нет ничего! И солдатики тоже...

— Это ты мне — за все? За весь страх, за всю жизнь?

Он, взвешивая хлеб на руке, бормотал и догадывался, что случилось что-то невыносимо, смертельно оскорбительное, в чем даже и она, Наталья, не виновата.

Он швырнул хлеб к двери, сказав глухо, но твердо:

— Не хочу.

Тихон поднял хлеб, заворчал, подул на него, Наталья снова стала совать кусок в руку мужа, пришептывая:

— Кушай, кушай, не сердись...

Оттолкнув ее руку, Артамонов крепко закрыл глаза и сквозь зубы повторил с лютой яростью:

— Не хочу. Прочь.

ПРИМЕЧАНИЯ

МАТЬ

Замысел романа «Мать» возник у М. Горького в 1902 году, после первомайской демонстрации в Сормове — рабочем предместье Нижнего Новгорода. Эта демонстрация и суд над ее участниками имели широкий резонанс во всей России. Впоследствии, обращаясь в 1935 году с телеграммой к сормовским рабочим, писатель вспоминал о сормовской первомайской демонстрации как о «дне крупного исторического значения, об одной из первых схваток пролетариата с его непримиримым врагом, о великом мужестве пролетариата» (М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 27, М. 1953, стр. 488; в дальнейшем при ссылках на это издание указывается только том и страница).

М. Горький лично знал многих участников этих событий, в их числе — знаменосца, одного из руководителей сормовской социал-демократической организации, рабочего Петра Заломова и его мать Анну Кирилловну Заломову, ставших прототипами Павла и Пелагеи Ниловны Власовых. Однако и эти образы, и общая картина, нарисованная в произведении, не были фотографическими снимками реальных людей и событий. Указав в 1911 году, в письме к Н. И. Иорданскому, что Ниловна — «портрет матери Петра Заломова», М. Горький пояснял: «Она — не исключение. Вспомните мать Кадомцевых, судившуюся в Уфе за то, что она пронесла в тюрьму сыну бомбы, коими была взорвана стена во время побега. Я мог бы назвать с десяток имен матерей, судившихся вместе с детьми и частью лично мне известных» (29, *154*). В 1933 году он писал В. А. Десницкому: «Мысль написать книгу о рабочих явилась у меня еще в Нижнем, после сормовской

демонстрации. В то же время начал собирать материал и делать разные заметки. Савва Морозов дал мне десятка два любопытнейших писем рабочих к нему и рассказал много интересного о своих наблюдениях фабричной жизни... Собранный мною материал после 9-го января 5-го года куда-то исчез, может быть, жандармы не возвратили...» (30, *298*).

М. Горький начал работать над романом «Мать» в июне 1906 года, во время своего пребывания в США, и закончил здесь к началу сентября ее первую часть; вторая часть была завершена им уже в Италии, на Капри, в декабре. Впервые «Мать» была напечатана на английском языке в журнале «Appleton Magazine», New York, в декабре 1906 — феврале 1907 года. Сразу же после опубликования повести в США М. Горький переработал ее для берлинского издания И. П. Ладыжникова, которое выпустило ее в 1907 году на русском и немецком языках,— так возникла ее вторая редакция. В том же году роман стал печататься в России в XVI—XXI сборниках товарищества «Знание»; автор снова правил его в корректуре,— это была третья редакция «Матери». Четвертой редакцией явилось новое ее издание И. П. Ладыжниковым, появившееся в 1908 году; пятой — публикация ее в 1913 году в составе собрания сочинений М. Горького, которое выпускалось издательством «Жизнь и знание»; шестой, и последней, особенно тщательно переработанной автором, была ее публикация в составе его собрания сочинений, выпускавшегося издательством «Книга» (история работы М. Горького над романом повести прослежена в книге: С. Касторский, «Мать» М. Горького. Творческая история повести», Л. 1940).

Роман сразу же получил широчайшее распространение. Уже в 1907—1908 годах он был издан в Америке, Англии, Болгарии, Германии, Голландии, Дании, Испании, Италии, Сербии, Турции, Финляндии, Франции, Швеции и других странах. При этом отдельные издания «Матери» нередко предварялись или сопровождались публикациями в журналах и газетах. По свидетельству А. В. Луначарского, «рабочая пресса, главным образом немецкая, да отчасти французская и итальянская, подхватила этот роман и разнесла его в виде приложений к газетам или фельетонов буквально в миллионах экземпляров. Для европейских пролетариев «Мать» сделалась настольной книгой» (А. В. Луначарский, Собрание сочинений в восьми томах, т. 2, М. 1964, стр. 150). Можно добавить — не только для европейского пролетариата; она стала играть позднее такую же роль для многомиллионной читательской аудитории других континентов. Чтобы дать хоть какое-то представление об этом, можно сослаться на следующий пример: в Индии с 1938 по 1955 год «Мать» имела лишь на бенгальском языке 8 изданий, на языке хинди — 5, на урду — 2, и т. д. (см. справочник

«Произведения А. М. Горького в переводах на иностранные языки», М. 1958. стр. 263—270).

В России «Мать» до 1917 года могла появиться только в урезанном, изуродованном цензурой виде, причем против автора было возбуждено судебное преследование. В этой связи в «Ведомостях СПб градоначальства» появилось анекдотическое сообщение (вспомним, что речь шла о всемирно известном писателе, местопребывание которого было столь хорошо известно, что письма доходили до него даже в том случае, если на конвертах значилось вместо Капри — Крит): «По обвинению СПб окружного суда отыскивается нижегородский цеховой малярного цеха мастер Алексей Максимович Пешков (Максим Горький)».

Как вспоминал М. Горький в 1933 году, он предполагал написать продолжение «Матери» — повесть «Сын», но этот замысел осуществлен не был. Писатель указывал, что набросками к «Сыну» можно считать повесть «Лето» и рассказы «Мордовка», «Романтик», «Легкий человек» (30, *298*).

«Мать» много раз инсценировалась и ставилась в театрах ряда стран (например, инсценировка романа, осуществленная Виктором Маргеритом, появилась в 1937 году на сцене парижского Народного театра). В 1932 году Бертольд Брехт написал по мотивам горьковского романа пьесу «Мать», которая обозначила новый этап в его творчестве. В 1926 году «Мать» была экранизирована В. Пудовкиным, создавшим фильм, который явился одним из самых выдающихся событий в истории мирового киноискусства; в 1955 году «Мать» была экранизирована М. Донским. На сюжет «Матери» написаны две оперы: в 1939 году — В. Желобинским, в 1957 году — Т. Хренниковым.

В настоящем издании «Мать» печатается по тексту: М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 7, М. 1950.

ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ

О замысле будущего романа «Дело Артамоновых» М. Горький рассказывал еще в начале 900-х годов Л. Н. Толстому. Позднее он делился этим замыслом со многими (см. воспоминания И. П. Ладыжникова, А. Н. Тихонова, Дм. Семеновского и др.). Особенное значение имела его беседа на эту тему с В. И. Лениным, о чем М. Горький писал в 1930 году Н. К. Крупской: «Беседуя со мной на Капри о литературе тех лет, замечательно метко характеризуя писателей моего поколения, беспощадно и легко обнажая их сущность, он указал и мне на некоторые существенные недостатки моих рассказов, а затем упрек-

нул: «Напрасно дробите опыт ваш на мелкие рассказы, вам пора уложить его в одну книгу, в какой-нибудь большой роман». Я сказал, что есть у меня мечта написать историю одной семьи на протяжении ста лет, с 1813 г., с момента, когда отстраивалась Москва, и до наших дней. Родоначальник семьи — крестьянин, бурмистр, отпущенный на волю помещиком за его партизанские подвиги в 12 году, из этой семьи выходят: чиновники, попы, фабриканты, петрашевцы, нечаевцы, семи- и восьмидесятники. Он очень внимательно слушал, выспрашивал, потом сказал: «Отличная тема, конечно — трудная, потребует массу времени, я думаю, что Вы бы с ней сладили, но — не вижу: чем Вы ее кончите? Конца-то действительность не дает. Нет, это надо писать после революции, а теперь что-нибудь вроде «Матери» надо бы». Конца книги я, разумеется, и сам не видел» (30, *168*).

Это письмо свидетельствует о том, что со времени, когда М. Горький рассказывал Л. Н. Толстому об истории трех поколений купеческой семьи, до 1908 или 1910 года, когда состоялась его беседа с В. И. Лениным на Капри,— замысел романа сильно расширился. Однако, приступив к непосредственной работе над романом, М. Горький отказался от такого расширения: события начинаются не с 1813 года, а с шестидесятых годов и захватывают более узкий круг лиц.

В журнале «Летопись», который редактировался М. Горьким, в последних двух номерах за 1916 год и четырех первых номерах 1917 года было помещено объявление: «В течение 1917 года в «Летописи» будет напечатана повесть М. Горького «Атамановы». По-видимому, к этому времени относятся дошедшие до нас страницы первой редакции романа (в ней Артамоновы еще назывались Атамановыми, Вялов — Перегудовым, город Дремов — городом Мямлиным). Неизвестно, насколько далеко продвинулась работа М. Горького над первой редакцией, но она была прервана до второй половины 1924 года и начала 1925 года, когда писатель за сравнительно короткий срок создал одну за другой еще три рукописных редакции «Дела Артамоновых» (творческая история романа описана в статье: Ф. Иоффе, Черновые редакции романа «Дело Артамоновых».— «Горьковские чтения. 1964—1965», М. 1966; здесь же впервые напечатан конец романа во второй редакции).

15 марта 1925 года М. Горький сообщал в письме к Стефану Цвейгу: «Я написал книгу — большую повесть — и хотел бы посвятить ее Роллану. Но я не знаю, доставит ли это ему удовольствие. Что Вы об этом думаете?» (29, *428*). Цвейг ответил: «Посвящая Ромену Роллану Вашу книгу, Вы доставите ему огромную радость»

(«Архив А. М. Горького», т. VIII, «Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами», М. 1960, стр. 19).

Роман впервые вышел отдельной книгой в 1925 году в издательстве «Книга». Уже в следующие несколько лет он был издан в Италии, Венгрии, Англии, США, Германии, Франции, Японии и других странах.

В настоящем издании «Дело Артамоновых» печатается по тексту: М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 16, М. 1952.

Б. БЯЛИК

СОДЕРЖАНИЕ

Б. Бялик. Дело Власовых и дело Артамоновых 5

МАТЬ

Часть первая 31

Часть вторая 165

ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ 321

Примечания *Б. Бялика* 561

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 148

Алексей Максимович Горький
МАТЬ. ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ

*

Редактор А. Козловский

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

На суперобложке иллюстрации
С. Герасимова

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Платонова

Корректор
Т. Лукьянова

*

Сдано в набор 29/X 1966 г. Подписано к печати 3/IV 1967 г. Бумага типогр. № 1, форм. 60×84¹/₁₆—35,5 печ. л. = 33,12 усл. печ. л. 33,107 + 15 вклеек =33,99 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 965. Цена 1 р. 48 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, Ж-54, Валовая, 28